



THE ARABIAN NIGHTS

Annotation

Первая половина трилогии Сергея Бородина "Звезды над Самаркандом". В центре повествования - фигура жестокого средневекового завоевателя Тимура, вошедшего в историю под именем "Железный хромец", покорение им огромной территории и создание могущественной империи.

Сергей Бородин

Звезды над Самаркандом. В двух книгах. Книга 1

Хромой Тимур

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГОД 1399–й

Прозван бысть Темирь–Аксак, — Темирь бо зоветься татарским языком железо, Аксак же — хромец, и тако толкуется — «железный хромец», яко от вещи и от дел имя приял.

Никоновская летопись

Первая глава

САД

Темна, тепла самаркандская ночь.

Листва ночного сада черна. Тьма под деревьями подобна спекшейся крови.

Над мраком сада сияет серебряное небо, и тонкая струя ручья отсвечивает в ответ небесным светилам, постукивая камушками дна, словно перебирая перламутровые зерна нескончаемых четок.

Тишину в саду строго велено блюсти до утра: в этом саду спит Повелитель Мира.

Старый Тимур вернулся домой из победоносного похода. В растоптанной Индии еще не осела пыль, поднятая копытами его конницы, еще идут сюда караваны, груженные несметной добычей, идут слоны и табуны коней, идут раненые по длинным дорогам через горы, пустыни, мимо могил и развалин.

В старом густом саду на окраине Самарканда, на ореховом полу, у двери, раскрытой в сад, на стопе стеганых одеял спит Тимур один, хмуро вдыхая прохладу родины.

А под деревьями, у ручья, в распахнутом шелковом шатре спит старая жена повелителя Сарай–Мульк–ханым.

Старая, седая, почерневшая на ветру и зное бесчисленных дорог, всюду побывала она, волочась за ним по его воле. Видывала битвы и зарева в песках Хорезма, когда муж приказал скрыть с лица земли дерзкий город Ургенч, скрыть Ургенч, посмевавший укрыть лживого Хусейна Суфи. Терпела морозы и метели, когда муж пошел помочь Тохтамышу сесть над Золотой Ордой. Нежилась под сенью садов Ширази, где зрели сладостные, невиданные плоды. Опасливо глядела на зеленую ширь Каспийского моря, когда шли поворозить Азербайджан, где на серебряных блюдах подавали ей тяжелых осетров, отваренных в меду с красным перцем. Дивилась высоте гор и чистым потокам в тесноте Грузинской земли, где ей понравилось темное мясо туров, печенное на углях. Пила густое, как черная смола, и нежное, как молоко, вино Армении, когда ветер, благоухающий розами, раздувал края ее шатра, стоявшего на склоне багровой каменистой, бесплодной земли.

Старшая из жен, лишь изредка, издали видела она длинного, хромого мужа, не желавшего ходить без нее в походы и в походах не желавшего ходить к ней. Видела она много рек, но просторнее и страшней Аму нигде нет. Видела пустыни Афганистана и дворцы Кабула, куда свозили к ней сокровища из растерзанной Индии. Он свирепствовал там, далеко от нее, но день изо дня являлись от него гонцы справиться о ее здоровье и вручить столь редкостные подарки, каких не видывала она и во сне. Но на что ни глядела, чему ни дивилась, чем ни тешилась, милее самаркандских садов места на земле нет.

И вот спит она крепко, дыша запахом сырой глины, по которому тосковала во всякой иной стране.

Но семилетний мальчик рядом с ней не спит.

Он лежит возле бабушки, откинув голову на худенькие запрокинутые руки, и глядит в небо. А в небе, между черными крыльями ветвей, вспыхивают звезды, меркнут, трепещут, то будто на краю ветвей, то будто в непонятном далеке. И если они далеки, — велики, а если на краю ветвей, — подобны огненным бабочкам.

На широких коврах вокруг шатра спят бабушкины рабыни — персиянки, армянки; спят, не смея и во сне вольно вздохнуть, лишь звякнут спросонок браслетом ли о браслет, серьгой ли об ожерелье.

Мальчик смотрит в серебряную бездну небес, дивясь сочетаниям созвездий. Темен и тих сад.

Неслышно несут свой караул воины; ходят, сопровождаемые огромными степными псами; ходят неслышные, невидимые. Да в дальнем конце, едва просвечивая из-за деревьев, горит костер.

Там, у суровых резных ворот, стражи, сменившись с караула, над углями пекут печенку, а на огне, в широком котле, варят просяную бузу.

На старом ковре сидит начальник караула Кыйшик; он в походах умеет прибрать к рукам все, до чего бы ни дотянулись руки. А до чего руки не дотянутся, дотягивается мечом.

Позевывая, нежится на шерстяном чекмене неразговорчивый Дангаса, готовый слушать сквозь дремоту любой разговор, лишь бы самому не говорить.

Каменным лбом повернулся к огню Дагал, с достоинством крутя между пальцами длинный свисающий ус.

Но быстроглазому Аяру не сидится. То он возится у очага, то, присаживаясь на корточки, вмешивается в разговор. Днем он прискакал из Бухары, гонцом от правителя города, и теперь, как и эти, отслужившие караул воины, свободен на всю ночь и на весь последующий день.

Аяр носит бороду, но она так редка, что ее и не видно на изъеденном оспой подбородке. Лишь ладонь порой тревожно касается подбородка: не растрепалась ли борода.

Огонь временами разгорается жарче. Багряные отблески вспыхивают то на позолоченных скобах грузных ворот, то на медных бляхах, вбитых в резное твердое дерево, то на острых шлемах Кыйшика и Дагала, на стальных наручьях Аяра, на золотой серьге дремлющего Дангасы.

Разговаривая негромко, стража поглядывает — то нетерпеливо на котел, то несмело в темноту сада: туда, под сень деревьев, не велено ходить никому, — там, скрытый тьмой и тишиной, отдыхает их повелитель. Каждому доводилось видывать его издали и вблизи — в толчее битвы либо в дыму пожаров, по его слову убивать или рушить, умирать или грабить, лицезреть его гнев на врагов и досаду его, если вопли покоренных народов ему мешали. Но видеть его в этом саду не смел никто из воинов: здесь он отдыхал от войн.

Дымок костра, ударяясь о закопченную стену, розоватым туманом расплывался между деревьями, и сад казался за дымом еще глуше, как глубина моря.

Разговаривали негромко, чтобы слышать малейший шорох из сада. Неподвижно, сторожко лежали псы, большие, свирепые, с круглыми ушами, обрезанными, чтобы слух их был чутче, с хвостами, обрубленными, чтобы шаг их был легче. Но и глаза псов тревожно косились на шелесты и лепеты листьев, мешавших слушать сад.

Кыйшик ворчливо припоминал богатства и диковины, пограбленные не им. Сокровища Индии, языческие древние храмы, где со стен свисали покрывала, расшитые жемчугами и рубинами, где высились идолы, выплавленные из красного золота, а самоцветные камни и алмазы сияли на щеках, на лбу, на ладонях, на запястьях идолов. Стены, изукрашенные каменными изваяниями птиц, зверей и нагих бесстыдниц, окаменевших в танце в одних лишь браслетах на щиколотках. Живых людей некогда было разглядывать, — золото блистало на женщинах, на мужчинах, на детях...

Крутя ус, Дагал презрительно сплюнул:

— Жалкий народ, — не искал жалости!

Но Аяр, глянув сквозь улыбку строгим карим глазом, не согласился:

— Кто не ищет жалости, не жалок, а страшен; с тем берегись!

Кыйшик, начальник караула, посмотрел на Аяра удивленно:

— Не нам ли страшен?

Если б Аяр не был испытанным гонцом, — а в гонцы отбирались лишь самые бесстрашные, самые верные и самые сообразительные из воинов, воины, за которых поручался кто-нибудь из самых сильных людей, — Кыйшик заподозрил бы, что Аяр в Индии оробел. Но Аяру почудилось в удивлении Кыйшика недоверие к смелости его, и он скрыл свою обиду усмешкой:

— Не каждому дано сердце льва! Вам дано, а из нас кому равняться с вами? Кому? — в недоумении поднял брови Аяр.

Дагалу показалось, что Аяр заискивает перед начальником караула, и он взглянул на Аяра презрительно из-под своего плоского, тяжелого лба. Но Аяр пренебрег этим взглядом, досказав:

— Если б не шли вперед львы, за кем бы плелись остальные? А? За кем?

— А мы тогда и не пошли б! — неожиданно проговорился Дангаса.

Дагал удивился:

— А сокровища так и остались бы у язычников?

Кыйшик рассердился:

— Что ты! Зачем? Нам самим надо!

Дангаса на своем чекмене вздохнул:

— А помногу ли нам досталось?

Кыйшик грозно приподнялся:

— Как? Как ты сказал?

— Я-то?.. — встревожился Дангаса.

Но Аяр выручил его:

— Он не сказал. Он спросил.

— То-то!

Замолчали, глядя в огонь: кому охота перечить начальнику, — с врагом не церемонились, но своих начальников волновать не смели, за этим строго следил Тимур.

Молчали, глядя в огонь.

Виделись им в огне недавние видения иной страны. На деревьях — то тяжелые плотные листья, то легкая, перистая листва. Цветы большие и лоснящиеся, как медные щиты. Идольские храмы, облепленные причудливыми изваяниями. Костяные троны, изукрашенные резьбой и золотыми кружевами. Горячие лошади, накрытые ковровыми чепраками, седлами красных и зеленых сафьянов, тисненных золотом. Слоны огромные, как горы, послушные, как телята, слоны с беседками на спинах, а в узорных беседках, за прозрачными занавесками, такие...

— Много ходили по земле, а этакое не видывали! — ответил своим раздумьям Дагал.

— Еще поглядим! — неторопливо сказал Дангаса.

— Ну? — усомнился Дагал.

— Разве он успокоится? Опять нас поведет.

— Куда?

— Он знает, где лежит золото. За тысячи верст видит. Он знает, как его брать.

— Думаешь, пойдет?

Дангаса, развалившись на своем чекмене, ответил твердо:

— Пойдет! Глаза—то у всех одинаковы: на свое радуются, на чужое зарятся.

Кыйшик забеспокоился, нет ли дерзости в таких словах:

— Прыток ты! Пойди—ка к сотнику, скажи: «Пора со двора!» А он тебе: «Ладно. Спасибо, брат! Без тебя не догадался б, в поход не собрался б!»

Все поняли: такой разговор опасен, — сотника учить кто дерзнет!

Аяр усмехнулся, пропустив бороду под ладонью:

— Дело воина блистать мечом, а не языком.

Дангаса смолчал, но обиделся: никогда он не мешает другим говорить, а самому случилось слово сказать, каждый норовит прицепиться.

Опять неподвижными глазами уставились в огонь.

Опять виделись им в огне недавние дни в Индии.

Как трещали шелка, когда их сдирали со стен храмов вместе с написанными на них богопротивными изображениями; как, будто зерна, сыпались в медные кувшины самоцветные камни и алмазы; как рушились разукрашенные идолами, как живыми, стены храмов, — рушились во славу аллаха, ибо Тимур повелел не щадить идольских притонов и кумирен, противных исламу и слугам его. Как вопили женскими голосами языческие жрецы, видя поругание своих святынь, бородатые, а хилые, как старухи. Как женщины кидались на воинов Тимура, пытаясь ножами, иглами, ногтями, зубами дорваться до горла. Даже под мечами корчась, призывали гнев своих будд на помощь. Дети, прыткие как обезьяны, со стен, с деревьев, из расщелин в развалинах то камнем, то осколком стены, то хоть обломком дерева изловчались кидать в непобедимых воинов Тимура. Схваченные не смирялись, вгрызались зубами в руки, не ждали жалости, не просили милости.

Буза закипала в котле.

Виделись города Индии не такими, какими их брали, а какими покинули. Осколки изукрашенных стен на дорогах. Обгорелые, черные костяки садов, потравленные до голой земли поля. А земля плодородная, добрая: воды много! Но покрыли ту землю не зернами, а трупами, смрадом от гниющих тел; лежали на земле старые, молодые, женщины, дети, — не трупы воинов, воины полегли прежде, при защите городов, — трупы простого народа, который хоть и за меч не брался, но и в плен не шел, — строптивый, скрытный, непокорный, не желавший открывать своих знаний, скрывавший свои ремесла и умение, негодный для рабства народ.

Сто тысяч пленников согнали там в одно место, чтобы гнать их дальше, к себе в Самарканд. Сто тысяч ремесленников, художников, зодчих, разных дел умельцев, сто тысяч самых искусных людей Индии, из которых ни один не хотел сознаться, в каком ремесле искусен, в какой науке славен, в каком деле силен. Нелегко было опознать мастеров во множестве прочих людей, но опознали, отобрали, собрали их по всем городам и тущобам Индии, погнали в одно место. Они шли, не поднимая голов, глядя лишь в землю, не говоря ни слова, не прося ни воды, ни хлеба, с опущенными руками, шатаясь от усталости и голода, шли, опустив глаза, не глядя на победителей, — будто столь мерзок был вид у непобедимого, бесстрашного воинства Тимура! А когда поставили их всех вместе в просторной иссохшей котловине, он сам приехал взглянуть на них. Но и на него ни один не поднял глаз, но и перед ним ни один не заговорил; сто тысяч их

стояло бессильных от дороги, ран, голода, и вокруг такая нависла тишина, будто не сто тысяч людей было здесь, а мертвая, вытоптанная земля Индии. И Тимур спросил:

— Чего это они?

— Ясно: намереваются восстать! — шепнул духовный наставник Тимура святой сейид Береке.

Тогда сто тысяч людей, связанных, посиневших от слабости, вдруг начали поднимать головы, и взгляды их, встречая его взгляд, не трепетали, все они прямо, свободно, бесстрашно смотрели ему в глаза. И Победителю Мира стало страшно.

Тимур так круто поворотил коня, что конь присел.

— Всех убить надо! — прохрипел Тимур и поскакал прочь.

Не потупляя глаз, не отодвигаясь, не заслоняясь, молча смотрели они на ножи и сабли хлынувшей на них конницы.

Аяр встал вытащить головни из-под бузы, чтоб не так шибко кипело. Он любил возиться и стряпать возле огня: дни Аяра проходили в седле, ночи на случайных ночлегах, и давно родным очагом казался Аяру огонек под котлом, где бы ни довелось его развести — в углу ли постоянного двора, в пустой ли необозримой степи.

Виделся воинам в жарких углях возвратный поход через пустыню, раскаленную добела, где приходилось ноги коней обвертывать мокрыми тряпками, чтоб не полопались копыта. Виделись такие же, как эта, ночи, когда стояло войско на левом берегу реки, ожидая своего черед перебраться домой, когда пели соловьи в зарослях маслин и в кустарниках, силясь заглушить ржанье несметных лошадей и голоса неисчислимых воинств Тимура! Когда от края до края земли горели костры, застилая на сотню верст небеса тяжелым жирным дымом.

Вдруг стража замерла, глядя в сад остекленевшими глазами, затаив дыхание: из-под деревьев неслышно, будто не по земле ступая, а по воздуху, шел к ним ребенок в тонких шелковых зеленых штанах, в полупрозрачной алой рубахе до колен, в белой тюбетейке на голове.

Отсветы костра струились, будто стекая с алого шелка его рубахи.

Лицо его было бледно, а глаза смело, прямо, пристально смотрели в глаза воинов.

Ребенок шел к ним, а псы лежали неподвижно, прижав к земле головы и не сводя с него глаз.

Воины не смели шелохнуться, не понимая — въявь ли видят перед собой это дитя, кажущееся прозрачным в его легкой одежде.

Лишь Кыйшик упруго вскочил на ноги, будто прыгнул в седло, и, почтительно прижав к груди руки, склонился:

— Привет и послушание царевичу!

И Мухаммед-Тарагай, внук Тимура, сын Шахруха, семилетний мальчик, поднятый с постели бессонницей, на покорный привет старого дедушкиного воина ответил благосклонным приветом.

Мгновенье он постоял молча.

Стражи застыли перед ним вокруг истертого, грязного ковра. Оружие их лежало по краям ковра. В котле клокотала буза.

Аяр замер возле котла, не смея шевельнуть рукой, протянутой к головне.

Легко скинув вытканые золотом кабульские туфли, узенькими босыми ногами мальчик ступил на

заскорузлый ковер и сел.

Тогда и воины, подобравшись, сели вокруг.

Царевич повернулся к Дагалу, самому рослому и мощному из всех:

— Звезды...

— Да, да?.. — не понял Дагал, куда показывает царевич.

— Можно их взять руками?

Воин, тысячи верст прошедший из края в край по земле, десятки городов рушивший, сотни людей изничтоживший, сам стерпевший несчетное число ран, переспросил:.

— Звезды—то?..

— Да. Можно их взять руками?

Немало добра отнято у поверженных людей этими вот руками: бывало и золото, случались и алмазы. Но Дагал беспомощно и сокрушенно глянул на свои мускулистые, черные ладони:

— Не доводилось!

— А достать их?

Никому из воинов не случилось думать, далеко ли до звезд. В долгие дороги, в дальние страны хаживали, но о богатствах, ожидавших их в конце пути, знал лишь один человек — их повелитель. Но Тимур водил их по земным дорогам: неужто этому царевичу земных алмазов мало, неужто этот поведет свои воинства за самими звездами?

Воины смотрели на него опасливо и покорно: что ж, если настанет его время, если он поведет, пойдут: может, там—то и хватит каждому вволю и алмазов, и всего прочего.

Кыйшик ответил осторожно:

— Достать? На то воля великого амира. Прикажет — пойдём.

— А если с дерева? Влезть на самое высокое... На старый чинар! Оттуда достанешь?

Может, он их испытывает? Может, в словах его притча? Может, надо так отвечать, как в сказке: верно ответишь, и за то сразу перед тобой — счастье на всю жизнь.

Неожиданно ответил молчаливый Дангаса:

— Нет, они не на дереве.

— А стрела до них долетит?

— Может, из большого лука? Да ведь большой лук не здесь, большие луки все там.

Дангаса махнул рукой в сторону, где за тьмой, за холмами, за десятком верст отсюда стоял воинский стан.

Нет, от них не добьешься ответа! Царевич задумчиво посидел, пытаясь острым ноготком сколупнуть с ковра черное засохшее пятно. Повременил, задумчиво разглядывая, как синий язык огня лижет черное брюхо котла: Аяр позабыл вытащить из—под котла головню.

Наконец он встал и в раздумье остановился возле своих туфель с золотыми носами, круто загнутыми назад.

Аяр, ловко схватив одной рукой туфли, другой рукой охватил колени царевича и понес его в глубь запретного сада. Собаки бежали рядом, и тут выяснилось, что этим псам сад хорошо знаком, — незаметно

от воинов они бегали сюда лакомиться объедками, и у царевича были даже имена для каждой из них.

Сарай–Мульк–ханым в тревоге уже стояла среди своих одеял, а рабыни переспрашивали одна другую, не видал ли кто–нибудь, куда мог уйти царевич Мухаммед–Тарагай. Но ужас перед карами, ожидавшими их за беспечный сон, еще не успел их обуять: воин вынес мальчика из–под деревьев и, не смея приблизиться, осторожно опустил его на землю. Аяр замер, ожидая слов грозной, бездумной, безжалостной, не знающей удержу своей воле старшей жены Тимура.

Но она сама так была напугана исчезновением внука, так ясно представила гнев повелителя, если б с мальчиком случилась беда, что радость, когда она увидела ребенка, переполнила ее.

— Нашлась пропажа?

Она сама подошла к воину, сама расспросила — где был ее внук, что говорил, что ему говорили.

От воина крепко пахло потом, конским и человеческим, кожей и особым, острым запахом людей, долго носивших железное оружие; голова от этих запахов у царевича кружилась, пока воин его нес.

Но теперь он не отходил от воина, слушая слова бабушки, и с удивлением заметил: она добродушно кивнула воину. Такой милости не удостаивались от нее даже самые знатные из дедушкиных людей.

Она обняла мальчика за плечи и отвела к одеялам:

— Отвернись–ка лицом от звезд. Спи–ка, спи!

Понемногу улеглись и служанки.

И снова сад затих.

* * *

Едва солнце коснулось вершин сада и золотисто–розовый луч поскользнулся на лазоревом куполе дворца, от повелителя пришли звать царевича.

Мальчик опустился возле ручья на корточки; китаянки, служившие ему, лили на его ладони теплую воду из серебряного кувшина, украшенного зернами бирюзы.

Умываясь, мальчик читал давно знакомую, отчеканенную на ручке кувшина надпись:

«Мухаммед Бухари».

«Значит, бухарца, чеканившего этот кувшин, авали тоже Мухаммедом... Зачем позвал дедушка?»

Было еще очень рано.

Но двор перед дворцом уже успели полить и подмести.

Павлины то, пригнувшись, перебежали через двор, то, воскликнув что–то кошачьими голосами, распускали радужные лучи длинных синих хвостов.

Вдоль галереи, в тени стройных, как стрелы, мраморных серых столбов, уже толпились придворные в затканых золотом алых, синих, зеленых шелковых, бархатных широких халатах, ожидая, когда повелитель вспомнит о них. Нежные, расшитые золотом или жемчугом чалмы, белые, розовые, голубые, зеленые; шапки из русских седых бобров или розово–дымчатых соболей; высокие тюбетейки изощренной красоты; тихий шелест тканей и мягких сапог; воздух, полный благовоний, добытых в дальней Смирне, в горячем Египте, на базарах Багдада или в руинах Индии, — все здесь смешалось в единое сияние, благоухание, трепет.

И едва в галерее появился царевич, предшествуемый посланным от повелителя, все замерли, и каждый встретил мальчика благоговейным поклоном, а он, никому из них не отвечая в отдельности,

прошел мимо по всей длинной галерее с поднятой головой, ни на кого не глядя, но с прижатой к сердцу рукой в знак общего к ним всем своего благоволения.

Тридцать шесть столбов по четыре шага между каждым — длинный путь, когда так плотно один к другому толпятся и кланяются ему могущественнейшие, знатнейшие, властнейшие люди мира от низовьев Волги до Тигра—реки, от льдов Енисея до реки Инда.

И кто знает, может, прихоть либо причуда этого внука для Тимура окажется милей многолетних заслуг и подвигов любого из вельмож царства.

Но ребенок прошел свой длинный путь, ни одному из сотни склонившихся ничем не выразив ни гнева, ни милости.

Лишь когда резная, темная, украшенная перламутром дверь закрылась за царевичем, все эти надменные, спесивые, самодовольные, бесстрашные в выносливые люди снова ожили и снова негромко заговорили между собой.

А мальчик кинулся бегом из залы в залу, обогнав посланного, то подпрыгивая на одной ноге, то, как козленок, скача боком, пока не достиг невысокой дверцы.

За ней, на чинаровом полу, у двери, распахнутой в сад, на маленьком ковре сидел длинный, сухощавый старик в черном, обшитом зеленой каймой халате. Темное, почти черное, с медным отливом, его сухое лицо повернулось к мальчику, и глаза — быстрые, пристальные, молодые — зорко пробежали по всему маленькому, легкому, любимому облику внука.

— Встал?

Мальчик стоял, склонившись в почтительном поклоне.

— Сядь!

Когда на краю того же тесного коврика мальчик сел, поджав ноги, дед протянул ему китайскую фарфоровую чашку крепкого летнего кумыса:

— Пей!

— Благодарствую, дедушка!

Внук не успел сделать и двух глотков, Тимур спросил:

— У тебя бессонница?

Глоток комком застрял в горле мальчика, но рука не дрогнула, и он спокойно поставил чашку на коврик:

— Редко.

— Люди спят, а ты гоняешься по саду за пустыми вопросами... Как за ночными бабочками!

— Не за вопросами, а за ответами, дедушка.

— Надо у меня спрашивать.

— Вы тоже спали, дедушка.

— Мы не в походе. Дождись, пока встану. Не тебе людей надо спрашивать. Тебя люди должны спрашивать. Мой внук ты. Понял?

Откуда он узнал об этой ночной прогулке? Откуда он все узнает? Он всегда знает все раньше всех!

— Хотелось поскорее узнать, дедушка.

— Как брать звезды руками?

— Да. Это.

— Я сам скажу. Слушай...

Но дед задумался, прежде чем сказать, и, видно, какая-то неожиданная мысль или какое-то воспоминание рассердило его:

— Звезды хороши, когда ты преследуешь врага. Они никуда не годятся, когда тебя преследует враг. Понял?

Мальчик взглянул лукаво:

— А разве вас можно преследовать?

— А разве нет? — улыбнулся Тимур.

Он редко улыбался. Мальчик взглянул смелей:

— Чтобы преследовать, надо, чтоб вы убегали. А разве вы можете убегать?

— Бегать я перестал с тех пор, как мне перебили ногу. Но с тех пор как правая рука у меня отсохла, никто не вырывался из моих рук. До того я бегал, а меня ловили. А я тогда был намного старше тебя. Мне уже было лет... двадцать пять тогда.

Редко дед говорил кому-нибудь так просто о своих былых делах. В них очень много было такого, о чем незачем вспоминать Повелителю Мира. Ведь уже не было никого во всем мире, кто мог бы тягаться силой и могуществом с этим длинным, как тень, сухим, больным, сухоруким, хромым стариком.

Он поднял с коврика ту же плоскую, разрисованную синим узором чашку и глотнул кумыса.

— Звезды?.. Звезды, мальчик, надо брать на земле. Их добывают с мечом в руках. Руке надо быть крепкой. Крепче железа. Пускай меч переломится, а руке нельзя ломаться: в руке надо держать всех, кого ни встретишь, — и тех, что идут с тобой, и тех, что бегут от тебя, а тех, что вздумают становиться против, тут же давить, сразу! Тогда все, чего пожелаешь, все возьмешь. А человеку много надо. У человека во всем нужда. Нуждами кормится сила, как конь травой. Сила! Вот какую звезду надо держать в руке. Тогда все звезды будут у тебя вод ногами; какую вздумаешь, ту и возьмешь. Понял? Всегда это помни. Понял?

Он отпил еще несколько глотков кумыса, разглядывая бледное длинное лицо мальчика с пухлыми губами.

Внезапно рот мальчика сжался, губы вдруг стали тонкими. Дед, пытливо присматриваясь, отклонился:

— Разве тебе плохо в походах? С воинами?

Губы внука разжались в ласковой улыбке:

— Когда бываете с нами вы, всегда хорошо, дедушка.

«Еще слишком ребенок!» — подумал Тимур и сказал:

— Скоро приедут послы. Ступай одевайся.

Мальчик спрыгнул прямо в сад и пошел под деревьями, не подозревая, что дедушка по-прежнему пытливо смотрит ему вслед.

Вспугнув павлинов, он прошел к другому дворцу. Там расположился в нарядных залах и комнатах пышный гарем деда. Там жили и его младшие внуки, по обычаю отнятые от матерей и отданные на воспитание бабкам. Но бабки старшие жены Тимура — получали на воспитание не родных своих внуков: родные им внуки воспитывались другими женами Тимура. Он считал, что родные бабушки, как и родные

матери, вырастят ему балованных, изнеженных царевичей, а ему нужны были твердые, смелые, будущие повелители необозримого царства.

Однако растившую его Сарай–Мульк–ханым мальчик звал бабушкой и любил ее. А бабушка стремилась вырастить такого царевича, чтобы, выросши, он всех своих братьев затмил удалью и умом.

Так старухи щеголяли друг перед другом внуками, как давно когда–то щеголяли они одна перед другой станом, лицом, нарядами и властью над сердцем повелителя.

Вторая глава

БАЗАР

В Самарканде на базаре оживился и зашумел народ.

Огромные, как деревянные солнца, колеса арб покатались по булыжным мостовым. Водоносы заплескали голубой водой желтую базарную пыль; огромными, как деревья, метлами сторожа вымели щедро политую землю площадей и переулков; но лавочники мягкими вениками снова подмели места перед своими палатками, не столько по надобности, сколько для порядка, теша свою гордость хозяев этого кусочка базара, где по своей охоте вольны они и подметать, и торговать, и, перебирая четки, размышлять, почему никогда ни на одном базаре не бывает столько покупателей, сколько хотел бы купец. Века шли, базары шумели, ветшали, строились заново, тысячи тысяч людей выкрикивали на разные лады названия своих товаров, деньги повышались в цене и теряли цену, а всегда покупателей было меньше, чем желалось купцам.

Открываются палатки, и в их глубине вспыхивают шелка или медные подносы, груды деревянных, пестро расписанных седел, лохматые свитки тяжелых ковров, золотые кружева браслетов и ожерелий, товары местных изделий и привозные со всего света — русские меха и льняные полотна, фарсидские зеркала в разрисованных оправках, китайские зеленовато-белые блюда и чаши, персидские голубовато-белые, расписанные синью кувшины и вазы, гератское золотое шитье по красному сафьяну, тугой, серебрящийся хорезмийский каракуль, благовонные смолы из Смирны и тысячи иных товаров, ни названия, ни применения коих никому не снятся, пока покупатель не приметит их в одной из тысяч лавчонок, теснящихся по всем извилистым улицам от Железных ворот до Синего Дворца Тимура.

Открываются палатки, теснящиеся по боковым рядам, по переулкам, под крытыми переходами; продавцы мелочей расстилают коврики под каменными куполами на перекрестках, в нишах древних зданий, у стен бань и мечетей, у ворот караван-сараев, всякий пристраиваясь там, где на его безделицу случается спрос.

А на плоских, просторных крышах харчевен расстилают привольные ковры, стелют узкие одеяла, раскладывают подушки для почтенных гостей, буде кто пожелает здесь кушать, поглядывая сверху на суету, гам и гомон базара.

Открываются снизу вверх навесы убогих лавчонок, где работают и живут кустари и ремесленники всяких дел.

Открываются лавчонки кузнецов, где подмастерья и ученики на весь начинающийся долгий день снова вздувают огонь в узких, как кровоточащие раны, горнах.

Открываются лавчонки медников и серебряников, и розовые огоньки утра загораются на чеканных боках кувшинов, на хитрых узорах блюд, на выпуклых, как мышцы, гранях медных щитов, на серебре, изукрашенном бирюзой, на меди, где высечены деревья и крепости, на подносах, способных вместить вареного быка, и на крошечных чернильницах для узких, как кинжалы, пеналов.

Открываются мастерские седельников, где громоздятся едва просохшие от пестрых красок деревянные седла. А у соседей — колыбели, еще более пестрые в веселые. Высятся одни над другим тонкорасписанные и окованные медью сундуки, от просторных свадебных и кочевых, куда уложится не один десяток одеял и добрая сотня халатов, до изукрашенных тончайшими узорами крошечных ларцов для колец, ожерелий и женских тайн.

Открываются мастерские оружейников, где мирно, как вязанки хвороста, молчаливо лежат связки

мечей или копий, стоят наискосок, прислоненные к стенам, стопки надетых друг на друга шлемов, круглых либо граненых, стальных либо железных, а то и серебряных с чеканами по краям или с надписями золотом и чернью.

Не охватишь единым взглядом всех рядов, а в каждом ряду — свои товары, резные двери или меха, домотканина либо посуда, глиняные кувшины гончаров или коренастые кумганы медников, дымчатое самаркандское стекло или багряные самаркандские бархаты, изделия кузнецов или живописцев.

Достают мастера орудия своего дела: мастер арб — острый тяжелый тесак, а живописец — кисть, легкую и тонкую, как девичья ресничка. Колесники поднимают широкие карагачевые молотки, а серебряники точат стальные резцы, острые, как жала.

Равно искусны и прилежны руки мастеров, равно изощрено опытом и усердием их зрение, но как не схожи орудия их труда, так и доходы их не равны и не схожи. И чаще случается здесь, что чем тяжелее орудие в руках мастера, тем легче его кошелек.

Еще негромки говоры купцов между собой, степенны и немногословны утренние приветы, будто все берегут свой голос и силы для приближающегося желанного начала торговли.

Един язык купцов, но перемешаны языки ремесленников, очутившихся здесь, по своему ли желанию либо по воле несокрушимого завоевателя, с востока ли, от китайских степей или из тесных городов Кашгара; с запада ли, с Армянских и Грузинских гор; с севера ли, из низовых городов Поволжья и Золотой Орды; с юга ли, из Ирана и Кабулистана.

Смешались в базарных закоулках у кустарей языки китайский и русский, сжатая речь хорезмийца с напевным говором уйгура, индийские тягучие слова и легкие, как стихи, слова иранца.

Смешались судьбы людей — вольных и пленных, выжитых из родной земли нуждой или произволом правителей, уведенных с отчих полей воинами либо сбежавших сюда от еще большего гнета.

Проснулся самаркандский базар.

Снова загудели, вливаясь в единый гул, разговоры людей, первые вопли разносчиков, залиvistые ревы ослов, жалобные молитвы верблюдов.

Потекли, сливаясь в единый смрад, запахи пряностей и приправ, острый дым из харчевен и нежный пар из пекарен, схожие с запахом меди запахи мясных рядов; вонь боен и скотопригонных дворов; благоухания темных лавчонок, торгующих благовониями и тайными товарами для женских услад; свежие, как юность, запахи плодов и ягод.

Как и в прежние утра и дни, опять вскрикивали и плакали на невольничьем рынке, где продавали девушек и детей, щелкали плетки и гремели окрики в ряду, где продавались молодые рабы.

Ревели быки на скотных рынках, и ржали кони на конных площадях. Протискивались сквозь базар запоздалые стада баранов, сгоняемых сюда со степей, и растекался по переулкам горький запах полыни, пыли и горячей шерсти, не успевшей за ночь остыть от степного зноя.

Все двигалось, все спешило занять свои места к тому мгновенью, когда все замрет, чтобы опуститься на утреннюю молитву, за коей последует начало торговли, в те годы столь же необходимой и желанной, как сама жизнь.

Солнце разгоралось. Алые, золотые, белые пятна света проникали сквозь щели крыш и перекрытий базара, падали на халаты купцов, на лохмотья ремесленников, на протертые маслом тела рабов, выведенных на продажу, на серые лохмотья рабов, выведенных на работу. Вспыхивали на мордах коней и на зеленых каблуках туфель, на белых чалмах и на алых коврах. Пятна светлого утра — узкие, как мечи,

кругленькие, как золотые динары, широкие, как ковры.

Утро.

С высоких минаретов, с папертей, со стен мечетей заголосили заунывными, воющими возгласами призывы к молитве.

Смолк базар.

Иноверцы потеснились к стенам или отошли прочь с глаз правоверных, а мусульмане, то падая на колени, то повергаясь ниц, восславили бога, опасаясь, что, милостивый, милосердный, не помилует он их и не пошлет им удачи в делах, если не воздать ему должное, как воздают должное хозяевам караван–сараев или старостам своих цехов, ибо недремлющее око многочисленных слуг божиих неусыпно следило за каждым, кто не соблюдал надлежащего числа поклонов или не проявлял набожности в своих речах. В дела купцов, в торговую жизнь базара, в своеволие сильных и в бесправие слабых слуги божии не вникали, ибо этого не требовали от них ни Коран, ни шариат.

Молились во дворах мечетей, молились у своих лавчонок, молились на крышах, куда забрались покушать, молились на темной земле возле боен, молились возле безмолвных рабов — всюду, кого где застал призыв к молитве, — покупатели и купцы, ремесленники и чиновники, нагие и нарядные, властные и покорные, люди Тимурова ханства и чужеземные мусульмане.

Когда замерли последние слова молитвы, каждый кинулся, сбивая других, к своему месту на торжище, на ходу подтыкая выпущенный на время молитвы конец чалмы или торопясь свернуть свой коврик, пока незнакомый человек не ухитрился его присвоить.

Торговля началась.

Едва стукнули о мостки харчевен первые медяки, едва сверкнули первые деньги на ладонях купцов, хлынули на базар нищие, дервиши, странствующие монахи, питомцы народной милости, питомцы суеверий и страха перед гневом Божиим.

Пошли в острых ковровых колпаках, с острыми, как копыя, посохами в твердых руках десятки каландаров — бродячих монахов сурового и могучего братства накшбендиев, властно подставляя для подаяний черные кокосовые чаши. Кто решится отказать каландару? Они не берут ничего из подаяний себе, они все сносят в единую чашу своему наставнику, а тот распределяет между ними собранное во имя божие с пользой для себя. Горе тому, кто обидит каландара, — улицы города узки, малолюдны, а посохи каландаров остры, как копыя, — страшно смертному встретить оскорбленного каландара, если братство каландаров разрешит своему брату утолить обиду и показать гнев.

В стертые до блеска чаши из желтых тыкв принимали подаяния дервиши других братств.

Заскорузлые, мозолистые ладони протягивали нищие, потерявшие зрение или руку и за то отринутые своими цехами; земледельцы, согнанные сильными людьми с отчей земли; странники, лишенные крова и родины.

Богобоязненные мусульмане расточали свои даяния разборчиво: падало серебро — пухленькие теньги, маленькие теньгачи, прозванные «мири» княжескими — или «акча» — беленькими, — падало серебро в кокосовые чаши опасных и зорких каландаров; падала медь — большие, темные «фулусы», небольшие ним–фулусы — полушки, маленькие «пулы» — грошики, — падала со стуком медь в глубокие тыквы; обломки черствой лепешки или слова благих пожеланий доставались прохожим нищим.

А в харчевнях уже попевало мясо на углях, в котлах закипала густая утренняя похлебка; в деревянных решетках, объятые горячим паром, наполняя воздух запахом баранины и лука, варились большие кашгарские пельмени; на широких плетенках поблескивали горячим маслом только что вынутые из

глиняных жаровен треугольные пирожки. Эта утренняя пища тут же распродалась. Приказчики торопливо доставляли ее своим хозяевам, — не бросать же купцам торговлю ради пирожков или чашки с похлебкой, да им и достоинство не позволяло начинать торговый день в харчевне: у кого настоящее дело, тот встречает свой день при деле, а в харчевню с утра идут лишь бездельники да всяких иных званий люди, коим нечего терять в самый деловой час дня.

А ремесленники по своим мастерским обходились одной горячей лепешкой да чашкой холодной воды. Но и от той лепешки приходилось отламывать кусок дервишу, другой убогому, а остальное делить с нищими, среди которых всегда находились либо давние товарищи, либо незадачливые друзья.

Немало народу ело и в самих харчевнях, поглядывая, как мимо проезжают нарядные, надменные всадники, сопровождаемые пешими конюхами, пешими стремянными и слугами: чем больше слуг окружало всадника, тем благосклоннее, в знак своего достоинства, отвечал он на поклоны встречных. Ехали родичи Тимуровых вельмож, давно готовые сами стать вельможами. Медлительно проходили богословы или пожилые начетчики, памятуя, что торопливость тешит дьявола и гневит бога, ибо, как ни торопись, предназначенное тебе сбудется, а что не суждено, то не достанется. Шли в накинутых на голову глухих халатах женщины позади своих мужей, или предшествуемые возросшими сыновьями, или сопутствуемые столь же плотно закрытыми старушками. Проезжали начальники Тимуровых войск, дразня глаза праздношатающегося люда, городских гуляк и зорких купцов индийскими украшениями на оседловке ли коней, на одежде ли, на вооружении ли; простым воинам запрещалось появляться в городе с оружием, кроме короткого ножа для разрезания мяса и дынь.

Индия... Индия!

У всех она была на уме, все говорили, толковали, шептались, молчали и мечтали о ее сокровищах, о несметной добыче, захваченной там и еще не довезенной до Самарканда, двигающейся где-то по караванным путям, на горбах тысяч верблюдов.

Индия!

В рядах тревожно гадали о товарах, какие оттуда придут. Засылали соглядатаев к знающим людям выведать, что везут оттуда, что понадобится туда. Держали наготове деньги, чтобы скупить по дешевке даровую добычу из рук счастливцев, придержать ее, выждать время и не торопясь, помаленьку сбыть по настоящей цене.

Прежние товары неподвижно лежали на складах. Большие купцы сбывали их лишь по мелочам, сбывали кустарям, которым, хочешь не хочешь, приходилось брать то, из чего изготавливали они свои изделия, — медь в кожу, серебро и шерсть, свинец и меха, — не дожидаясь, ни пока подешевеет сырье, ни пока подорожают изделия. Больших сделок никто не совершал: Индия!

Все напряженно следили за движением караванов оттуда, боясь упустить счастливый час, которого уже не воротишь долгими годами мелкой торговлишки.

Торговцы почтительно кланялись большим купцам: ведь многие из них вот-вот еще выше поднимутся на горах обильных прибылей, а мелкоте базарной еще неизвестно, достанется ли и мелкий-то барыш! И купцы шли благодушные, уверенные в своих планах и расчетах, ожидая индийских богатств в свои руки, как случается предвкушать угощение, идя в гости к хлебосольному хозяину; шли, распахнув дорогие халаты, чтобы все видели, что в этакое добре дома у них недостатка нет.

В одной из людных харчевен сидел еще бурый от дорожного ветра конопатый Аяр, любопытствовавший после базаров Бухары и далекого Термеза взглянуть на самаркандский базар.

В харчевне теснились воины, отпущенные на день из ближних станом; дервиши, обособлявшиеся по

укромным углам или у темных стен; пригородные огородники, успевшие сбыть свой урожай перекупщикам; старшины цехов, зашедшие встретиться и потолковать с мастерами, забредшими из других городов; богословы — ученики в пышных чалмах и заношенных домотканых халатах, обходившиеся вареным горохом в ожидании доходных мест; конюхи больших купцов и сановников — покрасоваться обносками, доставшимися от хозяев; перепелятники, восхвалявшие ярость своих питомцев, дремавших за пазухами либо глядевших змеиными головками из хозяйских рукавов.

Все здесь говорили каждый о своем, похваляясь либо жалуясь, бахвалясь либо сетуя. И каждый неприметно, как перепел из рукава, настороженно подглядывал и подслушивал, каждый чаял вырвать хоть клочок шерсти из чьих—нибудь нерасторопных рук в свою руку.

Помалкивали лишь дервиши, зорко вглядываясь в соседей, чутко вслушиваясь в людские разговоры.

Один из городских гуляк от нечего делать лениво расспрашивал Аяра, хороши ли на термезском базаре дыни:

— Там небось против нашего тишина. Чем там торговать — пылью да мусором?

Время от времени опасливо проверяя, не растрепалась ли борода, с достоинством поддерживал разговор Аяра, привычный к таким случайным беседам в случайных местах:

— Какая может быть там тишина, когда это на пути в Индию?

— Сейчас туда кто едет? Всякий оттуда едет, оттуда добро везет.

— Не думаете ли вы, что дорога отсюда туда не годится, чтобы ехать оттуда сюда?

— Верно! — засмеялся собеседник. — Мне это не пришло в голову. А кто едет сюда оттуда? Караваны, говорят, еще не дошли до Балха.

— Караванов много. И в Термезе уже стоят, а перед моим выездом из Бухары уже и туда дошли два больших каравана.

— В Бухару?

Аяра спохватился — не сказал ли лишнего? Но потрогал бороду и успокоился: ему никто не наказывал помалкивать о караванах.

— Да, из Индии.

Один из дервишей поставил свою чашу и, опустив над ней иссиня—черную курчавую бороду, замер: это была новость!

Аяра и не догадывался, как долго ждали эту весть на самаркандском базаре. Индия!

Но рассеянный собеседник тотчас забыл о ней, заглядевшись, как осанисто ехали к своим складам именитые купцы, красуясь статными конями арабских кровей, сжимая в руках плетки, будто рукоятки сабель, плетки, либо унизанные крупными зернами бирюзы, либо увенчанные бадахшанскими рубинами. На базаре знали, что не только эту вот плетку, а и добрую половину кожевенных запасов Самарканда держит в руке Мулло Фаиз; а у Саманбая запасено мехов чуть ли не на всех скорняков самаркандских. Такие владеют складами, где лежат у них тюки кож, сукон, шелков: привозных, местных, всяких товаров.

Сидя в караван—сараях возле своих складов, они покупают и продают, не сходя с места, доверяя дела приказчикам или родичам, коим и надлежит знать торговое дело и уметь за полушку купить телушку.

Но Аяра и собеседник его забыли и о купцах и друг о друге, когда уйгур подал им белую трепещущую лапшу с горячей острой подливкой.

А кожевенник Мулло Фаиз сошел с седла, отдал повод подоспевшим слугам и, неторопливо

приветствуя окружающих, сел на ковер перед своим складом в богатом караван-сараяе Шамси-нур-ата.

Вскоре один из каландаров протянул ему кокосовую чашу за подаянием, опустив над чашей иссиня-черную курчавую бороду и потупив глаза.

Не глядя на дервиша, Мулло Фаиз кинул ему полушку.

— Мало! — сказал монах.

Мулло Фаиз насторожился. Вторая полушка стукнула медью о черное дно.

— Мало! — повторил монах.

Оглядевшись, не замечает ли кто их разговора, Мулло Фаиз пробормотал:

— Молись за меня!

Монах ответил ему нараспев, будто читая молитву:

— Караваны из Индии вошли в Бухару.

— Давно?

— Четыре дня назад.

— Что везут?

— Не знаю.

— Велики? |

— Не знаю.

— Молись за меня!

И Мулло Фаиз кинул в чашу серебряную теньгу.

Дервиш огладил ладонями кудри своей бороды, бормоча славословия богу, и еще не успел отойти от купца, как Мулло Фаиз, стараясь скрыть от недобрых глаз беспокойство, кликнул своего хилого, оборванного приказчика и послал его разузнать по базару, не приезжал ли кто из Бухары.

За этим разговором небрежно ответил Мулло Фаиз на сердечный поклон Мулло Камара, маленького, не старого, но уже и не молодого, еще не седого, но уже и не черного, какого-то серого, одетого в простой серый халат с туго повязанной серой чалмой на маленькой голове, мелкими, суетливыми шагами проходившего мимо обремененного торговыми заботами осанистого Мулло Фаиза.

Мулло Камар прошел, опираясь на простую палочку, в конец Кожевенного ряда, где позади лавчонок жил он в низеньком темном маленьком караван-сараяе, жил в неприметной угловой келье и целыми днями просиживал у ее порога, не имея в рядах ни лавки, ни палатки, ни даже своего места. В тот дальний угол старого караван-сарая в Кожевенном ряду изредка на протяжении дня к нему заходили неприметные базарные людишки или заглядывали дервиши за подаянием. Даже привратника не было на этом дворе, а служил лишь мальчик Ботурча для уборки двора и на посылки немногочисленных здешних постояльцев.

Пройдя к своей келье, Мулло Камар вынес из ее полумрака на свет небольшую истертую козью шкуру и узкую, в потемневшем переплете старую книгу. Покряхтывая, он сел и раскрыл желтые, словно восковые, страницы стихов Хафиза и с явным наслаждением, как смакует глоток за глотком редкостное вино, углубился в них.

Вскоре к нему пришел длинный, как лезвие меча, узконосый человек с глазами, столь близко сдвинутыми, что иной раз казалось, будто они соприкасаются над переносицей.

Он наклонился над Мулло Камаром и, глядя куда-то вдаль, в одну точку, заикаясь сказал:

— По базару прошел слух: до Бухары из Индии уже дошли два каравана.

Осторожно, бережно отложив на край шкуры книгу, Мулло Камар заговорил с пришедшим, которого на базаре звали Саблей.

— Так, так. Караваны те выючились в Балхе. Мне об том давно дано знать. А знают на базаре, чего везут?

— Из сил выбиваются узнать, да неоткуда.

— Так, так...

Мулло Камар сидел молча, лишь под одним из усов чуть сверкнула быстрая усмешка.

В ворота заглянул дервиш, нараспев восхваляя пророка, но благочестивый напев глохнул в тесноте двора и не возносился, а ударялся о низенькие створки ветхих дверей, как чад перед непогодой. Никто дервишу не откликнулся, никто не кинул ему подаяния, пока не дошел он до Мулло Камара.

Остановившись возле козьей шкуры, он было возгласил молитву, но Мулло Камар, деловито и спокойно глянув дервишу в глаза, перебил:

— Святой брат!..

Дервиш прислушался, продолжая молитвенно покачивать головой.

Мулло Камар достал и подержал перед глазами дервиша большую серебряную деньгу, украшенную тамгой Тимура — тремя кольцами, сдвинутыми в треугольник. За такую деньгу на базаре давали двадцать восемь ведер ячменя, за такую деньгу продавали барана. Дервиш навострил ухо.

— Святой брат! В Бухару вошли первые караваны из Индии...

Дервиш, затаив дыхание, молчал; Мулло Камар повторил:

— Из Индии. Двести верблюдов. Везут кожи. Кожи везут. Запомнил? Молись за меня.

И деньга, блеснув белой искрой даже в тусклом свете этого двора, скатилась в чашу дервиша.

А дервиш, будто и не останавливался у козьей шкуры, пошел дальше, воспевая похвалы пророку, мимо притворенных либо запертых на замок низеньких темных дверей, вышел за ворота и вскоре оказался в самой гуще людного ряда.

Едва дервиш ушел, Мулло Камар зашел к себе в келью и позвал Саблю вслед за собой. Там он достал плоский, как хлебец, маленький сундучок, в какие-то давние времена разукрашенный искусной кистью: среди румяных роз на синих листьях пели красные соловьи.

Мулло Камар велел Сабле пересчитать все, что хранилось в сундучке, а потом отдал сундучок Сабле, и тот длинными пальцами ловко завернул его в свой кушак, будто и не сундучок у него в узелке, а пара хлебцев.

В это время застенчивый приказчик Мулло Фаиза толкался среди торговых рядов, прикидываясь восхищенным то китайскими чашками, то исфаринскими сушеными персиками, будто невзначай выпрашивая, не приезжал ли кто из Бухары.

Пренебрегая разговором с таким оборванцем, торговцы отвечали ему неохотно и не сразу. Не легко удалось ему разузнать, что накануне перед вечером в караван-сарай на Тухлом водоеме прибыл из Бухары армянский купец Геворк Пушок.

Приказчик знал в этом караван-сараяе привратника Левона и присел у ворот, дожидаясь, пока Левон

управится и выглянет.

- А! — удивился Левон. — Чего сидишь?
- Шел мимо. Жарко. Отдыхаю.
- Вижу, богаче не стал.
- При такой духоте в дырявом легче. Что нового?
- Ничего достойного.
- Новые гости у вас есть?
- На то и караван-сарай.
- Откуда?
- С торговых дорог.

Левон отвернулся, собираясь уйти во двор.

Приказчик достал пару грошей, похожих на сплюснутые катышки:

- Нашел по дороге, не знаю, куда деть?

Левон подставил ладонь:

- Дай посмотрю.

Перекатывая жалкие черные гроши с ладони на ладонь, Левон пожаловался:

- Вчера прибыл один с Бухары, да скуп.
- А что говорит?
- Насчет чего?
- Караваны туда не приходили?
- Караваны-то?
- Да-да, караваны.
- Какие?
- Из Индии.

— Ах, караваны? И, милый мой, сколько их идет со всех сторон во все стороны. Идут, идут. Одни отсюда, другие оттуда. Под звон караванов один самаркандский певец песни поет, как под звон струн, с рассвета до ночи. Тем и кормится. Прислушайся-ка: звенят несмолкаемо, звенят и звенят, идут и идут. Тем и кормятся!

- Певец-то?
- Да и народ.
- Верно. Теперь караванов много.
- В том-то и дело.
- Ну и что ж?
- Певец вот кормится, а нам что? Какая от них польза? Остается одно: двор подметать.

И опять Левон, взявшись за веник, помыкнулся уйти прочь от ворот. Но приказчик опять удержал его:

- А у меня еще одна находка! — и показал медную полушку.

Левон волосатым пальцем прошмыгнул под усами:

- Не велика...
- Как сказать!..
- Да как ни говори!
- А есть?
- Смотря по деньгам.
- Удвоим.
- Должны бы быть.
- От самого слышал?
- Не со мной разговаривал: однако так и есть.
- И много?
- Не считал.
- А если прибавить?
- Врать не буду.
- А чего везут?
- Не глядел.
- Прибавлю!
- Из твоего доверия выйду, если скажу.
- Не надо. Бери свое.
- Спасибо. Наведывайся.

На том и расстались.

Но пока тянулся этот разговор, лавочник по прозвищу Сабля открыл свою темную, глубокую, тесную, как щель, лавчонку, где торговал пучками вощеной дратвы, варом и всякой сапожной мелочью.

Сев с краю от своих товаров, он под коврик позади себя поставил плоский сундучок и прикрыл его, чтоб в глаза не бросалось.

Мимо шли покупатели с яркими либо линялыми узелками, куда увязаны были их покупки.

Провели из темницы узников, закованных в цепи, почти нагих, изможденных, обросших клочьями диких волос. Их сопровождал страж; в желтые долбленые тыквы они собирали подаяния, принимая их руками, изукрашенными драгоценными кольцами. Это были родичи кочевого лукавого хана, лет за десять до того казненного по приказу Тимура. В снисхождение к их царственной крови, как к потомкам Чингиза, Тимур дозволил им вдобавок к скудной темничной еде собирать подаяния на самаркандском базаре и оставил им на пальцах редчайшие алмазы и лалы, дабы своим видом напоминали они народу о победах Тимура и о том, что Тимур не жаден на чужое достояние, но щедр и снисходителен.

Сабля бросил им старый позеленевший грош и отвернулся, уловив кислый тюремный запах.

Дервиш, проходя мимо, протянул гнусавым напевом:

- Двое больших мусульман смутились духом...
- Бог с ними! Мы им поможем!.. — ответил Сабля и ничего не бросил дервишу, да тот и не

протягивал ему своей чаши. Дервиш деловито направился в глубь кожевенных рядов и там подошел к Мулло Фаизу:

— Во имя бога милостивого, милосердного...

— Бог поможет, а я с утра...

— Щедрость украшает мусульманина.

— Излишнее украшение обременяет! — рассердился Мулло Фаиз, которому сейчас было не до богоугодных дел.

— Два каравана в Бухаре!

Мулло Фаиз насторожился:

— Я всегда щедр во имя божие.

Дервиш протянул ему чашу. Медь глухо ударялась о широкое дно.

Дервиш быстро выплеснул полушку обратно на ковер Мулло Фаизу:

— Помолюсь о ниспослании истинной милости творцам истинной щедрости. Деньги подобны зернам пшеницы: чем гуще посев, тем изобильнее жатва.

— Была бы земля плодородна!

— Она вся вспахана, обильно полита, озарена сиянием бога истинного, милосердного...

Кто слышал слова дервиша со стороны, казалось, он занят набожным, нескончаемым славословием бога, — напев его звучал для всякого так привычно, что в слова этого напева уже давно никто не вникал.

Мулло Фаиз не без сомнения всыпал в чашу сразу три гроша.

— Мало.

— Верное дело?

— Мало посеешь, — пожалеешь, когда жатве настанет время. Сокрушение иссушит душу твою, и воскликнешь: о, если б вложил я, смертный, каплю солнца в ниву сию, ныне взял бы я урожай золотой пшеницы.

— В самом деле?

— И то мало.

Но отдать серебряную теньгу Мулло Фаиз поспешил. Нехотя он бросил дервишу одну беленькую — четверть теньги.

— Два каравана из Индии.

— Если только его...

И рука Мулло Фаиза потянулась было всунуться в чашу за своим серебром. Но дервиш отвел чашу от протянутой руки в сторону:

— Беседуем мы о золотом посеве, а ты и единое зерно норовишь с корнем выдернуть!

— Но это мне уже известно!..

— Число знаешь?

— Без обмана?

— Как милосердие божие...

— Ну?

— Два по сту.

— А товар?

— Один корыстолюбец тщился с одного зерна пожать два урожая за один год. Но бог милостивый, милосердный...

— Охо! До урожая—то сеятель исчахнет от нужды да от...

— Виден человек, начитанный в книгах. Однако сеятели, хирея в нужде, доживают до урожая: иначе кто собрал бы урожай с полей, коим милостивый...

Поеживаясь и не заботясь о своей осанке, Мулло Фаиз достал еще одну беленькую, но, прежде чем расстаться с ней, переспросил:

— Еще неизвестно, годно ли сие зерно для моей, для моей, Мулло Фаиза, нивы...

— Клади!

Рука Мулло Фаиза сразу ослабела, беленькая капелька серебра выкатилась из ладони, но чаша дервиша своевременно оказалась на ее пути. Округлившиеся глаза Мулло Фаиза приблизились к носу дервиша:

— Смотри, святой брат! Неужели кожи?

— Мало жертвуешь.

— Э! От твоих слов сундук мой не тяжелеет, а...

— А без моих слов он вовсе рассыпался бы.

— Молись за меня! — И Мулло Фаиз, чтобы скорее отвязаться от дервиша, подкинул ему еще несколько подвернувшихся грошей, не заметив, что с ними попали и еще две серебряные капельки.

Мулло Фаиз, растерянно озираясь, еще не успев сообразить, с чего начинать спасение своих сундуков, заметил приказчика, скромно присевшего в сторонке.

— Ну?

Приказчик не без предосторожностей, чтоб посторонним ушам не услышалось, сообщил:

— Слух верен. Есть караван.

— А что везет?

— Это неизвестно.

— А почему?

— И это неизвестно, ежели неизвестно что...

— А сколько?

— Не говорят.

— Ах, боже мой! — Но гнев Мулло Фаиза не успел войти в оболочку слов, как Мулло Фаиз вдруг понял, что надо спешить, пока весть о таком потоке кожи не дошла до ушей базара. Тогда цены на кожи настолько упадут, что весь склад Мулло Фаиза станет дешевле одной лавчонки сапожника.

— Беги на базар! Слушай, выпытывай, не надо ли кому кож. Из кожи лезь, — сбывай кожи!.. Нет, стой! Пойду сам.

Торопливо, но стараясь сохранить степенность, отчего еще больше путался в полах своих раздувающихся халатов, он кинулся по рядам.

В кожевенных рядах купцы дивились, глядя, как Мулло Фаиз сам снизошел до их лавчонок.

— Не надо ли кому кож? — спрашивал он.

Но торговцы удивлялись: если б им понадобились кожи, всякий нашел бы Мулло Фаиза. И догадывались: что-то случилось, если Мулло Фаиз сам побежал распродавать свой склад. Он увеличил сомнения и любопытство, приговаривая:

— Недорого отдам. Уступлю против прежнего.

— А почему?

— По сорок пять вместо прежних пятидесяти.

— Обождем.

— А ваша цена?

— Мы не нуждаемся.

Но Сабля, спокойно восседая с краю от своих жалких товаров, небрежно спросил:

— Кожи, что ли, Мулло Фаиз?

— Продаю.

— Дорого?

— Сорок пять против прежних пятидесяти.

— Почему скинули с пятидесяти?

— Хочу товар перевести в деньги. Жду товаров из Индии.

— Все ждем. Везут!

— В том-то и дело.

— Садитесь.

— Некогда.

— Садитесь, говорю.

— Берете?

— Смотря по цене.

— Я сказал.

— Шутите? Цена пятнадцать.

— Это не дратва. Лучшие кожи: волжские есть, есть монгольские.

— Против индийских, думаю, это дрова, а не кожи.

— Индийских?

— Вы разве не слышали?

— А вы уже пронюхали?

— О чем?

Мулло Фаиз спохватился и деловито спросил:

— Берете или шутите?

— Зачем шутить? Цена пятнадцать.

«Неужели уже знает?» — покосился кожевенник на Саблю. Но ответил с прежним достоинством:

— Скину до сорока.

— Больше пятнадцати не дам.

— Тридцать пять! — воскликнул Мулло Фаиз, сам не слыша своего голоса, оглушенный твердостью, с какой Сабля называл эту небывалую, ничтожную цену.

— Я не толковать, не торговаться пригласил вас, Мулло Фаиз, — солидно, как первейший купец, осадил Сабля богатейшего кожевенника Самарканда, — я беру, плачу наличными. Цена — пятнадцать. Завтра будет десять. Но завтра кож ни у кого не останется, а мне надо взять.

— Разве другие уже продали?

— Кто еще не продал — продаст. Пятнадцать лучше десяти, не так ли?

— Да?..

— Если говорить о кожах, а если о грехах, — десять лучше пятнадцати!

— Мне не до шуток.

— Потому я и держу деньги наготове.

— Двадцать! — вдруг решился Мулло Фаиз.

— Больше пятнадцати не дам.

Отказ от такой неслыханной уступки и небывалая на самаркандском базаре твердость Сабли убедили Мулло Фаиза, что дела плохи и надо спешить.

— Берите!

— Сперва глянем, хорош, ли товар. Да и сколько его там?

На душе у кожевенника стало еще тревожней. Товар был хорош, он всю жизнь торговал кожами. Дело это перешло к нему от отца, семья их занималась этой торговлей исстари: сказывают, прадед еще от Чингиза кожи сюда возил. Мулло Фаиз плохими товарами не торговал, лежалого сбывать не мог: тогда от него ушли бы покупатели, а большой купец без покупателей — как голова без туловища. Прежде он не позволил бы чужому человеку даже через щель заглядывать к себе на склад и тем паче рыться у себя на складе, но теперь и весь склад отдан, и товар продан весь, до последнего лоскута, и уже не выгонишь чужого приказчика со своего склада.

Сабля, между тем, позвал:

— Эй, Дереник!

Из-за лавчонки высунулась голова длинноволосого армянина. Сабля распорядился:

— Огляди-ка товар у купца, — каков, сколько.

— Не долго ли он будет ходить? — встревожился Мулло Фаиз, заметив, что к Сабле направляется остробородый, худой, как костяк, старик Садреддин-бай, опережая своими костями раздувающийся легкий халат.

— Слышал, кожи берете? — спросил, подходя, Садреддин-бай у Сабли, мраморными глазами вглядываясь в ненавистного ему Мулло Фаиза.

— Если цена подойдет! — ответил Сабля.

— А почему положите?

— Сегодня пятнадцать! Завтра десять.

Старик так резко сел на край лавки, что раздался треск то ли досок, то ли костей.

— Почему? — переспросил он, и показалось, что ухо его вытянулось, как хобот, к самому рту Сабли.

— Как взял у Мулло Фаиза, так и вам предложу: пятнадцать.

Садреддин-бай осипшим голосом просвистел Мулло Фаизу:

— И вы отдали?

С достоинством, гордо и даже как будто весело, не желая терять лица перед извечным соперником, Мулло Фаиз подтвердил:

— Отдал!

— Зачем?

— Деньги получить.

— Зачем?

— Чтобы спасти их! — с отчаянием признался Мулло Фаиз.

Садреддин-бай, известный на весь Самарканд своей скаредностью, торопливо просипел:

— И я отдам. Но по той же цене. Меньше не возьму.

— Пятнадцать? Не много? — как бывалый купец, подзадорил старого купца Сабля.

— Окончательно!

— Ну, уж ради первой сделки... ладно! — согласился Сабля.

От Сабли пошли вместе, удивляя этим весь базар, никогда до того не узнававшие в лицо друг друга Садреддин-бай и Мулло Фаиз.

— Куда теперь деть эти деньги? — размышлял Мулло Фаиз. — Я, кроме кож, ничем не торговал.

— Отец мой торговал с Индией...

— Чем?

— Нашим шелком.

— Так и сделаю! Закупаю наши шелка. А вы?

— Надо спасти деньги! Предлагаю складчину. Закупим наших шелков на всю наличность, пока базар не опомнился.

Мулло Фаиз решительно согласился.

На одном из складов с шелковым товаром они долго торговались, но, несмотря на уступчивость шелковщика, денег у них достало лишь на несколько жалких кип.

После покупки скаред Садреддин-бай пригласил Мулло Фаиза к себе в гости, и, прежде считавший ниже своего достоинства ходить по чужим домам, Мулло Фаиз радостно принял приглашение, как единственный просвет за все это хотя и солнечное, но столь страшное утро.

Теперь им оставалось ждать дней, когда Индия предъявит спрос на полосатые бекасамы Самарканда,

и тогда заработать по сто за десять. Тогда дело пойдет еще веселей, чем шло до сего времени.

После полуденной молитвы по всему базару толковали и шептали, что Сабля скупил за утро все кожевенные запасы по всему городу.

— Сабля? Постой, постой... Откуда у него деньги?

— Платил наличными!

— Сабля? Наличными? За всю кожу в городе? Тут что-то не то!

Но как ни прикидывали, не смогли распутать этого узелка.

А Сабля пришел к Мулло Камару и отчитывался в своих покупках, возвратив хозяину опустелый сундучок.

Мулло Камар обстоятельно допросил своего приказчика, не ускользнул ли хоть один крупный кожевенник из их рук.

— Нет! — твердо отвечал Сабля. — И мелких-то почти всех опорожнили.

— Ну вот видишь, как помогает испуг торговле! — пробормотал, запрятывая свой сундучок, Мулло Камар.

В Кожевенном ряду, тревожась за свои товары, обувщики избрали двоих почтенных купцов и просили их выведать, какие кожи везут из Индии, какая ожидается на них цена и когда их можно ждать.

Весь базар к этому времени уже знал, что накануне из Бухары прибыл армянский купец и остановился, по обычаю всех армян, в караван-сараяе у Тухлого водоема.

К нему и направились послы Кожевенного ряда порасспросить о бухарских делах. У Левона узнали, что армянин еще никуда не выходил: с утра мучила его лихорадка, а теперь отпустила, и он пьет кумыс.

Армянин, слышав голоса у ворот, сам вышел из низкой дверцы. Глядя обувщикам навстречу, он стоял в черном высоком шерстяном колпаке. Длинные волосы вились из-под колпака пышными завитками, и темные до синевы кудри мешались с кудрями яркой, голубой седины. Его узкий синий кафтан был перехвачен широким малиновым кушаком, а из-под широких распахнутых пол кафтана сверкали радостными, как праздник, узорами толстые шерстяные чулки. Весь он, маленький, коренастый, упругий, казался мягким и легким. Его бородатое лицо, большие, как у верблюжонка, глаза, круглые, темные губы все гостеприимно улыбалось обувщикам, и он словоохотливо заговорил с ними.

После долгих поклонов и добрых пожеланий, как это всегда бывает между людьми разной веры, чтобы убедиться во взаимном расположении, обувщики спросили о караванах из Индии.

Левон насторожил ухо.

Армянин, не таясь, попросту признался:

— Я сам видел первые два каравана.

— Два? И велики?

— По сотне верблюдов.

— Ну, не так велики! — успокоился один обувщик.

— У нас ходят и по тысяче! — гордясь перед чужеземцем размахом самаркандской торговли, воскликнул другой.

— Невелики-то невелики, да и товар таков.

— Каков? Кожи ведь!

— Кожи? Из Индии?

— А что?

— Откуда ж там кожи? Никогда Индия кожи не вывозила; сама брала.

— Это верно! — переглянулись купцы. — Об индийских кожах слыхивать не приходилось.

— Да их там и не было! Мы же ей через Хорезм закупали, — восклицал армянин, — еще отцы наши. А я за ними до Волги, даже до Москвы езжу.

Армянина явно разморила лихорадка, а может быть, и кумыс.

— А что ж везут?

— Шелк.

— Шелк?

— В Индии ведь теперь лет на сто о шелках забудут: до шелков ли ей! Вот и вывозят. Здесь сбывать.

— У нас свои есть.

— Свои теперь задаром никто брать не станет: вы индийских шелков разве не видели?

— Видывать—то видывали, да цена—то на них — не приступишься.

— Ну, теперь только бери. Даровое не жалко.

Обувщики снова переглянулись; каждый подумывал, не встретить ли на полпути такой караван, да и перекупить. А где достать денег? Да и выждать придется, пока цена станет. До году выждать. И то если взять весь товар, тогда можно цену удержать, иначе расчета нет...

Головы их быстро работали, а языки говорили что—то совсем другое.

— Так вы ведь обувщики! — сказал армянин, разгадав их мысли, заслоненные водопадом слов.

— А что?

— А кожевенники у вас богаты товаром?

— Откуда? В прежние—то разы вы сами привозили кожу.

— Кожу? Кожу—то я везу, да я еще и у вас прикупил бы.

— По чему? — замерли обувщики.

— А какая у вас цена?

— Стояла по пятьдесят, да кончилась.

— Я взял бы хоть по семьдесят. Сколько бы ни было!

Обувщикам показалось, что снится им сон.

— Зачем?

— Ваш государь скоро пойдет в новый поход.

— Слух такой был. Сегодня с утра у него в саду послов принимали, а после совет собрался.

— Войскам, что из Индии шли, приказано остановиться. Тем, что до Аму дошли, велено через реку не переправляться. Тем, что дошли до Бухары, стоять в Бухаре. Остальным — остановиться там, где находятся.

— Верно. Из тех, что с повелителем сюда дошли, никого не распускают. Это похоже на новый поход.

— А кожи при чем? — любопытствовал другой обувщик.

— Ежели новый поход, понадобится новая обуша на всех. Так? — рассуждал совсем разомлевший армянин и сам отвечал: — Так! Ежели остановлены в Балхе, значит, поход не на север пойдет? Так? Так! А ежели не на север, придется обойтись той кожей, какая есть под рукой. Так? Так! Ведь босыми пятками вашим воинам сверкать негоже? Нет, негоже! А значит, сколько за нее ни спроси, возьмут. Так? Вот и цена!

— Такой не было!

— Такого и войска не было. Оно с каждым походом растет. Как русские поют: одного ордынца разрубишь, два ордынца встают. Теперь у вашего государя такая сила, что, стой она без войны, она все ваше царство съест. Теперь ей надо без передыха воевать. А чтобы ей идти, ей обуша нужна, а на обушу — кожа. Так?

Узнав о словах армянина, каждый попытался сохранить их для одного себя, втайне. Но мгновенье спустя знали уже все: на кожу будет небывалый спрос, а по спросу — и цена.

Осторожные обувщики и шорники припрятали свои скудные кожевенные запасы. Башмачники припрятали туфли и сапоги, оставив на полках и ковриках только каблучки и набойки, да и на эту мелочь оживился спрос.

Днем Геворк Пушок сколько ни толкался по тесным базарным переулкам, ни в лавках, ни в караван-сараях уже не видел он ни клочка кожи. И душа его возликовала, хотя и скрывал он ликование и нетерпение на своем лице.

Забрел он в караван-сарай и к Мулло Камару. Мулло Камар вежливо подвинулся на своей истертой коже, но Пушок побрезговал на нее садиться, присел на корточках и, будто невзначай, спросил:

— Не слышали, не продает ли кто кож?

— Кож?

— Нет ли где продажных?

— А цена?

— Прижимать не стану.

— Да и не прижмешь. Сам бы взял, да нету.

— А почем бы взяли?

— У кого товар, у того и цена! — развел руками Мулло Камар.

— Семьдесят.

— Пятьдесят можно дать.

— По пятьдесят вчера было.

— А товару много?

Армянин объявил:

— Тридцать пять верблюдов.

— Он здесь? — оживился Мулло Камар.

— Нет, за городом.

— Как за глаза цену давать? По пятьдесят взял бы.

— Кожи ордынские.

— Из Бухары—то?

— В Бухаре лежали, а завезены с Волги. Сам за ними ездил.

— На самую Волгу?

— И до Москвы доезжал.

— Больше пятидесяти цены не было. Днем по пятнадцать брали.

— Ловко кто—то закупку провел.

— Ловко! — согласился Мулло Камар.

— Однако по городу кое—кто придержал! — забывая о своих интересах, не без злорадства похвастал Пушок своими сведениями.

— Каждый спешил продать; кто станет прятать? — насторожился Мулло Камар.

— Саблю знаете?

— Саблю? — переспросил оторопевший Мулло Камар и, чтобы скрыть тревогу, сделал вид, что с усилием припоминает: — Сабля... Сабля...

— Который дратвой...

— А что?

— Пятьдесят кип из покупки отобрал наилучших и велел припрятать.

— Кому ж это велел?

— Одному армянину.

— Ну, едва ли...

Пушку показалось обидным, что какой—то серенький торгаш не доверяет его осведомленности.

— Я—то знаю: его приказчик Дереник..

— Путает что—нибудь.

— Сам же он отвез к нему на двор.

И вдруг во просиявшем лице Мулло Камара Пушок понял: не следовало бы говорить того, что сказано; того, что по молодости доверено Дереником Геворку Пушку, как соотечественнику; да и свой товар не так легко сбывать, если по базару пойдет слух, что в городе есть непроданные кожи...

— Лихорадка замучила! — вытер внезапно вспотевший лоб армянин. — Вот я и разговорился. Да вам—то я верю: вы человек тихий.

— А зачем шуметь? Базар шумит, а купцу надо помалкивать.

— Опять лихорадка! Пойду полежу! — И Пушок пошел, обмахиваясь влажным платочком.

А Мулло Камар, сидя на истертой козьей шкуре, терпеливо ожидая чего—то, известного ему одному, медленно перелистывал стихи Хафиза и некоторые из них читал нараспев, вслушиваясь в тайные созвучия давно знакомых газелл:

О, если та ширазская турчанка

Моим захочет сердцем обладать,

Не поспеплюсь за родинку на щечке

Ей Бухару и Самарканд отдать...

Третья глава

КУПЦЫ

Мулло Камар читал Хафиза, вслушиваясь в тайные созвучия лукавых газелл.

Базар кипел за воротами. Там пересекались дороги всего мира. Со всех сторон купцы тянули сюда свои караваны. Через пустыни и степи, через леса и горы везли сюда купцы все, чем красны самые дальние города, чем славны умелые руки мастеров в чуждальних странах.

На пути подстерегала купцов корысть иноземных владык, удаль разбойных племен, зной в безводных песках, волны в бездонных морях, скользкие тропы в горах над безднами.

Но купцы шли, шли и тянули свои караваны сюда, чужая за тысячи верст запах самаркандского золота, хотя и клялись простодушным, что деньги не пахнут.

Пахнут! Пахнут костями, истлевшими под сухой полыньей степей; кораблями, сгнившими на песчаных берегах морей; падалью на караванных путях; удалью на званных пирах; тяжелой кровью земледельцев; ременной плетью землевладельцев; нарядами и усадями; жирной едой да чужой бедой.

Не радостен — горек и тяжел этот запах, не с веселым сердцем — с тревогой, с опаскою, нетерпеливо приюхиваясь, тянутся на его зов купцы по всем дорогам, сквозь все бездорожья вселенной на самаркандский базар.

И легко становится на купеческом сердце, когда ступят пушистые ноги каравана на землю амира Тимура, — далеко растеклась молва, что на его земле путь купцам безопасен: стоят на торговых путях крепкие караван-сарай с запасами воды, еды и корма. Никто тут не посягает на купеческое добро, никто не мешает торговым людям, — все открыто для них, завоеваны для них безопасные дороги во все стороны по всем землям Тимура.

День ото дня богаче становится город Самарканд, тяжелеют сундуки у вельмож и купцов самаркандских, а через них полнятся и широкие, окованные булатной сталью, тысячами мечей заслоненные сундуки Тимура.

Оттого и люден, и шумен, как сотни горных потоков, самаркандский базар.

Но упоенного стихами Мулло Камара отвлекла от книги внезапная тишина.

Он подсунул книгу под шкуру, встал, настороженный, и мелкими торопливыми шагами, как ослик, засеменял по двору к воротам.

Незадолго перед вечерней молитвой вдруг смолк весь базарный шум: расталкивая короткими палками народ, в широчайших кожаных штанах, расшитых пестрыми шелками, под большими шапками из красных лисиц, через базар бежали Тимуровы скороходы и, задыхаясь, оповещали:

— Амир Тимур Гураган!

— Амир Тимур Гураган!

В этот обычный день выезд повелителя в город был неожиданным, он всех захватил врасплох.

Купцы кинулись наспех захлопывать свои лавчонки, люди полезли на крыши, на стены, сталкивая одни других, цепляясь друг за друга, прижимаясь к стенам улиц; рабы и купцы, иноверцы и дервиши, богословы и ремесленники, персы и армяне, русские и ордынцы, арабы и китайцы, хорезмийцы и хорасанцы, купцы из Яс, мастера из Тавриза и Ургенча — все перемешались, стиснутые в узкой щели позади пехоты, уже протянувшей перед собой бородатые копы, чтобы освободить проезд.

Все замерли, вытягиваясь друг из-за друга, чтобы хоть на мгновение взглянуть на того, кто после долгих дорог войны проследует сейчас здесь узкой базарной улицей.

Проскакали воины с красными косицами, спущенными со шлемов. И тотчас, не по обычаю, без передовых охранителей, без боковых стражей, один, проехал он сам.

Жемчужная сетка спускалась до глаз по челке поджарого вороного коня. Блеснули тонкие серебряные узоры на голубом сафьяне седла.

Не глядя на народ, он сидел в седле наискось, чуть сутулясь, будто пробивался сквозь неистовый встречный ветер; глаза его сузились, губы тесно сжались; борода плотно прижалась к груди, и смотрел он вперед прямо перед собой, будто готовый, как тигр, прыгнуть на горло того, кого, казалось, уже приметил где-то там, впереди, куда нес его резвым шагом вороной конь.

На несколько шагов позади следовали за ним внуки — любимец Мухаммед-Султан, сын покойного Джахангира, и двое малолетних внуков, сыновей Шахруха, — Мухаммед-Тарагай с Ибрагим-Султаном — на веселых гнедых жеребцах, украшенных золототкаными попонами, золотыми кистями, свисающими из-под конских глоток. Золотые розы и звезды, вышитые на багровых и зеленых бархатах халатов, вспыхивали и сверкали, когда внуки амира проезжали через узкие полосы солнечного света, и тогда казалось, что по базару кто-то расплескивает пригоршни огня.

И лишь поодаль следовал за царевичами двор Тимура, его спутники во всех походах, соратники его и сподвижники. Их было много. И все сокровища их слились в единую блистающую, клокочущую золотом и драгоценностями реку, переполнившую узкое русло извилистой базарной улицы.

Это ехали близкие Тимуру люди, которых ранним утром в тот день видел на дедушкиной террасе семилетний Мухаммед-Тарагай. Весь день они провели у Тимура. То стояли в светлой, высокой зале, пока медленно и пышно, по строго установленному обычаю, длился прием послов; то сидели на коврах, напряженно вслушиваясь в слова повелителя, пожелавшего поставить в Самарканде такую мечеть, какой еще не было и никогда не будет в мире.

Тимур сам говорил, скупое, отрывисто, железными словами, и перед глазами людей вставало это здание, какого еще никто не видел на земле.

Тимур говорил, глядя в узоры ковра, застилавшего пол, словно перед его глазами распростерся мир, исполосованный реками, дорогами, горами, полями, каналами, городами; мир, посредине которого Тимур возвышал сокровищницу всех захваченных им сокровищ мира — Самарканд. И посреди этой сокровищницы теперь, на склоне жизни и на вершине своих побед, собрав вместе все богатства Индии, задумал он воздвигнуть мечеть во славу божию и в напоминание о своей собственной славе.

Тимур говорил, а рядом молча сидел потомок Чингиза, сын хана Суюргатмыша, узкоглазый, почти безбородый, безбровый, суровый Султан-Махмуд-хан, друг Тимура, верный и бесстрашный воин. Храня древнее почтение к Чингизову роду, Тимур никогда не называл себя ханом, — ханом его огромного ханства назывался этот молчаливый, послушный друг. От его имени Тимур чеканил свои деньги, от его имени объявлял указы, если не хотел этих указов издавать сам.

Этим ханом, как прежде отцом этого хана, Тимур, как ладонью, заслонялся от своей славы, хотя с годами она стала так обширна, что эта ладонь уже не могла заслонить его ни от ее прямых ослепительных лучей, ни от ее палящего зноя.

Когда Тимур, досказав свою мечту, взглянул на хана, Султан-Махмуд-хан молча опустил глаза в то место ковра, куда прежде смотрел Тимур. И Тимур спросил:

— Поняли?

Не придворные ответили ему, не хан, не внуки: не их спрашивал Тимур. Ему ответили стоявшие тихо и неподвижно у стен, стоявшие неприметно, позади пышной знати, просто одетые простые люди — зодчие, художники, мастера разных дел, которым из года в год он поручал претворять свои замыслы в каменные громады; неосязаемые мечты — в вечную твердь.

Многое уже было создано этими отборными мастерами обширного ханства дворцы, усыпальницы, мечети, рабаты; многие из их созданий уже сверкали под ясной синевой небес своею словно влажной синевой; высились среди садов, словно застывшие сады. В родном Шахрисябзе Тимур построил дворец, какого никогда не видывали ни в одном из славнейших городов вселенной, построил во славу рода своего. В Ясах уже строили усыпальницу и мечеть над могилой святого хаджи Ахмада Ясийского, на страх кочевникам, на утверждение несокрушимой мощи Тимура...

Теперь задумал он сооружение еще величественнее, еще выше и богаче, не только на удивление и страх врагам, не только во славу своего рода, но во славу самого бога, единственного в мире, кого Тимур еще не смог ни одолеть, ни напугать, и потому единственного, кого сам побаивался.

Тимур поговорил с мастерами, добиваясь, чтобы им ясно стало его желание, но сам их не спрашивал, — он их спросит после, когда, обдумав его слова, они соберутся рассказать ему свои затеи. Он отпустил мастеров и распорядился кормить гостей, а сам с внуками ушел на женскую половину дворца и обедал там.

Но мечта о величественной мечети разгоралась все жарче.

Перед вечерней молитвой ему вздумалось осмотреть место, где зодчие поставят задуманную мечеть. Он приказал расчистить ему дорогу на базарную площадь, велел всем ехать туда за собой и запросто, в домашней одежде, поехал в город.

Так случилось его внезапное появление на базаре.

Он выехал на базарную площадь и остановился посередине, озираясь во стороны.

Под навесами громоздились тяжелые длинные полосатые мешки риса. Вдали зеленели и желтели груды ранних дынь, арбузов, тыкв. Распростерлись ряды круглых корзин, полных, как драгоценными камнями, рубиновыми и янтарными алычами.

Розовато-желтые, золотясь на вечеряющем солнце, раскинулись невдалеке древние холмы Афрасиаба, словно оспой покрытые тысячами могильных холмиков.

Мерцая на солнце голубыми искрами, встали в ряд бирюзовые купола стройных гробниц Шахи-Зинда, от самого верхнего каменного купола над могилой Кусамы-ибн-Аббаса до тех, что укрыли под сводами жен, родичей и друзей Тимура, самых близких ему людей.

Он смотрел, скрывая задумчивость, своим тяжелым взглядом: вот он воздвигнет здесь новые бирюзовые купола. Стены молитв приблизятся к стенам покоя. Он воздвигнет и еще много куполов, дворцов и гробниц над друзьями, чтобы все соединилось здесь, в этом городе, в единый каменный, лазурный, вечный сад на вечное напоминание о нем, который столько стран вытоптал и окровавил, чтобы синеву небес низвести на самаркандскую глину.

Мастера уже ждали его здесь. Они стояли, вглядываясь в его глаза, когда он озираясь по сторонам, и вместе с ним взирали на эти склоны Афрасиаба, где, по преданию, некогда стояли шатры Александра Македонского, когда города еще не было здесь, и на ряды усыпальниц, которым отдано столько вдохновения и мастерства, что мастера, строившие их, уже не боялись даже Тимура, — не опасались ни смерти, ни кары: они уже свершили в жизни своей то, что казалось им смыслом жизни.

Тимур смотрел на тесные ряды лавчонок, на серые коренастые, видно древние, ниши и своды

маленьких мечетей, караван–сараев, бань, где охорашивались около своих гнезд коричневые самаркандские горлинки, и приказал строителям:

— Сройте это. Вам станет видней.

От этих слов заскрипел на своем седле ходжа Махмуд–Дауд, один из знатнейших ходжей Тимуровой державы, — он от всех таил, чтоб не пятнать священного достоинства ходжи, что на этом базаре и на этой площади стоят и его караван–сарай, бани и склады, купленные на чужое имя, и что немало лавочников торгует тут на его деньги.

Будто из снисхождения к торговому люду, он проворчал:

— Тут много разных хозяев. Надо бы сперва с ними со всеми уладить...

Тимур сердито прервал его:

— Хозяин тут один: я! И приказываю тебе, ходжа Махмуд, завтра тут расчистить всю площадь. Сотня рабов с мотыгами и ломami, вот кто тебе поможет, и тысяча хозяев этого мусора не посмеет пикнуть. Понял?

— А убытки?

— Вернут на другом базаре. Пока я воюю, умные купцы не разорятся. А за дураков я перед богом не ответчик!

И величественный ходжа, которому златотканый халат, надетый поверх нижних халатов, мешал, как следовало, поклониться, прохрипел:

— Слышал, государь! Слышал...

Тимур, не слушая ходжу, кивнул другому вельможе, Мухаммеду Джильде.

— А тебе, брат Мухаммед, велю следить за всеми работами. Ходжа Махмуд отвечает, чтоб в свое время, в свой час было здесь у строителей все, что надо. Ты отвечаешь, чтоб в свое время, в свой час каждый строитель здесь делал все, что надо, Слышал, ходжа Махмуд?

— Слышал, государь!

— Слышал, брат Мухаммед?

— Слышал...

— За все отвечаете мне. Мне!

В знак приветия и в поощрение Тимур кивнул мастерам и обратно поехал через базар другими улицами. Проезжая Кожевенный ряд, он уловил крепкий, густой, как дым, запах кож и покосился на кожевенников.

Вдруг в просвете между лавчонками он увидел низкую арку маленького караван–сарая.

В этой арке стоял маленький человек в серой чалме, в сером халате и низко кланялся Тимур, прижав руки к груди.

Тимур, столкнувшись с ним взглядом, кивнул.

Заметив вопрос во взгляде повелителя, Мулло Камар еще раз поклонился и, не дожидаясь, пока мимо проедут, красуясь своим богатством, вельможи, отвернулся от них и ушел в сумеречную тень старого караван–сарая. Читать было уже темно. Не раскрывая книги, он сел на своей истертой козьей шкуре и послал Ботурчу в харчевню за чашкой горячей баранины.

Пытливо глянул на еще светлое небо — не собирается ли темнеть — и крикнул вслед Ботурче:

— Поживей поворачивайся!

А базар дивился: сам Обладатель счастливой звезды, как звали Тимура, удостоил своим взглядом ничем не примечательного, неразговорчивого купца, приезжающего в Самарканд откуда-то из казахских степей, не то из Ташкента, не то из Сайрама, не то из Суганака.

Но ничто из событий этого дня — ни шум, ни тишина, ни хлынувший вслед за тишиной сильнейший шум, — ничто не коснулось уединенного дома, где восседали в небольшой комнате под расписным потолком, среди стен, украшенных нишами и гипсовыми полочками, на шелковистом иомудском ковре, перед шелковой скатертью, хозяин дома Садреддин-бай в его почтенный гость Мулло Фаиз.

Хотя хозяин, из разумной бережливости, не держал в доме хорошего риса, хотя мясо столь запеклось на солнце и обветрилось, что уже не смогло развариться, хотя вина, следуя наставлениям шариата, но вопреки городским обычаям, гостю не подали, хотя каждой рисинкой в этом доме хозяин дорожил, как собственным глазом, и гость и хозяин были очень довольны друг другом, не могли наговориться и друг на друга нарадоваться, — так совпадала каждая их мысль, так общи оказались их желания и надежды.

Общими оказались и тревоги, угнетавшие их: как выдержать товар, как набить ему цену, как не упустить того желанного, вожденного часа, до наступления коего цены еще не возросли до предела, по миновании коего цены пойдут вниз. И как найти то место на земле, где цена на этот товар поднимется в тот час премного выше, чем на остальных базарах мира, как достичь этого места и в целости доставить туда свои товар.

И оба собеседника силились скрыть нараставшую в них тревогу, которая уже сосала их, как змея.

Мулло Фаиз любезно заметил:

— Красив у вас дом!

— Шестьдесят лет стоит. В год моего рождения построен.

— Красив!

— Отец мой торговал шелками; понимал красоту.

— Не тесноват?

— По семье. Простор в городе кому нужен? Город — не степь. В те времена, бывало, хан на год сядет, а за год спешит столько богатств собрать, сколько давние ханы и за сто лет не скапливали. А через год этого хана прирежут, другой садится, опять все сначала идет. До построек ли было!

— А все же дом хорош, построен толково!

— В те годы мастера были редки. От мелких ханов и народ мельчал, и торговля шла мелкая, а барыш держался на случае. Не то что теперь, — торгуй с кем хочешь, вези товар куда хочешь, поезжай куда ни взглянется. Тогда из города выглянуть не всякий смел; караваны с поклажами издалека не ходили; от ночлега до ночлега дойдут, бога благодарят, что живы: за каждым камнем разбойники, в каждом городе — свои начальники, свои порядки. С кого шкуру драть? С кого ж, как не с купца. Пока товар довезут, ему такая цена нарастает, что уж и не знают, почем его продавать, чтобы не разориться. Раз довезут, а два раза — еле живы, нагишом домой добираются. Разве это торговля была? Мученье! Разве на этом разживешься?

— А говорят, в прежние годы, в молодости-то, и повелитель грешил...

— Из-за камушков выглянуть да обчистить? Мог! Да зато потом разобрался: больше расчету нас оборонять, а не разорять. Вон как поднялся.

— Еще бы!

— Да что об том вспоминать. Голова ведь одна у каждого.

— Ну, мы—то друг у друга в доверии!

— Не беспокойтесь. А все же... Да и в торговле по—прежнему: ухо надо держать остро!

— На то и торговля. Надо вперед смотреть.

— Разориться—то и нынче можно; у кого голова с трещиной.

— Верно! Соображать и нынче следует.

— А как соображать? Как вперед заглянуть? Что там увидишь? Дороги стали длиннее, а при длинных дорогах и глазам надо дальше видеть.

— Верно! На том конце длинной дороги караван вышел, а тебе на другом конце надо знать, чего он везет.

— По нынешним делам доходнее самим ездить.

— А вы что же?

— Я—то тяжел на подъем.

— Мне хоть и шестьдесят, я бы поехал, если расчет будет. До Трапезунта дорога спокойная, своя. До Индийского моря через весь Иран — своя. Теперь до Хиндустана ходи без опасенья. На армянские базары езжай, как к себе домой. Золотой Орде прошло время. До Китая вот, правда, своей дороги еще нет.

— Турки османские недавно наших караванчиков порезали.

— Дерзки! Но порезали они не наших, а генуэзцев. Да другие—то генуэзцы с той стороны наемни привезли товар, провезли!

— Видел их. Они до Трапезунта морем доходят. Нам к ним ехать боязно: не мусульманский народ. Как торговать с неверными?

— Русы, однако ж, с нами торгуют.

— Дальше Сарая ордынского русы сами не ходят. Русский товар к нам сарайские купцы возят.

— Однако ж в Орде с ними торгуемся. Ни нам от русов, ни русам от нас убытка нет. А тоже — не мусульмане.

— Не мусульмане, а без их товаров не обойтись.

Мулло Фаиз взглянул опасливо на дверь, нет ли за ней ушей богослова, и, прищурился, сказал убежденно:

— Когда хочешь торговать с выгодой, спор о вере отбрось; спорь о ценах.

— Да, длинны наши дороги. И как эту даль угадать, как?

— Да, гадай не гадай...

Садреддин—бай решил доверить Мулло Фаизу:

— Наемни к звездочетам ходил. Когда из Хиндустана еще смутные слухи шли.

— И что ж?

— Угадал звездочет.

— Как это?

— Индийская звезда, говорит, ушла из треугольника Стрельца в треугольник Весов. А весы — это

торговля.

— Угадал!

— Наука!

— А где он, звездочет этот?

— У гробницы Живого Царя.

— Не погадать ли?

— Я не прочь.

— Но гадайте опять вы. Дело у нас общее, а как гадать, вы уже знаете...

Вскоре оба кожевенника снова протолкались через базар, торопясь к Железным воротам. Надо было поспеть к усыпальницам Шахи–Зинды и управиться с гаданьем, прежде чем муллы позовут верующих на вечернюю молитву, прежде чем городские ворота закроются на ночь.

Как всегда, по холмам Афрасиаба среде могил бродили одинокие люди чтецы Корана, плакальщицы, землекопы с мотыгами. У лазурных усыпальниц толпились длинноволосые дервиши в своих темных ковровых лохмотьях. Муллы в снежных чалмах, вельможи в индийских цветных тюрбанах, нежных, как утренние облака. Женщины, скрытые под серыми плотными накидками, обшитыми цветными шелками либо бисером или жемчугами.

Под гулками сводами некоторых усыпальниц гудели унылые голоса читающих Коран. Арабские слова звучали здесь благозвучней и правильнее, чем когда бы то ни было говорили сами арабы.

Благоухания казались здесь почти зримыми, как шелка, плотные, но прозрачные. Их тоже можно было бы называть шелками, если бы благоухания могли шелестеть и если б нежность их стала столь же осязаемой: тогда их можно было бы растягивать на аршинах и продавать в базарных рядах.

Ряды усыпальниц вставали уступами, одна над другой, не схожие между собой, как люди, погребенные под ними, и все же столь близкие и столь схожие, как люди одного народа, одного племени.

По крутой тропе поднявшись в гору, свернули к гробнице Кусамы–ибн–Аббаса. В обители, построенной царицей Туман–агой для дервишей, богомольцев и странников, Садреддин–бай увидел столь же костлявого, как и сам он, смуглого, белобородого звездочета.

Из почтительного смирения Садреддин–бай остановился и поклонился звездочету издали.

Смуглый старик, восседавший на коврике, сотканном из белой и черной шерсти, перебирал перламутровые четки и смотрел прямо перед собой. Он, казалось, ничего не видел ни вокруг себя, ни на всей этой брэнной земле: люди, царства, города изменяют свой лик, дряхлеют, сходят с лица земля, но неизменными, бессмертными остаются небесные светила, тайные письмена созвездий, где посвященный может прочесть любое предначертание, судьбы людей, городов, царств. Можно не знать хитрых сплетений букв в земных книгах, — для мудрости довольно того, что начертано на небесах перстом милостивого, милосердного.

Длинный конец чалмы свисал с плеча на черные складки халата. И не разберешь, что было белей — чалма ли эта, борода ли его, перламутровые ли его четки, белый ли узор на черной шерсти ковра.

Слева от старика, не смея пребывать на одном ковре со своим наставником, кротко и неподвижно замерло трое его учеников, бледных, безмолвных, бесстрастных. Они сидели в ряд, не спуская глаз с наставника, и невольно повторяли каждое движение его лица, а пальцы их шевелились, словно перебирали четки, хотя четок в их пальцах не было.

Садреддин–бай поклонился еще раз.

Звездочет, не удостоивая купца взглядом, пробормотал:

— Говори.

Тогда Садреддин–бай шагнул к нему ближе и опустился у края ковра:

— Обеспокоен я, святой отец.

— Тревоги неизбывно снедают сердце смертного: каждый жаждет познать, доколе терпеть уныние, отколе снизойдет утешение, где порог счастья и дверь удачи...

— Истинно так, святой отец!

— Имя?

Садреддин–бай назвал.

— Давно ли живешь?

Садреддин–бай назвал год своего рождения и месяц своего рождения.

— Твоя звезда третья в созвездии Барана.

Садреддин–бай подтвердил:

— Истинно так.

— Откуда знаешь? — насторожился звездочет, и Садреддин–бай уловил, что удостоен мимолетным взглядом прорицателя.

— Уже заглядывал в книгу судьбы проникающим взором очей ваших.

— Отойди до утра, ибо милостивый являет нам зрение лишь в ночной тьме. Днем мы слепы. Ночью зрячи. Утром уста наши откроют вам, что глазам нашим откроется в полночь.

Садреддин–бай, не вставая, еще раз поклонился звездочету, и когда встал, тонкий платочек с деньгами остался на его месте.

Пятясь, кожевенник возвратился к Мулло Фаизу, и дальше они пятились уже рядом, не сводя глаз с бесстрастного, неподвижного смуглого старика.

Лишь миновав дервишей и паломников, Садреддин–бай негромко сказал:

— Милостив бог, что посылает таких прозорливцев на грешную землю нашу.

— Ответит–то он когда?

— Он сказал: утром.

И хотя они всего лишь задали вопрос, и хотя еще целую ночь предстояло прождать до ответа, на душе у них посветлело и наступило то успокоение, которого так желал каждый из них.

Проталкиваясь в глубокий проход под сводами Железных ворот, кожевенники задержались: из города, теснясь, ехали с базара пригородные торговцы, крестьяне, огородники, садовники, распродавшие свои товары и спешившие в окрестные селения, пока не стемнело.

Топотали копытцами торопливые ослики под пустыми корзинами, глиняными кувшинами или иной поклажей, — покидая город под пытливыми взглядами стражей, никто не решался ехать, все шли пешком, кланяясь воинам караула и острыми палочками направляя ослов на истинный путь.

Прошли пыльные, быстроглазые цыганки, волоча черноруких ребят. На женских лицах, смуглых и

смелых, синели пятнышки священной татуировки, у тех между бровями, у других — на скулах или на подбородке. Над ноздрями темнели серебряные украшения, но все меркло перед неверной, порывистой красотой их горячих лиловых глаз.

Садреддин-бай и Мулло Фаиз, пропуская мимо эту грешную красоту, сплюнули не без досады, а когда решились было вступить под своды ворот, им встретился восседающий на жалком сером осле Мулло Камар, выезжающий из города.

Оба купца пренебрежительно ответили на неизменный поклон этого ничтожного торгаша, столько лет толкающегося в базарной толчее, то будто исчезающего куда-то, то снова возникающего в тесных закоулках кожевенных рядов.

Никто из купцов даже не взглянул вслед Мулло Камару, свернувшему на дорогу мимо Шахи-Зинды под раскидистые столетние карагачи, где на коврах сидели горожане, пожелавшие отдохнуть за городскими стенами, калеки, проголодавшиеся крестьяне, прокаженные в глиняных пещерах, воины на берегу ручья.

У края дороги высились то гробницы святых, то плоские харчевни, источавшие пахучий дымок, то каменные ворота загородных дворцов.

Сменяли друг друга то бирюзовые купола мечетей, то лазурные стены дворцов, то изразцовые ниши садовых ворот, то, в просвете между стенами, озаренные вечеряющим солнцем зеленые клеверные поля или огороды, то снова каменные стены садов.

Мулло Камар острой палкой ободрял своего осла, а сам задумчиво поглядывал на эти знакомые пригороды многолюдного, великого Самарканда.

Четвертая глава

САД

Некогда жил Мулло Камар в Суганаке, в степном городе, где на просторной, ровной, как блюдо, площади купцы вели немалый торг. Само название Суганак — воинское название, оно означает «колчан», и время от времени случается Суганаку оправдывать свое имя, когда стены города заполняются воинами, как колчан стрелами. Отсюда прямая дорога лежит к северу, на базары Золотой Орды, а оттуда недалеко и до Руси и до новгородских базаров. И на восток открыты дороги из Суганака — в полынные, голубые степи кочевников, в далекий суровый Моголистан, а оттуда — в Китай. В Суганак приходят товары из Золотой Орды, хоть и торгует она не своими, а русскими товарами. А взамен Золотая Орда скупает здесь товары иранские и армянские, а скоро индийские тоже пройдут через купцов Суганака в Золотую Орду, а через нее — на Русь и в Новгород, а через Новгород поплывут они дальше, в страны мрака в холода, в заморские, в немецкие и во фряжские земли.

Невелик Суганак, где отец Мулло Камара продавал шелка, а скупал кожи и меха. Невелик Суганак, — а родина! Там и рос Мулло Камар, там и перенял от отца торговое дело, оттуда возил кожи в Иран, а из Ирана привозил шелка и краски. Длинные были у купцов дороги, долг был купеческий путь, но суганакские купцы по-своему понимали имя родного города, — был их базар колчаном, а купцы его — стрелами, и чем дальше залетит стрела, тем больше доставалось ей барыша и почета.

Зарилась на торговый Суганак Золотая Орда, пытались грабить базар кочевые завистники. Но город стоял крепко по-прежнему, хотя уже не столь бойко торговал, как бывало, ибо много караванных дорог за последние двадцать лет свернуло на Самарканд, сплелось там с другими дорогами. Без войн, без стрел и мечей завоевал торговый Самарканд торговлю степного Суганака, как разорил он базары в десятках других древних торговых городов — от Ургенча в Хорезме до множества таких, от которых даже имен не осталось.

Двенадцать лет назад Тимур застал Мулло Камара в Ширазе. Оказался степной купец в осажденном городе, и кинулись было осажденные персы грабить бухарский караван-сарай. Но кожи к тому времени купец уже продал, а за шелка заплатил лишь малый задаток. Оказалось, нечего брать персам у этого купца, кроме золота, но золото не велико, золото он успел укрыть, а жизнь отнимать персы у него не стали.

Так бы и вернулся Мулло Камар в Суганак, потеряв задаток и с пустыми руками, да не таков был Мулло Камар. Когда ворвались Тимуровы войска в город, Мулло Камар заметил, кому из наибольших ширазских шелковщиков довелось потерять жизнь, и объявил Тимуровым начальникам, что весь склад у того купца закуплен для Суганака и не к лицу, мол, своим же воинам разорять своего же купца. А когда эти начальники ему не поверили, он, постукивая палочкой по мощным площадям Шираза, проник до начальников превыше стоящих и поклонился им. И случилось услышать его жалобы самому Тимуру. Повелителю пришлось по душе этот бесстрашный жалобщик, и Тимур строго сказал:

— Не к лицу моим воинам грабить моего купца.

И хотя немалую часть со склада пришлось преподнести властным соотечественникам, нашлись в городе и верблюды для каравана и караванщики для верблюдов.

В тот раз на ширазских улицах, где много валялось всякого добра под ногами у победителей, подобрал Мулло Камар книжку в зеленом тисненном переплете. С ней он не расстанется с тех пор, хотя давно запомнил наизусть все газеллы Хафиза.

А теперь он проехал по вечерней, остывающей дороге из Самарканда на задумчивом осле, время от времени понукая его острой палочкой, и на закате встали перед купцом изукрашенные изразцами и

мозаикой каменные ворота сада Дилькушо, что означает «Восхищающий сердце».

Он оставил осла у привратника, а сам прошел в просторную постройку, прозванную «подворотней», где невдалеке от ворот могли отдыхать воины, сдавшие караул; воины, ожидающие своего времени; всякий народ, прибывший по делам хозяина.

А хозяина предстояло ждать до утра: по вечерам к нему никого не пускали.

Мулло Камар снял с осла козью шкуру, расстелил ее и собирался уже вздремнуть в уголке, но увидел Аяра.

Не раз случалось купцу встречаться с этим доверенным воином на ночевках в разных караван-сараях, на разных дорогах: гонец и купец всегда в пути. А война и торговля в стране Тимура всегда шли бок о бок по одной тропе: воин пограбит, купец перекупит, — обоим в пользу, оба в барыше.

Много полезного узнает от воина пытливый купец; многое откроет и расскажет со скуки, из доверия к воинству купец беспечный. Поэтому Мулло Камар дорожил таким знакомцем, как глазастый, ушастый, смекалистый Аяр.

И долго говорили они о караван-сараях, стоящих от Самарканда до Бухары, о караванах, что гостят на иных из этих постоянных дворов, о товарах на караванах, о всяких слухах и происшествиях.

А едва вздремнули, оказалось, что настала пора помыться холодной водой из ручья, восславить аллаха и приниматься за дела.

В прохладной темной листве сада ночь еще длилась, но птицы уже пересвистывались и мелькали; то безбоязненно подлетали серые длиннохвостые сорокопуть, то вдруг золотая иволга вспыхивала из-под деревьев, а трава, освобождаясь от росы, пахла остро и радостно.

Соловей защелкал. Серая славка попыталась перещеголять соловья чистыми, стройными свистами. По темной, еще влажной дорожке, в обход парадных дверей, Мулло Камара провели во дворец...

Еще утро едва обозначилось, а Тимур уже сидел, попивая кумыс из китайской чашки. По его знаку провожатые оставили купца наедине с Рожденным под счастливой звездой.

Тимур помолчал, глядя через раскрытую дверь в сад, где ирисы и пионы уже отцвели, но в полную силу цвели розы, и среди них любимые его, розовые с багровой сердцевинкой, цветущие гроздьями на одном стебле. Эти розы он приказал называть «сорока братьями», но народ звал их прежним прозвищем «сорок разбойников». Это название когда-то омрачало Тимура, но ему казалось, что народ давно усвоил то прозвище, каким он сам называет эти цветы.

Мулло Камар постоял в почтительном поклоне.

— Ну как? — спросил Тимур.

— Купил.

— Много?

— Все, что было. У кого мелочь, тех не тревожил.

— Почем?

— По двадцать.

— Пять себе берешь?

Сердце Мулло Камара похолодело: «Все знает!»

Но Мулло Камар даже бровью не повел, только развел руками:

- Не пять, государь, а четыре: по одному с кипы дал своему человеку.
- И трех хватит.
- Не обижай, государь.
- Больших запасов не осталось?
- Есть у армянина, да не в городе: держит в караван-сараяе за три часа пути отсюда.
- Чего ж не везет сюда?
- Цены ждет.
- А много?
- Тридцать пять верблюдов. Семьдесят вьюков, по пять кип на вьюк...
- Триста пятьдесят. Почем просил?
- По семьдесят.
- Возьмем дешевле. Поторгуйся для порядка.

Когда, откланявшись, пятась, Мулло Камар уже отошел к дверям, Тимур вдруг спросил:

- А в каком караван-сараяе?
- Армянин?
- На что он мне? Кожи.
- У Кутлук-бобо.
- Надо караван выманить затемно. А договоришься — дай знать. Понял?
- Понял, понял, государь.
- Ладно. Ступай в казну: возьмешь по четыре — хватит.
- Благодарствую, государь.

Но Тимур уже не смотрел на поклоны Мулло Камара.

Не разгибая правой ноги, он захромал по залам, расписанным мягкими кистями гератских живописцев, — сады, полные барсов, газелей и розовых попугаев в гибких склонах темно-зеленой листвы; царская охота среди зеленых холмов, где красный конь вскинул лысую голову, когда нарядный всадник спустил стрелу и скачущая газель споткнулась, ибо стрела пригвоздила ей ухо к заднему копытцу; две красавицы любят на охоту из-за холма; вот сам он сидит в точеной легкой беседке, беседуя с женами, которых художник нарядил в персидские платья, хотя они носят одежды своих народов, а не иранские! Вот битва за Шираз, а вот и самый Шираз! И снова Тимур увидел себя на коне, таким, каким стал теперь, а не таким, каким был двенадцать лет назад, когда брал Шираз, а у стремени стоит согбенный дервиш в лохмотьях, опоясанный веревкой, — прославленный поэт Хафиз...

Двенадцать лет прошло. Многие тогда восхваляли газеллы Хафиза, а между ними и ту, что показалась оскорбительной Завоевателю Мира. И когда Тимур сказали, что среди ширазских дервишей скрывается этот самый Хафиз, Тимур велел привести поэта.

В тот день, когда Тимур собрался на охоту и уже сел в седло, ему доложили, что поэт выслежен, схвачен и приведен.

Повелитель глянул с коня на этого жалкого оборванца: стар, борода остра и седа, брови широки, густы и черны, а большой нос темен, как у пьяницы, но глаза дерзки и взгляд тверд, а под усами —

ухмылка. Эта самая ухмылка и рассердила Тимура: при нем еще никто не ухмылялся, а только улыбались, плакали и кланялись.

Тимур хотел было наказать поэта палками, но сперва сказал:

— Я весь мир перевернул, собирая достойное, чтобы украсить свои города, а паче всех — Самарканд, главнейший из городов мира. Как же ты посмел раздавать мои города за какие-то там родинки на щечках!

Хафиз, грустно улыбнувшись, подергал свои лохмотья и без поклона ответил:

— Видишь сам, государь, до чего довело меня такое мотовство!

— Ну, то-то! — ответил Тимур, не зная, что сказать в ответ этому дерзкому старику, и тронул серебряными каблуками чуткие бока коня. Конь пошел, за повелителем двинулись его спутники, торопясь выехать на охотничий простор из Шираза, смердящего мертвечиной.

Поэт остался позади, на краю двора, неподвижно пропуская перед собой пышный двор завоевателя, словно делал смотр высокомерным пришельцам. И теперь, разглядывая эту роспись, Тимур впервые вспомнил, что двенадцать лет назад еще жил на свете старый, неживучивый поэт Хафиз.

Редко случалось Тимуру оставаться одному в эти часы и прохаживаться без людей, разглядывая то, что создано по его воле.

У входа в одну из зал он остановился: оттуда слышались голоса. Говорили по-персидски, — это художники разговаривали и даже напевали там.

Они еще не заметили его. Он постоял в дверях, приглядываясь к людям, свободным от его взгляда; живописец весело изображал на стене битву в Индии: войска осаждают Дели. Бесстрашно врубился в сечу исполнительный старший внук — Мухаммед-Султан. Похож. Нос с горбинкой, широко расставленные глаза, тяжелые скулы, веселый, бесстрашный, умный взгляд. Верно уловил гератец то, что любил в этом внуке сам Тимур.

Гияс-аддин, историк, объясняет живописцу, как было дело. Это его голос так окает и так певуч. А напевают, сидя на полу, ученики, растирая краски.

Но вдруг все застыли, неподвижные, неживые, будто изображенные на стене: один из учеников увидел Тимура и, обомлев, нечаянно свистнул.

Все стали вдруг вдвое меньше. Кисть живописца несколько раз мазнула по небу черной краской, а намеревался он положить тень на карнизе башни.

Тимур сердито сказал:

— Работайте!

И велел принести сюда кресло.

Когда он сел, работа никак не могла наладиться. Ученике путали краски, а мастер по сто раз проводил кистью по одним и тем же уже написанным линиям.

Лишь Гияс-аддин заметно оживился и заговорил изысканнее, громче, певучее и запрокидывал голову так, словно это он сам брал сейчас город Дели, сам кидался на приступ, не страшась индийских стрел. Тимур холодно сощурил и без того узкие свои глаза: ведь битву-то эту историк наблюдал издали, с безопасного холмика!

Но когда Тимур, невольно увлекшись, сам начал подсказывать то одну, то другую черту, мастер как бы вновь увидел написанную им битву, снова под его рукой заблистали свежие линии, возникли всадники, показались слоны, Тимурово войско тогда только что захватило этих слонов и направило их на врага, но

само боялось их больше, чем всех врагов на свете.

Тимур послал за младшими внуками, — они не видели ни этой битвы, ни самой Индии. Пускай привыкают смотреть, как по воле деда мастера украшают мир, как по слову его встанут на земле диковинные города, в городах дворцы, вокруг дворцов — сады, а во дворцах — живопись.

Вскоре за спиной деда встал маленький Мухаммед–Тарагай, которого за гордую осанку, сперва в шутку, а потом уж и по привычке, все во дворце звали великим князем — Улугбеком.

Другого царевича — Ибрагим–Султана — не дозволили: он еще спал, и не так-то легко его поднять, умыть и одеть, чтобы с честью показать взыскательному деду. А этот Улугбек — всегда под рукой, вроде старшего Мухаммед–Султана.

— Ну как? — спросил Тимур Улугбека.

— Так и не показали вы вам Индию, дедушка.

— Жизнь впереди. Еще много городов увидишь.

И строго добавил:

— Если перестанешь засматриваться на звезды.

— Звезды чище, дедушка.

— Что, что? — не понял Тимур. — Чище чего?

— Там меньше пыли, дедушка.

Живописцы посмели засмеяться. Тимур рассердился:

— Пыли? Если б туда была дорога, я бы и там поднял пыль!

— Да, дороги никто не знает.

— И незачем знать. Дел и на земле много.

Сюда, сидя в черном, отделанном перламутром багдадском кресле, Тимур позвал вельможу, наблюдавшего за постройкой в Ясах.

Вскоре вразвалку вошел мавляна Убайдулла Садр, строитель мавзолея и мечети над могилой набожного поэта хаджи Ахмада Ясийского.

Тимур, не поворачивая головы, взглянул на этого ученого старика, коренастого, кривоногого, похожего на кочевника. Все на нем было новое, слежавшееся в сундуке, не успевшее расправиться после того, как для этого дня было вынуто из сундука, а казалось, будто весь Садр со всей своей одеждой пропылен мелкой дорожной пылью.

— Ну как, мавляна? — спросил Тимур.

— Строим.

— Пятый год строим! — ответил Тимур.

— Все привозное, а возить далеко.

— Подарок мой получили?

Тимур велел отлить из бронзы большие светильники и подсвечники. Их искусно отлил отличный мастер Изз–аддин, сын тоже искусного мастера Тадж–аддина, которого Тимур привел когда-то среди тысячи пленных мастеров из Исфахана иранского.

— Уже поставили у гробницы.

— Хороши?

— Лучших нигде не бывало! — поднял брови Убайдулла Садр.

— Что ж теперь?

— Кончили котел. Отлили такой...

Тимур заметил, что брови Убайдуллы снова поднялись, и передразнил его:

— ...Что лучших нигде не бывало?

Тимур не любил, когда из лести или боязни ему не отвечали прямо и ясно. Но Убайдулла заупрямился.

— Да, не бывало! — уверенно и обиженно ответил он нахмурившемуся повелителю.

— Чем же он так хорош?

— Отлит искусно.

— А величина?

— И величины такой не было, и работа...

— Чья?

— Абдал–Азиз отливал.

— Самаркандский?

— Отец его вами приведен, государь, из Тавриза. Тоже мастер был, звали его Сарвар–аддин.

— Помню Сарвара. Значит, сыновья в отцов пошли? Наша земля не порушила мастерства иноземцев?

— Укрепила! Сын искусней отца. На котле надпись отлита.

— Какая? — насторожился Тимур.

Убайдулла быстро достал из–за пазухи листок прозрачной лощеной бумаги и, отстранив его на всю длину руки, шепотом прочитал, а потом пересказал своими словами.

— Написали, что отлит он по слову вашему нынешнего восьмьсот первого года, в месяце шаввале, в двадцатый день, для воды...

И, складывая бумажку, покачал головой:

— Едва довели. Ведь отливали его в Карнаке. Через этукую даль этукую тяжесть пришлось волочить!

— Не мал? — пытливо взглянул Тимур.

— Говорю, государь: не было такой величины.

— То–то! Это ведь для степей. Понял? Степняков знаешь?

— За эти годы узнал.

— А как их понимаешь?

— Насчет чего?

— Надо, чтоб перед глазами у них громады высились. Народ такой: малого не замечают, глаза их привыкли к простору. Кочевники! Широко шагают, мелких камушков не замечают, под ноги не глядят, далеко смотрят. Вот и надо, чтобы издалека, за много часов пути, уже видели: стоит в степи огромный мавзолей. А войдут — увидят: стоит в мавзолее огромный котел. Лежит в мавзолее великий святой. Стоят

вокруг святого громадные светильники. И задумаются: поставлено это в степи кем? Когда увидят, как это все велико, скажут: великое может воздвигнуть только великий. Велика, скажут, сила того, кто это такое воздвиг. Будут бояться нас, будут слушаться. Не посмеют соваться против великой силы. Понял?

— Понял, государь.

— То-то!

Их разговор неожиданно прервал живописец, писавший взятие Дели и давно опустивший кисть, чтобы послушать слова Покорителя Мира.

— Дозвольте спросить, великий государь.

— Спроси.

— Я, великий государь, знаю моего земляка Изз-аддина. Он не только светильники, но и петли для дверей делал и всякие иные украшения. Редкий мастер. Можно целый день глядеть на маленький кусочек его изделия и дивиться: «Ай-яй, как сделано!» А выходит, если о работе судить по величине работы, незачем глаза свои иступлять над тонкостью малого? Если кочевник все привык разглядывать издали, он и не разглядит ни тонкости мельчайшего узора истинных мастеров, ни великого труда их над малым? Вот чего я не понял, великий государь.

— Вот ты какой! Скажу, если спрашиваешь. Вы, персы, вдаль смотреть не умеете. На все глядите в упор. Ладонь свою разглядываете, а врага вдали не видите. Оттого и проглядели вы свое царство. Оттого и пришлось вам не для своих шахов, а для ханов монгольских изоцряться. А надо, чтобы все было велико. Чтоб издали было видно. А когда подойдешь да вступишься: «А из чего это большое состоит?» — чтобы всякий сказал: «Ого! Да тут каждую песчинку разглядывать надо; да тут одна петля на двери дорожке большого дома; да тут один кирпич под ногой дорожке большого поля! Во что ж обошлась этакая громада? Каково ж богатство и могущество того, кто это смог?» Так я строю, — огромное по размеру, но из драгоценных песчинок. А вы песчинки цените, а большого создать не смеете. Зато и нет у вас ничего, персы!

Гияс-аддин изображал всем своим лицом, каждым движением благоговение и восхищение перед словами Тимура.

Живописец задумался, бессмысленно макая кисть в краску: в его памяти раскинулась родина, как большой, великий ковер, прекрасный и драгоценный. Ткали его, ткали, не жалея ни глаз, ни рук, а когда соткали, его отняли чужие руки. И вот весь он затоптан, весь чужой.

Убайдулла Садр умными, оттянутыми к вискам глазами разглядывал живописца: мать Убайдуллы была монгольского рода, и он унаследовал от нее любовь к степи; в словах Тимура что-то обидело его, но чем обидело, он не мог осознать, и только смотрел на перса с неожиданным для себя сочувствием и приязнью.

Улугбек неподвижно стоял позади кресла, а ладонь его гладила черное дерево спинки.

Дав указания Убайдулле Садру, Тимур встал и неторопливо, хромя, один пошел, больше не глядя на роспись стен, чем-то озабоченный: подошло время принимать своих вельмож и говорить с ними не о пустых вещах, а о делах государства.

Пятая глава

КАРАВАН

День еще разгорался, а Мулло Камар уже возвратился из сада и, не сходя с осла, остановился у Железных ворот.

Его удивил не шум, — здесь людно и шумно было всегда, — а столбы пыли, поднятой до самых небес, словно самаркандский базар подожжен неприятелем. Удушливая пыль застилала все вокруг, оседая на людях, на деревьях, залезая в глаза, забивая горло.

В облаках пыли исчезали въезжавшие в ворота всадники, исчезали пешеходы, бежавшие рысью, чтобы скорее пробиться сквозь эти то серые, то почему-то бурые тучи пыли.

Всего ночь прошла, а Мулло Камар, протиснувшись через щель Железных ворот, уже не узнал торговой площади. Казалось, дьяволы собрались сюда из преисподней и мотыгами, кирками, ломami ломали мало-помалу весь знакомый мир старинной площади. Пыль взвивалась, когда глыбы стен или кровли лавок рушились под ударами. Из конца в конец всей площади лязгало железо о камни, трещало дерево, тяжело ухали, рушась, стены или ворота, и всюду поднимались новые и новые облака пыли, сбиваясь в тучи, и медленно расплывались, застилая небо.

По временам из пыли выскакивали купцы, высоко задирая полы халатов, и, прыгая через обломки, спешили унести в безопасное место узлы с товарами или скопившийся в лавках всякий скарб.

На неподвижном коне в облаках пыли, словно неумолимый завоеватель, восседал ходжа Махмуд-Дауд, окруженный подручными и слугами.

Он сурово следил, чтоб ничья рука не содрогнулась, сокрушая все, что встречалось на пути разрушителей: повелитель повелел расчистить всю площадь, и никогда еще не было того, чтобы слово свое пришлось ему сказать дважды.

Иные из купцов кидались было к ходже Махмуду, воздевая руки к небу или хватаясь за голову в отчаянии, взывая пощадить их достояние. Но слуги ходжи Махмуда перехватывали жалобщиков и, не скупясь на пинки и подзатыльники, отталкивали прочь.

Воины, как в захваченном вражеском городе, стояли вооруженные копьями и мечами и указывали въезжающим в Железные ворота окружной путь, в объезд площади.

Сотник, возглавляя конную стражу, следил, чтобы народ не толпился, не задерживался в этом месте.

Скрипели десятки арб, вывозя за город щебень, обломки, мусор.

Обо всем этом историк Шараф-аддин из Иезда впоследствии записал в «Книге побед»:

«В воскресенье четвертого дня месяца Рамазана восемьсот первого года, когда луна, бывшая в созвездии Льва, отвернулась от шестиугольника солнца и соединилась с шестиугольником Венеры, в час счастливый и предсказанный по звездам, зодчие положили основание постройке...»

Но созидание началось разрушением, и осел Мулло Камара ревел неистовым голосом, потрясенный всем происходящим, а сам Мулло Камар чихал и чихал, пытаясь закрыть лицо платочком или протирая глаза, слезившиеся от пыли.

Наконец свернул в переулок, где редко приходилось бывать, — вдоль узкой дороги на уровне земли зияли лачуги мастерских; там, в полумраке, сидели склоненные над работой ремесленники, чеканя кувшины или ведра, чеканя бляхи для сбруй, выковывая замки или колокольцы, — лязг, визг, свирест, звон,

стукотня — все сливалось в нестерпимый гул, сквозь который что-то вдруг бухало или шипело. Из чанов вырывались клочья пара, когда в воду падало откованное изделие. Воздух был зеленоват и густ от едкой гари и смрада, от острой вони кислот и сплавов.

В лад работе, покачивались лица мастеров с черными от копоти носами, с губами синими, сжатыми, с размазанной по лбу или по щекам сажей или железной пылью. Порой из-под этого нагара сверкала белая, будто неживая кожа. Временами кое-где вскрикивали и всплакивали детские голоса, ремесленники не только работали, но многие и жили в тесноте этих мазанок: одни на ворохах мусора и обрезков в хозяйских мастерских, другие — в глиняных норах на изжитом тряпье. Были тут и коренные самаркандцы, и много персов и грузин, согнанных еще за десяток лет до того из родной земли, от прежних горнов в город Самарканд.

Мулло Камар обменялся приветом с Назаром—кольчужником. Седой, лохматый сероглазый Назар давно был знаком Мулло Камару, с того дня, когда со своими учениками Назар прошел через Суганак из Золотой Орды, когда Тимур выговорил у Тохтамыша русских мастеров, умевших ковать кольчуги. Лучшими кольчугами считал Тимур русские кольчуги, но среди мастеров, работавших в ордынском Сарае, никто не ковал оружия, хотя и знали это дело у себя на Руси. И с Назаром пришлось в Орде договариваться долго и мягко, чтобы он согласился вернуться к ремеслу, коему обучен был на Руси, до захвата его в ордынский полон: слово, данное Тимуру, Тохтамышу надлежало строго соблюсти, и ордынцы проводили Назара бережно, с честью, как вольного мастера, да и Тимур велел беречь его, как берегут дорогое оружие.

Когда проезжал Назар через Суганак, многие ходили смотреть на Назара. Ордынцы, провожавшие его до Суганака и тут передавшие его старосте оружейников, рассказали, как по всему Сараю искали такого мастера, но русские оружейники — как камень: если что решат, на том и останутся. А решили они издавна, может лет за сто, а может, и ранее до того, что никто из них в Орде не скует ни меча, ни кольчуги, ни ножа, ни шлема, какими бы карами ни карали их за отказ от прежнего уменья; на том и Назар стоял, да нельзя было от такого мастера отступить, — поклялись Назару, что не Орде его кольчуги достанутся, не на Русь в них пойдут, а достанутся они грозному Тимуру, перед коим сам Тохтамыш дрожит. С этим и пошел Назар, позвав за собой своих учеников, коим хоть и не случалось ковать кольчуг, но молоты и клещи в руках удавалось держать крепко. В те дни ехал из Суганака в Самарканд Мулло Камар, к нему в караван и дали Назара к месту довести. С того и повелось их знакомство; а упорство ли их, твердость ли души в них обоих вырастила друг к другу обоюдную приязнь.

Проехал Мулло Камар и через тихую слободу, где молчаливо работали ткачи шелков, ткачихи простых, хлопчатых тканей, а какие-то высокие женщины с голубоватой кожей, с черными прядями, выбивающимися из-под серых покрывал, пряли пряжу и сучили нитки; они тоже работали открыто, как и все ремесленники, чтобы покупатели видели их работу, чтобы никто не усомнился в их изделиях, не заподозрил какой-либо тайны или обмана в их дешевом товаре; тут, на глазах, лежало сырье, тут можно поглядеть и на самый труд.

Так проехал Мулло Камар через слободы ювелиров и шорников, через слободы, где ткали сукна, через Книжный ряд, полный чинных, белобородых писцов, переплетчиков, торговцев книгами и пеналами, где продавцы вели себя пристойнее и почтительнее, чем те грамотеи, что здесь толклись, разглядывая книги, и редко имели средства на покупку.

Проехал Мулло Камар мимо седельников и мастеров колыбелей, где постукивали, как молоточки, небольшие острые тесаки по белому дереву, благоухали свежие краски и лаки и расписными башнями высились сундуки.

Выехав в Кожевенный ряд, Мулло Камар не вошел к себе в караван-сарай, а, в воротах отдав осла Ботурче, пошел пешком мимо знакомых палаток. Ботурча же повел осла на задний двор, где под

каменными складами темнели подвалы со стойлами для ослов и лошадей.

Мулло Камар вышел к Тухлому водоему, где на широких нарах над водой разместились посетители харчевни и из тяжелых глиняных чаш ели острые кашгарские кушанья, тянули нескончаемые белые ленты пахучей лапши; запрокинув голову, забивали себе в рот нежные большие пельмени; хлебали из чашек жирные, огненные от перца, душистые от приправ похлебки. Здесь обгорали над углями куски мяса, трещал жир, капая на угли, а синий дымок над жаровнями манил прохожих запахами опаленного жира и лука. Веселые, круглолицые, черноусые, лоснящиеся, румяные кашгарцы зазывали прохожих, славя свою стряпню и рассчитывая на голод прохожих как на лучшую приправу ко всякому блюду.

Но проголодавшийся Мулло Камар устоял. Никакой соблазн в жизни не сбивал его с извилистой, узкой, зыбкой, опасной, но манящей стези торговли.

Не откликнувшись на зовы кашгарцев, он вошел в ворота армянского караван-сарая и узнал у Левона, что Пушка опять томит и ломает лихорадка.

Без шапки, с кудрями, прилипшими к горячему лбу, армянин лежал и еле поднял голову при появлении Мулло Камара:

— Ох, что скажете, почтеннейший?

— Окончательная цена?

— Цена изменилась.

— Как?

— Восемьдесят. Дешевле не отдам.

— Шестьдесят. Больше не ждите.

— Мое слово твердо.

— Шестьдесят пять. Последнее слово.

— Последнее: семьдесят пять.

— Когда получу товар?

— Когда вам нужно?

— Завтра, к началу базара.

— Как же я повезу его? Ночью?

— Везите ночью.

— Опасно.

— У нас купцы в безопасности. Это Мавераннахр, а не Золотая Орда. Дам задаток.

— Задаток?.. Меньше как по пяти не возьму.

— Берите по пяти.

— Давайте!

— Когда выйдет караван?

Оказалось, болезнь подобна одеялу. Едва Мулло Камар вытянул из-за пазухи кисет с деньгами, Пушок скинул свою болезнь и встал:

— Сейчас пошлю сказать, чтоб вышли затемно, а к рассвету уже дошли бы до городских ворот. Хочу

поскорей разделаться с этим караваном и ехать в Ясы за новым товаром. А может, и к ордынцам, в Сарай. Глядя по делам.

По обычаю, вызвали троих свидетелей, чтобы видели, как один купец платит, а другой получает.

Пушок нетерпеливо, как ребенок перед лакомством, топтался, пока Мулло Камар отсчитывал деньги.

Завершив сделку, все пятеро отправились в харчевню к кашгарцам, где всех угощал Пушок, как совершивший продажу. Но, изнывая от голода, Мулло Камар, прежде чем зайти в харчевню, пошел к себе и послал Ботурчу за Саблей.

Час спустя не на задумчивом осле, а на резвом иноходце Сабля выехал из города и поскакал по той дороге, где поутру оставил свои следы ослик Мулло Камара.

В открытой лавчонке Сабли до возвращения хозяина остался торговать дратвой его приказчик Дереник.

Какой-то синебородый дервиш, проходя мимо, любопытствовал:

— Далеко ли отбыл хозяин?

— Зуб у него заболел. Поехал на Сиаб, помолиться Хо-Даньяру об исцелении.

— Господь поможет верующему! — подтвердил дервиш.

А Сабля, проскакав шесть верст единым духом, сошел у ворот царского сада Дилькушо и вошел в подворотню.

Там нашел он, как было приказано Мулло Камаром, конопатого Аяра и передал ему то, что велел передать Мулло Камар:

— Скажи, мол, так: после ночной молитвы, но часа за три до первой утренней, верблюд выйдет на свой путь. Так велел сказать Мулло Камар, а какой верблюд и какая дорога, я смекал-смекал, но пока не смекнул. Да уж смекну, будь уверен.

Аяр сверкнул карим, быстрым, как удар, взглядом:

— Смекай, смекай... Посиди здесь! — ткнул Аяр пальцем в угол.

— Чего ж сидеть? Мне пора назад.

— Сиди, сиди. Здесь не жарко, не ярко. На свет не вылезай, язык не высовывай.

Сабле эти слова не понравились, но в царской подворотне кто будет спорить? Он сел в темный, уединенный уголок.

Вскоре пришли за ним двое воинов и повели следом за собой мимо длинного ряда персиков, опустивших до травы длинные листья гибких веток, отягощенных еще не собранным урожаем.

Когда Сабля невольно нагнулся к упавшему на тропинку белому пушистому персику, воин поощрил его:

— Возьми, возьми. Кушай.

Но этот персик был последним, что поднял Сабля в жизни своей. Его вскоре ввели под темные каменные своды, скрипнула тяжелая, обитая скобами дверь, и Сабля остался один в тесной, прохладной, темной келье, где вволю мог думать о прожитой жизни и тщетно искать свою вину, которой никогда не было. Сабля не знал, что так приказал Тимур.

Долго ждал Сабля, что Аяр распахнет дверь и крикнет: «Выходи прытче, тут ошибка вышла!» Но двери никто не открыл ни в тот день, ни в следующий. Да и Аяра ему больше никогда не пришлось встречать, как

не довелось ему встречать ни Мулло Камара, ни Дереника—приказчика, ни свою жену Сарахон, ни свою собачонку Коктая. За сорок лет своей жизни только он и покрасовался и порадовался на базаре, только и поторговал от души один день за сорок лет жизни!

— Эй, Дереник! Где ж твой хозяин? — спрашивали на другой день купцы.

— Зуб у него болит! — отвечал Дереник, а у самого зуб на зуб не попадал от страшных предчувствий.

* * *

Затемно караван, вызванный армянином, вышел из караван—сарая Кутлук—бобо.

Привратники светили двумя маслянистыми пятнами мигающих фонарей, пока со скрежетом растворялись ворота и верблюды с поклажей проходили через полосы света, то тревожно прижимаясь друг к другу, то царственно, гордо выступая, и скрывались во тьме.

Когда выехали вслед за последним верблюдом последние караульщики, восседая на ослах и сжимая в руках торчащие вверх пики, ворота закрылись, и в караван—сарай опять наступила тишина, временами нарушаемая вздохами гератского купца: ему всегда снилось что—то страшное, пока он спал на груди жестких тюков, с коими боялся расстаться на ночь.

Луна уже ушла, но утро еще не брезжило. Бывалый караван—вожатый ехал впереди на осле. Позади следовали четверо его караульных с пиками, крепко сжатыми в руках. Еще двое ехало после десятого верблюда. Последние четверо — вслед за последним верблюдом. Над всем караулом торчали прямо вверх крепко сжатые пики, а впереди у караван—вожатого с бедра свисал длинный меч и на бугристых местах полосовал дорожную пыль.

Как всегда, перед рассветом небо потемнело.

Но дорогу эту караван—вожатый прошел из конца в конец сотню раз.

Ночь была темна и прохладна. Свыкнувшись с темнотой, глаза различали какие—то деревья в стороне от дороги, стены какого—то высокого строения слева — может быть, гробницы, может быть, сторожевой башни; и вскоре дорога пошла книзу, а справа и слева, горбясь, поднялись холмы, и почудилось, что в сгустившейся тьме стоят какие—то люди.

Аяр стоял в ночной тьме, и нравилось ему, как пахнет сухой горечью степная полынь. Небо казалось светлее земли, но среди высоких холмов сгустилась непроглядная темень, и не было видно даже всадников и коней, стоявших рядом на самой дороге.

Тайное дело поручил Аяру царский сотник. Немало требовалось заслуг, чтобы получить такое доверие. Немало провез он свернутых в трубочку писем, много раз прокрадывался мимо вражеских дозоров, неся засунутый за голенище сапога кожаный кошелек с тайным указом, или скакал, не щадя коней, пересаживаясь с запаленных на застоявшихся, не имея при себе ничего, но бормоча на память несколько непонятных слов, чтоб шепнуть их в конце пути на ухо нужному человеку. Царский гонец Аяр.

И когда уверились в нем начальники, когда поняли, что и на огне не скажет Аяр лишнего слова, дали ему задачу, какая не требовала ни особой сноровки, ни особой смелости, а только одного — держать язык за зубами.

Когда издали унылым гортанным воплем звякнул колокол на заднем верблюде каравана, лошади в темноте захрапели, затоптались; всадники подтянули еще раз подпруги, поправили стремяна, а некоторые сели в седла.

Но Аяр тогда только сел, когда звон колокола совсем приблизился, и, пропустив мимо себя караван—вожатого, внезапно спросил:

— Эге! Чей караван?

Тут подъехали остальные воины и, не сходя с седел, взялись за древки пик, трепетавших над головами ослабевших караульщиков.

— Кто дозволил ходить по ночам?

Караван-вожатый обрел дар речи, не столько видя, сколько привычным ухом слыша воинское вооруженье на всадниках:

— Стража, что ль?

— Ты сперва отвечай.

— А что? Исстари ночью ходим. Когда ж ходить? Днем жара.

— Сколько вас?

— Десять в карауле, а я один.

— Заворачивай направо. Караульщики, слезай. Охранять караван будем сами. Палки свои отдайте, чтоб не уколоться впотьмах. Трогай!

И, не слезая с осла, караван-вожатый повернул на боковую тропу.

Передовой верблюд с достоинством повернулся за ним следом, увлекая задних, тоже соблюдавших свое достоинство и задиравших головы кверху, будто читают небесные письма. Но звезды уже истаяли: близился рассвет.

Караульщики отдали воинам свои пики: выехали они караван охранять, а не людей убивать. Если охранять берутся другие, оружие в руках — лишняя ноша.

Однако, оттеснив караульщиков от каравана, им велели слезть с ослов и сесть на землю. Убивать никого не стали, а приказали сидеть тут до света, а если надо — и после рассвета, пока не придут и не скажут, куда им отсюда дальше идти.

Так эти десять человек и просидели до утра.

Сидели смирно среди голых холмов, глядя, как поднимается солнце и как хлопотливый черный жук покатил по серой земле ровно обкатанный шарик в какое-то нужное жуку место.

Лишь когда солнце припекло, а тени вблизи никакой не оказалось, решились поочередно бегать в сторонку, под одинокое дерево, недолго посидеть в тени, и снова возвращались, чтобы отпустить в тень других караульщиков.

Чтобы утолить жажду, они подыскивали себе небольшие камушки и перекачивали их под языком. Поэтому разговаривала мало. Да и о чем было разговаривать? Если кто что и видел, — видели все: вот уж сколько времени нанимались они всей дружиной на охрану караванов из конца в конец. Одних купцов проводят, к другим нанимаются. В Тимуровом царстве не опасно караульщикам, карауль безбоязненно. А в дальние места ходить опасались, не нанимались.

Теперь, впервые за долгое время, сидели они без своего оружия. Многие из них и не догадались бы наниматься на охрану караванов, если б в то или иное время, при том или ином случае не досталось одним из них копье, другим — от копья наконечник, кем потерянные, как найденные, про то не всякий скажет. Но уж если попала в руки человеку такая вещь, не зря же ей лежать, надо добывать из нее пользу. И теперь никто не знал, как быть, когда все они остались без пик. Но старший из них рассудил:

— Где караван, там и пики.

И все опять успокоились.

За караван не тревожились, поелику воины взяли у них оружие и взялись сами охранять караван, а им дали передышку.

Один из караульщиков вдруг с оглядкой раскрутил жгут своего кушака и достал закатанный в нем позеленевший наконечник копья:

— Гляньте–ка!

Наконечник пошел по нетерпеливым, то сухим, то влажным, то заскорузлым, то скользким, ладоням караульщиков:

— Дай–ка гляну!

— О!

— Не железный.

— Откуда он?

— На песке нашел. Давно. Как через Хорезм шли.

— Это тогда, у колодца?

— А что?

— Я заметил, ты тогда что–то нашел.

— Ну и что?

— Да как бы чего не было...

— А что?

— Да мало ли что! Оружие у нас взяли? «А это, спросят, откуда? Украд?»

— Да он не железный.

— А ведь оружие!

— Это не железо.

— А что?

— Сплав.

— Не золото?

— Сплав, говорю.

— А все же оружие!

— Ну и что?

— Брось, да и все.

— А не скажете?

— Нет, бросай.

Обладатель понес бронзовый наконечник копья, изображавший львиную голову, отирая большим пальцем гладкую, как тело, бронзу. Он кинул его в какую–то трещину на земле. Вернувшись, сказал:

— Кинул.

За каждым его шагом следили все, и все отозвались одобрительно:

— Так и надо.

— И если что, мы ничего не видели! — предостерег старший из них.

Так они и сидели, пока не разыскали их посланные от Геворка Пушка и посланные от Кутлук-бобо.

Только тогда караульщики поняли, что караван пропал. Но сколько ни смотрели во все стороны, нигде не осталось от каравана никаких следов, а тропы вились отсюда во все стороны, и днем никак не разберешь, по какой из них ушел караван под покровом беззвездной, предрассветной тьмы.

Больше никто никогда не видел в этих местах ни этого каравана, ни караван-вожатого, и лишь черные жуки катили свои шарики по глубокой борозде, прочерченной в холмистых местах дороги каким-то острым железом.

* * *

Весь базар в Самарканде видел в тот день Геворка Пушка. Он бегал по своему караван-сараяу, простоволосый, со всклокоченными кудрями, в халате без кушака, начисто забыв о лихорадке, и не только утратил охоту к разговорам, но почти совсем онемел.

Не раз забегал он в кожевенные ряды расспросить, нет ли среди кожевников слухов о пропавших кожах, не пытались ли разбойники кому-нибудь эти кожи сбыть. Не забывал он и о Мулло Камаре, но сперва Ботурча не допустил армянина до своего постояльца, загородив дорогу:

— Почивает!

В другой раз сказал, что Мулло Камар встал, но ушел в харчевню.

И вдруг Мулло Камар резвой своей походочкой, постукивая по двору палочкой, сам вошел к армянину, приговаривая:

— Ах, нехорошо! Забыли уговор? Уже день настал, а где кожи?

— Как где? Вы не знаете?

— Знать надо вам: товар ваш. Кто так делает, — задаток взяли, а товар спрятали?

— Как спрятал?

— А где он?

— Как где?

— Если он здесь, давайте. Или — задаток назад!

— Да он же пропал!

— Если пропал товар, задаток не пропал. Давайте назад! Видите: собрались люди. Смотрят. Слушают. Вот наши свидетели. Я давал задаток? Вы видели?

Армянин молча вытащил из своего тайника вчерашний кисет с деньгами и возвратил купцу.

Мулло Камар развязал узелок, сел на ступеньке и перед глазами столпившихся зевак начал считать свои деньги.

Быстро повернувшись к армянину, с веселой искоркой в глазах Мулло Камар вдруг спросил:

— А товар-то вы везли хороший?

— Еще бы! — замер армянин.

— Весь товар хорош?

— Кожа к коже. Как на подбор.

— Так ли?

— Еще бы! — повторил Пушок.

Одна из денег оказалась Мулло Камару неполновесной:

— Эту следует заменить.

— Так она у меня от вас же!

— Надо было смотреть, когда брали, а я такую принять не могу. Кто ее у меня примет?

И Мулло Камар протянул ее одному из зевак.

Деньга прошла через десяток рук и вернулась к Мулло Камару. Все согласились: деньга нехороша, чекан ее стерся, и не поймешь, когда и кто ее чеканил; может, тысячу лет назад.

Армянин спохватился: все его деньги были в товаре. А товар пропал. Только теперь он окончательно понял, что у него ничего не осталось. И неправду он говорил накануне о цене, по какой согласен он взять кожи в Самарканде. Но не из пустого бахвальства он бахвалился, а затем, чтобы набить цену на кожи и в горячке сбить с рук залежавшийся в Бухаре, забракованный бухарскими купцами, отчасти подопревший свой товар. Оттого и не ввозил Пушок эти кожи в город, рассчитывая продать их за глаза и оптом. И совсем было это дело сладилось, и задаток уже звенел в руках, а теперь так оно повернулось, что и ничтожную деньгу заменить нечем.

Но среди зевак толклись и армяне, и слава о беславии Пушка могла разнестись по всем торговым дорогам.

Чтобы сохранить достоинство, армянин достал с груди древний серебряный византийский образок, материнское благословение, с которым не расставался на своем торговом пути. Благочестиво хранимое, достал и преподнес Мулло Камару:

— Драгоценная вещь. В столь тяжкий день примите и не придирайтесь ко мне.

Мулло Камар прикинул образок на своей чуткой ладони и снисходительно опустил к себе в кожаный кисет.

* * *

Мулло Фаиз зашел за Садреддин-баем, и оба, пренебрегая базарными разговорами и слухами, то любезно кланяясь известным людям, то наскоро отвечая на поклоны неизвестных встречных, протолкались к воротам и вышли за город.

Солнце жгло окаменелую глину дороги. Пыль пыхла под ногами, разбрызгиваясь, как масло. На Афрасиабе кого-то хоронили, — мужчины в синих халатах стояли, заслоня бирюзовое небо, столпившись вокруг того, чей голос уже отзвучал на городском базаре.

В стороне серыми столбиками замерли под гладкими покрывалами женщины, ожидая, пока мужчины засыпят могилу и уйдут, чтобы подойти и в свой черед оплакать покойника.

Садреддин-бай не любил смотреть на похороны и отвернулся, когда пришлось проходить мимо опустевших носилок, накрытых смятой сюзаной.

Все так же сидел в углу смуглый звездочет. Так же выслушал их, глядя мимо, в небеса.

Выждав, пока пришедшие прониклись страхом и уважением к святому месту, так сказал звездочет Садреддин-баю:

— Сквозь сияние Млечного Пути непрозрачаема ваша звезда, почтеннейший. По линии жизни вам надлежит идти столь осмотрительно, чтоб не наступить на развернутый шелк чалмы вашей, подобной Млечному Пути, проплывающему по океану вечности...

Звездочет опустил глаза на перламутровые четки с черной кисточкой под большим зерном.

Купцы постояли, ожидая дальнейших слов.

Звездочет молчал, погруженный в глубокое раздумье, медленно—медленно перебирая четки.

Наконец купцы догадались, что сказанное — это все, что прочел звездочет в небесной книге.

Тогда пошли назад, удивленные и встревоженные.

— Как это понять? — гадал Мулло Фаиз.

— Слова его надлежит толковать так: он советует нам торговать шелком. Иначе зачем бы он упомянул шелк чалмы? Но советует торговать осторожно, не спешить, глядеть, куда ставишь ногу, чтобы по неосмотрительности не наступить на свою же выгоду.

Муллу Фаиз усомнился:

— А не о смерти ли он сказал? Вдумайтесь, когда и зачем развертывают чалму? Чтобы запеленать в нее мусульманина, когда он умрет, перед тем как опустить мусульманина в могилу. К этому он и сказал: «океан вечности». Иначе что может означать океан вечности?

Но Садреддин—бай, как каждый шестидесятилетний, давно уже перебрал в памяти всех известных ему стариков, доживших до девяноста лет; перебрал их имена многократно, как немногочисленные зерна коротких четок, уверенный, что он не слабее этих людей ни духом, ни плотью. Поэтому мрачное толкование пророчества он поспешно отверг:

— Вы упустили другие из вещей слов. Ученый сказал: моя звезда не прозревается сквозь сияние Млечного Пути. А потом пояснил, что Млечный Путь — это шелк. Смысл в этом тот, что жизнь мою заслоняет шелк; столь много скопится его, когда разрастутся мои склады. А вам он ничего не сказал!

— Я не спрашивал.

— Это верно. Но...

— Но он сказал, — настаивал Мулло Фаиз, — шелк—то этот проплывает. Он не в руках у вас, а заслоняет вас и проплывает мимо!

— Вас, видно, радует, если дурное толкование вещей слов падет на мою голову, а не на вашу.

Садреддин—бай не ошибся: как ни крепко беда связала их вместе, Мулло Фаиз втайне ликовал, что не ему изрек звездочет столь темное пророчество, а Садреддин—баю. Купец всегда рад, если стрела беды ударяет в лавку соседа.

Он, смутившись, молчал, а Садреддин—бай назидательно добавил:

— Слова прозорливцев требуют размышлений. Не следует спешить с толкованием мудрого откровения.

* * *

К вечеру, когда возвратились все искатели пропавшего каравана, армянин погрузился в беспредельное уныние. И когда горе его достигло вершины отчаяния и рука уже порывалась вынуть из—за пояса кривой нож, отцовский подарок при последней разлуке, вдруг осенила Пушкина ясность: он встал и пошел в Синий Дворец, где предстал пред верховным судьей и закричал:

— По всему свету славят Самарканд. Безопасны его дороги, говорят. Крепки его караван–сарай, говорят. Великий амир охраняет купцов, говорят. Я всему верил. Тысячу дорог прошел, через сотню городов товар провез, нигде не грабили, а здесь ограблен. Мне за жалобу нечем заплатить, а жалуюсь: такого великого амира слава разглашена по всему свету. Кем? Торговыми людьми. Так? Так! А что тут делают с торговыми людьми? А? Теперь другая слава пойдет: пошел купец в Самарканд веселый, пришел назад голый. Так? Так!

Верховный судья хорошо знал, как строго следил Тимур за честью самаркандской торговли, сколько путей расчистил он мечами, сколько городов растоптал, чтоб не были их базары ни богаче, ни изобильнее самаркандского. Сколько поставил караван–сараев, крепких, безопасных. Сколько денег и товаров самого великого амира обращалось на всех базарах Мавераннахра и по сопредельным странам в руках опытных, оборотистых, смелых купцов.

Вопли взлохмаченного армянина обеспокоили верховного судью: чтобы не прогневать сурового повелителя, надо перед всеми ушами, перед всеми глазами, прежде всякой молвы молвить такое слово, чтоб крик этот обратить не в хулу, а во славу самаркандской торговле.

А вокруг толпились у дверей, у стен, в каждой щели просители, истцы, ответчики, жалобщики, писцы и всякий иной судейский люд, вплоть до свидетелей, ожидающих, чтобы кто–нибудь нанял их в свидетели, о чем бы ни понадобилось свидетельствовать. Все эти люди многоречивы, пронырливы, беспокойны, неумомимы, а многие затем и ходят сюда, чтобы ловить всякие слухи, чтобы потом не без выгоды разносить во все стороны всякий вздор.

И судья сказал:

— У нас нет разбойников. Видел ли кто–нибудь их в лицо? Нет такого человека, ибо разбойников у нас нет и торговые пути безопасны и приятны во все края, где бы ни ступала стопа великого амира нашего. Если же появился злодей, найдем, приведем, накажем. Если у вас нет денег, не давайте их нам: добрая слава Самарканда дороже золота. Будет так: куда ни приведут вас дела, везде скажете: «Великий амир сурово карает всех, кто мешает купцам торговать». Сурово карает, и вы увидите это! Будьте спокойны. Идите с миром.

Пушок возвратился, ободренный словами судьи. Гости, стоявшие в этом караван–сараяе, пришли расспросить Пушка о судье, каждый звал Пушка к себе побеседовать, покушать, ибо в торговом деле каждому грозило так же вот, в единый час, потерять нажитое за всю жизнь; всю жизнь истинный купец идет по лезвию меча; одних венчает золото, других — меч.

Вечерело.

Горлинки бродили по краю плоской крыши и томно, нетерпеливо вызывали: «Геворк–армянин, Геворк–армянин...»

Ночь предстояла душная, и Пушок велел стелить ему постель на крыше: незачем запирается в затхлой келье тому, кого уже невозможно ограбить и не за что убивать.

* * *

В пятницу ранним утром к армянину пришел верховного судьи писец и весело вошел в келью. Сколькими взглядами, будто липкими пальцами, оцупал он голые стены и пустые углы сводчатой комнаты.

Было писцу непривычно приносить благоприятную весть в столь убогое жилище:

— Злодеи изловлены. Осуждены. Нынче по заслугам примут наказание. Справедливый судья наш велел сказать: если пожелает почтеннейший купец взглянуть сам на совершение наказания, да пожалует!

Нетерпеливо повязывал Пушок кушак вокруг живота, широкий и длинный, как чалма, а шапку надевал горячась, сунув в то же время ноги в туфли; спешил, будто злодеи успеют ускользнуть, если он не поторопится.

Писец провел армянина к галерее и поставил на углу расчищенной площади, чтобы все происходящее Пушок мог видеть, как купец привык разглядывать товар — почти на ощупь.

Перед галереей в ряд стояли конные воины в блистающих острых шлемах, с копьями в руках.

Всю площадь окружала пешая стража в полном вооруженье, суровая, безмолвная, плотно составленная плечом к плечу. На мышастом вислозадом коне перед строем топтался свирепый есаул конного караула.

Из-за спин воинов со всех сторон пестрели чалмы, шапки, тюбетей, колпаки разноплеменного самаркандского народа. Пушок не ожидал, что столько народу сойдется к этой небольшой площади перед Синим Дворцом.

Пушок удивился и такому стечению народа, и суровому облику воинов; армянин не знал, что все было бы проще, как бывало это здесь почти каждый день, если бы в Синем Дворце не случился в тот день сам Тимур.

Его не было видно: он мог смотреть сюда через многие двери из глубины дворца, но на галерею вышли его вельможи. Расступившись, они пропустили вперед двоих младших царевичей, и те остановились на краю галереи. Плечи конной стражи заслоняли мальчиков до колен.

Из ворот дворца выехал начальник городской стражи в блистающем золотом халате, опоясанный золотым поясом, в шапке из золотистой лисы на голове. Золотой конь приседал и приплясывал под хозяином, а хозяин сдерживал коня, чтоб пешие стражи, следуя за ним, не отставали.

Стражи в синих стальных кольчугах поверх серых халатов, в стальных шлемах с красными косицами шли по трое.

За стражами вели двоих злодеев.

Связанные руки обоих злодеев, заломленные назад, соединял один аркан, как соединило их одно злодеяние.

Пушок удивился: вели длинноносого Саблю, а связан с ним был собственный Пушка караван-вожатый.

Когда осужденных вывели, поставили перед народом, стражи расступились, начальник городской стражи подскакал к галерее и, спешившись, подошел к ее краю.

Верховный судья вышел из-за царевичей и, склонившись к стоявшему внизу начальнику, вручил ему скатанное серой трубочкой решение судьи, одобренное печатью повелителя.

Начальник почтительно приложил бумагу к устам и понес ее, высоко держа над головой, к своему коню.

Поднявшись в седло, он, по-прежнему высоко над головой подняв серую бумажку, повез ее к злодеям.

Они стояли помертвелые.

Щеки Сабли ввалились, лицо было серым, и оттого Сабля еще больше стал похож на свое прозвище. Глаза его тупо, ничего не видя, глядели вперед.

Золотой всадник остановился перед Саблей и, еще раз тронув свитком свои уста, развернул указ.

Голос его, пока он читал, ревел и рычал, будто не двое связанных стояло перед ним, а страшные, вооруженные войска сильных врагов, готовых к битве.

Пока он читал, Улугбек оглянулся. Позади стояли ближний дедушкин вельможа Мухаммед Джильда и святой сейид Береке.

— Красиво читает! — кивнул Джильда.

— Горланит наобум какую-то чушь: он же неграмотный.

— А выправка!

— Я видел в Индии, как он оробел, когда надо было порубить опасных пленников перед битвой за Дели.

— Всякого оторопь возьмет — ведь сто тысяч!

— Сто, но связанных!

— А все же... Связанных, но сто тысяч.

Едва золотой всадник дочитал, из ворот вышло двое невысоких шустрых юношей в серых коротких кафтанах с закатанными по локоть рукавами, с кривыми саблями в левых руках и с черными ременными плетками, свисавшими спереди, — палачи.

Если б в решении говорилось о наказании плетьюми, сабли висели бы у палачей на поясах, а правыми руками они несли бы плетки. Но плетки висели на поясе, а вдетые в ножны сабли зажаты в левых руках, — значит, злодеев ждала смерть.

Шустрые палачи ловко, как неживых, поставили осужденных на колени.

— Молитесь! — прорычал золотой всадник и начал громко читать молитву над притихшей площадью. Но слов ее он не знал, никак не мог заучить, и только рычал, то чуть подвывая, то быстро и неразборчиво бормоча, звуком голоса подражая словам молитвы.

Когда ему показалось, что для молитвы прочитано вполне достаточно, он снова отчетливо и громко проревел:

— Аминь!

И вся площадь глухим гулом повторила: «Аминь!», и воины, и народ, и палачи — все провели ладонями по бородам вниз, в знак покорности милостивому, милосердному.

К золотому всаднику подскакал есаул. Начальник городской стражи передал есаулу бумагу для исполнения, а сам на вертящемся коне отъехал к подножию галереи.

Один из палачей вынул из ножен саблю, отступил на шаг и рванулся, будто кинул себя вперед, но устоял на месте, а голова караван-вожатого вдруг откатилась в сторону, туловище сперва село на пятки, потом повалилось набок, дернув привязанные к нему руки Сабли.

Сабля не двинулся, словно деревянный, и, когда палач снова отступил на шаг, только чуть ниже склонил голову.

— Плохой удар, — сказал Джильда, — скосил челюсть.

— Высоко взял, — согласился святой сейид Береке.

Палач бережливо вытер клинок об одежду казненного Сабли, и палачи, повернувшись, пошли вслед за стражами, а стражи вслед за золотым всадником.

Улугбек оглянулся на привычное, довольное, с плутоватой усмешкой в глазах, лицо Джильды.

Джильда не торопился посторониться перед царевичами, и Улугбек был раздосадован этим.

Они прошли внутрь дворца и узнали, что Тимур все это время играл в шахматы с Мухаммед–Султаном.

Услышав их, Тимур, не оборачиваясь, поднял палец, предостерегая:

— Не мешайте!

Царевичи присели на краю того же большого ковра, присматриваясь к игре.

— Берегись! — крикнул Тимур и сделал тот двойной ход конем, на который игрок имеет право один раз за всю игру, ход, который игроки берегут на крайний случай. Оказалось, ферзь Мухаммед–Султана попал под удар дедушки. На выигрыш почти не оставалось надежды, но внук двинул слона, и неожиданно игра снова осложнилась.

— Какой индийский слон! — в раздумье пробормотал Тимур, быстро ища место для ответного удара.

И вот простой ход конем вдруг определил победу Тимура.

Дедушка отлично играл, редко удавалось ему найти опасного противника. Он отвернулся от доски, словно сразу о ней позабыв, даже не порадовавшись победе, ибо никогда не сомневался в своих силах.

— Ну? — спросил он младших внуков. — Где были?

— Смотрели наказание.

— Армянин доволен?

Царевичи переглянулись: какой армянин? Как это дедушка всегда все знает?

А Пушок между тем приступил к есаулу.

Есаул, спешившись, стоял, строго следя, как стража отгоняла любопытствующих из народа от казненных.

Деловито перешагнув через синюю струйку крови, Пушок спросил:

— Великий есаул! А где же моя кожа?

— Какая? — озадачился есаул.

— Похищенная злодеями.

— Этими? — пнул есаул одну из двух голов, валявшихся у его ног.

— Ими!

Есаул шутливо наступил на голову и повернул ее вверх лицом. Судорога еще двигала мертвыми щеками, рот Сабли открылся, и на губах, как почудилось армянину, мерцала мелкая дрожь.

— Вот, спрашивайте: «Куда спрятал?» А мне откуда знать? Он не признался.

Пушок жадно глядел в помертвевший рот: а вдруг и вправду голова заговорит и скажет, — ведь ему необходимо знать, куда ж они сволокли триста пятьдесят тюков его кож; ведь где-то они еще лежат; ведь не могли, не успели же они сбуть весь товар за столь недолгое время; ведь так ловко, так скоро их поймали и так строго, по справедливости, наказали, а товар опоздали захватить. Неужели опоздали?

Он смотрел на темную голову. Судороги застывали, лицо мертвело, словно сквозь кожу проступал белый воск... И теперь никто в мире не сможет ответить купцу по такому неотложному делу.

Растерянно Пушок постоял еще, словно все еще ожидая ответа от головы, размышляя: «Караван–вожатый, какой негодяй, был, значит, с ними в сговоре, сам к ним караван привел!»

Он негодовал на этих мертвецов, и это негодование сейчас заглушало весь ужас полного разоренья; он еще не решался об этом думать: горе купцу, разорившемуся в чужой земле. Дома ему помогают купеческие братства, там можно оставить в залог дом или землю или найти поручителей, а тут братства армянских купцов нет, а другим нет дела до армянина, рухнувшего в преисподнюю.

Он побрел по дороге.

Его обгоняли возвращавшиеся к торговле базарные завсегдатаи, купцы и покупатели, беседуя о свершившемся правосудии.

— Ну и Сабля!

— И не подумал бы, — тихий был человек.

— Тих—то тих, а кожи—то как скупил: раз хапнул, и нет кож во всем городе.

— Мы—то удивлялись: откуда у него деньги. Вон откуда!

— Столько денег честной торговлей не наторгуешь.

— Тем паче — дратвой!

— Дратва — для отвода глаз. Я давно замечал: похож на разбойника. Помните, какие у него глаза были — два вместе.

Торопливо, выпятив живот, часто—часто взмахивая короткими ручками, почти бежал бойкий хлебник вслед за широко шагающим высоким колесником, усмехаясь:

— Недаром его Саблей звали, — сами видели, саблей он и кормился.

— Саблей и награжден!

Испитой, круглоглазый лавочник, широко разевая светлые глаза, говорил с тревогой, на ходу заглядывая в лицо спутнику:

— Вот тебе и тихий. С людьми надо — ух как!.. Как подумаю, столько лет наискосок от него торговал, — страх берет. Как узнал его, так у меня дух захватило: страшно!

Перепрыгивая через канавы, прошли в туго опоясанных халатах обувщики, давние покупатели Сабли.

— Кожу—то у него дома нашли!

— Вернули армянину?

— В казну взяли: армянин свою ордынскую объявил, а от Сабли вывезли монгольскую.

— Видно, и на северных дорогах разбойничал.

— А откуда ж бы ему досталась такая!

— Ясно! А которую скупил?

— И та, думаю, вся в казну. Разбойничья — куда ж ее?

— Ясно! Не бросать же.

Пушок едва доплелся до своей кельи.

В этот час на постоялом дворе никого не было: все занимались торговыми делами, все ушли на базар. А Пушку там уже нечего делать!

Он сел на пороге, размышляя:

«Прежде чем отрубить головы, почему не спросили, куда делись кожи? Надо было спросить. Ведь это

всякий понимать должен. Так? Так! Купец без товара — не купец. А? Не купец!.. Кому отрубили голову? Разбойникам или купцу? Купцу! Так? Так! Вот что наделали!»

Царевичам редко приходилось бывать в Синем Дворце — только в те дни, когда дед привозил их сюда для каких-нибудь скучных дел.

Темное, неприятное здание строго высилось в сердце Самарканда, глядя на тесную площадь недобрым лицом.

По сторонам дворца лепились низкие сводчатые пристройки, занятые государственными управлениями, караулами, писцами. Во дворце хранились архивы, казна, сокровища великого амира, склады оружия, хозяйственные запасы для войск, личные припасы Тимура. В подвалах — темницы и сокровищницы; во дворах — мастерские дворцовых ремесленников, тут работавших, тут живших, тут и кончавших жизнь, — собственные мастерские великого амира, работавшие для него самого, для его семьи, для его войск и слуг; многое из дворцовых изделий сдавалось и купцам на вывоз.

Здесь было полно избранных, отовсюду приведенных лучших мастеров, ковавших оружие, шивших обувь, чеканивших деньги, разбиравших меха, ткавших редчайший самаркандский пурпурный бархат, выдувавших стеклянные изделия, изоцрявшихся в тончайших работах из золота и серебра.

Сотни мастеров ютились на задворках Синего Дворца. Так нагромоздилось помещение над помещением, мастерская над мастерской, что за плотными, крепкими стенами не было ни видно, ни слышно этих сотен людей, не смеявших здесь ни петь, ни плакать, ни громко говорить.

Сотни воинов стояли в других частях дворца, в сердце Тимуровой столицы; сотни отборных, испытанных воинов, но мало кто догадывался, сколько их там и есть ли они там.

Синий Дворец над Самаркандом стоял молчаливо, хмуро, чем-то похожий на своего хозяина, и без крайнего дела сюда никто не ходил.

В нескольких богатых, мрачных залах иногда останавливался Тимур принимать знатных, но докучливых людей или своих подданных, недостойных посещать его сады и нарядные жилые дворцы.

Тимур здесь разбирал мелкие дела, городские нужды, а верховный судья принимал здесь жалобы и вершил суд.

Когда дед пошел в приемную залу, царевичи сошли в сад, зажатый стенами старых зданий, уцелевших от прежних, издавна стоявших здесь дворцов, пропахший конюшнями и мусорными ямами сад.

Редко приходилось прохаживаться по этому саду.

Улугбек шел, взявшись за руку с Ибрагим-Султаном. Вдоль дорожек торчали, как мечи, листья ирисов, давно отцветших. Ирисов в садах не любили сажать, их считали кладбищенскими цветами и опасались; ходило поверье, что вслед за ирисами в дом идет смерть. Но во дворце, где столько жило и умирало людей, никому не ведомых, сам амир редко жил, и поэтому садовники решились посадить прекрасные лиловые цветы, воспетые еще в древних песнях, столько раз украшавшие миниатюры гератских живописцев. Теперь лишь над редкими кустами желтели, как клочья истлевшей бумаги, остатки давно увядших цветов.

Но с персиковых гибких веток свешивались белые, зеленоватые и желтые плоды. Покрытые мягким налетом, окруженные зелеными кудрями длинных листьев.

Под одним из деревьев мальчики увидели своего старшего брата Мухаммед-Султана, пригнувшего ветку и выбравшего с нее самые спелые, мелкие, почти белые персики.

Мальчики остановились, не решаясь мешать своему взрослому, давно женатому брату. Но он

крикнул:

— Идите сюда, Улугбек! Ибрагим!

Они подошли. Он протянул им на ладони теплые, маленькие, пушистые плоды:

— Такие только здесь растут. А я их люблю. Откуда их сюда завезли, не знаю. Хотел у себя посадить, садовники таких нигде не нашли.

Ибрагим ответил так же хозяйственно, как говорил старший брат:

— А почему садовники не возьмут отсюда черенки для прививки?

Ибрагим дружил с садовниками, вникал в их дела и предпочитал их обществу обществу придворных вельмож, которых побаивался.

Улугбек сказал:

— Я люблю гладкие, зеленые, без пушка!

Ибрагим между тем облился соком:

— Очень вкусно.

Мухаммед–Султан щелчком стряхнул опаловые капельки с его халата и ответил:

— Тех везде много, без пушка. А Пушка видели?

— Пушка?

— Это армянин, у которого пропали кожи. Мне его показали у судьи — он весь распушился, халат распахнул, грудь волосата, как у барана, глазами ворочает как шальной, а я смотрел и думал: ты ворочаешь глазами, а я знаю, где твои кожи! Очень смешно.

— Откуда же вы знаете? — почтительно полюбопытствовал Улугбек.

Тимур строго соблюдал в семье неписанные обычаи своего джагатайского рода. Младшим сыновьям или внукам прививалось безропотное почтение к старшим братьям: старшие братья считались наравне с дядьями; обращаться к ним следовало со смирением и послушанием.

Из многих внуков Тимура Мухаммед–Султан был не только старшим внуком; был он старшим сыном старшего сына, Джахангира, умершего давно, лет двадцать назад.

Не младшим сыновьям, а сыну старшего сына оставлял состарившийся Тимур после себя свое место в мире. И весь народ давно знал об этом решении повелителя; и войска знали, и военачальники, и вельможи, и жены Тимура со всеми их внуками, и если не всем это казалось справедливым, всем оно казалось непреложным. Да и сам Мухаммед–Султан, простой, приветливый, безбоязненный в битвах, не раз отличавшийся беспримерной отвагой, решительный в своих действиях, нравился воинам и устрашал врагов.

Чтобы приучить народ к этому внуку и чтобы сыновьям не вздумалось оспаривать у племянника право на старшинство, Тимур приказал еще лет пять назад отчеканить деньги с именем Мухаммед–Султана, и они уже давно потекли по рукам народа.

Сыновей у Тимура осталось мало, только двое еще жили — Мираншах и Шахрух.

Но внуков у Тимура росло немало, хотя родство их между собой очень перепуталось: из сыновей старшего сына, Джахангира, выросло двое Мухаммед–Султан и Пир–Мухаммед. Но, родные по отцу, они родились от разных матерей. От одной матери с Мухаммед–Султаном родился Халиль–Султан, хотя от разных отцов. Но отцы их оба были сыновьями Тимура — Джахангир и Мираншах; после смерти

Джахангира его жен и его имущество Тимур отдал другому своему сыну — Мираншаху. Улугбек с Ибрагим—Султаном оба родились от Шахруха, родились в одном и том же году, почти в одно время, но от разных матерей: Улугбек — от Гаухар—Шад—аги, джагатайки, дочери Гияс—аддина Тархана, — ее предок спас жизнь Чингиз—хана, и весь род ее чванился этой заслугой, — а Ибрагим—Султан родился не от жены, от наложницы, персидской царевны, красавицы, которую старая царица Сарай—Мульк—ханым называла не по имени, а кличкой Перстенек. Были у Тимура внуки и от его сына Омар—Шейха восемнадцатилетний Пир—Мухаммед, тезка старшего брата, и пятнадцатилетний Искандер, названный в честь Александра Македонского, о чем Искандер часто напоминал не только сверстникам, но и вельможам, когда удавалось к слову сказать: «Мой тезка — македонец». Даже Султан—Хусейна, внука от одной из своих дочерей, Тимур растил у себя.

Для деда все они были родными внуками, и среди них Тимур отдыхал, ради них напрягал свои силы для новых походов, для новых завоеваний, расширяя землю, чтобы внукам его было просторно среди ее богатств и раздолий.

Дед строго следил за царевичами, малейшую их ссору кропотливо разбираал сам. Он хотел, чтобы все они стали сильными владыками больших и славных стран, разных областей, но единого государства, словно возможно разделить себя на несколько частей, разбросать самого себя по разным странам, а в нужный час вновь слгаться в единое тело, грозно вставать прежним, могучим, вечным хозяином мира — Тимуром.

Царевичи стояли под персиками, и Улугбек любопытствовал:

— Откуда же вы знаете? Ведь сегодня двоим отрубили головы за то, что они ничего не сказали.

— Наоборот, им отрубили головы, чтобы они ничего не сказали.

— Не понимаю.

— Ведь кожи у дедушки!

— Но воровали эти злодеи! — возразил Улугбек.

— Если б воровали они, кожи были бы у них, а ведь кожи у дедушки!

— Тогда за что же их убили?

— Не убили, а наказали. Сабля знал такое, чего простому человеку не надо знать. Чтобы не болтал, его сперва заперли, но потом его надо было куда—то деть! К тому же надо было всему базару показать, что ворам у нас нет пощады, а где взять воров?

— А другой?

— Тоже мог наболтать лишнего: его впотьмах прихватили вместе с кожами.

В разговор вмешался Ибрагим:

— Лицо у этого Сабли было очень глупым.

Улугбек засмеялся:

— Неизвестно, как бы ты сам выглядел на его месте.

— Не знаю: в нашем роду еще никто не умирал от сабли.

— А дядя?

— Дядю Омар—Шейха курды убили не саблей, а пронзили стрелой.

Мухаммед—Султан, опасаясь соком персика закапать халат, вытянул вперед длинную шею и губами

стаскивал с персика кожицу. Стоя так, он подтвердил:

— Это правда: пробили стрелой.

Тем временем Тимур, сидя в небольшой зале, спрашивал своего казначея:

— Запасов войску надолго хватит?

— Индийских?

— Всех.

— Взятого из Индии до осени вполне хватит.

— Всех, спрашиваю! Всех! — закричал Тимур, раздраженный, что казначей его амир Курбан не отвечает прямо.

— До осени!.. — оробев, бормотал амир.

— Где же годовой запас?

— Войск слишком много.

— Не твое дело, сколько; их столько, сколько мне надо! Где годовой запас?

— Я берусь прокормить до весны...

— Не ты кормишь, я кормлю. Твое дело беречь, когда тебе велели беречь. Где запас?

— Все цело! Все цело! — пятась, бормотал амир, видя, как Тимур встает, глядя в упор, куда-то между его глазами. — Пускай проверят. Все цело!

— Взять! — крикнул Тимур, и слово это сверкнуло, как сабля, над головой амира Курбана, и на мгновенье Курбан замер, сомневаясь: не отсек ли ему голову Тимур.

А Тимур уже говорил твердым, негромким, но далеко слышным голосом:

— Эй, Эгам-Берды-хан! Проверь все склады. Чтоб завтра знать счет каждому зерну, каждому лоскуту, чего сколько и где что лежит. И оружие проверить, и все припасы. Пускай люди считают хоть ночь напролет: я отсюда не уеду, пока не сосчитаю всего. А этого Курбана не выпускать. Пускай ждет, чем счет кончится. Ступайте!

К вечеру Тимур устал.

Он полежал в небольшой зале с дверями, открытыми в сад. Младшие царевичи, ходившие смотреть лошадей, проходили под деревьями.

Он подозвал мальчиков и отпустил:

— Поезжайте-ка домой. Надо вам доехать, пока не стемнело. Возьмите охрану покрепче: мало ли что случается в дороге.

Сам редко брал большую охрану, но внуков рачительно берег, опасался за каждого.

Когда мальчики ушли, приказал:

— Приведите ко мне армянина.

— Кожевенника?

— Был кожевенник, а кем будет, увидим.

* * *

Пушок за эти немногие дни не раз переходил от светлых надежд к черному отчаянию.

Он расхаживал по всему двору в спустившихся толстых чулках, забывая надеть туфли; в халате, накинутом на плечи, нечесаный, не понимая, ждать ли, что кожи найдутся, или ждать уже нечего. Оставалось, как бродяге, идти пешком в Бухару, где торговали знакомые армяне, земляки, просить их помощи. Но когда идти и как? Ночью — сожрут шакалы. Ему казалось, что шакалы с их плачущим воем неодолимы. Многими опасностями пренебрегал, а шакалов очень боялся. Днем идти — жарко: жару он привык пережидать в холодке...

Мусульмане, считавшие предосудительным выражение горя, ибо все происходит по божьей воле, пренебрежительно отнеслись к Пушку: надлежит покориться судьбе, а не хвататься за волосы, — как себя за волосы ни тяни, голову из беды не вытянешь.

Армяне, уважавшие удачливых, изворотливых людей, стыдились за Пушка, в столь неприглядном виде представлявшего армянское купечество.

Больше никто не шел к нему ни с искренним сочувствием, ни с вежливым утешением.

И вдруг, уже перед вечером, на постоянный двор вошел царский скороход с повелением Пушку незамедлительно явиться в Синий Дворец.

— Нашлись кожи? — очнулся Пушок.

— Приказано звать вас, почтеннейший. Зачем и к кому, знать не приказано.

Предшествуемый скороходом, перед которым расступался весь базар, сопровождаемый тремя джагатайскими воинами для охраны, Пушок последовал в Синий Дворец.

Его провели через опустелые гулкие залы, и армянин, переступив страшный порог, обомлел и замер у двери.

— Ты что же, в Самарканде гнилье думал сбить? — крикнул Тимур.

— Виноват, великий владыка!

— Я берегу Самарканд, чтоб тут дрянью торговали? А?

— Но часть хорошей была...

Однако Пушок увидел глаза Тимура и добавил:

— Часть, правда, залежалась.

— Залежалась! И пускай бы лежала в Бухаре. В Трапезунт бы вез, в Багдад, там торгуй, твое дело. А ты норовил меня обмануть! А?

— Виноват, великий владыка! Откуда же я мог знать, что вы сами захотите их купить.

Голова Тимура отшатнулась.

— Я? Купить? И не думал. О другом речь: нельзя на самаркандский базар гнилье везти. Слух пойдет, худая слава пойдет по свету о самаркандских товарах. Ты подумал об этом? Ты чужеземец, тебе все равно. А мне не все равно: я тут. Вот о чем тебе говорят.

Пушок робко и не без горечи напомнил Тимуру:

— Теперь мне уже нечем торговать.

— То-то. Говорят, хороший купец, а плутуешь!

Эти слова ободрили Пушка.

— На то и торговля.

- Плутуй в другом месте; в Самарканде нельзя.
- Впервые такая беда.
- Кто много по дорогам ходит, нет–нет да и споткнется. Кто взаперти сидит, тому спотыкаться негде.
- Так споткнулся, великий владыка, что и голову поднять сил нет.
- Деловой голове валяться обидно.
- Очень обидно, да встать–то как?
- Сразу не встанешь, а подниматься надо.

Тимур опустил лицо, но, исподлобья, испытующе глядя на Пушка, деловито спросил:

- Кроме кож чем торговал? Куда ездил?
- Вдалеке бывал. Еще с отцом случилось побывать в святом городе Константинополе; много раз в Орду ездил; доводилось доходить до Москвы.

— Что возил?

— Разное, кому что!

— А Москве?

— Здешние товары. Винные ягоды, кишмиш, персики сушеные, шелка, рис. Изделия здешних мастеров хорошо берут — чеканные кувшины, хорошие сабли, изукрашенные. Оружие любят.

— А оттуда что брал?

— Меха: соболей, белку серую, горностаю, куницу, бобра, зайцев крашенных; рыбий клей, лесные орехи. Мечи. Кольчуги там хороши.

— Очень хороши! — одобрил Тимур. Армянин ему понравился.

— Теперь их там не добудешь!

— Кольчуг? Почему?

— Самим, говорят, надобны.

— Вот, смекни, можешь ли повезти туда индийский товар? Хороший. Чтоб славу нашу не уронить.

— Откуда ж товар взять? Не на что.

— А проехать сумеешь?

— Орда как затычка на пути. Но с перевалкой в Сарае да при сговоре с сарайским купечеством пробраться можно. Провез бы, да на товар мощи нет.

— Дам. Тебе покажут, отберешь. Вези. А назад ехать соберешься изловчись, закупи кольчуг. Не добудешь кольчуг, вези меха. За кольчуги, если привезешь, сам поблагодарю.

— Мне и в залог оставить нечего, и на дорогу ничего нет.

— То–то. Через неделю купцы готовят караван в Орду с тысячу верблюдов. Из них сотню завьючишь ты. Управишься за неделю?

— Да хоть за час! — пьяным голосом взвизгнул Пушок.

— Сто верблюдов, двести вьюков. Цени доверие. Не обманешь?

Армянин, как во хмелю, только руками разводил.

— На дорогу дадут. На сборы сейчас получишь. Залог не возьму: тебе нечего дать, мне нечего опасаться. Обманешь — меня не обойдешь, куда денешься?

Тимур улыбнулся своим мыслям: кто станет его обманывать? Есть ли место, куда не дотянулась бы его карающая рука? В Москве спрячется? А на что он ей нужен?

Оставалось лишь договориться о доле Пушка в этом деле: был Пушок купцом, стал приказчиком. Не он первый: Тимур нужны оборотистые купцы, что залежалую кожу ловчат в золото перевернуть, такие сумеют вывернуться.

* * *

На постоянный двор Пушок вернулся без охраны. Но перед ним и без охраны расступались: голова его бойко поднялась, борода закурчавилась, плечи расправились, и снова ступал он по базарной улице мягко, как по коврам шел.

Едва вернулся, велел кашгарцам готовить целого барана на всех гостей, стоявших на этом постоялом дворе, а сам пошел в Кожевенный ряд.

Он зашел в маленький караван-сарай и увидел Мулло Камара, уединенно поглощавшего вареный рис из глиняной чашки.

Чашку Мулло Камар тут же отставил и, вытирая платком руки, встал:

— Милости просим! Возвратились?

— Сейчас вернулся.

— Доброе дело!

— Пришел вас просить к себе: барашка со мной разделить.

— Благодарствую.

— К тому же серебряный образец прошу возвратить, полноценную деньгу вам принес. Свежий чекан.

— Образок? Вы же не в залог его дали, образку хозяин я.

— Мусульманину он бесполезен, а мне дорог.

— Красивая вещь.

— Хорошая. Вот вам деньга, прошу.

— Кто же за одну деньгу продаст такую вещь? В ней одного серебра денег на пять. А работа? К тому же древняя вещь. Дороже десяти стоит.

— Однако вам она досталась дешевле!

— Я ее не крал, обманом не выманивал. Дали ее мне взамен деньги, а теперь я к ней привык, она мне дороже стала.

— Десять — это много.

— Десять — это своя цена. Я не сказал, что отдам за десять. Цена ей пятнадцать. Берете?

— Покажите.

— Да вы на нее всю жизнь смотрели — забыли?

— Покажите!

— Пожалуйста.

Мулло Камар сходил в келью, порылся в кисете и вынул оттуда византийский образок с награвированным искусной рукой барашком, лестницей, с какими-то неизвестными надписями на обратной стороне.

— Вот он!

— В него, однако, была ввинчена золотая петелька, чтоб подвесить.

— С петелькой я его и за двадцать не отдам, — золото!

— Пятнадцать даю.

— Меньше двадцати не возьму.

— Давайте!

За эту цену не только византийского барашка, гурт живых можно было купить. Но не пускать же по свету материнское благословение!

Образок возвратился на свое потайное место на армянской груди.

Пушок собрался идти. Мулло Камар спросил:

— Друзья-то когда у вас соберутся?

— Какие?

— Вы же пришли звать меня барашка кушать.

— Ладно, пожалуйста. Пойдемте.

Они пошли через Кожевенный ряд, но армянину не о чем стало говорить с купцом. Они шли молча, поглядывая на затихающую в сумерках торговлю.

— Кож-то нигде не видно! — сказал Пушок.

— Придерживают, — согласился Мулло Камар.

— Я теперь кожами не торгую! — не без гордости проговорился Пушок.

— И слава богу: меньше гнилья у нас будет.

— Откуда вы знаете? — растерялся Пушок. — Вы же за глаза брали?

— Откуда? — Мулло Камар пожевал губами, не спеша ответить на опасный вопрос. — Откуда? Да все оттуда же: Сабля-то признался, а мне верный человек донес.

— Сабля не признался! В том-то и дело!

— Сабля-то? А откуда ж бы я знал? — не отступил Мулло Камар.

— Не весь товар плох был. Были и хорошие.

— Сохранил меня бог: чуть-чуть не разорился!

Теперь потупился Пушок, огорченный, что приходится говорить о таком неловком деле:

— Кто же виноват? Надо было сперва на товар взглянуть, а тогда и цену давать.

— Слава богу, не успел получить товара. Да видите: я не обидчив, согласился вашего барашка отведать, к вам в гости иду. Нет, не обидчив.

Опять помолчали.

Пушок миролюбиво попытствовался:

— Вы что же, через неделю?

— Через неделю идем.

— Мы тоже.

— Далеко?

— Трапезунт.

— Кожи?

— Нет, индийский товар.

— Тоже?

— Слава богу! Повезем.

Едва они вошли в ворота постоянного двора, их, низко кланяясь, встретил оживленный Левон:

— Пожалуйте. Все готово.

Запахи, сладостные, как песни райских птиц, охватили их среди веселого щебета кипящих в масле пряностей и приправ.

Длинный ковер протянулся вдоль двора. Длинная скатерть белела, расшитая синими китайскими письменами. Стопки лепешек уже высились по краям скатерти, и кашгарцы распорядились в углу двора у пылающих очагов, над котлами.

Из келий выглядывали постояльцы, нетерпеливо приносиваясь к кашгарской страпне.

Солнце меркло.

Левон готовил фонари, протирал их и прилаживал светильники.

Вскоре над длинным рядом людей, восседавших за угощением, уже горели фонари, подвешенные на крепком канате, освещая обломки лепешек, руки, блестящие от жира смуглые куски мяса, густую зелень лука, белые, красные груды овощей и плодов.

Из глиняных кувшинов в плоские чашки наливали вино, казавшееся черным. Армяне говорили о дружбе, которая скрепляет людей воедино и укрепляет их стойкость против встречного ветра, а ветер всегда дует, пока караваны идут из края в край.

Вздыхая, с дрожью в горле, будто после плача или после обиды, Пушок слушал доброжелательные слова гостей.

Каждый из них был ему опасен. Каждый купец опасен купцу, когда у купца есть деньги или хороший товар. Но Пушок пил, как родное вино, мирные рассказы о дальних торговых городах, где доводилось бывать этим людям. Одни из них хвалили покупателей Генуи; другие, не скрывая превосходства, признавались, что здешние свои закупки везут в Венецию. Этим предстояло в одном караване с Мулло Камаром идти до Трапезунта. А оттуда они сядут на корабли, поплывут мимо анатолийских разбойничьих берегов до Константинополя, а может, и дальше поплывут морем. А Мулло Камар?

Мулло Камар, которому выпитое вино придавало молчаливость, неохотно дал понять, что часть товара попробует провезти до Египта.

— А турки?

— Я сказал: попробую. Я не говорил «провезу».

— А разграбят?

- В другой раз попробую.
- Опять разграбят.
- Узнаю, где обходить надо, — в третий раз пойду.
- А зарежут?
- Я мусульманин. Не зарежут. Оберут да и отпустят.
- Разоренье хуже ножа!
- Товару хватит. Была б дорога!

Армяне на мгновение смолкли: не боится разоренья? Сильный купец!

Один из сидевших рядом пошутил:

- Мусульманин, а пьете вино.
- Вино? Это виноградный сок!

Купцы смеялись.

А он, захмелев, глядел на вспотевших, волосатых, кричащих людей и думал: «Шум какой!»

И опять думал:

«Знали б, чей товар везу, — знали б, что нас не разорят. Мы этих турков легче разорим. А у нас сотню верблюдов захватят — мы взамен тысячу поведем! Вам — верно, вам — страшно: ударит волна по кораблику, и буль-буль — пошли ваши закупки в пучину черноморскую. И конец вам. Пойдете по Константинополю просить в монастырях кусочек хлеба. Многие побираются там, а такими ж были, как вы сейчас. А нам не страшно! У нас...»

— Что везете? — спрашивал, придвинувшись, старый армянин с бородой, выкрашенной в огненно-красный цвет.

Мулло Камар думал: «Рассчитывает, что я опьянел».

И спросил простодушно:

- В Трапезунт?
- В Египет.
- Рис.

Армянин выпучил огромные, обросшие волосами глаза:

- В Египет? Там рису, что ли, нет?
- Есть, да не такой.

— А... — отодвинулась красная борода, поняв, что Мулло Камар ни во хмелю, ни в огне правды не скажет.

А Пушок ласково, с любовью смотрел на гостей: всю жизнь встречаются они одни с другими где-нибудь, то на постоянных дворах, то на базарах. Встречаются, опасливо, пытливо, настороженно приглядываются один к другому, при случае перебивают выгодное дело друг у друга, снова расходятся в разные концы дальних дорог на долгие годы; снова сталкиваются на чутком ночлеге, разглядывая один в другом перемены, расспрашивая допоздна о событиях в покинутых городах, — и опять забывают друг друга, едва звякнет колокол каравана и верблюды поднимут на горбах заветную поклажу в новый путь.

И опять идут караваны.

Народы и языки сменяют друг друга.

Шумят и остаются позади базары, а караваны идут, идут мимо развалин городов, где базары надолго отшумели.

Проходят между песчаных барханов, где песок струится, как морские волны по отлогому берегу.

Проходят мимо огороженных, как крепости, полей, где люди пашут или сеют.

Идут мимо полей, где собирают урожай.

Идут мимо нищих хижин в нищих селениях, где всегда какие-то женщины плачут и кричат, а оборванные старики молчат и смотрят искоса неподвижными глазами. Смотрят, как проходят караваны и проносят в далекие города, в чужие страны многое из того, что добыто на этой земле, многое из того, без чего нет не только радости, а и жизни на этой земле.

Пронесут караваны мимо, в далекие края, то, чего никогда не оставят в этих нищих селениях, где людям нечем платить.

Шестая глава

САД

Караван шел медлительной, вечной поступью сквозь сухую степную тьму. Ночь кончалась. Звезды тускнели.

На длинных переходах между караван-сараями, вдоль торговых путей в стране Тимура стояли коренастые глиняные сторожевые башни, где на гладких крышах в темные ночи стража разводила огни.

Тлея, дымясь, светился кизяк малиновым жаром, и, приметив его путеводный свет, уверенней, смелей вели вожатые за собой караваны, хотя и без того каждый знал, что торговые пути в землях Тимура безопасны.

Впереди каравана на осле, на мягкой подстилке, восседал староста каравана, за ним ехали его караванщики, за караванщиками — охрана, за нею купцы, а за купцами, подоткнув под себя аркан, свисавший из ноздри головного верблюда, ехал караван-вожатый.

Караван-вожатый порой затягивал тягучую древнюю песню, но и певши ее привычным ухом прислушивался, как ровно позвякивает колокол под брюхом заднего верблюда, а чуть собьется, чуть дрогнет его размеренный звон, и сердце вздрагивало: нет ли беды в караване?

Ночь кончалась.

Впереди, на башнях, успокоительно дотлевали костры. Осталась в стороне темная груда глиняных деревенских строений, где, видно, все спали, а может, и вымерли: даже псы не залаяли.

И снова безлюдная ночная степь охватила караван со всех сторон.

— Деревню Курган прошли, — сказал, будто себе самому, вожатый.

Никто не отозвался: дремали на своих ослах караванщики, дремали в стеганых халатах купцы, дремал певец, нанятый купцами для утехи в долгой дороге, мирно дремали охранники, ибо дороги в землях Тимура безопасны.

Лишь Геворк Пушок сквозь дремоту приоткрыл глаза, солидно сидя на крепком, резвом осле. Приметив, что уже расплывается синим дымком по степи предрассветная прохлада, плотнее запахнул свой белый шерстяной чекмень и опять задремал, уставший от дневных разговоров с попутчиками.

Теша свою гордость, вдосталь наговорился Пушок с попутчиками и, из снисходительного расположения к ним, каждому к слову успел намекнуть, что товар он везет ценнейший, а хозяин у него знатнейший, чтоб все в караване разумели, что, мол, не простой купец едет, не залежалые кожи везет, не в короткую поездку выехал, а на широкий торговый простор. Но бывалые попутчики и без тех намеков еще в Самарканде смекнули, чья это сотня верблюдов столь завидно завьючена в дальнюю дорогу.

Дальняя дорога Геворка Пушка только-только начиналась. Еще самому ему темны ее предстоящие повороты, ее подъемы, кручи и пропасти.

Из Самарканда вышли затемно.

Зной переждали на знакомом дворе Кутлук-бобо, а как жара спала, снова вышел караван на свой путь.

Сперва слушали певца, идя среди степи, поросшей голубой иссохшей травой. В стороне оставались то сады, где вдруг мелькала змейкой воркотливая струйка ручья, то придавленные к земле глиняные мазанки деревень.

Устав от певца, разговаривали: Пушку никак не молчалось. Всю дорогу набухали в нем и распирали его всякие утешительные мысли о начатом долгом пути, о базарах, что шумят в далеком далеке впереди, о хитрецах, что потщатся выманить у купца за бесценок товары, да наколются на стойкую выдержку Пушка...

А когда говорить устали, совсем уже смеркло, и снова запел певец, сеча струны острыми пальцами.

В темноте пропустили встречный большой караван из Суганака...

«Так же вот и Мулло Камар где-то сейчас шествует по своей стезе!» подумалось Геворку Пушку.

Незаметно купцы и певец смолкли, предавшись дремоте, и лишь тяжелая кость бессонно бултыхалась внутри плоского колокола, качавшегося под брюхом заднего верблюда; мерно, будто сердце, билась кость о гулкую медь.

Достигал этот звон темных деревень, да мало кто внимал ему в ночное время; земледельцы, намаявшись за день, спали на ветерке, на глиняных кровлях, втащив следом за собой и лестницы, чтоб не коснулся их сна никакой чужой человек.

Лишь те, кому случилось в ту ночь поливать поле либо караулить виноградники, могли, вслушавшись, понять по звону — велик ли караван, тяжело ли навьючен, по какой дороге вдет.

Но никому здесь не было дела до караванов: какое дело крестьянам, куда идут и что несут эти невидимые в ночи, молчаливые верблюды.

Лишь на краю одной из деревень, не на крышах лежа, а на теплой, черствой, пахучей земле, вслушивались люди в поступь этого каравана.

И один из лежавших хриповато спросил:

— А те ли это?

Задыхающийся голос ему отозвался:

— Я за их звоном до самой стоянки шел. Они на стоянку стали, а я сюда дошел, — звон их помню.

— Верно ли?

— Я звон их помню — те самые.

— Гляди!

И замолчали.

И молчали, пока караван, почти что над ними, проходил медлительной вечной поступью сквозь сухую степную тьму.

* * *

Тимур, не поднимая головы, приоткрыл глаза. В комнате было темно и душно, но вверху, под потолком, через каменную резьбу слухового окна уже сквозила предрассветная синева.

Он лежал во тьме, будто на дне ямы.

Светильники не горели: он не любил, когда рассвет пробивался сквозь пламя светильников; Тимур любил, когда рассвет приходил из ночной тьмы.

Протянув руку к пышным душистым одеялам, Тимур потрепал по бедру девушку, спавшую здесь эту ночь.

— Выспалась?

Но девушка крепко спала.

Он дернул туго завязанный пояс ее шаровар:

— Вставай! Утро идет.

Она сразу проснулась, но не откликнулась, обомлев спросонок.

Он быстро поднялся на ноги и стоял, широкой ладонью разглаживая слежавшееся лицо, а она еще не решалась шевельнуться, ожидая, что он может опуститься к ней.

Стоя, он повторил нетерпеливо, досадливо:

— Вставай, вставай.

Она вскочила, зазвенев украшениями, надетыми на нее с вечера, подтянула пояс и, удивляясь, что он так и остался неразвязанным, воскликнула:

— И?!

Нашаривая свой халат, он торопил ее:

— Ступай!

Но в темноте она не могла разобрать, где та дверца, через которую ее ввели вечером и куда теперь надо уйти.

Она переминалась, не умея скрыть ни своей робости, ни своего удивления, все еще ожидая от него других слов.

Это ее замешательство или удивление смутило Тимура. Не глядя ей в глаза, он привычной рукой подтолкнул девушку к двери:

— Поспала, и будет. Иди!

Она побежала за дверь, быстро—быстро стуча по ковру резвыми пятками, а он, волоча за собой халат, вышел в соседнюю комнату.

Здесь уже чуть брезжил свет. С обычного места Тимур поднял высокий, узкогорлый кувшин, взяв его, как гуся, за шею, и присел над мраморной плитой, вложенной в пол.

Вода из кувшина заструилась, утекая через норки, невидимые на сером квадрате плиты.

Холод воды освежил и ободрил тело, но удивление ушедшей девушки омрачило ему удовольствие от омовенья.

Он мылся, сидя на корточках; не вставая, вытерся; с досадой кинул на пол полотенце; захватив халат, встал и порывисто всунул в рукав неживую правую руку.

Такую досаду случалось ему переживать, когда какой—нибудь непокорный город или какой—нибудь самонадеянный князишка сомневались в его силах, медлили с изъявлением покорности.

Он задумался: «Какая там непокорность! У наложницы! Чем она раздосадовала? Удивилась, ждала...»

Его раздумье прервал привратник первой двери амир Мурат—хан, брат царевны Гаухар—Шад.

Едва слышав плеск воды, он встал в соседней комнате, где спал, по обычаю, на одеялах, постеленных вдоль порога. Постояв за дверью, он выждал положенное время и вошел к Тимуру, говоря:

— Близится время первой молитвы, государь.

Тимур, как всегда пропустив мимо ушей напоминание о молитве, спросил:

— Ну, что там?

Мурат–хан помог Тимур у натянуть халат на здоровую руку и напомнил:

— Великая госпожа ждет вас, государь.

Еще вчера Тимур дал согласие утро провести у Сарай–Мульк–ханым: ей хотелось о чем–то поговорить с ним.

— Распорядись одевать.

Привратник вышел, чтобы прислать слуг.

Стоя возле высокого опустевшего кувшина, Тимур опять задумался: «Удивилась? Но чем это меня так досадует?..»

Слуги внесли свежие халаты, и опять его раздумье прервалось.

Он хмурился, пока на его руки натягивали халаты, и велел опоясать себя широким ремнем. Этот пояс, украшенный большими золотыми бляхами вперемежку с кольцами, усаженными рубинами, он надевал, когда сердился на кого–то или намеревался раздавить своим гневом провинившегося.

Вскоре по всему дому и по всему саду уже шептались:

«Сегодня повелитель суров».

Многие из вельмож, ждавшие, чтобы обратиться к нему по своим делам, заспешили, не глядя по сторонам, к коновязям, чтобы затемно, пока Тимур не заметил их, убраться отсюда: сохрани бог попасть на глаза повелителю, когда он суров. В подобные дни он, случается, такое припомнит, о чем, казалось, давно позабыто, — память на всякое зло у Тимура не ржавела десятками лет.

Он прошел в комнаты великой госпожи.

Этот дворец поставили и сад Дилькушо разбили всего два года назад для другой жены Тимура, для Тукель–ханым, на которой он тогда женился.

Тукель–ханым, дочь Хызр–Ходжи–хана, она, как и Сарай–Мульк–ханым, была из прямых правнучек Чингиза, и в знак уважения к ханскому достоинству своей невесты старый Тимур сам выезжал ей навстречу до Чиназа и ждал там, пока ее везли по степи из Моголистана.

Ожидая ее там, он съездил в Ясы поклониться могиле святого хаджи Ахмада Ясийского и взглянуть, как подвигается возведение гигантской усыпальницы над святой могилой.

Дождавшись Тукель–ханым, он привез ее в этот сад и подарил его ей.

Она стала второй хозяйкой в гареме, первой после великой госпожи Сарай–Мульк–ханым. Остальные жены отодвинулись, уступая место этой шустрой, деловитой, гнусавой девчонке.

Она получила звание меньшей госпожи. Но в ее дворце несколько богатых комнат было отведено великой госпоже, а в саду на самом красивом месте великая госпожа поставила свой шатер, расшитый золотом, вытканый в Китае, самый высокий из шатров сада.

И только у великой госпожи было право приглашать мужа или обращаться к нему в любой день. Все остальные жены, а во главе их и меньшая госпожа, смиренно ждали предназначенных им дней. И лишь в случае особо важном могли обратиться к мужу, однако не иначе как через великую госпожу.

Тимур прошел в небольшую залу, где встретила его, покорно кланяясь, посреди бархатного ковра, вся украшенная драгоценностями, но босая, седая, проворная Сарай–Мульк–ханым, которую, вслед за внуками, во дворце, да и в народе, уже давно звали госпожой бабушкой — Биби–ханым:

— Здоровы ли, государь?

— Благодарствую. А ты как?

Под распахнутым верхним халатом она увидела застегнутую пряжку широкого пояса. Муж давно уже встречается с ней при застегнутом поясе, в знак того, что здесь халатов снимать не намерен.

И она снова поклонилась ему.

Они прошли в прохладную залу, где через все окна, настезь раскрытые в сад, доносились голоса птиц, — там наступало утро, и в этот миг какая-то горихвостка восславила звонкой россыпью то жемчужное мгновенье, когда воздух уже расплавил синеву рассвета, но еще не покорился румянцу зари.

В зале чувствовался запах чада: видно, когда готовили эту залу, здесь горели светильники, но их погасили и унесли, — все знали: он любил спокойный приход утра из предрассветной мглы.

Он сел у стены напротив окон, на узкое одеяло. Жена заложила ему за спину пышную подушку; шелк заскрипел, когда он привалился к подушке, и жена тут же положила другую ему под локоть; шелк этой подушки зашелестел под ним.

Храня свежую утреннюю тишину, старуха молчала. Молчал и Тимур, глядя, как за окном неподвижно стоят густые деревья, еще темные от росы. Их стволы снизу были обложены китайскими изразцами, и казалось, что раскидистые, большие деревья растут из стройных голубых ваз.

Едва Сарай-Мульк-ханым слегка хлопнула в ладоши, вбежали рабыни и застелили ковер тяжелой скатертью. Поверх тяжелой постелили легкую, пеструю. Принесли блюда и чаши, а в них — лишь то, что ел по утрам Тимур, холодную баранину, обжаренную до смуглоты, а к ней — ансурыйский лук в уксусе и головку молодого чеснока, холодную дичь, горячих лепешек и чашку свежих, подернутых пенкой сливок.

Лишь когда рабыни ушли, Тимур разорвал лепешку и макнул в густые, как масло, сливки.

Тогда жена заговорила с ним о новостях гарема, о внуках.

Ему от нее было привычно слышать похвалы Халиль-Султану и Улугбеку, еще бы: ее любимцы, ее питомцы! Так Туман-ага похваливает своего питомца Ибрагима, приукрашивая его успехи в сочинении стихов.

Но об Улугбеке Тимур знал и от своих проведчиков, поэтому верил жене.

Уже не первый год радовал внук бабушку успехами в письме — писал, как самый искусный писец.

— Письму его азербайджанец учил, который новым почерком пишет, этот самый Мир-Али, которого вы привезли из Тебриза. Он тут вроде падишаха среди писцов. Я ему и приказала учить мальчика почерку. А теперь учителя хвалят его любознательность в науках.

— Улугбеку муллой не быть! — сказал Тимур.

— Лошадей любит, — подтвердила она.

— Надо его к охоте приохочивать.

— Его Халиль завтра звал на охоту. Да не знаю, соберутся ли?

— А почему бы не собраться?

— Мы ведь гостью ждем.

Тимур промолчал, чтобы не выдать своей досады: гостья едет, а ему еще ничего не донесли о том. Теперь, хмурясь, он не знал, о ком говорит жена. Чтобы скрыть свою неосведомленность, снова взял ломтик лепешки и, макая ее в сливки, ел.

Но и Сарай-Мульк-ханым замолчала, ожидая, как отнесется он к известию о приезде снохи.

— Думаешь, гостя охоте помешает?

— Да ведь — мать; как уедешь?

«Мать? Чья? Гаухар—Шад, мать Улугбека, находилась при Шахрухе на юге; Севин—бей, мать Халиль—Султана, находилась при Мираншахе, на западе. Какая из них прибывает? Что случилось? Зачем?»

— Гостя? — переспросил он.

— Хан—заде едет; ночью от нее гонец прибыл.

«Обе они ханские дочери, обе — хан—заде...»

То, что об этом приезде жена узнала раньше, чем он сам, рассердило его. Новая досада крепко приросла к прежней досаде: эта старуха никак не угомонится, везде у нее — нюх и слух. Ее, пожалуй, во дворцах больше опасаются, чем его самого: он ведь не может всех мелочей знать, а она знает все и все помнит. И знает, какую новость как повернуть для своей выгоды. При дворе его боятся, а ее опасаются; ей спешат угодить прежде, чем ему!

«Хан—заде? — думал он, снова и снова макая лепешку в сливки. — Что могло случиться? Где? На юге, на западе?»

Он поднял голову и взглянул на старуху. Он встретил приветливый, без обычного лукавства, ее темный взор.

— А что у вас толкуют об этом?

— Скачет сама по себе, — видно, не с доброй вестью. Никто ее не звал. Зачем? Гадать гадаем, а разгадки нет!

— Где она?

— Ночует в караван—сараяе Кутлук—бобо. Днем тут будет.

Он оживился:

«В Кутлук—бобо! Значит, гостя едет с запада. Значит, едет Севин—бей. Значит, что—то случилось у Мираншаха!»

Этого сына Тимур не любил, всегда держал от себя подальше. Но его жену считал старшей и первой среди своих снох: внучка ордынского Узбек—хана, племянница хорезмийского хана, дочь Ак—Суфи, она была взята в жены старшему сыну Тимура — Джахангиру, по ней Джахангир звался Гураганом, как теперь, по ней же, Гураганом зовется Мираншах. Она родила Тимуру двоих внуков, самых милых ему, если не считать Улугбека. Ее старшего сына Тимур давно объявил своим наследником. Она тогда станет матерью повелителя, матерью—царицей, когда Тимура не будет среди живых царей.

— Да, — сказал Тимур, — Халилю не до охоты будет. А Улугбека отправь: пускай он сам охоту ведет. Пускай привыкает. Не всегда ж ему за старших братьев хорониться. Распорядись, чтоб хороших охотников ему дали. А я с ним пошлю Мурат—хана, он ведь дядя ему. Пускай проедутся.

— Не молод ли Улугбек для таких...

— Нам некогда ждать, пока ему годы выйдут. Мы с тобой...

— О том и я, государь, хотела поговорить.

— О чем?

— Годы наши... Мне уже за шестьдесят.

— И что же?

— Хотелось по себе память оставить, да и себе место подготовить.

— Твое право, царица.

Она задумалась. Он ждал.

— Затеяла я могилку себе сложить. Детей мне бог не послал; кто обо мне похлопочет, как сама не похлопочу? Средства у вас не прошу, — своими обойдусь. На то и прошу вашего дозволения.

Опять досадно.

«Рассчитывает пережить мужа: мужа, мол, уже не будет, а детей нет, некому об ее могилке похлопотать будет. Старуха соображает, что мне уже шестьдесят пять, что уже недолго...»

Но он не мог отказать ей в просьбе: она старшая жена, дочь хана Казана. Ради ее родословной он и взял ее себе из многих красавиц, доставшихся ему из гарема амира Хусейна, когда тридцать лет назад разрешил убить этого Хусейна, долголетнего друга, соправителя, соратника, брата некогда любимой Ульджай. Когда амир Кейхосров убил Хусейна, Тимур раздал его вдов, а эту поставил над всеми своими женами, приучил почитать ее как царицу, по ней назвался Гураганом, ее брал с собой в страны, по которым проходил как ураган.

— Воля твоя, царица.

— А около могилки пристрою я мадрасу. Чтоб тихо было вокруг: пускай там сидят мальчишки, книги читают, писать учатся. Будто я, как нынче, опять их ращу.

Еще ни одной мадрасы для обучения юношей не построил Тимур. Он считал, что дело воина и государя — радеть о славе, о чести, о вере. А царицам или купцам приличествует строить ханаки — обители для благочестивых паломников и дервишей, мадрасы — школы для обучения жаждущих знания.

— Строй, царица, строй. А где?

— Да ведь сколько уж из нашей семьи погребено у Шахи-Зинды...

— Какая ж мадраса за городской стеной?

— Нет, за городской стеной не годится... А хотелось поближе. Может, около вашей мечети, на Рисовом базаре... А?

— А почему там?

— Меньше ломать придется. Каменных строений там мало. А гнилые бревна с навесами недорого снести.

Тимур одобрил:

— Хозяйственно рассудила!

Но опять его взяла досада: затеяла строиться рядом с его большой мечетью; не уступает, за ним за самим тянется!

Тимур мрачнел, пережевывая с чесноком сухой ломтик печеной косули.

Он протянул руку к пустой чаше, и жена налила ему пенистого кумысу из глиняного кувшина.

Он повторил:

— Хозяйственно рассудила!..

Она уловила не только досаду, а и гнев в его голосе. Но гнев повелителя не встревожил ее: свой гнев он на других сорвет, а его согласие при ней останется.

Ханаку для дервишей, чтоб молились богу, другая жена Тимура Туркан-ага — уже построила возле могилы Живого Царя, на Афрасиабе. Внук и наследник Тимура Мухаммед-Султан начал строить ханаку около мавзолея Рухабад, а мадрасу — рядом со своим жилым домом. Но мадрасу около своей гробницы еще никто не строил, это Сарай-Мульк-ханым придумала.

«Какая радетьница о просвещенье!» — с досадой покосился Тимур на старуху.

Но она усердно занималась куропаткой, ловко разламывая ее белыми сильными пальцами.

«Сколько колец!» — щурясь, присмотрелся он к ее сокровищам.

Кольца были редкостные. Среди них — древнейшие; может, с пальцев самого Чингиза; может, иные блистали на руках хорезмийских ханов, шахов иранских, китайских императоров, раджей Индии. Золото иных было темно или красно; на камнях темнели странные надписи, чьи-то головы или магические знаки.

Какие-то из них подарил Тимур. Иные сохранились от девических лет, пришли из ее монгольского рода; остались от амира Хусейна; сорваны с растерзанных красавиц в растоптанных странах; поднесены купцами или вельможами, искавшими ее покровительства.

В это утро она надела лишь малую толику того, чем обладала, остальное лежало во многих ее кованных ларцах: имей она тысячу пальцев, их не хватило бы надеть все кольца! А пальцев у нее — всего десять, как у простой рабыни!

Откинувшись на подушки, Тимур медленно пил кумыс и поглядывал на посуду, расставленную по скатерти: большое блюдо из красной египетской глины, а царица могла бы поставить золотое, персидское, он ей дарил такие; чашки из зеленоватой китайской глины, прозрачные на свет, но глиняные — ни золота, ни серебра она не поставила. Нынче по всем хорошим домам едят с персидских либо с индийских, с золотых либо с серебряных блюд, нынче в Самарканде ни персидские, ни армянские, ни индийские редкости не в диковину, — понавезли! Но Сарай-Мульк-ханым привередлива: чего у людей много, тем не украсишься.

Она не поставила перед ним ничего такого, на что он уже нагляделся; поставила то, что везти было далеко, что довести было почти немисливо, — ни до Египта, ни до Китая руки его еще не дотянулись.

«Египет... — думал, попивая кумыс, Тимур, — там есть пожива: их давно никто не проводывал. А поперек дороги сидит Баязет. Сидит и тешится, что от меня Византию заслоняет. Сам на нее меч точит, а мой меч отводит. А мы поглядим, отведет ли? А мы поглядим, чей крепче. Мой меч еще без зазубрин. А ежели без дела полежит, — глядишь, проточит ржа на нем зазубринку!»

Он молчал, попивая кумыс. А по многим городам, на востоке отсюда и на западе, стояли его войска, готовясь в новый поход.

Новый поход, как и все свои прежние походы, Тимур готовил втайне. Сперва все дело обдумывал сам, никому о мыслях своих не говоря ни слова. Он готовил войско, проверял его снаряжение, вооружал, пополнял, но куда оно двинется, но когда оно двинется, знал до времени только сам.

«Египет... Сколько времени надобно, чтоб собраться? Какой дорогой лучше? В обход, сделать вид, что пошли по другую добычу, а потом в неожиданном месте повернуть, да и... Какой дорогой лучше?..»

Он резко поставил чашку и приподнялся:

— А зачем она едет?

— Гостя зачем?

— Что говорят?

— Может, Халиль—Султан ее звал, — он ведь жениться собрался. Может, вызвал ее просить вас.

— Просить? Разве я против?

— Да ведь невеста—то...

— А есть и невеста?

— В том и дело...

— Кто?

— С улицы. Из ремесленного сословия!

— Какого это?

Она, опустив глаза, прочитала протяжно, подражая чтецам газелл:

Отец узором кожи тиснит.

Дочка взором Халиля теснит.

Видно, в гареме уже давно судачат об этом, если успели и стишки сочинить. Но Тимур пренебрег явной насмешкой старухи над внуком, спросив:

— А что она?

— Есть что—то, конечно. Но можно было и красивей сыскать.

— Взял бы ее во двор, — не на всякой женятся.

Старуха насмешливо вздохнула:

— Любовь!

Тимур строго сказал:

— Пройдет! Халиль не соловей, девка — не роза.

— А все ж...

— Он у тебя, что ли, просил... заступничества?

— Сам вас просить намерен.

— Настойчив!

— Горяч, смел, сердцем чист. За то и хвалю.

— А слушаться, как все, должен. Семнадцатый год ему, пора понимать.

— Пора бы...

— Эту ко двору возьмет, а невесту найдем. Мать его — внучка Узбек—хана, а сам он...

Тимур с раздражением подумал об отце Халиля, о своем сыне Мираншахе: «Нет, не должен Халиль ставить себя ниже этого неповоротливого, лютого кабана!»

— Ко двору возьмет!.. — повторил Тимур.

— Упрямится.

— Ну, так пускай покажет.

— Ее?

— Сперва пускай покажет.

Сарай–Мульк–ханым задумалась: «Как это устроить?»

Тимур прервал ее:

— Ну? Зачем едет?

— Сперва я и подумала: за сына просить едет. Да нет, не то.

— А что?

— Если б за сына, зачем бы ей без спросу ехать?

— Как без спросу?

— От гонца вывели: выехала от мужа тайно; скачет без промедленья; караван при ней невелик, весь на конях; выехала, когда Мираншах на охоте был; смекаем: без спросу поехала. Вот что!

— Длинноват у гонца язык!

— Мы спрашивали, как ему не говорить?

— Я спрошу его сам.

Тимур нетерпеливо поднялся с подушек, говоря:

— Ты ее по чести встреть.

— К ней уж поехали Мухаммед–Султан с Халилем. А я от себя свою арбу послала, кабульскую.

«Знает старуха, кого как принять, — думал, сердясь, Тимур. — Небось даже меньшую госпожу не допускает до своей позлащенной колесницы, а тут своих белогривых кобыл за снохой шлет. Чует, что станет сноха сильна, когда Мухаммед мое место займет, когда меня схоронят...»

Он уже пошел, но старуха опять заговорила:

— Так могилку–то себе...

Тимур сердито отмахнулся:

— Я же сказал: строй!

— Завтра же и приступлю.

— А, хоть сейчас!

И ушел теми быстрыми скачками, не предвещавшими ничего доброго, как выходил к коню, когда наступал час посылать войско в битву.

В одном из прохладных подвалов он сел и велел воинам привести к нему гонца Севин–бей.

Начальник стражи замялся:

— Не ускакал ли? Он собирался назад, к своей госпоже навстречу.

— А ускакал, — настичь!

Но гонец еще седлал, когда его отозвали и повели к повелителю.

* * *

Тимур казался еще суровее, когда вышел в установленное время к своим вельможам.

Он спрашивал коротко, и надо было отвечать без запинки, без промедления, сразу... Особенно в такой день, когда он спрашивал, глядя на пол, чтоб не пугать людей своим тяжелым взглядом.

Узнав от казначея, что прибыл один из караванов с индийской поклажей, Тимур велел, прежде чем

убрать поклажу в сундуки, разобрать ее и разложить по залам в Синем Дворце.

— Я гляну, хорошо ли довезено.

Обсудив многие дела, Тимур окончил прием и отпустил советников и царедворцев в город, предложив им после четвертой молитвы, перед закатом, явиться в Синий Дворец подивиться индийским диковинам. Но и приглашая он не поднял глаз.

Оставшись один, он позвал Мурат-хана:

— Объяви всем царицам: ехать в город; ждать там прибывающую госпожу. Сюда не вернемся. А в какой сад выедем, в городе объявлю.

Вскоре по всем залам просторного дворца поднялась суета. Стуками, перекличкой, топотом слуг наполнился весь дворец и весь сад, где только что даже царицы и вельможи говорили лишь шепотом.

А Тимур уже выезжал из ворот, оставляя позади всю поднявшуюся суету, и чинно ехали за ним, каждый на своем месте, спутники, охрана, воины, словно все давно знали об отъезде и давно собрались: он не потерпел бы, если б кто-нибудь замешкался, если б чья-нибудь подпруга оказалась слабой, если б чьи-нибудь ножны не пристегнулись к ремню, — он давно всех приучил жить так, чтоб каждую минуту мог повести их, куда б ему ни вздумалось, — на городское ли гулянье, на битву ли к индийским городам.

Седьмая глава

СИНИЙ ДВОРЕЦ

Синий Дворец высился над Самаркандом, поблескивая изразцами, темными, как ночное небо.

За крепкими стенами с башнями по углам теснились десятки строений, дворов, кладовых, мастерских.

На Оружейном дворе, в глубине просторных подвалов, под черными сводами лязгало железо, плавилась сплавы, били молоты по прозрачным, как красный воск, брускам.

Пламя горнов то там, то тут отсвечивало кровавыми каплями на гудах готового ковья — наконечников копий, островерхих шлемов, сабельных клинков и кинжалов, ожидавших часа, когда вынесут их из глубокого мрака на белый свет.

Голубой и зеленый чад слоился под сводами и неторопливо уползал наружу через низкие двери; но оружейники не смели выглянуть из-под темных сводов, пока старшина дворцовых ковачей и литейщиков не кликнет их на недолгий отдых, проглотить лепешку с похлебкой да отдышаться в душном воздухе Оружейного двора.

Низкие ниши выходили на тесный двор, обстроенный множеством других ниш, где в глубине, за тяжелыми дверями кладовых и складов, хранились запасы оружия, откованного здесь или свезенного сюда из походов.

В те дни старшины торопили мастеров. Едва ковачи успевали отковаться от одного заказа, как их скликали на новую ковку.

Кладовщикам было приказано пересчитать оружие на складах, пересмотреть старые кладовые. На двор выволакивали груды ржавья. Опытные оружейники перебирали и скользкие свежие сабли, смазанные салом, и тронутые ржавчиной, щербатые, иззубренные мечи.

На эти дни сюда созвали и многих свободных мастеров из городских слобод. Косторезов — вырезать и наклепать рукоятки на поврежденные сабли, обрукоятить новоковые клинки; оружейников — разобрать чужеземное оружие: что годится — обновить, а хлам разобрать на перековку.

Вызвали сюда и кольчужника Назара, туляка.

Он пришел со своим подмастерьем Борисом. Их поместили под навесом, куда и сносили из кольчуг то, что залежалось по дворцовым кладовым.

Кольчуг оказалось немного. Были тут старые, кое-где помятые, а то и пробитые кольчуги. Борис перебирал их и расправлял, а Назар разглядывал их, неторопливо, пристально, одну за другой, будто читал книгу за книгой.

Седые космы Назара перехватывал узкий ремешок, чтобы волосы не лезли в глаза, но косматые брови часто опускались, хмурясь, до самых глаз: он видел пути, пройденные многими из этих молчаливых участниц былых походов, вынутых для похода предстоящего.

— Гляди, Борис, сколько кольчуг наволочено, а цельных не видать.

— С побиенных содраны.

— Вцеле добрый воин в полон не дастся, ежели кольчугой оборонен.

— А ты вон сам их ковать искусен, а в полону живешь.

— Попрекаешь, сынок?

— Не попрек, а спрос: лестна ли человеку неволя, когда может он меч добыть?

— Можем добыть, да не надо.

— Чего это?

Назар широким черным ногтем обскабливал кольцо на одной из кольчуг:

— Смолистая ржа—то.

— А что?

— Небось кровь.

— Чистой тут ни одной не видно.

— Вот, гляди: эта склепана неведомо кем, незнамо когда. Вся излежалась: ей уж в походы не хаживать, а виды она видывала, ратные кличи слыхивала. И гляди — наша она.

— По чем узнал?

— На месте склепки, на каждом конце — будто змеиная головка, — наша старая клепка. Глянь другую — головка длинная, язычком, — то ковали персияне, а может, арабы в Дамаске. Их работу знаю, — на взгляд приятна, да меч ее сечет. А наша круглая клепка мечу не дается, ее только прорубить можно, а чтоб по воину так рубануть, сперва надо, чтоб воин под удар подставился. Клепать надо три, а то и четыре махоньких кольца, одно в одно. Из махоньких кольчииков скуешь, — большим мечом не просечешь. Из больших колец скуешь, — малый меч ее рассечет: в ней отжиму нет, она удар будто лбом принимает. Разумеешь?

— Учи, учи. Слушаю.

— А чего ты хмурый такой?

Круглолицый, узконосый, румяный Борис по нраву своему был застенчив, а чтоб скрыть свою досадную стеснительность, напускал на себя мешковатость, а в разговоре — неразговорчивость. Однако Назар к этому привык, и удивило его какое—то невеселое раздумье Бориса.

— Учи, учи. После спрошу.

— Учись. Кольчуга — оружие дорогое, простому воину она не по плечу. Если какой и добудет ее в бою, со врага совлачит, сам в нее не облачит: к ней разом всяк потянется; кто сильней, кто знатней, тот ею и завладеет.

— Учи, учи...

— Вот, гляди, — одинарной выковки. Эта и от стрелы не заслонит, не токмо от копья. Такие в латынских землях, в каменных городах куются. Такие надевают от собственного своего страха, для успокоения, чтоб не боязно было в темную ночь из дому выглянуть, там не то что у нас, — мы вон в одной холстинке через дебри—леса на медведей либо на вепрей хаживаем, на Орду грудь нараспашку — с одним топором выходим. И слава богу, живем.

— В полону—то?

— Это ты да я, а речь — об нашем народе.

— Ты да я, а уйти могли бы: мечи на дорогу достали бы.

— И доставать не надо: понадобятся — возьмем. Да не надо.

— Опять «не надо»! Это как так?

— Глянь—ка на сей двор. Вон всего сколько повытаскали.

— Видать, собираются.

— А куда?

— А кто ж их знает? Не успели воротиться, а уж опять... Каков поп, таков и приход.

— Тут, сынок, приход сам себе подходящего попа нашел, — хром, а неусидчив; сухорук, а драчлив. Им и нужен такой, — они набегут, награбят, выжгут чужое, вытопчут, да и ко двору. А двор—то — вот он. Гляди да приглядывайся: чего воруют, чем торгуют, остро ли мечи наточены да куда поворочены. Я гляну, ты глянешь, а нашего народу тут не так мало: одни торгуют, другие ремесленничают, третьи — в полону. С тем — словом перекинешься, с другим — молчком переглянешься, ан и выйдет, не мало тут нас для такого—то далека. А через нас на Руси хорошо знают, каков народ здешний, каково ему эту горькую чашу пить, каков царь здешний, — чтоб нашему народу от той чаши загодя отстраниться. Потому, сынок, и не тянись за мечом: мы без меча тут сильнее. А с простым людом нам и тут не тесно. Кто нас в слободе обижает? Никто! А ведь со всякими народами тут хлеб—соль делим, почасту над одной бедой слезы льем, без всякого слова друг другу себя высказываем.

— Я на слободу не в обиде.

— Людей распознавай не по языку, а как дома распознал, так и здесь распознай. Земля едина, единым богом сотворена. И все мы — один одному братья; иноязыкого не обижай, а кровного своего не давай в обиду.

Кольчуги из их рук ложились каждая на свое место — ветхие в сторону, рваные — в другую.

— Цельных—то не видать! — посетовал Борис.

— И слава богу: на разбой идут, а себя берегут. Битва — дело святое, когда народ на оборону встает, а когда на разбойное дело собираются, грех тому, кто им оружие кует.

— Вон, весь подвал гудмя гудит, — куют: наша слобода вся в чаду, куют. Выходит, все мы грех творим?

— Не по доброй воле. Оружие тот им кует, кто им на ковье железо дает; кто на грабеж их шлет, а сам сидит — добычи ждет.

— А мы что же?

Но в это время к ним подошел старшина Оружейного двора.

— Как, почтенные мастера, процветают дела ваши?

— Благодарение за спрос, — цветут, будто розы.

— Они еще пышнее раскроются, когда сии железа снова в поход сгодятся. Надо их поскорей обновить.

— Какие уж тут обновки, — одна худоба.

— И на худой чекмень заплатки ставят да дольше нового носят.

— Носят, да не по праздникам.

— Чекмень новый не к празднику, а на будний день шьют.

— Верно! — согласился Назар и подмигнул Борису: — Им эти походы и впрямь — будний день: шесть дней разбой, день — перебой.

Старшина, не поняв тульской скороговорки Назара, полюбопытствовал:

— Что это говоришь?

— Об этих кольчугах.

— А что?

— Чинить их, говорю, долго.

— Нет, нет, надо скорей. Все оружие велено просмотреть наскоро да выправить быстро.

Борис кивнул Назару:

— А что я говорил?

— То и говорил! — согласился Назар.

Предстояло новыми кольцами заклепать прорехи, пробоины. А ведь не об сук в лесу, не о гвоздь в сарае, а копьями либо мечами, в крови и в сече, прорваны те прорехи, за каждой вслед чья-то жизнь обрывалась.

— Новые выковать легче, чем это рванье склепать! — невесело сказал Назар.

Но как отклонить заказ? В Орде на смерть шли, но зарока не рушили, врага не вооружали. Сюда же зашли по согласью, здесь приходилось принимать заказ.

Когда зной стал спадать, мастеров позвали полдневать.

Из черных утроб подземных кузниц пошли наверх, на свет, щурясь, черные, обгорелые, усталые ковачи, мечевщики, литейщики. Иные из них были медлительны, седы; другие — плечисты, поворотливы. Но никто из них не был ни бодр, ни шустр, ни весел. Многие тяжело закашлялись, глотнув вольного воздуха, хотя и не был тут воздух ни волен, ни свеж, — весь он был иссушен духотой двора, пропылен едкой городской пылью, горек от смрадов, струящихся снизу, из подвалов или со смежных дворов, заслонен от солнца и ветра четырехъярусной высотой Синего Дворца.

Друг за другом выходили наверх мастера со своими выучениками, учениками, подмастерьями; разные люди, разных земель уроженцы. На разных языках говорили они в детстве и росли по-разному. И вот выросли, мастерству обучились, и завладел их мастерством, заграбастал их таланты Хромой Тимур.

Во вражде и в безделье каждый говорит по-своему, в дружбе и в труде люди ищут общего языка: тут, в рабстве, им слова опостытели; молча шли люди через этот смрадный, унылый двор к дощатому настилу, где в тяжелых глиняных чашках ставили им мучную похлебку, накрытую серыми лепешками.

Ели молча, уставясь неподвижными глазами в еду. Не жирно кормил их хозяин, а высчитывал за прокорм хозяйственно: кому мало было одной чашки, давалась другая, но за особый счет. А когда приходило время расчета, оказывалось, получать мастерам нечего, иной раз и должок прирастал. Тимур за работу платил и в долг мастеров кормил; мастерам за работу платил больше, выученикам поменьше, ученикам пропитание давал в долг. И к тому времени, когда возрастал заработок мастера, скапливался у него и долг, и оказывалось: каким мастерством ни владей, сколько изделий ни выделявай, всей жизни не хватит, чтоб из долгов выбиться, чтоб на вольный свет из подвалов Синего Дворца выйти. А этих мастеров числили вольными, их отличали от рабов, евших хозяйский хлеб задаром, но тоже крепко прикованных к тяжелым стенам Синего дворца.

Поодаль от прочих старшина сам сел с кольчужниками, — принимал дорогих мастеров как гостей, угощал за хозяйский счет, занимал разговорами.

Назар издали разглядывал обедавших оружейников.

— Разный у вас народ набран. Каких тут только нет!

Старшина ответил с осуждением:

— Меж ними и язычники есть — идольские изображения на себе носят, и христиане. Государь со всех сторон насобирал: наилучших из лучших. А народ дрянной: одним у нас жарко, другим холодно. Эти вот по оружию мастера; на соседнем дворе кузнецы, а рядом — шорники; с той стороны двор медников да серебряников; за ними, поближе к чистому двору, Золотой двор, — там золотых дел мастера. А по ту сторону от дворца — ткачи, бархаты ткут...

Назар вздохнул:

— Сразу видать, людям не по себе. Жарко ли им, студено ли, а каждый, гляжу, хмур да изнурен.

Старшина сплюнул:

— Такой народ! Сами ж и виноваты: работы вволю, крыша над головой, а злы, неразговорчивы. Чего не хватает? Э, да что на них смотреть!

Борис заметил:

— У нас, в слободе, хоть и разных языков люди, а веселей.

Старшина с досадой отвернулся:

— С теми еще трудней говорить. Возомнили себя свободными! Я бы их...

Борис начал было размышлять:

— Небось у каждого своя земля в памяти. У каждого свой род, свое отечество...

— Род у каждого свой! — согласился старшина. — Вон и наш народ свою память от разных корней ведет. На севере кочевник — от Белого Гуся, «каз ак» зовется; поужней от них — от Сорока Дев, — «кырк кыз». Другие — от Желтых Коней, — «сар ат», эти больше по городам ютятся, к торговле тянутся, ремеслом кормятся; к западу — Черная Шапка, — «кара калпак», у них овец много и меха хороши. На юге — Белый Гребешок, — «тадж ак», их за то так зовут, что раньше всех белую чалму носить начали, усердный народ, сады растит, а к войне усердия не имеет, в походы ходить ленится; их в горах много. Корень свой у каждого, каждый в свою землю воткнул.

— Вот и я об том же, — согласился Борис. — А эти из своей земли вырваны, вот и чахнут.

— А ну их! Кушайте! — протянул к блюду руку нахмурившийся старшина.

В это время со стороны ворот послышались громкие, смелые голоса, верно, разговаривали какие-то вольные люди, и вслед за собой они провели через весь двор стройного гнедого коня, заседланного столь богато, что народ замер, глядя на затканый золотом алый чепрак, на зеленую мягкую попону, на высокое персидское седло с острой лукой.

Конь прошел, окруженный конюхами, чуть припадая на переднюю ногу.

Тотчас кликнули старосту Конюшего двора:

— Расковался конь.

— Чей это?

— Царевичев.

— Чей, чей?

— Халиль-Султана. В пути расковался.

— Разберемся, кто его ковал!

Коня провели мимо сидевших за едой мастеров, мимо Назара с Борисом, мимо обгорелых литейщиков.

Конь, наступив копытом на чей-то халат, скрылся за воротами Кузнецкого двора, где стояли кузни позади царских конюшен. Туда ушли и встревоженные кузнецы, следом за ними поспешил и оружейный старшина, хотя над этими кузнецами стоял конюшенный староста.

На Оружейном дворе снова затихло на время недолгой обеденной передышки.

Возвращаясь под навес, Назар не торопясь прошел мимо разложенных груд всякого оружия.

Борис снова кивнул:

— Собираются!

— Знамо.

— А куда?

— Про то у царя не дознаешься. Он до последнего часа помалкивает. Бывает, уж и в поход идут, а никак не поймут — куда. Любит навалиться невзначай. По-разбойничьи. Как смолоду привык. Подстеречь, да и оглушить из-за камушка. Он ведь тем и начал. Сперва десяток головорезов себе подобрал, по ночам на чужие гурты набегали, овец крали. Тут его пастухи подстерегли, ногу переломили, на правой руке два меньших пальца подсекли, самую руку из плеча вывернули. А он отлежался да опять за свое. Тем и начал. А после к нему пошли приставать разные бездельные гуляки, набралось их уже человек со сто, пошли караваны грабить. Наживу промеж собой делили. Охотников до наживы сбежалось к нему уже с тысячу сабель. Осмелели. На городские базары решились нападать, на караван-сараи. Народ отчаянный, таких добром не угомонишь. Сильные люди стали их к себе на подмогу звать, стали ихнему главарю, нынешнему государю-то, говорить: служи, мол, нам, а мы тебя в князя выведем. Он и поддался. Прежде купцов разорял, а тут сам торговать начал, награбленное добро сбывать. Стал уж не грабить, а оборонять купцов. Они его поняли, поддержали. Уж он начал купцов ублажать, а князей своих усмирять, чтоб торговать не мешали. Древних князей прогнал, на их земли посадил своих разбойников. Чужих купцов грабит, со своими делится. Эти за него, а он за них. На том и поднялся. Со стороны глянешь будто и царь на царстве, а приглядишься, — разбойничья ватага. Какова была, такова и поныне. Было десять человек, стало двести тысяч. Крали пару овец из стада, а нонче уж на царства набегают. А разницы нет: маленькая ли собака, большой ли волкодав, — все одно собака.

— Смело ты говоришь!

— Насмотрелся, сынок, — вот и разглядел это дело.

— Смел он, охоч до войн. Стар, а угомона не знает.

— Доколе никто его не угомонил. По чужим кузням ходит, домой некован приходит. А настанет пора-время, — подкуют.

— Подковать-то некому!

— Найдутся. К нам вон опасается идти.

— Может, и соберется?

— Надо приглядывать. Ведь он был, да осекся. Ведь дороги наши ему известны, до самого Ельца доходил, когда Тохтамыша разбил под Чистополем.

— Значит, знает наши дороги?

— Знает, да помалкивает. Он, прежде чем пойдет куда, сперва всю дорогу насквозь просмотрит. Не

зная дорог, никуда не ходит. Ежели до Ельца доходил, — считай, знает дорогу до Новгорода.

— А чего ж вернулся?

— Смекает: Тохтамыша ему б не разбить, не разбей мы Золотой Орды лет за десять до того, на поле Куликовой. Вот и опасается. А нам все ж надо во все глаза глядеть: что за силы у него, куда те силы нацелены. Ты учись тут не столь кольчуги клепать, как эти дела смекать. То первое наше дело. Мы их трогать не станем, нам незачем. А он ежели это умыслит, нам надо своих загодя остеречь. Вот наше первое дело! Затем я и пошел сюда, когда меня сюда позвали.

— Накуем мы ему кольчуг, а он их даст Орде: надевайте, мол, дружки, да порушайте мне Москву белокаменну.

— Орде не даст. Доколе мы сильны, Орда ему не опасна. Ослабеем мы усилится Орда: это ему будет нож в спину. Он умен, он это понимает. Да надо приглядывать, долго ли будет умен: ведь от удач и мудрец дуреет.

— А ну как соберутся они на нас, — как же до своих ту весть довести?

— Я одному скажу, тот — другому. Как кольчугу клепаем, звено за звеном, от колечка к колечку.

— По народу, значит?

— По народу, сынок. Ведь народ наш свою отчизну, как кольчуга, покрывает. Кольцо в кольцо вклепано, — попробуй—ка пробей—ка, коли все кольца в единый покров скованы. Нами она вся окольчужена, тем и сильна на веки веков наша земля.

— А другие земли?

— Мало таких земель, сынок. Исстари у нас одно: чужого не ищем, своего не теряем.

Старшина подошел, еще на ходу делаясь новостями:

— Ну вот, ездил Халиль—Султан, царевич, мать встречать. На обратном пути конь его об камень споткнулся, подкова долой, сам еле в седле усидел. Теперь розыск идет: кто коня ковал? Каждый друг на друга валит, никому нет охоты сознаться. Попробуй—ка сознаться, — ого!

— И не сознаться нехорошо: одного виноватого не сыщут, со всех взыщут, всем заодно — беда.

В это время у ворот сверкнул зеленым чекменем высокий быстрый юноша.

Вскакивая на ноги, старшина успел шепнуть с опаской:

— Вот он! Теперь берегись.

Белое лицо, тонкий нос с горбинкой, широко расставленные, по—монгольски узкие, но густо опушенные ресницами глаза; лоб и под чалмой высок, а рот твердо сжат.

Быстро идя через двор, помахивая тяжелой плеткой, в распахнутом чекмене и алом халате, в красных запылившихся сапожках, Халиль—Султан крикнул:

— Эй, староста!

С Кузнецкого двора выбежал к нему на широко расставленных круглых ногах узкоглазый, почти безбородый конюшенный староста и, вытянув вперед растопыренные ладони, приговаривал:

— Не тревожься, царевич! Не тревожься! Я им найду управу. Я их научу царских коней ковать. Я им...

— Молчи, пока тебе не скажут! — остановил его Халиль—Султан.

Староста, оробев, бормотал:

— Ведь, государь, разве сам я ковал?

— Слушай, говорю! Виноватого не искать! Слышал?

И еще староста ничего не успел ответить, Халиль–Султан повернулся на каблуках и, пощелкивая по сапогу плеткой, ушел со двора.

Старшина нерешительно опять присел возле Назара:

— Видали? Вон какой! Изо всей семьи — один этакий: в Индии сам на вражьи копья кидался, а своих воинов берег. Никого напрасно не дает в обиду. А зря: не доведет это до добра, бояться его перестанут. Потом станет каяться, да поздно. До того прост, — если в харчевне остановится кумысу хлебнуть, за кумыс хозяину деньги платит. Не по–царски это: до добра это не доведет.

И старшина, рассерженный Халилем, пошел на Кузнецкий двор послушать тамошние разговоры.

Борис сказал:

— Смел царевич!

— А может, опаслив? — спросил Назар.

И снова они занялись разбором кольчуг.

Узкая каменная лестница внутри толстой стены вела с Оружейного двора во дворец.

Халиль–Султан пошел переодеться после пыльной дороги.

За раскрытой дверью в небольшой зале, обняв друг друга, обменивались первыми словами приветия бабушка Сарай–Мульк–ханым и усталая с пути, молчаливая, невеселая царевна Севин–бей, мать Халиля. Поодаль от них стояли Мухаммед–Султан со своей старшей женой, а возле бабушки — Улугбек.

Женщины обнимались, бормоча обычные, как молитвы, вопросы о благополучии в доме, о детях, о дороге; бормотали их, торопясь высказать все надлежащие вопросы, чтобы поскорее посмотреть друг другу в глаза и понять все, что изменилось в каждой за время разлуки.

Халиль не решился в пыльной одежде вступить в нарядную залу бабушки. Он прошел мимо, но приметил: брат Мухаммед–Султан ограничился тем, что сбросил перед дверью чекмень и сапоги и так, босой, в дорожном халате, стоял на бабушкином ковре.

Вскоре Халиль вернулся вымытый, в чистой, светлой шелковой одежде.

Все уселись кружком, но мать на вопросы великой госпожи отвечала коротко, опустив глаза, не поднимая своей печальной головы.

Севин–бей было лет сорок пять, но в ее черных волосах Халиль заметил седину, которой не было прежде.

По ее сдержанным словам, по всем ее напряженным скупым движениям было видно, что не радостные дела привели ее в Самарканд, не на веселье она сюда так неожиданно приехала.

Когда Сарай–Мульк–ханым, по обычаю, спросила ее о муже, о царевиче Мираншахе, Севин–бей, не поднимая глаз, ответила так тихо, что Улугбек даже вытянул шею, чтобы расслышать ее слова:

— По–прежнему нездоров. Третий год, с тех пор как на охоте упал с лошади, нездоров. С головой у него нехорошо.

Великой госпоже не терпелось узнать причину ее приезда; старуха спрашивала то одно, то другое, пытаясь выведать, какое дело привело сюда сноху, но гостья отвечала коротко, подавленная своей печалью.

Сарай–Мульк–ханым спросила:

— Может, сама ты нездорова? Не полечиться ли к нам приехала? У государя есть хорошие лекари.

— С государем мне самой надо поговорить.

Старуха насторожилась:

— О Халиле, что ли?

Халиль–Султан, как и Улугбек, находился на ее попечении по решению деда. Внуков своих он отбирал от их матерей со дня рождения и отдавал на воспитание своим женам. Вмешательство матерей в дела воспитания считалось дерзостью, но, если они хотели что–нибудь спросить о своих сыновьях, спрашивать надлежало у воспитательницы, у бабушки, а не у деда.

Но Севин–бей, чтобы отстранить ревнивую подозрительность великой госпожи, попыталась улыбнуться и погладила ее руку:

— Нет, нет, о своем деле. А что Халиль?

— Жениться вздумал.

— Правда, Халиль? — взглянула мать на царевича.

Халиль–Султан опустил глаза под ее взглядом.

— Я говорил бабушке. Но она пока отмалчивается.

Сарай–Мульк–ханым живо ответила:

— Тебя не было утром. А ответ есть, дедушка хочет сперва посмотреть твою невесту.

— Это не по обычаю! — смело возразил Халиль–Султан.

— Дедушка сам создает обычаи. Как он решит, так люди должны жить! резко поправила бабушка внука.

Старуху раздосадовало и упрямство и непослушание питомца. Ей неловко было, что при своей матери Халиль так несговорчив, так строптив со своей воспитательницей. Но она тотчас доверчиво сказала царевне:

— Он послушен, прилежен. Читать, правда, не любит, но тут уж я ничего не поделаю, это — дело учителей. Каков он в походах, сама знаешь, — весь народ его смелость славит. А с этой невестой никак его не уломаю.

— С какой невестой?

Старуха сказала удивленно и возмущенно:

— Не хочет ни одной, кроме одной!

Мухаммед–Султан засмеялся, повернувшись к Халилю.

Халиль рассердился, но ничем этого не выдал, лишь глаза прищурились, и Севин–бей со щемящей нежностью заметила, как они похожи между собой, ее мальчики. Она улыбнулась, спрашивая старуху:

— И что же? Вы против?

— В нашей семье самим государем порядок установлен — жениться надо на достойных, брать из ханских семей, начиная с меня самой. А Халиль подобрал себе...

Старуха не решилась сказать так прямо, как поутру говорила мужу, — ей не хотелось обижать внука.

Дернув как бы от удивления плечом, она договорила:

— Подобрал себе дочь неизвестного человека.

— Его весь Самарканд знает, весь народ, он ремесленный староста, знаменитый мастер...

— Народ — это еще не Самарканд. Самарканд строим, украшаем, прославляем мы. Мастера делают то, что мы заказываем. И тебе негоже себя ронять.

— Но я хочу, чтобы моей женой была...

Сарай–Мульк–ханым поспешно прервала его:

— Я не спорю. Я тебя выслушала. Я говорила с дедушкой. Я передаю тебе его волю. Он государь, а не я!

— Ладно. Я ее приведу!

— Кстати, и я взгляну, что за сноха у меня будет, — улыбнулась мать.

— Еще неизвестно, будет ли! — сердито возразила великая госпожа.

— А когда? Куда? — спросил Халиль.

— Сегодня. Сюда! — строго ответила бабушка.

— Так скоро?

— Ты же сам торопил меня!

— Успею ли?

— Твое дело.

— Тогда разрешите мне пойти?

— Да, времени остается мало.

Уже встав, Халиль–Султан развел руками, повернувшись к старшему брату:

— Не зря вы сказали: «дурная примета», когда конь у меня споткнулся. А я еще подкову потерял.

И добавил, улыбаясь бабушке:

— Надо б вернуться, а я приехал. И в такой день вы такую задачу мне задали!

— Сам меня торопил, не взыщи! — поежилась Сарай–Мульк–ханым.

— Смелей, Халиль! — снова засмеялся Мухаммед–Султан.

— А я не знал этой приметы! — звонко, с испугом сказал Улугбек.

Это было первое, что он сказал сегодня. Он только внимательно слушал, сидя около бабушки и внимательно вникая в разговоры взрослых.

Его неожиданные слова рассмешили Севин–бей. Впервые она засмеялась и погладила мальчика по плечу.

— Я тебе привезла подарок.

— Спасибо, тетя.

— Будешь беречь?

— Очень!

— Помни обо мне...

И она достала откуда-то из складок пояса небольшой кривой кинжал в сафьяновых ножнах с усыпанной рубинами рукояткой.

— Он меня в дороге хранил; пусть хранит и тебя на твоих дорогах.

В ее словах прозвучало что-то столь горестное, что Улугбек поцеловал ее подарок, прежде чем принялся разглядывать его.

— Какая сталь! — восхитился мальчик.

— Ее привозят арабы из Дамаска. А рукоятку делали мои мастера, азербайджанцы. Они хорошо умеют.

* * *

— Коня перековали! — быстро сказал конюх Халиль-Султану, едва царевич появился у выхода.

— Пускай отдохнет. Подай другого.

И минуту спустя он уже скакал на застоявшемся и оттого баловном, веселом коне.

Ехать самому в дом невесты — это тоже было не по обычаю; этого не допускало и его достоинство. Но мусульманскими обычаями часто пренебрегали в Тимуровом Самарканде: сам Тимур предпочитал монгольские обычаи, и народ, вслед за своим государем, тоже охотно отступал от стеснительных установлений шариата везде, где это не грозило земными карами и неприятностями.

И как мог соблюсти свое достоинство царевич, когда государь велел показать ему невесту сегодня же!

В слободе Халиль-Султан спешился. Отдал своей охране коня и несмело взялся за медный молоток, привешенный к тяжелым чинаровым воротам над низенькой, как лаз, калиткой.

Во двор он вошел, встреченный старым мастером.

Он поговорил со стариком, как всегда, почтительно; внимательно вникая в его работу, поглядел новое изделие и вдруг, сам прервав свои медленные, почтительные слова, заговорил тревожно, нетерпеливо, — настало время говорить прямо:

— Дедушка хочет видеть мою невесту.

— Мою дочку?

— Без этого не дает согласия.

— А даст?

— А вы?

Мастер недолго подумал, потом ответил огорченно:

— Ах, если б не были вы царевичем!

— Ну, как же быть?

— Тогда б мы устроили отличную свадьбу! Я бы не поскупился на хороший плов: ведь не всякий так легко разбирается в моей работе, я бы рад был такому зятю.

— Вашу работу я ценю!

— Я передал бы вам все свое...

Но старик опомнился:

— Как же быть?

И порывисто взялся за рукав царевича:

— Пойдемте прямо к ней!

Он повел Халиль–Султана во внутренний дворик, и жених увидел ее над маленьким водоемом.

Она стояла под старыми деревьями в простой, длинной, ниже колен, белой рубахе, из–под которой до щиколоток спускались желтые шаровары.

Отец подвел жениха к дочери, смущенно говоря:

— Скажите ей сами.

Она поклонилась гостю низко, но не отошла, осталась на своем месте, подпуская его ближе.

Халиль, поклонившись, не отнимая прижатой к сердцу руки, сказал:

— Чтобы ответить мне, дедушка желает видеть тебя.

Ее брови, сросшиеся на переносице, плавно протягивались к вискам, как крылья хищной птицы, парящей на степном раздолье над затаившейся добычей.

И эта птица чуть покачнулась, но тотчас выровнялась, и девушка лишь спросила:

— Когда?

— Сейчас.

— Мне сперва надо одеться.

Отец не сдержал своей тревоги и страха:

— Собирайся же скорей! Соображаешь ты, куда зовут?

— Я успею! — спокойно ответила девушка.

Ее звали Шад–Мульк. Ее имя означало — радостное сокровище. Такое имя давалось как прозвище в царских гаремах, а ей оно досталось при рождении, словно ее трудолюбивый отец предвидел необыкновенную судьбу своей длиннобровый дочери.

Она присела у водоема и, не стесняясь Халиль–Султана, из неуклюжего глиняного кувшина лила на ладонь воду и умывалась.

Халиль нетерпеливо похлестывал плеткой по халату.

Она неторопливо прошла в дом, где ее обступили возбужденные женщины, что–то ей суя в руки — украшения ли, одежды ли, — их сбивчивые, крикливые голоса достигали тесного дворика, где оба — отец невесты и жених — сидели, не находя никаких слов для разговора, лишь временами переглядываясь и вежливо кивая друг другу.

* * *

А в это время Тимур прислал сказать великой госпоже, что желает видеть гостью и всех цариц.

Все встали и пошли к повелителю.

В зале перед дверью Тимура остановились и стоя разговаривали, пока остальные жены повелителя собирались на его приглашение.

Когда пришла шустрая ханская дочь Тукель–ханым, самая молодая из Тимуровых жен, но вторая по старшинству в гареме, вся зала заблестала алмазами и самоцветами меньшей госпожи. Ее высокую кожаную рогатую шапку унизывали алмазы. Позвякивали ее ожерелья китайского дела, где нежные жемчуга стиснулись в тяжелых золотых ободках. Шуршала обшитая жемчугами по вороту, по обшлагам, по

подолу длинная желтая, затканная зеленовато–золотыми драконами тяжелая рубаха; жемчугами обшитый низ шаровар над скованными золотом зелеными шагреновыми туфлями — все сияло на ней, затмевая густо нарумяненные скулы, густо набеленные щеки. И лишь желтые, как у рыси, глаза она ничем не могла украсить, — ничто не приставало к ним: ни радость, ни печаль, ни стыд, ни раздумье.

Она прошла, не приветствуя младших жен.

Туман–ага, которой было около тридцати лет, отданная Тимурю двенадцатилетней девочкой, прожившая с повелителем долгую жизнь, взглянула на эту монгольскую куклу с яростью, затопотала маленькими ногами, но сдержала себя и осталась стоять строго и неподвижно, покосившись на Сарай–Мульк–ханым, доводившуюся ей родной теткой.

Чолпан–Мульк–ага, монголка, дочь бесстрашного Хаджи–бека, ходившая с Тимуром на Золотую Орду и на Иран не в спокойном царском обозе, а вместе с войском, среди опасных невзгод, отвернула в сторону прекрасное, воспетое поэтами лицо и закрыла глаза, чтобы не заплакать от обиды.

А Тукель–ханым прошла мимо них всех и стала рядом с Сарай–Мульк–ханым, сдержанно одной лишь ей поклонившись.

И всем показалось, что великая госпожа рядом с меньшей госпожой стоит, как нищенка, в своем драгоценном, но строгом одеянье.

Стоя рядом с великой госпожой, Тукель–ханым допустила царевну–гостью поздороваться с собой.

Когда, по обычаю, Севин–бей подошла к ней, справляясь о ее здоровье и о благополучии ее дома, Тукель–ханым лишь коротко отвечала, считая ниже своего достоинства самой спрашивать.

Но в это время младшие внуки — Улугбек с Ибрагимом — раскрыли обе створки темной двери, и вышел Тимур.

Тукель–ханым сжалась, будто над ней замахнулись плеткой, и мгновенно оказалась позади Сарай–Мульк–ханым, а Тимур, протянув руку, пошел к побледневшей Севин–бей, обнял сноху и потом, держа ладонь на ее плече, но отстранив ее на длину руки, спрашивал, глядя царевне прямо в глаза.

На вопрос о муже она ответила:

— Это, отец, я и приехала сама вам рассказать.

Он скользнул взглядом по своим женам и внукам и быстро предупредил ее:

— Расскажешь потом.

Ободряя Севин–бей, он сжал на ее плече пальцы.

Попятившись, она ему поклонилась:

— Позвольте поднести вам мое скромное приношение.

Стараясь не выдать любопытства, жены сдвинулись в широкий, но плотный круг, оставив место лишь для Тимура с царевичами да проход для слуг, вносящих подарки.

Она привезла свекру две черные азербайджанские сабли с бирюзовыми рукоятками, окованное серебром персидское седло, расписанное искусным живописцем, где изображалась охота на тигров и на фазанов, и плотную синюю, вышитую серебром попону, о которой сказала:

— Эту я сама, как сумела, вышивала для вас, отец.

— Милая моя, — ответил Тимур, — синее прилично надевать, когда кого–нибудь хоронят или оплакивают.

— Я вышивала ее, оплакивая свою жизнь, отец. Обмытое слезами приносит удачу.

Он нахмурился, убедившись, что она привезла ему нехорошие вести о его сыне.

— Твое имя означает радость, а ты в слезах!

И добавил:

— Вечером все расскажешь.

Он подумал: «Весь день сегодня досада за досадой!»

Она поклонилась своим свекровям и каждой дарила что-нибудь из разнообразных изделий искусных азербайджанских или грузинских вышивальщиц.

Начав со старшей, великой госпожи Сарай-Мульк-ханым, за ней она поклонилась не Тукель-ханым, как следовало по положению меньшей царицы, а второй во возрасту — Туман-аге, и по зале пронесся, как ветерок, шелест шелков на оживившихся женах Тимура.

Так подносила она свекровям свои подарки, одной за другой, соблюдая порядок по их возрасту.

Последней она протянула свое подношение разъяренной Тукель-ханым. Это были прекрасные туфельки, расшитые цветными шелками, на красных каблучках. А внутри каблучков звенели колокольчики.

Такой подарок был бы забавен для девочки, а не для царицы. Тукель-ханым медлила протянуть к нему руки.

Но Севин-бей сказала все тем же негромким голосом:

— Пусть звенит каждый ваш шаг, царица.

И Тукель-ханым пришлось обнять свою сноху.

В это время одна из рабынь шепнула великой госпоже, что Халиль-Султан возвратился и ждет указаний от бабушки.

— Один? — шепотом спросила Сарай-Мульк-ханым.

— С красавицей!

— Пусть ждут в моей комнате.

Оглядевшись, бабушка заметила, что Мухаммед-Султан стоит от нее далеко, а Улугбек был рядом.

«Удобнее было бы послать к ним Мухаммеда с женой, да они вон где!» подумала старуха и притянула к себе Улугбека:

— Ступай ко мне в комнату, мальчик; посиди там, с Халилем. Я потом позову.

— Что-нибудь случилось с Халилем?

Улугбек спросил это так звонко, что дед услышал его и взглянул в глаза старой царицы.

— Пока ничего! — ответила Сарай-Мульк-ханым.

И Улугбек, охваченный любопытством, бегом побежал к Халилю, а старуха глазами дала знать Тимуру, что Халиль исполнил волю деда и привел свою избранницу к нему напоказ.

Тимур, подозревая Мухаммед-Султана, чтоб шел с ним рядом, пригласил всех:

— Пойдемте, я вам покажу индийские...

Он запнулся, подбирая слово. «Редкости» — ему не хотелось сказать: что бы ни доставалось ему, он делал вид, что видывал кое-что получше; «драгоценности» — не хотелось говорить: он не хотел

показывать, что драгоценности всей вселенной могут что-либо прибавить к тому, чем он уже владеет.

— Ну эти... индийские находки. Пойдемте! Взгляните. Это всего лишь с одного каравана, но все же.. находки.

Слово ему понравилось. В детстве у него была собака, которую еще его отец, Тарагай, прозвал этой кличкой — Ульджай, что значит находка. Его жену, сестру амира Хусейна, тоже так звали. Он ее лет тридцать пять назад убил сгоряча, но забыл об этом, как забыл и то, что этим словом называют не только находку, но и добычу. В этом смысле многие и поняли слово повелителя.

Он ввел их в верхнюю залу, куда через настесь раскрытые двери врвалось яркое вечернее солнце.

Пылало красное золото больших чаш и ваз. Радугами сияли развернутые шелка; камни мерцали из грузных серебряных блюд, на рукоятках оружия, на каких-то больших затейливых предметах, литых из золота и похожих на шапки, надетые одна на другую.

Все эти груды сокровищ, разложенных во всю длину залы, невозможно было охватить одним взглядом, и вошедшие замерли, еще не видя ничего в отдельности, упиваясь всем множеством, сложенным здесь.

Одна лишь Сарай-Мульк-ханым смотрела на все это спокойно и разборчиво.

А Тукель-ханым присела, чтобы присмотреться к чему-то небольшому, потом вытянулась на носки, чтоб заглянуть за какую-то вазу, готовая ухватиться за все, что ни попадало ей на глаза.

Все стояли позади Тимура, не решаясь ни к чему приблизиться без его приглашения, а он не приглашал приближаться, через сощуренные глаза любуясь их восхищением и вождельем.

Вдруг он велел Мухаммед-Султану:

— Приведи Халиля с его... находкой.

И тотчас, забыв о сокровищах, все женщины нетерпеливо повернулись к двери, кроме одной лишь Тукель-ханым, высматривавшей, какие из сокровищ можно выпросить у скупого на подарки мужа, — он охотнее одаривал воинов, чем жен, одну лишь Сарай-Мульк-ханым любил удивлять щедростью, чтобы не обижалась на скупость его любви к ней.

Первым вошел Халиль-Султан.

Скромно позади него шла девушка, сопровождаемая стариком отцом. Ее вел за руку Улугбек, которого она успела покорить несколькими чистосердечными словами.

Все с удивлением смотрели: на ней не было никаких украшений. Простая белая, длинная, ниже колен, рубаха, желтые неширокие шаровары до щиколоток, обшитые понизу лишь узенькой зеленой тесьмой. Хорошая, но не драгоценная шапочка на голове под прозрачным розовым покрывалом.

Стройная, широкая в плечах, с крепкими скулами и длинными, от виска до виска, узкими бровями, сросшимися на переносице. А глаза быстры и не по-девичьи смелы.

Она поклонилась, угадав, что этот старик, стоявший обособленно и глянувший на нее быстрым, сразу все увидевшим взглядом, — дед жениха.

Она еще ничего не видела, кроме его длинного темного лица и под темно-русыми усами — его выпуклые пунцовые губы с лиловой, почти черной каймой по краям.

В ответ на ее поклон он небрежно коснулся рукой сердца и спросил:

— Как зовут?

— Шад–Мульк.

— Ну вот, еще одно сокровище засияло в этой обители! — хмуро сказал Тимур.

Только теперь она заметила все, что было разложено в зале.

Много рассказывали при ней о царских богатствах, но ей и не снилось видеть столько сразу...

Тимур спросил у ее отца:

— Это ты выдумал для нее царское имя?

— Осмелился, государь! — пробормотал мастер. — Разве я мог подумать...

Но чего он не мог подумать, старик так и не сказал повелителю, а только сокрушенно развел руками. И это движение что–то напомнило Тимуру. Но он не мог никак вспомнить:

«Кого напоминало это движение старика?»

Память его напряглась, и вдруг вспомнилось то же, что несколько дней назад встало в памяти во дворце Диль–кушо:

«А! Так со мной разговаривал тот бесстыдник — поэт в Ширазе!»

Это воспоминание чем–то раздосадовало Тимура.

Он отвернулся к девушке, удивленный, как спокойно любитесь она тем, что взволновало цариц Самарканда! Не жадность была в ее восхищении, а удовольствие от созерцания красоты.

Все стояли в безмолвии.

Дав ей время налюбоваться, он спросил:

— Нравятся?

Она не сразу ответила. Ей не хотелось выразить преклонение перед тем, что не раз при ней проклинали. Не ценность, а красота вещей нравилась ей. Но пути, по которым пришли сюда эти вещи, ей были ненавистны, — у отца часто говорили об этих путях. И главное: ей хотелось показать бескорыстие своей любви к Халилю.

Ее молчание рассердило Тимура: ему должны отвечать сразу! И он нетерпеливо крикнул:

— Нравятся?

Ее оскорбило, что старик кричит на нее, как на рабыню. Она громко, гневно ответила:

— Пахнут кровью сокровища!

Тимур застыл от ее дерзости.

Халиль шагнул было между нею и дедом, но сдержался.

Окружающие замерли.

Лишь Тукель–ханым засмеялась, тихо, но слишком громко для наступившей тишины.

Тимур вдруг решительно нагнулся над широкой чашей, до краев наполненной крупным жемчугом, и, запустив в глубь чаши руку, поднял полную горсть невиданных жемчужин.

Показалось, что в его зеленоватой руке жемчуг замерцал розоватым сиянием.

Одним рывком Тимур оказался перед лицом неподвижной Шад–Мульк.

Царицы попятнулись, ожидая, что он разорвет ее или швырнет в нее драгоценными горошинами.

Но Тимур медленно поднес жемчуг к ее лицу, тихо приговаривая:

— На, понюхай. Если пахнет, не бери.

Шад–Мульк стояла побелевшая.

«Если не взять?.. Отклонить подарок — это, по обычаю, такое оскорбление, что... Тогда не будет надежды на согласие старика и, значит, счастья с Халилем не будет. Не взять — потерять Халиля. Взять...»

Но додумать не было времени.

Она тихо, мелко дрожала, пока принимала на растянутый край своего покрывала этот царский дар.

А приняв, отступила на шаг, чтобы иметь расстояние для поклона.

Тимур, отвернувшись от нее, глядя на весь свой гарем, облегченно вздохнул и назидательно сказал:

— Ну, то–то!

Чуть склонив голову набок, сощурился в каком–то раздумье и, победоносный, отошел от Шад–Мульк мимо потупившегося Халиль–Султана.

Он прошел до конца всей залы и подождал там, стоя от всех в стороне, пока все прошли вдоль индийской добычи.

Сарай–Мульк–ханым подошла к Севин–бей и, обняв ее, пригласила:

— Пойдемте покушаем.

А проходя около безмолвно стоявших Халиля и его любимой, великая госпожа позвала девушку:

— Пойдемте и вы.

Тотчас Улугбек снова взял ее руку:

— Пойдемте, пожалуйста!

И повел ее вслед за бабушкой, возглавлявшей шествие всего гарема через длинный ряд комнат, где уже собрались приглашенные Тимуром его вельможи.

Многие из них много лет подряд видели проходящий перед их рядами гарем своего повелителя. Многие из его жен, неповторимые красавицы, некогда блиставшие, как немеркнущие звезды, отблестили, померкли, навеки упали в сухую землю Афрасиаба, погребены под куполами Шахи–Зинды. Никто уже и не вспоминает их имена.

Но эти шли мимо по персидским коврам так неприветливо, так надменно, словно владели тайной бессмертия, как вечные звезды, и вечным могуществом, а все вельможи и знатнейшие мужи Мавераннахра, склонившиеся перед царственным шествием, были всего лишь тенями, обреченными на такое же бесследное исчезновение, как исчезает тень, едва померкнет солнце.

Но всем им казалось, что солнце Тимура будет сиять всегда.

Он по–прежнему стоял, ожидая, пока все женщины выйдут.

Мухаммед–Султан и Халиль остались.

Старик мастер, один, заложив руки за спину, осматривал каждое из сокровищ, словно лепешки или глиняные кувшины на базаре.

Тимуру показался забавным такой деловитый осмотр. Он подошел к старому мастеру:

— Нравится?

- Чисто.
- Что чисто?
- Работа. Это где ж такие мастера?
- В Индии!
- А... Вон что! — вдруг испугался старик. — Тогда ясно!
- Что ясно?
- Вот это все.
- А... — не понял его Тимур, но не хотел переспрашивать.

Он отошел к Халилю и сказал:

- Нам не подойдет.

Халиль предугадал решение деда и смело возразил:

- Она мне подходит. Мне, дедушка!
- А ты... Разве не мой?
- Разве семья и войско — одно и то же?
- Семья одна. От твоей жены родятся мои правнуки. А правнуков своих...

Тимур, встретив взгляд Халиля, почувствовал железное упрямство внука, и все досады этого дня готовы были вспыхнуть в приступе неудержимей ярости.

Но старик сдержал себя:

- Разве у деда нет прав на правнуков?

И, считая, что ответил внуку ясно, добавил:

- Иди.

Но когда Халиль, понурясь, пошел было к выходу, Тимур его остановил.

- Ты что же?
- А что, дедушка?
- Этого старика прими, угости. Одари! Понял?

И когда с ним остался один Мухаммед-Султан, распорядился звать в залу своих вельмож.

Солнце уже западало, и свет в зале стал густым и прозрачным, как свежий мед.

* * *

Вельможи, вступив в залу, пошли мимо сокровищ безмолвные, ступая по ковру неслышно, как сновидения.

Глаза их не видели ничего, кроме груд сокровищ.

Натыкаясь друг на друга, наступая друг другу на ноги, шли зачарованные, немые, глядя то на все сразу, то на что-нибудь одно, столь обольстительное, что затмевало все остальное.

Лица у одних покраснелись, словно перед ними пылал нестерпимый огонь; другие вспотели так, что ворота халатов потемнели, а пот струился и струился из-под чалм, со лба, застилал глаза; третьи шли, стиснув зубы, шевеля пальцами, будто ощупывали что-то. Иные, насупившись, глядели с ненавистью на то,

что ускользнуло из их рук.

У святого сейида Береке нижняя челюсть отвисла, и мелкой дрожью трепетала его борода, как птица, у которой вдруг отсекли голову.

Тимур смотрел на своих сподвижников радуясь.

Его радовало, что они не насытились. Пока не иссякнет в них эта жажда и эта страсть, их не покинет сила, они останутся с ним, не отступят, не выдадут, не изменят.

Ему хотелось крикнуть им:

— Берите! Хватайте!

Не жалко было отдать: он смолоду любил делиться добычей, — тем он и держал вокруг себя смелых, отпетых головорезов. Но он знал их. Они растерзали бы здесь друг друга. Такую ошибку он сделал однажды в молодости, но больше не ошибался и приучил их терпеливо ждать, пока он начнет дележ. И слово его бывало нерушимо. Если ж осмеливался кто-нибудь пожелать большего или раньше, чем выходило по череду, горе ждало того — в пример остальным.

Он уже устал.

Ему хотелось уйти: силы иссякли.

Но уйти было нельзя: пока он стоял здесь, все проходили вдоль добычи чинно, степенно, молча. Но в том, что им хватит на это сил без него, он не был уверен и ждал, пока они обойдут всю залу.

И когда они перешли в другую залу, где было разложено всякое редкое оружие, всякие диковины из дерева или из кости, он вышел с ними и туда, как пастух, ведущий стадо на новое пастбище.

Лишь когда все было огляжено, он приказал запереть двери опустевших зал, ключи взял себе, а к замкам приставил крепкий караул из надежных воинов: час дележа еще не настал.

Может быть, сказались годы, — он испытал такой отлив сил, что готов был лечь тут же, на полу, в проходной галерее, и поэтому не пошел к женам, пировавшим по случаю приезда Севин-бей, а ушел в тихую комнату, сел у окна, велел подать вина и смотрел на погружающийся в голубую мглу Самарканд, где лишь вершины деревьев еще пылали закатом над плоским простором города, над потемневшими карнизами мечетей, дворцов, караван-сараяв.

Выпив чашку густого красного вина, он позвал Мурат-хана и велел передать великой госпоже, что ждет сюда Севин-бей.

Сарай-Мулк-ханым вошла разгоряченная пиром, разговорами и вином, но, взглянув на лицо мужа, быстро оправала платье и покрывало, чтоб складки легли строже и проще.

Севин-бей осталась такой же, как днем, — видно, все это время ей было не до пира, не до разговоров.

— Благополучно доехала? — спросил Тимур.

— Благодарствую, отец. Даже не видела дороги.

— Что с тобой?

— Со мной меньше, чем с вашим сыном.

Рука Тимура дрогнула, лицо поднялось.

— Что с ним?

— Берегитесь его, отец!

Пальцы старика хрустнули, так крепко он сжал кулак.

— Что с ним, спрашиваю!

— Он одичал. Он все разрушает. Он всех ненавидит, кроме тех, с кем пьянствует. Он замышляет против вас, отец!

— Нет! — твердо возразил Тимур. — Ты что-то путаешь.

Сарай-Мульк-ханым участливо предложила ей:

— Ты, может, сперва отдохнула б с дороги?

Но Тимур прервал жену:

— Молчи! Не твое дело.

— Я, отец, не от дороги устала. Меня измучил ваш сын.

— Поссорились?

— Он все разрушает, отец!

— Давно?

— Третий год он нездоров. Упал с лошади, ударился головой — и началось.

— Расскажи.

— В Султании он велел разрушить тот прекрасный дворец, который вам нравился. Я спросила: «Зачем?» Он сказал: «Там замурованы сокровища, я их искал». Никаких сокровищ не оказалось. Но я ему поверила. Вдруг в Тебризе он приказал развалить гробницу Рашид-аддина, историка, а кости его приказал вынести и закопать на еврейском кладбище. Я опять спросила: «Зачем?» Он ответил: «Этот негодяй непочтительно писал о мусульманах». Я сказала: «Вы любите читать историю; разве там есть подобные поступки?»

Тимур переспросил ее:

— Он любит читать историю?

— Он приказал, чтобы ученый Наджм-аддин [так] перевел для него с арабского сочинения Ибн-аль-Асира. И хорошо вознаградил переводчика, а книгу бережно хранит.

— Вот как? А потом?

— Потом он вдруг крикнул: «О моем отце говорят, что он создает прекрасные здания. Я хочу, чтобы обо мне говорили, что я ничего не создал, но разрушил лучшие здания мира». Я сказала: «Ваш отец создает величайшее государство». Он ответил: «А обо мне скажут, что величайшее государство отца разрушил его сын мирза Мираншах. И прославят не отца, а меня, потому что разрушать веселее!» Я сказала: «Не следует так поступать!» Он расхохотался, а потом вдруг кинулся на меня, выхватил нож...

— Он не посмел бы!.. — крикнул Тимур, вскакивая, глядя на сноху округлившимися глазами.

Но сдержал себя и, не веря ей и от этого успокаиваясь и желая успокоить ее, покачал головой:

— Нет, он... Не осмелился бы. Я его знаю: смелости в нем нет!

— Отец!

Тимур уловил и попрек и скорбь в этом слове и подошел ближе.

Она торопливо распоясала верхней халат; распахнула нижний халат:

— Смотрите!

Тимур отступил, не сводя глаз с ее рубахи.

— Я не снимала ее, отец, всю дорогу. Я спешила показать ее вам.

Изрезанная ножом, густо запятнанная засохшей кровью, ее рубаха дрожала перед глазами Тимура.

Брови старика опустились к глазам. Глаза потупились. Он безмолвно стоял, сразу осунувшись, тяжело думая о чем-то.

Севин-бей нетвердой рукой пыталась завязать тесьму халата, но зеленая кисточка мешала ей затянуть узелок.

Сарай-Мульк-ханым запахла ее халат и обняла сноху.

Старик отошел от них, опустился около окна, прижал ладонь к глазам и заплакал, тяжело содрогаясь.

Только правая, сухая рука оставалась безучастной и беспомощной.

* * *

Он сидел один в темноте, около окна.

Он знал, что Мираншах безумствует в странах, доверенных его разуму: об этом рассказал гонец, об этом сообщили проводчики. От других людей было известно, что в Иране и в Азербайджане народ осмелел. Неизвестные люди нападали на воинов, приходилось усиливать охрану караванов, проходящих через эти земли на Самарканд. Распустились и бесчинствовали приятели Мираншаха, забывая об их долге укреплять власть в покоренных странах; налоги, взысканные с земледельцев, попадают не в казну, а в сундуки приближенных Мираншаха, а сам он пьянствует, охотится, расширяет и украшает свой гарем, опустошая казну государства. А за спиной у Мираншаха безбоязненно и безнаказанно хозяйничает осман Баязет с очень большим, с очень крепким войском.

В Герате властвует другой сын Тимура, отец Улугбека, Шахрух. Этот не пьет вина, не любит охоты и столь послушен своей жене Гаухар-Шад, что даже гарем свой не расширяет. А ведь Шахруху нет еще и двадцати пяти лет! Он предан благочестию и наукам. Пять раз в день он перед всем народом выходит в мечеть на молитву, а в остальное время читает книги или ведет душеспасительные беседы с благочестивыми людьми. Он ничего не берет себе из государственной казны, но и обогатить эту казну не стремится, а мог бы: у некоторых из его соседей можно было бы кое-что добыть; деньги он тратит на покупку книг, окружил себя переписчиками книг, художниками, украшающими книги, ханжами, дервишами, какими-то сирийскими шейхами, блюстителями мусульманских истин. А делами государства занимается его жена, Гаухар-Шад, мать Улугбека, — своенравная, беспокойная дочка спесивого, заносчивого Гияс-аддина Тархана.

Народы, подвластные Шахруху, персы, афганцы, белуджи, — все они позабыли, что Шахрух не ими возведен на царство, а поставлен Тимуром; забыли, что земли их — лишь частица великой державы Тимура.

«Благочестивый мальчик!» — думал Тимур о ненавистном Шахрухе, сжимая губы, сощуривая глаза.

«Надо напомнить дерзким о своей силе. Опустошить земли Баязета. Разорить там базары и купцов, чтоб не мешали торговать купцам Самарканда. Надо срыть крепостные стены в османских городах, чтоб не лелеяли опасных надежд. На непокорных надо навести ужас!

Но всех надо застать врасплох. Иначе каждый вздумает сопротивляться, с каждым понадобится борьба.

Надо поход готовить втайне, всех обмануть, напасть внезапно, всех застать врасплох!

Надо спокойно подумать, надо рассчитать, какую из дорог выбрать прямую ли через Мираншаха, чтобы весь Западный Иран и все земли Закавказья, отданные Мираншаху, привести в порядок. Или обмануть Баязета, пройти на юг, проверить дела у Шахруха и оттуда, резко повернув к западу, быстрыми переходами навалиться на зазевавшегося Баязета. Дорога через Мираншаха прямой; через Шахруха — намного длиннее. Но иногда самый дальний путь бывает самым коротким к победе».

Но покоя, чтобы все обдумать, не было. Весь этот день, одна за другой, обжигали его досада за досадой.

«Халиль, упрямец, посмел возражать. Из-за девки посмел спорить с дедом! Его девка говорила противные слова о сокровищах. Ее тут же раздавить бы, но тогда слух о ее дерзких ответах разнесся бы по всему городу, по всему народу. Надо было ее осрамить; удалось осрамить, и она поняла это». Но досада осталась.

Севин-бей родила ему двоих лучших внуков. Он любил ее за это; он уважал ее как внучку самого Узбек-хана, ради нее он однажды пощадил ее отца Ак-Суфи, хотя позже, правда, расправился с ним. А Мираншах не посчитался с тем почетом, каким окружал ее Тимур. Мираншах казался дурашливым гулякой, нерешительным, трусливым, безопасным. Ему нельзя было доверить государственных дел, но кусок своего царства отец ему доверил. А он оказался не дурашливым, а свирепым; не трусом, а зверем.

«Кабан! Свиреп, а неповоротлив...»

«Кабан! Норовит тупым рылом все взрыть, во что ни уткнется рыло. А что повыше, а что по сторонам, того не видит, пока всем задом не развернется!»

Это не только досада, это и предостережение ему!

Досадой была и затея великой госпожи строить мадрасу напротив его мечети. Но эта досада не столь была б велика, если б Тимур не хотелось отказать старухе. Досаднее всего было, что хотелось отказать, а он не посмел. Не посмел, не решился!

А началось еще на рассвете: девчонка, наложница, которой он и замечать бы не должен, она первая раздосадовала его. Чем? С утра он сам не понял чем. Теперь ясно: она удивилась, что за всю ночь он не подумал о ее поясе! Досада явилась, когда она с таким упрямством ждала, прежде чем уйти. Как оскорбленно взглянула, как насмешливо затоптали ее босые пятки, когда она побежала к себе!

Эта первая досада была бы не столь тяжела, если б была только оскорбительна. Нет, и она была предостережением: владыка мира стал стар!

Весь этот день то одно, то другое напоминало ему, что силы уходят, а сил надо много, чтоб крепко держать весь мир!

Он сидел в темноте, обдумывая все, что случилось за день. Это было его правилом, — прежде чем уйти спать, припомнить, обдумать и оценить угасший день. Вспомнить правильные поступки и найти причины ошибок.

За весь этот день он не мог вспомнить ни одного правильного поступка. В каждом случае можно было поступить иначе. От рассвета до ночи не было ни одного поступка, о котором было бы можно сказать, что иначе нельзя было поступить. Ни одного...

Ночная свежесть и полная тьма успокаивали его. Но утешения не было.

И усталость его была какой-то новой, непривычной, — не тело устало, тело ему повиновалось, устала воля: не было желания ни встать, ни идти, ни спать.

Он посмотрел в окно.

Под поздним небом город был уже неразличим.

Лишь в одном месте, слева от базара, какую-то высокую стену слабо освещал колеблющийся свет очага.

«Это, пожалуй, на дворе у хана, у Султан-Махмуда, — он любит допоздна сидеть у очага, глядеть, как в котле ему варят ужин; что-нибудь простое варят».

В это время за дверью, в темном коридоре, кто-то торопливо прошел.

Тимур насторожился: ночью каждому во дворце надлежало быть на своем месте, чтобы каждого, если надо, Тимур мог и в темноте найти, на ощупь, как халат или кувшин.

«Кто мог пройти? Куда?»

Тимур прислушивался.

Вскоре шаги повторились.

Кто-то шел сюда.

Кто-то встал на пороге, видно пытаясь рассмотреть эту комнату в темноте.

Тимур затаился, прижавшись к стене, и рука его сжала рукоятку кинжала, всегда засунутого за пояс.

Голос Мурат-хана:

— Государь!

Тимур нехотя отозвался.

— Я вас везде ищу, государь!

— Что там?

— У ворот — человек. Просит допуска: «Особая весть», — говорит.

— Кто это?

— Купец.

— Чего ему?

— Обещает только вам сказать.

— Откуда?

— Не говорит. Спину ослу сбил до костей. Сам еле на ногах стоит. Видно, издалека.

— Приведите. Дайте свету.

Внесли светильник и поставили на полу. Тимур не сдвинулся с места, лениво глядя на дверь.

В двери он увидел сопровождаемого воинами покрытого густой пылью невысокого человека в сером от пыли халате.

По высокой шапке Тимур вспомнил Геворка Пушка и строго сказал:

— Сперва отряхнись б!

— Государь! До того ли?

— А что?

Пушок, переступая порог, еле держался на широко расставленных ногах и не имел сил ни согнуться

для поклона, на пасть на колени и лишь глядел на Тимура обветренными глазами из-под отяжелевших от пыли ресниц.

Тимур, не шевельнувшись, осмотрел его:

— Чего ты такой?

— Караван ограблен!

— Потому я и послал тебя...

И, сказав это, подумал: «Головой он, что ли, ударился?»

— Он-то и ограблен!

— Мой? — оторопел Тимур.

— Увы, государь!

— Где?

— По дороге на Бухару. Напротив Кургана.

— Тут? Рядом! А ты?

— Бежал к вам.

— А разбойники?

— Ушли.

— Не поймали?

— Никого. Да и некому: стража спала.

Одним тигриным прыжком Тимур выскочил за дверь:

— Где начальник караула? Царевича звать, Мухаммед-Султана! За ханом послать, чтоб сразу сюда скакал.

Уже в другой зале Тимур приказывал:

— Эй, Мухаммед! Распорядись созывать совет! Немедля сюда! И чтоб лишнего — никого! Эй, амир Хусаин!..

Таким голосом Тимур командовал в самые опасные минуты боя.

— Эй, Мурат-хан! Остереги великую госпожу: Улугбека не отпускать на охоту! Никому из гарема не соваться за город.

Огромными прыжками он проносился через весь дворец.

Воины, сидевшие у дверей, вскакивали, спросонок хватаясь за мечи или копья.

Зажигались светильники, факелы.

Со двора уже мчались гонцы и скороходы созывать воевод, советников, начальников караулов.

Весь Синий Дворец проснулся. Отсветы огней блистали на гладких, как вода, изразцах. По ночным облакам зарумянилось дымное зарево. Псы завыли по всему городу, напуганные внезапным пробуждением, словно в город уже ворвался враг.

Мухаммед-Султан допытывался:

— Война, дедушка?

— Разбойники под самым городом. Понимаешь? Нет? Не понимаешь?

Но чтобы слышать деда, надо было бежать следом за ним: дед не останавливался ни на минуту.

Тимур нетерпеливо сжимал кулак:

— Чего ж еще не собрались? Где они?

Позванные уже въезжали во двор, поспешали наверх, на зов своего повелителя, спрашивая друг друга:

— Война?

— Какая-то страшная весть!

А Тимур уже стоял среди залы. Рука его дрожала, чего не случилось ни в одной битве.

— Посмели грабить! Здесь! Меня! И сумели!

Он кричал так, что воздух дрожал:

— Кто? Где они?

Вельможи молчали, удивленные и озадаченные. Тимур кричал, пытаясь объяснить им происшедшее:

— Не побоялись! Посмели! Сумели! И ушли. Не понимаете? А я понимаю, я знаю!

Ему невозможно было сказать им, что сам он когда-то вот так же начинал... А теперь кто-то другой! У него за спиной!

Но вельможи стояли, не постигая всей опасности происшедшего.

Начальник городской охраны Самарканда амир Музаффар-аддин попытался успокоить Тимура:

— Государь! Ведь совсем недавно был такой случай. И всех поймали и наказали.

— Где?

— Около Кутлук-бобо! Тогда... караван с кожами...

Он осекся, увидев застывшие глаза онемевшего Тимура.

Но никаких голосов не было слышно в той отдаленной комнате, где Пушок остался один и не знал, ждать ли здесь, уходить ли?

Светильник чадил. Рыжая струйка копоти тянулась вверх, и какая-то большая розовато-дымная бабочка, залетев на свет, вертелась странными кругами, падая вниз, взмывая вверх.

* * *

Пламя светильников множилось в многоцветных отблесках на глади зеленых изразцов, покрывавших низ стен, на шелковом ворсе просторного ковра, на яхонтах и лалах, украшавших шапки и перстни, на золотых шишаках княжеских колпаков, на золотом шитье тяжелых халатов.

Созванные сюда советники Тимура оделись, как одевались обычно, являясь ко двору, — повелитель не простил бы, если б в одежде поднятых с постелей вельмож заметил признаки спешки или ночной небрежности, как не простил бы, если б они вздумали так нарядиться в поход, — в поход все отправлялись в простых, удобных одеждах, а величались там один перед другим лишь красотой оружия.

Пока длился этот ночной совет, Тимур сидел, опершись о круглые парчовые подушки, протянув негнувшуюся ногу в мягком, как чулок, сапоге, и поглядывал исподлобья на говоривших.

Чем дольше шло время, тем меньше он вникал в слова своих советников, все глубже уходя в свое

раздумье, все яснее видя предстоящее дело.

Когда начальник города амир Аргун–шах заговорил о возмутительной дерзости грабителей, о грехе воровства и о небесных карах, от коих разбойники не увильнут, Тимур прервал его складную речь, поднимаясь:

— Считать грехи — дело мулл. Это их забота. А нам некогда.

Он подозвал писца, оглядел всех и встал.

Советники вскочили на ноги, боясь пропустить хотя бы одно из его слов.

Зорко следя за каждым, застыли позади Тимура барласы — неподвижные телохранители с короткими копьями в крепких руках.

Справа от повелителя строго стоял Мухаммед–Султан. А Тимур не стоялось. Поворачиваясь к советникам то правым, то левым плечом, он, прямо глядя в глаза тому, к кому обращался, приказывал.

Амиру Аргун–шаху он поручил обшарить селения вокруг Самарканда и выведать, нет ли бездельников в тех селениях, нет ли пришлых, нет ли непокорных людей. И тех, кто хотя и не грабил еще, но может стать грабителем, выловить.

Музаффар–аддину Тимур велел осмотреть торговые дороги вокруг во все стороны на сутки пути.

Он велел разослать приказы начальникам областей, чтобы хватали всех, кто без дела покажется на торговых дорогах, а схваченных спрашивать сразу, пытливо, без жалости.

Тимур приказал писцу взять расписки со всех, кому дал приказания. Еще за много лет до того, по завету бывалого Карачара, он ввел правило брать перед битвой подписи воевод, получивших приказы. Но этот обычай исполняли перед битвами; на мирном совете он потребовал подписей в первый раз, и все поняли, что он взыщет со своих советников сразу, пытливо, без жалости.

Он ушел, сопровождаемый одним лишь Мухаммед–Султаном.

Барласы тотчас стали перед дверью, которая его скрыла, и оперлись о свои легкие, но крепкие копья.

Советники молча и торопливо кинулись к выходу, стеснившись и протискиваясь в двери, словно он мог и через стену увидеть, что кто–нибудь из них нерасторопен, неповоротлив, неисполнителен.

* * *

Приняв решение и распорядившись, Тимур успокоился, но ему еще не хотелось покоя: на ходу лучше думалось.

И он шел из залы в залу, из освещенных зал — в темные, из пустых — в те, где стояла стража.

В одной из темных зал он подошел к окну.

В ночном городе то тут, то там трепетали на стенах отсветы освещенных дворов. Кое–где разгорались новые: видно, в свои дома возвращались те, с кем он говорил сейчас, а может, соседи приходили к соседям разузнать, что за тревога в городе, куда и зачем скачут по темным улицам всадники, почему усилены караулы у городских ворот, почему во дворце горят факелы и светятся окна.

— Город не спит, — сказал Мухаммед–Султан.

— А о чем они говорят, знаешь?

— Говорят?.. О том, что разбойники на караван напали.

— Они говорят: «Ограблено десять караванов с несметными сокровищами». Они говорят: «Вражеские войска ворвались в нашу страну, захватили Фергану, или Балх, или Хорезм». Они говорят: «Восстание в

Султани, Герат горит!» Ты знаешь, что такое слух?

— Слух, дедушка?..

— Слух растет, как песчаная буря. Чем больше людей, тем сильнее эта буря. Слух разрастается, искажает сбывшееся; слух порождает мечты о несбыточном. Слух — это большая сила. А силы всегда надо держать в своих руках, чтоб всякая сила служила тебе, а не врагу. Все силы надо держать воедино, чтоб ударить в цель. Чтоб, как слуги, слухи служили тебе. Понял?

— Нет, дедушка, что за сила слух о пожаре в Герате, если там мир и тишина?

— А ты подумай...

Тимур смотрел на ночной Самарканд.

Огней не было видно: огни горели в глубине дворов, их заслоняли стены, карнизы, деревья, но по отсветам на стенах видно было, что там горели факелы или очаги, — отсветы трепетали, на мгновение заслонялись длинными тенями, возникали вновь. Кое-где свет на стенах лежал неподвижно, — там горели фонари, поставленные на землю. Некоторые из отсветов погасали, другие разгорались, розовые или желтые, вытянутые по высоте строений либо распластанные по ширине коренастых стен.

— Ты подумай... — в раздумье повторил Тимур, прикидывая, как извлечь пользу из этой ночной тревоги, из пересудов всполошенных горожан. И вдруг оживился и заговорил быстро, будто уже не осталось времени на разговоры: он не любил ничего откладывать, если уже знал, как надо поступить. — Базар! Надо слухом взбудоражить базар. Появля?

— Зачем, дедушка?

— Чтоб базар зашумел. Чтоб купцы встревожились. Из них каждый испугается: не потерять бы время. А что надо продавать, что покупать — чтоб не знали. Тут и надо направить их. Слухом направить, а вслед за слухом, когда у них глаза разгорятся, кинуть им товар. Надо подумать, какой нам товар сбывать? Понял?

Тимур опять неторопливо пошел по дворцу, через залы, где горели светильники, и через темные. Всюду стояли стражи.

— Надо подумать, что сперва сбывать. Понял?

Мухаммед–Султан молчал.

Тимур опять заговорил:

— Ты смекай: по городу пошел слух: «Война!» Если его не остановить, завтра с базара его понесут во все стороны, по всей стране. А его нельзя выпускать. В поход надо идти молча, незаметно. Когда пойдешь, тогда кричи и кидайся на врага. Разом! Но пока точишь меч, точи молча, тогда он острее наточится. По городу пошел слух: «Разбойники!» Если этот слух разойдется, другие разбойники ободряются. А как мне отсюда уйти, когда здесь неведомые злодеи разбойничают? Сперва их надо найти, потом сказать, что были, да пойманы: потом так их наказать, чтоб весь город охнул. Тогда весь Самарканд присмирится. Чем тверже твоя рука, тем мягче рука врага. Ты это помни! Врагов много. Враги везде.

Он остановился и прохрипел тихо, но гневно, — Мухаммед–Султан едва слышал:

— Они даже в семье есть. В нашей. Нож держи под рукой. Под рукой, понял? Но знай их всех, с глаз их не спускай. И, если что... то разом! Понял?

Тимур поверил Мухаммед–Султану то, чего не доверял никому, кроме этого внука, своего наследника. Поверил, чтоб вытеснить из своего наследника все колебания, все сомнения, чтоб внук все видел глазами деда, чтоб все слышал ушами деда, чтоб через много лет еще жил дед в этом внуке и

продолжал бы свои дела руками внука, примечал бы опасных врагов глазами внука и устами внука говорил бы им свой приговор.

Опять, хромая, он шел, а Мухаммед–Султан следовал чуть поотстав, принаравливая свои шаги к хромоте деда.

Оба были длинны, широки в плечах, и воинам, смотревшим им вслед из темноты, эти двое, входившие в освещенную залу, на мгновение казались одним человеком, двоившимся в глазах. Но мгновение спустя Тимур падал вниз на большую ногу, и сходство исчезало.

— Слышал, — Мираншах озверел. А на что нам зверь? Нам нужен такой, чтоб звери его боялись. А Шахрух в Герате замолился. А на что нам такой мулла? Один каждый день при всем народе буюнит; другой пять раз на день при всем народе молится. А надо, чтоб их пореже видели; чем реже будут их видеть, тем больше бояться будут. А кого бояться, того слушаются. Мне надо самому сходить к ним. А как идти, когда тут разбойничают? При мне злодействуют, а без меня разгуляются. Что ты тогда сделаешь?

— Я?

— Ты. Тебя тут оставляю. Твердо правь.

— Разве я не тверд, дедушка?

— Тверд, а мягковат.

— Ну, злодеи этого не скажут! — громко задышав, обиделся Мухаммед–Султан. — «Мягковат!» Нет, не скажут, дедушка!

— Ты знай: ты хорош, что хоть и мягок со своими, зато с врагами тверд. Ты тем плох, что и со своими не надо мягчиться. В мягкой руке из иного червяка скорпион вырастает. Понял?

Он остановился в зале, где горел светильник, но никого не было.

— Без меня сыщешь разбойников? Припугнешь? А? А то как я пойду? Поход большой, дорога долгая, а они, знаешь, — сегодня их десятеро, через неделю — сотня, через месяц их — тысяча! Они один к одному набегают, когда у них удача, добыча, дележ. Я знаю! Их надо схватить. Куда б ни заползли, где б ни затаились, — сыскать, раздавить. В самом начале, пока их... Ведь неизвестно, сколько их!

— Не мудрено узнать, дедушка.

— Как это?

— Узнаем, много ли пограблено...

Тимур, застыв на кривой ноге, вскинул озадаченное лицо к внуку:

— Чего ж ты молчал?

— О чем?

— Вот об этом! С этого и надо начать: сколько пограблено? Что пограблено? Узнаем, чего им надо, — пойдем, кто они. Узнаем, сколько пограблено, — пойдем, много ли их. А где он?

— Кто, дедушка?

— Армянин этот где?

— Я его не видел.

— А его не подслали? Это правда, что он сказал?

— Я его не видел, дедушка.

— А где он?

Мухаммед–Султан по голосу деда понял, что дед раздосадован. Раздосадован на себя самого, что поспешил, что не расспросил как надо, а сразу поверил, сразу кинулся народ поднимать. Это редко случалось с Тимуром. Да и случалось ли прежде? Что с ним?

— Найдем! — успокоительно сказал внук.

— Ищи! — приказал Тимур уже не прежним доверчивым шепотом деда, а порывистым голосом повелителя.

Мухаммед–Султан вернулся в пройденную залу к караульным воинам.

Но воины единодушно и твердо отвечали царевичу:

— Купец? Нет, назад не проходил.

Мухаммед–Султан поспешил к Тимуру:

— Армянин где–то здесь.

Тимур нетерпеливо повторил:

— Ищи!

И вдруг вспомнил, что говорил с купцом в маленькой боковой комнате.

— Ну–ка, пойдём!

Они увидели светильник и струйку копоти, утончавшуюся кверху, словно чья–то невидимая рука сучила прядь бурой шерсти.

С краю от двери, как на бегу сраженный стрелой, лежал, раскинувшись, пыльный и оттого особенно бледный, застывший Пушок.

— Кто его? — отстранился Тимур.

Мухаммед–Султан склонился к купцу:

— Он дышит.

— Что с ним? — не понимал Тимур.

— Заснул.

Восьмая глава

СИНИЙ ДВОРЕЦ

Мухаммед–Султан, едва Тимур отпустил его, уехал к себе, но в дом не пошел, а велел постелить постель в саду на широкой тахте под деревьями: он мог еще до свету понадобиться деду, а дед не любил ждать, когда кто–нибудь ему надобился.

Ночной воздух был свеж, влажен, тих. Но царевич много раз тревожно просыпался: то ему слышались глухие голоса с улицы, и он приподымался, прислушиваясь; то казалось, что в ворота стучат, и он сбрасывал одеяло:

«За мной от дедушки!»

Опять засыпал и опять вслушивался.

Было бы спокойней ночевать в Синем Дворце, да не хотелось летнюю ночь проводить в каменных стенах, с детства дед приучил их всех летними ночами спать в распахнутых шатрах, или под сенью деревьев, или в степи под открытым высоким небом.

Дед всех приучал летом кочевать с места на место, ночуя в садах ли, в степях ли, в долинах ли между гор, на берегах ли прохладных рек, в шатрах, окруженных сотнями других шатров, где размещались слуги, воины, приближенные или родичи.

Когда утренний порыв ветра колыхнул листву, Мухаммед–Султан увидел посветлевшее небо и пошел к восьмиугольному водоему, осененному длинными ветвями плакучих китайских ив. С вершин до самой воды свисали их гибкие, как девичьи косы, ветки. Длинные узкие листья плавали в серой, прозрачной, холодной воде.

Пока он мылся, заворковали горлинки, и царевич снова встревожился: «Не опоздать бы!»

Но прежде чем пойти к своему еще безмолвному, спящему дому, он прошел по дорожке, вымощенной восьмиугольными плитками, к островерхому стройному своду новых ворот, сложенных из светлых, как тело, желтоватых кирпичиков.

Над глубокой нишей зодчий выложил цветную мозаику, и она казалась влажной и прохладной в этот ранний чае утра.

Через эти ворота Мухаммед–Султан перешагнул в каменный дворик, весь заставленный стопами свежих кирпичей, ящиками с известью, рядами изразцов, разложенных по всему двору в том порядке, как их уложат на стенах.

Здесь строилась мадраса для приюта паломников и просвещенных странников и ханака, куда Мухаммед–Султан втайне намеревался перенести прах какого–нибудь святого, чтобы ханака обрела себе покровителя на небесах.

Горлинки ворковали, давно бы пора ехать в Синий Дворец, но за все эти сутки, с того часа как братья выехали в сарай Кутлук–бобо навстречу Севин–бей, своей матери, не было у Мухаммед–Султана минуты посмотреть на строительство, а посмотреть не терпелось: что выходит из затеи, обдуманной сообща со старым искусным зодчим; что нового возникло здесь за вчерашний день.

По еще не просохшей известке он узнал ряды вчерашней кладки. Определился изразцовый узор на одной линии, составившей ряд синих мозаичных звезд.

Показалось, что сделано мало: как и дед, Мухаммед–Султан был нетерпелив со строителями, ему

думалось, что строить можно гораздо быстрее. Он попрекнул бы, даже припугнул бы зодчих за медлительность. Но зодчие еще не пришли. Лишь бездомные каменщики, остававшиеся здесь ночевать на длинных, пыльных войлоках вдоль еще сырых стен, спали, прикрывшись домоткаными халатами или серым рваньем. А кому совсем нечем было накрыться, спали, свернувшись комком. Некоторые уже поднялись. Один стоял, упершись ладонями в стену, и никак не мог откашляться.

Мухаммед–Султан прошел мимо, будто они лишь кучи глины и щебня, сваленные у стен.

Выйдя на задний двор, где бывал редко, Мухаммед–Султан вдохнул острый парной запах конюшен и увядшей люцерны. Конюхи мыли и чистили беспокойных лошадей, прежде чем заседлать в поставить их под навес на переднем дворе, где полагалось держать лошадей наготове. Лошади артачились, но конюхи не решались на них покрикивать в столь раннее время, когда в доме еще спали.

Обходя по голубовато–белой земле черные пятна луж, Мухаммед–Султан вышел к протянутой вдоль длинной стены террасе, накрытой веселой росписью невысокого потолка.

Здесь повсюду сидели домашние рабы и слуги, ожидавшие не царевича, а домоправителя или ключарей, чтобы каждому заняться своим делом — кому нести припасы на кухню, кому отвешивать ячмень на конюшню, кому выдавать известь строителям.

Наскоро одевшись, Мухаммед–Султан поехал к деду, успокаивая себя: «Старик, не смыкавший глаз во всю эту ночь, на заре проспит дольше обычного».

На галерее Синего Дворца, где придворным полагалось степенно ожидать приглашения к повелителю, вельможи, съехавшиеся на прием, тревожно толпились, перешептываясь, озабоченные, помрачневшие.

Мухаммед–Султан не остановился расспросить о причинах их тревоги: он, как и дед, не любил спрашивать; предпочитал узнавать обо всем стороной или от проводчиков, — самому спрашивать людей считал унижительным для своего достоинства.

В дверях его встретил амир Шах–Мелик, которого за испытанную верность и смелость любил Тимур. С Шах–Меликом Мухаммед–Султан бывал в походах, бок о бок с ним бился в битвах; случалось им и пировать рядом и ночевать у одного костра.

— Что–то вельможи сегодня... — пожал плечом Мухаммед–Султан, больше удивляясь, чем спрашивая.

— Государь не велел никого к себе пускать. Он удручен поведением мирзы Мираншаха и не желает видеть людей.

— А вельможи?

— Одни говорят: «Государь заболел»; другие: «Опечален, оплакивает участь своего заблудшего сына».

— А государь?

— Никого не допускает к себе.

— Видели его?

— Нет. Приема не будет. Всем разрешено ехать домой. Но все толкуются, ждут: может, он пожелал испытать их усердие!

— А вы?

— Тоже. Вдруг я ему понадобится?

Мухаммед–Султан ничего не ответил и прошел к деду.

Тимур сидел в той небольшой комнате, где в эту ночь заснул армянский купец.

Пушка уже не было; едва он проснулся, повелитель призвал его и долго, придирчиво расспрашивал. Расспросив, велел ему отправиться в одну из келий над дворцовыми кладовыми, а в город не показываться.

— Выспался? — спросил Тимур своего наследника.

В этом вопросе Мухаммед–Султан уловил насмешку: «Я, мол, старик, Повелитель Мира, если надо, обхожусь без сна, а у тебя, мальчишки, сил меньше, тебе отдых необходим, сон в саду между розами!»

Может быть, Тимур и не насмехался; может быть, это лишь почудилось мнительному, самолюбивому царевичу, но Мухаммед–Султан не сумел скрыть обиды:

— Не до сна было. Ездил домой осмотреть строительство.

— Нравится?

— Медленно работают.

— А ты плетей не жалея. Корми людей мясом досыта и без жалости бей их ремнями. Они станут проворней, дело пойдет веселей.

— Развеселю!

— Ты умеешь!

В этих словах была долгожданная похвала. Еще года за три до этого, перед походом в Индию, дед приказал Мухаммед–Султану построить или обновить крепости на границах с монголами. Тогда намечался поход на Китай, и следовало на пути туда поставить передовые войска, сложить надежные припасы для войск, привести в порядок окрестные области.

Мухаммед–Султан обновил обветшавшие стены во многих городах, крепко и хорошо сложил новые надежные крепости, но дед пошел не в Китай, а в Индию, и за событиями индийского похода забылось, как быстро, в глухих степях, воздвиг Мухаммед–Султан стены из кирпича, сумел воодушевить усердных строителей, жестоко наказать нерадивых и подавить непокорных.

Только сейчас, вскользь, сказал дед те два слова, которых Мухаммед–Султан ждал три года: «Ты умеешь!» И Тимур, заметив, что внук понял похвалу, спросил:

— Что во дворце?

— Вельможи толкуют, будто вы, дедушка, вестями о Мираншахе омрачены.

— Это хорошо.

— Не понимаю.

— Пойди подтверди: «Дедушка весь в слезах. Никого не хочет видеть!» А ко мне проводи поодиночке, стороной, амира Шах–Мелика, амира Аллахдаду, Рузмат–хана. Поодиночке. А прежде пошли ко мне Улугбека. Прежде, чем приведешь амиров. Понял? И заготовь указ: амиру Мурат–хану ехать в те города, что ты строил по границе с монголами. Чтоб он проверил, целы ли там припасы, сколько их там, каковы войска.

— В припасах амир Мурат–хан не ошибется. А в войсках он мало смыслит, дедушка.

— Запасы проверит, и хорошо. Надо, чтоб он это время был подальше от сестрицы, от царевны Гаухар–Шад. Пока он здесь, ей в Герате многое слышно из того, о чем шепчутся в Самарканде. А зачем им

там все слышать?

— Вчера от него поскакал гонец с письмом в Герат.

— Когда?

— Вчера, дедушка.

— Когда, спрашиваю, после приезда твоей матери?

— После пира у царицы–бабушки.

— Сейчас же отправь надежного гонца вслед. Настичь, письмо взять! А амиру нынче ж заготовить указ: чтоб завтра до свету он выехал к северу. Ступай, распорядись.

Улугбек явился, как всегда, почтительный; кланяясь деду, стал в дверях.

— Говорят, ты искусен в письме?

— Учителя меня хвалят. Показать, дедушка?

— Покажи. И захвати побольше бумаги; будем писать.

— И вы тоже, дедушка?

— Посмотрим.

Улугбек звонко рассмеялся: дедушка, за всю жизнь не написавший ни одной буквы, вдруг вздумал писать!

Тимур нахмурился:

— Живо!

Улугбек исчез, будто его тут и не было.

Тимур, оставшись один, водил пальцем по ковру, словно записывал на тугом ворсе какие–то непреклонные свои решения: так сосредоточенно и сурово было его лицо.

Вскоре маленький царевич снова появился. Тимур увидел в его руках большой бумажник из толстой кожи, покрытой золотым тисненем. Улугбек достал свои упражнения в письме.

— Покажи–ка!

Непослушными, непривычными к бумаге пальцами старик перевертывал почти прозрачные, лощеные листы самаркандской бумаги. Страницы, заполненные черными ровными рядами строк, кое–где украшались красными пятнышками слов, написанных киноварью в знак уважения к их священному смыслу.

Бумага морщилась, когда ее перелистывал Тимур. Он переворачивал листы, царапая их коротким, толстым ногтем большого пальца, и внизу каждой страницы от ногтя оставался глубокий след.

— Где же тут ты писал?

— Это все писал я. Красиво?

— А я не знаю, что ты писал.

— Я спрашиваю, красиво ли, дедушка?

— Как я могу это сказать? Я же не знаю, что написано. Сперва надо знать смысл, тогда видно будет, красиво ли это.

— Учитель говорит, я пишу лучше Ибрагима!

— Ты слова пишешь! А смысл ты умеешь писать?

— В каждом слове свой смысл!

— Разве большой смысл пишется тоже одним словом?

— Я не знаю, дедушка.

— Ведь в разговоре иной пустяк приходится многими словами сказывать. Ты умеешь писать каждое слово?

— Умею.

— И числа?

— И числа.

— Не ошибешься?

— Я теперь редко делаю ошибки.

— Ты будешь писать здесь.

— А что, дедушка?

— Я тебе скажу. Ты будешь писать здесь. И отсюда никуда не выйдешь, пока я тебя не отпущу. Несколько дней. Ты бумаги много принес?

— Чистой?

— На которой пишут.

Улугбек неуверенно показал несколько чистых листов.

— Никому нельзя знать, о чем ты будешь писать здесь. И о том, что ты сидишь здесь, знать нельзя никому. Понял? Ты жить будешь здесь. Пить и есть — со мной. И кого б ты ни увидел, о чем бы ни услышал, сидеть тихо и молчать. Понял? Вот твое место, сиди здесь.

В это время пришел Мухаммед—Султан.

Тимур достал из-за пазухи расшитый шелковыми голубыми звездами синий тонкий платок, вытер губы и, не выпуская платка из рук, распорядился:

— Кличь их. По одному.

Вошел амир Шах—Мелик, на ходу расправляя широкую каштановую бороду, и, даже кланяясь, продолжал ее расправлять, словно от ее красоты зависело его благополучие.

— Твои войска готовы?

— Хоть сейчас на приступ, государь!

— Оружия всем хватает?

— Запаслись. Хватит. Есть новые воины, те снаряжены хуже.

— Надо, чтоб снарядились.

— У них ничего нет, чтоб купить все, что надо.

— Пускай займут у десятников. Десятники подкрепились в Индии, найдут чем помочь. В походе рассчитаются. Обуты хорошо?

— А разве пойдём на север?

— Видно будет куда. А разве к югу босыми их поведешь?

— Босыми нехорошо.

— То-то. Обуй! И сам присмотри, и тысячникам твоим вели каждого осмотреть, проверить каждого: чтоб пара сапог на ногах была исправная; чтоб пара новых, запасных, в мешке лежала. Понял?

— Понял, государь. Да вот беда: обувщики жалуются, — кож в городе нет, не из чего...

— А ты вели: пускай твои сотники, да и тысячники по кожевенным рядам походят, пускай покупают все, что найдут, пускай посулят купцам любую цену, какую бы купцы ни заломили. Пускай платят: босыми в поход не ходят. Позор тебе будет, ежели твое войско у меня на левом крыле в рваной обуше в поход двинется. Разбойники мы, что ли? Обуй и проверь: чтоб запасная пара у каждого воина в мешке лежала. Сколько б ни запросили купцы! Хороший воин в походе все расходы и долги вернет. А плохой воин из похода назад не приходит. Слышал, амир Шах-Мелик?

— Слышал, государь.

— Распишись в слышанном. Дай, Улугбек, листок чистой бумаги.

И когда Шах-Мелик написал, Тимур сказал Улугбеку:

— Прочитай, мирза, что написал здесь своей рукой наш амир.

Улугбек, видно подражая своему учителю, выпрямился и тонким от прилежания голоском начал:

— Это, дедушка, писано почерком, именуемым «насх». Однако без соблюдения знака забар над словами...

— Стой; как написано, чем писано, пропусти. Начни с того, что там написано.

— А написано...

Улугбек старательно разобрал неровный, дрожащий почерк смелого, умного военачальника.

Шах-Мелик удивился:

— В этом возрасте я еще не владел...

— Не спеши хвалить! — перебил его Тимур. — Успехи младших растут не от хвалы, а от взысканий. Так написано в одной книге из Индии.

— Вы ее читали? — спросил удивленный Улугбек.

— Тебе сказано: ты посажен сюда слушать, а не спрашивать.

И повернулся к Шах-Мелику:

— А мы тут сидим и, вот видишь, плачем.

Он поднял к глазам свой синий платок и утер узкие, горячие, сухие свои глаза.

Амир Шах-Мелик хотел сказать что-нибудь в утешение повелителю, но ничего не придумал, а говорить обычные слова не посмел.

— Недостойно ведет себя наш сын, мирза Мираншах: разрывает нашу печень злодействами, несправедливостью, бессмысленным разрушением святынь; тому ли мы учили этого несчастного! Он пограл и справедливость и милосердие, тому ли мы учили его!

Шах-Мелик стоял, сострадательно покачивая головой и участливо разводя руками. Его сочувствие было видно Тимур, и повелитель, опустив голову, махнул рукой, сжимавшей платок:

— Иди, иди... Иди, амир, поторопись, исполни, как сказано. Спрячь расписку, Улугбек; береги.

И снова поднес платок к глазам, чтобы не смотреть на поклоны своего соратника, пятящегося к двери.

Но едва амир Шах–Мелик вышел, Тимур спокойно сказал Мухаммед–Султану:

— Зови, Мухаммед.

И когда Мухаммед–Султан ввел амира Аллахдаду, Тимур снова прижал платок к глазам.

Амир Аллахдада, привыкший к железной твердости своего повелителя, растерялся, увидев Тимура в печали, от неожиданности оробел и опустился на ковер гораздо дальше от повелителя, чем полагалось.

Тимур оценил его поведение как скромность в повиновение и милостиво расспросил амира, достойно ли вооружены его воины.

Амир Аллахдада начальствовал над конницей в том десятитысячном войске, которым командовал амир Шах–Мелик. В индийском походе эта конница подчинялась Шах–Мелику, но в мирные дни всадники амира Аллахдады были независимы и подчинялись ему одному.

Эту конницу, как и любой из отрядов, Тимур мог придать к другому десятитысячному отряду, мог ее усилить новым отрядом и пустить в поход под началом самого амира Аллахдады.

— Оружия у всех достаточно? Богато вооружены?

— Достаточно, государь. Не богато, но достаточно. Безоружных нет.

— Откуда ж оружие у свежих воинов?

— Да у нас набралось в Индии; я приберег, дал свежим.

— А почему в казну не сдал? — спросил Тимур.

— Не столь оно было богато, чтоб казну загружать.

— Даром раздал?

— Почти даром, государь. Одолжил; да ведь когда они рассчитаются? Многие предстанут перед престолом всевышнего раньше, чем разделаются с земными долгами.

— А ты их оружие снова соберешь, снова продашь?

— Да зачем же оружие зря на земле валяться? Обязательно соберем!

— Так! — насупился Тимур, но спохватился и деловито поднес платок к лицу. — Так! Жаль твоих всадников, — со всяким ржавьем в бой пойдут.

— Сами же вы, государь, премудрую истину говорили: «Хорош не тот воин, что с богатым оружием в битву ходит, да с пустыми руками из битвы приходит, а тот хорош, что с пустыми руками в битву идет, да назад приходит с богатым оружием».

— И так бывает, с богатым оружием пойдут, с богатой добычей вернутся. Как в Индии с амиром Шейх–Нур–аддином [так] было; весь его отряд блистал оружием, а пошли на дерзкое племя, — вернулись, сгибаясь под тяжестью золота!

— Я помню.

— То–то. А обуты хорошо?

— Мы?

— Твои всадники.

— Конным подковы дай, а сапоги найдутся.

Тимур скрыл платком новый прилив досады. Вздохнув, он строго ответил:

— Я велю проверить: ежели у кого сапоги ветхие, а запасных в мешках нет, взыщу с тебя.

— Запасные не у всех есть, а на ногах ветхих не сыщешь.

— Чтоб были запасные! Последи! Смотри!..

Тимур, не досказав, только взмахнул рукой с платком так, как, случалось, давал знак палачу.

Амир Аллахдада, поклонившись, ожидал дальнейших указаний, но Тимур велел ему писать расписку.

— Виноват, государь: неграмотен!

— Плох тот начальник!.. — прикрикнул было Тимур, досада которого искала выхода, но спохватился, вспомнив, что и сам неграмотен.

Сердясь, он велел Улугбеку написать:

«Мне, амиру Аллахдаде, приказано: всем моим воинам иметь при себе по запасной паре сапог».

Улугбек старательно написал это самым красивым почерком.

Тимур сказал:

— Прочитай—ка!

Улугбек, как трудный урок, не без гордости прочитал написанное.

— Годится! — одобрил дед. И приказал амиру: — Приложи палец.

Улугбек макнул тростничок в чернильницу и усердно начертил большой круглый палец Аллахдады.

— Прижмите, пожалуйста! — попросил он круглолицего, круглобородого, круглоглазого, черного, как арап, воеводу.

И когда тот прижал палец к бумаге, вышла большая, круглая клякса, не имевшая никаких следов пальца. Но Улугбек вежливо похвалил:

— Как печать!

Отпустив этого амира, Тимур вызывал одного за другим воевод, кладовщиков, царских ключарей, дворцовых старост; посылал тайных гонцов проверить, хорошо ли сохранились запасы зерна в больших крепостях на юге и на западе, на путях, где могут пройти большие войска, если это понадобится повелителю.

Писали расписки; записывали для памяти показания спрошенных людей.

Кладовщиками Тимур ставил испытанных воинов, отличившихся бесстрашием и преданностью, когда вражеский меч или стрела лишали этих соратников либо рук, либо ног. Навсегда закрыв для этих мужей путь подвигов, враги были бессильны лишить их верности повелителю, и Тимур призревал тех из раненых, на кого в счастливую минуту падал его милостивый взгляд.

Ветеранам дано было право говорить с повелителем стоя, не опускаясь ни на колени, как полагалось вельможам, ни на одно правое колено, как надлежало военачальникам и барласам.

Кладовщикам Тимур приказал увязать все запасы кож так, чтоб можно было завтра же выючить их на дальние караваны.

Ключарям приказал разобрать запасы оружия и связать его, как вяжут оружейники для сдачи купцам.

С этих слуг царственного порога он не брал расписок: эти и без расписок хитрить не посмеют.

Поэтому, пока шли разговоры о складах и о запасах, Улугбек бездельничал. Ему вздумалось острым тростничком обвести восьмигранные плитки нижней облицовки стены. Одна из плиток сразу стала четче,

обведенная каймой черной туши, но, едва он принялся за вторую, тростничок неожиданно расщепился так, что зачинить его было невозможно.

Он поспешил успокоить дедушку, вскакивая:

— Ничего! Я принесу другой, я сейчас.

Но Тимур недовольно остановил его:

— Сиди!

И велел Мухаммед–Султану послать слугу к писцам:

— Пускай побольше принесет, да чтоб сказал там, что это тебе понадобилось. Тебе! Понял?

Когда тростнички были принесены, Тимур сказал Улугбеку:

— Запиши: на первом складе...

— Четыреста семьдесят два тюка! — быстро подсказал Улугбек, заметив, что старик запнулся, припоминая.

— А на втором? — сощурил глаза Тимур.

— Двести пятьдесят четыре! — так же без запинки ответил Улугбек.

— А у Бахрама под ключом?

— Триста девятнадцать?

— Памятлив! — одобрил Тимур. — Записывай, у кого сколько.

Так записали они запасы кож, и запасы оружия, и запасы одежды, и мешки ячменя, и риса, и пшеницы, и гороха, — все помнил Улугбек, ни в чем не сбился.

Но, записывая названия крепостей, где хранились большие запасы зерна, мальчик сбивался: ему легче удавалось записать фарсидские имена, чем джагатайские. Для написания джагатайских названий у него еще не было должного навыка.

— Памятлив! — присматриваясь к внуку, снова сказал Тимур.

Когда подошел час зноя, Тимур откинулся на подушку и велел принести холодного кумыса.

В конце лета в Самарканде ночи становятся холодны, а дни знойны: полуденный ветер уже не приносит с гор ни свежести, ни бодрости.

Наступили часы отдыха.

Слуг и воинов из ближних помещений отпустили. Только этих двоих внуков Тимур оставил с собой — Мухаммед–Султана и Улугбека.

На Мухаммед–Султана Тимур перенес свою любовь к незабвенному Джахангиру. Семнадцати лет умер этот сын, самый старший и единственный милый ему из сыновей. Потеряв его, он невзлюбил младших, словно они отняли душу у Джахангира, чтобы дышать самим. Он невзлюбил их, хотя они были еще младенцами, когда Джахангир лег в могилу. Они рождались от наложниц, от таджичек и персиянок, а монгольские царевны не рожали ему сыновей. Ему же хотелось оставить по себе сына ханской крови, чтобы его сын нес в себе кровь и продолжал славу двух настоящих воителей — Чингизову и Тимурову, чтоб соединились навеки эти две славы в его сыне. И лишь один Джахангир соединял их в себе. И лишь в одном Джахангире сызмалу виден был достойный продолжатель начатых дел. А теперь в Мухаммед–Султане, в нем одном, билось единым биением сердце Чингизово, Тимурово и Джахангирово. Из двоих сыновей Джахангира только он был сыном Севин–бей, внучки ордынского хана Узбека. Другой сын Джахангира,

Пир–Мухаммед, рожденный от персиянки, был умен, но не был воином. И Тимур отослал его подальше, дал ему страны на границах с Индией.

Часто, неприметно следя за Мухаммед–Султаном, Тимур вспоминал Джахангира:

— Похож!

Особенно отчетливым было сходство, когда Мухаммед–Султан, обидевшись, подавлял в себе гнев, когда, вскинув голову, нетерпеливо выезжал в битву и когда, наклонив голову, играл на бубне, вслушиваясь в рокот кожи, разогретой над костром.

А Улугбека дед любил за то, что мальчик был еще так мал; за то, что так гордо нес свое маленькое тельце мимо самых больших людей. Тимура умиляло, что мальчик все примечал, все помнил, все понимал, но скрывал это, пока вдруг где–нибудь не проговаривался, обнажая на мгновение свои сокровенные думы, радовавшие Тимура и удивлявшие своей ясностью:

— Зорек! Смышлен!

И вслед за приливом радости повелителя всякий раз охватывала тревога:

— Мал! Еще лет десять надо ждать. Не меньше!

Из остальных внуков столь же любил Халиль–Султана: любил за отвагу, за любовь к походам, за умение разобраться в битве и вести за собой воинов на любую смерть. Ведь всего год назад в Индии, когда враг поставил перед войсками Тимура строй огромных слонов, привычные ко всяким осадам воины оробели: кидаться на приступ на каменные стены крепостей было привычно, кидаться на живых, неведомых, огромных животных — страшно. Страх остановил Тимурово войско, и тогда, глядя лишь вперед, выхватив из чьих–то рук копье, пятнадцатилетний Халиль–Султан кинулся на слона и пронзил копьем его хобот, а за царевичем вслед уже мчались его опомнившиеся всадники, и слоновый заслон был смят.

Но Халиль–Султан и сердил Тимура: независимых Тимур не терпел; от него все должны были зависеть, все и во всем мгновенно повиноваться ему одному.

Он облокотился о подушку, взяв холодного, со льда, кумыса, и сказал:

— На бубне бы тебе поиграть, Мухаммед! Нельзя, — услышат. Тут не похороны и не пир, не праздник. Вели–ка позвать чтеца. Послушаем книгу.

Когда Мухаммед–Султан встал, Тимур вспомнил:

— Стой! Пускай приведут историка, который о наших походах пишет. Что у него написано?

— Гияс–аддина? — спросил Улугбек.

— Откуда знаешь?

— Бабушка ему велела учить меня.

— А... — проворчал Тимур, оскорбившись, что Сарай–Мульк–ханым не потрудились сперва спросить мужа, каким учителям обучать этого внука.

* * *

От калитки вдоль всего двора тянулся длинный мощеный ход, накрытый виноградными лозами, поднятыми на коренастых столбах.

Гроздья поспевшего винограда синими или янтарными рядами свисали над всей дорожкой. На иные из гроздей хозяин надел яркие шелковые мешочки оберегая урожай от ос и от птиц.

Мастер вел Халиль–Султана, хвалясь обильным урожаем и рассказывая, как удалось ему увеличить урожай, подкармливая корни и укорачивая длину лоз.

Но царевич не слушал мастера, хотя и поддакивал его словам кивками головы. Остановливаясь у того или другого корня, он тревожно оглядывал весь зеленый двор, водоем под сенью раскидистых деревьев, деревянную тахту, застланную полосатым ковром, заслоненную кустами роз.

Розы зацвели своим вторым за лето цветением, еще не обильным, но всегда радостным в августе, когда даже в дворцовых садах роз мало.

Но Шад–Мульк нигде не было видно.

Халиль–Султан стеснялся спросить о ней у ее отца.

Царевич останавливался, когда мастер, теща гордость удачливого садовода, объяснял, какими хитростями можно заставить розу цвести с мая до октября.

Халиль–Султан наклонялся к цветам, когда мастер предлагал убедиться, сколь различен запах между различными породами роз. Но глаза царевича не отрывались от квадратного двора, где не было его любимой, которую он привык всегда заставить здесь.

После разговора с дедушкой, когда ее с отцом проводили из дворца с честью, неся перед гостями факелы, а вслед за ними подарки и гостинцы, после того тяжелого вечера прошла целая ночь, прежде чем он смог явиться к ней.

А ее не видно. И Халиль–Султана одолевали сомнения и тревога: «Может, она так оскорблена, что больше никогда не пожелает говорить со мной!»

Но мастер ничем не выказывал ни обиды за вчерашнюю встречу, ни своего удивления богатствами Синего Дворца, ни восторга, что сам Повелитель Вселенной говорил с ним.

Это удивляло и чем–то досадовало Халиль–Султана.

«Этому нищему старику все нипочем: будто ходил на базар за дыней. Царевич входит к нему во двор, а он встречает царевича, словно к нему зашел сосед–завсегдатай; царевич сватает его дочь, а он прикидывает в уме, толков ли молодец, будет ли тороват в ремесле тиснильщика; сам Великий Повелитель допускает его к себе в дом, а он входит туда, будто в лавку горшечника; повелитель говорит с ним, а он отвечает, будто беседует с соседом по лавчонке в базарном ряду!»

И у Халиль–Султана при этом странном старике зарождались робость и стеснительность, которых не испытывал он, снисходительно говоря с начальниками десятков тысяч грозных, могучих войск или поторапливая, а то и похлестывая плеткой нерасторопных воевод перед приступом на непокорные города.

Там, чего бы он ни натворил, он мог заслониться дедушкой; здесь же все, что хотелось ему сделать или сказать, было противно дедушкиной воле, и Халиль был беззащитен и беспомощен перед этим мастером, который в своем простом и прямом деле всегда мог заслониться сотнями тысяч своих сограждан, таких же ремесленников, мелких торговцев, рабочего люда, всегда готовых поддержать товарища.

Потому и не было робости в сердце мастера; потому и не было твердости в сердце царевича.

Халиль–Султан видел черный кожаный бурдюк с кумысом, полный и влажный, подвешенный в тени над прохладной струей ручья.

На краю водоема стоял неуклюжий глиняный кувшин с надколотым носиком, лежал алый шелковый лоскуток — ее! — а ее не было.

— Розы подрезывать надо. Отцвела — и долой! Весь побег долой, — она дает на смену свежий побег. А в свежем побеге — сила; он зацветет! Однако сперва понять надо: где подрезывать? Коротко срежешь, — она не в цветы, а в рост силу отдаст; высоко срежешь, — она хоть и завяжет цветы, а соку до них не дотянет, завязь зачахнет либо расцветет мелким цветком, а в нем — ни красоты, ни благоухания.

— Да, надо знать, как срезать!.. — соглашался царевич.

— В этом все дело! — хвастался мастер, которому за всю жизнь в голову не пришло погордиться или похвалиться своим замечательным мастерством тиснильщика и которому казалась обидно малой и недостаточной любая похвала его успехам в саду. — В этом все дело! — гордо повторял он, довольный, что этому любезному юноше так нравятся возвращенные здесь цветы.

В желтой клетке из сухой тыквы громко и неожиданно выкрикнул перепел прямо над головой Халиль–Султана.

Царевич поднял голову и увидел ее!

Она собиралась слезть с дерева и узкой пяткой нащупывала верхнюю ступеньку лестницы, прислоненной к стволу.

Как рванулось тело Халиля помочь ей! Но он сдержался, ожидая, пока она сама спустится на землю.

— Груши собирает, — объяснил мастер. — Если их трясти, спелые разбиваются в лепешку. Надо снимать с веток руками, не давать им доспеть: пускай доспевают в корзине.

— Да, надо снимать руками ... — соглашался царевич.

— Про то я и говорю, — одобрил мастер юношу.

Ее шаровары не закрывали светлых щиколоток; ее ступни, спускавшиеся по ступенькам, казались выточенными индийским резцом из слоновой кости.

Став на землю, она поклонилась ему:

— Здравствуйте.

И постояла склоненная, пока он не ответил на ее поклон.

Оставила корзину с грушами подле лестницы и неторопливо ушла к пруду помыть руки.

Сомнения и тревоги в сердце Халиль–Султана не убавились при встрече с ней.

Мастер провел его к тахте и усадил на тощем одеяльце из дешевого, грубого шелка.

Вскоре она принесла медный поднос и нож с простой деревянной рукояткой. И опять ушла.

На подносе медник отчеканил купол и минареты Мекки. Грубым почерком, заменив звездами забары над буквами, он начеканил какие–то стихи, которых царевич не мог понять, ибо арабского языка не знал.

— Это из Корана? — спросил Халиль–Султан, чтобы сказать что–нибудь.

— Нет! — ответил мастер. — Это стихи Маджнуна. Был такой арабский поэт. Сошел с ума от безответной любви. Может, слышали?

— Да.

— Вот, это один его стих.

— Станный поднос, на нем изображено святилище, а стихи — любовные.

— Этот поднос у меня от деда. Дед захотел стать мусульманином и начал с того, что пошел в Мекку. Там добрые люди подарили ему этот поднос в знак поощрения раскаявшемуся язычнику. А что удивляет

вас? Это святилище священно. И любовь тоже священна.

Халиль впервые взглянул на мастера радостным, благодарным, удивленным взглядом:

— Вы сказали: любовь священна!

— Потому я и не мешаю моей дочери. А почему бы еще я не стал удерживать ее?

Радость вскипела в Халиле с такой силой, что разорвала бы ему грудь, если б он не распахнул порывистыми руками свои халаты, не открыл бы грудь свежим благоуханиям этого прекрасного сада.

— Замечательный поднос, — восхитился он, осторожно опуская его между собой и мастером, опуская так осторожно, словно медь могла рассыпаться мелкими черепками от удара о ковер.

Мастер придвинул поднос к себе, взял нож и, постукивая лезвием по отогнутому краю подноса, ждал, пока Шад–Мульк доставала из холодного ручья продолговатую зеленую дыню, обмывала ее чистой водой и несла к отцу.

— Садись с нами! — сказал ей мастер.

Она села на край тахты, не поднимая ног на ковер, словно готовая каждую минуту уйти прочь.

Она не взглянула на Халиля.

Она смотрела, как мастер умело вспарывал дыню, срезав ее концы; как он резал ее вдоль, сперва пополам, точным, сильным взмахом ножа; как вывалил семена, а потом половинку снова вдоль разрезал на две длинные четверти и потом, сеча их поперек, быстро нарезал толстые ломтики, заполнившие весь поднос.

— Это из Черной степи дыня. Кушайте! — говорил хозяин, разламывая лепешку и раскладывая ее ломти вокруг подноса.

— До Черной степи три дня пути! — удивился Халиль–Султан.

— Вам, на арабском коне, — три дня. А земледelec на осле везет эти дыни оттуда сюда неделю. Потому они и редки у нас. Наши самаркандские тоже хороши, да не столь. Эти рассыпчаты во рту, сладостны, душисты. Такие сочные плоды любят сухую степь, где даже и трава до корня иссыхает. И чем суше степь, тем сочнее в ней дыни; чем жарче зной, тем они слаще...

— Да, Да... — соглашался с хозяином Халиль–Султан, снова задумываясь о чем–то своем.

— Ну вот... Вы сидите, кушайте. А мне надо пойти докончить работу. Вечером заказчик придет. Я ему делаю бумажник. Он ждет богатой работы. Тиснить велел золотом, вытиснить арабские стихи из книги Абу–Теммама; а книга эта стара, неразборчива, ей лет двести. Но — воля заказчика; он мне и эту книгу принес. Неживые стихи.

— А вы знаете по–арабски? — рассеянно спросил Халиль.

— Наше ремесло требует. Разные бывают заказчики. Мой отец учился арабскому у деда, а я — у отца.

— Да... — рассеянно соглашался Халиль.

— Вы кушайте. Я пойду, а не то к вечеру не кончу.

И они остались вдвоем.

— Я беспокоился, хорошо ли ты провела эту ночь.

— Обидно было, — ответила Шад–Мульк.

— В Синем Дворце?

— Ваш дед глянул на меня так, будто я потерянная подкова.

— Не понимаю: как?

— Валяюсь на дороге в пыли, и всякий проходит мимо.

Халиль—Султан несмело улыбнулся:

— Дорогая моя, мимо подков не проходят: они приносят счастье тому, кто их найдет; их поднимают и уносят домой.

— Не знаю, принесу ли я счастье вашему дому.

— Конечно!

— Ваши бабки отнеслись ко мне, будто я индийская обезьяна.

— Опять не понимаю: как?

— У Тукель—ханым ручная обезьяна из Индия, Ее принесли к царице, и она сперва дала ей орехов, а когда обезьяна забила за обе щеки орехи, царица щелкнула ее по носу. Сперва ласкала, потом угощала, а под конец щелкнула по носу и велела убрать.

— Вот как?

— Я никогда не забуду, как они смотрели на меня. Как переглядывались между собой, если я брала их угощенья. А какие лакомства! Раньше я таких не видела. Я даже не знала, что такие есть. Но вино я не пила.

Он внимательно ловил и обдумывал каждое се слово, с мучительной ясностью видя весь этот длительный пир, длительную казнь, устроенную ей надменными, самодовольными царицами в порицание за дерзостную любовь к царевичу.

— Не пила?

— Нет. Боялась захмелеть. А я хотела остаться трезвее их всех. Там только ваша мать не пила. Она одна меня не обижала. Я брала из ее рук все, чем она хотела меня угостить. Потому что она печальная и несчастная.

— Почему? — с горестью спросил Халиль—Султан, хотя уже подробно знал, почему на том пиру так печальна была Севин—бей.

— Не знаю, — ответила Шад—Мульк. — Но она лучше их всех, этих цариц, сколько б их там ни было... Не будет нам счастья, Халиль.

С болью он вскрикнул:

— Почему?

— Они не отдадут вас мне.

Он сердито ответил, с угрозой:

— Отдадут!

Его брови нахмурились. Глаза замерцали недобрым огнем и сузились; он стал очень похож и на брата своего Мухаммед—Султана, и на деда своего Тимура Гурагана. Он повторил:

— Отдадут, Мы сильнее их!

— Мы?

— Дедушке шестьдесят пятый год, а мне восемнадцать. Если подождать...

Ее лицо посветлело. Она впервые за этот день взглянула ему в глаза.

— Я подожду. Успокойтесь, Халиль: я подожду.

— Мне, может быть, придется снова уйти в поход. Пройдет год; пройдет два года. Время идет, — тебе пора идти замуж. Для тебя два года — убыль. Мне старость бабушки — прибыль. Прибыль сил перед ним. А он один, остальные нам мешать не станут. Да и не смогут помешать.

— Я сказала: успокойтесь. Даже если на это уйдет вся моя жизнь, Халиль, я подожду.

Он ничего ей не смог сказать.

Он протянул к ней ладонь и посмотрел ей в глаза.

Она положила ему на ладонь свою маленькую, крепкую руку.

Не сжимая, бережно держа ее руку на ладони, он долго сидел молча, раздумывая, нет ли еще средств изменить решение деда и повернуть течение своей любви в благоприятное русло.

Она молчала, пока он не встал.

Он встал, вспомнив, что мог понадобиться деду.

Она шла, чуть отстав, но не отнимая у него свою руку, по всей длинной дорожке под виноградными лозами и гроздьями, мимо темных суковатых кольев, до калитки.

* * *

Возвращаясь к деду, счастливый Халиль–Султан ехал через базар, и конь его проталкивался через такую суету и оживление, какие в эти полуденные часы даже на самаркандском базаре случались редко.

Среди базарных завсегдатаев, купцов и покупателей, виднелись пешие и конные воины, военачальники, дворцовые старшины, — столько всюду толпилось людей и все были столь возбуждены, что даже проезд царевича не прервал их криков и говора. Даже перед ним расступались нехотя и, едва с надлежащими поклонами пропустив его, снова спешили друг к другу, продолжать свои дела.

Под навесами торговых рядов виднелись сотники, окруженные торговыми людьми. Хотя на базар редкие из сотников или тысячников вышли в шлемах, но по косам, свисавшим из–под тюбетеек или высоких шапок, по серьгам в ушах сразу узнавались воины; а окружали их круглые шапки или синие чалмы купцов.

Купцы вели с воинами какие–то споры, взмахивая руками, будто призывали пророка в свидетели, что говорят правду.

В одной из ниш большого караван–сарая длинный, костлявый старик в темном купеческом халате, окруженный несколькими воинами, кричал им:

— Если б был товар, о братья! Если б был!..

В полутьме тесных кожевенных рядов столпилось столько возбужденных людей, что сопровождавшая Халиль–Султана конная стража с трудом расчищала ему проезд, оттесняя народ конями, бессильная перекричать гул говоривших и споривших людей; все толпились среди улицы, а лавки зияли темной пустотой и на полках в их глубине не было видно никакого товара.

В других рядах оказалось безлюдно и тихо. Купцы дремали возле груд всякой всячины, чем каждый из них торговал; покупателей почти не было здесь — все, кто был любопытней, ушли в Кожевенный ряд, и ни через Гончарный, ни через Шелковый, ни через Медный ряд никто не мешал всадникам ехать рысью.

Так доехал Халиль–Султан до Синего Дворца и пошел к деду.

Едва он вошел, Улугбек приложил палец к губам:

— Тихо!

Дед слушал чтеца, и Халиль–Султан тихо опустился на ковер, украдкой придвинул к себе подушку и, облокотившись, вслушался. Гияс–аддин читал свое описание похода в Индию:

— «Хвала Повелителю, — да возвеличится его имя и да восславится упоминание его! — который в то счастливое время ввел Землю в могущественный завиток Човгана...»

Халиль–Султан не понял, что это за завиток, в коем вся Земля уместилась, и взглянул на братьев. Мухаммед–Султан тоже, видно, не понял. Но маленький Улугбек сидел, не отрывая от чтеца глаз, и вникал с явным восхищением в изысканные, витиеватые завитки этой выпренной речи.

— «И бог сделал все пространство Земли полем для прогулок его царского, чистокровного коня, превознесенного до небес счастья...»

Тимур слушал внимательно, слегка покачиваясь вслед за размеренными словами чтеца.

— «Он насаждал правосудие и в распространении справедливостей превзошел всех властителей мира, в назидание всем опустошителям мира, сорвав пояс отваги с самого Марса...»

Тимур слегка покачивался вслед чтению, а Гияс–аддин славословил Тимура.

Историк, как соловей, запрокидывал голову и закрывал глаза, когда прерывал восхваление чтением стихов, долженствовавших передать чувства, какие он бессилён был выразить словами историка.

До описания битв в Индии Гияс–аддин еще не дошел, повествуя о прежних походах завоевателя.

Тимур насторожился, когда историк прочел:

— «...по океанским волнам, смывшим с небесного свода венец угнетения, прошла успокоительная рябь по океану крови, ибо те, что надменно попирали ногами землю, были втопты в землю копытами его коней. Всюду, куда ни устремлял он свои победоносные знамена, его встречали на конях Победа и Торжество. Он грозным ураганом причудливой Судьбы сметал с лица земли жилища и достояние врагов, кидаясь на поля кровопролитных битв и на луга охот за жизнями.

Солнце скрылось в тучах пыли, поднятых им; звезды содрогались от подобного молниям блеска его подков».

Тимур спокойно покачивался вслед за славословиями Гияс–аддина, как покачивался бы, подтверждая слова Корана, если бы читалась не история, а Коран.

Гияс–аддин читал:

— «Воины, как волны, гонимые ураганом ярости, пришли в волнение и, обнажив свои, подобные месяцам, сабли, кинулись сносить головы, а своими сверкающими, как алмазы, кинжалами принялись исторгать жемчужины жизни из заблудших людей...

И столько пролилось крови, что воды реки Зинда–Руда вышли из берегов. Из тучи сабель хлынул такой дождь, что от потоков его нельзя было пройти по улицам Исфахана...»

Тимур опять замер и нахмурился. Но Гияс–аддин не заметил этого и восторженно продолжал:

— «Речная гладь блистала от крови, как заря в небесах, как алое вино в хрустальной чаше... В городе Исфахане из трупов нагромодили высокие горы, а за городом сложили большие башни из вражеских голов, высоту своей поднявшие выше городских зданий».

И, в упоении вскинув руку, как певец, Гияс-аддин закончил эту часть стихами:

Меч кары там, как леопард, ходил:

И смерть раскрыла пасть, как крокодил...

Тимур сидел хмурясь, но не прерывал историка.

— «После сего его высочайшее стремя двинулось на Шираз. От пыли, поднятой конницей Измерителя Вселенной, почернел воздух Фарса, а Небо испытало ревность к Земле, ибо она целовала копыта Повелителя!..»

От грохота барабанов,

От рева труб боевых

Покачнулись вершины

Каменных гор вековых!..»

Тимур успокоился, но больше не покачивался и внимательно слушал.

— «От Солнца божественной помощи рассеялся мрак битвы, и Тохтамыш со своим воинством вцепился рукою слабости в подол бегства и принялся быстро измерять ковер Земли...»

Улугбек засмеялся, но зажал ладошкой рот, едва встретил строгий взгляд деда.

— Дедушка! Как убегали ордынцы, это правда?

Дед был недоволен, что ему помешали слушать, но ответил:

— Еще бы!

Гияс-аддин небрежным, но плавным движением руки закинул за спину свесившийся конец чалмы и низко поклонился Тимуру, державшему опустевшую чашу:

— Дозволено ли продолжать, о государь?

— Читай.

— «Много ангелоподобных тюрчанок и луноликих красавцев, игривыми глазами взиравших на кровь своих возлюбленных, попали в силки плена; и желания победителей насытились».

К этому историк добавил стихи о том, что, хотя и отважен молодой олень, ему все же не следует сталкиваться со львом.

Гияс-аддин торжественно поклонился Халиль-Султану. Царевич, отслонившись от подушки, сел прямо, не умея скрыть своего беспокойства и волнения; историк, памятуя любовь повелителя к этому отважному внуку, написал о Халиль-Султане:

— «Он окунулся в кровопролитные битвы и водовороты Смерти.

В одной из битв враг выставил ряд могучих, огромных, страшных, как Океан, слонов. И тогда Халиль-Султан, повернувшись к врагу, выхватил саблю и кинулся на слона, подобного горе, свирепого, истинного дьявола по нраву а гнусного, как черт; хобот его, будто клюшка при игре в поло, подхватывал, как шары, головы человеческие и уносил их в небытие...»

Улугбек прервал чтеца:

— Дедушка! А вы говорили: Халиль ударил слона пикой.

— Видишь, Мухаммед старший из всех вас, а не мешает нам слушать.

Но Улугбек добивался истины:

— Ведь я только спросил!..

Тимур повернулся к Халиль—Султану:

— Скажи ему сам — как?

Халиль—Султан, досадуя, что прервалось чтение того места, где написано о нем, пожал плечами:

— Право, не помню. Да и не все ли равно?

Тимур кивнул чтецу, и Гияс—аддин снова склонился над книгой:

— «История не знает случая, чтобы в какие бы то ни было времена, какой бы то ни было царевич, в расцвете юности своей, решился бы на подобный подвиг и тем вписал бы на странице дней и ночей славу имени своего и своей чести!..»

С шести сторон Неба слышится пророчество, что под сенью своего деда, могущественного, как небесный свод, под милостивым взглядом своего счастливого отца...»

Тимур выронил или отбросил чашу, стиснув кулак при этом мимолетном напоминании о Мираншахе.

Улугбек быстро подхватил чашу, откатившуюся в его сторону, и, ставя ее на место около кувшина с кумысом, сказал:

— Ничего, дедушка, она не разбилась.

А Гияс—аддин, не заметив выпавшей из рук повелителя чаши, не услышав слов маленького царевича, продолжал славить Халиль—Султана:

— «Он добьется осуществления своих желаний, пойдет стопами счастья по широкой дороге благополучия...»

Халиль—Султану стало легко от этих слов; он сразу уверовал, что пророчество историка нерушимо и непременно сбудется: ведь Халиль—Султану было так необходимо осуществление того желания, которое во весь этот день жгло его, томило, наполняло счастливыми предчувствиями.

Царевич сидел, не вникая в дальнейшее чтение, погруженный в радостное раздумье, мечтая, готовый по единому слову своей Шад—Мульк кинуться и сокрушить, как индийского слона, любое препятствие на пути к их союзу.

Халиль—Султан очнулся от своих мечтаний, лишь когда Гияс—аддин столь же почтительно, как прежде ему, поклонился Улугбеку:

— «В том походе участвовали: Высокая Колыбель, Балкис своего времени и своего века, убежище и заступница Всех цариц мира — Сарай—Мульк—ханым, — да приумножится ее величие и да славится во веки веков ее целомудрие!

И победоносный царевич всего человечества, божий блеск, именной перстень царский, рубин из копей безграничного счастья, царевич Улугбек—бохадур, — да длится его власть и слава!..»

И сколь ни желалось Повелителю Мира видеть их при себе в этом походе, сколь ни тягостной казалась ему разлука с ними, со светом своих очей, с плодом своего сердца, но Повелитель Мира опасался, что зной Индии — сохрани господь! — повредит благословенному здоровью Улугбека. И Повелитель предпочел стерпеть боль разлуки, но не прерывать священной войны...

Благочестивая ревность о вере заставила Повелителя подавить любовь к Улугбеку и оставить его. Но как бы далеко ни оставался внук от ставки своего деда, он всем своим существом, всем обликом своим

всюду предстоял перед духовным взором Повелителя в его ставке во все время похода...»

— Правда, дедушка? — с любопытством спросил Улугбек.

Тимур снисходительно, подавляя в себе нетерпение, кивнул:

— Еще бы!

А Гияс-аддин продолжал:

— «В среду 25 сафара, в полдень, Великий Повелитель достиг крепости Батмир...

Правителем и военачальником в ней был раджа Дульчин...

Гордясь неприступностью крепостных стен и численностью своих войск, раджа вытащил голову из ярма повиновения, а шею — из ошейника покорности. Могущественное войско Повелителя двинулось на него.

На правом крыле шли амир Сулейман-шах, амир Шейх-Нур-аддин и Аллахдада; на левом — царевич Халиль-Султан-бохадур и амиры.

Было перебито множество темнолицых защитников крепости, у коих в головах дул ветер дерзаний. Была захвачена большая добыча, но в захвате крепости случилась задержка, и от Повелителя воспоследовал мирозавоевательный приказ: «Каждому амиру надлежит напротив своего стана копать подкоп и подвести те подкопы под городскую стену»...

— Это правда: такой приказ был! — сказал Тимур, кивнув историку.

Ободренный этим, Гияс-аддин выпрямился; от воодушевления кровь прилила к его впалым щекам, и голос его зазвучал громче:

— «Когда осажденный раджа понял, что сопротивление бесполезно, от ужаса в голове у него закипели мозги, желчь закипела в груди, он сошел с пути своеволия, избрав смирение и слезы средством своего спасения, умоляя Повелителя смыть его грехи со страниц жизни чистой водой милосердия и прощения, зачеркнуть чертою пощады его проступки и провинности.

В пятницу 27 сафара раджа Дульчин выехал из крепости, сопровождаемый шейхом Саад-аддином и Аджуданом, прибыл в ставку Убежища Вселенной, удостоился поцеловать ковер Повелителя, преподнес охотничьих соколов и три девятки коней под золотыми седлами. Царевичам и амирам он также подарил лошадей. Ему были оказаны царские милости и снисхождения, подарены одежда из золотой парчи, золотой пояс и венец».

— И помирились? — спросил Улугбек.

Тимур покосился на беспокойного внука, но промолчал, а историк, торопливо улыбаясь, не без жеманства подмигнул:

— О, еще нет! Соблаговолите слушать дальше:

«Всякая тварь, одурманенная гордыней и беспечностью, если даже кончиком волос своих выйдет из повиновения и воспротивится воле счастливого, могущественного Завоевателя, она останется без дома, без имущества, без тела и души.

В той крепости много было гордецов, головы коих столь возвысились, что макушки их терлись о небесный свод; много было оголтелых смельчаков, вознесшихся в своей заносчивости до луны и созвездий; также и среди жителей оказалось множество идолопоклонников, безбожников, заблудших людей, и огонь царского гнева запылал.

Воспоследовал мирозавоевательный указ войскам вступить в город и поджечь все здания...»

— Был указ! — подтвердил Тимур.

Халиль—Султан невольно кивнул головой: он тоже был при том — ведь еще и года не прошло с тех пор!

Гияс—аддин продолжал:

— «Жители—идолопоклонники сами предали огню своих жен, детей и все свое имущество; жители—мусульмане сами зарезали своих жен и детей, как ягнят, и оба эти народа, неверные и мусульмане, как единый народ, соединившись, решились на отчаянное сопротивление могучему воинству Повелителя. Они стали подобны могучим тиграм и слонам, крепкие, ожесточившиеся сердцами, как леопарды и драконы, железные сердцем; и на них кинулось могущественное войско Повелителя Мира, подобное страшному наводнению, разъяренному Океану. И пламя битвы поднялось высоко кверху...

Десять тысяч злобных врагов было сметено в водоворот несчастья, сгорело в пламени битвы...

Воспоследовал мирозавоевательный указ, во исполнение коего все было разрушено, опустошено, стерто с лица земли так, что ни от людей, ни от города не осталось никаких следов».

Тимур нахмурился и смолчал об этом указе.

— «Ты сказал бы, что тут никогда никто не жил; что никогда не было и не могло тут быть не только дворцов, но и хижин...»

И в оправдание происшедшего Гияс—аддин прочитал стих из Корана:

— «Хвала аллаху... К нему — возвращение; в нем — конец всему сущему».

Затем Гияс—аддин распрямился и продолжал:

— «Все, что было захвачено, из золота, серебра, лошадей, одежды, Повелитель соизволил пожаловать войскам».

Гияс—аддин, видно, устал читать: он разогнулся над книгой, положенной на черную, украшенную перламутром подставку, и отпил кумыса из чаши, давно стоявшей у него под рукой.

Но Тимур задумался, молча сощурился, словно припоминая что—то, или провидя нечто предстоящее, или просто обдумывая только что прочитанную часть книги.

Он молчал, пока историк небольшими глотками, вежливо улыбаясь то одному, то другому из царевичей, пил кумыс. Однако, едва Гияс—аддин поставил на ковер опустевшую чашу, Тимур в раздумье сказал:

— Так смотрят на нас, когда мы идем.

Гияс—аддин не понял, как надлежит истолковать эти слова повелителя, но не решился просить разъяснения, перевернул страницу книги, заглядывая вперед и выжидая, не скажет ли повелитель еще чего—либо.

Но Тимур только кивнул ему:

— Читай.

И Гияс—аддин читал дальше.

Он дочитал до того места, где войска Тимура собрались в поход на Дели:

— «Царевичи и амиры покорнейше доложили Повелителю, что от берега реки Синда до сего места взято в плен около ста тысяч индусов, безбожных идолопоклонников и мятежников, кои собраны в лагере.

Памятуя, что во время битв они душой и сердцем склонялись в сочувствии делийским

идолопоклонникам и что им может взбрести в голову напасть на победоносное войско, дабы присоединиться к тем дельским идолопоклонникам, воспоследовал мирозавоевательный указ Покорителя Мира, чтобы всех индусов, захваченных войском...»

Гияс–аддин никак не мог перевернуть страницу. Слиплись ли листки, или его палец соскальзывал со страницы. Улугбек заметил испуг в глазах историка, страх, что эта заминка разгневет повелителя, но Тимур сказал:

— Правильно. Так и надо. Это ты верно сумел объяснить, зачем я приказал их убить.

— Страница сто девятая! — заметил Улугбек.

Гияс–аддин, поклонившись в благодарность за одобрение, перевернул лист и продолжал:

— «...убили. Из их крови образовались потоки:

Поток кровавых волн

Потек со всех сторон;

Под самый свод небес

Всплеснулись гребни волн!

Из придворных богоугодный мавляна Насир–аддин Омар, храбрость коего до того проявлялась лишь в отличном знании стихов Корана и четком изложении богословских изречений, наметил себе десятерых пленников. И он, дотоле даже ни единой овцы не зажавший, в тот день поспешил исполнить приказ Повелителя и всех десятерых индусов собственноручно предал мечу борцов за веру...»

— Так! — встрепенулся Тимур и прервал историка. Он одобрительно кивнул Гияс–аддину: — Ты хитро объяснил, почему мне пришлось их убить.

Он помолчал, обдумывая все читанное историком. Лицо его снова нахмурилось.

— А зачем написал, что я их убил? Вначале ты написал, что я убил жителей одного города; потом — другого; потом опять, об избиении жителей. Это было наказание, а не избиение. Мы сжигали города, мы наказывали жителей, но не это было нашей целью в походах! Потом об этих пленных... Зачем?

Гияс–аддин бормотал, оправдываясь:

— Я ведь по вашему повелению, о великий государь! Я взял за основу записи Насир–аддина Омара, ибо вам было угодно заметить, что те записи показались вам слишком краткими! Поелику прежде я был погружен в изучение богословия...

Тимур строго сказал:

— Когда повар готовит обед, у него и нож и руки бывают в крови и в сале. А судят о поваре по кушанью на блюде, а не по крови на его ноже! А?

Гияс–аддин поспешил восхититься:

— Истинно так, о великий государь!

— То–то! — успокоился Тимур. — Лучше пиши о боге. О вере! Незачем твоему высокому уму падать в земную пыль.

Гияс–аддин ничего не находил ни в оправдание себе, ни в объяснение своей книги.

Тимур, не снимая книги с подставки, закрыл ее.

— Оставь нам свое сочинение: мы дочитаем его... потом.

Гияс-аддин, не решаясь больше прикоснуться к своей книге, отодвинулся от нее.

Не сводя с нее глаз, встал, и непонятно было кому, повелителю или этой своей книге, так низко-низко он поклонился, прежде чем выйти отсюда навсегда.

Тимур приказал Улугбеку убрать книгу, а Халиля послал распорядиться, чтобы слуги несли обед.

— Будем судить о поваре по кушанью на блюде! Понял? — сказал он Улугбеку.

Мальчик бережно вкладывал искусно переплетенную книгу в шелковый чехол, оставленный историком вместе с книгой, и промолчал.

Во все это время придворные еще толпились на переднем дворе и на крыльце, ожидая, не утихнет ли печаль повелителя и не призовет ли он их к себе.

Но их он не звал.

Он велел провести к себе армянского купца Геворка Пушка, ожидавшего своего времени где-то на задворках Синего Дворца.

Девятая глава

КУПЦЫ

В тот предрассветный час, когда Мухаммед–Султан еще мылся на краю своего восьмиугольного водоема, со всего города уже спешили к базару торговые люди, купцы, перекупщики, ремесленники.

Спешили, пробегая по тесным щелям глиняных переулков, пересекая перекрестки, где над водоемами склонялись деревья и взлетали горлинки.

Бежали мимо мечетей, где верующие уже ждали призыва к первой молитве.

Спешили к своим лавчонкам, чтобы, наскоро обменявшись приветами или, с нарочитой медлительностью, почтительными поклонами, поскорей взглянуть на товары, разложить их к началу торговли, поделиться с соседями новостями и мнениями о минувшей ночи, обсудить виды на предстоящий день.

Минувшая ночь всех взволновала. Даже и те, кто безмятежно проспал все голоса и суету этой ночи, даже и они уже знали: в Синем Дворце что–то случилось, был там совет до утра, куда–то мчались гонцы оттуда, огни пылали там всю ночь...

Говорили: какой–то оборванный чужеземец кричал у городских ворот, требуя допуска к повелителю. Но никто не знал, что за человек это был и откуда, — оставалось лишь гадать и догадываться. И каждый гадал по–своему, и каждый придумывал всему этому такое объяснение, от которого одних обуревала радость, а других пробирала дрожь.

В базарных рядах, кроме хозяев, еще никого не было, — даже караульные еще только поднимались с ночных подстилок, поеживаясь от утренней прохлады, позевывая, потуже запахиваясь в свои латаные халаты. Купцы шептались друг с другом, отводя собеседника от любопытных ушей в сторонку.

Каждый торопился разгадать, думая не столько о том, что миновало ночью, сколько о том, как откликнется эта ночь на дневных делах. А когда человек торопится с разгадкой, редко она дается человеку: трудную задачу легко решать в покое, а в суете и к легкой задаче не подберешь ключа.

— Человек ночью стучался в город. Стражи не хотели пускать, да пришлось: он этакое шепнул, что пришлось!

— А по виду что за человек?

— Сказывают, ничего не разберешь: весь волосат, под волосами — ни лица, ни голоса — ничего! Взяли его, допустили к самому повелителю. А человек тот весь ободран, весь в крови! И началось! Оттуда — гонцы; туда полководцы. Огни пылают; кони ржут; боевые трубы...

— И трубы трубили?..

— Ой, право, не знаю. Не слышал.

— Да вы же сказали!..

— Я?

— Что же, мы ослышались, что ли?

Третий мрачно прошептал:

— Трубы, — значит, война!

— Я не говорил «трубили»! — оробел рассказчик и уже косил глазом в сторонку, чтобы шмыгнуть

прочь от опасного разговора.

Шептались и в другом закоулке:

— Утешение Вселенной, государь наш, всю ночь учил своих воителей. Учил, учил! И решили: отправить огромные караваны, множество нашего товара, в дальние края. И есть слух: будут из нас, из купцов, избирать, кому с теми караванами ехать. А кто поедет, назад вернется весь в жемчугах, весь в золоте. Там золото нипочем, там из него подковы куют, там из него колеса на арбы ставят. А деньги там — железные и кожаные.

— Да где же это?

— Там, куда караваны пойдут.

— А куда? Куда пойдут?

— Ну, это... — Рассказчик делал немое лицо в знак того, что на такой вопрос он отвечать не смеет, — сам, мол, если смекалист, смекай.

И собеседник, чтобы не потерять достоинства, делал вид, что и сам смекнул: дело ясное!

В третьем закоулке говорили:

— Колчан Доблестей, государь наш, задумал поднять торговлю нашу превыше прежнего. И ныне так торгуем, как дедам нашим и не снилось, а впредь станем много выгодней торговать. И ныне налоги с нас, против былых времен, скинуты вчетверо...

— Ну, братья мои, хотя и не вчетверо...

— Вам сколько ни скинь, все мало! А нонче ночью решили еще скостить.

— Это зачем же?

— Затем, что небывалые товары сюда идут, небывалые покупатели едут!

— С товаром или за товаром? И что означает оборванный гонец?

— Ночной? А разве это гонец?

— А кто?

Тогда третий собеседник объявил:

— Я у самых ворот живу. Стражи сказывали: это известный полководец.

— Наш?

— А чей же?

— Значит, наших разбили? Значит, враг появился?

— Как так?

— Если сам полководец явился в таком виде, в ночной час, всякий понимает: разбили все его воинство, один он уцелел и, чтоб его не поймали, днем скрывался, ночью скакал. Вот и доскакал с известием.

— Похоже на истину...

— Когда же это было, чтобы наших разбивали!

— Не вражеский же полководец к нам прискакал, — он к своему царю поскачет.

— Похоже на истину, братья мои. Подумайте: пропустят ли простого человека сразу к Прибежищу

Угнетенных? А этого сразу пропустили. И когда? Среди ночи! Когда смиренный сын своего кровного отца не решится пробудить; а тут Самого разбудили! Похоже на истину!

— А что за человек это был?

— Ростом очень высок. Глаза в крови. Голос как труба. Весь в кольчугах. Мечи сверкают. Стражи разглянули, узнали, разом ворота настезь: въезжай скорей!

— Значит, война?

— Этого я не сказал. Об этом говорить...

— Вы говорили, около ворот живете...

— Около самых ворот Шейх-заде.

— Да он-то ведь въехал через ворота Фируза... Это в другом конце города! А говорите «война»!

— Не сам я слышал! Слух такой был: я слышал от тех, кто от стражей слышал...

— Хорошо, когда поход отсюда, когда война отсюда в другие земли идет. И торговать веселей, и каждый день — новости. И редкие товары дешевле купить, а ходовые можно подороже сбыть.

— Тут, братья мои, не то! Тут другое: этот сюда примчался; не сюда ли она идет, война? А? Не сюда ли, братья мои? Надо б заранее разведать: ведь это не одно и то же — отсюда туда ходить или она отсюда сюда придет. А?

— Кого же повелитель наш сюда допустит!

— А когда это было, братья мои, чтоб враги допуска спрашивали? Надо им, они и пробиваются.

— До нас не пробьются. У нас базар большой. Не жирно ли им будет на такой базар пробиться?

— Надо выведать, братья мои. Может, закопать лишнее, прибрать. Может, и самим заблаговременно от этих мест в тихие горы съездить?

— А может, какие особые товары понадобятся? Вдруг да великий спрос начнется! Я так понимаю: надо товар готовить, чтоб под рукой был. Просмотреть его, освежить, разобрать; насчет цен промежду собой накрепко уговориться. И прочее.

— Я уговориться не прочь, братья мои. Да как? Ведь цена станет по спросу. Сперва надо спрос узнать. Да и то понять: кто покупает? С денежного покупателя — один запрос; с худого — не запросишь, если хочешь продать.

Подожли другие купцы, опоздавшие к началу беседы:

— Слыхали?

— А что?

— Около Аму-реки, на переправе, из Индии...

— А что?

— Караваны шли? Несметную добычу везли? Нету тех караванов! Тю-тю!

— Как, как?

— Охрана была превеликая. А ото всех уцелел один воин. Едва добрался, кричит: нету караванов. Захвачены!

— Кем же?

— Несметные калмыцкие орды. Нахлынули из Кашгара.

— Кашгар — одна сторона. Индия — другая.

— Достигли наших переправ. Перехватили путь из Индии. Теперь наши собираются, пойдут навстречу, Самарканд заслонять. Чтоб до нас — сохрани бог — не добрались.

— Говорил я, братья мои! Что ж делать?

— Не спешите. Откуда слух?

— Моего зятя брат в Синем Дворце — писцом. А тому писцу воин сказывал. А тот воин у самого повелителя ночью на страже стоял.

— Ну, братья мои, похоже на истину!

Но тревоги истекшей ночи еще лишь начинали расти на благоприятной базарной земле, вытопанной за тысячу лет не только подошвами купцов и покупателей, но и сапогами завоевателей.

Кого только не побывало на самаркандском базаре за тысячу лет! Уже позабылись имена тех народов, что лили свою кровь, пробиваясь сюда, чтобы лить здесь кровь самаркандцев. Сколько раз за тысячу лет оказывалось могущество Самарканда попраным, стены разбитыми, люди погубленными, сокровища расхищенными!

Ведь и сам Тимур начал с того, что вместе с амиром Хусейном ворвался в Самарканд, держа кровавый меч над головой, а разговор с народом самаркандским начал казнями, нарушением своих клятв, расправой с людом ремесленным, но понравился купцам беседой с людом торговым. А не договорись он с купцами, не домысли великой своей выгоды от той договоренности, и напилась бы утопанная земля базара кровью тех, кто ее утоптал.

— Чего же еще ждать, братья мои?

Но шепоты и разговоры смолкли: с мечетей позвали народ к молитве и подошло время, помолившись, торговать.

Кто был ревностнее, отошли от торговых рядов к мечетям, расстелили свои коврики или платки в тесных рядах молящихся. В недолгое время, пока мулла не возгласил славословия аллаху, пошли со своими чашами и скорлупами дервиши по рядам мусульман, опустившихся на колени в ожидании начала молитвы. Пошли, ступая пыльными босыми ногами по молитвенным коврикам и по чистым платкам, собирая подаяния. Все кидали им, кто что мог; не примечая пыльных следов на разостланных чистых платках, куда предстояло прикладываться лбом на молитве: ступни дервишей священны и след их — след праведников.

Протяжные трубные возгласы мулл возносились перед рядами молящихся, а каждый, стоя на коленях, падая ниц, бормоча молитву, думал свое:

«Господи, господи, вразуми; не дай оплошать рабу твоему; просвети, дабы не проглядеть мне выгоды своей; поспособствуй мне, смертному, достичь корысти своей; грешен, грешен, — ты один, господи, велик и многомилостив!»

И, расходясь с молитвы, все еще бормотали, как молитву:

«Как бы не оплошать; как бы не прозевать...»

А в харчевнях уже сидели завсегдатаи, ждали, пока поспеют пирожки и лепешки, испечется конина, прожарится баранина. Присмотрев незнакомых посетителей, разведывали, что за человек и откуда.

Приметили: много в то утро показалось на базаре людей из Синего Дворца, — прохаживались по

рядам, заходили в харчевни. Были тут и дворцовые писцы с медными пеналами за поясом, и посыльные в круглых шапках из красных лисиц, и других званий дворцовые слуги.

Купцы с этими людьми осторожно затевали разговоры, в харчевнях присаживались к ним поближе, рассчитывая выведать новости о происшествиях в Синем Дворце:

— Что-то нынче ночью по городу езда была; здоров ли государь наш, Колчан Доблестей?

— Езда? Была. Послы прибыли. О торговле договариваться. О прибылях толковать.

— А чего ночью, дня им мало?

— Государственное дело.

— Так, значит, послы?

— Послы.

— Любопытно бы знать, откуда?

— От великих султанов и владык.

— Каких же товаров ждать?

— Разных.

— А любопытно бы знать!

— Не приказано оглашать.

И так по всем харчевням, по всем закоулкам, где бы ни спросили дворцовых людей, всем любопытствующим был один ответ:

— Прибыли послы. Ожидается большая торговля. Какие товары закупают, какие сюда везут — не приказано оглашать.

Эта весть отмела, как мусор, все остальные слухи. Но купцам не стало легче: надо было разгадать, какие товары придержать, что надо поскорей сбыть. Знать бы, откуда послы, куда повезут свои закупки, видно было бы, чего в тех странах не хватает, какой товар бывал там в прежние годы, на какие здешние товары зарятся тамошние купцы. А потому первое дело — узнать, откуда прибыли послы. Они въехали в город в ночной тьме и словно растаяли к утру, вместе с ночными тенями.

Нехотя, без обычных бесед и напутствий, даже без обычного запроса, продавали купцы товар мелким покупателям: бери щепотку черного перца, драгоценного, как золотой порошок, бери чашку соли или ложку баранины и уходи, не мешай купцам беседовать о большой торговле.

Даже горшечники и сундучники призадумались, будто польстится Китай на глиняные горшки или Египет на пустые сундуки самаркандские.

А может, от христиан послы? Из городов Рума, из Генуи или Венеции, с теплого моря. А может, навезут драгоценную пушнину из Москвы? Навезут золотых соболей, черных лисиц, голубых белок, белых горностаев по сходным ценам. А те меха закупить бы тут разом, а потом везти на юг и на запад, где на этот русский товар, на меха, дадут золота вдвое больше, чем весят сами меха; жаркие, пушистые, в руках они дышат, как живые; к ним прикоснешься, ласкают, как девушки; к ним принюхаешься, — кедровым орехом пахнут или жареным миндалем; на воротник их положишь, — они любой шелк затмевают, любой бархат с ними рядом домотканиной кажется.

Давно Самарканд заглядывается на эти товары. Бывало, возили их москвитяне по Волге до Астрахани, а оттуда — на Хорезм, с Хорезма на Бухару, — старая дорога, проторенная. Да перехватила ту дорогу

Золотая Орда: только и торговля теперь у нее — закупать товар в Москве либо в Новгороде да перепродавать в Самарканд.

Разбив золотоордынского Тохтамыша, пошел было Тимур дальше, за московской пушниной, повел на Москву свое непобедимое воинство, да дорога на Москву оказалась длинна, темными лесами загорожена, непроглядными метелями завешена, вьюгами, порошей запорошена дальняя Москва.

И остановился Тимур в Ельце. Тут проведал, что уже вышли на него рати московские, идут с пением воинских песен, несут впереди ратей святыню, с коей за десять лет до того на Куликово поле выходили, когда Золотую Орду растерзали булатом мечей тяжелых, затоптали копытами северных коней.

И повернул Тимур назад. И ушел. И с тех пор только косил в ту сторону прищуренными глазами, и даже память о том, как уходил из Ельца, приказал истребить.

Но памятью о железном госте остались в Русской земле доспехи непобедимого воинства. И века спустя плуг пахаря там или сям вывернет из широко раскинувшихся тучных пашен то джагатайскую кривую саблю, смешавшуюся с истлевшими костями, то позолоченный шлем на Орловщине, то самаркандского чекана стремя под Курском.

А если с Москвой не воевать, отчего б с ней не торговать?

Ведь целы в летописях и описи товаров, привозившихся из русских городов в Хорезм за сотни лет до Тимура; целы описи товаров, потребных русским, закупленных лет за триста до того в Хорезме; уцелели имена купцов, ездивших до Астрахани из Хорезма и приезжавших из Астрахани в Хорезм. Нынче стеной стала поперек той дороги Золотая Орда. Но договорись с Москвою Тимур, — прахом рассыплется Орда, как гнилые ворота; сразу раскроется сквозной простор от Индийского океана до берегов Балтики, до Варяжского моря; протянутся торговые пути от Инда и Ганга до Западной Двины; встанут караван-сарай под сенью берез и сосен; зазвенят колокольцы караванов над рекой Волховом!

Не мечом расчищать надо ту дорогу — меч иступится о такую даль, — не мечом, а кошелем; не копытами конницы ее утапывать, а мягкими подошвами купеческих сапожков. Ведь не зря Тимур, как своих воинов, берег самаркандских купцов. Воины захватывали ему добычу, купцы обращали добычу в золото, приумножали ее стоимость во много крат. А чем дальше везешь товар, тем он дороже становится.

И многие из купцов, хаживавших в Сарай ордынский, переглядывались:

— О, если б эти послы да были б послами московскими!..

Но слух о послых заслонился новым слухом.

Позже прежних дворцовых людей показались поодиночке другие, оттуда же, из Синего Дворца. От этих стало известно, что, может, и прибыли послы, да не затем ли, чтоб договориться о совместном походе? Звать в поход на север, на Китай, на Хотан, через холодную землю. Что для того похода ладят закупить в Самарканде запасы кож, сколько б ни предложили им, почем бы ни запросили.

И опять, как незадолго до того, из уст в уста пошло гулять по всем лавкам, по всем караван-сараям, по всем рядам, по всем чуланам тревожное слово — «кожа». Покатилось слово по базару, и купцы уныло расступались перед ним, давая ему дорогу; золотом звенело оно, барыши и прибыли оно в себе таило, а в руки никому не давалось, да и не было рук, чтоб по-хозяйски к нему протянуться: нигде не осталось кож.

И еще знатней стало это слово к полудню, когда показались в кожевенных рядах знатные военачальники — тысячники, а за ними сотники. Спрашивали сапогов, льстили на скудные кожевенные остатки, предлагали мастерам большие, доходнейшие заказы на обушу для войск, давали цену, какую ни запросили.

Купцы, опустив руки, стояли, прислонившись спиной к стенам, безучастно глядя на такой приступ покупателей.

— Видали? Теперь ясно: к северу пойдут!

— Ясно!

— Теперь кожу им только давай. Теперь бы...

— А где ее взять?

— Теперь бы...

Но оставалось только стоять, прислонившись к стене, будто никакого дела до кож нет у этих приумолкших торговцев.

А когда появились и простые воины, базар переполнился. Они теснились, толкались, настаивали, выспрашивая, не залежалось ли у кого продажной обужи, постукивали деньгами, подкидывали на ладонях серебро, торопясь исполнить мирозавоевательный приказ и ко дню осмотра и проверки иметь на себе исправные сапоги да в мешке при себе запасную пару.

Таков был порядок в Тимуровом войске: земледельцы ли, кочевники ли, созданные в ополчение, должны были взять с собой в поход запас еды, один колчан, тридцать штук стрел, один лук, налучье и щит. На каждых двоих конных воинов, когда призывались кочевники, кроме двух лошадей под седлом должна быть еще одна заводная лошадь. Каждый десяток воинов должен был иметь купленную в складчину палатку, два заступа, одну мотыгу, один топор, один серп, одно шило, десять иголок, вязку веревок, одну крепкую шкуру и один котел. Все это воины заводили за свой счет, без ущерба для царской казны.

Большая часть из этих припасов давно была изготовлена. Но указ о сапогах появился лишь поутру, и теперь всяк по-своему кинулся его исполнять. Тысячники и сотники спешили закупить побольше кож, чтобы перепродать их воинам; воины спешили сами купить, чтобы не залезать в быстро возрастающие долги к своим воеводам.

Но кож не было.

Купцы уже все вынули, если у кого было запасено или припрятано, из тайников, из сундуков, из домашних припасов. Часа не прошло, — все было сбыто, а спрос еще только начинался, а цена лишь начинала расти.

Еще не настал полуденный зной, а уже ничего кожевенного по всему базару не осталось. Уже перекраивали на сапоги кожу с седел и со всяких иных кожевенных изделий. А спрос еще только начинался.

Разыскали исконных кожевенников — и Мулло Фаиза, и Садреддин-бая, но они только разводили руками, оглушенные базарной суетою.

Не на мягкие тюфячки, на голые кирпичи сел обессилевший Мулло Фаиз в той нише караван-сарая Шамсинур-ата, где достойно торговал еще недели за две до этого дня.

Он сидел, беспомощно привалившись к стене, и, если б не стена, не было бы сил сидеть. Уставясь круглыми глазами в землю, не поднимая глаз на тысячника, приступавшего к нему, сетовал:

— Весь товар вышел. Вышел. Весь товар.

— Съели вы его, что ли?

— Сами не знаем, куда делся. Не пойдем куда. Был, совсем недавно был. Еще в носу запах его не выветрился; чую запах. Чую! Будто они рядом, кожи. И сколько было! О господи! До самого верху

навалены; полным–полны склады. Никто не брал. Радовались, что сбыли. А теперь — хоть плачь!

— А еще первейший кожевенник! — с досадой сплюнул тысячник, уходя.

— Хоть плачь! — покорно твердил ему вслед Мулло Фаиз.

Но ни на минуту не мог присесть жилистый, непоседливый старик Садреддин–бай: сновал по всем знакомым щелям, шарил по мастерским сапожников и шорников, по лавкам и караван–сараям, возникал то в одном, то в другом конце необъятного самаркандского базара, одухотворенный надеждой на небывалую выручку. Но кож нигде не было.

Он за бесценок сбыв ненавистные тюки полосатого бекасама, сбыв шелк, чтобы собрать хоть немного денег для перекупки кож. Но деньги стучали в тощем, длинном, морщинистом кисете, болтавшемся на животе, а кож нигде не было.

У ворот караван–сарая Шамсинур–ата несколько сотников окружили Садреддин–бая, суля ему:

— Любую цену дадим, отец. Уступите кожу. Ищите, находите, — любую цену дадим!

Но, взмахивая полами темного купеческого халата, он только жалобно восклицал:

— Если б был товар, о братья! Если б был!..

Так ожесточенно покупатели осаждали купца, будто не костлявый старец перед ними, а вражеская башня, полная защитников и сокровищ, под которую надо подвести подкоп, а еще лучше свалить ее одновременным натиском. Так они были заняты, что не заметили, как мимо проехал на стройном тонконогом гнедом коне, высясь на высоком седле, славный по всему войску царевич Халиль–Султан; проехал в простом халате, но такой веселый и приветливый, радость, переполнявшая царевича после слов желанной Шад–Мульк, украшала нарочитую простоту его одежды, как золотое шитье.

Сопровождавшие его охранители, одетые много нарядней своего царевича, тускнели в блеске радости, озарявшей Халиль–Султана.

И едва они проехали, народ тут же вернулся к прерванным разговорам и пересудам:

— А может, послать бы куда? За кожами...

— А куда?

— Да есть же города, где кожи лежат.

— Лежат! — вздыхали купцы. — В Хорезме лежат, в Ясах лежат.

— Вот бы туда и послать!

— Нам–то они сейчас нужны!

— Скоро ли их довезешь из Хорезма!

— Длинна дорога... А надо сейчас!

* * *

Гонец повез письмо амира Мурат–хана в Герат.

Отправляясь из Синего Дворца, он получил с дворцовой конюшни самую захудалую лошаденку, какая только нашлась у конюшего: царский гонец по пути имел право менять свою лошадь на любую встречную, какая б ему ни приглянулась, кто б на ней ни ехал; царскому гонцу никто не смел отказать, за такой отказ полагалось суровое наказание. А потому на выезд гонцам хороших лошадей не давали: какую ни дай, ей на эту конюшню уже не вернуться, предназначено ей сгинуть где–то в чужих руках.

Выехал, и лошадь, дохнув привольным ветром степей, сперва бодрилась, шла веселой игрой, да вскоре выдохлась.

Как ни хлестал ее, как ни долбил ей бока каблуками всадник, из черепахи сокола не выдолбишь.

Вез письмо гонец и поглядывал на встречных. Ничего завидного не встречалось: ехали крестьяне на арбах, но их кони, натруженные в упряжке, под седлом не разыграются. И не велика честь гонцу льститься на упряжную лошадь, с деревенщиной мену затевать, на мужицкую худобу зариться.

Так и вез гератец письмо, прикидываясь перед встречными, что этакая езда ему по нраву: нрав, мол, у каждого свой. Но, едва разминувшись со встречным, едва оставшись одни, нещадно хлестал и горячил своего одра, всей душой торопясь в Герат, где народ смиренней и еда жирней на степенном дворе Шахруха.

Так и не изловчился до жары сменять скакуна, а как время подошло к полудню, заехал в степной рабат полдневать.

В то же утро в Синем Дворце Мухаммед–Султан вызвал Аяра и послал его вслед за гератским гонцом.

Аяр сам зашел на конюшню, и, как ни упряился, как ни изловчался конюший, чтоб сбыть Аяру мухортого коня с мокрецом, Аяр и себе самому и своей охране подобрал крепких, выносливых коней. Да и в охрану себе выбрал из барласского караула двоих приглянувшихся ему воинов — неразговорчивого Дангасу да тяжелого на руку Дагала.

Едва выехал за город, пустил коня, и только пыль метнулась в сторону, стелясь по ветру, да на макушке гонцовой шапки забились красная коса, сплетенная из трех прядей шелка, — знак личного слуги Повелителя Мира.

Далеко впереди — Герат. Восемь дней положено гонцу на дорогу до Герата. Есть время у Аяра, чтоб настичь переднего гонца, да не терпится.

Белым пламенем зноя полыхает и слепит небо. Дальние горы тлеют в сизом мареве. Степь горяча, как свежая зола. Мазанки деревень светятся, будто облепленные расплавленным серебром. Ветер сушит и обжигает губы, свет режет глаза, колени горят на жарких боках коня; благо, что плотный халат укрывает тело от зноя, что круглая лисья шапка затеняет темя. Аяр, упершись лбом встреч ветру, хлещет, резвит, гонит коня по степи...

А двоим спутникам нельзя отставать: нельзя задерживать царского гонца. И воины скачут следом то дорожной обочиной, то степной целиной, куда ни ведет их за собой нетерпеливый Аяр.

Попадаютя по дороге харчевни в густой тени круглых карагачей или под живой, пятнистой тенью чинаров, у края прохладного пруда, у любезного огонька в очаге.

Пережидая в харчевнях зной, смотрят люди вслед трем всадникам, мчащимся по открытой степи; трем безудержным всадникам, коих не конь везет, а черт несет! И, лениво переговариваясь, обсуждают в харчевнях:

- Царский гонец!
- Может, от Самого.
- Может, — вон как идут!
- Не случилось ли что?
- Не наше дело.

А из—под копыт вспархивают жаворонки. Кое—где медные, как кувшины, коршуны откатываются в сторону, ленясь взлететь. Вдруг, трепеща, раскрываются, как веера, бирюзовые с медными краями

остроносые ракши и, проводив всадников, косым полетом возвращаются к земле.

У птиц есть время переждать зной, у людей есть право на прохладу в полуденные часы, но не у доброго гонца. Гонцу надлежит опережать усталость, гнать прочь зной, — покой и прохлада ждут гонца лишь в конце пути.

Но как ни скоро проскакивал Аяр мимо придорожных пристанищ, острым глазом успевал оглянуть и путников, прохлаждающихся в тени, и коней, опустивших головы к кормушкам, на приколах и у коновязей.

Зной начал спадать, когда в голубом сиянии степи поднялись серый купол над колодцем и коренастые стены заезжего двора.

Здесь спешились.

В тени ворот сидели караульные, играя в кости. Они не прервали игры, когда Аяр с барласами провели во двор своих потемневших коней.

Старший конюх, принимая из Аяровых рук поводья, покачал головой:

— Как разгорячили коней!

— Знойно! — ответил Аяр.

— А зной, — постой, не лезь в огонь.

— Тебе, видно, лошадь нужней царского дела! — пристыдил его Аяр.

Но старший конюх не сробел:

— Без коня и гонец — пешка.

— Ну, ну!

Они прошли на широкую террасу, где по истертым паласам лежали стеганные подстилки. Тут отдыхали проезжие. Кто дремал, дожидаясь вечера, пока кормятся лошади или верблюды. Кто неторопливо, лениво вел беседу над подносом с ломтями лепешки и дыни, ожидая, пока на кухне варится еда.

Аяр зорко озирался.

Во дворе стоймя стояли высокие узкие мешки из грубой бурой шерсти, снятые с верблюдов вьюки. И хотя по всему было видно, что в мешках не зерно везлось, стайка воробьев, деловито перекликаясь, суетилась то между мешками, то вспархивая на мешки, ища дыр либо щелей.

Верблюдов во дворе не было, — их согнали в степь, пастись перед последним ночным переходом до Самарканда.

Двое степняков сидели в тени у стены, поставив рядом бурдюки с кумысом и плоские медные чашки. Сидели молча, равнодушно ожидая, пока проснет жажда в том или другом из дремавших проезжих.

Время от времени кто-нибудь подходил к степнякам, брал с земли чашу в протягивал к бурдюку. Хозяин нацеживал тонкой струйкой свежий, пенящийся серебристый кумыс и, отвалив бурдюк на прежнее место, сам как бы отстраняясь, отваливался к стене, безучастный к расчету за отданный напиток. Но вдруг, оживляясь, ворочал бурдюк, чтоб взболтать кумыс, наливал очередную чашку и снова замирал в тени, карими умными глазами внимательно разглядывая все, что показывалось во дворе, — людей, птиц, лошадей, стоявших в тени под низкими навесами, голубенькую трясогузку, перебежавшую по горячей, солнечной земле.

Аяр прошел под навес к лошадям.

Конюх хорошо знал Аяра, столько раз проезжавшего этой дорогой, а случалось — и ночевавшего

здесь. Да и Аяр помнил этого конюха: такое круглое, губошлепое лицо не скоро забудешь.

Когда, разглаживая встрепанную ветром бороденку, Аяр остановился под навесом, конюх сказал, с трудом ворочая толстым языком:

— Еще бы малость скакал, запалил бы лошадь: вся смокла, еле не пала.

Не отвечая, Аяр похлопывал на прощанье шею своего коня и разглядывал стоявших лошадей.

Конюх опять сказал:

— Дела гладкие?

— А что?

— Один гонец был, да отбыл. Вот и ты явился. Куда столько гонцов!

— Давно отбыл?

— Сидел, ел, соловую лошадь взял и поехал.

— А прежняя где?

— На луга погнали: тут не выхолишь, — холку седлом до жил сбил, увалень. Плохо заседлал, а сидел плотно.

— Коня—то ему резвого дали?

— На взгляд неплох, да неходок.

— Приготовь—ка нам вон тех трех коней.

— Купцы едут.

— Пересядут на других. Заседлывай.

— Слово слыхано, дело делано. Заседлаю твоими седлами.

— А чьими ж? Я не барышник, седлами не меняюсь.

— Полежи в холодке, лошадей подготовлю.

— Седлай, седлай.

Только теперь Аяр спокойно подсел к своим спутникам.

Рядом разговаривали четверо проезжих; видно, с большого каравана, ожидавшего ночной поры.

Один из них был старый, седой длиннолицый китаец. В синем узком халате, в черной шапочке на голове, он сидел, опершись о вьюк, и говорил по—фарсидски, чуть гнусавя и напевая слова:

— Пыльно. Солнца много. Отлично: постоянных мест много — спокойно. Везешь шелк, везешь ситец — спокойно. Устал — сиди, пей, вода чистая; мясо, как масло, на языке тает. Ваши люди дело любят. Каждый свое. Вы джагатай?

Молодой купец, распахнув стеганый халат, положив на палас неразмотанную серую чалму, то вытирал платком голую голову, то гладил гордую бороду.

— Я? Таджик.

— Я слышал ночью вашу беседу: джагатайский язык.

— По—фарсидски мы говорим с нашими отцами о делах; по—джагатайски — с матерями о доме. Оба языка родные нам.

Воин, возглавлявший охрану их каравана, сказал:

— А у нас в Кеше не так: по-фарсидски с нами говорят матери, по-джагатайски — отцы. Но это точно — оба языка родные для нас.

— Большая земля ваша. Солнца много. Люди умные, землю любят, скот любят. Сады зелены, поля полны, скот сыт. Своего бы хватило, а чужое хватается.

Воин быстро взглянул на купца, ожидая, чтоб тот ответил. Купец нахмурился:

— Войска хватают, что плохо лежит; перекадывают, чтоб лежало получше. А мы торгуем. На какой товар спрос, тот ищем. Где пройдет война, там золото дешевет, а зерно дорожает. Туда везем зерно, а назад золото.

Морщинистое, но светлое, словно восковое, лицо китайца опустилось. Он обеими руками поднял чашу и, хотя она и не была полна, осторожно поднес к губам.

Аяр тихо сказал своим джагатаям:

— Недавно уехал. Лошадь получил слабую.

— Далеко не уйдет! — уверенно сказал Дагал.

Дангаса возразил:

— Он уж скачет, а мы сидим.

Аяр покосился в сторону навеса:

— Седлают.

Дангаса умиротворенно вздохнул:

— Были б лошади крепки, а нам что!

И вскоре они снова были в седлах, опять засияла степь вокруг и затрепетала красная косица позади Аяровой шапки.

* * *

Небольшая деревня легла на Аяровой дороге.

Он и проскакал бы через нее, мимо невысоких глиняных стен, мимо голубых рядов раскидистого лоха, склонявшего гибкие ветки в дорожную пыль. Аяр проскакал бы мимо чужой здешней жизни, если б не крики за одной из стен, если б не воины, мелькнувшие в одном из узеньких проулков между стенами.

Осадив коня, Аяр завернул в проулок и подъехал к воинам:

— Что тут?

Сперва воины глянули на Аяра недружелюбно и надменно, но, приметив красную косицу на гонцовой шапке, спохватились:

— Вон он, наш старшой.

Старшой, возглавлявший десяток конных, был разгорячен, повернулся к Аяру с яростью, заслоня небольшой двор.

А во дворе вскрикивали и причитали женщины, ветхий, но широкоплечий старик, сидя на земле, раскачивался, охая:

— Ой-вой-вой...

Аяр спросил десятника:

— Что тут?

А десятник, признав царского гонца, сразу оробел, заморгал, заулыбавшись:

— Злодеев ловлю.

— Каких это?

— Грабителей. Приказано всех хватать.

— А что здесь?

— Вон старика забираю.

— Злодей? Грабил?

— Нет еще. А может, начнет грабить? Дело такое: лучше перебрать, чем оставить.

Неожиданно старик перестал охать. Подняв лицо, покачал головой:

— Я со двора шестой год не схожу. Совсем стар. Какой из меня разбойник? Не гожусь я в разбойники. Бывало, ходил, в походах бывал. Граблывал, по приказу граблывал, когда повелитель на то нас водил. А нынче уж не гожусь. Уж не трогайте! Сил нет на разбои! Хлебом клянусь!

Аяр заступился:

— Может, он и взаправду стар?

— Откуда мне знать? — усомнился десятник. — Ведь говорил же разбойные слова.

— Как это?

— Эти земли повелитель соизволил отдать Сафарбеку, тысячнику. А язычники при битве за Дели пробили Сафарбека стрелой. А у него — ни детей, ни родни. Здешние жители сказали: «Хозяин убит, работать не на кого; мы ячмень растили, мы ячмень себе соберем». Хорошо они сказали?

— Как сказать! — уклонился Аяр от трудного вопроса.

Десятник гневно глянул на крестьянина:

— В том-то и дело. А этот старик еще хуже сказал: «Один камень свалился, сказал, другой навалится». Каково?

Аяр перемолчал.

Десятник посетовал:

— Это дело повелителя — навалится камень либо нет. Смекай: старик за повелителя распорядился. А? Чего ж от него ждать? Такого надо долой с дороги. Приказано: дороги очистить, всякую колючку с дороги прочь. А это не колючка, — за повелителя рассудил! А?

Но дряхлый старик смотрел на Аяра каким-то хотя и незнакомым, но и не чужим взглядом. Аяр негромко ответил десятнику:

— Старик знает: где повелитель приказал камню лежать, там будет лежать камень. Повелитель крепости кладет, а если враг с тех стен камень сбросит, каждый из нас поспешит на то место другой положить. Разве дело делийским язычникам у нас наши камни передвигать? Это и сказал старик. Его седину уважать надо — он с повелителем в походы ходил до старости. Ведь сказал же он: «В походах бывал, когда повелитель на то нас водил». Такого лучше не трогать.

Старшой забеспокоился:

— Не трогать?

— Повелитель не любит, когда его сподвижников трогают. Приведете такого к судье, а судья вас спросит: «Где, спросит, была ваша голова, почтеннейший? Если вы без головы обходитесь, мы вас от нее освободим!» А разве вам ее не жалко? Разве у вас их две?

— Да ну его, этого старика! — решительно отвернулся старшой и торопливо пошел к своему седлу, махнув воинам, чтоб ехали следом.

Старик, не вставая с земли, устало кивнул Аяру:

— Спасибо, сынок. Не так ты мои слова растолковал, да верно понял.

Не впервой было Аяру заслонять людей от воинов. Когда-то давно, мимоходом, разорили Тимуровы воины родной Аяров очаг; отца убили за то, что нечем было воина угостить. Много лет прошло. Стал воином сам Аяр. Достиг чести быть дворцовым гонцом. А нет-нет да и просыпалось сердце, когда касался ушей вопль народа о помощи.

Задумчиво выехал между душными шершавыми стенами из тесноты проулка, отклоняясь от низко свисавших длинных пушистых листьев лоха, отягченного бронзовыми гроздьями мелких плодов.

Налево повернул десятник со своей конницей, направо поскакал в степь Аяр. Какая-то горечь жгла его; сердясь неведомо на что, нещадно хлестал он усердного коня и мчался быстрее прежнего.

Степь начала холмиться. Даль вокруг виделась уже не столь широко. И вскоре, как во сне, перед ним предстал гератский гонец. Холмы ли, повороты ли дороги заслоняли его, но не издали, а почти прямо перед собой увидел Аяр гератца на соловой лошади и, настигая, крикнул:

— А ну-ка! Стой!

Удивленный гератец обернулся, натянув поводья.

— Стой, говорю! — повторил Аяр, радуясь, что гератцу не дали охраны и что вокруг не было ни души — ни встречных, ни поперечных. — Далеко скачешь? — спросил Аяр.

Но гератец не успел ответить: Дагал, проносясь на своем коне, на полном скаку хлестнул гератца плетью по голове, соловый конь глупо вскинул задними ногами, и прежний гонец, перелетев через конскую голову, плотно распростерся на колкой траве.

Аяр прикрикнул на Дагала:

— Ты что?

— А что?

— Сперва надо б узнать, где у него письмо.

— А вон оно! — показал Дагал, сразу приметивший наметанным оком край кожаного бумажника у гератца за голенищем правого сапога.

— А все ж без моего слова...

Но Дангаса поспешил оправдать горячность Дагала:

— А поговоривши с человеком, как его убьешь?

Дагал, сам не умевший объяснять свои поступки, благодарно моргнул Дангасе:

— Верно!

Пока Аяр вытягивал из-за голенища плотно засунутый бумажник, Дагал вздумал выкручивать у

мертвеца серебряную серьгу.

Серьга не поддавалась. Дагал, вытянув нож, хотел рассечь мочку уха, но Аяр вскрикнул:

— Не тронь!

— Чужое ухо жалеешь? — недружелюбно отстранился Дагал.

— Не чужое ухо, а твою голову.

Аяр, раскрыв бумажник, увидел сплюсненную трубочку письма и залепивший письмо круглый ярлычок: «От амира Мурат-хана».

— Оно!

Затем Аяр осмотрел гератца.

Бурая вьющаяся, раскидистая борода сплелась со стеблями цикория, и в ее волосках сиял синий цветок.

Аяр повернул неживую голову, глянуть рану. Кровь сочилась и впитывалась в землю из пробитого темени: Дагал умело владел свинчаткой, вплетенной в конец его ременной плетки.

— А ну-ка, давай его назад на коня! — распорядился Аяр и, беспокойно оглядывая степь вокруг, приговаривал: — Давай, давай...

Дагал, отклоняясь от кровотокающей головы, поднял гератца. Дангаса всунул ногу мертвеца в стремя. Аяр проверил:

— Поглубже вдень. Да поверни! Не то выскользнет.

Дангаса повернул носок сапога так, чтоб нога плотно застряла в стремени. Аяр махнул рукой:

— Ладно. Отпускай.

Они бросили тело, и оно снова ударилось головой оземь, но ступня в стремени засела крепко.

— Гони!

Все вернулись в седла, и Дагал, закрутив плеткой над головой, крикнул на солового коня, как крутят плеткой и кричат степные табунщики, гоня перед собой или заворачивая на выпасах конские косяки.

Конь, выросший в степи, испуганно рванулся вперед, шарахнулся, удивленный нежданной ношей, и как-то боком поскакал, волоча за собой гератца, бывшего головой о ссохшуюся землю, о комья и камни.

А следом, по-прежнему крутя свинчаткой над головой, дико гикая, пригнувшись, неся за ним Дагал, опередив Аяра.

Когда он увидел, что одуревшему коню уже нет удержу, что теперь он доволочит мертвого гонца до своей конюшни, Дагал поотстал, поравнялся с Аяром и, смущенно теребя длинный ус, сказал хмуро:

— Насчет моей головы...

— А что?

— Благодарю за остережение.

— Понял?

— Догадался.

— Нам надо, чтоб люди видели: гератец конем убит. А конь серьгу из ушей не вынет.

— Спасибо. Я догадался.

И, ни о чем больше не говоря, они поехали назад к Самарканду; не так, как прежде, не спеша, держась не прямой дороги, а сторонними тропами, пока не объехали того двора, где взяли своих лошадей и куда, верно, уже воротился конь с мертвым гонцом.

* * *

У Пушка, вышедшего от повелителя, лицо было вдохновенно, но походке его недоставало прежней легкости: тело саднило от вчерашней скачки, будто доселе ехал он верхом на пылающей головне.

Он спешил к новым делам, но в одном из узких переходов армянина перехватил святой сейид Береке и поспешил поклониться купцу.

На поклон могущественного сейида Пушок от неожиданности не успел ответить. Но когда Береке задержал его, купец остановился неохотно: ему не терпелось приступить к новым делам.

Редко сейиду Береке случалось говорить с кем бы то ни было столь ласковым, почтительным, почти просительным голосом, как спросил он Пушка:

— Осмеливаюсь беспокоить вас, почтеннейший брат Геворк, да ниспошлет господь вам свою милость, да прострет щедрость свою на дела ваши!

— Я христианин, и едва ли...

— Христианин? На то воля господня: без его воли никакая тварь на земле не передвинет волоса в бороде своей. Богу угодно, чтоб вы были христианином, и вы, почтеннейший, лишь исполняете волю всевышнего! Нет греха и в делах ваших...

— В торговых? Какой же в торговом деле грех!

— Нет, нет никакого греха. Посему и вознамерился я спросить вас о торговом деле.

— Меня?

— Какие из верблюдов в караване вашем подверглись ограблению? Начиная с какого?

Пушок поклялся повелителю ни словом не сеять слухов о нападении на караван. Пушок не знал, был ли сейид на ночном совете, но заподозрил: «Не испытывает ли меня недоверчивый повелитель?»

Пропустив мимо столь опасный вопрос, купец склонил голову набок, как бы припоминая:

— Разве торговля и ограбление — одно и то же?

— Разве я это сказал?

— Вы намеревались спросить о торговле, а спрашиваете об ограблении. Ограблен караван? Какой?

Выходило, что это сейид Береке сеет слухи о нападении на караван.

— Спрашиваю вас, почтеннейший, яснее: верблюды с моим товаром целы? Первые сорок два? Сорок под вьюками и два с приказчиками. Богдасар — мой приказчик. Христианин.

— Если б грабителем был я, может быть, я и знал бы о каком-либо грабеже. Но я купец.

— Почтеннейший! Вы были там! Вспомните!

— От бесплодных воспоминаний у купца не растет выручка.

Береке быстро снял кольцо со своего длинного костлявого пальца и протянул Пушку:

— Скромный подарок. В кольце — смарагд, а смарагд веселит душу и проясняет память.

— Проясняет?

Пушок деловито примерил кольцо на короткие смуглые, поросшие жесткими кудряшками пальцы. На первые три пальца не наделось, но на безымянный подошло, и камень сверкнул в темной глубине зеленым огнем. Береке ждал.

— За подарок благодарствую, — поклонился Пушок, — но моей памяти и смарагд не проясняет: караван припоминаю, был караван; ограбления не помню; никакого Богдасара не могу вспомнить.

— Тогда что же? Это другой караван? — удивился Береке. — Вы шли через Фирузабад?

— Через Фирузабад?.. Богдасар... Не помню.

Береке облегченно вздохнул:

— Как хорошо! Значит, ограблен другой караван! А если другой...

Он не договорил. Пушок перестал существовать для сейида. Невидящими глазами он смотрел куда-то мимо Пушка и ушел в глубину дворца, шагая надменно, не замечая ни стражей, ни встречных, не снисходя отвечать на поклоны, словно углубленный в благочестивые раздумья. Все робко расступались перед ним, духовным наставником повелителя, молитвенником о ниспослании сокрушительных побед над дерзновенными врагами, предстателем перед всевышним за жалких грешников, погрязших в низменной деловой суете.

«Как хорошо! — думал Береке. — Однако...»

Он остановился, оглушенный внезапным сомнением:

«Ночью всем ясно было — ограблен караван по пути на Фирузабад. В караване был этот язычник Геворк, коего в преисподней давно ждет дьявол. Как же я ему поверил? Или он боялся меня огорчить? Богдасар ограблен? За смарагд я его...»

А Пушок поправил смарагд на безымянном пальце и снова заспешил к заманчивому неотложному делу.

Но путь его заградил широкобедрый, утолщенный многими халатами, знатнейший и спесивейший из самаркандских вельмож — амир ходжа Махмуд-Дауд.

Над нетерпеливым Пушком прогудел густой голос ходжи:

— Стой, купец!

Пушок слегка оробел перед этим горбоносым толстяком, перед светлым мясистым лицом, окаймленным узким ободком жиденькой бороды.

Ходжа говорил, тесня Пушка большим животом:

— Ну-ка расскажи-ка, как?

Пушок, даже если бы и хотел протиснуться между стеной и ходжой, не смог бы: проход был плотно заткнут ходжой.

— Так как же, а? Мои там целы?

— Милостивый амир! Откуда мне знать?

— Хитришь?

Пушок смолчал. Ходжа наступал, вынуждая Пушка пятиться.

— Хитришь? А? Я достоверно узнал: ты-то и есть оттуда. А хитришь, купец? А? Хитришь!

— Милостивый амир! Сейчас я не откуда-нибудь, сейчас я от повелителя. Цело ли где и что цело, о

том он один знает. Возможно ли нам в своих знаниях превосходить его?

Ходжа задумался: «Да! Повелитель не терпит, чтоб подданные превосходили его даже длиной бороды. Но не к повелителю же идти узнавать о караване! Он в печали, ему не до караванов. А вдруг уже нет каравана, все расхищено! А если расхищено, это же разорение! О караване надо непременно знать!»

Но пока, тяжело дыша, ходжа думал, Пушок не мог уйти.

Сам он еще так недавно многое бы дал, чтоб знать о своем караване, который вышел из Кутлук–бобо и доньине неведомо, может, все еще идет где–то — по земле ли, по облакам ли, по звездам ли...

Пушок, глядя в парчовый узор тяжелого халата ходжи, думал: «Страх одолевает ходжу. Знать хочет! А заносчив, требует от меня ответа, будто я ему приказчик, а не царский купец. А я... царский купец! Так? Меня повелитель послал, он мне этакое дело дал! Он меня торопит. За промедленье сурово взыщет. Так? А этот заткнул дверь задом, чесноком мне в лицо дышит, сопит...»

— Ну–ка, милостивый амир! У меня государственное дело. Я от Самого иду. Он торопит, а вы задерживаете. Так? А вы знаете, как государь строг, если его слугам мешают? Строг? Строг! Посторонитесь–ка!

С ходжой не говорили так. Если же этот лохматый купец дерзает этак разговаривать, значит, ему дана власть!

— Пожалуйста! Пожалуйста. Я только намеревался спросить вас. Беспокойно мне: как они там, мои верблюжатки. Идут ли, стоят ли, целы ли? Если б подобное случилось с вами, вы бы поняли мое волнение! Я вас не задерживаю. А все же... целы они? Что?

— Не знаю. Не знаю, милостивый амир!

Пушок протискивался между стеной и ходжой. Ходжа прижимался к стене, пропуская купца.

Взглянув на умоляющий, заискивающий облик ходжи, Пушок и не вспомнил о своем пропавшем караване, весь охваченный новыми мыслями:

«Сам повелитель послал меня! Чуть возвысил я голос, могущественный ходжа влип в стену. Святейший сейид не посмел возвысить на меня голос. Никто не посмеет меня коснуться, ни перечить мне, ни отказать мне, когда я выполняю волю Повелителя Мира! Так? Так. Это сила! Сила в моих руках! Так? Так».

— Какое мне дело до ваших товаров! Оставьте! — отстранился Пушок. Оставьте!

Но ходжа не мог отпустить купца, знавшего судьбу заветных верблюдов ходжи Махмуд–Дауда, судьбу его имущества, его могущества.

Махмуд–Дауд вцепился в рукав армянина:

— Пожалуйста. Одно слово: целы или пропали? Одно слово! Хотя бы часть уцелела! Хотя бы часть!

— Не знаю. Я выполняю волю повелителя!

Когда по воле повелителя ходжа Махмуд–Дауд сокрушал лавки, палатки, караван–сарай, купеческое добро и свои собственные бани и склады, дабы расчистить место для замысленной повелителем мечети, он не знал жалости. Он сокрушал. Он сокрушил бы и достояние Пушка, будь у него достояние. Он сокрушил бы и самого Пушка, попадись Пушок ему во власть! Сокрушил бы, раздавил бы, чтоб и этой наглой шапки от него не осталось! И ту истоптал бы! Но купчишка шествует от повелителя. Чует свою силу, свою неприкосновенность. Теперь его не тронь. Теперь, чуть что, он побежит к Самому!

Глядя вслед Пушку, прислонившийся к стене ходжа Махмуд–Дауд колебался, не кинуться ли за

Пушком вслед, не попытаться ли умолить его, улестить, как ни унижительно это.

«Унижительно? А разоренье не хуже ли униженья?»

И кинулся вдогонку за Пушком.

Но стражи никого не впускали на тот двор, куда свернул Пушок. Они отторгли Махмуд–Дауда от купца, как недавно на базаре отторгали купцов от Махмуд–Дауда.

Тяжело ступая, медленно пошел ходжа Махмуд–Дауд на крыльцо, где по–прежнему толклись вельможи, ожидая, не поκληчет ли их Тимур.

На дворе завьючивали верблюдов.

Пушок хозяйственно прошел среди тяжелых вьюков, подозвал услужливого караван–вожатого и негромко заговорил с ним.

Юркие приказчики следили за вьючкой, покрикивая на вьючников либо подсобляя им укладывать кладь покладней на покорно возлежащих верблюдов. По восемь пудов мешок, по два мешка на вьюк.

Позвякивая ключами, кладовщики присматривали за рабами, таскавшими со складов мешки к вьючникам.

А в стороне седлали или расседывали лошадей. Какие–то всадники входили, ведя в поводу своих усталых лошадей; другие оглядывали оседловку, прежде чем выехать со двора.

На этом дворе, засоренном сеном и всяким мусором, было шумно от окриков, разговоров, конского ржання, верблюжьего рева. Никто и не взглянул, когда прибыли сюда трое всадников, опаленных горячим ветром, потемневших от степной дороги, от долгой езды.

Один из них, кинув наземь поводья, даже не обернулся, принял ли их конюх, решительно пошел ко дворцу. И хотя он не потрудился даже отряхнуться, даже лицо не обтер от пыли, хотя ни на вельможу, ни на полководца не был похож, стражи беспрепятственно его пропустили через нижнее крыльцо во дворец: позади его шапки свисала красная косица гонца.

Хотя Пушок и не знал Аяра, но купцу в этом гонце сразу полюбилась беззаботная легкость, с какой Аяр шел через двор; понравился веселый, смелый, сметливый взгляд его быстрых глаз.

Любуясь, как шел Аяр — прижав локти к телу, чуть наклонив набок голову, не глядя по сторонам, собранный, складной, — Пушок смотрел ему вслед, пока Аяр не вступил в чертоги повелителя.

Там, так же без промедленья, гонца провели к Мухаммед–Султану.

Царевич стоял с Музаффар–аддином и о чем–то настойчиво выспрашивал этого хмурого высокого амира.

Увидев Аяра, Мухаммед–Султан отошел от амира, сказав:

— Постойте здесь да припомните: ясно надо вспомнить каждое его слово... Поняли? Каждое слово!

И подошел к Аяру:

— Ну?

Аяр молча протянул царевичу бумажник.

Мухаммед–Султан, стоя спиной к амиру, раскрыл бумажник, осторожно ногтем, не разрывая, сколупнул ярлычок и развернул письмо.

— Оно самое! — сказал царевич, не отрывая от письма глаз. — Иди.

Аяр так же молча вышел. А Мухаммед–Султан, даже не глянув на амира, понес письмо к деду.

* * *

Сколько ни сновал Садреддин–бай по всем закоулкам базара, сколько ни шарили по всем чуланам самаркандские кожевенники, кожи иссякли.

— Что ж, с наших стад, что ли, кожу сдирать? — гадали кожейки. — Да за день ее не вымнешь, а надо скорей.

Ветер мел мусор по опустелым рядам. Купцы толпились, шепчась или крича, в базарных углах, оставив впусе переулки с пустыми лавками.

Проходили какие–то караваны. Перед ними сторонились, не прерывая разговоров, не глядя на ковровые, изукрашенные кистями наряды верблюдов, на багровую бахрому их уздечек, на пунцовые султаны над головами, на причудливые знаки их тканых покрывал, на поклажу, отправлявшуюся в далекие дали либо донесенную издалека в Самарканд. Что за дело базару до проданного товара; что за дело купцам до чужих поклаж, когда нужен товар, которого на базаре нет.

За всей этой суетой никто и не приметил, как под вечер сюда вошел через Железные ворота большой караван. Никто не посмотрел, как ехали впереди караван–вожатый с хозяином. Как бодро ступали верблюды, хотя никогда не бывает у них такой бодрости после большого перехода. Как ехали на бодрях конях приказчики и на сытых ослах караванчики, как лишь чуть запыхались, будто только что навьючены, ковровые покрывала на вьюках. Никто не приметил и того, что вошел караван без охраны.

Караван прошел через торговые ряды к Тухлому водоему, и хозяин с караван–вожатым сошли у караван–сарая армянских купцов.

Так велик был караван, что не мог вместиться во дворе у армян. Пришлось вводить верблюдов во двор по десятку. Едва, развьючив, выводили одних, на их место вели следующих.

Ожидавшие своего череда верблюды заполнили всю улицу веред караван–сараям.

Жевавшие в харчевнях завсегдатаи отодвинулись от еды, разглядывая теснившихся, ревущих верблюдов. Голоса беседующих глохли в жалобном верблюжьем реве. Уже не жареным мясом пахло в харчевне, а потной верблюжьей шерстью.

— Что за караван? — гадали в харчевне. — Откуда? На конец пути пришли, а у верблюдов на губах зеленая слюна висит. Видать, недавно кормлены.

— Да гляньте–ка, это ведь пограбленный армянин!

— Откуда? Он на Орду с караваном ушел.

— Он!

— Похож!

Уже не до еды стало, не до бесед: что за притча, с одним караваном ушел, с другого слезает?

А он слез, Геворк Пушок; слез и стоял в воротах, приглядывая за развьючкой.

Он так был занят этим, что не приметил, как мимо прошел и засел в соседней харчевне столь полюбившийся ему Аяр.

Вручив бумажник царевичу, Аяр ушел на воинский двор, отчистился, отмылся, шапку с косицей оставил, а надел простую тканую тюбетейку и пошел пройтись по городу.

В здешней харчевне ему нравились маленькие, едкие от приправ пельмени. Ожидая их, он устало

поглядывал на развьючивающийся караван, на серую струю воды, падавшую из каменного желоба в Тухлый водоем.

А слух о прибытии армянского купца уже несся по базару, как дымок, гонимый вечерним ветром.

Вокруг караван–сарая уже собрались ротозеи и обессиленные от нынешнего безделья купцы. Поглядывали в просветы между верблюдами. Пригинались, чтоб глянуть из–под верблюдов, истинно ли по ту сторону каравана стоит Пушок или кто другой, схожий.

Нет, это был Пушок!

Кое–кто из более деловых пошел в обход длинного каравана, чтоб зайти на ту сторону и подобраться к Пушку.

Всех опередил Садреддин–бай.

Он появился перед купцами, обсуждавшими приезд Пушка. Едва он поднял голову к вьюкам, ноздри его дрогнули.

«Кожи!»

Он быстро обернулся, опасаясь, не уловил ли кто–нибудь этот ожегший его душу вопль. Но душевные вопли не слышны для окружающих.

Садреддин–бай вплотную подбежал к каравану. И еще яснее уловил знакомый, вожденный, восхитительный запах кож!

Тогда, как пловцы ныряют в омут, он, пригнувшись, юркнул под верблюжьи животы и мгновенно предстал перед армянином:

— С благополучным прибытием, почтеннейший!

— Благодарствую.

— Издалека ли?

— Да вот... караванный путь... Сами знаете.

Разве можно сказать, что путь был недолог и недалек, что незадолго перед тем вышел весь этот караван из крепости, из–под сени Синего Дворца, прошел снаружи городских стен и через Железные ворота снова вступил в город, прошел по базарным улицам.

Если б это сказать, как бы расшумелся слухами и толками самаркандский базар!

Как бы заговорили купцы о своем благодетеле, о высоком своем покровителе, о Повелителе Мира Тимуре!

Пушок нашел ответ:

— Вот, потерялся у меня караван, думали — пропал, да, благодарение богу, по милости повелителя, — вот он!

— А товар? — не слушая Пушка, допытывался Садреддин–бай.

— По покупателю. Кому что.

— Мне бы кож.

— Много?

— А почему?

— По сту.

Садреддин-бай отступил, жуя губами, но тотчас приступил опять:

— Я ослышался. Почем, почтеннейший?

— По сту.

Тощий кошелек беспомощно качнулся на животе старика, но Садреддин-бай решительно схватился за него.

— Дам задаток на сто кип. Полный расчет через два дня.

— Наличными по сту. Иначе — сто двадцать пять.

— Окончательно?

— Деньги ваши, товар мой.

— Сто десять.

— Видите, я еще не развьючился. Так? Еще торговать не начал. Еще с купцами не потолковал. Так? Хотите брать — берите по моей цене. Нет ждите, какая на завтрашний день станет.

— Вот, берите задаток.

— Сколько тут?

— За десять кип.

— За десять дали, а хватаетесь за сто! — пренебрежительно отмахнулся Пушок.

— Пускай! Вашу руку!

— На почин! — уступил Пушок. — Сто кип по сто двадцать пять ваши. Расчет завтра вечером.

— Я просил два дня.

— Не могу ждать.

— Давайте!

Но купцы уже обступали Пушка, обегая караван, протискиваясь между верблюдами, выныривая из-под верблюдов.

— Кожи! — неся слух по базару.

Опустел Кожевенный ряд, к Тухлому водоему бежали как на пожар. Вскоре верблюдов уже с трудом удавалось провести на развьючку или вывести со двора, так стиснулся со всех сторон народ — кто закупать кожи, кто поглядеть на торговлю больших купцов.

Некоторые, наклонявшись Пушку, заводили разговор издалека:

— Как так случилось, почтеннейший, — не успели мы вас проводить, как назад встречаем?

— Лихорадка затрепала. Пришлось воротиться! — нетерпеливо вздыхал Пушок, чувствуя в себе такую полноту сил, такой преизбыток бодрости и здоровья, каких за всю жизнь не было. Даже забыл, что зад все еще саднил от недавней скачки, намученный сегодняшней, хотя и недолгой, ездой.

Но другие приступили без обиняков:

— Что за товар?

— А чего вам?

— Не кожи?

- А если кожи?
- Берем...
- Сколько надо?
- Цена?
- Сто пятьдесят.
- За кипу?!
- А что?
- Мы как ни спешили, по пятнадцать едва успели сбыть!
- Давно?
- Да какое там давно!
- А нынче цена другая. Тогда и я соглашался на семьдесят.
- Мы помним!
- А теперь привез. Берите. Завтра может подорожать.
- А сказывали, будто у вас кожи пропали!
- Нашлись.
- Ну и цена!

Кто еще мялся, переглядываясь, другие уже протискивались к армянину платить.

Садреддин-бай один толкался по опустелым переулкам, разыскивая то одного, то другого из ростовщиков.

Но и постоянные ростовщики, и менялы, тоже иногда дававшие деньги в рост, тут же вычитали месячный нарост долга, давали деньги с таким расчетом, что заимодавцы, оступись только, попадали к ним в неоплатное рабство.

— Ваш залог? — спрашивал ленивый, огромный, как слон, почти весь прикрытый своим животом перс, ростовщик, у костлявого Садреддин-бая.

- Дом заложу.
- Стоимость?
- Оцениваю в пять тысяч!
- Неслыханно! Кому нужен дом?
- Отличный дом.
- Дом купца в лавке с товаром. А она у вас есть? Она полна товара?
- Вы же знаете меня! Я у вас брал. Всегда рассчитывался.
- Какая мне радость, если со мной рассчитываются в срок!
- Я очень прошу. Одолжите.
- Дом приму за одну тысячу.
- Но ему цена десять! В пять его всегда считают при закладе.
- Уже закладывали?

— Однажды. Давно.

— Тысяча.

— Не хватит!

— Сколько надо?

— Двенадцать.

— При закладе пяти! Что вы!

С трудом раздобыл Садреддин-бай три тысячи под залог дома и, подписав расписку на шесть тысяч и закладную на дом, кинулся в армянский караван-сарай.

Наступал вечер. Но у Тухлого водоема по-прежнему толкались купцы, добиваясь кож от Пушка.

Караван перестали развьючивать. По десятку, по два десятка верблюдов уходили вслед то за одним, то за другим из купцов. Были такие покупатели, что сразу по десятку верблюдов уводили за собой, когда к Пушку пробился наконец совсем истомленный духотой и давкой Мулло Фаиз:

— Почтеннейший! С благополучным прибытием!

— Благодарствую.

— Благосклонно ли взирает всевышний на успехи ваши?

— Вам кож?

— Цена?

— Все распродал. Осталось мешков тридцать.

— Почем за кипу?

— Двести.

— А?

Мулло Фаиз мягко привалился к стене, сполз и сел у ног Пушка, удивленный, что язык его отчего-то застревает между зубами.

Он попытался раздвинуть челюсть, но правая рука не поднялась.

Он поднял левую руку ко рту, но в глазах его потемнело, и он покатился куда-то с порога вниз, в разверзшуюся бездну, во тьму.

Только сердце еще билось, как будто медленно-медленно шел над ним караван; медленно, как во сне: мягко, почти неслышно ступая. И вот уже ничего не стало слышно совсем.

Теперь обступили Мулло Фаиза, пытаются его поднять. Подняли, понесли, но Садреддин-бай, встретившийся им, отстранился, прижался к стене, пропуская их, досадуя, что ему загородили дорогу, а едва бесчувственного Мулло Фаиза пронесли мимо, кинулся к Пушку:

— Вот! Здесь три.

— Вы зарились на сто. Значит, надо двенадцать с половиной. Долой одну из задатка...

— Там одна с четвертью!

— Не спорьте из-за четверти, почтеннейший. Я даром вас ждал, что ли?

— Но я обещался на завтрашний вечер, а принес сегодня!

— К тому же цена изменилась.

— Как?

— Двести.

— Это не по уговору!

— Вот, я верну задаток, за вычетом четверти.

— За что?

— За ожидание.

— Это... Знаете...

— Хорошо! — перебил Пушок, не любивший обижать людей, совсем почти охмелевший от всего происшедшего и потому благодушный. — Хорошо! Учту и четверть: берете по двести?

— Это, значит, сколько же я смогу взять?

— Посчитаем...

Вечер густел.

Пушок даже еще и не побывал у себя в келье. Еще и с хозяином караван-сарая не успел повидаться, а весь товар уже был сбыт. И почему! По какой цене сбыт!

И на дворе стало уже пусто, — ни одного вьюка! И караван-вожатый увел своих верблюдов из города, а прошло всего лишь три или четыре часа!

— Какую келью пожелаете занять? — спрашивал у Пушка Левон. Прежнюю?..

— Да. Прежнюю.

— А где же поклажа ваша? Что туда отнести?

— Поклажа? — спохватился Пушок. — Поклажа? Я не взял... Она на прежнем караван-сарая. Я так. Без поклажи.

Он устал.

— Приготовьте мне постель, Левон. А я пойду в харчевню. Я хочу есть.

И вскоре Пушок сел над водоемом, под маслянистым пятном фонаря, свисавшего с гибкой ветки китайской ивы.

И Пушок никак не в силах был вспомнить, что за человек тихо сидит перед ним в зеленой шахрисябзской тюбетейке; где видел он этого приятного человека? Когда? Кажется, будто совсем недавно. Но где?

Аяр тихо сидел, слушая, как в темноте воркует вода, натекая из каменного желоба в Тухлый водоем.

* * *

Пакля, заткнутая в маленькую глиняную чернильницу, чтоб чернила не сохли и не проливались, зацепилась за острое тростничка, и Улугбек испачкал пальцы.

Он слюнявил и вытирал их о подкладку халатика, а Тимур терпеливо ждал, пока внук снова сможет писать то, что ему говорится.

Улугбек писал уже третий указ из тех указов, что должны быть наготове, когда понадобится их огласить.

— Прочитай-ка! — кивнул Тимур на бумажный листок.

И, все еще вытирая палец, мальчик перечитал недописанную страницу:

— «...Поелику на самаркандском базаре кож в достатке нет, дозволяется воинам выйти без запасных пар обужи, а запастись будем в пути по тем местам, где кожевенный товар найдется в достатке.

Поелику оружейные купцы жаловались на оружейников, что на изделия свои цен не скинули и в торге упорствуют, дать оружейным купцам из наших кладовых...»

В это время вошел Мухаммед–Султан. И Тимур, приняв из его рук письмо, покосился на Улугбека:

— Поди–ка отмой свои руки. Водой отмой.

Когда Улугбек вышел, Тимур развернул и осмотрел письмо. Что он видел в этих непонятных черточках, точках и завитках? Он осмотрел желтоватый листок плотной шелковой бумаги и вернул Мухаммед–Султану:

— Читай.

Мухаммед–Султан медленно, не так бойко, как это умел Улугбек, принялся разбирать письмо амира Мурат–хана к его сестре Гаухар–Шад в Герат.

— Так, так... Приветы, благие пожелания не читай. Не трать времени, не то Улугбек вернется, а письмо ведь к его матери. Мало ли что... Начинай сразу с дела.

Но чтобы найти то место, где начиналось это дело, Мухаммед–Султану понадобилось еще больше времени, чем читать подряд.

Бормоча, он начинал читать то одно, то другое место, но все это были приветы, или пышные восклицания, или благочестивые ссылки на Коран.

Наконец он нашел:

— «Прибыла сюда хан–заде от почтенного мирзы Мираншаха, и государь гневен и печален. Если и вынет стрелу из колчана гнева своего, ударит острие ее в западную сторону, а вам мир, благоволение и процветание.

Бумажники хорошие заказал здешнему искусному мастеру, по воле, изъявленной благословенным мирзой Шахрухом, и первый образец получу завтра и пошлю...»

— Не в ином каком смысле написано про бумажники? — призадумался Тимур.

— Если и в ином, не пошлет: завтра амира здесь уже не будет.

— Хорошо. Успокаивает Шахруха, — пойдем, мол, на Мираншаха. Хорошо, пускай Шахрух со своей царицей мирно спит. Письмо заклей, чтоб неприметно было, и опять отошли. Пускай в Герате читают. А гонец чтоб на словах там сказал, — послано, мол, было с другим гонцом, да по пути случилось несчастье. А государю, мол, о том неизвестно. Неизвестно! Понял?

Вернулся Улугбек.

Мухаммед–Султан быстро скрутил письмо трубочкой и всунул себе в рукав.

— Еще что? — спросил Тимур Мухаммед–Султана.

— Амир Музаффар допросил двоих: пойманы на дороге из Кургана. Бормочут какую–то небылицу, ничего нельзя понять.

— Где они?

— Внизу.

— Пойдем, я сам их спрошу.

И они втиснулись в узкий проход, откуда круто, винтом, спускалась тесная лестница вниз, в подвалы Синего Дворца, где за двойными стенами, в полутьме, под низкими сводами, разместились тайные тюрьмы и темницы, откуда голос человеческий не проникал наружу, где в бурые кирпичи вбиты были черные кольца и скобы, где властвовали самые надежные, самые доверенные из слуг Повелителя Мира.

Тимур сходил по крутой лестнице боком, осторожно спуская с высокого косога порога хроющую ногу.

Мухаммед–Султан поотстал, чтобы в темноте не задеть сапогом руку деда, то скользящую ладонью по стене, то упирающуюся пальцами в пройденные ступени.

Улугбек, оставшись один, чтобы занять время, вынул из шелкового чехла книгу Гияс–аддина и раскрыл ее на том месте, где дедушка прервал чтеца.

Мальчик читал:

«После сего Повелитель Мира принял непреклонное решение выступить на город Дели.

Звездочеты и звездословы, основу всех дел и основ связующие с указаниями звезд, втайне гадали о предстоящем по сочетанию благоприятных и зловещих созвездий. Но Великий Повелитель, вместитель добродетелей халифа, исходил из советов благочестивых людей, освобождающих умы человеческие от ложных мыслей и суеверий, тех людей, что не спорят ни о троичности лица божьего, ни о шестерице, в силу чистой веры своей. Он отверг прорицания, не поверил указаниям звезд и рукою надежды ухватился за аркан божьего милосердия...»

Темнело.

Буквы сливались. Мальчик снова вложил книгу в чехол. Ему запомнилось, как красиво это написано:

«По сочетанию благоприятных и зловещих созвездий...»

Темнело быстро, как всегда быстро темнеет в Самарканде в первые дни сентября.

Светильников еще не принесли.

Мальчик следил из наступающей темноты, как за окном, высоко в небе, вспыхивает, мерцает, все еще не смея загореться своим белым огоньком, какая–то далекая звезда.

Десятая глава

САД

Прошла неделя, как повелитель замкнулся в уединенном углу своего обширного дома.

А над городом сентябрьское утро светилось белым, прозрачным светом.

Тяжелые листья устлали дно ручьев, и вода стала чистой и прохладной. И вдоль дорог, и поперек садов по ручьям плыли спелые плоды, опавшие с веток в воду.

Розы цвели своим осенним цветением, и у всех городских гуляк сияли заткнутые за ухо либо подоткнутые под чалмы алые розы или лиловые ветки душистой мяты.

Многие из самаркандцев на это время уезжали в загородные сады, в деревни, где у горожан были земли и дачи, где еще с весны жили их семьи. Уезжали купцы, уезжали торговцы, но вельможи не смели покинуть город и уйти из-под серой тени дворца, опасаясь, что повелитель призовет их и прогневаается, если их не окажется у его порога.

Серая тень дворца покрывала, как кошмой, каменный двор, где спозаранок толклись приближенные и придворные Тимура. Прошла уже неделя, как повелитель не выходил к ним и не звал их к себе, отягченный вестями о своем безрассудном сыне Мираншахе.

Изо дня в день вельможи толпились и томились, перешептываясь об одном и том же:

— Что повелитель?

— По-прежнему; сокрушается.

— Не подослать ли к нему? Успокоить, уговорить, — дела ведь замерли, государство ждет.

— А кто пойдет? Кому голова надоела?

И разговор смолкал.

Привыкли подолгу толпиться у царского порога. Поосвоились, пообжились здесь; расстелив попоны, сидели во дворе вдоль холодных стен в сырой тени, потчевали друг друга домашними лакомствами, посылали слуг на базар за дынями или шербетом, за пирожками или халвой.

Сидели на попонах, не решаясь ни одеял себе подстелить, ни подушек подложить; сидели, будто на недолгом привале в походе, готовые без раздумья сесть в седло или ворваться в битву, едва пожелает этого повелитель. Сидели, многозначительно и глубокомысленно беседуя между собой, чтоб со стороны казалось, что они озабочены великими заботами о благе всего государства, что, если б они не сидели здесь, повелитель не смог бы вершить своего могущественного правления.

За эти дни сюда откуда-то прибывали, а отсюда куда-то уезжали гонцы. Куда-то уходили и откуда-то приходили под своды крытых дворов караваны, запыленные ветрами дальних дорог или наряженные в дальние дороги. Жизнь Синего Дворца не прерывалась. Может быть, стала оживленней и беспокойней. Иногда во дворец звали кого-нибудь из вельмож, но говорил с ними царевич Мухаммед-Султан, и после разговора воеводы выходили неразговорчивые, озабоченные, торопливые, спешили к коновязи и уже не возвращались посидеть на попоне с остальными придворными.

За эти дни на базаре случилась небывалая цена на кожи, когда въехал в город со своим товаром Геворк Пушок. Повсюду на базаре, в каждом купеческом доме, по всему городу толковали о неслыханной торговле армянского купца, а Пушок, распродавшись, сказался больным и укрылся в одном из загородных садов Тимура, куда царский садовник позвал его погостить, пока разговоры притихнут и пока повелитель

не призовет своего купца для новых дел.

Могло бы случиться, что иной из покупателей Пушка вздумал бы высказать свои обиды или попреки Пушку, ибо на другой же день цены на кожу упали с двухсот за кипу до прежних пятидесяти, а к вечеру сползли до тридцати. Спрос упал. Воины перестали зариться на кожевенные товары, ибо вышел милостивый указ повелителя, разрешавший воинам обходиться одной парой сапог.

Садреддин–бай перенес деньги от ростовщика к Пушку, а купленные кипы кож даже не успел взять: спрос упал, цена кувырком покатила к низу, как золотой динар в дервишескую чашу, — безвозвратно.

Свой дом Садреддин–баю уже не на что стало выкупить из заклада, нечем стало даже выплачивать нараставшую лихву ростовщикам, и старик, захватив лишь пару халатов да маленький древний коврик, навсегда ушел из–под отчего крова, коим еще недавно столь восхищался покойный Мулло Фаиз.

Но купцу надлежит торговать. Если купец бросает торговлю, он перестает быть купцом. Садреддин–бай устоял под тяжестью разорения, как ни грузна была тяжесть, — ни кости купца не треснули, ни мозги не помрачались: еще остались закупленные у Пушка кипы кож, хотя и потерявшие цену, но отличные, клейменные в Золотой Орде.

Садреддин–бай поселился в бедном, ветхом караван–сараяе у Батур–бая, по соседству с прежней кельей Мулло Камара. На той двери висел длинный, как рукоятка сабли, замок с крутой дужкой, — видно, Мулло Камар намеревался опять, возвратившись, поместиться здесь. У себя же в келье, на полках, Садреддин–бай сложил заветные кожи, для начала распоров лишь одну из кип.

Не было средств ни на то, чтоб снять лавку в Кожевенном ряду, ни даже на такую лавчонку, какую некогда снимал Сабля. С краю от бывшей Саблиной лавчонки, прямо на земле, Садреддин–бай расстелил маленький коврик и разложил на нем связки дратвы, деревянные каблуки, кожевенные обрезки, скупленные по дешевке у больших сапожников и потребные сапожникам мелким. Положил немного кож с золотоордынскими клеймами.

Когда по всему базару цены упали до пятидесяти, Садреддин–бай отдавал свои за сорок девять. Когда сползли до тридцати, один Садреддин–бай не побоялся просить за кипу по двадцать восемь.

Хотя еще и не бойко шла торговля, но Садреддин–бай уже торговал. Не прошло и недели, — весь базар знал, что дратву, и каблуки, и обрезки дешевле всех можно купить у Садреддин–бая. День ото дня у старика прибавлялось покупателей.

Кожевенный ряд и удивлялся и негодовал, что Садреддин–бай, прежде славившийся скупостью, прижимистый, неуступчивый, ныне сбивает цену во всем ряду, торгуя чуть что не в убыток себе, сидя, как нищий, на коврике у дороги.

Но все чаще и чаще покупатели останавливались у этого коврика. К этому коврику шли сапожники через весь ряд, минуя других торговцев: хотя и ненамного дешевле, чем у других, покупали они здесь припасы для своего ремесла, а все ж дешевле, и в сапожном деле эта ничтожная выгода имела свой вес.

А у Садреддин–бая расход на себя и на свою торговлю стал столь незначительным, что недобор в цене окупался возрастающим спросом и оборотом. Доходы старика, день ото дня возрастаая, намного превышали его повседневный расход.

Торговое колесо снова начинало крутиться в его сухих, цепких, неустанных руках.

* * *

Не раз за эти дни спускался Тимур по узкой лестнице в полутьму дворцового подземелья.

Одного за другим ставили перед повелителем оборванных, полуголых, усталых людей, и Тимур сам

спрашивал их, как попали они на караванную дорогу, не из деревни ли Кургана шли; где жили, что делали...

Одни говорили, что шли на базар; другие клялись, что направлялись проведать родных в Самарканде; третьи отмалчивались, и этих били бичами, перетягивали ремнями, а они кричали от боли или неожиданно умирали, так и не сказав ничего занятного.

— Эти вот небось разбойники! — говорили о них палачи, кланяясь повелителю после того, как уже ничего нельзя было выпытать у онемевших жертв.

И слова палачей понемногу успокаивали Тимура.

В один из дней перед повелителем стоял худой, оборванный человек со странной рыжей бородой, расплзшейся по груди несколькими вьющимися струями. Синие его глаза, обведенные красным ободком бессонных век, смотрели на Тимура не то с укором, не то с удивлением.

— Дограбился? — спросил Тимур.

— Кого?

Тимура удивило, что узник разговаривает с ним независимо, будто они двое собеседников на базаре и как бы торопясь закончить наскучивший разговор. А Тимур только собрался начать этот разговор.

— Дограбился? Попался?

— Какой грабеж? Там курица, тут пара арбузов. Сам небось знаешь, двух арбузов в одной руке не унесешь. Вот и жил помаленьку. Что за грабеж! Грабят с оружием, людей режут, золото загребают, — тогда грабеж. А у меня мелкое дело.

— Сознался?

— А я и не отпирался. Как меня спросили, я сразу отвечал: там курицу, тут арбуз либо дыню, — случалось, на то и большая дорога.

— А как на Курганскую дорогу попал?

— На базар шел.

— На какой?

— На Самарканд целился.

— Зачем?

— По тому же делу.

— Грабить?

— Да не грабеж это! Я же говорю: это не грабеж.

— А караван встречал?

— Было дело. Десять, а может, и пятнадцать караванов прошло, пока сюда шел.

— Грабил?

— Куда мне! Разбойник я, что ли? Я по мелочам. На караван напасть сила нужна, вооруженье, сподвижники.

— Набрал бы!

— Сподвижников? Откуда? Князь я, что ли? Тимур я, что ли?

— Как ты сказал?

— Власти во мне нет, говорю, сподвижников собирать.

— А о Тимуре ты как сказал?

— Он большой человек, княжеский. Ему что!

— Ты с кем говоришь?

— Тут темно, не разгляжу. Со мной тут за эту неделю столько разговоров наразговаривали, я и не помню, с кем только не говорил.

— Не сознаешься?

— В чем?

— В ограблении каравана.

— Нет. Не мое дело. На караван не замахивался. Я за то берусь, что мне по плечу, тем и кормлюсь.

— А если б другой корм нашелся?

— Я не прочь. Была б жизнь полегче.

— Сам откуда?

— С гор. Матчу знаешь?

— Оттуда?

— С нее.

Тимур спросил стража:

— На нем какое оружие было?

— Ничего не захватили. Нож для дынь, небольшой.

— Где он у него был?

— В чехле на поясе.

— Злодеи днем оружия снаружи не носят. Днем оружие прятать надо. Если нож днем был на виду — это не оружие, — сказал Тимур и снова спросил у горца: — Давно воруеть?

— С тех пор как из дому ушел.

— А дома?

Неожиданно для Тимура узник засмеялся. Вопрос показался горцу наивным, а может быть, и глупым.

— Что ж украдешь у нас в Матче? Камень? Или дерево? Там на семью одно дерево шелковичное есть, ягоды собирают, сушат, толкут, муку водой размочат, тем и питаются. А то и сухую муку жуют. А больше ничего нет. Камень! Кругом камень. У кого два дерева на семью, те богаче живут, а и у тех украсть нечего.

— Как зовут?

— Деревню?

— Тебя.

— Пулат—Шо.

Тимур приказал стражу:

— Пусти его. Пускай убирается.

И велел ввести следующего.

Тимур заметил, как темен этот представший перед ним человек. Так смугло было его лицо, что его смуглота казалась синеватой. Синей чернью отливали его длинные волосы, его борода; черны были и его губы. И одежда его — халат и штаны — тоже была черной, из черной шерсти. Но халат свой он надел прямо на голое тело.

— Где твоя рубаха?

— Сопрела по дороге, господин.

— Далеко шел?

— Из-под Дамаска.

— Араб?

— Перс.

— Зачем шел?

— Работать.

— Кем?

— Бумагу делать.

— Куда шел?

— В Самарканд.

— Здесь сами бумагу делают.

— Не так. Я по-новому умею. Быстрее, тоньше. Не столь шерстит.

— Шерстит? — не понял Тимур.

— Моя глаже.

— А!.. Ну, ну. А караван встречал?

— Много караванов.

— Где?

— По всей дороге.

— А под Курганом?

— В Кургане я ночевал. Я за эту дорогу сто раз ночевал, господин, но здесь все спрашивают меня про караван в Кургане. Я говорил-говорил. И опять одно и то же: «Курган — караван, караван — Курган». Пока я спал в Кургане, караванов не видел и не слышал. Когда проснулся, в деревне стоял ограбленный караван, да я его не видел, к нему стражи никого не подпускали. Грозные стражи, господин. Но я разумею так: стражам надлежит никого не допускать к каравану до ограбления, а если он уже ограблен, поздно его охранять!

И, сказав это, перс сверкнул двумя полумесяцами ярко-белых зрачков. Улыбнулся ли он глазами, в гневе ли так взглянул, Тимур не успел понять: в лице узника снова все стало темным.

— Как ты зашел к нам?

— Через Аму, господин. На переправе всех пускают в эту страну и никого не выпускают отсюда. Если узнают, что идет сюда купец или ремесленник, сразу пускают.

— Да, — подтвердил Тимур, — такой указ был. Чтобы богатела людьми наша страна. Чтобы не оскудевала, — не выпускают.

— А когда я пошел, вдруг меня схватили. Зачем было пускать, если здесь нельзя ходить?

— Можно ходить. А грабить нельзя!

— Тогда надо грабителей хватать.

— Ты вздумал нас учить?

— Охотно, господин. У вас хорошо делают бумагу. А моя лучше. Сам хочу делать и учить могу.

— Посмотрим, что ты за мастер! — решил Тимур и велел отвести перса в дворцовые мастерские, где уже много лет толкли в деревянных ступах, разливали на ситах, сушили, проклеивали славную самаркандскую бумагу из шелковых отходов.

Туда повели черного перса.

Из полутьмы темницы в полутьму мастерской, из неволи в рабство, откуда уже не было иного исхода, кроме конечного, одного — в полную тьму могилы.

К повелителю на допрос ввели следующего узника.

И снова Тимур спрашивал, торопясь допытаться до истины, кто ограбил караван в Кургане.

Он не мог уйти из Самарканда, не разведав, велика ли была шайка, пограбившая караван. Надо было успокоиться, прежде чем уйти. А идти было пора.

И снова, и снова, то спрашивая, то пытая, он ставил перед собой людей, схваченных на больших караванных дорогах, и всех тех, кто попался воинам на пути из Кургана.

Но сколько ни спускался он к узникам в темницу, не было ни одного сознавшегося в ограблении верблюдов Геворка Пушка.

И понемногу Тимур успокоился: если б была там большая или крепкая ватага грабителей, кто-нибудь выдал бы ее.

Тимур говорил царевичу:

— Караван ограбили дерзкие грабители. Дерзкие, но только грабители. Награбились, теперь успокоились, пока награбленного не проедят. Опасен тот грабитель, который грабит ради грабежа, а не ради утробы. Там были дерзкие грабители и беспечная охрана. Ты тут займись, Мухаммед, — суров будь с той охраной, а караванщиков остереги на будущее время, чтоб брали надежную охрану.

— Из той охраны воины до того оробели, что разбежались. Я велел сыскать их. Да их нигде нет!

— Сыщи. А попадутся, накажи; на удивленье накажи! А я пойду. Мне пора. Ты тут смотри!..

— Я смотрю, дедушка!

— И кто б ни был — выйдет из-под рук, хватай! Понял? И никакой жалости! Но с толком!

И так, разговаривая, опять поднимались они крутыми ступенями, по узкому горлу винтовой каменной лестницы, наверх во дворец.

* * *

Мухаммед-Султан послал за Аяром.

Пока по двору искали гонца, Мухаммед смотрел с высокой террасы на дорогу в город.

Вдали, мимо дворца, по большой дороге от Игольниковых ворот в город везли на арбах, в мешках и в

корзинах, вьюками на ослах, в глубоких плетенках и на лошадях в переметных сумах обильные урожаи пригородных садов, бахчей, огородов.

На десятки верст вокруг Самарканда созревал виноград в бесчисленных виноградниках, — где на высоких переколадинах, свесив над дорожками тяжелые гроздья, а где — на тонких, упругих дугах, а ближе к горам — расстеленный по земле.

С высоких опор свисали длинные ветви, отяжеленные плодами. Пахло в садах яблоками и айвой, сухим запахом груш. Только синие сливы почти не пахли, подернутые голубым загаром.

На бахчах поспели дыни. Их женственное благоуханье в эти дни наполняло базары. Дынями пахло на городских улицах, в глиняных переулках, во дворах и в комнатах.

Мухаммед–Султан смотрел вниз с террасы, как мирная жизнь струилась мимо.

Крестьяне везли на базар свои урожаи. Дыни высывались из мешков и корзин: то длинные, полосатые; то круглые, желтые; то гладкие, пятнистые, крапчатые; то ребристые мутно–зеленые; то голубоватые, зимние, с шершавой кожурой, которые всю зиму висят под кровлями в камышовых сетках, — чем дольше висят, тем слаще становятся. И у каждой — свой неповторимый вкус и запах. Пахнут дыни миндалем и ванилью, мятой или хвоей.

За двадцать семь лет своей жизни Мухаммед–Султан проехал много дорог, крепко сидя в седле. Много стран проехал, городов и садов, деревень, степей, гор... И там, куда прибывал, начинались битвы или иные воинские дела: укрепление городов, сборы войск, наказание непокорных. Мирный труд земледельца он считал почти забавой, недостойной мужественных людей: человек должен быть воином, ибо чем больше воинских доблестей в человеке, тем почтеннее человек и тем крепче его власть.

К этому Мухаммед–Султана приучил дед. Внук послушно, без колебаний усваивал поучения деда.

Но порой случалось, что, позабыв дедушкины наставления, долговязый, сутуловатый царевич завистливо смотрел на таких вот крестьян, заскоруждой рукой понукавших ослов, бивших землю острыми мотыгами, блистающими на солнце, увязавших босыми ногами в вязкой, ласковой глине, когда направляют воду на свои поля.

Они жили, осененные спокойным небом. Им некуда было спешить со своей зеленой, ими выхоленной земли. Их оведали ветры, полные запахами плодов, цветов, ботвы, сырой земли. Вокруг цвели деревья или гряды, ворковали ручьи или голуби, и вся эта земля, далеко окрест покрытая рядами гряд или купами садов, вся она была украшена, пробуждена, оплодотворена ударами круглых, сверкающих мотыг, словно в них скрывалась животворящая колдовская сила, какой не было ни в молниеносных ударах сабли, ни в могучих ударах копья, ни в магических боевых кличах, коим предназначено не порождать, а пресекать жизнь.

С мирной земли ехали крестьяне по большой дороге на базар. Сентябрьское утро сияло над ними белым, прозрачным светом, а царевич смотрел на солнечную дорогу из сумеречной тени дворца и разглядывал, удивляясь, как красив на вороном коне простой желтый сыромятный ремень сбруи, как забавно выглядит осел, весь серый, как мышонок, но с черными ушами, длинными, как у зайца. Как статен старик, царственно шествующий с пастушеской палкой, хотя халат старика обтрепан до колен и на плече распоролся. Как шаловливы и смелы ребята, бегущие, играя, среди лошадей и арб.

Мухаммед–Султан был скуп на слова и на улыбки, воспитанный под надзором деда и считавший деда примером во всем — в повадках, в походке, во взглядах на все, на что бы ни взглядывал.

Он и сейчас смотрел на дорогу сурово, словно боялся показать людям ласковое лицо, хотя все эти прохожие и проезжие нравились ему, влекли его. Лицо его оставалось суровым, хотя никому с дороги он

не был виден, да и мало кто вглядывался в этот надменный дом, мало кто не спешил миновать поскорее эту хмурую крепость, скупую на милости и щедрую на кары, мало кто думал о жителях этой крепости. Люди проходили, влекомые на базар своими нуждами, горестями, надеждами.

Мухаммед–Султан смотрел на дорогу сурово, но пристально, был увлечен всем, что возникало на дороге и проходило, забыв не только о комнате, откуда он смотрел, но и о себе самом, и не слышал, что уже давно позади него у входа молча стоит Аяр.

Мухаммед–Султан, старший внук повелителя, вырос, чуждаясь общих забав с другими царевичами, своими младшими братьями, откровенных разговоров с кем–либо из своих ровесников. Он ни с кем не делился ни мечтами, хотя мечтал о многом; ни мыслями, хотя нередко задумывался над тем, что видел; ни радостями, хотя случалось, что удачи радовали его. Тем суровее и молчаливее становился он всякий раз, чем сильнее было в нем желание поделиться своими чувствами. Постепенно раздумья и склонности его стали тайными, а тайные мечты и раздумья сильнее владеют человеком, чем чувства открытые и высказанные.

И как ни замкнуто, как ни сурово бывало его лицо при встречах с близкими, они не столько разумом угадывали, сколько сердцем чувствовали в Мухаммеде его глубоко затаенную жизнь. Дед его чувствовал и предостерегал своего наследника, требуя от него суровости, строгости, жестокости к подчиненным. Мать его, Севин–бей, чувствовала в своем старшем сыне Мухаммеде, что цела, не растрочена, хоть и затаена в нем, та душевная нежность, какую в младенческие годы он еще не умел скрывать. Братья чувствовали в нем ту заботливую, любовную приязнь к ним, с которой он их оберегал, опекал или одаривал. Лишь изредка прорывались наружу тайные чувства Мухаммед–Султана, лишь тогда, когда он напевал, подыгрывая себе на бубне. Ему казалось, что не им сложенный напев и не им сочиненные слова надежно скрывают его затаенные чувства. Но у хищников не бывает такого горячего и чистого голоса, и если б его сердце было мертво, оно не трепетало бы от простых, печальных, ласковых слов, когда он вспоминал старинные песни.

Среди проезжих на дороге показался небольшой отряд воинов, возвращавшихся откуда–то в крепость. Мухаммед–Султан вдруг опомнился и обернулся.

Аяр стоял неподвижно, ожидая Мухаммед–Султана, и царевич взглянул на гонца суровее, чем всегда:

— Ты это что же?..

Аяр не знал, к чему относится вопрос царевича, и, чуть склонив голову, молчал.

— Оплошал!

— Знать бы чем, государь–царевич.

— Гератского гонца конь растрепал. И ладно бы, кого кони не треплют? Да вот смех: почему у мертвеца правая нога в левом стремени застряла? Задом наперед он, что ли, скакал? А?

Сердце Аяра остановилось. Лоб разом стал влажен и холоден. Но ответил он, не отводя глаз от царевича:

— Спешили, государь. Дело днем было, а дело темное, чужих глаз опасались, спешили.

— Чужие глаза и приметили. Темя разбито, — ладно: когда конь волок, гонец теменем о камень ударился. А про стремя как объяснишь?

— Оплошал.

— Я это и сказал тебе: оплошал. А разве я буду тебя обманывать?

Мухаммед–Султан помолчал.

Аяр стоял, твердо зная, что по порядку заслужил тайной и скорой кары. Если б им обменяться местами, если б приговор говорил Аяр, он сказал бы: «Обезглавить гонца, чтоб не торчала среди царских слуг оплошавшая голова; чтоб язык гонца — сохрани бог! — не смолот лишнего слова».

Аяру и в голову не приходило каяться, просить пощады и милости: государственное дело, площадь нельзя.

Страха на душе не было: десятки раз кидался Аяр в битвы, кидался на смерть, уцелевал. Тут не уцелеть.

Он стоял, ожидая последнего слова царевича. Готовый сейчас же, как прежде вскакивал в седло и мчался на край света, выйти. Не к конюху, а к палачу. И поскакать столь же горячо и нетерпеливо не на край света, а на тот свет.

Мухаммед–Султан, исподлобья глядя в затвердевшие глаза Аяра, сказал:

— Ступай.

— Куда, государь? — удивился Аяр.

— К себе. Отдыхай.

— Вот как?

— Поскачешь в Герат.

Мухаммед–Султан, отвернувшись, сразу забыл об Аяре, больше не замечая гонца, не знавшего, благодарить ли царевича за незаслуженную милость.

Мухаммед–Султан забыл об Аяре, удивленный: в боковой двери затаилась, прислонившись к темной створке, маленькая девочка в алой рубашке, глядя карими пытливыми глазами.

Мухаммед–Султан, улыбнувшись, пошел к ней:

— Ты что?

Она прижалась щекой к его руке и промолчала.

— Ты зачем сюда?

Она сжала в ладони его палец, но ладонь ее была меньше его пальца.

— Как ты сюда попала?

— С мамой.

— Давно?

— Сейчас.

— Мама где?

— У госпожи бабушки.

— А ты?

— Вас искала.

— Пойдем.

Пятилетнюю девочку звали Угэ–бика. Она была старшей дочкой Мухаммед–Султана, и он ее понес, обеими руками прижимая к груди, а она, с высоты отцовского роста, смотрела на богатые комнаты дворца, куда впервые решила пройти сама, без матери.

Воины застывали в поклоне, когда царевич проходил мимо со своей теплой, нежной ношей.

Он проходил, раздумывая: зачем его жена приехала в неурочное время к Сарай–Мульк–ханым? Сама приехала? Или ее позвали? А если позвали, — зачем? Что случилось?

— Что случилось, Угэ–бика? Зачем приехали?

— Нас позвала госпожа бабушка.

— Кого?

— Меня и маму.

— Зачем?

— Мне не успели сказать... Я ушла к вам.

Мухаммед–Султан заторопился, но до покоев цариц не дошел, — его задержал величественный Музаффар–аддин:

— Государь–царевич!

Прижимая к себе дочку, Мухаммед–Султан взглянул на вельможу, назначенного привратником первой двери после отъезда Мурат–хана на север.

— Слушаю.

— К повелителю прибыл купец из Сарая.

— Мало ли купцов...

— Свой.

— Кто?

— Тугай–бек, джагатай.

— Позовите.

Мухаммед–Султан опустил дочку и подозвал одного из стражей:

— Проводи царевну до порога великой госпожи.

Обиженная, что отец сам не донес ее до бабушки, девочка пошла, не оглядываясь на воина.

Пятилетняя Угэ–бика, вся изукрашенная старинными изделиями монгольских мастеров, видно наследством от бабушек, — серьгами, запястьями, ожерельями, с воткнутыми в золотую трубочку филиновыми перьями на шапке, охраняющими от сглаза, сердито поглядывала из–под вычерненных бровей бойкими глазами, подняв подрумяненное и подбеленное круглое личико.

Она, быстро топоча маленькими ногами, шла с достоинством пожилой царицы, и воин, следуя за ней, едва поспевал, грузно и грубо шагая от непривычки ходить пешком.

Мухаммед–Султан стоял, глядя, как по каменной лестнице к нему торопливо поднимается сарайский купец.

Купец был сед, но борода его, как это часто случалось у родовитых джагатаев, росла плохо: жесткие пучки волос пробились из–под нижней губы, на скулах, на горле, но в единую бороду не соединились, а белели порознь на очень смуглом, плотном, лоснящемся лице. Темно–зеленый халат тесно облегал его плечи, туго опоясанный по бедрам жгутом красного кушака.

Вся эта одежда была хорошо знакома Мухаммед–Султану: черная, круглая, гладкая шапочка на голове, желтые сапоги на высоком каблуке. И хотя царевич не видел каблуков купца, но знал, что у желтых

сапог задник зеленый, а каблук окован медными гвоздиками, — так одевались купцы в Орде. Но этот сарайский купец был не ордынцем, а джагатаем, из того почтенного рода барласов, из коего происходил сам Тимур.

— Есть вести? — негромко спросил царевич, едва ответив на учтивые поклоны купца.

— Затем и прискакал!

— Пойдем!

Мухаммед–Султан повел Тугай–бека в те дальние покои, куда не допускали никого, где уединялся повелитель, обособившись от сподвижников, необходимых в походах и назойливых здесь.

Оставив Тугай–бека ждать за дверью, царевич вошел к Тимуру.

Улугбек читал дедушке какую–то книгу, слегка нараспев, как принято у придворных чтецов, но Тимур едва ли вникал в изысканные фарсидские рассуждения: он сидел, опустив голову, сощурился глазами, думая о чем–то своем и чертя по ковру пальцем, будто писал. Когда палец неграмотного повелителя вычерчивал на ковре непонятные знаки, это означало, что повелитель чем–то обеспокоен, ищет решения какой–то задачи, о которой не решается никому сказать, угнетен заботой, коей ни с кем не желает поделиться, остерегается опасности, которую еще не знает, как отвратить.

Улугбек читал, и, видно, эта тягучая, плавная книжная речь помогала старику спокойно думать.

Мухаммед–Султан знал: раздумий Тимура не следует прерывать.

Но решился:

— Из Орды, из Сарая, Тугай–бек барлас, проводчик, прибыл, дедушка.

Тимур рывком поднял к царевичу строгое лицо, а рука, только что в раздумье чертившая по ковру, сжалась в кулак.

— А что?

— Дознаться?

Тимур скосил глаза в сторону, будто стремительно оглядел весь длинный путь до Сарая, будто обшарил все сарайские закоулки и все ханство ордынское и, как комок дерна, опрокинул всю Орду навзничь, оглядел в ней все корешки и опять поставил тот дерн на место:

— Зови; пускай здесь говорит.

Едва переступив порог, Тугай–бек упал на колени и на коленях приблизился к краю ковра, на котором сидел Тимур.

Коленопреклоненный, он неподвижно ждал, пока повелитель разглядывал его, своего джагатая.

— Ну?

— Опять Орда с москвитянами билась.

— Давно?

— Едва узнали, я сюда поспешил.

— Далеко?

— На Ворскле–реке.

— И как?

— Тяжело Орде. Но удача есть: князя у москвитян убили.

- Знатного или ратного?
- Ратного. Андрея. Князя Полоцкого.
- Большой князь.
- Нынешней великой княгине Московской, Софье, дядя.
- Не тем славен. Он на Куликово с Донским ходил.

Еще лет пятнадцать назад хан Тохтамыш рассказывал Тимуру о Куликовской битве, называл имена ордынских князей и царевичей, павших в той битве под русскими мечами, называл и русских воевод, со славой порубивших великую ордынскую силу, скинувших ордынцев в Дон–реку.

Рассказывал Тохтамыш и о братьях Ольгердовичах. Андрей Ольгердович Полоцкий бился у Донского на правом крыле, когда москвитяне разбили лучших воевод ордынских на реке Воже.

Андрей Ольгердович на совете в Чернаве призывал русских князей перейти Дон, первыми напасть на Мамаево войско. Андрей Ольгердович со своим братом Дмитрием Брянским бился и на Куликовом поле во главе Запасного полка.

Крепко служил Москве Андрей Полоцкий, не щадя жизни. Годы его давно перевалили на восьмой десяток, а он не выпускал меча из рук, пока не лег на песчаном мысу Ворсклы–реки, разбросав по заливным лугам посеченные напоследок ордынские головы.

Не то Тимуру дорого, что Орда свалила этого бесстрашного литвина, славного русского богатыря. То дорого Тимуру, что не стихают битвы между Русью и Ордой: доколе они бьются между собою, доколе не стихнет их вражда навеки, доколе не ударит Орда в спину Тимура. Без Тимура кто даст ей оружия и денег на борьбу с Москвой, кто поможет ей подняться после разгромов, чтоб снова кинуться на москвитян! С кем стали бы торговать ордынцы, куда сбывали бы добычу своих набегов, товары, закупленные на русских торжищах, если б не было самаркандского базара.

- Кто же от кого бежал?
- Ордынцы, великий государь! Их мало было.
- Вот уж двадцатый год пошел, как ордынцы от москвитян бегут, сколько б ни было тех ордынцев, С Вожи–реки, с Дона–реки, с Москвы–реки, куда б ни добежали, где б ни вынули сабель, назад бегут, побросавши свои пожитки. А надо, чтобы опять сабли точили да опять набегали на Русь.

— Я, великий государь, до ушей хана не раз доносил: наши купцы, мол, помогут; денег соберем, мол; оружия в Самарканде закупим; только, мол, не уступайте, не миритесь, не то Русь сама на вас наступит. А ордынских мурз понукал: не робейте, разбитую морду утрите да опять идите, не то Русь сама ее вам вытрет, коли голову с вас снесет. Купцам тот порядок выгоден — на Руси покупают, нам вдвое дороже продают. Не торгуй они промежду Москвой и Самаркандом, чем бы им было торговать? Своего товара у них нет. Не купцы они, а барышники, великий государь.

— Дело ремесленников — делать товар, дело купцов — продавать товар. Купцам нет дела до рук, делавших товары. Ни ордынским, ни нашим, ни русским.

- А мне думалось: москвитяне на своем природном богатстве наживаются; наши самаркандские...

Но Тугай–бек спохватился, сообразив: самаркандские на том богатеют, что мирозавоевательные мечи Тимура из чужих сундуков мечут, и смолк, замялся.

Тимур сказал:

- Орда не станет нам мешать, доколе крепка Москва. А Москва крепка!

И кулак Тимура разжался.

Будто сбросив мешавшее дышать одеяло, он глубоко, облегченно вздохнул и повеселел.

Повелитель милостиво глянул на Тугай–бека:

— Сед стал.

— Легко ли, великий государь, — более десяти лет в Сарае.

— Торговать тяжело?

— Тяжело купцом притворяться. Везде глаза да уши. Живу, глаз не смыкая, уши наострив, без отдыха десять лет!

— Сюда неприметно ли выбрался?

— Товар повез.

— Прибылен ли товар?

— Разоренье: ордынская кожа. Вез–вез, а она тут нынче нипочем. Одна надежда: привез меха из русских лесов, через Великий Булгар закупленные.

— Великий?

— Нынче они свой город так называть начали. Кончилась их межусобица, Сувар–город смирился. Булгар поднялся.

— Велик?

— Мастерами знатен. Медники, литейщики, кузнецы. Всякие ремесленники. И книги пишут. Народ к Руси тянет, да хан не велит. Золотой Орде нынче свой народ нелегко держать. Булгарцы — исстари купцы да в ремесле искусники. Таких хану держать трудней, чем темных скотоводов с нищими пахарями.

— Где им тяжелее, там легче нам! — веселел Тимур.

— Не та нынче Орда. Булгары голову подняли. Татарями, монгольским именем прозвались, а от монгольских, от Чингизовых обычаев вспять к отеческим, к булгарским тянут. Язык свой татарским именуют, а он у них прежний, булгарский. Хань свой род от Чингиз–хана, от Бату–хана, от Узбек–хана ведут, а указы нынче не Чингизовым, не монгольским языком, не монгольским письмом пишут, а булгарским языком. Вот и выходит, великий государь, — полтора века монголы владеют тем народом, землю их за свою почитают, города их ордынскими именуют, а народ как был, так и остался, сам по себе. Живой.

Тимура что–то кольнуло в словах испытанного проведчика, эти слова чем–то встревожили Завоевателя и Повелителя Мира, но радость, что Орда по–прежнему скована враждой и тяжбой с Москвою, что не у Тимура, а у ордынского хана своеволен и вольнолюбив народ, была устойчивей минутной горечи, над которой Тимур не успел задуматься.

Тимур веселел. Из тягостей и досад этой недели поднимался прежний, самоуверенный завоеватель, как из треснувшей скорлупы встает на ноги беркут, и расправляет крылья, и озирает зоркими глазами весь окоем до самого небосклона.

Он отпустил Тугай–бека и встал:

— Кличь, Мухаммед, вельмож. Я выйду к ним. Пора повидаться.

— А мы еще не дочитали, дедушка! — вскочил на ноги засидевшийся Улугбек, еще не веря, что наскучившее недельное сидение с дедом окончилось. — Разве не будем читать?

— Дочитаем, мальчик. В другом месте, в другой раз. Теперь иди к бабушке. Скажи, пускай собирается. В сад поедem, пировать будем.

— В сад! — вскрикнул Улугбек, кидаясь к двери, забыв на полу раскрытую книгу, забыв стопку чистой бумаги, чернильницу, тростнички — все, что было его хозяйством в эти дни, о чем немало заботился он во всю эту тягостную неделю.

Проскакивая мимо воинов, он стремился к тому порогу, коего не смели переступить ни воины караула, ни первейшие вельможи, — к порогу бабушки, в Садовый дворец.

А Тимуру принесли праздничные халаты, опоясывали его золотым поясом, готовя к выходу.

Вельможи во дворе, свыкнувшись с беспечным сидением на попонах, застигнутые царским зовом врасплах за праздными разговорами, оторопели, растерялись; чтобы собраться с мыслями, принялись отряхиваться, разглаживать смявшиеся халаты, расправлять бороды, никак не решаясь идти во дворец, сомневаясь, чего там ждать — милостей ли, гнева ли — после стольких дней ожидания.

Но опомнились и кинулись к дверям, едва заметили, что один или двое из вельмож уже вступают в дверь и могут первыми предстать перед очами повелителя, если остальные промешкают здесь.

И тогда, испугавшись своей нерасторопности, все сразу втиснулись в дверь, давя друг друга локтями, оттягивая передних за полы и за ворота халатов, опираясь на недавних собеседников, дабы самим протиснуться вперед.

Несколько человек застряло в дверях. Снаружи вталкивали их внутрь дворца, чтоб поскорее самим туда добраться.

Мухаммед–Султан, стоя посреди залы, смотрел на эту давку и сумятицу, ожидая, пока втиснутся наконец эти десятки властных сподвижников деда, сановных, знатных, степенных.

Кто–то из передних споткнулся о ковер.

Через него перевалилось двое других сподвижников, сбитых с ног усердием отставших.

Наконец все они, кто ползком, кто пятась, вытягивая из давки полы своих застрявших халатов, кто в размотавшейся и повисшей, как слоновый хобот, чалме, ввалились в залу.

Неподвижно и молча подождав, пока все они наконец встали по своим местам, пока кое–как выправились, царевич дал знак стражам открывать мерцающую перламутром дверь и неторопливо пошел навстречу деду.

* * *

Вельможи ханства рядами сидели на полу по всей огромной зале. На высоком седалище, украшенном резной слоновой костью, восседал Тимур, держа в руке платочек, расшитый синими звездами.

Кротким печальным голосом он спрашивал у вельмож о различных делах, и они отвечали ему негромко, участливые к печали, гнетущей их повелителя.

Но пронизательный, зоркий взгляд повелителя оглядывал каждого в этой зале, каждого хозяйственно оценивал, каждому предопределял место в задуманном деле.

Тихо было в зале, вельможи сидели на полу рядами, как на молитве в мечети, и каждый, едва уловив на себе взгляд повелителя, вздрагивал, и сжимался, и спешил услужливо улыбнуться Тимуру.

Не сразу сумел встать на затекшие ноги рыхлый ходжа Махмуд–Дауд, когда Тимур спросил:

— Благополучно ли подвигается строительство соборной мечети, брат Махмуд?

— По милости божией, от утра и до вечера трудимся.

— Я спросил не о том, сколько делали; я спросил, сколько сделали.

— Не щадя сил, государь!

Тимур поднес к глазам платочек, чтобы скрыть гнев.

И многие из вельмож скорбно вздохнули, дабы выразить сочувствие Тимуровой скорби.

— Что же... — вздохнул Тимур, — мы сами взглянем. Собирайтесь и поедem в сад.

И обширная зала, увенчанная высотой могучего купола, опустела. Ласточки, залетевшие в окна, удивленно промчались через весь ее простор, и свист их казался нестерпимо громким под гулкими сводами. Ласточки кружились по зале, вылетали, возвращались веселыми стайками, то кидались в высоту под своды, то стремительно опускались к ковру.

Может быть, старые ласточки, собираясь отсюда в теплые страны, хотели показать молодым красоту сокровищ покидаемой родины.

Но сокровищ родины не было здесь: огромный ковер, распростертый по всему полу, выткали девичьи пальцы мастериц Ирана; некогда он устилал полы пятничной мечети Исфахана и с превеликим трудом был перевезен завоевателю в Синий Дворец. Над иранскими газелями и розами, над иранскими барсами и попугаями проносились самаркандские ласточки. Индийские резчики создали высокое седалище, из делийского храма перенесенное завоевателю в Синий Дворец. Азербайджанские зодчие, привезенные из Тебриза, изукрашили высокие своды залы глазурью, полосатыми столбиками, изразцовыми нишами, будто там, под куполом, прилепился целый город, сказочный город с беседками, с вазами, полными цветов, с темной синевою, казавшейся бездонной. Мечтательному взгляду чудилось, что оттуда, с недостижимой высоты, глядят вниз длиннобровые, круглолицые красавицы, таясь за полосатыми витыми колонками, за ветвями, за кустами цветов.

Обманутые ласточки взлетали туда, но крылья их скользили по гладкой глазури, и вокруг сияли только камни, оживленные руками пленников.

* * *

Проезжая из дворца к строительству, Тимур заметил, что купцы успели приготовиться к его приезду, — дорогу устлали ковры, кони шли через базар неслышно, словно шагали по облакам. В красных рядах над лавками висели полотнища нарядных тканей, кожевенники выставили тисненные золотом кожи, медники вывесили сотни чеканных подносов и кувшинов. Народ принарядился, чтобы, теснясь вдоль улиц позади стражей, с честью пропустить через базар защитника самаркандской торговли.

Тимур милостиво смотрел на купцов, примечая среди них то одного, то другого из тех, что запомнились ему по прежним поездкам, что попадались ему на глаза в прежние годы.

Он встревожился, когда в одной из харчевен приметил нескольких воинов. Воины забрались туда, позарившись на кашгарскую еду, а теперь притаились за купеческими спинами, боясь попасть на глаза своим военачальникам. Тимур опознал их по косам, свисавшим из-под шапок, по серьгам в ушах. Тимур успокоился, распознав по длинным усам, что воины эти — барласы, коим разрешалось многое из того, что запрещалось остальным воинам. Блюстители благочестия втайне считали предосудительными для мусульман многие повадки Тимуровых воинов, а барласов и не считали за мусульман, но предусмотрительно помалкивали: своя голова никому не мешает!

Правоверным мусульманам надлежало брить головы, дабы не уподобляться нечестивым персам, а воины Тимура носили на монгольский лад косы. Надлежало подстригать усы над губой, но барласы и этим

правилом пренебрегали, да и сам Тимур в походах не подстригал усов.

Благочестивым людям Тимуровы воины казались дьяволами и язычниками, но сами воины считали себя истинными мусульманами, а язычниками звали своих противников, ибо Тимур нередко воодушевлял воинов благочестивыми возгласами. Слыша от повелителя, что Индия — страна язычников, воины веселее кидались там на любые дела. Слыша от блюстителей благочестия, что Иран — страна богоотступников, Тимурово войско всякую жестокость в Иране считало подвигом благочестия. И, славословя Тимура, поэты и ученые называли его Прибежищем Веры, Щитом Ислама, Колчаном Божьего Гнева и Мечом Справедливости. Свои походы Тимур называл священными войнами, и войска его часто несли над собой зеленые знамена защитников веры.

Бывало, что и супротивные войска выходили навстречу Тимуру под такими же зелеными знаменами, как случилось это при походе на Хорезм, когда Кейхосров, изменник, поднял зеленое знамя и шел, окруженный прославленными богословами и муллами.

И тогда битвы становились особенно жаркими, ибо обе стороны верили в свое священное предназначение.

Но еще с тех времен, когда под первым зеленым знаменем двинулись в поход первые арабские полководцы, это знамя не предвещало ни мира, ни милосердия, оно прикрывало корысть и разбой, под ним скрывались угнетение и жестокость, ибо его поднимали затем, чтоб, свергнув чужого тирана, отдать опустевшее место своему.

Тимур успокоился, в загулявших воинах узнав барласов: их отряды охраняли крепость и город, остальных же воинов Тимур запретил отпускать из воинских станов: он держал их наготове, лишь сам один зная тот день, когда пошлет их в поход. И лишь сам один он знал, как уже недалек тот долгожданный день.

Он выехал на то место базара, где еще недавно был Рисовый торг. Выехал — и остановился, удивленный: там, где он указал начать строительство, еще рыли ямы и забивали в их глубину камни и щебень основы. На большом просторе работали сотни землекопов, скрипели колеса арб, кричали надсмотрщики, подхлестывая строителей. Скатывали с арб тяжелые камни, катили их по земле и сбрасывали в глубину ям. В мешках выносили землю из тех ям, что еще не были дорыты. Люди не смели разговаривать между собой и трудились молча, покорные голосу десятников.

После полуденного зноя, слегка отдохнувшие, строители работали усердно. Под немигающим оком повелителя усердие их удвоилось. Мышцы напрягались на их полунагих телах, зубы обнажались на их напряженных лицах, когда тяжесть камней или ноши превосходила силу рук.

Но Тимур смотрел недовольно и удивленно: по другую сторону дороги тоже работали землекопы и носильщики. Там тоже еще рыли ямы и выносили наверх мешки или корзины с землей, но на отдельных участках уже трудились каменщики, уже стояли зодчие со своими угольниками, проверяя кладку. Эти работали быстрее, веселее, а строили они не соборную мечеть во имя господне, а мадрасу по прихоти великой госпожи Сарай-Мульк-ханым.

Дав ей согласие на постройку, он не думал, что столь проворно она сумеет приняться за дело, — а видно, зодчие уже подготовили ей чертеж той мадрасы, и нашлись главари строительства, и мастеров сыскали.

«А может, она сперва все подготовила, а потом спросила моего согласия? Знала, что не откажу! В свою власть верила!»

И Тимур уже не столько смотрел на свое строительство, сколько с тайной ненавистью приглядывался к работе ее мастеров. И ему казалось, что их усердие несказанно выше, что их прилежание, их резвость, их

веселье утешительны для нее, а ему обидны.

Но, ревниво косясь на зодчих с угольниками, на полуголых смуглых каменщиков, возводивших ряд за рядом кирпичную стену, молчал.

«А уж и кирпич где-то ей обжигают!» — думал он.

И наконец хмуро повернулся к ходже Махмуд-Дауду:

— Где же ты был раньше?

Ходжа не понял своего повелителя.

— Строить надо! Понял? — крикнул Тимур, с досадой глядя на этого послушного, но слишком важного вельможу. — Ямы роете? А где стены?

— Сперва подоснову крепим.

— Давно укрепили бы!

— Пока мы здесь ямы роем да подоснову крепим, по другим местам кирпичи готовят. Известь подвозят. В горы народ послан камни гранить. Мраморы добывать. У нас все делают по порядку — одно кончим, к тому дню другое готово будет. От зари до зари работаем.

— Вели смолы запасти да факелы палить, чтоб до зари, затемно начинать. А работать не до заката, а до ночи. Понял?

— Исполним, государь.

— То-то! Мне некогда ждать. Мне строить надо.

Тогда ходжа Махмуд, давно приметивший завистливые взгляды повелителя в сторону строившейся мадрасы, решился заметить:

— Наша великая госпожа мадрасу строит. Слава и честь великой госпоже. Но людям у нее легко: кормит их власть. Отдых им дает. Частыми наездами ободряет...

— А откуда кирпич берет?

— При сносе зданий на базаре весь старый кирпич приказала скупить. Пока свежий ей обжигают, старым обходится.

— А почему ты не скупил?

— Старый вниз не годится. Вниз надо крепкий класть.

— А ей старый кладут!

— Ей и ямы вырыли неглубоко. Такое строение недолго простоит, тяжести верхних рядов не выдержит. Так зодчие говорят, государь.

Тимур повеселел от мысли: «Строит-строит, а оно — трах! — и развалится!»

Он уже веселее глянул на расторопных строителей мадрасы.

И подумал, тоже не без тайного смеха: «Мадрасу строить начала, а могилку себе рыть не торопится!»

И досада на Сарай-Мульк-ханым сменялась дружелюбным раздумьем обо всей ее затее: «Строит! Хочет по себе память оставить. И ведь распорядительна! Зодчих сама нашла, старый кирпич скупить догадалась!..»

Он сознавал, что уже гордится ею, своей старой, беспокойной, деловитой женой. Она ему по плечу! Она с честью несет тяжелое бремя его жены, великой госпожи, о которой шепотом рассказывают всякие

небылицы по всему народу, по всей земле, по всему миру, среди друзей и среди врагов.

«Среди друзей? — задумался он, глядя, как четверо чернокожих силачей катят перед собой огромный неуклюжий камень. — А есть ли друзья?»

И он повторил ходже Махмуд–Дауду:

— О факелах помни. Торопи людей. Чтоб зодчие не дремали! Я с тебя взыщу. Помни, Махмуд, — с тебя взыщу! Понял? Мне надо, чтоб хорошо работали, но чтоб скоро. Людей не жалея. Людей хватит. Люди затем господом созданы, чтоб славить имя господне. А соборная мечеть — это великое славословие господе нашему, милостивому, милосердному. Понял?

И, не дожидаясь, пока ходжа Махмуд–Дауд соберется с мыслями, он задорно вскинул старую голову и поехал между ямами своего строительства и еще невысокими, но уже растущими стенами царицыной мадрасы.

* * *

Тимур ехал неторопливо, из–под придорожных деревьев оглядывая пригороды, загородные дачи на холмах, обросшие пышными купами карагачей или прямыми, как мечи, тополями.

Холмы лоснились от иссохшей, будто позлащенной травы, но их заслоняли то густые сады, то голубоватые стены усадеб.

Конь шел, позвякивая серебром сбруи, покачивая гордо вскинутой головой, а Тимур сидел, как всегда, склонившись вперед и опустив неживую руку.

Чуть поотстав, по обе стороны дороги ехали стражи с круглыми, окованными медью щитами и в высоких шлемах, а позади растянулся длинный поезд его спутников.

Под Улугбеком сухощавый мышастый текинский конь шел непослушно, норовя вырваться вперед, а мальчику надлежало ехать позади Мухаммед–Султана, рядом с Халилем, и Улугбек всю дорогу был занят борьбой со своим норовистым, самолюбивым конем, боясь нарушить строгий порядок поезда.

Они ехали в Северный сад, или, как звали его еще, в Прохладный сад, благоустроенный года за два до того для дочери Мираншаха, сестры Халиля.

Улугбек не знал, что дедушка еще накануне распорядился, чтобы великая госпожа Сарай–Мулк–ханым вывезла цариц и всю семью за город. Мальчик мирно спал, когда старик среди ночи, поднявшись наверх из темницы, уверив себя, что разбой под Курганом удался грабителям не из–за их силы, а из–за беспечности караула, один прошел в соседний Садовый дворец, где помещались царицы, и велел великой госпоже везти их в Прохладный сад.

Тимур, возвеличивая, украшая, прославляя Самарканд, всегда тяготился городской жизнью. Ему не сиделось на месте, его тянуло с места на место, из сада в сад, из города в город, из страны в страну. Он мог долгими часами сидеть в седле, не зная усталости, когда многие из его спутников уже теряли силы и мечтали об отдыхе. Конь под ним уставал, но, пересев на свежего, Тимур мог снова ехать, глядя вокруг на земной простор.

Уехав наконец из Синего Дворца, он любовался пологими склонами иссохших за лето золотистых или розоватых холмов, глубиной неба, налившегося осенней синевой, темными кронами одиноких могучих деревьев.

Еще издали услышали рев труб и удары больших бубнов, — сад встречал хозяина.

Длинные медные трубы — карнаи, которыми перед битвой или после боя подавали знак войскам, ревели над трубачами, запрокинувшими головы в небо, чтобы выше возносился трубный гул.

Десяток трубачей в нарядных, ярких халатах то приседал под тяжестью труб, то, выпрямляясь, оглашал всю окрестность торжественным, зловещим, грозным ревом.

Бубны поддерживали этот рев, и казалось, стадо ревущих слонов скачет с тяжелым топотом навстречу хозяину.

Но сквозь эти грозные могучие гулы пробились задушевные песни свирелей, словно девичьи голоса.

И конь повелителя прошел по устланному коврами мостику через ручей в грузные каменные ворота Прохладного сада.

Между тесными рядами голубых тополей по узкой дороге Тимур проехал к дворцу.

Большие четырехугольные пруды, обрамленные белым мрамором, отражали густую синеву неба, а на воде плавали пунцовые яблоки.

Стая газелей пересекла дорожку, сверкнув белыми брюшками.

Огненные фазаны мелькнули в ярко-зеленой траве.

Тимур спустился с седла на руки подхвативших его слуг, и двое старых барласов, доживавших бурную жизнь в тишине этого сада, взяли повелителя под руки и бережно повели к высокому седалищу, осененному ветвями могучих чинаров.

Он оперся о подушку и оглядел сад.

От вековых деревьев кругом было много тени, но с севера сад был открыт ветрам, и туда, на север, с царского седалища открывался далекий простор, до самого неба.

Тимур заметил, что далеко, в глубине этого простора, время от времени поблескивая сталью оружия, проходит большое войско.

«Нур-аддин повел свой тюмень, — подумал Тимур, — рано вывел. Им приказано всю ночь идти. Устанут люди...»

Он поспешил отвести глаза от этой дали, чтоб другие не смотрели туда вслед за ним: не все столь зорки, как он; многие и не разглядят, кто это движется там в далеком далеке, а тем, что могут разглядеть, незачем туда вглядываться, — мало ли куда проходят войска; он один знает, куда им надо идти в этот день, когда сам он сел в тени Прохладного сада и просит гостей располагаться на большой круглой площадке, устланной плотными коврами и мягкими тюфячками.

Журчат и позвякивают струи водометов. Гости молчат, не смея нарушить тишину сада, пока молчит хозяин. Шелестят на свежем ветерке деревья. Прокричал удивленным голосом фазан.

— Отдыхайте! — сказал Тимур и, наломав лепешку, начал пир.

Певец, подыгрывая себе на бубне, запел, скрытый кустами шиповника.

Из-за длинного ряда цветущих роз вышли мальчики и, хлопнув в ладоши, пошли плясать древнюю пляску, гибкие и легкие, улыбаясь гостям. А бубны то четко отмеряли их шаг, то, гулко гудя, ободряли плясунов, то, замирая, чуть рокотали, словно выговаривали тайные слова.

Вдруг выскочили шуты в нелепых нарядах и, заспорив между собой, рассмешили гостей.

Несколько газелей, кем-то испуганных, промчались между пирующими по коврам и скрылись столь быстро, что некоторые из гостей переглянулись: «Не померещилось ли?»

В глубине сада, за деревьями, бухали барабаны и пели свирели. Улугбек, улучив время, пробрался туда.

Над поляной, окаймленной алыми цветами шалфея, высоко протянулся тугой канат, и старик канатоходец легко шел по своему тонкому, почти невидимому пути, словно по воздуху, вознося в небо тяжелый пестрый шест.

Неистовствовали свирели, ухал барабан, а старик шел над головами гостей, следивших за каждым движением канатоходца, и вдруг:

— Ах! — дрогнули зрители, когда неприметным движением старик сбросил себя с каната, но не сорвался вниз, а только сел на канат верхом, крепко держа перед собой свой тяжелый шест.

Улугбек прохаживался от поляны к поляне. Многие из почтенных гостей прогуливались с ним по саду.

На высоких ходулях плясали мальчики. Забавно вышагивали по земле их длинные палки, словно не мальчик наверху, а сами палки пляшут, ловко переходя между цветами; будто не мальчик ходулями, а эти разрисованные красные палки играют мальчиком, который наверху взмахивал руками и мерно постукивал, как кастаньетами, серыми камушками в красных неопятных руках.

Факир морочил голову гостям, показывая всякие хитрости с мотком веревок. То завязывал узелок и давал каждому проверить, крепко ли он завязан, а потом одним движением развязывал его. То разрезал протянутые веревки и, похлопав по разрезу ладонями, показывал эти веревки цельными, без следов разреза. То продергивал две веревки из рукава в рукав через халат и давал двоим гостям крепко держать за оба конца веревок, а сам спокойно снимал с этих веревок халат, и никто не мог понять, как это ему удавалось — снять халат, когда гости крепко держали оба конца веревок в своих руках.

Никто не мог понять хитростей факира, но Улугбек подумал: «Надо это понять! Это очень надо понять: факир умеет, а дедушка такого не умеет! Я научусь. Вот удивлю Ибрагима!»

Улугбек расхаживал по всему саду.

У боковых ворот, где помещалась стража, принимали горожан, вызванных сюда с базара. Прибывали ремесленники, купцы, разные люди, необходимые, чтобы гулянье в саду было веселым.

Здесь сгружали всякую поклажу, привезенную с базара в сад. Всякие припасы и диковины. Когда все это, разложенное на блюдах или на кожах, подается гостям, все становится одинаковым, а здесь каждая корзина была полна чем-то неповторимым и занимательным.

Улугбек разглядывал, сколь красивы горные куропатки с их тонко прорисованным, как на китайских шелках, опереньем, с коралловыми ногами и клювами. Даже убитые, они были нарядны, уложенные рядами в круглых корзинах.

Горные козы, пробитые стрелами охотников, испачканные почерневшей кровью, казалось, смотрели потускневшими глазами на нарядного царевича, безучастные к тем, кто их волок мимо, скинув с ослов на землю. Их рога, круто загнутые, как витки раковин, бились по земле.

Улугбек смотрел на поваров, окровавленными руками отбиравших дичь к ужину, на баранов, торопливо бежавших в угол сада, на бойню. На мешки с дынями, столь тяжелые, что рабы покряхтывали, пронося их мимо.

Прибывшие ремесленники, дружно помогая друг другу, несли какие-то громоздкие вьюки под деревья и на лужайки.

Улугбек ходил следом за ремесленниками смотреть, как они развязывали свою поклажу. Как развертывали непонятные вьюки и доставали редкости, привезенные, чтобы порадовать повелителя и подивить его гостей.

Быстро ловкими, умелыми руками люди строили беседки, странные, причудливые; растягивали

пестрые шелка и парусину над площадками, где готовились всякие забавы.

В другом конце сада устанавливали яркие драгоценные палатки для цариц и наложниц повелителя.

На глазах вырастал в саду причудливый город, где ни одно сооружение не повторяло другого. Где под раскидистыми ветвями сияли шатры из шелков индийских и гилянских, из китайской золототканой парчи или из иранских и хорезмийских ковров.

Ловкие руки мастеров сплетали шалаши из гибких ивовых прутьев или из золотистого камыша для тех, кому ночь покажется душной, кто пожелает ночевать в шалашах, где легче дышится и снятся забавные сны.

Выпустили стаю разноцветных попугаев, чтобы их оперенье мелькало в садовой зелени. И они, перекрикиваясь, вертелись на ветках все одного и того же дерева, не решаясь разлучиться в этом неизведанном лесу, полном неумолкаемых бубнов и свирелей, песен и плясок.

Улугбек шел все дальше и дальше по просторному саду.

Беседовавшие или развлекавшиеся вельможи вставали, приветствуя царевича, говорили ему ласковые слова, иногда учтиво просили прикоснуться к их лакомствам, и каждый придумывал что-нибудь веселое, чтобы потешить царевича.

Улугбек отвечал им шутками на шутки, а царедворцы запоминали его слова, чтобы, приукрасив, потом пересказывать их, распространяя по всей стране молву о поразительной тонкости ума и любезности этого мальчика, любимого внука могущественного Тимура.

Ранним утром Тимур из глубины дворца взглянул на сад.

Гости проснулись и, переговариваясь, готовились к утренней молитве мылись около прудов, расправляли сложенные на ночь халаты, повязывали чалмы, прохаживались под деревьями, но далеко не отходили, боясь опоздать к выходу повелителя.

Тимур не торопился, желая дать гостям время собраться к молитве. Сам он усердно молился лишь тогда, когда его молитву могли видеть люди. В это утро он жадно вдыхал сырой запах сада, запахи кипящего масла и жарящегося мяса. Сад готовился к празднику, и Тимуру хотелось праздновать, а не молиться.

Нехотя он наконец вышел на площадку перед дворцом и сам расстелил перед собой узкий молитвенный коврик.

Он стоял, пока за его спиной становились рядами его соратники и гости.

Сейид Береке вышел вперед читать молитву.

Но Тимур стоял, разглядывая коврик, вытканый в Дамаске, любуясь изображением Каабы.

Он думал: «Иранские девушки ткут лучше. Они ухитряются завязать... Сколько узелков? Рассказывали мне, при Улугбеке рассказывали. Надо его спросить, помнит ли? Памятлив! А иранские девушки...»

Опустив лицо к коврику, он размышлял об иранских девушках: прежде они ему нравились, теперь он их избегает. Он опустился на колени, повторяя все движения стоящего впереди сейида Береке.

«Не оплошают ли повара?.. — думал он. — Музаффар-аддин впервые распоряжается праздником, Мурат-хан умел, а этот не оплошал бы... Не осрамил бы перед гостями...»

Позади Тимура молились его старшие внуки — Мухаммед-Султан, Халиль-Султан и сын Тимуровой дочери Султан-Хусейн. Они стояли на молитве не в чалмах, а в шапках и в драгоценных тюбетейках, из-под тюбетеев на плечи спускались косы. У Султан-Хусейна в мочке сверкала серьга с большим голубым

алмазом. С царевичами рядом стоял хан Мавераннахра Султан–Махмуд–хан, тоже гордившийся своей длинной монгольской косой.

Косы носили и многие из гостей. Некоторые военачальники одевались в плотные, короткие, туго опоясанные кафтаны, обувались в сапоги на высоких каблуках, — все они мало напоминали благочестивых воинов веры, эти завоеватели мира, но блюстители благочестия величали их воинами ислама.

Едва сейид Береке воскликнул последние слова молитвы, Тимур повернулся к внукам и, опираясь на руку Мухаммед–Султана, пошел в сад.

Когда все расступились, пропуская повелителя, Тимур сказал царевичу:

— Выспроси у Шах–Мелика, каковы вести — далеко ли прошли войска. Дошли они до своих мест?

Мухаммед–Султан пошел в сторону, будто любясь розами, а Тимур, идя между рядами могучих деревьев, разглядывал весь этот призрачный город, выросший в саду.

Самаркандские ремесленники силились превзойти один другого, изощряясь друг перед другом хитрыми затеями, удивляя друг друга расточительством и тем славя каждый свое сословие.

Пекари воздвигли беседку из печеного хлеба, украшенную причудливыми завитками и узорами из теста. Она была на диво сооружена, словно не хлебопеки ее испекли, а искусные зодчие.

Корзинщики сплели из камыша слона, поставили на нем беседку, и слон шел, управляемый спрятанными внутри мастерами, а в беседке наверху дудошники играли на камышовых свирелях. И во всем этом слоне не было ни единого узелка, ни единой нитки, ни клея, — все это было сплетено из одного лишь камыша, камышом скреплено, камышом украшено. Даже пышный султан над головой слона был лишь камышовой метелкой.

Скорняки сшили столь искусно звериные шкуры, что, забравшись внутрь этих шкур, разгуливали около мехового шатра, и казалось, что шатер населен диким зверьем, приветствующим Тимура, как своего повелителя.

Повсюду пестрели шатры, палатки, беседки. Мастера, происходящие из разных стран, оделись каждый в одежды своей родины, и каждое сословие что–нибудь измыслило для увеселения выдавших виды царедворцев Тимура, то поражая их ловкими выдумками, то веселя острословием.

Все явились сюда по слову Тимура, и каждое сословие щеголяло перед другим: ремесленники и торговцы, купцы и садоводы, продавцы тканей и жемчугов, менялы и ростовщики, повара и хлебопеки, мясники и портные, башмачники и ткачи.

Тимур шел впереди гостей. Остановившись, чтобы разглядеть камышового слона, он спросил:

— А ресницы у него камышовые?

И тотчас ловкий корзинщик ухитрился, выдернув пучок слоновых ресниц, показать:

— Из камыша, государь.

— То–то! — строго одобрил Тимур.

Иногда приостанавливался послушать певца, если, голое нравился или наряд на певце оказывался занятным.

Около качелей, на небольшой лужайке, Тимура ожидали иноземные купцы, случившиеся в ту пору в Самарканде.

Тимур распорядился, чтобы из них выбрали знатнейших и допустили к нему.

Он увидел китайцев в синих узких халатах, генуэзцев в нелепых кафтанах, с неприкрытыми, как у аистов, ногами. Нарядных армян в высоких шапках...

Качели крутились, подобные большому мельничному колесу, то поднимая пестрые беседки, полные гостей, вверх, то низвергая их книзу. И гости то пели, взмывая вверх, то вскрикивали, низвергаясь к земле.

Геворк Пушок стоял среди армян. Лицо Пушка лоснилось, кудри благообразно облегали его ласковое лицо. Глаза сияли.

Тимур одарил чужеземных гостей и из всех отличил Геворка Пушка подарил ему парчовый халат и редкостную соболью шапку. Так хороша была шапка, что остальные купцы сгрудились вокруг, чтобы разглядеть ее и погладить, а многие из вельмож удивленно переглянулись: не с каждым столь щедр бывает их повелитель.

Когда прошли дальше и снова появился Мухаммед–Султан, Тимур сказал:

— Вечером, брат Мухаммед, проводи ко мне армянина Пушка. Неприметно. Понял? Дам ему товар, — пускай опять к Москве пробирается, через Великий Булгар.

Базар вторгся в сад повелителя. Закрасовались товары, прельщая гуляющих гостей. Купцы вознамерились превзойти друг друга редкостью своих товаров, их добротной, тонкой выделкой. Многие восхваляли купцы зазывными голосами, многое такое, чего не сыщешь в обычный торговый день в базарных рядах. Сокровища, созданные трудолюбием и талантами ремесленников, здесь обогащали и прославляли не создателей этих диковин, не мастеров, а купцов.

Гости, стесняясь друг перед другом выказать скарденность, брали завидные товары не торгуясь, каков бы ни был запрос, сами расхваливая вещи до покупки, чтобы другие примечали, что не простым повседневным хламом, а диковинками прельщаются они, окруженные купцами.

Базар вторгся в сад. И сад замер — ни шума листвы, ни птичьих переключек не стало слышно, сад наполнился возгласами купцов:

— Вот, вот! Китайский шелк! Гляньте–ка! Аисты тут живые. Дохни на них, полетят. А попугай–то как радуга! Ну и шелка!

— Гляньте–ка на мои булаты! От дамасских мастеров. Только что выкованы. Гнутя будто лоза! А чекан! А чернь!.. Насечка–то какова!..

— Плохо ли расшито? Седло кожаное, а будто ковровое. Кожа кожей расшита. Из Великого Булгара! Вчера привезены. Таких не бывало! Да и дождешься ли таких!

На больших тисненых кожах повара понесли горных козлов, запеченных целыми тушами.

Юноши, сгибаясь, по двое несли большие корчаги с густым, почти черным самаркандским мусалласом, который никто не называл вином, чтобы не было грехом пить его.

Тимур позвал гостей пировать.

Идя обратно к дворцу, он услышал певучий голос, излишне громкий в этом саду.

Он посмотрел в ту сторону и около кустистых смоковниц увидел Улугбека, которому что–то восхищенно повествовал историк Гияс–аддин.

Еще пир был в разгаре, еще полуденный зной не достиг глубин этого сада, когда Мухаммед–Султан прошел к пирующему деду и, опустившись позади, негромко сказал:

— Шах–Мелик удостоверился: все тюмени стоят на предназначенных местах, дедушка.

Султан–Махмуд–хан, сидевший справа от Тимура, один слышал эти негромкие слова. Он с

удивлением взглянул на повелителя:

— Поход, государь?

Тимур, объявлявший походы от имени хана, ничего не ответил ему, но громко сказал гостям:

— Близится время зноя и дневной молитвы. Помолимся, отдохнем.

— Аминь! — дружно ответили гости, поднимаясь.

* * *

Тимур ушел во дворец.

Вскоре, шелестя шелками, перед ним предстала великая госпожа.

— Я тебя звал... — говорил ей Тимур, идя впереди в уединенные комнаты, — ты готовься, за всем пригляди. Чтобы все было взято, что надо.

— Всех повезем?

— Может быть, долго проходим, надо всех взять.

Она не спросила, ни куда они пойдут, ни когда; она знала, он не скажет. Даже слова «поход» он не скажет.

Она ждала, чтобы он сам ответил на те вопросы, которых она не смела ему задать.

— Мальчиков повезешь с учителями. Там сразу не найдется учителей... Этого не бери, историка. Другого найдем. Этого в свою мадрасу возьми. Богословом. Ее вот-вот тебе закончат, твою мадрасу, раньше могилки.

Великая госпожа промолчала.

— То-то! — кивнул он ей.

Она нехотя сказала:

— Историк Гияс-аддин старателен.

Тимур не понравилось, что она защищает какого-то богослова, когда следовало объяснить, как это она ухитрилась опередить его на строительстве!

— Старание без толку бесполезно! — ответил ей.

Они сидели в прохладе, в полутемной глубокой комнате, вдали от окон.

— Севин-бей поправляется? — спросил он.

— Успокоилась. Назад не спешит.

— Скажи ей, пускай у нас живет. Незачем ей туда ехать. Этот сад отдам ей. Для Мираншаховой дочери насаждал, а его жена будет тут хозяйкой.

— Мираншах обидится.

— Не успеет.

Сарай-Мульк-ханым поняла: Тимур проговорился, поход пойдет на запад, на Мираншаха.

Он опять сказал:

— Смотри, чтоб все было готово. Ничего не забудь. Никого не обидь.

— Я распоряжусь.

— Пора. Распоряжайся.

Она поняла, что надо идти. Он сказал ей вслед:

— Тут, в саду, чтоб заметно не было. Обозы готовь, а сами все здесь оставайтесь.

— Я знаю.

Она ушла озабоченная: сад был полон гостей, жены вельмож гостили на ее половине сада. Они вникали во все, расспрашивали обо всем, они могли заметить малейшую перемену в жизни гарема, если не остережся.

Зной проходил. Снова веял прохладный ветерок со стороны гор.

Тимур опять пошел по саду.

Разговаривая то с одними из гостей, то с другими, он проходил, останавливался, снова уходил под сень деревьев, появлялся на лужайках и в цветниках.

Возле роз он встретил старика; опрятного, благообразного, как богослов, но с кривым ножом в темных заскорузлых пальцах.

Тимур подошел к своему садовнику, с которым не раз случалось разговаривать, когда задумывали разбивку нового сада.

Тимур заботился о великолепии своих садов. Он устраивал сады, иногда соединяя несколько старых и объединяя их единым замыслом. Так устроили этот сад, так устроили сад Диль—кушо и Вороний сад. Но и заново он приказывал насаждать сады. Этим летом, когда он возвращался из Индии, самаркандские садоводы приготовили ему новый сад, в Даргомской степи, и назвали этот сад Давлет—Абадом, Местопребыванием Властителя. Сюда пересадили множество взрослых деревьев, и степь накрылась тенью.

Еще лет тридцать назад он велел построить себе дворец на каменистых, бесплодных Чупан—Атинских склонах, откуда открывался просторный вид на Самарканд. И на каменистой, бесплодной земле садоводы насадили вокруг дворца густой и пышный сад, прозванный Узорочьем Мира — Накши—Джехан.

У каждой из его жен были свои сады и дворцы в садах. Почти каждый год перед ним раскрывали двери нового сада.

Он строил загородные дворцы и окружал их садами, четко разбитыми, прекрасными садами, где от ранней весны до осенних морозов, сменяя друг друга, цвели цветы.

Самаркандские садоводы умели пересаживать с места на место взрослые, плодоносящие деревья, и, перекочевав из одного сада в другой, эти деревья продолжали цвести и плодоносить, словно переезды для них столь же привычны, как и для их непоседливого хозяина.

Он приказывал из далеких походов перевозить в свои сады деревья, невиданные в Самарканде. Сажали растения, до него не росшие на этой земле, — сажали померанцы и лимоны, сахарный тростник и пальмы. Многие из них гибли зимой, но иные осваивались и росли.

И вот глава самаркандских садоводов, самый почтенный и самый искусный из них, — Шихаб—аддин Ахмад Заргаркаши, улыбаясь, показывал Тимуру новые розы:

— Я велел, государь, привезти их из Индии. Таких у нас было. Теперь будут.

— На здоровье! — одобрил Тимур.

И осмотрел плотную зелень низкорослых кустиков.

Около одного из четырехугольных прудов стояли, беседуя, самаркандские ученые. Один из них, кланяясь с излишним усердием, объяснил:

— Мы затем здесь, государь, чтобы любоваться серебряными рыбами.

— С большим основанием вы могли бы любоваться друг другом, ибо вашими просвещенными трудами украшен мой Самарканд.

Все они склонили свои головы, увенчанные подобными облакам чалмами, в безмолвном ответе на лестные слова повелителя.

— Ваши дела, государь, столь велики, что в их сиянии меркнут все наши науки и добродетели.

— Однако об этих делах никто еще не написал достойного сочинения.

— Нет достойной руки, чтобы передать все величие ваших дел, государь.

— Ты историк? — взглянул Тимур на худощавого смуглого человека с небольшой узкой бородкой, плоско спускающейся на грудь.

Перед походом в Индию Тимур представляли его среди других ученых Самарканда. У повелителя была хорошая память, — тех, кого он видел, он помнил всю жизнь.

— Мне лестно, государь, что своего слугу вы удостоили вспомнить.

— Но имя твое я позабыл.

— Низам-аддин Шами.

— Я дам тебе книгу, которую надо опять написать. Надо написать проще. Ясным языком, чтобы каждому человеку все было понятно.

— Это трудно, государь, — народ темен и...

— Если напишешь просто и ясно, прочтут многие; если туманно, не прочтет никто, — строго перебил Тимур. — Но писать ее надо так, чтобы ученые радовались красоте ясного слога. Я дам сочинение муллы, который писал о земле, думая о небесах. Поэтому земные дела ему показались мрачными. А надо видеть красоту земных дел, и тогда ясны станут все наши дела и все величие земли, ибо ее создал бог.

— Благодарствую, государь, за высокое доверие.

— Я дам тебе сочинение муллы, и, когда я пойду в поход, ты пойдешь со мной, чтобы продолжать это сочинение.

Он ушел, оставив ученых над рыбами, сверкавшими в голубой воде то серебром чешуи, то красными плавниками. Но как ни прекрасны были эти рыбы, ученые уже не смотрели на них: ученых озадачили слова Тимура:

«Писать, чтобы каждому было понятно...»

А они учились всю жизнь, изощрялись в различных толкованиях предметов, чтобы, лишь пройдя через все ступени познания, уже на склоне лет научиться понимать друг друга.

— Это трудно! — раздумывая, говорил Низам-аддин.

— Это невозможно! — сказал один из богословов. — Вы правильно изволили изложить свою мысль повелителю, сказав: «народ темен».

— Я понимаю повелителя, — ответил Низам-аддин, — народ темен, неграмотен, он не прочтет этой книги. Никогда не прочтет, ибо никогда не овладеет грамотой. Но каждый из грамотных людей должен и ныне и впредь читать о красоте подвигов Завоевателя Вселенной. Каждый из грамотных.

Богослов улыбнулся:

— Я пятнадцать лет учился, пока овладел грамотой. Это дорого стоит. Не всякий захочет голодать, чтобы учиться, а учиться, чтобы голодать. Нищий грамотей так и сгинет в нищете.

Они стояли около воды.

Наступал вечер.

Певцы пели. Свирели, бубны, струны наполняли все пространство сада праздничной радостью.

С крутого насыпного холма, со своего высокого сидалища, Тимур смотрел на пирующих.

Сад медленно погружался во мглу.

Зажигались факелы.

Мухаммед–Султан, присев позади Тимура, тихо сказал:

— Обозы вышли из города. Остались только ваши джагатаи и тот тюмень, который вы оставляете мне.

Не ответив ему, Тимур поднялся:

— Братья!

Голос его прогремел зычно, как на поле битвы, докатившись до отдаленных углов сада.

Гости замерли, зажав в руках куски мяса или горсти жирного риса.

— Завтра нам надо идти. Собирайтесь!

* * *

Ранним утром над крепостью взревели карнаи.

Народ Самарканда кинулся на улицы, еще не зная, встречать ли кого, провожать ли.

Было десятое сентября тысяча триста девяносто девятого года.

Из крепости уходило войско.

Оно было невелико, словно повелитель вышел куда–то неподалеку. Он ехал в темном простом халате, как случилось ему проезжать по городу, когда он переезжал из дворца во дворец или из сада в сад.

Тащился обоз, окруженный воинами. И тоже был он невелик.

Мухаммед–Султан ехал с дедом, провожая его до Бухары. Царевич оставался правителем страны, и дед припоминал, не забыл ли о чем–нибудь предупредить внука.

Перед закатом войска миновали пригородные сады, и раскрылась степь, выгоревшая под летним солнцем.

Из–под коней взлетали кузнечики, тяжело перелетала ожиревшая саранча, вспыхивая алыми крыльями, погасавшими, едва она касалась земли.

Улугбек, сидя в бабушкиной кабульской арбе, длинной, укрытой плотными китайскими шелками, которым ни зной, ни дожди не страшны, смотрел сквозь щель на саранчу, на зеленые пятна сочных колючек, устоявших против зноя и против безводья.

Стаи птиц пролетали стороной, низко стелясь над степью: розовые скворцы спускались на саранчовые стаи.

А саранча ползла, тяжело взлетала, похрустывала под колесами, налипала на ободья.

От колес отбегали огромные пауки, волоча мертвую саранчу, чтоб растерзать и сожрать ее в укромной

канавке.

Войско шло. Обгоняя арбы, проезжали воины.

Всюду по пути ждали их высланные загодя обозы и припасы. Благодаря такому порядку войско шло налегке, шло быстро: все ждало его впереди отдых, еда, оружие.

Впереди ждали битвы, победы, добычи.

Темнело.

Улугбек лежал, глядя на меркнувшую степь сквозь крутящиеся спицы кабульского колеса.

Узкая кровавая полоса растеклась по–над землей в той стороне, куда шло войско. Впереди уже стоят наготове те дедушкины войска, которым приказано присоединиться к нему по пути на запад.

Крутились колеса арб.

Мальчик лежал в арбе, глядя, как погасала заря, как загорались, вспыхивали над степью большие белые звезды.

Сквозь спицы крутящегося колеса он смотрел на эти странные привлекательные звезды, словно с каждым поворотом колеса приближаясь к ним.

Арба качивала его. Он засыпал. Но, борясь со сном, снова взглядывал, любуясь, как темна самаркандская ночь, как тиха.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СУЛТАНИЯ

Одиннадцатая глава

ЦАРЕВИЧИ

Мухаммед–Султан, простившись с Тимуром в Бухаре, вернулся с Худайдадой, своим визирем, в Самарканд и ранним утром подъехал к городским воротам.

По осеннему небу, вытянув свои гусиные шеи, летели облака, и солнечный свет то загорался на нарядах горожан, вышедших встречать молодого правителя, то вдруг тускнел.

Начальник города Аргун–шах взял узду царевичева коня и по коврам, устлавшим дорогу, ввел правителя в городские ворота.

Мухаммед–Султан спешил. Навстречу ему шла его семья — мать его Севин–бей, жены, сын Мухаммед–Джахангир, маленькие, затейливо разряженные дочери.

Стоя среди семьи, Мухаммед–Султан принимал подарки от встречающих.

Аргун–шах подарил ему девять коней под ковровыми чепраками, вытканными в Шахрисябзе. Сын — девять белых китайских ваз, расписанных птицами, летящими или притаившимися среди растений и гор. Вазы были почти того же роста, как и мальчик, но он настоял, что сам вручит их отцу.

Крепко стискивая тяжелый фарфор слабенькими руками, путаясь в голубом, обшитом золотом длинном халате, он каждый раз, отдав подарок, низко кланялся отцу.

Этого правнука по желанию Тимура назвали в честь отца — Мухаммедом, в честь деда — Джахангиром. Тимур хотел, чтобы оба имени напоминали о прямой линии от прадеда к правнуку, сын наследника когда–нибудь сам наследует власть над безропотным миром: «Пусть и в именах будущих владык мира вечно живет слава моей семьи, на страх тем, кого еще нет на свете, тем, которые народятся для повиновения нашему могуществу, непреклонному, несокрушимо, вечному».

Старшины торговых сословий положили перед правителей лучшие на своих товаров.

Звездочеты преподнесли ему благоприятный гороскоп, суливший скорое одержание победы над противником.

Когда старейший из звездочетов замогильным голосом читал ему гороскоп, Мухаммед–Султан то поглядывал по сторонам, то досадливо почесывал щеку.

Аргун–шах, знавший царевича с младенчества, знал и его привычку: если почесывает щеку, значит, чем–то недоволен, чего–то ждет, чего–то ищет.

«Чего? — тревожно думал Аргун–шах, продолжая беспечно и восторженно улыбаться тонкими губами. — Или... кого?»

И наконец улыбка его расплылась по всему лицу: «А! Его... его!»

Но тотчас он снова задумался: «А при чем гороскоп?»

Мухаммед–Султан перестал почесывать щеку и, не глядя на подносимые дары, опустил глаза.

Другие вельможи, исподволь посматривая на нового своего правителя, гадали, о чем бы тут мог думать Мухаммед–Султан, что сулит его дума народу, над которым теперь Мухаммед–Султан стал полновластен. Надолго стал полновластен, на все то время, доколе Повелитель Мира пробудет в новом

большом походе, а если старый повелитель не вернется, — навсегда.

Долго длилась встреча. Говорились изысканные приветствия, подносились дары за дарами. Едва слуги убирали одни дары, на ковре возникали новые.

Наконец Мухаммед–Султан поклонился всем, сказал милостивые слова и, подхваченный десятком рук, поднялся в седло.

Теперь он ехал впереди. Следом за ним — сын Мухаммед–Джахангир. Следом за Мухаммед–Джахангиром Аргун–шах, возглавивший самаркандских вельмож.

Позади всадников следовала в расписных повозках семья Мухаммед–Султана, а за повозками вели дареных коней и длинная вереница слуг несла принятые подарки.

По обе стороны улиц, базаров свисали ковры, расшитые ткани и покрывала. На крышах играли свирельщики, барабанщики, трубили трубачи, пели певцы...

Издалека завидели Мухаммед–Султана каменщики, клавшие мадрасу на его дворе. Со стен им было видно, как ехал он там, внизу, будто на игрушечном коне, будто вырезанный из бумаги. Как игрушки в бродячем китайском балагане, следовали за ним цветистые всадники, топорщились кверху то ли бунчуки, то ли знамена. Посверкивала сталь, вспыхивало золото.

Ненадолго их заслонил от каменщиков купол Рухабада, но вскоре, совсем уже близко, шествие показалось вновь.

— Прибыли! — сказал сухой, гибкий, голый по пояс старик, хватая подкинутый ему снизу тонкий, звонкий кирпич.

— Дождались! — ответил другой каменщик, ловко кладя кирпич в ряд, на известь.

— Хозяин! — сказал, хватая очередной кирпич, сухой старик.

Другой каменщик, положив и этот кирпич на известь, выровнял его рядом с прежним и, стукнув по кирпичу кулаком, чтоб плотнее лег, подтвердил:

— Прибыл!

Но снизу уже снова подкинули кирпич; мерный бесперебойный лад труда не оставлял времени на разговоры.

Снова взлетел кирпич, и снова, не глядя, схватил его на лету сухой старик и подал каменщику.

За тем, чтоб строители не сбивались с порядка, недремлющим оком надзирали безмолвные стражи с длинными, гибкими прутьями в руках.

Наконец Мухаммед–Султан покинул гостей и, пока они рассаживались в большой длинной зале под высоким расписным потолком, вышел со двора и пошел через сад к строительству.

Один Аргун–шах шел за ним вперевалочку, прихватывая полы раздувающегося халата.

— А скажите–ка... — проговорил, не оборачиваясь, Мухаммед–Султан, но, не договорив, усомнился: «Удобно ли спрашивать?»

Аргун–шах, преодолевая одышку, поторопился догнать царевича, чтоб слышать ясней.

— Что–то я не заметил мирзу Искандера.

Аргун–шах даже остановился от неожиданности: «Угадал я, угадал! Его–то он и высматривал, когда гороскоп читали! Его, его!..»

— Здоров ли? — снова проговорил царевич.

— Здоров он, здоров. Да он ведь позавчера уехал. Еще позавчера, да.

— А знал, что нынче я приеду? Что я приеду нынче, он знал?

Аргун-шах удивился, как жестко звучит голос царевича, как у деда! При деде царевич так не говорил. И, оробев, Аргун-шах не посмел покривить душой.

— Еще бы!

— Знал?

— Едва вы из Бухары выехали, тут уже все знали!

— И уехал?

— И уехал, да.

Они подошли к узкой нише ворот, от коих по обе стороны ставились две башни, еще едва поднявшиеся над уровнем ниши.

Перед воротами царевич остановился и свежими, отдохнувшими за поездку глазами поглядел на изразцовый узор. Изо дня в день глядя, как клали здание, он не мог понять, хорошо ли оно. Теперь взглянул, как бы впервые это увидел, и остановился.

Обагренная октябрьскими ветрами листва сада будто расступилась, дабы не затмевать небесной лазури ворот. Узоры свивались в гроздья, в соцветия и казались вплавленными в голубой воздух, рядом с плотной, словно выкованной из тяжелой меди, листвой осени.

Мухаммед-Султан, сутулясь, неподвижно стоял на тонких ногах, туго обтянутых высокими сапогами, прикидывая, не оплошал ли в чем мастер.

Аргун-шах, замерев позади царевича, не глядел на новое зданье. Он глядел на царевича: что-то в нем изменилось. Так же сутуловат; так же, но по-иному. Прежде казалось, что сутуловат он от почтения к деду, от послушания, от скромности. А нынче — не то. Нынче, кажется, сутуловат он так, будто пригнулся, примериваясь, приглядываясь, прислушиваясь; пригнулся, как воин, перед тем как разогнуться для удара. Иной он какой-то нынче, с прежним несравним. И Аргун-шах, попятившись, одернул свой халат и, разгладив бороду, распрямылся.

Не оглянувшись, царевич через забрызганный известью порог вошел во дворик.

Заметив царевича внизу под собой, сухой старик сказал, перекидывая кирпич каменщику:

— Вот он!

Каменщик тоже взглянул и остерег старика:

— Гляди, дядя Муса!

— А что?

— Ему на голову не ур...

Не надо б было говорить под руку! Подкинутый снизу кирпич ткнулся в пальцы старого Мусы, полетел назад и стукнулся у самых ног царевича.

— Эй! — крикнули снизу.

— Кто это? — проревел, вскакивая на стену, страж.

Размеренный лад кладки смешался.

По крутым ступеням Мусу сволокли вниз, а место его тут же занял другой строитель.

Во дворе его уже ждали нижние стражи и, чтоб не тревожить царевича, поволокли виноватого за стену.

Аргун–шах вздрогнул и метнулся от неожиданности, услышав рядом столь знакомый жесткий голос Тимура:

— Ремня!

Аргун–шах быстро глянул по сторонам. Откуда он? Нет, его тут не было. Это сказал Мухаммед–Султан.

Аргун–шах еще попятился и застыл поодаль, все больше робея перед царевичем, больше, чем робел перед Тимуром: о Тимуре Аргун–шах все знал. Знал, когда он опасен, и знал, как уберечься от опасности. А тут надо было сперва приглядеться.

Аргун–шах подумал: «Счастье, что мне первому из всех в Самарканде далось это понять: не так–то он прост, этот царевич. Впрямь наследник Тимура! Ой, не прост!»

О Мухаммед–Султане давно знали: он в походах строг. Ему Тимур сорок тысяч войска давал, когда он заслонял царство от кочевников, когда строил крепости и подновлял старые на севере, по реке Ашпаре. Еще пять лет назад, двадцатилетним царевичем, прошел он с немалым войском через весь Иран, к берегам Персидского залива, взыскать с богатого острова Ормузд дань и недоимки от Мухаммед–шаха Ормуздского. Царствуя на острове, закрытом ото всех врагов морскими волнами, богатея на торговле между Ираном, Индией и Китаем, перепродавая амбру, жемчуг, алые шелка и пряности, Мухаммед–шах накопил на своем острове несметные сокровища, уверенный в их безопасности. Но, едва прослышав о приближении Мухаммед–Султана, он выслал ему вперед дань за год, триста тысяч динаров, и поклялся выплатить все невыплаты за прежние годы, отдав в счет долга немало золота, вьюки жемчуга и китайских тканей. Исполнив наказ деда, внук не пошел дальше и вернулся довольный, что, не обнажив меча, устрасил Мухаммед–шаха на его неприступных островах. А не поспеши Мухаммед–шах, Мухаммед–Султан перешел бы через море, сумел бы перейти, если так приказал ему дед.

Мухаммед–Султан не шевельнулся, когда увидел, что зодчий, строящий эти стены, идет к нему.

Зодчий Мухаммед–бини–Махмуд, исфаханец, хилый, седой, с очень маленьким лицом и очень большими круглыми лиловыми глазами, остановился и как–то странно, не то вздернув плечо над головой, не то уронив голову под плечо, поклонился.

Но Мухаммед–Султан не ответил, продолжая неподвижно стоять и осматривать уже высокие стены мадрасы и все еще далекую от завершения ханаку.

— Долго кладешь! — сказал царевич.

Зодчий не ответил, а снова так же странно поклонился.

— Всегда вход ставят выше смежных стен. А у тебя он... ниже?

— Вровень, господин. Не ниже.

— Никто не говорил, что так хорошо.

— И не было бы хорошо. А мы башни воздвигаем. Они поднимутся и означат вход. К тому ж стены украшены скупо, а вход изукрашен. Тем и хорош.

— В Иране так не ставят.

— Нет, господин. Не ставят. Я это здесь понял, от здешних мастеров. От отца я познал зодчее дело. А здесь научился сочетать зодчество с украшением стен. Хорезмийские мастера научили.

— Без украшений какое же зодчество!

— Излишние украшения затмевают зодчество, господин. Мало украсить бедно будет; лучше уж вовсе не украшать. Много украшений — за красотой наружной не увидишь ни силы, ни тяжести самих стен. В древних, заветных стройках украшений не клали, глазурей не знали, резьбы опасались. Кое-где проведут черту резьбой и замрут. Замрут и глядят — любуются линиями сводов, самую кладкою, спокойствием гладкой плоскости. Там одним пятнышком глазури все величие здания запятнать можно. Одно это пятнышко в глаз ползет, заслонит все здание. Нет ни пятнышка в древних зданиях в родных моих местах, а глаз не оторвать. Вот я и мучился тут. Как быть: ту заветную красоту сюда перенести приказано, но и украсить ее глазурями, мозаиками, резьбой. Долго я бился: как уберечь заветную красоту под украшениями? Долго мучился, долго бился, пока нашел. Чтобы ни туда, ни сюда, а как на весах стали бы, удерживая друг друга, тяжелые стены и легкий узор.

— Так-так, — говорил, словно себе самому, царевич.

— Есть такая красота: разум дивится ей, спеша разгадать, как удалось ее воздвигнуть? Разум дивится, а душа спит. А есть простая красота, ясная, разуму нечего в ней постигать, а душа перед ней ликует, как соловей перед розой.

— Так-так, — словно к чему-то прислушиваясь, повторил царевич.

— Иное лицо разукрашено алмазами, редкостными подвесками, тюрбанами, завитками, а само мертво. На украшения глядишь, а лица под ними не замечаешь. Серьгами любуешься, а от лица глаза отводишь с досадою: «Эх, жалко мастера, — для кого работал?» А то встретишь иной раз: никаких украшений нет, ни особой красоты, а глаз не отведешь, — смотрел бы и смотрел бы, дивясь, радуясь, всей душой ликуя. А ведь наше дело, господин, в том и есть: создать из камня подобие такого лица, чтоб оно без украшений и без особой красоты прельщало глаза человеческие.

— Так-так, разговорчив ты! — рассеянно ответил Мухаммед-Султан.

И царевич покосился на незавершенную стену, за которую перед тем увели провинившегося старика каменщика.

Там стоял один из стражей, отирая полый халата раскрасневшийся лоб.

— Ну? — повернулся к нему царевич.

— Всыпали, господин.

— Не слышно!

— И не услышишь. Стиснул зубы и перемолчал. Перемолчал, пока били.

— За то, что молчал, дай ему еще столько же.

— Чего?

— Ремня!

И с досадой Мухаммед-Султан пошел к строительству ханаки.

Невдалеке от ханаки кончали рыть обширную, глубокую яму, и, слева, в глубине, каменщики уже укладывали по ее краям кирпичную стену: строили склеп и гробницу над древней могилой, с незапамятных времен притулившейся здесь, где из века в век строились и перестраивались усадьбы вельмож и царевичей. То придвигались к могиле дворцы, то рушились, а могила оставалась.

Новые дворцы ставили на новых местах, а у могилы насаждали сады. Так в последние годы она оказалась в глубине Мухаммед-Султанова сада, увенчанная знаменем, полинявшим на солнце, и волосяным бунчуком, откуда весной птицы выдергивали волосы для гнезд. К обветренному, обветшалому

своду надгробия изредка приносил кто-нибудь из жителей то красивый обломок кирпича от давно исчезнувших зданий, то витые рога горных козлов, то пожелтый кусок мрамора с непонятной вековой надписью, на память о прочитанной здесь молитве, хотя давно позабылось имя того, кого некогда опустили в эту могилу.

Мухаммед-Султан, стоя над краем ямы, смотрел, как мягко поддавалась земля круглым мотыгам землекопов, как время от времени в синеватом слое земли попадались то какие-то истлевшие кости, то глиняные черепки, неведомо как попавшие в этикие недра.

— Смотри, могилу не разори! — предупредил царевич десятичника.

— Я и то им говорю: раскопались, размахались, а рыть надо исподволь, место святое.

— И кто там похоронен? — вступил в разговор Аргун-шах.

— Кто бы ни был! — ответил царевич.

— Очень уж стара могила. Не дай бог, прежде арабов засыпана. Тогда что ж...

— А что?

— Да какой же это святой, если до арабов? Языческий?

— И в прежние времена живали святые люди.

— Живали, да не истинному богу служили, а невесть какому.

— Нынешний народ тут молится, и помогает! Значит, большой святой.

— Молятся. Гончары его чтут, заступником считают: он будто бы сыном гончара был. Ведь и деревьям молятся! В горах, сам видел, молятся, и помогает!

— Только б вера была. Это главное.

— Вера, да... — согласился Аргун-шах.

Они снова молчали, глядя вниз на землекопов.

— Ройте веселей! — сказал Мухаммед-Султан. — Я вам мяса пришлю.

И пошел к дому.

Листья плавно опадали вокруг, иногда задевая за царевича, пока он шел через сад.

Мухаммед-Султан вошел в залу, полную гостей. Все сидели на коврах вдоль стен. Длинными ручьями тянулись узкие скатерти, уже покрытые горами лепешек, но гости не прикасались к еде, чинно и тихо беседуя в ожидании хозяина.

Едва он опустился на свое место, вслед за ним вошли его жены и сели неподалеку, около двери. Вскоре вбежали слуги с блюдами, торопливо расставляя их под нетерпеливыми взглядами гостей.

Хозяин порывисто разорвал на части лепешку и ее нежные клочья подал Худайдаде, своему визирю, сидевшему рядом. Разорвал и другую лепешку и, наконец, протянув к блюду руку, первым взял кусок мяса, предоставляя гостям потчевать друг друга, любезно упрашивать соседа соседа первым приступить к трапезе.

Принесли вино. Наливая полную чашу, виночерпий подавал ее царевичу; царевич подзывал гостя и подносил ему в знак особой чести. Став на колени, гость принимал чашу из рук царевича, пил ее до дна, и гости кричали, одобряя пьющего:

— Эгей!

— Э, брат Аргун–шах!

— До дна, до дна!

Так Мухаммед–Султан подносил вино старшим из гостей, одному за другим, — пьющих ободряли. Выпив, гость отодвигался, чтобы уступить место следующему, и никто не смел не допить большой чаши, — в этом была бы обида хозяину.

Только женщины, приняв безучастный вид, лишь изредка тихо переговаривались между собой и смотрели на пир, как на зрелище, нарочито глухие и слепые к разговорам и развлечениям мужчин.

Севин–бей, сидя неподалеку от Мухаммед–Султана, присматриваясь к сыну, радовалась: он не был столь жаден к вину, как ее муж Мираншах, — пил изредка и понемногу. Ее развеселило, когда один из гостей подошел к Мухаммед–Султану. Задумавшийся о чем–то, еще совсем трезвый, царевич спохватился и прикинулся подвыпившим.

Только мать, все время следившая за ним, могла уловить это притворство. Она сдержала улыбку, но эта проделка сына очень осчастливила ее: если смолоду он так держит себя, значит, и впредь не оплошает, — тот, кто хочет подчинять других, не должен подчиняться ни хмелю, ни страстям, ни пристрастиям.

Слуги вносили новые и новые блюда. Пахло жареным мясом, луком, уксусом. Стало шумно.

Темнело.

Зажгли десятки светильников. Многие из гостей разбрелись по ближним комнатам. Рабы стелили им на полу одеяла; свернув под голову халаты или подоткнув подушки, некоторые отлеживались, дремля или лениво переговариваясь.

Один гость, приподнявшись над подушкой, спросил у лежавшего рядом старика:

— Не слышали, про мирзу Искандера он не спрашивал?

— Пока молчит.

— Мирза Искандер еще не знает его!

— Знал бы, дождался бы: пил бы сейчас за здоровье правителя, беседовал бы. Правитель наш в дедушку!

— Как это понять — не дождался, не встретил; будто заяц от волка, шмыгнул, да и прочь. Видно, совесть не чиста?

— Что–нибудь таит на душе!

— Таит, а что?

— Посмотрим.

— Посмотрим: то ли заяц от волка, а может, волк от зайца!

— Как, как?

— Соскочил с дороги, да и притаился за бугорком. Ждет, пока заяц ему бок подставит.

— Бывает и так.

— Бывает! Да только, гляжу я, правитель наш не из таких, чтоб бок подставить. А?

— Бог его знает. Да...

Мимо лежавших прохаживались другие гости, искали, где бы самим прилечь, прислушивались...

В большой зале зарокотал бубен, — сперва мелкими россыпями, вызывая плясуна.

Вышел поджарый плясун, длиннолицый, с узким лицом, будто сплюсненным на висках, туго затянутый в короткий полосатый халат; пошел плавно на легких ногах, поблескивая мягкими сапожками.

Бубен загудел глухо, томно.

Некоторые из гостей поднялись с одеял, вернулись в большую залу, собрались в дверях.

Мухаммед–Султан протянул руку, и ему подали нагретый над костром богатый бубен, сверкнувший перламутром и горячими искрами рубинов.

Все смолкли, когда пальцы царевича забились о гулкую кожу бубна.

Он хорошо играл.

Он играл с младенческих лет, странствуя среди воинов вслед за дедом. Играл на пирах и наедине, если на душе становилось тоскливо. Его учили старые бубнисты Самарканда, Азербайджана, Ирана.

Тонкие, длинные пальцы бились о бубен, и казалось, он выговаривает какие–то слова, кого–то умоляет, настаивает, уступает, смиряется. Вот, рокочет далекая река. Конница идет по степи. Надвигается враг или встречный ветер. Конница переходит на рысь. Враждебные силы сталкиваются, две силы. И вот одна глохнет, отходит, затихает; другая резво продолжает свой путь.

Восторг гостей рванулся в таком гуле восклицаний, что пламя светильников заметалось, будто весь свет выражал бурный восторг царевичу.

А он, одушевленный возгласами хмелеющих гостей, снова поднял над головой бубен, и снова, будто уговаривая кого–то, то настаивая, то уступая, томно зарокотала тугая кожа.

И опять гости ободряли его жгучими возгласами.

Умолкнув, Мухаммед–Султан неожиданно заметил прижавшуюся к нему маленькую девочку. Он провел усталой ладонью по ее теплой щеке, на минуту закрыл все ее маленькое розовое лицо своей узкой мягкой ладонью и строго сказал:

— А теперь иди спать. Иди, Уга–бика!

И она повиновалась, печально потупившись.

Вскоре и он встал и вышел. За ним ушли его жены.

Над городом уже сгустилась глубокая осенняя ночь, но пир продолжался: звенели струны дутаров и голоса славных певцов, плакали свирели и рокотали бубны...

Но в небольшую комнату все эти звуки пира доносились глухо. Здесь Мухаммед–Султан остывал от песен и вина, привалившись к подушке. Будто лениво, будто с неохотой он подробно расспрашивал двоих простых, неприметных людей о мирзе Искандере, — как он тут жил, пока в городе никого из царевичей не было, что делал, с кем встречался, какие вел разговоры, почему и как вдруг собрался к себе в Фергану, покинув Самарканд, когда весь город готовился встречать своего правителя.

Эти двое — Кары Азим и Анис Кеши — небогатые люди, чем–то завоевавшие доверие Тимура, давно, еще при жизни Омар–Шейха, были приставлены служить мирзе Искандеру, еще когда мирза Искандер не очень твердо умел ходить по земле.

И когда они рассказали царевичу все, что знали и помнили, дополняя друг друга, он отпустил их:

— Спросите на конюшне коней попрытче. Да не чешитесь, а скачите всю ночь. Чтоб завтра к ночи его настичь. Не то он заметит, что вас при нем нет. Скажите ему: потому, мол, отстали, что коней пришлось сменять; кони, мол, захромали. Либо что другое придумайте.

— А уж мы ему доложились, господин. Отпросились поотстать, чтоб семьям нашим на зиму припас запасти.

— Плохо придумали. Коли будет помнить, что семьи ваши тут, верить вам перестанет. Что за слуга господину, если семья слуги в руках у другого господина. Скажите ему: запасы, мол, запасать раздумали; велели семьям в Фергану собираться. Так верней будет.

— Так верней, господин, — истинные слова.

— А я и без ваших семей до вас доберусь, коли оплошаете. От меня вам некуда...

— Истинные слова, господин.

— То-то!

И обоим проводчикам послышался голос Тимура в твердом голосе Мухаммед-Султана.

Отпустив проводчиков, Мухаммед-Султан пошел обратно к гостям. В темном переходе он наткнулся на десяток женщин, таившихся в этом закоулке и торопливо чем-то занимавшихся, звеня украшениями.

Правитель схватил двоих за руки:

— Вы что здесь?

Одна так сильно закашлялась от испуга, что отвалилась куда-то к стене, а другая, что-то отбросив, смело ответила:

— Нам сейчас плясать, господин. Ждем, когда позовут.

Ее смелость не удивила его: прежде он не раз выказывал расположение к ее красоте.

— Избаловалась!

— Нет, господин, — проголодалась.

— А твои подружки?

— От самого рассвета не присели. Ничего не ели весь день, к пиру готовились.

— Где ж теперь раздобыли?

Его снисходительные вопросы ободрили ее, и она призналась:

— Своровали, когда рабы объедки от вас выносили. Больше сил не было. Едва на ногах стоим, а еще плясать позовут.

— Так; косточки глодали?

— Косточки, господин.

Ни слова не сказав ей, он пошел дальше.

— Он ласковый! — сказала, когда он отошел, успокоившаяся плясунья. Чего его бояться? К нам же придет, когда озябнет.

— Ласков, я знаю; когда к нам ходит, ласков, а когда от нас уйдет, опасайтесь его, девушки! — ответила густым голосом широкобровая аравитянка Разия.

Перед входом в залу правителя ждал дворцовый есаул. Мухаммед-Султан прошел было мимо, но остановился:

— Там... эти плясуньи.

— Десять лучших, господин...

— Эти самые. Завтра их раздай всех. Рабам, на расплод, куда-нибудь за город, на виноградники. Пора им работать, — избаловались.

— Истинно, господин.

— Только до утра помалкивай, не то сейчас плохо спляшут. Пускай веселей пляшут. До утра не тревожь. Избаловались!

Есаул поклонился, а Мухаммед-Султан отправился трезвой походкой в большую залу. Но едва свет коснулся его лица, он поник и вошел в залу вялыми, нетвердыми ногами, пробираясь к своему месту, и снова отвалился на подушки, слушать певцов, пить вино.

* * *

Мирза Искандер быстрее бы ехал, но арбы с женами и поклажами не могли угнаться за нетерпеливым царевичем. Он оставлял обоз — сотню рабов и слуг и две сотни воинов из охраны, а сам скакал вперед по дороге, чтобы неприметней скоротать столь тягучий путь.

Он скакал с двумя-тремя вельможами до каких-нибудь тенистых деревьев, до харчевни, повисшей над прохладной водой, усаживался там до времени, пока нагонят его арбы, что-нибудь ел или пил со всеми вместе, а затем отправлял весь свой поезд вперед, а сам оставался еще подремать или поговорить на привале, потом торопливо шел к лошадям и снова скакал, теперь уже догоняя своих; недолго ехал с ними рядом, а то и пересаживался с седла под навес арбы, но вскоре опять перебирался в седло и снова уезжал вперед до новой остановки.

Мирзе Искандеру шел шестнадцатый год, и Тимур отдал этому внуку Фергану, но притом велел помнить, что на все время, пока в Самарканде будет править Мухаммед-Султан, все земли Мавераннахра, все Междуречье, от реки Аму до реки Сыр, подчинены Мухаммед-Султану, а с теми землями и вся Фергана.

Дядьке царевича, носившему звание атабега, приказано было остерегать Искандера от поспешных поступков; вельможам, приставленным к этому царевичу, надлежало помнить, что воля и власть Мухаммед-Султана непререкаемы.

Но мирзе Искандеру не сиделось в Самарканде; пока не было Мухаммед-Султана, он развлекался в загородных садах, ездил на охоту, любил проехаться перед народом через базар, чтоб каждый человек мог полюбоваться им, внуком повелителя, оказавшимся в ту пору единственным царевичем внутри самаркандских стен. За долгие годы не случилось такого, чтобы в течение целых трех недель в Самарканде единственным из внуков Тимура был пятнадцатилетний мальчик, еще не успевший стяжать себе славы ни в одной из битв.

Мирза Искандер был вторым сыном Омар-Шейха, второго из сыновей Тимура. Его старший брат, Пир-Мухаммед, тезка Джахангирова Пир-Мухаммеда, находился теперь в Иране, неподалеку от деда, — правителем городов Фарса.

Мирза Искандер часто думал о славе и могуществе своего деда, прикидывал, столь ли он велик, как великий Александр Македонский, Искандер Двурогий. Царевич читал «Александрию», историю Искандера Македонца, хорошо ее помнил и часто задумывался, не настало ли время и ему, Искандеру Ферганцу, совершить подвиг и разгласить свое имя по просторам мира. Но пока еще слишком велико было могущество деда, на долю внука не оставалось даже щели, чтобы начать что-либо великое.

Узкое лицо, близко друг к другу сдвинутые глаза, рыжеватые брови, сросшиеся над переносицей, — все это не было величественно, но царевич рассчитывал, возмужав, обрести ту достойную внешность, какую удалось ему разглядеть на нескольких добытых у менял древних серебряных деньгах, где,

полустертое, угадывалось лицо Македонца в рогатом шлеме.

Искандер прогуливался по Самарканду, устраивал пиры и гулянья в царских садах, спеша запомниться народу, приучить к себе город Самарканд, пока там никого не было выше его. Он спешил проявить щедрость и великодушие, расточая дары, для коих посягал на припасы из садовых амбаров, но к запасам из дворцовых кладовых не имел власти прикоснуться.

И когда пришло известие, что Мухаммед–Султан выехал из Бухары назад, мирза Искандер, сожалея, что столь кратковременным оказался его разгул в Самарканде, медлил прервать это счастливое времяпрепровождение. Однако встретиться с глазу на глаз с Мухаммед–Султаном не желал: чем бы он смог оправдаться перед правителем, если правитель потребует отчет о проведенном здесь времени, если спросит, как смел он столь настойчиво требовать и столь жадно брать подношения от купцов, столь весело одаривать вельмож и приятелей, столь бесцеремонно похищать на пиры пригланувшихся горожанок и столь же бесцеремонно забирать на охоту пригланувшихся чужих лошадей.

Разве поймет Мухаммед–Султан, что не по своей вине мирза Искандер доселе не совершил великих подвигов, хотя готовность к подвигам давно созрела в душе мирзы Искандера.

Разве поймет придирчивый Мухаммед–Султан, что не из–за недостатка отваги, а из–за ее преизбытка, лишь до той поры, пока судьба не подвинула его на подвиги, мирза Искандер тешит себя шалостями!

Дабы увильнуть от докучливого разговора и опасных объяснений с Мухаммед–Султаном, за два дня до его возвращения мирза Искандер не без сожаления покинул Самарканд. Теперь он ехал, радуясь, что впереди его ждет Фергана, где власть его полна и сладостна, ибо там не будет никого, перед кем пришлось бы отвечать за свои поступки и решения.

Он проехал бы этот путь скорее и Мухаммедовым проводникам труднее было бы его настичь, если б вдруг не случилось неожиданной задержки: нарядная арба, где ехала старшая жена царевича; арба, обитая тысячами мелких медных гвоздиков с причудливыми, как цветы, шляпками; арба, увешанная тяжелыми армянскими коврами, такая богатая и нарядная, вдруг накренилась набок, и расписанное самаркандским мастером колесо хрустнуло и рассыпалось.

Царевна успела выпрыгнуть, хотя и вывихнула при этом ногу. А сама арба, ударившись или неловко перекосившись, вся развалилась.

Это было бы забавно, если б не случилось среди дороги в малолюдных местах, где с одной стороны громоздились горы, а с другой — каменистые, пустые холмы. Только стаи жаворонков или перепелов поднялись с земли.

Туча сереньких птиц с неистовым щебетом и суетой покружилась над людьми и отлетела в сторону. Никого вокруг не было, и даже трудно было сообразить, откуда ждать или требовать помощи.

Мирза Искандер любил нарядные вещи, но о прочности их не любопытствовал, тонкая красота была бы оскорблена, думал он, если б он, как простой земледелец, ощупывал ее прочность. Он прельщался красотой коня, не заботясь о его силе и резвости; очаровывался дворцом, если даже его складывали из глины, но умели покрыть искусными и пышными узорами; он мог превознести человека за ловкое слово, не задумываясь, ловок ли тот человек в своих делах.

Но в жизни мирзы Искандера разочарования случались редко: если кони оказывались слабыми, он пересаживался на других, дворцы разваливались лишь после его отъезда, бесполезные люди еще не успели нанести ему непоправимого ущерба, а эта арба, которую без сожаления он отдал бы на дрова в Фергане, здесь так была нужна и так непростительно подвела хозяина!

Мирза Искандер рассердился.

Он рассердился на царевну, вопившую столь непристойно, словно она была простой девкой.

Он рассердился на мастера, делавшего арбу, но мастер остался в Самарканде.

Он рассердился на возниц, забывших, что в этих местах из гладкой земли то там, то сям торчат каменные зубья, как когти дьявола.

Атабег успокоил царевича и посоветовал поехать вперед, арбы под охраной оставить на месте, добраться до ближнего селения, а сюда послать плотников.

В это время, нагоняя царевичев обоз, подъехали всадники — в сопровождении десятка воинов прибыли Кары Азим и Анис Кеши, задержавшиеся в Самарканде.

Прибывшие спешили и выразили мирзе Искандеру свое почтительное соболезнование по поводу непредвиденной задержки.

Мирзе Искандеру было не до любезностей. Он приказал всем вельможам следовать за собой и, не желая смотреть, как обозный костоправ тянет ногу вопившей от боли царевны, уехал вперед.

Когда дорога пошла под уклон и повеяло прохладой, показались полуобнаженные ветки шелковиц и в их прозрачной осенней тени — светло-серые стены небольшой деревни.

Непрозрачная, но чистая, голубоватая вода текла по каналу куда-то вдаль. Над водой висел деревянный помост, застеленный старыми паласами. Какие-то старики сидели над водой, беседуя. Здесь и сошел с седла мирза Искандер.

Здесь предстояло ночевать. К обозу послали плотников, и поскакал гонец сказать, чтоб у разбитой арбы остался только возница с плотниками, а остальной обоз двигался бы сюда. Принялись устанавливать котел; собрались жители поглядеть на прибывших.

Снизу, с берега, слышались голоса работавших людей и удары мотыг о землю. Там, отведя в сторону воду, десятки крестьян чистили дно большой оросительной канавы. В это позднее время, когда иссякли горные реки, а поля не нуждались в орошении, надо было подготовить по всей стране тысячи больших канав и сотни тысяч мелких канавок к весне.

Тимур строго следил, чтобы земли были орошены, обработаны, чтобы не пустовал ни даже малый клочок земли, если он мог плодоносить. Старосты отвечали головой за такой порядок в своих уделах.

Вытаптывая великие пространства цветущих полей и садов, заваливая развалинами городов и селений великое множество каналов на чужой стороне, Тимур требовал у себя в Междуречье постоянных забот о земле и о том, чтоб не покладая рук трудились земледельцы на его земле.

Лишь старосты да ветхие старики могли посидеть на паласе, а у крестьян не было на это времени. Много сил, много усердия требовала земля от крестьян, чтоб торговые города не нуждались в хлебе и чтобы двести тысяч воинов могли спокойно готовиться к походам.

— Ну, что делали в Самарканде? — спросил царевич у двоих прибывших, у Кары Азима и у Аниса Кеши.

Кары Азим ответил:

— Мы приглядывали, как там собираются вслед за нами семьи наши, господин.

— Надумали тащить за собой свои семьи?

— Надумали, господин.

— Зачем? Разве в Фергане мало красивеньких невест?

— За тех еще надо платать, а за своих уже заплачено, господин.

— Я вам куплю! Хотите? Подарю!

— Благодарствуем, господин! — нерешительно поклонился Анис Кеши.

— Не хотите?

— Свои привычнее, господин.

— То и плохо, что привычны. Интереснее привыкать.

— Это царское дело, а мы простые люди, господин.

— Ну, как хотите! — пренебрежительно передернул плечом мирза Искандер и, отвернувшись от них, велел кликнуть повара.

Проведчики переглянулись: «Как легко обошлось!»

А поутру, когда осенний туман еще застилал всю округу, снова двинулись к Фергане арбы мирзы Искандера, и снова он нетерпеливо вырывался вперед, оставляя позади своих спутников.

* * *

Геворк Пушок вглядывался в дымную даль. Уже много дней караван неуклонно шел к северу, узкой тропой через пустыню Усть–Урт.

Где–то впереди тянулся морской берег, но до моря было еще десять дней пути, и только небо переливалось холодными, зеленоватыми волнами, словно в нем отражалось неприветливое Каспийское море.

Как всегда, купцы ехали впереди на ослах, а позади шествовали верблюды, на этот раз окруженные хорошей охраной.

Купцов было немного, да в караван невелик. Но хотя и немного собралось купцов, оказались они людьми разными. Случилось тут двое хорезмийцев от Ургенча. Двое большебородых, схожих между собой таджиков, ехавших только до приморского Карагана, всю дорогу беспокоило о чем–то шептавшихся, хотя повстречались они, по их словам, впервые. Было удивительно, что этих ранее друг с другом не встречавшихся людей звали, как принято называть двоих близнецов, — одного Хасаном, другого — Хусейном. Трое персов, торговавших в складчину, в тот раз волочили на десяти верблюдах хорезмийские ковры в Нижний Новгород; да еще ехал неразговорчивый ордынец с бородой, росшей ключьями, в узком ордынском кафтане, в желтых сапогах с зелеными задниками. Этот товару вез мало, жаловался:

— Знал бы, не ездил бы в этот Самарканд. Вез–вез кожи, а довез, — хоть выбрасывай: не только что цены нет, а и своих денег не выручил, хоть вези назад. Какая это торговля? Купил мелочишку всякую, чтоб с пустыми руками домой не приходиться, — разорился за эту поездку.

— И что ж такое? — сочувствовал Пушок.

— А то — брал в Булгаре кожи по тридцать, думал, как всегда, отдать в Самарканде по пятьдесят. Привез, а их и по двадцать брать не хотят. Еле отдал по двадцать пять. Да и то сумасшедший старик подвернулся, — в кожах, вижу, толк знает, а платить нечем. Ну, раз другие жмутся, уступил этому. Ради бога, во искупление грехов, на счастье дал ему в долг на продажу.

— Что же за старик?

— Прежде он большими делами ворочал, да свалился, Садреддин–баем зовут. Не слышали?

— Что–то такое... И помню и не помню. Каков он?

- Да так... костляв, как верблюжий скелет. А глаза мраморные.
- И помню и не помню. И что же, думаете, вернет долг?
- Старый купец в торговле хитер, в расчетах честен. А Садреддин-бай старый купец.
- Опасно доверяться людям!
- Да вы его знаете, что ли?
- Я же не самаркандский!

Исподтишка Пушок приглядывался к спутнику, — по всему виден ордынец, да что-то есть в нем не ордынское. Ордынцы всегда в Самарканде обновок накупают, в них и едут, а этот очень уж строго следит, чтоб все на нем было ордынским, — видно, в Самарканд собираясь, из Нового Сарая запасное ордынское платье вез на смену, чтоб, пообносившись за дорогу, снова в ордынское облачиться. Армяне тоже свою одежду блюдут, но и покупным не гнушаются, а этот жалуется на разоренье, а сам в свежем ордынском кафтане выехал, зеленые каблуки не стоптаны, и не видно, чтоб он сильно был огорчен своим разореньем: пустые слова для отвода глаз!

Но чем непонятнее был этот купец армянину, тем больше он привлекал его любопытство. Пушок то и дело оказывался с ним рядом, хотя разговор у них больше не клеился, хотя ордынец большей частью отмалчивался; все же на стоянках они спали рядом, делились зачерствелым хлебом. Лишь изредка беседовали о торговых делах, о далеких базарах, куда хаживали сами или о которых слыхивали от приезжих купцов.

Более десяти дней прошло, как покинули они Ургенч, обнищавший, разоренный город, через который насквозь пролегла лишь одна улица, накрытая ради тени всяким хламом. И хотя такую улицу не всякий назвал бы базаром, но это и был ургенчский базар, некогда рассылавший своих купцов повсюду — к городам на Инде, к Ормуздским островам, на реку Днепр в Киев, и в суровый дальний Новгород, и в морской Трапезунт. Ныне там купцы вели убогую торговлишку, но торговля шла, ибо, как ни запутал караванные дороги Тимур, как ни перепахивал сохами ургенчские развалины, как ни засеивал их в насмешку ячменем да просом, — просыпалась, поднималась прежняя торговля, ибо тут скрещивались древние, обжитые караванные пути, и не так-то легко их перепахать и засеять: человеческая память крепче крепостных кирпичей.

Десятый день шел караван к северу.

Хотя и зовется Усть-Урт пустыней, не пуст он и не одинаков — день ото дня менялся он, — то струились пески, кое-где поросшие седыми вершинками саксаула; то тянулась гладь твердых, плоских просторов, ровных как пол; то простирались унылые равнины, заросшие хотя и высохшей, а все еще голубой полынью. Кое-где зеленела трава, вылезшая после недолгого первого осеннего ливня, то снова пересыпались, то ли шипя, то ли перешептываясь, лиловые пески.

Иногда показывались в песках стада баранов и коз. Лохматые псы, ростом возвышавшиеся над козьими стадами, кидались стаями на караван и напарывались на копыта охраны.

Пастухи спрашивали с проезжих за жалкую козу или за рыжего горбоносого барана столько вещей в обмен, что купцам ничего не осталось бы из их товаров, согласись они на всем пути до моря на запросы пастухов. Но воины отбивали от стад потребное число скота, купцы с осторожностью выделяли пастухам кое-что из своих припасов — муку или зерно, и редко кто из пастухов бывал недоволен исходом этой мены, — нечего было выбирать этим кочевникам пустыни, месяцами не получавшим ниоткуда ни горсти зерна, ни ломтя лепешки.

Теперь, когда дневные жары спали, когда дни стали легки для пути, на отдых располагались по

вечерам, а в путь трогались на рассвете.

Когда случалось ночевать среди открытых равнин, выбирали места, где можно было верблюдов кормить неподалеку, — отпускать их вольно побаивались. Разводить костры норовили засветло, чтоб ночью на огонь не привлекать недобрых людей. Выюки складывали в середине, а вокруг располагались воины охраны.

Нередко к стоянке подходили пастухи. Стояли и смотрели неподвижными глазами, будто окаменелые, как кто-нибудь из слуг раскатывал на разостланной коже тесто тонкими слоями, пока в котлах закипала вода, как резал тесто быстрым ножом на длинные, вроде соломы, полосы. А когда вода закипала, бросал тесто в котел, кидал кусок курдюка, щепоть соли и накрывал котел деревянной, потемневшей от жира крышкой.

Пастухам казалось, что, если б самим им довелось отпробовать этой сладкой пищи, все их болезни миновали бы, усталость позабылась бы; с такой едой жили бы они по двести лет на земле.

Но из купцов никто не предлагал пастухам отпробовать из кипящих котлов, а если и давали кому чашку этой похлебки, то лишь сперва выторговав за безделицу козленка или овцу: пища оседлых людей была неведома и соблазнительна кочевникам, и, видя, как варится в котле тесто, они, словно опьянев, становились сговорчивы и податливы на любую меню.

Иной раз на купеческие и воинские котлы глядели такие суровые люди из-под овчинных высоких шапок, сами из-за недостатка в тканях покрытые шкурами, что и при крепкой охране купцам плохо спалось.

Более десяти дней так шли от Ургенча. Более десяти ночей так спали в пустыне Усть-Урт. И снова поднимались, выучились и трогались в путь, впереди еще оставалось десять дней пути по Усть-Урту до Мангышлака, а там, на морском берегу, в Карагане, надо было перегружаться на парусные бусы, плыть к устью Волги по морскому пути — в Астрахань.

А там, в Астрахани, став на подворье, оглядеться, послушать новости, погостить.

Так шли купцы древней торговой дорогой, ночуя то под низкими сводами келий на постоянных дворах, то под открытым небом пустыни.

Оставался один переход до большого караван-сарая, где можно было хорошо отдохнуть, пересмотреть, переложить товары, сменить больных или ослабевших верблюдов. И как всегда бывает, когда уже брезжит желанный, безопасный покой, на душе у всех стало веселей, спокойней. Уже не казались страшными проходившие перед вечером пастухи с большим стадом пыльных рыжих овец.

Спутники долго разговаривали, сидя у тлевших сучьев саксаула, пока караванчики стелили для купцов ковры и постели. Наконец прошли к выюкам, составленным вместе, осмотрели, хорошо ли эти выюки стоят, достали запасные одеяла: по ночам стало свежо, а перед утром случались и заморозки.

Персы улеглись вместе, по другую сторону выюков, а Пушок, ордынец и двое таджиков — на большом плотном ковре ордынца.

Перед рассветом Пушку почудился какой-то стремительный конский топот. Армянин проснулся и приподнял голову: снилось или в самом деле проскакал кто-то?

Степь была молчалива, но рядом с собой Пушок услышал, как странно клокочет горло ордынского купца. Видно, во сне это клокотанье претворилось у Пушка в конский топот.

«Как спит!» — подумал Пушок, поправил чекмень, сползший в ногах с одеяла, упруго протянул ноги поглубже в тепло, наслаждаясь, как ему уютно в такую свежую, темную осеннюю ночь; глубоко вздохнул,

радуясь холодному душистому степному воздуху, и снова сразу заснул.

Его растолкали на рассвете.

Он не успел испугаться, увидев над собой нескольких воинов из охраны. Стояли и персы, мелко дрожа от холода, сжимая руки на животе, сутулясь и глядя странными глазами через Пушка.

Пушок обернулся к ордынцу и замер: голова ордынского купца откинулась от груди, как крышка от чернильницы, а из разрезанного горла уже перестала течь кровь. Тонкая темная струйка достигла одеял Пушка, и Пушок, вскочив, отдернул от нее свои одеяла.

Один на таджиков — Хусейн — тоже проснулся, но лежал, поднявшись на локте, а другого — Хасана, укрывшегося одеялом с головой, расталкивали, как только что растолкали Пушка.

Весь этот день воины осматривали окрест всю степь, погнались за пастухами, взглянуть, нет ли среди них опасного человека. Но кругом сияла пустая, безлюдная степь, где далеко вокруг можно разглядеть всякого человека, если б там был хоть один человек.

Лицо Пушка за один день похудело: ведь совсем рядом с ним спал этот ордынец!

«Господи, господи, как тут режут!» — подумал Пушок и ежился, чувствуя себя нездоровым, будто опять, как летом, залезает в него лихорадка.

Староста каравана приказал отложить в сторону и проверить вьюки и все вещи ордынца.

Их осматривали, и со слов старосты один из персов переписывал их:

— Узорочье шелковое, индийское — двести кусков. Гладкий шелк, тоже индийский, — сто двадцать. Жемчуга индийского, розового... Надо б свешать. Достань—ка безмен...

Пушок слушал длинный перечень товаров, оставшихся без хозяина, удивлялся:

«Ну?.. Говорил, разорен. Вон сколько вез! И ведь что вез? Ткани индийские, узорчатые, как и у меня. Шелку гладкого сто двадцать, — и у меня сто двадцать! И жемчуга столько же точь—в—точь! Будто мой товар меряют! Откуда ж он его взял? Неужели оттуда же? От Тимура же? Где ж бы еще он достал этот товар? На базаре этого еще не было! От него! Видно, много нас от него ходит. Я пошел на Булгар, на Москву; этот шелк шел до Сарая. Видать, по всему свету нас рассылает. А каково идти с этим товаром, о том не думает!»

Оставалось еще девять суток степного пути до моря. А там море, — тоже беспокойный путь. А там, за Астраханью, другая дорога, не столь глухая и оттого еще более опасная.

Пушок топтался вокруг людей, ожидая, что вернутся воины, приведут злодея, и тогда станет спокойней, когда увидишь злодея в лицо.

Но как ни искали, никого в степи не нашли. На земле не оказалось никаких следов, хотя песок сохранил бы их до рассвета, — ветра не было.

На ордынце все оказалось цело, даже заветный мешочек с деньгами, торчавший из—под головы, хотя и пропитался кровью, остался цел.

Пушку столь нездоровилось, что хотелось вернуться, лечь где—нибудь у теплого очага на постоянном дворе, чтоб низко над головой нависали крепкие каменные своды, чтоб дверь была на крепком запоре...

Но впереди было еще девять суток пути, воины осматривали свое оружие и отстать от них, остаться без охраны было страшно.

Караван поднимался, и Пушок пошел к своему ослу.

* * *

Тимур все дальше уводил войска на запад.

Шли по ночам, чтобы не изнурял воинов дневной зной, долго державшийся в том году, несмотря на осеннюю пору.

Тимур ехал, как всегда, вслед за передовыми отрядами, крепко сидя в седле, склонившись вперед, нетерпеливо глядя в темную даль, словно сквозь ночную тьму уже видел все то, на что случится смотреть при дневном свете там, впереди.

Следом, обрастая день ото дня присоединявшимися по пути отрядами, шла конница.

За конницей шла пехота.

За пехотой тяжело тащился огромный, растянувшийся на многие версты обоз, бережливо хранимый сильными отрядами джагатаев.

За обозом шли со своими юртами и скотом, как на кочевье, семьи джагатаев. Джагатаям позволялось отлучаться к семьям и даже идти вместе с ними, присматривая за своим кочевым хозяйством, за стадами. Здесь чинили платье почти на всех воинов, стирали белье, квасили кумыс, чтоб, продвигаясь в чужие земли и в незнакомой, чужой земле, все воины Тимура чувствовали себя в войске, как в отчем краю, как на родной земле, на какую бы землю ни ступило все это необозримое войско.

Воинам было привольно в походе, — с них не взымали податей, их не изнуряли трудом, никого не казнили без строгого разбора, — войско было тем местом, где бесправные, забытые нуждой и хозяевами люди становились сыты и мечтали о добыче, о золоте, о пленниках, о своих лошадях, о дорогом халате, о сытой жизни после возвращения домой.

Не земледельцы, привыкшие к своему клочку земли, а проголодавшиеся бездельники, отбившиеся от работы горожане, искатели легкой жизни уходили из нищих родных лачуг в далекий поход, на чужие города кидались самоотверженно, спеша первыми навалиться на чужое достояние.

Скрипели колеса арб. Всхрапывали лошади. Позвякивало железо.

Едва останавливались на отдых, ловкие, исполнительные воины быстро расчищали площадки для юрт и шатров. Тысячи рук хватались ставить палатки, нарядные, богатые — для цариц, плотные войлочные — для джагатайских семей, легкие полосатые — для воинских десятков.

Где еще на рассвете простиралась пустая степь, где вольно стрекотали кузнечики да кружили коршуны, вдруг вставал обширный, пестрый, шумный город.

Купцы протягивали плотные паласы над разложенными товарами. Возникал базар, тесный и крикливый. Усаживались важные менялы. Тихо присаживались на корточках похожие на сытых коршунов ростовщики, выглядывали тех, кто принесет им добро в заклад или под большую лихву займет денег, выставив троих поручителей: если и поразит должника меч врага, ростовщик взыщет свое с поручителей. Торговались, спорили, расхваливали товар. Звенели медью, хваля самаркандские изделия.

Степное солнце нагревало груды дынь и арбузов, медь и железо, куски шелков и мягкой домотканины. И ко всему, ко всякому товару, тут же приценивались, примеривались покупатели, на досуге и от безделья бравшие многое из того, на что не было спроса в городе, что понадобилось в походе. Даже и то брали, что и не надобилось, но соблазняло воинов, словно щеголей, вышедших на праздничное гулянье.

Ремесленники располагались в том порядке, как размещались они на городских базарах, — шорники рядом с седельниками, медники неподалеку от кузнецов. Но воинские кузнецы ставили свои наковальни отдельно — ковать коней, править оружие.

Под котлами загорались костры.

Тысячи дымов вытягивались к небу.

Людские голоса, звон наковален, конское ржанье, стук тесаков по бревнам, мычанье стад — все наполняло окрестность, и чужое, незнаемое место казалось давным—давно обжитым и родным.

Маленькие царевичи выбирались из арб.

Слуги подводили им заседланных коней.

Охрана окружала их и сопровождала, а они ехали между рядами шатров и палаток, будто по городским улицам, пока не выбирались куда—нибудь к пустынным холмам или выжженным безлюдным равнинам, пускали коней вскачь и наслаждались простором и привольем.

Иногда охотились, приметив стадо быстрых газелей, или пускали ловчих соколов и стрепетов, если поблизости оказывались болота, где в эту пору попадались ожиревшие осенние утки, доверчивые дочерна—синие лысухи или перепела с перелета.

Если случалось, что на охоту выезжал веселый Халиль—Султан, сопровождаемый своими охотниками, день становился праздником.

Любо было глядеть, как мчался он по степи, пригнувшись к седлу и, казалось, опережая коня своим стремительным, гибким телом, как стрела, рвущаяся с лука. А коней у него было много, один другого лучше, — они были его гордостью, ими он щеголял перед завзятыми конятниками, простодушно забывая, что не конями, а отвагой и чистотой души знатен не только перед знатью, но и перед десятками тысяч простых воинов.

Всего лишь семнадцатый год шел Халиль—Султану, но младшим царевичам он казался бывалым, опытным человеком, и они втайне стеснялись его, считали лестным для себя ехать с ним рядом в походе ли, в степи ли на охоте.

При Халиле, казалось, степь оживала. Отовсюду вспархивала, взлетала птица; показывались газели или, протянув свои зеленовато—золотые тела, мчались прочь степные лисицы. На лис кидали беркутов, и случалось, одну, а то и двух лис удавалось добыть Улугбеку. Это бывали для него дни ликования. Добычу всех охот, будь то утка, дудак или газель, мальчик старательным почерком записывал на бережно хранимом листке бумаги, всегда лежавшем у него за пазушкой.

Раздолье в степи! Перед скачущими мальчиками вскидывались, красуясь, фазаны; тяжело, сердито подпрыгивали тучные дудаки.

Весело было стрелять газелей, мчась за ними следом, не чуя коня под собой, видя впереди лишь шустрые тоненькие ноги убегающей дичи. Как ни легки газели, текинский скакун Улугбека оказывался резвей и выносливей.

Какие—то скалы, сляясь, иногда придвигались к самой дороге, и тогда, спешившись, мальчики карабкались с луками наготове выгонять из—за камней голубых куропаток — кекликов.

Пока охотились, у бабушек попевала еда, казавшаяся всегда вкуснее, чем дома, ибо ее оведал свежий степной ветер, а воду для котлов брали из живых горных рек или глубоких степных колодцев. Вода оказывалась порой солоноватой, но придавала кушаньям непривычный привкус.

На коврах расстилались узорчатые скатерти. Услужливые рабыни окружали обедающих. Улугбек усаживался возле бабушки, великой госпожи, строго наблюдавшей за внуком.

На все дни пути, до длительных остановок, Улугбек и все младшие царевичи освобождались от занятий с учителями.

Иногда внуков вызывал к себе дед, и мальчики скакали, принарядившись, мимо отдыхающих войск, любовавшихся внуками повелителя и выглядывавших того из них, кто смышленей и прытче и, может, будет когда-нибудь тоже водить войско в походы, захватывать новые земли, если к тому времени еще останутся земли, коих не захватит Тимур.

Воины лежали на земле, потягиваясь, развалившись, или прохаживались, разминаясь после седла.

Ремесленники занимались своими делами, склонившись над шитьем или починкой, — шорники, седельники, сапожники.

Важно отправлялись на пастбище табуны развьюченных верблюдов.

Кое-где паслись верблюды под вьюками, когда поклажа не заслуживала особых забот.

Иногда стоянки продолжались лишь день, с утра до вечера, иногда длились дня по два.

Когда приближался вечер, трубачи поднимали над собой отливавшие закатом медные трубы.

И вскоре город в степи складывался, исчезал, словно видение.

Призрачный город исчезал, и опять простиралась до самого неба или до горной гряды извечная, пустая, сухая осенняя степь.

Ветер сдувал с недавней стоянки обрывки тряпья, веревок, шерсть. И коршуны спускались к притоптанной земле, выглядывая объедки.

Лишь по дороге текли, как нескончаемая река, воины, обозы, караваны все дальше на запад.

Ржали кони. Скрипели колеса арб. Угасал закат.

Двенадцатая глава

МАСТЕРА

Разные люди жили в Оружейной слободке, и не только жили, но там и работали, — мечники и лучники, стрельники и копейщики, бронники и всяких дел кузнецы, не только разных дел умельцы, но и от разных стран выходцы. И хотя в разных верах и обычаях рождены и возвращены были эти люди, раздоры из-за вер или языков между ними случались редко: каждый свою дальнюю отчизну помнил, но тут, вдали от нее, понял, что и в чужеземце нередко бьется большое сердце, а то и в земляке, бывает, вместо сердца гнилая кровь смердит. Многое пришлось испытать и перенести всем им, прежде чем сложилась в них эта приязнь, но, сложившись, она была крепка и нерушима.

И хотя некоторые из старост или старшинок [так], заживев, норовили внести раздор между мастерами разных вер, это удавалось ненадолго: едва наступала общая беда, снова друг друга спешили выручить мечник-араб и мечник-грузин, хотя промеж них и стояла иная вера. А общая беда случалась часто: то купцы норовили скинуть цену на изделия мастеров, со слезами жалуясь на упавший спрос; то продавцы сырья накидывали цену, сетуя, что вздорожал привоз. На все откликался самаркандский базар — на сборы в поход и на возвращение из похода; на удачу в битвах, когда войска Тимура нипочем распродают добычу; на городские праздники; на дворцовые празднества, рождения царевичей, свадьбы и смерти, — из всего тщились извлечь прибыль бесчисленные большие и малые самаркандские купцы и дельцы. Другой горным снегом вразнос торгует, а и тут ждет случая, чтобы накинуть цену на снег.

И только мастера гнулись над железом, над медью, над сталью, то наваривая сталь на железо, то вбивая чекан в глухую медь, и не было им времени ни выжидать праздничных спросов, ни спешить ко дню ухода в поход и так спешили день изо дня, из года в год, всю жизнь.

Мастерские жались к улицам, откуда виден был весь рабочий день мастеров. Позади мастерских ютились тесные жилища и столь же тесные дворики. У иных во дворах росло деревцо, если было откуда провести через двор плодотворный ручеек. У иных красовались кусты цветов, но вокруг все пахло гарью и железом, стоял нестерпимый для свежего человека свирест в звон. Даже птицы сюда не залетали, даже листья росших здесь деревьев, как и лица здешних жителей, казались здесь темней, чем в других слободках.

Дни похолодали. Кончался октябрь. Работать в прохладе стало легче, работа шла веселей.

* * *

Назар с Борисом проработали весь долгий день. Давно ушли с Тимуром в поход исправленные старые кольчуги. Работу Назара в Синем Дворце похвалили, при расчете мастера не обидели, чем еще раз дали понять, что повелитель хороших оружейников ценит.

Но из дворцовых кладовых Назар взял несколько сильно изорванных кольчуг, пообещав на досуге и эти починить и поправить. Взял не из корысти, — взял из почтения к тем стародавним, искусным мастерам, что некогда сковали по десять тысяч сваренных колец на каждую из кольчуг да еще по десять тысяч несомкнутых, чтобы склепать ими сварные кольца в единую воинскую рубаху. Не простое это было дело — сплести двадцать тысяч маленьких колечек, — ряд сварных рядом склепанных. Каждое целое колечко охватывало четыре склепанных колечка, каждое склепанное охватывало четыре цельных, — так сплеталась кольчуга. И не только сплеталась, а и украшалась двумя-тремя рядами медных колечек — оторочкой по вороту, по краю рукавов, по подолу.

Видя, сколь мелки и ровны были колечки тех древних, может еще киевских времен, русских кольчуг,

взял Назар их к себе и, отковавшись к походу, принялся заклепывать боевые прорехи любившихся ему тяжелых рубах.

Они лежали теперь в мастерской, снова целые, снова крепкие, поднятые из дворцового хлама любовной рукой туляка. Но лежали они черные, покрытые ржой и нагаром. Надо было почистить их, ибо еще в летописаниях наших сказано, что страшно врагу глядеть на окольчуженное воинство, когда чистое железо голых доспехов сияет, как вода под светлым солнцем.

И Назар, черными руками перебирая кольчугу, сказал Борису:

— Теперь бы вычистить! Песок найдется?

Но темный песок, коим чистили прежние, сданные в поход кольчуги, давно притоптался на тесном двореке, а песок нужен чистый, зернистый. Такого не было.

— Надо свежего принести, — ответил Борис.

— Где найдешь? Тут, у кого и есть, всем нужен. Надо в другой слободе спросить.

— Я схожу.

— Вместе пойдем. Возьми мешок. Надо и мне разогнуться, глянуть на божий свет.

Долго они лили друг на друга теплую воду, отмываясь от кузницы.

— Завтра в баню идти. Там ужо отмоемся! — сказал Назар, вытираясь.

— А завтра разве суббота?

— А ты, что ли, забыл, какой послезавтра день?

— Батюшка Козьмодемьян — как не знать, — обиделся Борис.

Близился день Козьмы и Домиана, небесных покровителей славянских кузнецов. В этот день по всей Руси никто из кузнецов не работал, а Назар чтит этот день и в дальней земле, — это был день, когда славянские мастера по железу, по стали, по меди разгибались над горнами и как бы озирались во всю ширину страны своей; смолкали молоты, чтобы кузнецы могли прислушаться к наступавшей тишине, повидаться друг с другом, поговорить о делах своего сословия, прежде чем снова погрузиться на год в лязг железа, грохот и в гарь.

В стародавние времена покровителем кузнецов славянских почитался языческий бог Сварог, а сотни три лет назад, со времени Владимира Киевского, доверили славянские кузнецы свои молоты Козьме и Домиану, соединив обоих святых в одном имени — Козьмодемьян.

Борис пошел через двор к своей мазанке и крикнул в дверь:

— Ольга!

Навстречу ему на порог выскочила худенькая, смуглая до синевы, черноволосая жена Бориса.

— Дай мешок, Ольга! Мешок.

Она исчезла за дверью и долго не показывалась.

Борису не хотелось отставать от Назара, и он ей крикнул:

— Чего копаешься? Давай скорей.

Она появилась, протягивая ему шкуру козьего меха. Это была подстилка под их постелью, и она не сразу смогла выпростать ее из-под одеял.

Борис было рассердился, а Назар рассмеялся:

— Эх ты!..

— Ну, что это! — строго спросил Борис. — Я тебе — мешок, а ты мне мех!

Ольга виновато попятилась, а Назар поспешил оправдать ее:

— Ничего, ничего. Обыкнет [так].

Назар жил один в небольшой келье при кузнице, а Борису уступил свое прежнее жилье, когда Борис женился.

Однажды Назар, глядя в невеселые глаза своего подмастерья, сказал:

— Был я, Борис, женат. Прожил с женой два года: хорошо прожил. Из Белева она, тож кузнецова дочь с Оки, из Завырья. Захворала она, послал я ее к отцу, думал, там, в яблонных садах, окрепнет. А она там и померла. С тех пор я не женился: кузнецу, как попу, дозволено раз жениться — не то железо слушаться перестанет. А тебе, Борис, пора. Есть тут русские, которых по низовым селам ордынцы выкрали, привозят их сюда, тут продают. Хочешь, выкупи; сходи на базар. Может, найдешь по душе. На такое дело я тебя поддержу, после рассчитаемся. Не найдешь, — ищи тут по слободкам. Найдешь, — я тебе высватаю.

Огонек блеснул в глазах у Бориса и затуманился:

— Что ж я тимурам работников плодить буду? А, дядя Назар?

— Как воспитаешь!

Борис промолчал, но с того дня в базарные дни стал иной раз отпрашиваться в город, и, не спрашивая зачем, Назар отпускал Бориса.

Однажды Борис сказал:

— Видел я, дядя Назар, наших полонянок, — душа у них измятая, об отчем крове скорбят; с такой жить — только сердце мне надрывать, когда сам себя силом тут держишь.

— Сердца не надрывай, — жизнь строить надо с легким сердцем.

Однажды Борис прибежал с базара и застал мастера за какой-то мелкой клепкой, которой Назар любил заниматься без подручного.

— Пойдем поскорей, глянь сам, годится ли мне.

— Ты же себе выбираешь!

— Пойдем, глянь; не то другой кто перехватит, на мученье. У меня сердце просит, а разум молчит.

— Мудрено тебя понять. Пойдем, коль сомневаешься.

Но и сам Назар удивился, когда Борис привел его в тот угол рабьего рынка, где под длинным навесом сидели и стояли пригнанные с Инда пленники. Их было много, и продавали их задешево: они казались хилыми и непригодными к тяжелой работе, а таких не ценили; девушки же больше удивляли, чем привлекали самаркандских покупателей, — они тоже казались хилыми, сухощавыми, да и очень уж темными и кожей и глазами, столь пугливыми, что ни ласки, ни мысли в них не проглядывало, и это отпугивало покупателей от них.

С тревожным, нетерпеливым сердцем вел Борис за собой Назара по этому печальному, молчаливому ряду, где на смуглых телах, слившихся в единую цепь, кое-где пестрели то белые покрывала с цветной каймой, то коричневые, то темно-багровые накидки, и порванные и уцелевшие.

Продавцы, горячась, выталкивали вперед то одну, то другую из девушек, что-то обычное, бесстыдное выкрикивая им в похвалу, похлопывали потными ладонями по дрожащим, будто в ознобе, телам. Сдвигали

или срывали с пленниц покрывала, чтоб прельстить покупателя.

— Ты тут выбрал? — спросил Назар.

— Идем, идем. Тут!

Назар видел не то что пугливые, а какие-то обмершие, но горячие, иногда влажные, темные глаза, десятки глаз, смотревших куда-то мимо людей, но, казалось, даже и при взгляде на людей ничего не видевших. А телом все тут были схожи — тоненькие, натертые для вида маслом, сжавшиеся, понурые. Продавцы успевали их неприметно ткнуть в бок пальцем, чтобы взбодрить, но этой бодрости не надолго хватало.

— Идем, идем, не купил ли уж ее кто... Ан... Вот она!

Назар не заметил ничего, чем отличалась бы показанная девушка от всех остальных. Среди остальных были и приятней лицом, и рослее.

— Эта?

— Только не гляди прямо: купец заметит, такую цену заломит, что не выкупишь.

— Ладно. А чем она... Она тебе и понравилась?

— Эта подходит.

— А может, по ремесленным слободам сперва поискать, из свободных? С теми хоть поговоришь. А с этой и говорить не сможешь! Она ведь по-нашему... А?

— Язык-то? Пускай. Пока по слободам расспросим, этой уж не будет. Тогда что?

— Себе выбираешь. Сам решай! — И торопливо предупредил: — О деньгах не сомневайся, найдем.

И они выкупили и привели домой эту пленницу.

Они сели у себя во дворе, и Назар смотрел с удивлением на избранницу Борисова сердца.

«Чем она краше остальных? — думал Назар. — Там краше были и рослее! Вот сердце-то человеческое!»

Она сидела между ними, положив подбородок на высоко согнутые колени, чуть скосив голову набок, и вслушивалась в их странный, медлительный, тяжелый язык.

Назар, взяв ее беспомощную, лиловатую, узенькую, как у обезьянки, руку на свою широкую, крепкую ладонь, с любопытством разогнул и посмотрел ее маленькие пальцы.

— Глянь, какие тоненькие, остренькие. Мне б такие, — а то как мелкую работу делаю, сила-то мне мешает.

Борис засмеялся: так не вязались эти почти игрушечные пальчики с могучей десницей мастера.

Девушка, услышав грудной смех Бориса, посмотрела на молодца живым, теплым взглядом. Ей показалось, что после мучительных дней плена, после произвола хмурых, насмешливых воинов впервые послышался душевный, человеческий голос.

Видно, с этой минуты, сперва с горя, а потом и от души, началась ее любовь.

— Тут и обвенчаться-то негде! — с укором сказал Борис, будто Назар виновен, что в Самарканде нет ни попа, ни храма.

— Бог видит. Будете на своей земле, там и повенчаетесь.

Назар сказал это так, словно у них обоих одна земля, у Бориса и у этой... как, бишь, ее звать?

Она догадалась не без усердия, о чем ее спрашивают, и назвала свое имя.

Тут впервые оба кузнеца услышали ее голос, — до того она молчала, сжимаясь в комок, едва ей что-нибудь говорили.

Имя у нее оказалось непонятным, с каким-то гортанным окончанием, и, уловив сходство в ее имени с привычным, русским, оба — сам Борис и его посаженный отец Назар — назвали девушку с Инда, как звали княгиню с Днепра, — Ольгой.

Шесть месяцев прошло, и уже многое начала понимать Ольга в русском языке. А вот с мешком оплошала.

Вскинув пустой мешок на плечо, Борис вышел следом за Назаром, и они пошли по улице в гору, обмениваясь приветствиями с многочисленными знакомцами, что-то ковавшими ила паявшими в сени своих настезь раскрытых мастерских.

— Душа в ней певчая, голубиная. А язык не дается. Никак! — жаловался Борис.

— Обыкнет! — успокоил его Назар. — Нам и то оно не сразу далось. Сперва каждое слово с боку на бок переворачивали, как камень. А ведь обыкли.

— Намедни Ахметка, угольщик, смеется: «Ты, говорит, русом не прикидывайся. Чужой человек нашим языком так не говорит. Русы говорят, будто топором рубят, а у тебя я сам своему языку учусь, — он у тебя поет».

— Обыкли. Главное — суть понять. Я уж и с персами говорю без сраму. Не токмо меня понимают, а я уж и сам вижу, коли из них кто нехорошо говорит. Они ведь тоже не в каждом городе чисто говорят; на своем природном, а тоже спотыкаются. Иной раз такое слово скажут, что взял бы да исправил. А потом, думаю, ведь и у нас так: очень-то осторожно только чужеземцы говорят, а свой народ в родном языке не стесняется — у каждого города своя речь.

Они шли переулками, где жили персы: и давние, испокон веков поселившиеся здесь выходцы из Ирана, и мастера, согнанные в Самарканд войсками Тимура. Персы разместились тут и ютились не по сословиям, не по ремеслам, а по языку, по вере.

На углу их слободы темнел большой четырехугольный пруд, обросший раскидистыми чинарами, так в называвшийся Персидским. На краю пруда примостилась своя большая харчевня, откуда пахло крепкими приправами и какой-то душистой травой, которую там подавали пучками.

После долгого молчания Борис снова заговорил:

— Дядя Назар! А ведь и я в ее языке кое-что понял. Трудно, вязкий язык.

— Сперва всякое дело вязко.

— Да я не отступлюсь, я пойму.

— А что же? И поймешь, не бойся. Ты смелей, она тебе жена, ошибешься, помилует, поправит. Перед чужим человеком стыдно оплошать. Это правда, перед чужим человеком голову выше держать надо. А со своим... чего ж?

Они миновали Персидский пруд, и Назар сказал:

— Тут, у каменщика, у Мусы, нет ли песку. Пойдем зайдем.

Переулком, столь узеньким, что идти пришлось боком, они дошли до низенькой двустворчатой двери с такой искусной, мелкой, затейливой резьбой, что Борис, впервые зашедший сюда, восхитился:

— Вот бы нам такую решеточку выковать!

— Тут исконные мастера... Еще и не такое увидишь!

Медным чеканным молоточком Назар звякнул о похожую на ромашку шляпку гвоздя.

Они вошли во двор, и стало им не до того, чтоб разглядывать вещи.

В тени, под навесом, на камышовой плетенке, обратясь кверху спиной, лежал человек. Spина его, вся искромсанная, потемнела от багровых ран и синих подтеков.

Жена и сынок сидели над ним на земле и поочередно устало, однообразно помахивали соломенным веером над уже обветрившейся, но воспаленной спиной. Видно, легкое дуновение веера облегчало больного.

— Что это? — запнулся Назар. — Кто его?

Женщина, стыдливо заслонившись покрывалом, ничего не сказала, а мальчик опустил лицо, чтобы утаить слезы.

Борис остался у калитки, а Назар подошел к больному и увидел его большой, глубоко запавший глаз, внимательно смотревший в глаза Назару. Женщина встала и ушла, как повелевала скромность, чтобы не мешать разговору мужчин, и мальчик один остался, помахивая веером над отцом.

Кузнец опустил голову возле головы больного, из-под которой высовывалась худая рука с длинными, узловатыми пальцами.

— Муса! Кто же это? — сокрушенно нагнулся Назар. — Кто ж это? А?

Муса тихо, но твердо ответил:

— Правитель.

— Чего это он?

— Для вразумленья, — не роняй кирпич — раз; а секут, — кричи, кайся, тешь палача; а терпишь, когда страдать должно, не смей терпеть — два.

Назар, нахмурившись, помолчал, погладил жилистой ладонью кузнеца шершавую ладонь каменщика.

Оба молчали.

Но молоток у калитки звякнул, и во двор вошли двое неизвестных Назару. Один был худ, мал, кривоног, очень подвижен, но, видно, ловок и крепок, хотя было ему не менее пятидесяти лет.

Реденькая русая бородка его почему-то была сдвинута набок, росла ли она так, набекрень, отгладил ли он ее так, но от нее и все его лицо казалось склоненным набок, будто он все время во что-то вслушивался или вдумывался, во что-то очень важное для него.

И когда хрипатым голосом он заговорил, и тогда казалось, что, говоря, он продолжает во что-то вслушиваться, сощурился маленькие глаза.

С ним пришел рослый человек, прямой, плотный, с густой длинной бородой, которая казалась слишком большой для его молодого лица, словно чужая, подвешенная. Он внес двух связанных пестрых кур, мотавших головами около его каблук; отдал кур мальчику и отошел к Борису. А старший вошел, словно сразу всех увидел. Приложив руку к сердцу, он опустился на корточки возле больного и, встретив взгляд Мусы, долго смотрел в этот большой, пытливый глаз. Между ними, пожалуй, шел разговор, очень значительный для обоих, если можно называть разговором эти, так понимающие друг друга, их взгляды.

Наконец гость прохрипел:

— Потерпи, Муса. Заживает.

— Терплю.

— Заживает, я вяжу.

— Терплю.

— Наше дело терпеть. Стиснуть зубы и терпеть.

— За то и терплю.

— Пускай! Зато они задумаются, когда увидят, сколь мы выносливы, сколь тверды. Ты их отхлестал, а не они тебя! Спина заживет, а их твердость шатнется.

Потом он повернулся к Назару:

— Я вас знаю, мастер.

Он протянул руку к руке Назара.

Скользнув ладонью по сухой, горячей, быстрой руке, Назар удивился:

— Откуда?

— Вот, от Мусы.

Но Муса думал о словах гостя, тихо бормоча:

— Шатнется? А не разгорится ли ярость, свирепость их? Свирепость их нам страшней, чем их твердость. Твердость — дело ихнее, а свирепость на нас сорвут.

— А в диковину ль нам их свирепость?

— В диковину ль? Нет, мы на все готовы. В прежние годы потому и звали нас висельниками.

— Не нас, дядя Муса. Сами мы так себя называли. Когда мы шли на борьбу, мы клялись либо изгнать монголов с отчей земли, либо погибнуть на виселицах. Загодя обрекали себя не на пир, а на виселицу, только б своей дорогой идти. Своей!

И гость объяснил Назару:

— Мы назывались висельниками, сарбадарами. Это персидское слово. Вот Муса — перс, это его слово.

— Хотя и не наше: это по-таджикски — сарбадар, а по-персидски сербедар, по-джагатайски — асиян... Или как? Разве дело в том, как сказать слово? Дело в том, как его понимать. Верно?

— Верно, дядя Муса!

— Так... — задумался Назар, — так... Мы вот тоже... объединялись супротив монголов. Только мы идем не отдельными общинами, а всем народом.

Гость покосился на Бориса:

— Это кто с вами, брат Назар? Мы говорим, говорим, а не знаю...

— Был ученик, теперь подручный. Не сомневайтесь: я бы вас остерег.

— Не обижайтесь, — повернулся гость к Борису, — мы говорим, говорим, а ведь это не всякому скажешь.

— У нас с дядей Назаром жизнь одна, — ответил Борис.

— Одна? Истинно. И мы были народом, брат Назар! Пахари, ремесленники, садовники, рабы, городская голытьба, весь простой народ. Были с нами и многие из купцов, и книжные люди, вроде сына

мавляны. Но мы шли за Абу–Бекром Келави. Это был простой человек, трепальщик хлопка. А тот бородатый, — показал гость на своего спутника, севшего на землю у стены рядом с Борисом, — это Хасан–ходжа, сын того сына мавляны. Но мы шли за Абу–Бекром Келави.

Хасан–ходжа проворчал:

— Мой отец не виноват, когда Тимур казнил Абу–Бекра, а моего отца пощадил. Отец был со всеми.

— Со всеми, и хорошо бился. Мне тогда семнадцать лет еще не было, а я его запомнил: хорошо бился. Но ведь он был среди своих, с нами говорил мало. С нами был Келави, а твой отец — с купцами, с учениками из мадрасы, с муллами, которые боялись монголов...

— Когда это было? — спросил Назар.

— Тридцать пятый год идет с тех пор.

— С монголами бились?

— С ними. Тогда по всей нашей земле самоуправствовали монголы. Не было от них житья. Ни ремесленному люду, — нас заставляли, как рабов, работать, голодом морили. Ни земледельцам, — у них поля скотом травили, не давали урожай собрать, а кто соберет, тем даже на семена зернышка не оставляли. Ни купцам, которые помельче, — у них брали, что понравится, задаром; из города выехать за товаром не пускали. Большим купцам давали пропуск за большие деньги, тем был расчет от такого порядка: все караванные пути к рукам прибрали, а простым купцам стало невмоготу. Города запустели, нечего есть стало в городах. Негде стало на лепешку заработать.

— Так и у нас было! — кивнул Назар.

— Вот мы и перемолвились промеж собой, ремесло с ремеслом, город с городом, по всей стране, по соседним странам, куда дошли монголы, со всеми теми людьми. И поклялись: лучше на виселицах сдохнуть, чем под монголами жить...

— Как у нас!.. — повторил Назар.

— Истинно: как у вас.

— А разве про нас слыхали? — удивился Назар.

— Слыхали: мы во все стороны поглядываем, где кто и где как.

Гость начал было говорить дальше, но, глянув своим острым взглядом в глаза Назару, добавил:

— Знаем про вас, потому и говорим при вас.

И возвратился к рассказу:

— К нам тогда и пришел дядя Муса. Из Сабзавара, у них там свое царство было, сарбадарское...

— Из Сябзавара, по–нашему, — поправил Муса, — из Хорасана.

— Дядя Муса тогда помоложе был...

— Двадцати лет! — подтвердил Муса.

— И смело бился!

Назар спросил:

— А как же до боя дошло? Как с силами собрались? Одно дело — словами перекинуться, другое дело — войском стать.

— Истинно: войском собраться не просто было. Наши амиры с монголами ладили. На службу к

монголам шли. А войском амиры правили, других войск не было. Поначалу мы исподволь боролись. Исподволь, но повсюду. То застигнем в деревне слабый отряд, — порежем грабителей. То в пустой улице встретим двоих–троих, — проткнем их в спину. Искали мы себе воеводу, да они все затаились, к монголам припали. И сам Тимур служил у монгола, у хана, у Кутлуг–Тимура. Вроде визиря он у хана был. Но мы стояли на своем: мы знали, как такие, вроде нас, борются с чужим игом. Ведь вон у них, в Хорасане, еще лет за тридцать до нас сильное войско собралось. Отбились от нашествия, прогнали монголов, прогнали и всех, кто монголам мирволил, больших купцов прогнали с базаров, больших хозяев прогнали с земель. Понизили налог с народа, рабов допустили в войске служить, оружие рабам доверили, а случалось отличиться рабу, от неволи освобождали, возвышали, ставили начальником над воинами. Это большая сила была, а нам — великий пример. Они в главном своем городе, в Сябзеваре, по–ихнему, правителя себе избрали. Яхья–ходжу...

— Какой человек был! — поддержал Муса.

— Еще бы! Они от своего имени деньги чеканили!

Муса поднял голову, повеселев:

— Я доныне храню горсточку, не расходую; нуждаюсь, а храню: она мне дороже, чем мешок серебра, эта горсточка.

Но гость остерег хозяина:

— Лежи тихо, дядя Муса!

И продолжал рассказывать Назару:

— Разве это не ободряло нас?! О! Мы видели: не год, не два, а целых тридцать лет держится этакое царство. Маленькое, с ладонь, а никто не может его осилить! Это давало и нам силы. О!

Муса хотел было что–то сказать, но закашлялся и снова опустил голову, глядя куда–то в сторону запавшим глазом.

— Устал? — спросил Назар.

— Отдохни! — предложил гость. — Лекарь ходит?

— Ничего, сейчас отдышусь. Ходит.

— Чем лечит?

— Лежать, молчать. На солнце не лежать, а на ветерке. Черного винограду не есть, а белый. Баранину не есть, а курятину... Когда меня принесли...

— А кто? Я еще не слыхал, — сказал гость.

— Землекоп. Землю там копали. Вечером, когда я отдышался, он видит: я в память пришел. Закинул меня на закорки и донес. А как звать, не знаю: по–персидски не понимает, по–джагатайски не понимает. А куда нести, понял. «К персам?» — спрашивает. «Неси!» — говорю. Когда донес, тут я ему свой дом указал. Как его звать, не знаю: там их больше сотни согнано землю рыть, а откуда, не знаю... Когда меня принесли, кожи у меня на спине не было, одни клочья. Кликнули лекаря. Он травы нажевал, наложил на мою спину, сразу отошло. А какой травы, не знаю. Третий день, как снял с меня траву. «Теперь, говорит, ветерок нужен, прохладный ветерок, — кожа нарастать будет». Твой подручный, брат Назар, нашу речь понимает? А то я говорю, говорю, а не знаю!

— Понимает, брат Муса.

— Хорошо! — И Муса, устав, закрыл глаза.

— Борис, сходи принеси винограду белого. Надо нам больного попотчевать.

И объяснил гостю:

— А то мы сюда шли — про болезнь его не знали.

— Да и я не сразу услышал! — ответил гость.

Борис пошел было, но вернулся и кинул на свое место мешок.

— Я тут оставлю, дядя Назар.

— Оставь.

Муса не понял их языка, открыл глаз и спросил:

— О чем это он?

— Пустое, мешок. Мы с ним шли чистого песку поискать, зернистого.

— А! Возьмешь сколько надо, на том дворе есть. Сынок тебе вынесет.

— А как же та битва сложилась? — спросил Назар у гостя.

— Битва? Я уж говорил: наш Тимур тогда монголу Кутлуг–Тимуру служил. Потом повздорили они. А когда сын того монгола Ильяс–ходжа пошел из Семиречья на нашу землю, Тимур собрал войско, с нашим амиром Хусейном вместе; пошли они навстречу Ильяс–ходже, бить монгола. И побили бы, да бог не хотел: когда они около Чиназа встретились, такой полил дождь, вся земля размокла, одна грязь кругом. Лошади не идут, оскользаются, валятся. А у Тимура и тогда, как и ныне, весь расчет был на конницу. Конница при такой погоде не годилась, и побил Ильяс–ходжа Тимура с Хусейном. Начисто побил! Еле ноги унесли Тимур с Хусейном, едва успели через реку Сыр переплыть. О Самарканде и думать забыли, до самой реки Аму бежали, Хусейн и за Аму перескочил, в Балхе укрылся. Вот как...

— Ну, а потом? — нетерпеливо допытывался Назар.

— Ильяс–ходжа переждал дождь в Чиназе, обсушился и через Джизак пошел на Самарканд. Народ узнал об этом, видим — беда: наши воеводы от монголов сбежали, надеяться нам не на кого. Толпимся мы на улицах, на площадях... Выходит вперед наш трепальщик хлопка Абу–Бекр Келави. Сзывает народ, призывает отбиваться своими силами. Мы его поддержали. Пришел к нам и сын мавляны; пошли они в соборную мечеть. Ты, дядя Муса, помнишь? Ты тогда уже среди нас был.

— Я раньше пришел: меня Яхья–ходжа к вам послал месяца за три до того, поразведать, не нужно ли вам чего.

— Пошли они в мечеть. Собралось туда народу тысяч десять. Много народу собралось. Сын мавляны хорошо речь сказал. Вышел перед народом в чалме, халат ремнем опоясан, на ремне — меч. Хорошо сказал: о нашей земле, о простом народе, которому честно жить не дают. О купцах, которым из города не выехать. О муллах, которым молиться не дают. Своими словами он всех соединил. Были недовольные, недовольные везде есть, да не посмели спорить, молча уползли в свои щели. А мы принялись готовить город. Стен тогда вокруг Самарканда не было. Их еще Чингиз–хан порушил. А поставил их потом уже сам Тимур. У нас тогда строить новые стены ни сил, ни срока не было. Мы заложили снаружи все въезды в город, все улицы; оставили один въезд, на Большую улицу, от нынешних Железных ворот, с Афрасиаба. А все переулки, все выходы с Большой улицы тоже заложили. Так... Когда подошел этот Ильяс–ходжа, прошелся вокруг города, видит: все проезды между домами заложены, а на домах мы стоим. Попробовал было на нас кинуться, мы отбились. Он еще, — мы еще отбились! Если б тогда вы посмотрели, как мы отбивались! Среди нас бухарец был, Хурбек, — он так стрелял, ни одной стрелы мимо! Ни одной! А за ним и другие тянулись, друг перед другом. Дружно бились. Малые ребята и те не отставали, собирали

монгольские стрелы, нам сносили. Отошел Ильяс ходжа. Отошел и опять вокруг города кружит. Наконец собрал свои силы и решился: ворвался на Большую улицу, а мы только того и ждали! Ударили мы с крыш, сверху, — пришельцам ни назад попятиться, ни в сторону свернуть. Сзади свои напирают, сверху наши бьют. Сами своих они там давили. Тысячи две их там полегло, пока вырвались. Постоял—постоял за городом этот Ильяс—ходжа, так и не решился на новую битву: ушел. Но том мы с ним и расстались. Вот как это было.

Муса задумчиво проговорил:

— Будто вчера, а уже тридцать пять лет прошло.

Он поднял голову и посмотрел куда—то в сторону, словно его измученному телу давнее воспоминание прибавило сил.

Гость помолчал.

Муса снова опустил голову на руку и сказал:

— Все верно.

Тогда гость продолжал свой рассказ:

— Целый год мы хозяйевали в Самарканде. Год! Мы поступили, как было у Яхья—ходжи в Сабзаваре. Муса нам помогал, да и не один он был у нас оттуда. Снизил подати. Устроили войско. Прогнали больших хозяев. Дали поблажки рабам. Совсем их освободить не решались: среди нас много владельцев было, они разорились бы, озлобились бы, началась бы у нас междоусобица. Но облегчение рабам, какое могли, дали. Больше бы дали, да не успели. Был у нас твердый порядок. Дружба. Хорошая жизнь. Целый год! Перезимовали. Наступила весна. Уже сады цвели, слышим: идет к Самарканду наш амир Хусейн и с ним Тимур. Тогда считался амиром нашим Хусейн, а Тимур при нем — вроде визиря...

Гость молчал, глядя, как и Муса, куда—то в сторону, словно переглядывая те далекие дни.

Мальчик мерно помахивал веером, хотя день не был зноен, но не был и холоден, — в свои последние дни осень отдавала земле остатки неизрасходованного тепла.

Назар не хотел нарушать этого раздумья и ждал, пока гость сам заговорит. Гость вскоре продолжил рассказ:

— Вот так и вышло. Подошли к нам Хусейн с Тимуром, остановились за городом, на Кани—Гиль, и прислали нам сказать, что прощают нас за самоуправство, обещают забыть наш бунт и соглашаются опять нами править.

Гость усмехнулся:

— А Келави им хорошо ответил: «Мы, мол, прощения не просим. Это раз. Бунта не совершали, ибо власть свою здесь установил сам народ. Это два. А согласия на то, чтоб править нами, у них не просим, потому что и город обороняем и городом правим твердо и счастливо. Это три».

Назар одобрительно кивнул:

— Крепкие слова.

— Да. Прошло за этими переговорами недели две, не помню сколько. Присылают они снова сказать, что желают говорить с нашим старшиной. А старшин у нас двое — Абу—Бекр Келави и сын мавляны. Келави говорит: «Я им не верю. Не надо ходить туда». А сын мавляны спорит: «Тимур с Хусейном, говорит, бились против Ильяс—ходжи, как и мы. Если и разбил их Ильяс—ходжа — это божья воля: дождь монголам помог. Зачем нам, мол, ссориться с теми, кто заодно с нами против общего врага идет? Пойдем с чистым сердцем,

поговорим».

Гость горько усмехнулся:

— Муллы умеют красно говорить. Они поддержали сына мавляны, затеяли с нами спор, на Коране клялись, что ручаются за слова Тимура. Напоминали, как в борьбе с монголами Тимур был заодно со всеми сарбадарами. По их речам выходило, что Тимур — сам первый сарбадар. Потом они читали из книги, что велик грех, если кто поднимается против правителя, установленного богом, или раб против хозяина своего, а Хусейн, мол, законный кровный наш амир, и всякое прекословие ему противно богу. Может, мы и не уступили бы ему город, но кто нас перекричал? Нас было в десять раз больше с Келави, но сын мавляны со своими муллами и книгами нас переговорил, перекричал, переломил. Послушали мы ученых мулл, послали к Тимур с Хусейном нашего Келави с сыном мавляны. Послали... И не знаем, какой разговор был у них на зеленом поле Кани–Гиль. Не знаем. Только узнали, что Келави они казнили, а сына мавляны отпустили, даже оставили в мадрасе, продолжать ученье. А сами въехали в город и принялись править по–своему. Через несколько лет Тимур прирезал Хусейна и начал править один. Обманул он нас, всех обманул. Так и кончилась наша жизнь.

— Так и кончилась? — недоверчиво спросил Назар.

— Та кончилась. Другая началась. Разве нам теперь подняться, как прежде, когда у Тимура одной конницы тысяч... более двухсот. У кого еще столько силы было? Нет, если мы все вместе поднялись бы, он вместе всех бы и задушил. Всех вместе, разом. Нет, мы разобрались, мы поняли, что такое Тимур. С монголами было тяжело, а с этим, со своим, слаще ли? Те чужие, придут и уйдут. А этот — здесь, этот никуда не уйдет. Этот здесь год от году крепнет. Но мы поняли, мы знаем, кто таков Тимур.

— И что же? — любопытствовал Назар.

Гость молчал. Он сидел, утомленный ли долгим рассказом, удрученный ли воспоминаниями. Наконец он поднял лицо к Назару:

— А? Вы что–то спросили?

— Значит, на смену монголам пришло другое войско и народ присмирел, радуется, ликует?..

Гость повернулся к Мусе и встретил его настороженный взгляд:

— Как, дядя Муса?

— Как? Я так думаю: русы тоже боролись с монголами. Их, сказывают, тоже долго чужое иго давило...

— Да и теперь еще... — подтвердил Назар.

— Теперь не столь, как нас! — возразил Муса и ободрил гостя: — Они поймут, пускай знают.

И гость сказал:

— Мы и сейчас боремся. Пока не доконаем ихней воли, пока себе воли не выберем, не перестанем бороться.

— Легко сказать!.. — усомнился Назар.

— Нынче у нас монголов не видать. Схлынули с наших земель, а кои остались, — переродились. Их место свои заняли.

— Какие это?

— Такие! Над родным своим народом двести тысяч мечей занесли. Над другими народами пуще Чингизовых орд измываются. Легче ли тем народам от нынешнего Тимура, чем от прежнего Чингиза? Легче ли? Над вами Орда потеряла силу; как ни тужится вернуться на вас, да вы крепки. А над нами прежнюю,

монгольскую власть свой, Тимур, взял. Нас–то он тешит, бережет, а и то... А другим каково — персам, индийцам, хорезмийцам, — им каково? В Индии, в Армении, в Азербайджане — везде его сынки да дружки расставлены, везде вершат его волю, слушают его слово. Всем этим людям, тысячам тысяч людей, весело ли смотреть на нашего повелителя?

— Весело, да глазам больно! — ответил Назар.

— Можно ли нам перед другими людьми гордиться таким своим повелителем, в глаза им смотреть? Стыд!

Он помолчал. Назар спросил:

— А те, в Хорасане, как?

— Сарбадары?

Муса поднял голову, и гость, предугадавший волнение Мусы, поспешил ему сказать:

— Лежи, лежи, дядя Муса.

Муса опустил голову:

— Эх, Хорасан!..

Глядя на Мусу, гость сказал:

— Восемнадцать лет назад Тимур их задавил. Сам туда ходил, сам давил. Нет ныне того царства. Сорок пять лет их царство держалось. Против монголов устояло, против своих вельмож выстояло. А против Тимура не устояло. Царства нет. Но сарбадары — народ. Царство разрушить можно, а целый народ разрушить можно ли? Шею людям можно согнуть, а ум согнуть можно ли? Они успели разойтись врозь, чтоб он их разом не истребил. Он пришел, а они уже разбрелись. Кого изловил, тех привел пленниками, рабами, а они и в рабстве прежними думами думают, прежней любовью любят.

— В такой любви — главная сила! — сказал Назар.

— С этой любовью мы и держим свою клятву.

— Какую?

— Бороться.

— Как?

Рушить под ним опору. Он на кого оперся? На больших купцов, на хозяев больших земель, на войско. Если каждый из нас купца собьет с дороги, от амира поможет рабам сбежать, среди воинов единодушие порушит, будет ему это в радость? Нет, не будет. А ведь нас тысячи! Мы и среди воинов идем в поход, и среди крестьян ходим по землям амиров, и среди караванщиков товары возим, мы и оружие куем, мы и одежды шьем, мы и коней растим, и крепости строим — мы везде.

— И как же? — спросил Назар.

— А так: если каждый за неделю хоть одно дело сделает, что противно Тимуру, так за год тысячи людей многое сделают. Многое!

Назар согласился:

— Народ силен, когда у него одна забота.

— Силен! Вот вы ему кольчуги чинили. Мы знаем, нельзя вам было отказаться. А зачем вы еще рваные взяли? Их можно было кинуть, пускай ржавеют.

— Жалко было, — работа хороша. А вы и про них знаете?

— Знаем. Взяли три кольчуги — и видели: вы их починили. А ведь три кольчуги троих воинов от многих сот безоружных людей защитят.

— От безоружных и одним мечом можно отбиться.

— Можно! Да не лучше ли кольчугой добрых людей закрыть, а не захватчиков от народного гнева?

— Ну что ж, я могу и не вертать тех кольчуг. Скажу, — совсем, мол, распались; нечего, мол, было чинить.

— Ваше дело.

— А не общее?

— Вам виднее.

— А зачем вам? — хитро прищурил глаза Назар.

— Наш человек поднаденет ее под халат, смелее пойдет на трудное дело.

— А часто бывают трудные дела?

Переглянувшись с Мусой, гость кивнул:

— Бывают!

— А зачем?

— Наши люди есть в Синем Дворце, есть в царских садах, есть среди стражей, стоят с голым мечом за спиной Тимура, — мы все видим. Недавно было: послал он товар, пограбленный в Индии, продавать на севере. Тех товаров на базаре еще нет, у купцов еще нет, а он спешит, пока цена не упала. Ему не так дорог товар, как дорого опередить купцов. Мы тот караван сбили с дороги...

— Около Кургана?

— Там.

— Смелое дело!

— Не очень, — в охране пошли наши люди, среди караванщиков — наши люди. Старшие задремали впереди, младшие не дремали назад.

— А надо ли было его свирепить?

— Надо! Он неделю просвирепствовал, из города в поход не шел, опасался.

— А куда добро дели?

— В стороне от Кургана есть ямы, где кирпич жгут. Там вьюки разобрали, приметный товар сожгли, сокровища и оружие спрятали, — в черный день пригодятся нашим братьям. Золотые изделия вам в кузню принесем, переплавить, чтоб тех вещей не опознали.

— Приносите. Не сомневайтесь.

— Если б сомневались, не говорили бы.

— Я понимаю! — тихо сказал Назар и закрыл ладонью глаза, чтобы собеседник не заметил в них слез, ибо не честь мужику выказывать свои чувства.

— Недавно он послал человека в Орду, — добавил гость, — хочет взять Орду в свои руки, сам ее укрепить, сам ею ударить по вашей земле. Велел искать Тохтамыш: хочет Тохтамыш поднять, Едигея

свалить. Орду сделать послушной.

— Так! — насторожился Назар, и глаза его сразу стали сухими.

— Мы послали двоих с наказом: остановить того купца.

— Зачем?

— Задержать время. Пока Тимур снова соберется туда послать, пройдет много времени.

— А как остановить?

— Словами его не остановишь! — строго ответил гость.

— Так... — задумчиво говорил Назар. — Так...

— Если он Орду осилит, тогда разгуляется. Тогда и нас здесь скрутит в бараний рог.

— И что ж тот купец?

— Вот, Хасан-ходжа нынче вернулся: купец не доехал до Орды.

Назар протянул руку Хасану:

— Вот ты какой!..

Звякнув по двери молоточком, вернулся Борис.

Вечерело, когда, взвалив мешок на плечо, Борис пошел домой вслед за молчаливым Назаром.

Многие из мастерских закрывались: в их глубине стало темно работать. Купцы шли с базара, неся семьям узелки с припасами.

Город затихал.

Уже стемнело, когда кузнецы вернулись к себе.

А едва проступила в небе осенняя предрассветная синева, Назар кликнул Бориса.

Они засунули черные кольчуги в большие глиняные корчаги, засыпали их светлым песком и принялись толстыми палками перемешивать там песок и кольчуги.

Ольга, глядя на усердие мастеров, улыбалась: так, в корчагах, толстыми палками горянки в Афганистане и в Индии сбивают масло.

Наконец руки мастеров устали, и тогда они повалили корчаги и долго катали их по земле.

Когда они достали кольчуги из корчаг, стряхнули и стерли с них почернелый песок, доспехи засияли, как чистые ручьи под багряным светом восходящего солнца.

— Нет! — сказал Назар. — Я не отдам!

Мастера бережно свернули их и снова уложили в корчагу.

Вырыли яму, закопали корчагу, сверху землю засыпали песком, и обоим кузнецам показалось, что там, в корчаге, у них запрятано про запас не только надежное железо, но и отблеск зари.

Тринадцатая глава

СУЛТАНИЯ

Уже брезжило утро над Султанией, богатым городом, раскинувшимся в ровной степи. Вокруг города не было стен, а стояли лишь высокие крепкие башни. Из-за их суровых плеч поднимался, растекаясь по небу, осенний рассвет. Во дворе ржали кони, ожидавшие своих нарядных хозяев, а хозяева толпились у крыльца, ожидая Мираншаха.

Мираншах, старший из двоих оставшихся в живых сыновей Тимура, покрикивая на слуг, неповоротливо одевался.

Многим из царедворцев хотелось отдыха, а не выезда на охоту. Хотелось отдыха после веселой ночи, когда праздновали, пировали, пили вино и любовались плясками пленниц и шествием рабынь, из которых любую Мираншах мог подарить гостю.

Мираншах, покряхтывая, одевался. В полутемных комнатах крепко пахло благовониями, щедро растраченными на вчерашнем пиру.

Царевичу не было еще и сорока лет, но после падения с лошади, когда он ударился головой, все тело сделалось непослушным: ноги стали вялыми и плохо держали его большое тело, хотя осталась прежняя привычка двигаться быстро.

Когда он наконец пошел по глубоким коврам, ему пришлось часто переставлять ноги, чтоб держать свое тело с надлежащим достоинством. Он почти бежал, вытянув вперед плотное, холеное лицо с большим приплюснутым носом, белое лицо, увенчанное темно-русыми волосами, обрамленное царственной черной бородой.

Так, мелко переставляя ноги, в раздувающемся халате, он, посапывая, проследовал перед слугами через большую залу. Дворцовый есаул посмел его задержать сообщением, что третий день в подворотне ждут гонцы и проводники, ожидающие допуска к правителю.

— Ты ослеп, а? Выживаешь из ума: мы едем охотиться, а ты задерживаешь болтовней о слугах. Подождут до вечера.

— Я полагал, нет ли чего-либо важного?..

— Нет ничего важнее воли правителя, а он спешит — не то мы упустим время перелета! Глупец!

И снова его толстые, тяжелые ноги мелкими шагами зашпешили по ковру к выходу. Он надел соболью шапку с острой макушкой и даже не взглянул на нескольких пыльных, усталых воинов, видно откуда-то издали прискакавших сюда.

Висевшая на его правой руке плетка метнулась своим ременным хвостом, когда он мановением руки приветствовал собравшихся.

Коня подвели ему к высокому порогу, чтоб царевич мог, не поднимаясь в стремя, сесть в седло, — Мираншаху стало трудно подниматься в седло, даже если его подсаживали: тело его не было ни ожиревшим, ни одряхлевшим, но стало непослушным.

Мираншах проверил, крепко ли пристегнут позади седла колчан со стрелами, удобно ли приторочен к луке седла шелковый аркан с петлей на случай встречи с табуном диких ослов. Давно никто не встречал здесь этих табунов, но Мираншах желал быть готовым на случай неожиданной встречи. Аркан свисал с луки мягкими кольцами и слегка заскрипел под ладонью царевича.

Конь присел под Мираншахом и завертелся было, но привычной рукой Мираншах тотчас укротил его и подчинил себе.

Нарядные конюхи побежали, ведя под уздцы Мираншахова коня; двинулись на поджарых лошадях сокольники и кречетники, держа перед собой ловчих птиц, накрытых синими клубочками.

Баловали застоявшиеся лошади, пока не вышли со двора на большую улицу. Тогда конюхи отпустили поводья царевичева коня, и все помчались полной рысью по городу.

Жители мгновенно скрывались, едва слышав топот царской охоты.

Лишь на верха башен торопливо выбегали люди: это воины спешили попасть на глаза своему правителю, чтобы показать свое усердие и готовность.

За городом, в степи, было сыро и ветрено.

Стая перелетных птиц протянулась по мутному небу, и Мираншах поскакал ей наперерез, не разбирая дороги.

Спустив кречетов на дичь, поехали шагом, ревниво соперничая между собой своими ловчими птицами, их быстротой и хваткой.

Наконец показался раскинутый среди ровной степи просторный шатер, куда сквозь легкие шелка уже просвечивало румяное солнце.

Здесь предстоял привал после жаркой скачки и желанный отдых охотников.

Но из города прискакали трое воинов и просили визиря выслушать их. Визирь, едва спустившийся с седла, еще не успев отдышаться и размяться, сердито пошел к ним.

Визирь шел с нарочитой медлительностью, дабы показать воинам, что ему сейчас не до них, что он лишь милостиво снисходит к их просьбе, что нет в мире дел, достойных внимания, когда он сопутствует своему правителю.

Чуткой ноздрей визирь ловил запах жарящихся перепелов и уже хотел было вернуться к шатру, а разговор с воинами отложить.

Он думал: «Осенние перепела! Повар—армянин жарит их на вертеле, сверху корочка!»

Не в этой охоте набито столько перепелов: птиц привезли заранее, из города, но в эту пору здесь, в степи, нет птицы жирнее и слаще перепелов.

«Ах, как армяне готовят перепелов! А перепела с айвой, запеченные в глиняных горшках!»

Визирь насторожился, заметив на шапке у одного из воинов красную косицу — знак царского гонца.

— Ну, что там? — пренебрежительно спросил он гонца, стремясь показать ему, что и здесь, в дальней Султании, визирь — могущественный человек.

— К городу подходит Повелитель Мира!

— Где, где? — не понял визирь.

— Подходит к городу.

— Кто?

— Сам повелитель и войска.

— Ты что?.. А?

— Весь город, господин, поднимается ему навстречу. Все готовятся. К вам давно посланы вестовые.

— Вестовые? Где это?

— Ждут приема во дворце правителя. Сказывали, третий день ждут.

— Он из Самарканда вышел, что ли?

— Из Самарканда.

— Когда ж он сюда дойдет?

— Нынче будет здесь.

Визирь, ничего не сказав, круто повернулся и на коротких ногах, привычных более к седлу, чем к земле, столь быстро побежал к шатру, что его с удивлением заметил даже Мираншах, в то время удобно садившийся на подушки, услужливо сдвинутые вокруг него.

Вид бегущего визиря был столь забавен, что Мираншах захохотал, показывая пальцем в сторону визиря, чтоб и другие посмеялись.

Но визирь был бледен и, не дав себе отдышаться, столь резко крикнул: «Повелитель!», что Мираншах привстал:

— Кто?

На мгновенье мелькнула догадка, что старый Тимур умер и завещал стать Повелителем Мира Мираншаху. Но лицо визиря посинело от одышки; нет, радостную весть так не передают!

— Повелитель? — переспросил Мираншах, досадуя, что визирь тучен и не может сразу отдышаться.

— Повелитель вечером будет здесь.

Мираншах, перешагнув через скатерть, побежал к городу, видя впереди, на краю степи, у самого небосклона, вершины деревьев, куполов и широких башен Султании.

Он не мог бежать. Но ему казалось, что он бежит стремительно и неукротимо.

Однако его без труда догнали приближенные — амиры и царедворцы — и принялись подсаживать на коня.

Одни совали его непослушную ногу в стремя, другие подпирали под локти, все теснясь к нему, мешая друг другу, оттаскивая один другого, каждый торопясь шепнуть те насущные слова, каких только что и в мыслях ни у кого не было.

Мираншах слышал, не вникая в слова, молящие голоса своих спутников, сподвижников, сотрапезников:

— Государь! Милостивый! Владыка великодушный! Защитите, государь! Попомните, владыка, наше усердие. Не забудьте, государь, моей преданности! Защитите, милостивый! Упование наше на вас, великий мирза!

Но чем настойчивей, чем горячее и тревожней звучали их шепоты, тем спокойнее и страшнее становилось самому Мираншаху.

Он не заметил, что уже сидит в седле, что коня его тянут на поводу, что все устремились к городу, спеша сами там укрыться либо что-то укрыть.

Беспорядочным, поспешным, как бегство, выглядело возвращение в город расточительного и пышного правителя обширных владений царства Хулагу, куда как области входили Азербайджан и Грузия, Армения и Северный Иран, Багдад и Шираз; богатой страны, достигавшей благодатных волн Черного моря, беспокойных валов Каспия, призрачных, как марево, вод Персидского залива и зыбких, как море, песков

Месопотамии.

Чем ближе к своему дворцу приближался Мираншах, тем малочисленнее становилась его свита. Спутники искусно и неприметно отставали, чтобы свернуть в свои переулки и, уединившись дома, запереться ли там, отсидеться ли, обмыслить ли надвигающийся самум, укрыть ли имущество от нескромных глаз, — подготовиться к прибытию Повелителя Мира.

Дервиши попадались навстречу, порой увязывались за вельможами, заходили следом за ними в их дома, предлагая помолиться о ниспослании милости аллаха на достояние рабов своих.

Словно воронье, почуявшее запах мяса, всюду сновали в своих островерхих шапках дервиши—сунниты с посохами в руках и дервиши—шииты со своими топориками: настойчивые, неотвязные, они требовали молитв и подаваний, но и получив подавания не отставали, присаживались во дворах или на порогах домов вельмож, хотя не до дервишей, не до молитв, не до дел благочестия было в тот день вельможам и царедворцам Мираншаха: все они знали, как взыскателен Тимур, как беспощаден ко всякой человеческой слабости. А слабостями, как золотым шитьем на халатах, как жемчужными вышивками на высоких шапках, как накладным золотом на оружии, как серебряным чеканом на оседловке коней, как жемчужными бусами, вплетенными в конские гривы, как золотыми нитями, затканными в узоры иранских и пышных армянских ковров, отягощен был каждый из вельмож Мираншаха, ибо Мираншах, видя слабости друзей, легче прощал себе самому свои склонности в пристрастия.

Дворцы Мираншаховых вельмож полны были серебряных чаш, кувшинов и подносов, покрытых иранскими, грузинскими или азербайджанскими чеканами и чернью или отделанных бирюзой; золотых чаш, усыпанных рубинами или смарагдами; гаремами, столь многолюдными и нарядными, что молва о них, где с завистью, где с ненавистью, где с боязнью, растекалась не только по странам, подвластным Мираншаху, но и за пределами его земель; конюшнями, где стояли бесчисленные обьезженные лошади, славные то красотой, то резвостью, тео выносливостью на полях охотничьих скачек или конных игр.

Но Мираншах знал: не любоваться пышными дворцами вельмож пришел Тимур. Не смаковать славные изделия поваров пришел Тимур, не охотой тешиться, не красоте ковров дивиться.

Пришел Тимур смотреть не на то, исправно ли ведут хозяйство земледельцы и обильны ли их урожаи, а исправно ли взысканы земельные подати, процветает ли базар и взыскивается ли сбор с купцов, обучены ли воины, стоящие на рубежах страны, безропотны ли жители подвластных областей царства, крепки ли стены вокруг городов и неприкосновенна ли казна повелителя, хранимая здесь для военных и государственных нужд.

И когда Тимур обо всем этом спросит, что скажет ему правитель необъятного удела мирза Мираншах?

И случилось так: когда Мираншах въехал в город с запада, Тимур уже вступил в Султанию с востока.

Клики народа, встречавшего повелителя, ударили Мираншаха как мечом по голове. Не видя ничего вокруг, он сорвал с луки седла шелковый аркан и, накинув петлю себе на шею, собрался свалиться с седла и разом кончить все тревоги и опасения, но в это мгновенье он увидел Тимура.

И в руках не оказалось сил, в сердце не нашлось твердости, чтоб прыгать с коня. Он тихо сполз с седла и с петель на шее, потеряв шапку, с непокрытой головой и помертвелым взглядом, тихо что-то бормоча, пошел навстречу отцу на глазах у всего народа.

Мираншах что-то бормотал, высказывая покорность отцовской воле, поднося отцу конец аркана, накинутого на свою шею.

Тимур остановил коня и, хмурясь, вслушивался в его несвязную речь.

Мираншах бормотал что-то о готовности искупить всякую вину перед Повелителем Мира.

Но Тимур неподвижно слушал и молчал.

Мираншах просил отца взять конец аркана и затянуть петлю, ибо не чист перед отцом и повинен перед Великим Повелителем.

Тимур тронул коня, поехал прямо на Мираншаха и, чуть не наступив копытами на ноги сыну, проезжая мимо, сказал:

— Не срамись, сними петлю. Веревка у меня и своя найдется: твоя слишком красива.

И поехал.

Мираншаху осталось лишь следовать за отцом, быстро переставляя ноги, силясь не отстать от крупы царского коня, через всю площадь, перед толпами народа, пестрого, разноязычного, разноликого, но единого в своей неприязни к Мираншаху-правителю, как и в своей боязни перед повелителем Тимуром.

Тимур вошел во дворец, хозяйственно оглядывая убранство комнат, идя впереди всех, не говоря ни слова.

У перехода к женской половине дворца вельможи отстали. Только Мираншах и внуки пошли следом.

Сыновья Мираншаха Абу-Бекр и мирза Омар здесь встретили своего деда, неся ему подарки на золотых блюдах.

Тимур пальцами коснулся подарков в знак того, что принял их, и пошел дальше.

Наконец он увидел небольшую комнату с маленьким окном наверху, осмотрел дверь и сказал:

— Сними петлю, мирза Мираншах.

Царевич снял с шеи и подал Тимуру свой шелковый аркан.

— Разденься! — приказал Тимур.

Мираншах с трудом, путаясь в рукавах, принялся стягивать с себя многие халаты, надетые для выезда на охоту.

Тимур нетерпеливо, гневно глядел на эти тщетные усилия своего сына.

Кивнув внукам, стоявшим поодаль, он велел Халиль-Султану:

— Помоги ему!

Халиль-Султан быстро снял верхние халаты с отца и, кинув их на пол, хотел было снять и нижний халат.

— Это оставь! На, вяжи ему руки! — и Тимур протянул Халилю шелковый аркан.

Халиль отстранился:

— Дедушка, он мне отец!

Тимур помолчал, помахивая мотком аркана, хмуро глядя на Мираншаха.

— Мирза Хусейн! — позвал дед сына своей дочери. — На, вяжи его.

Султан-Хусейн, не посмеяв ослушаться, взял аркан и подошел к дяде.

— Всего вязать?

— Руки. Назад свяжи.

Со связанными руками Мираншах был водворен в полутемную комнату и заперт длинным винтовым

замком. Взяв себе ключ, Тимур распорядился приставить к двери стражей из своей охраны.

Внуки пошли дальше вслед за дедом. Один лишь Улугбек на минутку задержался, чтобы взглянуть в щель двери. Но из светлой залы в запертой комнате уже нельзя было разглядеть Мираншаха.

В большой зале женской половины повелителя встретили жены и наложницы Мираншаха со многими подношениями. Ни одной из них не выражая привета, по-прежнему хмуро и молча, Тимур смотрел на них, столь бледных и напуганных, что румяна на их щеках казались кровавыми брызгами на мраморных камнях.

Досадливо, прикоснувшись к подаркам лишь пальцами, Тимур принял дары только от двух женщин — от младшей жены Мираншаха Ширин-бики, которая была матерью Абу-Бекра, и от Перепелки, веснушчатой наложницы, родившей Мираншаху мирзу Омара. Подарки остальных Тимур не принял и один пошел по безлюдным комнатам гарема, сердито заглядывая то в одну, то в другую, где бросалось в глаза безудержное соревнование женщин одна с другой в роскоши и причудах.

Обитательницы гарема не решались возвращаться к себе, пока Тимур был там. Лишь служанки и рабыни то тут, то там падали перед ним и лежали, уткнувшись лбом в пол, пока он проходил дальше.

Он все осмотрел, открыл дверь во внутренний двор, где среди цветов беспечно и светло струилась вода фонтана.

Он прошел мимо воды под навес длинной пристройки, где помещались рабыни и пленницы. Многочисленные девушки, толпясь вдоль стен, смотрели на хромого старика испуганно, но с любопытством, а он остановился, оглядывая их прищуренными, твердыми глазами.

К нему смело подбежали старухи, такие же бесстыдные и угодливые, как и во многих иных дворцах и странах, где ему случалось бывать. Осклабясь, они кланялись, заглядывая ему в глаза. У одной из них был большой, но такой тонкий нос, что казался даже прозрачным, на щеке возле носа у нее темнела, как вишня, родинка, а над впалым ртом густо росли, топорщась, сидящие усы. Ей Тимур сказал:

— Отошли ко мне. Есаул укажет куда. Ту и вот эту. Двоих.

И зачем—то повторил по-армянски:

— Этот два давай—давай.

Он примечал все, что перестроено в этом дворце за те годы, пока он не бывал здесь. И, видя ту или иную перемену, думал, к чему эта перестройка, зачем она понадобилась. Ему казалось, что многое снесено или перестроено лишь затем, чтобы что-нибудь строить. Бесполезной была невысокая круглая башня над переходом во внешний двор. Теперь на месте круглой сложили угловатую, переход искривили.

На внешнем дворе повелителя встретил дворцовый есаул.

— Здоров? — покосился Тимур на его немногословные и простые приветия.

Есаул не успел ответить, Тимур кивнул:

— Иди сюда!

Тимур присел на покрытую войлоком скамью и, глядя на желтую от солнечного света плотную землю двора, спросил:

— Себе много набрал?

— Великий государь! Брал, когда не мог отказаться. На все даяния правителя имею опись.

— По этой описи и вернешь.

— Не замедлю, государь, все цело, все цело.

— Вернешь. Я тебе своих писцов пришлю, вели составить роспись каждой комнате, каждому чулану. Чтоб ни одну нитку не проглядели, — все записать.

— Исполню, государь.

— Вызови купцов, самых почтенных, знающих. Оцени каждую вещь в каждой комнате. И в гареме на каждой красотке до последнего колечка, чтоб на все не только была опись, а и цена, и так распорядись: пускай купцы говорят две цены на каждую вещь, — пускай одни скажут, почему бы дали за такую вещь, а другие — почему бы взяли за такую вещь. Понял?

— Понял, государь.

— То-то. Письма твои получал. Сам пишешь?

— Грамотен, государь.

— Знак забар забываешь ставить.

— Случается, государь, — некогда.

— У меня не ты один так, у меня вельможи есть, — пишут почерком насх, а знак забар забывают ставить.

— Тоже небось дела, государь?

— Все большие комнаты запри. Из женщин только тех не тронь, у которых дети. Остальных — вон. Понял? А тех, у которых дети, отправь в Чинаровый сад.

— Сейчас ж приступить, государь?

— Я распорядюсь о писцах; как придут, так и начинай. Роспись на всех есть, кому что давалось? Есть?

— Берегу, государь. Не при себе, запрятана. Сперва надо достать.

— Достань. Принеси.

И Тимур уехал из дворца, велел семье размещаться за городом, в Чинаровом саду.

Тимур хорошо помнил этот просторный, светлый, прохладный город и поехал к его южным башням, к Арабскому кладбищу, к гробнице пророка Хайдара, почитаемого жителями всех окрестных земель.

Он миновал тесный, крикливый, пестрый Араб-базар с его крепкими, пряными запахами, и весь народ видел, как просветлело лицо повелителя, когда перед ним забелели своды почитаемой гробницы.

На виду у всей Султании Тимур совершил молитву и поклонение перед могилой пророка Хайдара, чтобы набожные мусульмане разнесли отсюда славу о благочестии и смирении Покорителя Вселенной и подтвердили лестные слухи, накануне распространенные дервишами, что как пророк Мухаммед явился посланником аллаха, так Тимур явился убежищем халифата.

Отмолвившись с усердными поклонами, Тимур выпрямился и, отослав всех царевичей и военачальников в Чинаровый сад, оставил с собой лишь одного Улугбека.

— Вот и прибыл я на твою родину, — сказал он мальчику, когда кони их пошли рядом.

— Я полагал: моя родина везде, где города принадлежат вам, дедушка!

Тимур одобрительно покосился на внука и промолчал, углубившись в какие-то мысли, побудившиеся от этих мальчишеских слов.

Тут же, на окраине города, перед Тимуром поднялись хмурые древние стены дервишеской ханакы, более похожие на крепость, чем на пристанище слуг аллаха.

Перед серыми сводами входа, отдав коней воинам, Тимур постоял как бы в набожном раздумье и вошел в тяжелые ворота, окованные железными полосами с выкованным на них причудливым узором, с древними суфийскими стихами, врезанными в неподатливую толщу дерева, в те ворота, которые он за пятнадцать лет до того открыл ударом копья.

В этой дервишеской ханаке, где со всех четырех сторон на каменный двор открывались двери полутемных келий, останавливались на ночлег или жили осевшие в городе странствующие дервиши, становившиеся год от года могущественнее и дерзче.

Тимур объявил, что желает остановиться здесь, среди богоугодных людей, отрекшихся от земных благ и сокровищ во имя благ небесных, во имя единственного сокровища — истины.

Не в первый раз избирал он своим местопребыванием такие ханаки, — в ханаке жил он, возвратившись в Самарканд после побед в Индии; в ханаках останавливался он, проезжая через Бухару; даже в солнечном, сказочном Дели ему нашли убогую, тесную ханаку, где он и жил в низенькой келье, пока для него убрали высокий дворец посрамленного Султана Махмуда, низвергнутого повелителя индийской земли.

Это был день, когда совершался закр — еженедельное радение султаньских дервишей.

Дервиши в своих узорных тканях, темно-бурых халатах, в островерхих шапках, обрамленных бурой бахромой, с остроконечными посохами в руках, выстроились со всех сторон двора, как одна из сотен непреклонного мирозавоевательного воинства Тимура.

По одежде ничем не отличающийся от своей паствы, вышел вперед духовный наставник сих воинствующих слуг веры, выкрикивая благодарения богу за ниспослание в сию обитель Меча Веры, Заступника Благочестия, Прибежища Человеколюбия и Щита Ислама — Тимура.

И сотня могучих глоток, исторгнув вопль славословия, подтвердила слова наставника.

И еще, и еще, и снова, и снова, исторгая вопль за воплем, дервиши подтверждали свои слова взмахами каменных четок, коих резкий стук усиливал силу слов.

Их волнение нарастало.

Они двинулись кругом по краю двора, вскрикивая за словом слово, мерно следуя с поклонами друг за другом.

За каждым словом — один шаг вперед, вслед за шагом — один поклон.

Все громче и протяжнее звучали слова, все порывистее становились шаги, все глубже дыхание, все горячее глаза.

Наставник повернулся навстречу шествующим дервишам.

Чем быстрее двигались и кланялись дервиши, вскидывая постукивающие четки, восклицая, как клятвы или как заклинанья, слова молитв, тем быстрее кружился внутри дервишеского круга их наставник.

Два встречных движения, два встречных круга: устремленное направо шествие паствы, устремленное налево кружение пастыря.

Уже и дервиши в своем строю не только восклицали и кланялись, но и кружились, неуклонно двигаясь вправо, влево. Их кружение становилось быстрее, быстрее...

Тимур смотрел, стоя, как на молитве, прижав к груди ладонь. С опущенными руками, не мигая смотрел Улугбек, видевших все это впервые.

— Слава богу! — восклицали дервиши, и вопль их, разом исторгаемый из всех глоток, разом, будто не

из сотни уст, а из бездонной одной глотки, как удар стенобитной машины, пробивал брешь в небе и достигал аллаха.

Глаза дервишей стекленели, на разверстых губах скапливалась пена, отуманенные круговерчением головы тяжелели, длинные волосы липли ко лбам, то там, то тут кто–нибудь падал, судорожно содрогаясь на холодных плитах двора, но чем меньше их оставалось, тем стремительнее было вращение круга и каждого дервиша в кругу...

— О, они славили истинного бога, достигая совершенного постижения истины!.. — объяснил внуку Тимур, когда наивный мальчик высказал свое удивление деду.

В кельях, отведенных им, было уютно. Камни стен столь пообтерлись за долгие века, что рука, коснувшись стен, соскальзывала, как со стекла.

Тимур хотел отдыха и в этот вечер никого не велел допускать к нему.

Лишь наставник дервишей, отлежавшись от своего кружения, вошел с поклоном.

Тимур отпустил Улугбека пройтись по ханаке.

Ворота оказались на крепком запоре, хотя никого из охраны внутри ханаки не было: стража осталась снаружи, за воротами.

Бродя по двору, погруженному в сумерки, вдоль длинного ряда затворенных либо приоткрытых дверей, Улугбек отовсюду слышал тяжелое дыхание, какое–то невнятное бормотание или несвязные восклицания, словно обитателям келий все еще чудились небесные виденья, все еще звучали откровения божественных уст.

В одном из углов двора Улугбек увидел узкую, как лазейка, дверцу и ступеньки за ней. Он втиснулся туда и в полной темноте, на ощупь, полез по стертým плитам извилистой лестницы наверх.

Он выглянул на крышу и замер.

Султанья, озлащенная вечерующим солнцем, привольно распростерлась как на чеканном блюде; распростерлась столь широко, что края ее поблескивали где–то вдалеке, в дальних волнах садов, в голубом, полыхающем, легком небе, где виднелся завиток месяца, невесомого, светлого, как пушинка.

Но посреди этого сверкающего блюда поднимались купола дворцов, бань, мечетей, грузные, квадратные сторожевые башни, легкие минареты, светлые стены зданий — и все это сияло, изборожденное легкими чертами теней. Густой, тяжелой грудой кое–где поднимались над зданиями верхушки раскидистых деревьев, кое–где мерцали то алыми, то белыми пятнами поставленные на плоских крышах шатры.

Узкие улицы, уже погруженные во мглу теней, казалось, лишь подпирали легкую высоту озаренных солнцем вершин города.

Высилась столетняя, дивная мечеть Худабендэ у мавзолея Ульджайту–хана, а неподалеку сутулился тяжелый купол над гробницей Хайдара.

Стройный дворец красовался длинным рядом каменных куполов, круглыми башнями по углам, какой–то угловатой башней, поднимавшейся из–за плоских крыш, — дом, где Улугбек впервые увидел свет, где впервые глотнул густой и легкий, как парное молоко, воздух бытия.

Мальчик смотрел на этот невиданный, словно приснившийся город, пока не послышалось снизу, как кто–то не то кликнул его, не то назвал по имени.

Глянув с каменных плит крыши во двор, Улугбек ничего не мог различить там, в густом сумраке, где

уже зажигали светильники и в очагах раздували огни.

Нехотя вернулся он к лестнице, снова втиснулся в ее извилистое жерло и, нащупывая внизу очередную высокую ступень, опираясь ладонями о скользкие, будто просаленные стены, спустился во двор, к земле.

— Гулял? — спросил дед, устало откинувшись к стене. — Я посылал тебя звать. Вели, чтоб принесли тебе бумаги и всего, что надо: будем писать. Как в Самарканде. Будем записывать. Сперва слушай, запоминай, а когда человек выйдет, будешь писать. Каждое слово запоминай, каждое имя; чего сколько и где что, твердо запоминай. Понял?

— Хорошо, дедушка.

— Покличь слуг, вели принести побольше бумаги. Чтоб всего хватило.

— Хорошо, дедушка.

И Улугбек похлопал в ладоши, вызывая слуг.

* * *

Не вельмож, не отважных полководцев, не хранителей царских кладовых слушали они в тесной сводчатой келье.

К ним приходили дервиши, входили смирные, угодливые, робкие, опасаясь подойти близко. Не такими бывали они, бродя среди народа, гнусава стихи Корана или непонятные пророчества и речения, дерзко вступая во всякие двери и ворота, куда б ни повела их воля аллаха. Не так смотрели они на верующих, взимая с них подаяния, как подати, и принимая поклонение их, как повинность мусульман перед богом.

Здесь они застенчиво скрывали свое уродство, если оно у них было, да и уродств у них оказывалось меньше, чем на улицах, где народ верил, что уродства — это есть знак божьей милости, что бог создал убогих затем, чтоб ими испытывать милосердие верующих.

«Кто убог — у бога!» — говорил народ.

Здесь дервиши казались крепче, моложе. Лишь глаза были у всех одинаковы — вороватые, быстрые, чтоб сразу все увидеть, приметить, понять, запомнить и снова, закатившись, устремляться в небеса, к седьмому небу, к престолу всевышнего.

Они приходили поодиночке, некоторые — по двое, стыдливо подтыкая под себя обязательные лохмотья подола, присаживались на полу и ждали, пока не спросит их повелитель.

И Тимур спрашивал:

— Ну? Что видели, кто тут злодействует против посланца пророка?

Они говорили, называя имена, перечисляя проступки многих властных людей, описывая имущество, обширные поместья вельмож или царских слуг так деловито и памятно, будто свое собственное. Они говорили о беседах, слышанных ими во многих здешних домах, усадьбах, харчевнях. О расточительной щедрости Мираншаха к своим любимцам, о его беспечности к своим войскам, об изобилии в домах любимцев Мираншаха и о нужде и ропоте среди его войск.

Едва уходил рассказчик, Тимур поворачивал голову к безмолвному Улугбеку:

— Ну?

И Улугбек повторял имена, названные дервишем, и дары, принятые тем или иным любимцем от Мираншаха. Тимур требовал, чтобы мальчик ничего не забыл, чтобы память его сохраняла все так же

крепко, как память только что вышедшего дервиша.

— Пиши! — говорил Тимур. И внук записывал.

Улугбек с любопытством слушал дервишей. Сам привыкший к простому языку среди дедушкиных воинов, он не решался записывать такую тяжелую неповоротливую речь, какой говорили дервиши. Они говорили джагатайским языком, равно понятным и оседлым земледельцам Мавераннахра, и кочевникам, изъяснявшимся на десятках своих наречий, каждый на свой лад. Они говорили и по-фарсидски, но не столь плавно, как разговаривали купцы на базарах Мавераннахра, и не так пышно, как писали иранские книжники. Язык дервишей был проще, народнее, не чуждался грубых оборотов пастушеской речи или слов земледельцев. Их язык был затем народнее, чтоб дервиш мог плотнее прильнуть к сердцу народа, услышать тайные его думы, крепче взять людей в свои руки.

Тимур знал, что среди дервишей бродят и сыновья купцов, с детства привыкшие к иной речи, и дети вельмож, пожелавшие свершать подвиги не с мечом, а с посохом в руках. Но все они как сменили шелковые халаты на простое рубище, так и речь свою опростили, чтобы не было к ним недоверия от народа, чтоб раствориться в братстве дервишей, как ком глины растворяется в струях реки.

Многие из них верили, что эта река несет их к вечному небесному блаженству из тягот и грехов земной жизни; иные же многолетним смирением и послушанием достигали доверия своих наставников, дабы в дервишеском платье насладиться теми земными благами, коих не сулила им обыденная жизнь.

— Ну, что ж ты? — спросил Тимур, заметив, что Улугбек пишет без обычной резвости.

— Думаю, дедушка. Как писать?

— А что?

— Нельзя так писать, как они говорят. Такого языка нет ни в одной книге.

— А разве нельзя писать так, как говоришь? Я говорю — меня каждый воин слышит. Так и писать надо, чтоб каждый тебя прочитал. Я велел ученым так писать. Они задумались, не умеют. А ты — мой внук, ты должен суметь. Бахауддин — великий дервиш в Бухаре, а как говорит? Как все. Как эти.

— Я постараюсь, дедушка.

— Старайся. Учись. Мне некогда было. Учиться мне было некогда, а то я сумел бы. А тут ты не мудри. Пиши имя — кто злодей? Что у него? Сколько? А как они говорят, не пиши. Это ты потом обмозгуй. Понял?

— Я пишу, дедушка.

И его тростничок быстрее бежал по скользкой белизне лощеной бумаги.

Лишь немногие из дервишей терялись, не зная, с чего начать свой рассказ. Столько было на их памяти разных дел, что не сразу могли они отобрать главное от второстепенного, а второстепенное от ненужного.

Иным казалось, что главный проступок мусульманина — проступок против бога, против веры, нарушение догм, несоблюдение обрядов. Но если, но недомыслию, дервиш начинал с этого, Тимур прерывал его:

— Это наставникам скажи. Они блюдут веру. Я блюду государство. Блюда казну, войско, города. Кто сему мешает, о тех говори. О тех, кто против, особо.

И, уже изрядно подготовленные указаниями своего наставника, дервиши говорили.

Один из них, босой, но в крепком, новом халате, с бородой, заботливо, вопреки обычаю, расчесанной, глядя такими маленькими глазами из глубины набухших, пухлых век, что взгляд его был невидим, тянулся хилым телом к Тимуру, бормоча:

— Вижу я вражью силу, великий брат. Не среди расточителей вижу. Она и там есть, и среди расточителей, а я ее среди простонародья чую. Чую. Да они таятся. А я в том ее чую, что таятся. Если б не держали зломыслия в голове, к чему б им было таиться? Таятся, — едва приближусь, смолкают. В хижины свои не зовут, а зайдешь, дадут ломоть хлеба и ждут, пока не выйду. Молчат и ждут. А если б разговор их был чист, чего бы им было молчать? Чего им ждать, разве дервиш мешает благонамеренной беседе? Вот и запоминаю дома их, хижины их, мастерские, где они усердствуют. Хожу мимо, приучаю их к себе, а они не поддаются. Иной раз в харчевне уловишь слово из их же беседы, да из одного слова речи не свяжешь, как не свяжешь четок из одного зерна, как из одного звена цепь не куется. Вот, государь, куда обращены мои труды. Во имя божие, я благочестивого наставника осведомлял о тех людях, мы помним их, кто с кем водится, кто с кем роднится, запоминаем.

— Сарбадары?

— Они, великий брат.

— Не спускайте с них глаз.

— Трудимся, великий брат.

— На здоровье. А правитель ваш? Мираншах?

— И о нем знаю...

И снова Улугбек запоминал каждое слово, чтоб не оплошать перед дедушкой.

Разные люди укрыли тело свое рубищем дервишей. Усталые от пройденных дорог, озлобленные неудачами жизни; молодые, изнуряющие свою плоть подвигом веры; расслабленные телом и тем отверженные от повседневного труда; отвергнутые родом за дела, противные всему роду; истинно, всем сердцем верующие в милосердие божие; чуждые словам веры, но чуждые и земному труду; преступники, успевшие ускользнуть от кары столь ловко, что сам бдительный наставник не выведal их прежних дел, иль столь годные для свершения подвигов во имя веры, что наставник, готовя их к подвигам во имя аллаха, скрыл бывшие заблуждения; приверженные тайным порокам, коим легче было предаваться в ханаках, во тьме душных келий, чем на виду набожных мусульман.

Разные люди укрыли тело свое в рубище дервишей и теперь проходили перед лицом Повелителя Вселенной и перед глазами приметливого мальчика, которому дотоле не приходилось видеть дервишей такими.

Много листков покрыл он записями имен, чисел, названий. Случалось записывать имена людей, которых он знал, которых любил детским сердцем, ибо они умели чем-нибудь расположить ребенка и надолго запомнились ему сердечной улыбкой, ласковым словом, занятным подарком. Но он записывал их рядом с теми, которых не знал, и рядом с теми, которых недолюбливал, хотя и скрывал от деда свои привязанности и свои неприязни. Дед строго требовал от своих внуков царственного равнодушия к слугам своей державы, как сам дед был равно взыскателен к тем, с кем давно был связан общими походами и удачами, и к тем, кого втайне презирал за слабости или еще не испытал в делах.

Случалось Улугбеку слышать рассказы дервишей о том, что еще рано было понять ребенку, — о людских пороках и склонностях. В этих случаях дед любил, чтоб рассказывали подробно. Расспрашивая, Тимур не стеснялся присутствием мальчика, ибо считал, что не имеет значения, раньше ли, позже ли узнает мальчик о том, что неизбежно узнает.

За эти дни под закопченными сводами ханаки перед глазами ребенка раскрылась такая жизнь светлой Султаниии, какую он увидел бы, если б стены в городе стали вдруг прозрачны, как стекло, и если б он мог оглянуть всю эту жизнь и видеть сразу все, что происходит за стенами домов, бань, базаров,

мечетей, и если б он мог смотреть на всю эту жизнь, сразу видя все концы города, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. А тут он увидел все это за несколько дней, не переступая за порог темной, тесной, низенькой кельи.

Не только в Султании, уже и в окрестных землях все рассказывали, как Повелитель Мира, уединившись в убогой ханаке, предался благочестивым размышлениям, молитвам и делам веры.

Никто не смел нарушить царственного уединения, а из уст дервишей знали, что ангелы снисходят в убогую келью повелителя беседовать, наставляя и направлять его по пути служения истине, милосердия и ниспровержения врагов веры.

Лишь спустя несколько дней допустил он к себе знатнейших людей Султании, принимал поздравления с благополучным прибытием, подношения и лесть.

Но этих властителей, облаченных в пышные одежды, повергавших к стопам его драгоценнейшие дары, он принимал в простом халате, лишенном всяких украшений, сидя на простом камне, как бедняк.

Вельможи робели, уstraшенные его скромностью, стыдясь за свое великопение, страшась за свое достояние, столь неосторожно показанное зоркому ненасытному старику. Они и не догадывались, что он уже знал не только число их сокровищ, но и заветные углы, щели и загородные сады, куда скрыты эти сокровища, и даже многие из тех сокровенных тайников, куда они скроют еще не сокрытое.

В ханаке принимал Тимур и своих полководцев. Сюда приезжали внуки провести дедушку — Халиль—Султан и Султан—Хусейн, Абу—Бекр и мирза Омар.

Однажды, перед своим отбытием из обители, Тимур надолго уединился с наставником ханакки, и вскоре после этого разговора заметно убавилось дервишей в Султании. Меньше встречалось их на базарах, на улицах, в харчевнях, но купцы, направляясь издалека в Султанию, встречали дервишей на дорогах в Багдад, в Смирну, в далекий Халеб, прозванный христианами городом Алеппо; по дороге в Трапезунт, где Мануил Третий гордо именовал себя императором, хотя вся его империя уместилась бы на одном мизинце Тимура; на каменистых дорогах Армении; по пути в Грузию, где спесивые владельцы нищего селения или тесной долины присваивали себе титулы царей, чтоб не сидеть ниже своего соседа; на горных тропинках, ведущих в Анкару, где правил Баязет Молниеносный, упоенный победами над христианскими рыцарями в битве под Никополем на берегу Дуная.

Шли по разным дорогам, славя бога, босоногие дервиши, с острыми, как копья, посохами, властно протягивая за подаянием страннические чаши, уносясь в небо остриями своих трехгранных колпаков.

И всюду несли они рассказы о могуществе, власти и мудрости Тимура, коему сам пророк через своих ангелов подает благие советы, коего даже бог считает своим мечом и щитом.

И народы, подвластные трапезунтскому императору или грузинским царям, удивлялись скромности потрясателя вселенной, который не желал называть себя даже ханом, всю жизнь довольствуясь скромным титулом амира, правителя области, хотя область его необозрима. Они не разумели, что не пышные титулы, за коими не было власти, а силу держал в своей руке Тимур, и это было весомей царских корон на головах бесправных правителей или императорского скипетра в хилых пальцах владыки трапезунтской пристани.

Всюду шли дервиши, славя имя и мощь Тимура, вселяя страх и повиновение в сердца дальних народов, глуша надежды и мечты об избавлении от Колчана Милостей.

На берегах Тигра, в Багдаде, дервиши приглядывались к суетливым купцам в тени развалин, оставшихся от прежних посещений Тимура, как они сбывают тюки шерсти, торгуют мягкой кожей и сушеными финиками, а ремесленники сутулятся в бедных рядах, приютившихся с краю от лежавших в запустении, заваленных щебнем и мусором базаров, еще недавно славных ремеслами. Неприветливые,

неразговорчивые мастера редко откликались на дервишеский возглас, создавая убогие изделия и скрывая даже друг от друга свои дарования и умение, ибо всем им памятно было, как лет пятнадцать назад всех искусных, всех лучших мастеров угнали, как стадо, в Самарканд, славить своим мастерством столицу Тимура, обогащать своими изделиями самаркандских купцов. Хмуры работали они, вспоминая утраченных братьев, друзей и учителей, боясь последовать за теми, от которых добрых вестей еще никто не дождался. Здесь каждый прикидывался неискусным в своем деле, довольный, что утаил свои таланты от Тимуровых глаз.

И в тенистом Мосуле, в тесноте кривых переулков и ступенчатых, как лестницы, улиц, не слышалось прежних песен, когда, бывало, мастера праздновали окончание недели, вечерами по четвергам собираясь на гулянье к берегам Тигра. Но мосульские купцы за эти годы стали веселей и живее, встречая здесь караваны из Сирии и перепродавая вавилонские товары в Багдад, в Исфахан, в Самарканд.

В Халеб и в Антиохию, к Средиземному морю шли дервиши, неся имя Тимура, где знали его лишь понаслышке, где слушали это имя безбоязненно и беспечно, как дальний гром, как отголосок грозы, отнесенной благосклонными ветрами в дальние страны. стороной от Сирии.

Шли дервиши в Анкару, поглядывая на города Баязета, полные сильных и смелых войск, закаленных в битвах на Балканах, в долгих в счастливых походах, крепко вооруженных, исправно обученных. Шли и примечали, сколь хорошо защищены войсками города Баязета: видно, вся его сила разбросана врозь по таким вот городам, как Сивас или Кесария, хотя осторожный властитель держит свои воинства всегда под рукой.

Шли дервиши через Тавриз, где на базарах было столько христиан и богоотступников–шиитов, что даже имя божие там приходилось славить с оглядкой, но славословия Тимуру всякий слушал, опустив глаза в землю, словно еще видел на ней следы подков его конницы.

Шли через Тавриз в Нахичеван [так] и в Каре, где шумели на базарах турки и персы, но сами армяне помалкивали, скрывая свои достатки, торговые дела ведя втайне, ибо хорошо помнили, как опрокидывались их сундуки под ногами воинств Тимура, как уходили в Самарканд караваны, груженные не только золотом и товарами разоренных армян, но и древними, заветными книгами армянского народа, изукрашенными таким художеством, какое даже Тимур пожалел сжечь.

В горах Имеретии и на виноградниках Кахетии приютом дервишей служили лишь усадьбы джагатайских вельмож. Здесь народ молча трудился, не смея разогнуть спины, а князя надменно и величественно поглядывали на завоевателей, ибо крестьянам от своих полей уходить было некуда, а князя уже привыкли от врага укрываться в горах, где ждали их в неприметных ущельях укромные хижины.

Так брели дервиши из Султании, когда Тимур, ожидая, пока подтянутся сюда длинные шествия войск и военных обозов, поглядывал во все стороны и устраивал дела бывшего царства Хулагу, недавнего владения Мираншаха.

Четырнадцатая глава

СТАН

Утром Тимур прибыл в Чинаровый сад, проведать семью.

Конюхи отвели лошадей, расседлали и принялись обтирать их шерстяными тряпками, зная, что еще немало придется походить этим коням за долгий день.

Здесь прежде стоял старинный, построенный тебризскими зодчими, удобный дворец Ульджайту-хана. Но Мираншах приказал снести старый дворец, не посчитавшись с тем, что Тимур любил в нем останавливаться, когда бывал в этих краях. Старый дворец разломали, хотя, сложенный из крепких квадратных плит, он простоял бы еще тысячу лет.

Тимур придирчиво осмотрел новое строение, воздвигнутое Мираншахом на прежнем месте: оно было хило, вытянуто кверху, чтобы представлялось высоким, и от той высоты здание выглядело еще менее прочным, — казалось, если пнуть эту стену сапогом, она разлетится под ударом, как гнилая дверь в убогой хижине. Все здесь пестро, — не только потолки расписаны, но и самые столбы резные, поверх резьбы тоже были расписаны во все цвета, будто это не дворец правителя, а москательный ряд, где торгуют красками.

Не было порядка и в убранстве комнат. В большой зале настелили всяких ковров, где рядом с темным, как ночной сад, туркменским ковром лежал покрытый зелеными, желтыми и киноварными узорами здешний ковер, а с краю протянулся царственно белый, тонко затканый алыми знаками какого-то неведомого Тимур мастерства. «Будто образцы товаров выставил напоказ!» сердито покосился Тимур.

Он вошел в помещения царевичей, где его еще не ждали.

Поэтому он застал всех врасплох и радовался, что видит повседневную жизнь милых ему внуков, которую от него всегда спешили заслонить богатыми уборами и чинными обычаями.

Улугбек с Ибрагимом сидели в простеньких халатиках, занимаясь со стариком учителем.

— Уже приступили? — спросил дед.

— Бабушка велела. Сегодня начали! — ответил Ибрагим.

— А без бабушки... Самим не хотелось?

Учитель стоял, согнувшись у стены, охваченный ознобом перед лицом столь опасного посетителя. Но Тимур даже не взглянул на него.

— Знаний надо самим желать. Тогда настигнете желаемое. Кого принуждают, кто идет нехотя, тот ничего не настигнет.

— Не настигнет или не достигнет, дедушка? — лукаво спросил Улугбек.

— Это одно и то же! — строго ответил дед. — Знания тоже норовят выскользнуть, если их не держать крепко. Чуть ослабил их, они и выскользнут. Как ночные бабочки!

И, не дожидаясь ответа от пристыженного Улугбека, Тимур пошел дальше.

Пока он дошел до комнат, где устроились его жены, там, узнав о его прибытии, успели приготовиться. Он застал всех приодетыми, собравшимися в большой зале, залитой белым осенним солнцем, отчего шелка и шитье нарядов сверкали особенно ослепительно.

Великая госпожа Сарай-Мульк-ханым не без труда разместила обширный гарем в тесном и

нескладном дворце Чинарового сада.

Она знала, что размещаются в саду ненадолго, что осень в Султании рано кончается, что зиму зимовать здесь не будут, но огромный городской дворец был еще занят, — там один, в маленьком чулане, сидел Мираншах.

Великая госпожа сама перекладывала из котла на блюдо пропитание Мираншаху и отсылала его через весь город под присмотром своих стражей, чтоб между ее котлом и устами низвергнутого правителя это блюдо не побывало в ненадежных руках: за жизнь Мираншаха она отвечала перед Тимуром, если Мираншах угаснет от яда, а не от меча.

Халиль–Султан уже не раз заговаривал с бабушкой о своем несчастном отце. Сарай–Мульк–ханым знала, что нежной любви к отцу у Халиля нет, что ни воинскими подвигами отец не стяжал сыновнего уважения, ни родительскими заботами не пробудил в Халиле любви к себе, но Халиль был сыном Мираншаха и не желал отстраняться от отца в тяжелые дни его жизни.

Халиль уже не раз заговаривал, прося заступничества великой госпожи за отца перед дедом. Другие сыновья Мираншаха, робея перед властной бабкой, не смели об этом ее просить, а только пытались услугами и послушанием расположить ее к себе.

Великая госпожа хорошо понимала мальчиков, но отмалчивалась. Лишь однажды она позвала к себе ближних советников мужа, членов его немногочленного Великого совета, и расспрашивала их о делах Мираншаха.

Но ни осанистый, украшенный пышной бородой, говорящий тихим, ласковым голосом Шах–Мелик, ни длинный, жилистый, узколобый и длинноносый Шейх–Нур–аддин не смогли ничего сказать ей такого, чего она не знала бы сама. Лишь их намерения были ей любопытны, но своих намерений они еще не могли высказать, ибо не знали, в чем обвинит Мираншаха Тимур.

— Сами видите, великая госпожа, — говорил Шах–Мелик, — государь молился, отдыхал в тишине обители, его высокая мысль еще не снизошла к деяниям мирзы Мираншаха, а предугадать мысли великого государя нет возможности.

— А не жаль ли вам царевича, ведь он сын вашего повелителя?

— О великая госпожа! Мы смеем взывать лишь к разуму повелителя, но перед разумом его все равны — доблестный воин ли, сын ли, амир ли, — разум государя ко всем равно взыскателен, а путь к его сердцу вам, великая госпожа, знаком более, чем нам, смиренным воинам победоноснейшего из завоевателей, — возразил ей Шах–Мелик.

— Эх! Когда он спросит, мы ответим; а что ответим, увидим, когда он спросит, — объяснил ей Шейх–Нур–аддин, позвякивая оружием, с коим не расставался даже в ее покоях, где после его ухода долго пахло лошадьми и кожами.

Эти ответы ближайших соратников мужа не могли успокоить Сарай–Мульк–ханым. Если б дело было ясным, они отвечали бы ей яснее. Значит, Тимур замышляет, обдумывает, готовит что–то такое, о чем не желает еще ни говорить, ни советоваться ни с кем. Она знала, что обратиться к нему по такому делу, вызовешь его гнев, долгую немилость, когда он будет месяцами избегать встреч с ней, отклонять ее приглашения, выказывать ей равнодушие щедрым вниманием к какой–нибудь ненавистой ей избраннице. Так много раз бывало, если ей случалось раздосадовать его: он находил какую–нибудь красотку, устраивал празднества в ее честь, осыпал ее дарами и милостями, разбивал для нее сады или строил дворцы и потом говорил великой госпоже: «Здорова ли ты, царица, из–за свадьбы мне было некогда тебя навестить».

Она знала, что ее покорность не отвратит Тимура от других его жен, наложниц или пленниц, но ей было спокойнее, когда увлечения наложницами или пленницами чередовались по извечному обычаю, по мужской прихоти, по праву господина, а не по ее оплошности.

Вот почему она отмалчивалась, когда Халиль взирал на нее печальными глазами и даже когда заговаривал с ней о своем отце.

Спрашивая о здоровье, о детях или внуках, Тимур задерживался то с одной, то с другой из цариц.

Великая госпожа сделала шаг навстречу мужу, но вдруг, словно очнулась от какой-то мысли, чуть попятилась и, колеблясь, замерла. Уже не первый раз она упускала случай заговорить с ним. Этого разговора очень добивался и очень ждал Халиль-Султан.

Тимур заговорил, глядя на нее обычным, не строгим, но и ласковым, чуть пренебрежительным взглядом. И великая госпожа лишь отвечала на вопросы, так и не решившись просить повелителя посетить ее комнаты.

Она помыкнулась было заговорить с Тимуром, когда он еще стоял с ней рядом, осведомляясь у Туман-аги, хорошо ли ей здесь, но он отошел к оживленной Тукель-ханым, успевшей натащить в свои комнаты лучшие вещи со всего дворца, пока другие едва управлялись с распаковкой привезенного.

Тукель-ханым отвечала на его вопросы:

— Благодарствуем, государь. Устроились. При здешней бедности нелегко устроить обитель, достойную вашего посещения, государь, но поэты говорят: «Преданное сердце любящей жены украшает даже нищую лачугу».

— Поэты? Они много мусора валят под копыта наших коней! — ответил ей Тимур, смутно припомнив что-то слышанное от чтеца, какие-то искательные послания поэтов.

Сарай-Мульк-ханым еще попятилась.

Теперь стало уже невозможным перебивать разговор Тимура, — это было бы нарушением тех правил гарема, блюстительницей коих она сама была, старшая жена в большой привередливой семье Повелителя Мира.

Тимур боковым переходом миновал залу, где оставались его спутники, и, намереваясь проверить городской дворец, где работали писцы над описями, хотел уехать один.

Двор, обнесенный сводчатыми службами, опирающимися на могучие столбы, уцелел от прежнего дворца, построенного для Ульджайту-хана, а может быть, еще для старого Аргун-хана. В искусной кладке ничем не украшенных серых стен Тимуру нравилась величественная, непреходящая мощь и красота. Такую он требовал от зодчих в Самарканде, но обогащенную изразцами и мозаикой. Он не догадывался, что это убранство скроет ту мощь, которая ему нравилась: нарочитая пышность несовместима с истинным величием.

В тени двора ждали уже давно переседланные лошади. Тимур заметил, что они стоят беспокойно, норовя потереться о шершавые камни столбов, задирают задние копыта, чтоб почесать бока.

Постоял, глядя на бряцающих сбруей лошадей, и, раздумав ехать в город, вернулся.

Войдя в притихшую залу, он позвал с собой некоторых из военачальников и старших внуков — Халиль-Султана и Султан-Хусейна.

Во дворе, взглянув на чистое, без единого облачка, небо, ткнул в эту бездонную синь плеткой и предостерег:

— Будет дождь.

— Небо сквозное, дедушка! — сказал Султан–Хусейн.

— Дело к зиме. Погода изменчива.

— Ветер с утра дул из Басры, государь. Оттуда дождя не надует! усомнился Шах–Мелик.

— В стане все ли укрыты?

— Юрты расставлены.

— А слоны?

— Попоны для них везли в обозе.

— А наготове ли попоны?

— Догадаются, достанут! — беспечно сказал Султан–Хусейн.

— В походе друг на друга не валят свое дело. Каждый сам за себя стоит, как в битве! — покосился Тимур на внука и пошел к лошадям.

* * *

У восточных окраин Султании, в садах и на полях, раскинули свой стан войска Тимура.

Стан ставили по единожды, издавна установленному монгольскому порядку: одна юрта на десять воинов. Каждые десять юрт, составляя войсковую сотню, ставились вокруг юрты сотника. Вокруг шатра тысячника стояло десять кругов из десяти юрт в каждом. У входа в юрту сотника торчало знамя с тамгой сотни. У шатра тысячника высилось его знамя с полумесяцем под острием древка, с красным конским хвостом под полумесяцем.

Во главе тысячи стоял амир, сам набиравший все это воинство из земледельцев своих владений, из горожан подвластных ему городков. Отбирать в войска старались бездельников, нерадивых, бесполезных людей. Смирных, трудолюбивых пахарей и садоводов без крайней нужды не трогали: земле надлежало давать урожаи, кормить воинов и обеспечивать землевладельцев. Не трогали и крупных купцов: их дело — сбывать награбленные в походах богатства и сперва дать доход амирам, скупая добычу, а продав ту добычу, исправно платить подати сборщикам налогов, пополняя казну, нужную для новых походов. Не брали в войска искусных мастеров и опытных ремесленников, — с них сборы брал староста их ряда, вносил старшине базара, а старшина нес их подать в ту же казну, кормившую войско.

Добычу, собранную в битве, воины сдавали своему сотнику. Тот тысячнику, а тысячник нес ее темнику, начальнику десяти тысяч сабель. Темники отбирали ценнейшие находки в казну, оставляя законную часть себе, и из этой части часть отдавали тысячникам. Тысячники, оставляя чуть больше законной части себе, остальное отдавали сотникам. Сотники, оставляя себе по возможности наибольшую часть, остальное распределяли между десятниками. Воинам доставалось оставшееся от десятников.

Но иногда в походах брали столько добычи, что у воинов накапливался изрядный припас, и они спокойно дожидались того дня, когда в конце похода, а иногда и во время похода им платили жалованье. Во время похода платили после больших и удачных битв, после захвата новых стран и разорения больших городов, когда добычи скапливалось много и предстояли еще более жаркие дела, для которых требовалась бодрость воинов. Однако Тимур всегда норовил выплату жалованья отложить до приказа о возвращении, — в этих случаях получателей бывало гораздо меньше и нерозданных денег в казне оставалось гораздо больше.

Но сколь ни долго приходилось ждать расчета, сколь ни падки были десятники и сотники на обсчет

при дележе, воины не роптали: сидя дома, никакой работой столько не заработаешь, сколько доставалось каждому при дележе, и никто из них не ел дома вдосталь, а войскам Тимур всегда находил пропитание, хотя и случались тяжелые дни. Но у земледельца или у городской бедноты вся жизнь была таким тяжелым днем, а в походах случались и праздники. И как ни приметливы были десятники, а из любой битвы удавалось кое-что утаить — то серебряное колечко, то клочок дорогой парчи или что-нибудь из городского хлама, пригодное, чтобы сбыть скупщикам, следовавшим за войском, как шакалы за тигром.

И главное, только в походе чувствовали себя люди свободными, как ни строго присматривали за каждым: в тимуровском войске жилось вольготнее, чем под присмотром старосты на родных полях, чем под приглядом хозяина на работе в родных городах. Здесь свободно дышалось от самого ветра, то знойного, то студеного, когда шли по призыву новых, неизвестных стран. И еще была у каждого воина надежда отличиться в битве, схитрить при ограблении города, утаить драгоценность, попасть в милость к сотнику, была надежда, возвратившись из похода, начать спокойную жизнь.

И каждый верил, что так оно и случится: и милость начальников заслужить, кинувшись в опасное место битвы, и сокровища добыть и утаить от зорких начальников.

Здесь, на краю смиренного, почти своего города, войску разрешалось жечь костры. У каждой юрты горели очаги, земляки и приятели ходили друг к другу наведаться. Кое-где воины сидели, тихо разговаривая, или, в угоду радивому десятнику, чинили износившиеся за дорогу ремни, точили ножи и кинжалы, штопали одежду, чистили мечи или шлемы, но многие уже отдыхали, развлекаясь игрой.

Стан еще не весь был в сборе. Еще подходили войска, шедшие позади. Им определяли места стоянок в том же порядке, установленном еще Чингиз-ханом, коему Тимур всегда следовал, хотя и прикрывал языческое нутро своих воинов зеленым лоскутом знамени пророка Мухаммеда, знамени священной войны.

Хотя и тихо вели себя войска, усталые после душной, пыльной степной дороги, а все же весь гул голосов, ржанье или визг повздоривших лошадей, звон оружия, стук топориков у очагов, какие-то стуки, окрики, топоты — все это наполняло округу гулом, будто само море подступило к столетним башням Султании.

И только по внезапной тишине, наступившей в стане, горожане могли бы понять, что там что-то случилось.

Смолкли топорики и голоса, даже кони перестали ржать и взвизгивать, в стан прибыл Тимур.

Он приехал проведать, хорошо ли дошли, правильно ли размещены его войска.

Он ехал по узкой тропе между юртами. За ним следовали Халиль-Султан и Султан-Хусейн.

Царевичи хотя и проводили свое время в Чинаровом саду, в семье деда, но и у Халиль-Султана и у Султан-Хусейна, пришедших с войском, здесь стояли свои шатры, возле их шатров блистали златотканые знамена, ибо Халиль-Султан в этом походе начальствовал над всем левым крылом, а Султан-Хусейн — над всеми осадными орудиями и тридцатью тысячами осадных войск, собранных из покоренных народов. В битве у Халиль-Султана было заботой беречь своих воинов и не щадить врагов; у Султан-Хусейна — беречь громоздкие и дорогие орудия, не щадя своих воинов. Но доблестью того и другого царевича в битве считалось умение сочетать бережливость с быстротой исполнения приказов Тимура.

Оба царевича ревниво следили за левым плечом деда — куда он повернет коня, в чьем шатре остановится? Велика честь тому, чей шатер удостоит он посещением, — войско сразу узнает, кто в милости, кто в любви у Повелителя Мира.

Не поворачивая головы, Тимур поглядывал вдоль рядов знающим взглядом, понимая все приметы

этой жизни, запоминая всякую пылинку, если она нарушала чистый, как боевая сталь, порядок стана.

Сердце Халиль–Султана упало: дед проехал мимо поворота, где в глубине отливал золотом высокий бунчук начальника левого крыла войск.

«Гневен на отца, а я терпи!» — с досадой и горечью подумал Халиль. А лицо Султан–Хусейна сделалось неподвижным, и он прикинулся, что поправляет шапку на голове, чтоб Халиль не уловил в нем торжества и насмешки.

И вдруг круто, как это любил Тимур, он задрал морду своего легкого, горячего коня. Конь вздыбился и, повернувшись на одних лишь задних ногах, пошел прямо к бунчуку Халиль–Султана.

Тимур остановился у шатра, но остался в седле. Быстро спешившись, Халиль подбежал к стремяни деда и, прижав к сердцу руку, поклонился:

— Окажите честь, государь!

Лишь тогда дед оперся о руку Халиль–Султана и вошел в шатер.

Сев напротив входа и возблагодарив бога за благополучное прибытие, Тимур усадил слева от себя хана Междуречья, правнука Чингиз–хана, своего послушного друга, безбрового Султан–Махмуд–хана. Рядом с ханом сел начальник правого крыла войск Шейх–Нур–аддин, с ним — Шах–Мелик, круглоглазый Аллахдада, и лишь после Аллахдады занял свое место Султан–Хусейн, ибо хотя Аллахдада начальствовал тоже над тридцатью тысячами воинов, но эти тридцать тысяч были боевой конницей, и Тимур считал их по значению выше, чем осадные войска царевича Султан–Хусейна. Следом за царевичем опустился Шейх–Маннур, предводительствовавший слонами и в этом походе подчиненный восемнадцатилетнему Султан–Хусейну. Дальше садились, сами устанавливая свои места, остальные темники, оказавшиеся в стане.

Справа, где, по обычаю Тимура, на дворцовых пирах усаживались его жены, а на походных пирах — тысячники, сели начальники тысяч, размещаясь по возрасту. Сюда пришли только те из тысячников, которые состояли в левом крыле Халиль–Султана, как, если бы Тимур остановился в шатре Султан–Хусейна, собрались бы тысячники из его стенобитных и осадных войск. Все понимали: Тимур гостил не у своего внука, не у царевича Халиль–Султана, чей шатер его осенял, даже не у начальника левого крыла войск, а у всего левого крыла своего воинства.

Тысячники, заняв места справа от Тимура, разместились по возрасту, и рядом с Тимуром оказался кривой на левый глаз, с глубокой вмятиной в левой кости лба старый соратник Тимура Хызр–хан, длинный старик с тонкими сухими губами и жидкими пучками желтовато–белых усов.

Хызр–хан был лишь десятником в битве за Ургенч, где отличился, когда предатель Кейхосров кинулся, с копьем наперевес, на ставку Тимура. У Хызр–хана убили коня, и, отягченный кольчугой, десятник отошел от свалки, видно выискивая лошадь, чтоб снова сесть, но увидел Кейхосрова, мчавшегося во главе разгоряченной конницы, и, улучив мгновенье, не отстранился, а прыгнул на могучую грудь вражеского коня. Конь споткнулся и опрокинулся, а Кейхосров, метнув к небу красными сапогами, свалился под свою же конницу. Отряд предателя смешался, выволакивая из–под лошадей своего разъяренного и одуревшего главаря.

Так было потеряно то мгновенье, которое нельзя было упускать Кейхосрову, ибо наперерез ему мчался заслон Тимура, и ставка повелителя стала недостижимой для врага.

Когда принесли Хызр–хана, Тимур увидел лоб, вдавленный копытом коня, и глаз, вытекший под тем же копытом, и сказал:

— Отлежится, будет тысячником: смел, сметлив, предан.

С тех пор прошло много лет. Хызр–хан бился во многих битвах на берегах Волги и на берегах Тигра, на берегах Куры и на берегах Инда, он везде был смел, зорок, предан, но так и остался тысячником, ибо, чтобы стать темником, надо было владеть областью, с которой собиралось бы по десять тысяч воинов. Такой области Тимур Хызр–хану не жаловал, а Хызр–Хан старел, возглавляя все ту же тысячу и славя бога за ниспослание Тимуровой милости.

Когда на пиру в Дели старейший из тысячников Сафарбек подавился куском телятины, старейшим из тысячников, неожиданно для себя, оказался Хызр–хан, никогда не думавший о своем возрасте. С тех пор бывшему десятнику случалось сиживать на пирах плечом к плечу рядом с Тимуром.

Халиль по долгу хозяина сел у входа и спросил деда, как почетнейшего из гостей:

— Велите нести кумысу, государь?

— Время кумыса прошло. Нынче дождь будет. Надо к непогоде готовиться. Давай бузу...

Военачальники переглянулись, — в этакий светлый день пророчит непогоду!

Один лишь Хызр–хан посмел вымолвить:

— Истинно, государь!

Тимур не любил, когда так поспешно с ним соглашались, если оснований к этому не было. Сощурившись, Тимур повернул голову направо:

— Почему это истинно?

На грозный вопрос Хызр–хан ответил твердо:

— Лошади чешутся, государь.

Тимур одобрительно кивнул:

— То–то!

В словах Тимура содержался тот приказ, который надлежало незамедлительно выполнить, и, не смея встать от царской беседы, темники незаметно подзывали то одного, то другого из своих сотников, шепча им приказ: подготовить весь стан к ненастью.

Тем временем Тимур продолжал разговор с Хызр–ханом:

— И что ж ты?

— Велел, государь, всей своей тысяче сдвинуть юрты теснее, кошмы натянуть, дров запастись — все, что следует.

— А других не остерег?

— Указа не было. Я их остерегать начну, а они над стариком посмеются. Однако кое–кому сказал: вон Ходжи–Усуню, Кара–Огузхану тож. Они послушались, они меня знают.

— Ну–ка, брат Хызр–хан, по своему разуму не на своем ты месте. Сядь–ка от меня слева. Там тебе сидеть!

Это была великая честь! Большой почет! Высокая награда — тысячнику сидеть с темниками.

Взамен этой чести Хызр–хан предпочел бы получить в удел хороший тумень, тогда он разумно собирал бы по десять тысяч воинов; а остальных своих подданных сумел бы научить так трудиться, чтоб и этих воинов вдосталь обеспечить, и самому исправно получать подати.

Внесли большой глубокий котел и, поставив его перед Халиль–Султаном, подали царевичу резной

деревянный черпак.

Налив золотую чашу густой бузы, Халиль–Султан, придерживая вздернутый длинный рукав халата, поднес чашу Тимуру.

Тимур, прежде чем принять чашу левой рукой, показал на свою бессильную правую руку и виновато проговорил Халиль–Султану:

— Извините!

Словно здесь не знали о бессилии его правой руки!

А приняв чашу, тотчас подал ее Султан–Махмуд–хану.

— Выпейте, великий хан! — попросил Тимур.

Султан–Махмуд–хан отказался, но отказался лишь из вежливости перед старшим по возрасту.

Тимур повторил:

— Выпейте, выпейте, великий хан!

Султан–Махмуд–хан снова отказался, но тоже лишь из вежливости, как перед дедушкой хозяина юрты.

Тимур настаивал:

— Выпейте, просим вас, великий хан!

Больше ничем не превосходил его Тимур, ибо ханом необъятного царства именовался он, Султан–Махмуд–хан, и, ваяв из руки Тимура тяжелую чашу, хан, лишь пригубив ее, возвратил Тимуру.

Халилю было неприятно это притворство деда.

«Повелитель Мира показывает, что кровь Чингиз–хана значимей всяких побед и всякого могущества! Притворщик!» — думал Халиль–Султан, отгоняя более резкое восклицание: «Лицемер!», которое Халиль–Султан давно подавлял в своем сознании, не позволяя ему облачиться в слово.

Но Султан–Хусейну эта игра Тимура, видно, была по душе: он одобрительно улыбался, глядя, как Тимур уважительно допивал возвращенную ханом чашу.

Едва допив, Тимур протянул чашу не хозяину, а Шейх–Нур–аддину и тем самым избрал его левым, почетным старшиной, чьей обязанностью было возвращать чашу хозяину.

Шейх–Нур–аддин неуклюже пересел вперед, на войлок, между Тимуром и хозяином, неумело запрятивая под себя свои долговязые ноги.

Он вернул чашу Халиль–Султану с капелькой бузы, не допитой Тимуром, ибо допить чашу без остатка считалось проявлением жадности и невежеством.

Халиль–Султан снова наполнил золотую чашу из деревянного черпака и подал ее, став на левое колено и по–прежнему оттягивая правый рукав, тысячнику Хурам–беку, занявшему по возрасту освободившееся от Хызр–хана верхнее место среди тысячников, рядом с Тимуром.

Так, по праву хозяина, Халиль–Султан избрал правого старшину, обязанного принимать чашу от хозяина и подавать ее гостям.

Старый вояка, покраснев от неожиданной чести настолько, что седая его коса, как показалось Халилю, задымилась, вспотев, подал чашу Тимуру.

Тимур выпил ее, никому не предложив, и отдал Шейх–Нур–аддину, а Хурам–бек тем временем занял

свое место впереди, напротив Шейх–Нур–аддина.

Третью чашу Тимур, снова приняв ее из дрожащей руки Хурам–бека, пригубил и отдал Султан–Махмуд–хану, а хан протянул ее Шах–Мелику:

— Выпейте, брат!

Тем временем неподалеку от этой юрты несколько воинов из десяти тысяч Шах–Мелика, сдвинувшись в кружок на мягкой белой кошме, метали кости.

В те часы, когда повелитель находился в стане, внимание десятников бывало поглощено присутствием повелителя, и воинам можно было спокойно пометать часок–другой эти обманчивые, покрытые сетью трещинок, пожелтелые от множества горячих и потных ладоней кости с черными коварными точками.

Маленький каршинец по имени Мумтоз, по прозвищу не то Пузо, не то Заяц, горячился: три недели назад он проигрался дочиста. Проигрался настолько, как никогда не бывало с ним, заядлым игроком. Но и противник оказался упорным. Воин, по прозвищу Милостивец, родом кашгарец, в игре оказался стоек и ловок. Остальные игроки, выходцы из Бухары, играли вяло, будто нехотя, а проигрывая, хитрили, ища причину, чтоб увильнуть от дальнейшей игры. Проиграли целый день, пока их не подняли в поход, и в тот день игру Заяц окончил с небывалым позором: проиграл ухо! Он сам не ожидал, что так случится. Когда нечего стало ставить на кон, Милостивец сказал:

— Попытайся. Может, отыграешь?

— А ставка?

— Давай на ухо.

Заяц поколебался. Если он проиграет, Милостивец отрежет ему ухо, и тогда целью всей жизни Зайца станет отыгрыш этого уха или выкуп его. Нет позора тяжелее, чем такой, когда собственное твое ухо принадлежит другому и валяется у него, завернутое в пояс или в тряпку.

Но еще глубже позор, означающий полное падение игрока, когда в условленное время потерявший ухо не сможет выставить ставку, равную цене уха, или выставит, но проиграет снова.

Тогда у выигравшего право на выигранное ухо возрастает вдвое, ставка к следующей игре на отыгрыш уха удваивается и срок отыгрыша укорачивается.

Если к договоренному сроку бывший хозяин уха не выставит на кон условленной ставки или не отыграет уха, владелец этого выигрыша имеет право поставить выигранное ухо на кон в игре с другими игроками, назвав цену уха. И тот, кто примет и выиграет эту ставку, забирает ухо себе, завертывает его в свою тряпку и может в своих играх ставить, проигрывать и отыгрывать это ухо, будто это уже не ухо с головы живого воина, а козья шкурка или серебряное кольцо. И пока ухо перекачивается с кона на кон, нет в стане человека более презренного, более жалкого, чем воин со срезанным ухом, столь слабый, что несостоятелен для выкупа и неискусен для отыгрыша. И тогда, как ни свешивай косу на висок, как ни прилаживай шапку набекрень, ничем не скроешь своего срама и позора от наглых, насмешливых, назойливых взглядов, усмешек, вопросов.

Так вот, надо было случиться, чтоб Заяц, проигравшись дочиста, испугался, что проиграл небольшой крест, украшенный красным и синим камушками, который давно, еще в Грузии, достался ему при схватке в одной из деревень. Крест был искусно вычеканен, и Заяц нередко любовался им, если бывал уверен, что никто не видит этой вещицы в его руках. Теперь десятник мог дознаться, что Заяц в своей игре ставил такие ценности, каких воину припрятывать не положено. Надо было во что бы то ни стало отыграть крест назад.

И когда он услышал от счастливого противника это пренебрежительное предложение: «Давай на ухо!», Заяц вскипел: «Отыграю крест!» — и ответил с усмешкой, уверенный в отыгрыше:

— Давай!

— На все?

— На все!

— Не много ли?

— Ухо!

— Дорожишься, трудно тебе будет отыгрывать.

— Моя забота!

— На, мечи!

Договорившись о стоимости всего своего проигрыша, Заяц на всю цену выставил ухо. Он был уверен, что, проиграв девять раз подряд, в десятый непременно выиграет: редко бывает, чтоб кость десять раз кряду оказывалась битой!

Заяц метнул. Вышло девять. Немного, но он и не ждал непременно всех двенадцати.

Метнул Милостивец. Вышло одиннадцать, чего не выпадало за всю игру.

Заяц попросил три дня сроку на возврат долга, но в горячах слишком много посулил за выкуп и за три дня не смог достать даже половины того, что надо.

Через три дня он пришел к Милостивцу и, при трех свидетелях отозвав его в степь, за камни, молча стал на колени.

Милостивец так ловко, одним махом, срезал ему ухо, будто всю жизнь изо дня в день резал уши прославленным воинам Завоевателя Вселенной. При этом Милостивец дал обещание никому не показывать креста, предостерегая:

— Только б бухарцы не разболтали!

Но с бухарцами Заяц договорился, и за небольшие подарки они согласились молчать.

Так было проиграно ухо Зайца, и вот сегодня те же игроки снова сошлись для игры. Тут, на окраине чужого, хотя и давно завоеванного торгового города, Зайцу посчастливилось минувшей ночью принять от двоих запоздалых прохожих воздаяние за неприкосновенность их жалкой жизни.

Прикинув цену добычи, Заяц явился к Милостивцу и предложил отыгрыш.

Милостивец с оценкой добычи согласился, но за ухо назначил двойную цену, а выменять ухо на добычу без игры отказался.

— Твое право! — приуныл Заяц.

Играли уже час.

Надо бы сразу было ставить на ухо, но Заяц вздумал хитрить, отыгаться помаленьку. Кости ему давались, — он выигрывал.

Разыгравшись, он наконец сказал:

— Ну, давай?

— Ухо?

— Давай!

Он поставил на кон договоренную цену и метнул. Вышло, как и в прежний раз.

— Девять!

— Священное число! — усмехнулся бухарец.

Милостивец постучал костями между ладонями.

— Ну!

— Одиннадцать!

— Не иначе это сам бог тут! — убежденно сказал бухарец, пока Заяц, обомлев, вглядывался в роковые кости.

— Ладно! — крикнул Заяц. — Ставлю второе ухо на отыгрыш первого!

— Срежу! — предупредил Милостивец.

— Ставлю! — настаивал Заяц.

Но судьба на этот раз уберегла последнее ухо Зайца: появился десятник, и надо было скрыть от его глаз все ценности с кона.

За это время буза в котле у Халиль–Султана кончилась. Все уже выпили по нескольку чаш: как ни медлительно двигалась чаша по кругу, никто, приняв чашу, не задерживал ее, — заставляя остальных гостей ждать считалось зазнайством, желанием привлечь к себе внимание, поставить себя выше других.

Халиль–Султан громко черпнул по дну котла, налил последний черпак, держа усталой рукой тяжелую чашу, и подал ее самому ближайшему, сидящему налево от него молодому тысячнику, своему ровеснику, амиру Дарбанди, приговаривая:

— Ну, на дорожку!

Амир, пригубив, передал чашу соседу слева. Тот же передал следующему слева. Так и прошла эта последняя чаша от младших к старшим, и каждый ее передавал дальше; дошла она до Тимура, и он, пригубив, передал ее Султан–Махмуд–хану. Хан передал ее Шах–Мелику, Шах–Мелик — Султан–Хусейну, и, наконец, дошла она, всеми пригубленная, но никем не выпитая, до Шейх–Нур–аддина. Шейх–Нур–аддин возвратил ее хозяину.

— Халиль–Султан отпил и снова подал ее Шейх–Нур–аддну:

— Выпейте, выпейте, прошу вас, на дорожку!

И только тогда Нур–аддин выпил ее всю.

Угощение окончилось. Тимур встал. У всех внутри разливалось тепло, согревающее сердце и утоляющее печали.

И вдруг по плотному, гулкому шелку шатра забарабанил, будто быстрыми пальцами по бубну, дождь.

Пятнадцатая глава

СУЛТАНИЯ

Мираншаху развязали руки в конце первого же дня заточения, но за это время из тесного чулана вынесли все, чем он мог бы себя убить. Даже коврик, жалкий, потертый коврик, вынесли: узник мог надергать из него пряжу и скрутить петлю. Даже медную чашку заменили деревянной.

Но Мираншах отнесся к этой заботе с удивлением: он надел петлю на шею в отчаянии, но даже тогда не решился ее затянуть, а теперь отчаяние сменилось постоянным, неотступным, как зубная боль, страхом.

За несколько дней уединения Мираншах исхудал и заметил в себе легкость, поворотливость. Ноги стали послушнее, хотя некуда было идти.

Мысль о ходьбе лишь обострила страх: ведь его могли заставить идти своими собственными ногами под меч палача, как сам он не раз заставлял преступников — а порой и невинных людей — идти через всю площадь в сопровождении палачей, а сам смотрел и даже, случалось, посмеивался, — у приговоренных был занятный вид!

Иногда он приговаривал к смерти какого-нибудь купца из христиан за неисправную выплату податей, если желал получить их с остальных купцов раньше срока и в большем размере, чем полагалось. Отлично действовало: едва срежут голову одному, как со всех уцелевших подать поступала немедленно и без всяких споров.

Иногда он приказывал схватить богатого мусульманина из того или иного ряда и требовал выкупа со всего ряда или с семьи. Это тоже помогало приумножению доходов, и все это было спокойнее, чем нападать на соседей, тащиться в поход, захватывать города, — ведь захваченное в походе поступало бы в казну, а казне хозяин отец, а не Мираншах. Сборы же с купцов шли Мираншаху: Тимур не пришло бы в голову требовать дележа столь мелких добыч.

Казна не пополнялась, казна давно опустела, но ведь Мираншах не просил у отца помощи, сам справлялся со своими нуждами!

Мираншах был щедр, но разве щедрость позорит правителя? Нет, историки утверждают, что щедрость и великодушие украшают правителя! И ведь щедр он был лишь с тем, кто заслуживал щедрости, с милыми, веселыми, ласковыми людьми. Со злодеями, с хмурыми христианами, с покоренными народами, даже с мусульманами из пахарей или ремесленников он никогда не бывал щедр, — он помнил порядки отца: снисхождение к таким людям лишь развращает их. За что же гневен отец?

Мираншах жил беззаботно, жалел своих вельмож, не бывал с ними строг или придирчив, но за то и они платили ему преданностью.

Он напугался, когда узнал о прибытии отца, — кто не испугается, когда к дому подкрался тигр! А Тимур — хмурый тигр: никогда не поймешь, чего он хочет. Если б с добрым сердцем шел, не подкрадывался бы. А когда он крадется, кому не страшно?

Но если б он был настоящим, любящим отцом, разве не растрогался бы он, не прослезился бы, видя сокрушенного своего сына, уже вдевшего голову в петлю, покорного, смиренного, послушного!

Нет, он не прослезился, — он его скрутил, как барана, пока не очистил для сына этот хлев, а теперь томит сына, царевича, как грузинского харчевника, как азербайджанского рыбника!

Разве это отец?

Мираншах размышлял, то обижаясь на Тимура, то с испугом прощая отцу его заблуждение, но сердце ныло от страха, не переставая, мучительно, во все эти дни одиноких раздумий.

Это сердце внезапно остановилось, укатилось куда-то под ноги, увлекая за собой и Мираншаха, когда он услышал за дверью шаги, которые узнал бы из десятков тысяч других шагов: мимо двери прошел Тимур!

Тимур прошел через весь дворец, а с ним шел дворцовый есаул, неся скатанные трубочкой описи. Но описей Тимур еще не спрашивал, он прошел через весь дворец, до угловой башни, внутри которой был ход вниз, в казнохранилище.

У входа уже ждали начальник города Султанин, назначенный Тимуром, и главный казначей владений Мираншаха.

Они спустились в подземелье, и Тимур потребовал у есаула:

— Опись!

— Вот она, великий государь.

— На ней ничего не написано!

— Нечего было писать, великий государь.

Главный казначей повалился к ногам повелителя.

Тимур при шатающемся свете внесенных светильников оглядывал эти крепкие подвалы, сложенные из огромных серых, кое-где заплесневелых глыб.

— Кто ж держит казну в этакой склизи?

— Да уж... Истинно, великий государь.

— Тут хорошо не для казны, а для казнокрадов!

С откровенным удовольствием есаул подтвердил:

— О, истинно, великий государь!

— Кто строил?

— Неизвестно, великий государь. Может быть, тысячу лет держится.

— Много здесь побывало всякого-такого... за этокое время! — сказал Тимур не без сожаления, что в те далекие времена ему не довелось побывать здесь.

Своды, своды... Тяжело нависая, своды удалялись в непроглядный мрак.

— Пойдемте! — позвал Тимур.

— Там ничего нет, великий государь!

— Несите светильники!

И они пошли, углубляясь под эти своды, где шаги их сливались в одну тяжкую, грозную, гулкую поступь.

— Оно будто спускается? — спросил Тимур.

— Сказывали, в давние времена оно уходило под дно моря, выходило наверх в Баку.

Спутникам Тимура было страшно. Об этом подземелье ходили разные предания: сюда заточали узников, и потом от них не находили ни костей, ни клока одежды. Говорили, что брошенный сюда персидский царевич вдруг объявился в Шемахе, а когда его спросили, как он прорвался через ряды врагов,

он ответил: «Между Баку и Шемахой никаких врагов нет». — «А разве вы не из Султании?» — «Нет, я из Баку!» — ответил царевич. Сказывают, это было сотни лет назад, но легенды эти жили среди жителей Султании. Другие рассказывали, что в глубине подземелья живет дьявол и заточенных сюда он глотает вместе с одеждой и костями. А теперь все шло при слабом замирающем свете, удивляясь, что пламя как бы прилегает к светильникам, словно кто-то дует на него и вот-вот затушит. Все робели, у всех было тяжело на сердце: «Жаль, что повелитель не знал всяких здешних басен, иначе он не шел бы так решительно дальше и дальше по этому проклятому подвалу!»

Но вдруг Тимур, не оглядываясь, сказал:

— Видно, и казну дьявол сожрал вместе с костями и тряпками!

В одном месте что-то звякнуло под ногой Тимура. Он велел поднять. Это был узкий кинжал без рукоятки.

Тимур провел клинок между пальцами и уверенно сказал:

— Арабский. Из Дамаска.

И снова пошел.

Наконец их дорогу преградила вода. Как они ни протягивали трещавшие, погасавшие светильники, ничего не могли разглядеть, — дальше стояла рыжая мертвая гладь воды, и во мраке казалось, что и своды в глубине сомкнулись.

Тимур долго смотрел, каким странным медным отливом отвечает вода на пламень светильников. Гладь воды была неподвижна, и если и лежало что-нибудь под этой водой, то где-то глубоко, навеки затаено или заколдовано там.

Все продрогли. Один лишь Тимур не замечал сырого, промозглого холода этих стен. Он повернулся и пошел назад, будто с сожалением, будто ему тяжело было расставаться с этим зловещим местом.

— Так вот... Здесь и хранили казну?

— Здесь, государь.

— А из этой воды не было к ней доступа?

— Я велю осмотреть воду, если надо. Перейти ее, высмотреть, откуда она, глубока ли... — сказал есаул.

— Надо. Вели! Только верным людям!

И, пройдя несколько шагов, добавил:

— Людей ты подбери сам. Одного к одному. Чтоб потом сказок не сказывали.

— Подберу, великий государь!

— Чтоб верные были, но чтоб потом о них не жалеть.

— Я знаю, великий государь.

И опять, перед тем как подняться наверх, когда светильники снова разгорелись ярче, Тимур оглянул подвал:

— Пусто!..

И опять казначей хотел упасть к ногам Тимура, но устоял, простонав:

— Я только выполнял указы правителя.

— А почему мне не донес? Не понимал, что казна мне надобна? А?

— Откуда мне знать, — считал, что правитель с вашего согласия... великий государь!

— Врешь! Знал. Я на пиры, на жиры свою казну не трачу. Я горсть возьму, берегу, пока не понадобится для войск. Отдам им эту горсть, они мне взамен тысячу горстей несут. И те не трачу, возьму, берегу, пока не понадобится... для войск!

— Великий государь!..

— Может, за казну я тебя простил бы. Да ты соврал. Ты знал, зачем мне нужна казна. Видел, как она уходит на ветер. Каялся бы, а ты врешь! За это не проси милости. Казна не мне, казна моему царству нужна. Самарканду. Понял?

И Тимур пошел наверх, удивляясь, что казначей, дрожа, звякает ключами, скрипит дверью, замком...

«Зачем? Что запирать? Надо было раньше запирать», — думал Тимур.

* * *

За все эти дни в комнатах у есаула расспросили немало разных людей купцов, базарных старост, дворцовых поставщиков, землевладельцев.

Тысячников и темников из войск Мираншаха спрашивал сам Тимур.

Наконец описи были закончены и все имущество не только этого дворца, но и всех остальных дворцов и садов Мираншаха подсчитано.

Городской дворец выглядел нежилым. Залы стали гулки. За дни описи ковры были скатаны к стенам, все вещи составлены в угол, в каждой комнате оставлено то, что оказалось в ней при Мираншахе. Тимур проходил во дворцу, словно вновь завоевал его.

Тимур созвал Великий совет, который был немногочислен. В Малом совете советников было в пять раз больше.

Не в высоких залах, не в парадных покоях дворца, а в тесном углу, у есаула, Тимур собрал Великий совет.

Из гулких зал Тимур вышел во внутренний дворик. За непогожие дни сразу потускнели деревья. Листва их не пожелтела, а побурела, и листья с легким жестяным стуком падали то в прудик у фонтана, то на кусты роз, то на сырую землю.

Тимур загадал, приметив отвалившийся от клена листок. В небе, вновь просиявшем после холодных дождей и ветров, листок падал так медленно, словно раздумывал, не вспорхнуть ли назад, на прежнюю ветку.

Истари было заведено в Мавераннахре гадание по звездам. Десятки звездочетов служили при дворцах правителей, при мечетях, при базарах. Иные выслушивали вопросы и давали ответы возле почитаемых могил, а то и в нишах около городских бань. Гадал у звездочетов и Тимур, чтобы все видели, что он не пренебрегает небесными знаменами, но для повседневных своих дел он обходился гаданиями, привычными с детства: по сочетанию подброшенных и упавших камушков, по ушам коня в пути, по полету опавшего листка. Он считал, что бог всегда ответит, на любой вопрос даст ответ условленными знаками.

Он загадал:

«На землю упадет — могила; на воду — жизнь сохранить, но обесславить; на куст — оставить на виду, но держать в руках».

Листок, подобный раскрытой ладони, опускался столь медленно в тишине, в синеве неба, что

думалось, вот–вот он скроется куда–то в сторону и не ответит Тимуру.

Листок задел за ветку, задержался на ней и, вновь соскользнув, плавно повернулся в воздухе.

Он опустил прямо на зеленый еще куст роз, но, едва коснувшись живых листьев, еще раз повернулся, распластавшись, пролетел над самой водой и упал на середину дорожки.

«Так и я решил! — почти вслух подумал Тимур. — Бог согласен со мной, он сам видит...»

И, облегченный от своих сомнений, повелитель прошел через угловой переход на внешний двор, к есаулу.

Кланясь, советники раздвинулись, прося Тимура занять обычное место во главе их, на полу, на войлоке.

Но Тимур велел принести ему скамью:

— Нога болит, извините.

Иногда в зимние дни или при смене погоды, на рубеже осени и зимы или зимы и весны, ему трудно было уложить на полу свою негнущуюся, ноющую ногу.

Советники — старшие из темников, первые из амиров — созывались для решения самых больших, самых трудных дел.

Они ждали слов Тимура, прежде чем заговорить самим. Они ждали от него вопроса, хотя каждый знал об этом вопросе и у каждого был готов ответ.

С молчаливым Султан–Махмуд–ханом, с широколицым, приветливым и доброжелательным Шах–Меликом, с угрюмым Шейх–Нур–аддином, даже с уклончивым, отводящим в сторону глава сейидом Береке, не без подношений и не без щедрых посулов, по этому вопросу уже говорили и сама великая госпожа, и любимый всеми Халиль–Султан, и царевна Ширин–бика, жена Мираншаха.

Тимур через своих проведчиков и проведчиц знал о всей той суете, посулах, просьбах и уговорах. Его сердило, что вмешиваются в такие дела, которые до дна он один понимает, но он сильнее рассердился бы, если бы великая госпожа отнеслась безучастно к участи Мираншаха или оказалось бы, что Халиль равнодушен к судьбе своего отца.

Советников удивило, что Тимур допустил на совет дворцового есаула, служившего здесь Мираншаху.

Но Тимур не только призвал есаула, а и посадил неподалеку от себя.

Но обычаю, он попросил сейида Береке прочитать молитву и вслед за ней, едва дав ему договорить последние слова, спросил есаула:

— Твои описи при тебе?

— Здесь, великий государь.

— Оценки при тебе?

— Здесь, великий государь.

И повернулся к своему писцу:

— Наши описи здесь?

— Вот они, государь.

— Возьми у есаула, сличи.

— Сличено; все сошлось, государь.

— Много добра нашли?

— Не меньше, чем из казны пропало. Но притом установлено: многие из сокровищ дворца принадлежали правителю до расхищения казны.

— Мне нужна казна, а не установления.

— Истинно, великий государь.

Тимур опять повернулся к есаулу:

— По моим записям из дворцов здешних вельмож и любимчиков ценности взяты?

— Как мозг из костей, до костей выскоблили, великий государь.

Не все в Великом совете знали, что за немногие дни повелитель не только составил какие-то списки, но и опустошил все знатнейшие дома Султании, а владыки этих домов уже заточены здесь, во дворце, в подвале казнохранилища: Тимур не любил разглашать своих дел, пока дело не сделано.

— И что же? — спросил Тимур есаула. — Много добра?

— Во много раз больше, чем было в казне.

— Еще бы, — у казны здесь один подвал, а у расхитителей подвалов много.

— Истинно, государь.

Тогда Тимур повернулся к Великому совету с облегченным вздохом:

— Вот мы и вернули казну!

И некоторым почудилось, что Тимур показал зубы из-под усов в знак улыбки, — это редко случалось — видеть улыбку повелителя.

Тогда Тимур обратился к совету:

— Если наш слуга украдет казну, доведет лишениями войско до нищеты, воинов разбалует, дозволив им искать себе пропитание вольной работой, помощников отвлечет от дел, рубежи государства оставит открытыми перед сильным, злым, жадным врагом, забудет, что города это крепости, а не базары, доведет стены крепостей до разрушения; если своих купцов станет грабить, а у чужих принимать откупы за побрякушки, если вместо полива земель пустит на плодородные земли стада, оросительным каналам дозволит зарости травой и завалит их мусором, а хлеб станет закупать из соседних стран, чего заслуживает наш вельможа, если вместо созидания предается разрушению, вместо накопления — расхищению, вместо повиновения — своеволию? Если свой удел он мыслит не частью единого государства, а...

Гнев нарастал в Тимуре, и голос его пресекался. Перемолчав, он спросил притихших советников:

— Чего заслуживает такой слуга?

Великий совет молчал; и когда Тимур смотрел на этих вернейших людей, на свою опору, на людей, коими он сковал, как обручем, все спицы гигантского колеса — своей империи, — советники опускали глаза, выжидая, чтобы повелителю ответил кто-нибудь другой.

— Молчите? Я скажу сам: казнь!

Он видел, как вздрогнули или как заворочались, все еще не поднимая глаз, эти твердые, безжалостные, суровые люди.

— И такую казнь, чтоб все видели! Чтоб каждому стало страшно!

Лишь Шах-Мелик, подняв строгое лицо, прямо глядя в глаза Тимура, возразил:

— Он вам сын, государь.

Тимур не ждал, что придется спорить. Он не привык спорить. Не бывало такого, чтоб приходилось спорить. Сейчас он мог впасть в такую ярость, что уже ни Великий совет, ни весь этот огромный дворец, ни вся вселенная не остановят его ярости, пока он не сокрушит всего, во что бы ни уперся!

С нарастающим гневом глядя в недрогнувшие глаза Шах–Мелика, Тимур встал со своей скамьи.

Но и Шах–Мелик встал с пола.

Казалось, Тимур накапливает силы для неукротимого, сокрушительного прыжка, выискивая в Шах–Мелике то место, куда вцепиться.

Но, стоя так, он еще раз услышал спокойные, твердые, слова Шах–Мелика:

— Меня можно убить, государь. Не во мне дело. Но вам он сын...

— Таджик! Вы все жалостливы! А мне нужно...

— Не во мне дело. На Меч Ислама ляжет пятно сыноубийства. Будет ли он тогда Мечом Ислама?

— Это не твое дело. Пусть сейид скажет! Ну–ка!

Береке встал:

— Государь! Всякому мусульманину известно, — когда Ибрагим пожелал во имя божие заколоть сына своего Исмаила, сам бог отвел его меч в сторону.

— Я — не во имя божие. Мне надо укреплять государство, а не потакать!..

— Всякое дело, государь, становится известным богу.

— Есть дела, которые бог поручил мне самому здесь решать. Не вы ли, благочестивый сейид, это говорили? Говорили, а?

И, не ожидая ответа от сейида, Тимур осматривал молчащих, но уже не прячущих от него глаз советников.

Неожиданно он спросил есаула:

— Ну? Говори!

И есаул сказал:

— Нельзя, государь. Как можно? Каждый самый жалкий человек скажет: «Повелитель, мол, детей из–за золота убивает, я, скажет, лучше, я хоть и ниш, да детей своих ращу, а не режу!» Тогда что? Царство ваше велико, а вы один. Надо, чтоб... Да что мне говорить, — вы сами своей великой мудростью уже постигли это!

Есаул угадал: Тимур, остывая, уже хотя и неохотно, неумело, но уже отступал от своего намерения. Как всегда торопливо, искал новый путь к сокрушению неподатливого, как горная крепость, вопроса: «Если не казнь, то что же?»

И хмурый, похромав перед скамьей, Тимур сел:

— Ладно.

Советники говорили еще, но их речи, то прямые, то извилистые, лишь повторили сказанное Шах–Меликом: жизнь Мираншаху оставить, навсегда отторгнув его от дел государства. Царство Хулагу отдать тому, кого повелитель сочтет достойным, но, пока сам повелитель здесь, правителю здесь нечего делать.

Тимур все глубже уходил в свои мысли, как всегда, когда говорилось о том, что он уже решил.

Дослушав, он спокойно ответил им:

— Утверждаю!

Помолчав, он поднялся:

— Я вашей мудрости внял! Теперь берегите рубежи: там опасный сосед.

Все знали, что Баязет, выведав о приходе Тимура, уже готовил войска, уверенный в своих силах, подчинивший уже немало стран по эту сторону Босфора, разгромивший рыцарей короля Сигизмунда на берегах Дуная.

— Чтоб идти на врага, надо знать, чем он силен; чтоб его победить, надо знать, в чем он слаб. Вот о чем пора знать. А? То—то.

Тимур загадал своим советникам загадку, и разгадать ее надлежало прежде, чем он снова созовет их на Великий совет.

* * *

Отпустив советников, Тимур вернулся в запустелый дворец.

К вечеру посвежело, и в безмолвных залах даже солнце казалось холодным. Нога ныла, и от этого старик хромал тяжелее.

Он увидел, как в одну из боковых зал воины принесли еще пылающий светлым пламенем жар и ссыпали его в каменное гнездо жаровни, под низенький стол.

Еще с утра, когда разболелась нога, Тимур натянул шерстяные, вязанные пестрыми узорами толстые чулки, чтобы согреться; надел белый бадахшанский шерстяной халат. В этой одежде таджика заметней стало лицо кочевника: узкие, оттянутые к вискам глаза, темные желваки скул, по—стариковски широкие, но редкие брови.

При виде ярких углей захотелось тепла. Тимур подошел к жаровне, от которой стражи тотчас отошли к дверям.

Нога ныла. Натянув толстое одеяло на столик над жаровней, Тимур до пояса накрылся согревшимся одеялом.

Стражи стояли у дверей, боясь шелохнуться. Тимур сидел один в темнеющей пустой зале.

Стемнело, а он сидел беззвучно: не хотелось даже за светильником посылать, чтобы никто не являлся сюда.

Согревшись, нога начала успокаиваться, но заныла сухая рука.

Тимур натянул одеяло на плечо. Стало легче, но и нога и рука все же ныли, ныли...

Но еще сильнее ныла в нем тревога: «Великий совет воспротивился! Самые близкие люди не поняли: всю жизнь, неустанно, не щадя ни себя, ни друзей, ни сыновей, ни войск, всю жизнь он расширяет, укрепляет свое царство. Разваливает города соседей, чтоб негде им было запереться от его гнева; десятки людей приказывает истребить, чтоб уцелевшие благодарили за пощаду, славили его за великодушие и страшились бы его.

Больной, тащится он в новые и новые походы, чтоб не было других хозяев мира: он и один управится с этой вселенной, он и один сумеет удержать в ней порядок и повиновение. Внуков посылает под вражеские удары, чтобы все народы мира видели их, внуков своего хозяина, будущих хозяев всех царств на

свете. Он никого не жалеет ради побед, ради царства, которое надо расширять. Расширять!

Растить бесстрашие внуков, приучать их, будущих владык, любить битвы и походы, не страшиться жестокости, не предаваться жалости, закалять твердость сердец.

Им он готовит вселенную, которую сам, с юности, по крохам копит страну к стране, как деньгу к деньге, для своего наследника.

Ради этого он никого не жалеет. Тяжело было, когда послал в опасное место своего сына Омар–Шейха, когда надо было увлечь войско на превосходящую силу; знал, что там опасно, а послал. И Омар–Шейх пал: не отходить же назад! И поныне следит, чтоб внуки не пятились, чтоб подавали пример. А ведь из них каждый ему дорог, как каждый палец на своей руке. И потерять больно, и беречь нельзя.

А соратники, самые доверенные, самые выверенные... Ведь сколько дорог с ними пройдено, начиная с той скользкой, когда под ливнем вместе бежали за реку Сыр из Чиназа тридцать пять лет назад. Выверенные, как свой меч, отступились от воли повелителя, пожалели Мираншаха, смилостивились над отбившимся от рук негодяем, вырвавшим целое царство Хулагу из отцовской державы. Смилостивились, а он — как трещина в сосуде; может, и невелика, да сколько в худой сосуд ни лей., все вытечет, как ни мала дыра. А царство сосуд, куда надо налить это самое... сокровище! И на века налить, навечно!

А когда он оставит правителями над покоренными народами и странами своих молодых, неопытных внуков, кто же присмотрит за единством их, если самые выверенные, старшие из соратников склонны мирволить непослушанию, потакать мотовству.

Ведь дервиши подслушали, как не только на базарах, а и среди обленившихся вельмож в насмешку называли Мираншаха Мианшахом, что означает полуцарь, середка наполовинку! Может, думали, что навоеванное отцом сын волен пускать по ветру? Никто не волен! И надо показать, что ни сын, ни внук — никто не волен!»

Жалость казалась ему слабостью. Когда случалось, спутники жаловались на зной, на стужу, на жажду, он один молчал, мог не пить, если остановка отдаляла победу, мог спать на голой земле, если для удобного ночлега пришлось бы сворачивать с прямой дороги. Мог и вовсе не спать, если надлежало опередить противника, и, не сходя с седла, ехать; если даже тело деревенело от усталости, ехать! Зато никто не смел тогда жаловаться, когда в нем не было пощады себе самому. И все так шли, от него самого до каждого воина: не смея потакать своим слабостям, если надо было идти. Так они все и сюда пришли в первый раз, когда топтали Азербайджан, когда лбы разбивали об армянские башни, когда карабкались по лесистым грузинским горам, где из-за каждого куста нападали воины и старики крестьяне. Как тогда, без сна, без еды, кидались от города к городу, от крепости к другим крепостям, из битвы в битву, чтоб не дать противнику ни опомниться, ни собраться с силами, пока не водворилась тишина по всей этой земле, где отовсюду тогда пахло гарью и мертвечиной. Не само собой далось царство Хулагу, когда он расширял свою державу до песков Месопотамии.

«И эти старики, сами исхудавшие, почерневшие в том походе, теперь так великодушны к изнеженному бездельнику, ограбившему это самое царство Хулагу! К ротозею они отнеслись жалостливее, чем относились сами к себе. Себе не потакали, своих сыновей не облегчали от тягот походов, от опасностей битв, а бездельника, труса, лицемера все, как один, пожалели.

Говорили: ляжет пятно на отца за убийство сына. Говорили: народ возропщет.

Пятно? Это не их дело; не сам же он стал бы рубить ему голову. Так убрал бы — ни единой брызги не капнуло бы в сторону отца! Он сумел бы! И амира Хусейна, и подлого Кейхосрова разве он сам...

Возропщет? Народы всегда ропщут. И покоренные, и, бывает, свои тоже. Но ропщут втайне, с

оглядкой. Разве он не знает? Ропщут! Но затем он и складывает башни из отрубленных голов, — семьдесят тысяч голов в Исфохане! В Исфизаре — башни из живых пленников, выше городских стен, — связать и одного на другого, как кирпичи, а между ними известь, серую, быстро сохнущую... А потом заставить мулл вскарабкаться на рыхлую вершину, чтоб с ее высоты призвать верующих к благодарственной молитве! Во славу аллаха! Такие молитвы хороши, чтоб уцелевшие запомнили, чем кончается ропот в могущественной благочестивой державе Тимура. А его держава везде, куда бы он ни дошел. Ропот?! Не надо щадить тех, кто вздумает роптать. Чем их меньше останется, тем смиреннее будут! Прежде чем рот откроют, голову прочь! Тогда и остальные сомкнут уста, покорятся с усердием...»

Нога ныла, будто из нее тянут жилу.

«Больно, а люди думают, ему хорошо! Он мало кого убил этой вот рукой, а она отсохла, болит, ноет...

Думают, ему хорошо, а покоя нет, нет покоя! Вот, пришлось вернуться из Индии. А ведь там много всего осталось, чего он не достиг, там бы еще надо было побыть, прибрать остальное, а пришлось возвращаться с полпути, беспокойные вести шли о победах Баязета. Китай, изгнав монголов, набирался сил. Орда оказалась в руках хитрого проходимца Едигея; Тохтамыш снюхался с литовским Витовтом, крался к Орде возвращать былую власть. А Орда, сиди там Едигей ли, Тохтамыш ли, зарится на Хорезм, — значит, нельзя с нее спускать глаз, нельзя в такое время оставлять свое царство без войск. Вот и вернулся. А было задумано пройти по всей Индии, завернуть на Китай, пощупать, не легче ли на Китай пройти оттуда... Если б только Москва придержала на это время Орду, он шел бы дальше. А Москва опрокинула Мамаю и опять молчит. Сил набирается? Надо взять в руки всю Орду, совсем. А потом снова на Москву! Тогда не дошел, остерегся. До Куликова поля дошел, до самых Мамайкиных могил... И вернулся. Надо по-другому пойти, через Орду, через Булгар, как прежде Тохтамыш звал...

А эти советники... Пожалели... Им что! Он один знает цену каждому клочку земли. Он один...»

Тимур отвалился на войлок, чтоб вытянуть ногу, дать ей покой. Стало легче. Может быть, оттого, что согрелся, стало легче.

Боясь потревожить утихшую боль, лежал навзничь на жестком войлоке, незаметно, в раздумье, погружаясь в дремоту.

Одеяло сползло с плеча, голова закинулась на голый пол.

Стражи, переглянувшись, крадучись перешагнули за порог, затворив за собой дверь: откуда им знать, как отнесется повелитель к тому, что они тут стояли, пока он спал, развалившись на полу, раскрыв рот, уронив с головы тубетей. Таким его никому не следовало видеть, сбитого с ног болезнью, слабостью или старостью.

И некому было ни укрыть его, ни подсунуть подушку ему под голову.

* * *

Тимур проснулся, когда рассвело.

Проснулся от боли. Теперь и шея и спина от лежания на жестком полу болели.

За дверью шумел дождь, и от дверей несло сырým холодом.

Одним рывком, стиснув зубы, Тимур встал и на минуту замер от нестерпимой боли. Но сам нагнулся, поднял с полу тубетей, крепко вытер лицо ладонью. Когда воины вошли на его зов, он уже стоял такой же, каким вошел сюда, словно не было ни внезапного сна, ни боли, неотступной, расползающейся по телу, как огонь по сухому суку.

— Есаула! — приказал Тимур.

Если он сам не спал, он не понимал, что нужные ему люди могли в это время спать, отсутствовать, предаваться своим делам.

Есаул знал нрав своего повелителя. Он был готов предстать в любую минуту. И он явился в опоясанном халате, в хорошо повязанной чалме.

— С чалмой мог и не возиться, — не мулла. Пока с чалмой возился, я ждал. А?

Есаул знал: явись без чалмы, пробрал бы за небрежность, за нарушение порядка. Да и чалма была повязана с вечера, лежала под рукой наготове, надеть ее было не дольше, чем шапку. Но не объяснять же это повелителю, смолчал.

— Я велел подвал осмотреть. Не было из него хода? Не похищали казну через лаз, через щель?

— Ни лаза, ни щели не оказалось, великий государь.

— А проверяли надежные люди?

— И усердные, великий государь.

— А кто?

— Вельможи. Я их туда засадил и говорю: «Почтеннейшие, жизнь ваша принадлежит повелителю. Кто за собой знает вину, ищите выхода из подвала, другого выхода не ждите». Они, великий государь, все обшарили, всю воду истоптали, она нигде глубже пояса не стоит, из земли натекла, не из щели. А за водой — стена. Истово искали всякую щель, усердней истцов не сыщешь.

— Ты что ж... за прежние обиды с них взыскал?

— И за обиды, за прежние унижения взыскал, и ваше повеление надежно исполнил.

— Пойдем к ним.

Когда с тусклым фонарем спустились в подвал, узникам, отвыкшим от всякого света, язычок огня показался нестерпимо ярким.

Зажмурившись, они привыкали к свету, уже чуя, что близится решение их участи, еще не видя, что вошел сам повелитель.

Но он заговорил, и это ожгло их сильней яркого света.

— Все здесь?

Они молчали.

Он сказал в раздумье:

— Не думали попасть на место золота, которое отсюда брали?

Кое-кто всхлипнул, застонал, заголосил, но он снова сказал твердо и спокойно:

— У меня всегда так: кто на ваше польстится, тот на том и сгинет!

Кое-кто запричитал. Слово «сгинет» не предвещало помилования.

Их лица показывались из тьмы, белые, оробевшие, искательные, обросшие, обрюзгшие, и снова пропадали во тьме. Он стоял, глядя на участников Мираншаховых дел и развлечений.

— Все здесь? Может, забыли кого? Кто еще ликовал с вами? Говорите!

Но им казалось, что собрано здесь даже больше людей, чем бывало на пирах и охотах правителя. Они все здесь нашли друг друга.

— Молчите?

Тогда недавний визирь на отекавших, больных ногах с трудом выдвинулся вперед:

— Болеем, простужаемся тут, великий государь!

Тимуру показалось, что собственная его боль от этих слов ударила с новой силой. Но стерпел и ответил по-прежнему твердо:

— Я не лекарь.

— Великий государь! Мы тут в ничтожестве, во тьме, в слякоти каялись, сокрушались. Ото всего сердца, великий государь, молим: примите в свою руку рукоятки всех сабель наших, испытайте остроту их и верность вам.

— Речист!

Фонарь задрожал в руке есаула, пытавшегося скрыть тайный свой смех.

— Ты что? — покосился Тимур.

— Истинно, великий государь, речист. За красноречие и назначен был визирем. На пирах это видная доблесть.

Тимуру не понравилось многословие есаула. Но попрекать его не стал и кивнул визирю:

— Сперва испытаю острие ваших сабель на ваших шеях.

Это было его решение.

Не слушая мольб и возгласов, отвернулся и пошел наверх, заставляя больную ногу ступать тверже, чем прежде, когда боли не было, поднимая голову выше, чем всегда, когда не было этого сквозного прострела от шеи до сердца.

Он прошел сразу к маленькому чулану, где сидел Мираншах.

Толкнув дверцу, не входя, сказал:

— Эй, готовься! Повидаешь своих дружков.

И, сомневаясь, понял ли его онемевший сын, пояснил:

— Днем на площади!

Как и те в подвале, Мираншах что-то завыл, или запричитал, или завизжал в ответ, но Тимур уже отошел от двери, и ее снова заперли.

Когда днем трубы проревели, скликаая народ, по всем краям большой мощеной дворцовой площади запестрели жители Султании, появилась стража, раздвигая место перед дворцом, и народ теснился, гадая: что сулит, какое зрелище, какое известие, этот рев труб.

На галерею дворца, высоко над площадью, вышли участники Великого совета и внуки Тимура, а жены его припали к окнам, из которых им видна была та часть площади, откуда оттеснили народ.

Только младшим сыновьям Мираншаха Тимур не велел сюда приезжать из Чинарового сада.

Шах-Мелик побледнел и с удивлением глянул на сейида Береке и на Шейх-Нур-аддина, когда под рев труб на площадь вывели Мираншаха.

Воины шли по сторонам, а двое палачей вели недавнего правителя под локти. Тонкий нижний халат распахивался, раскрывая мятые штаны царевича. Штаны спускались на босые ноги. Ноги зябли. На голове была лишь белая несвежая нижняя тафья, а коса, которую Мираншах, чтоб выглядеть истым

мусульманином, запрятывал наглухо под чалму, растрепалась и вылезла из-под тафьи.

Вслед за преступником выехал есаул. Но преступника отвели и поставили у подножия галереи, и Тимур видел только макушку сына, а есаул выскакал на середину площади, повертелся там на коне и вскачь понесся к галерее за указом.

Тимур сам кинул есаулу указ, и, задев конской мордой плечо Мираншаха, есаул отскакал к воротам, дал знак и медленно поехал впереди длинного шествия ослепленных дневным светом Мираншаховых вельмож.

Многие из них шли в богатых халатах, как застала их дома нежданная стража, но это богатство потускнело за время, проведенное в подземелье. Пятна грязи, синева поникших лиц, сырая обувь — все это казалось зеленоватой плесенью, осевшей поверх людей, еще несколько дней назад нарядных, заносчивых, беспечных, своевольных.

Некоторые из них успевали заметить своего правителя, одиноко стоявшего в исподнем халате у дворцовой стены, и понимали: пощады не будет.

Камни площади, обмытые утренним ливнем, не успели просохнуть. Тусклое небо нависало над городом. Ноги оскользались на камнях, а дружки Мираншаха шли по двое, возглавляемые былым визирем и недавним начальником здешних войск.

По обе стороны шли палачи с мечами в руках, стражи. Шли неторопливо, будто давая время собраться с мыслями.

Тимур стоял, выдавшись вперед, и никто не примечал, как подавлял он в себе несносную, неотступную боль.

Шах-Мелик, почувствовав плечом плечо сейида Береке, спросил шепотом:

— Что ж это, святой отец?

— Пренебрег словом совета! — шепнул сейид.

— Ох, нехорошо! — неожиданно громко добавил Шейх-Нур-аддин, тоже придвинувшийся к Шах-Мелику, но Тимур не услышал этого неосторожного возгласа.

Только Халиль-Султан вдруг рванулся к Тимуру, замер у его плеча:

— Пощадите! Дедушка!

Но и к нему Тимур не обернулся, хотя и ответил:

— Уйди отсюда.

— Я его сын, я отслужу, я искуплю!

— Уйди! — сказал Тимур с той хрипотцой, предвещавшей приближение гнева, при которой ни спорить, ни просить не смел никто.

Халиль замолчал, но не ушел. Даже не отодвинулся, может быть готовясь на какой-то последний отчаянный, пусть даже бесполезный шаг.

Повернувшись на коне, есаул с седла поклонился в сторону Тимура и поднял над головой желтую трубочку указа.

Тимур ответил, показав есаулу раскрытую ладонь и разрезав ею воздух перед собой.

Палачи приступили к своему делу.

Тимур видел, как задрожала макушка Мираншаха, когда повергнутым на колени двоим передним

преступникам ссекли головы, а тела их прижали к земле, чтобы кровь не разбрызгивать в стороны.

По неприметному каменному стоку потекла темная медленная струя, и Мираншах задрожал мелкой дрожью, может быть от зимнего холода, при котором впервые ему случилось стоять в одном тонком халате.

Едва отволокли первых двоих, поставили на колени следующих.

Была такая тишина, что Мираншах услышал, как срубленные головы стукнулись о камни, откатываясь.

Так, пару за парой, палачи привычно одних отволакивали, других ставили на колени, а темная струя все дальше лениво ползла по стоку, которого и не замечали прежде, скача на гордых конях, Мираншаховы царедворцы.

Мираншах упал бы, но чуткие палачи успели подхватить его под локти. Он опомнился и снова стоял, как в чаду видя площадь, людей, пляшущую лошадь есаула.

Только раз мелькнула ясная мысль:

«Если б мне прежде знать, какой негодяй мой есаул!»

Ему тогда на мгновение показалось, что, раскуси он есаула прежде, было бы предотвращено все, что случилось теперь.

Но все это тут же и позабылось, заслоненное происходящим, вытеснившим из головы все мысли, все рассуждения: поставили последнего, для которого не нашлось пары. Те сгнули молча, обомлев, а этот что-то воскликнул, повернувшись к есаулу, и видно, есаула его восклицание кольнуло, есаул так хлестнул свою лошадь, что она присела.

От этого удара сознание Мираншаха прояснилось.

— Что же? Теперь... я?

Палачи взяли за локти царевича.

Халиль рванулся к самому краю галереи, готовый, может быть, прыгнуть вниз. Шах-Мелик ловко схватил рукав Халиля и дернул к себе. Не ожидавший этого рывка, Халиль пошатнулся и, ударившись спиной о грудь Шах-Мелика, выпрямился. Тотчас легкая, ласковая ладонь погладила руку Халиля.

— Отвернись, Улугбек! — глухо отозвался Халиль и прижал к себе лицо мальчика.

Но палачи вели Мираншаха не к стоку, где, как вал, лежали тела казненных, тесно одно к одному, а повели его назад, к воротам дворца.

Сейид Береке облегченно вздохнул, и Шейх-Нур-аддин ответил сейиду повеселевшим взглядом: Мираншах отбыл свое наказание.

Мираншаха по ступенькам провели на галерею и попытались поставить на колени перед отцом. Но Мираншах тяжело весь повалился к ногам Тимура.

— Ну? Насмотрелся?

— Отец!

— То-то!

И повелитель пошел в залы дворца, а за ним и остальные, стараясь подальше обойти валявшегося на их пути Мираншаха.

Над отцом опустился Халиль-Султан и помог низвергнутому правителю подняться. Это было нелегко, хотя Мираншах сам делал усилия, чтобы встать. Наконец с помощью стражей его снова поставили.

Отдышавшись, Мираншах тихо сказал Халилю:

— Видел? Как хорошо, как это хорошо он придумал.

— Что, отец?

— Когда он их казнил, они так и не узнали. А то как бы стыдно мне было! Поберег меня от стыда, как хорошо!

— Не понимаю, отец!

— Если б они знали, что их порежут, а меня нет, вот они злились бы! Вот бы обо мне думали. А так они и не поняли. Ловко? Думали, вслед за ними и меня!.. Дураки!

И Мираншах рассмеялся.

Халиль смотрел на рослого, рыхлого, обросшего щетиной, снова самодовольного человека: «Мой отец!»

Но это сознание шло не от сердца, — он не рос, не жила у отца, не слышал от него ни ласковых слов, ни заботливых наставлений, ни проборок.

Когда позже просто, но чисто одетого, вымытого, выбритого Мираншаха снова привели к Тимур, Тимур долго разглядывал сына, опускавшего глаза и напускавшего на себя, а может быть и переживавшего раскаяние и сокрушение.

— Ну?

— Вот он я, отец.

— Что будешь делать?

— Ваша воля, отец.

— Здесь тебе делать нечего.

— Я понимаю, отец.

— То-то.

Тимур опять молчал, глядя на сына, будто прицеливался, медля спустить стрелу.

— Поезжай!

— А куда?

— Тихое место — город Рей.

— Купцы там... Я с них большую подать взыскал. Опасно мне там, отец.

— Они рады будут.

— Это чему же, отец?

— Виду твоему. «Вот, скажут, лез на коня, а влез под коня!» Срам!

— Уж лучше куда-нибудь...

— Нет, туда, — там смирней будешь, среди пустого базара.

— Отец!

— Собирайся! И живо; я велел твоему наставнику до свету лошадей приготовить.

— Да уж темнеет!

— Поспеешь. Есаул твой теперь твоим наставником будет, атабегом, а сыновей своих всех тут оставь, со мной.

— Меньшому четвертый год всего!..

— И хорошо: в голове мусора меньше. Ступай, собирайся.

— А нельзя ли...

— Ступай!

По-прежнему дробно переставляя тяжелые ноги, но с гордо вскинутой головой, Мираншах пошел мимо сторонившихся вельмож. У двери он было остановился, словно надумал что-то возразить отцу или спросить о чем-то.

Он неповоротливо обернулся, но увидел лишь темный, весь в лиловых морщинах лоб отца, погруженного уже в какие-то другие заботы.

Потоптавшись, Мираншах не посмел вернуться, вышел за дверь, и больше он уже никогда не видел своего отца — амира Тимура Гурагана.

Еще стуча колесами по камням, немногочисленные арбы Мираншаха двигались к выезду из города, еще закрыт был базар и сонные муллы шли в мечети к первой молитве, а Тимур уже вызвал к себе старшего из сыновей Мираншаха мирзу Абу-Бекра.

Царевич, едва проводив родителей в изгнание, был застигнут врасплох зовом деда. Хотелось побыть одному, свыкнуться с внезапной разлукой, поговорить с Халилем, который хотя на целых три года был моложе, но к деду был ближе и лучше знал, чем грозит их семье все случившееся за эти дни.

Он пошел на зов невесело, предчувствуя новые козни от безжалостного деда, боясь его и сердясь на него за расправу с отцом.

Воины, неся перед собой светильники, шли по темным предрассветным залам так быстро, что Абу-Бекр не мог замедлить шагов, подумать, зачем, для каких новых огорчений, идет к той угловой комнате, где всего несколько дней назад отец беззаботно беседовал с историками или рассматривал книги, исполненные лучшими переписчиками царства Хулагу.

Сухощавый и плечистый, как дед, но ростом не столь высокий, длиннолицый и густобровый, как мать, Абу-Бекр поневоле торопливо шел следом за воинами, слегка ссутулившись, опустив глаза, оправляя молодую пушистую бородку.

Он приметил, что, всегда такой нарядный и уютный, их дом теперь похож на какой-то склад или кладовую, где все вещи свалены грудями у стен, а ковры скатаны или сложены.

«Все уже подсчитал. Мог бы снова расставить по местам!.. — думал Абу-Бекр. — Что-то еще готовит. Поджечь, что ли, надумал? Немало на своем веку пожег».

И вдруг яркое пламя ударило ему в лицо: десятки светильников пылали.

Воины раздвинулись, и за дверью он увидел деда, склоненного над искусно изукрашенной книгой. Дед продолжал разглядывать тонкие узоры, обрамлявшие, как лентой, каждую страницу рукописи.

«Золото, лазурь, киноварь. Переписчик из Тебриза. История Рашид-аддина!» — узнал Абу-Бекр и увидел в нишах по стенам остальные книги отцовского книгохранилища.

«И это отцу не отдал! А сам неграмотен!» — думал Абу-Бекр, ожидая у порога, пока дед заметит его.

Тимур поднял глаза и дружелюбно спросил:

— Проводил?

— Сейчас уехали.

— Я им дал охрану, не бойся.

— Ваша страна хорошо охраняется, дедушка.

— Надо говорить «ваша страна». Что ты, чужой, что ли?

— У нас здесь не всегда безопасно.

— Почему?

— Край государства. непокорные народы вокруг. Покоренная земля, не свое Междуречье!

— Потверже правь, настанет тишина, послушание, безопасная жизнь. А непокорных покорять надо.

— Их во сто раз больше, чем было у нас воинов.

Сотня хороших воинов всегда сильнее тысячи мятежников.

— С мятежниками—то мы управлялись.

— Когда чужой народ молчит, а дань платит плохо, когда на своем месте своим трудом силы и сокровища копит, хоть он и молчит, а это опасней мятежа. Чужому народу не давай покоя. Дай ему поправиться, снова его обстриги. Постриг, — дай ему волю, дай покой, но глаз с него не спускай; поправится, опять обстриги, но помни: спешить — невыгодно, опоздать опасно. Вот так правь, тогда я тебя любить буду.

— Меня?

— Тебя! Твой отец опозорен. Перед всем народом. За дело! Ему уж не быть правителем. Ты у него старший. Ты берись. Тебя ставлю правителем всего царства Хулагу.

— Нет, дедушка!

— Что? — Тимур не рассердился, а удивился этому непослушанию. — Что?

— Я не могу.

— Почему это?

— А мой отец?

— Будет править городком, какой ты ему дашь.

— Нет, дедушка!

— А что?

— Если вы своего сына наказали за неповиновение, как же вы от меня требуете неповиновения отцу?

— Повелевай, как правитель своим амиром.

— Он мне отец! Как же я потребую повиновения от отца?

Тимур неожиданно закричал:

— Ты не сын бездельника, ты правитель царства Хулагу!

— Нет! — тихо попятился Абу-Бекр. — Нет, дедушка, он мне отец!

Тимур отшвырнул в угол книгу и отвернулся:

— Ступай отсюда.

«Мой внук! — думал Тимур. — А ему семья милее, чем весь мир. Вроде Халиля. Да Халиль смел, Халиль воин. А этому не надо целого царства, ни войск, ни славы, только семью! Умен, а глуп!»

За порогом Абу–Бекра встретил встревоженный Халиль–Султан:

— Я услышал, вас дедушка звал. Не случилось ли чего?

— Случилось, Халиль. Он хотел напялить на меня венец этого царства и чтоб наш отец служил мне.

— А вы?

— Что ты, Халиль? Разве можно?

— Не обижайтесь, брат, я не знал, что вы столь тверды.

Абу–Бекр улыбнулся.

Они подошли к тому окну, откуда вчера царицы смотрели казнь казнокрадов.

Светало.

Тела уже убрали с площади, но собаки, огромная свора, большие, ростом с ослов, сбежавшиеся со всего города, грязясь и оцетинившись, вылизывали кровь с камней.

Их визг и урчание разносились по всей площади.

Абу–Бекр спросил:

— Ты на это смотрел?

Халиль–Султан передернул плечами и перемолчал.

— А я отсиделся в саду. Ждал вестей там. К самому страшному был готов. Да и остальные... Ведь всех их знал, были там и милые люди.

— Попробовал бы я отсидеться, да заметил бы дедушка! Вы с отцом наших порядков не знаете.

— И слава богу! — от души ответил Абу–Бекр.

Халиль снова смолчал.

С тяжелым сердцем царевичи отошли от окна, и Халиль спросил:

— Что же теперь?..

— Отпрошусь к отцу. Мне не нужно ни воинской славы, ни власти над царствами. Будут книги, будет тишина, иногда охота, иногда песни и снова тишина.

— Разрешит ли вам дедушка, — он никому из нас еще не разрешал тишины.

— Да ты ее и не искал?

— Я? Нет. Ведь моя мать — монголка.

— К твоей матери я очень привязан.

— Да?

— Она во мне одобряла и растила любовь к тишине. Но когда отца она призывала к миру, отец впадал в неистовство, наперекор ей. Она поняла, что без нее он скорее успокоится, и уехала. Отец все сокрушал, когда узнал; хотел догнать ее, хотел вернуть. Потом затих, потом снова, пуще прежнего, зашумели пиры, охоты, — хотел забыться, а может быть, прятал страх перед дедушкой? Он предвидел неприятности, но не такую кару и не так скоро...

Халиль сказал:

— Мой дед Суфи был государем Хорезма, отбивал Ургенч от дедушки. Дедушка его убил. А я отбиваю города у других государей для дедушки.

— И моего деда он убил. Отца моей матери. А я не хочу никого убивать, ни покорять, ни завоевывать. Пусть каждый живет по—своему.

— Дедушка говорит: таджики — садовники, а не воины. Он предпочитает кочевников и походы... Я тоже.

— А я — в мать... садовник!

Из—за купола над гробницей пророка Хайдара блеснуло солнце.

Царевичи тихо шли, разговаривая, и казались совсем маленькими в огромных залах, где еще никого не было в этот час.

* * *

От Арзрума до Басры, от Шираза до Багдада базары содрогнулись, когда народ узнал, сколь легко теряют головы даже столь знатные и могущественные люди, как друзья и любимцы Мираншаха.

Говорили лишь шепотом. Едва завидев незнакомцев, смолкали. Опасались задерживаться на улицах. Торговые ряды обезлюдели. Многие лавки не открывались, а их хозяева, отправив семьи и достояния в укромные селения и усадьбы, сами хотя и оставались у себя, держали коней под седлом и плетку за голенищем.

Арабские купцы торопились выехать из Султании в Багдад или в Дамаск, грузины укладывали свои легкие вьюки на лошадей, армяне вьючили верблюдов, нороя проскользнуть в Сирию или Византию. Генуэзцы, подумывая о Трапезунте, бегали под благословение к своему епископу. На постоянных дворах чужеземцы суетились, торговались с погонщиками, искали верблюдов, лошадей, ослов, но не было заметно, чтобы где—нибудь спорили, как это прежде бывало, чтобы ссорились между собой. В эти дни все купцы легко понимали друг друга и у всех была лишь одна мечта — подальше, подальше, пока товар цел, пока не оглашен какой—нибудь мирозавоевательный указ.

Но караваны, двинувшиеся из Султании, не успели отойти от города: указ был оглашен, а караваны остановлены. Выезд из городов купцам воспрещался.

Тимур узнал о запустении на базарах, о сборах купцов в дорогу, о страхах и опасениях горожан.

Он хотел, чтобы народы возликовали и вославили мудрость повелителя, низвергнувшего корыстолюбцев, чтобы доверие к справедливости повелителя возросло, но люди увидели не мудрость, а гнев, не справедливость, а жестокость и оробели. Что же, разве не столь крепко было доверие народов к своему повелителю?

Он приказал рассеять испуг жителей, а от купцов Султании потребовал выборных к себе на двор.

Выборные, отправляясь во дворец, прощались со своими семьями или отсылали им наказ, как жить без глав семейств, ибо всяк мог быть обезглавлен столь же легко, как это случилось пасмурным днем на дворцовой площади.

Арабы в белых бурнусах или сирийцы в черных плащах, армяне с черными кушаками в знак того, что принадлежат к вере Иисуса, а не Мухаммеда, евреи с веревкой вокруг бедер, как язычники, индусы — менялы и ростовщики, с голубыми знаками на лбу, как идолопоклонники, — все они отправляли своих старшин к повелителю, забыв различие в верах, будто провожали родных на кладбище.

Их впускали во двор, и все они искали местечко подальше от галереи, поближе к стене, к воротам, где, однако, стояла конная стража с такими глазами, косами и зубами, что ждать от нее расположения и

защиты не чаял никто.

Все, если и здоровались со знакомцами, делали это безмолвно и тихо, шаря глазами по сторонам: куда бы втиснуться, чтоб не торчать на виду.

Когда, прижимаясь друг к другу, не считаясь с различием вере и с размахом торговых дел, каждый каждым спешил заслониться, во дворе показался новый глава города Султании, ибо другие властители еще не были назначены на место казненных.

Маленький ростом, упрятанный во множество халатов, надетых один на другой, накрытый огромной шелковой чалмой, он вышел, резво стуча подкованными каблуками грубых сапог, и объявил:

— Люди! Великий своими милостями, благочестивый, великодушный, отягощенный заботами о народе, премудрый Повелитель Мира созвал вас.

Созванные это уже знали, но по голосу, по походке, по глазам главы города спешили разгадать, в чем их вина, каковы их проступки, чтобы понять, к какому наказанию готовиться.

— Люди! Что скажете вы Мечу Справедливости, когда он спросит, почему затихли базары, почему тайком бегут купцы из города, что замышляют? Разве в иных городах и странах торговля безопаснее, чем у нас? Разве там базары богаче и краше наших? А? У нас хуже, чем в других странах? Или товарам вашим там безопасней, или имуществу вашему спокойнее?

Вот в чем их вина! Они пытались бежать от Тимура, а всякий знал: у Тимура не было пощады беглецам.

— Люди! Он вас спросит. Обдумайте, что скажете? Как ответите? Чего не хватает вам?

Глава города постоял, почесывая щеку. Никто из купцов его не знал, это был, если судить по одежде, бухарец. Значит, в Султании нет людей, достойных доверия, если даже главой города повелитель поставил приезжего человека. Это тоже не предвещало ничего хорошего.

А Тимур уже смотрел на купцов.

Он видел через узкое, как лезвие кинжала, окно весь этот двор, христиан, опоясанных черными кушаками, арабов, сверкавших голубыми белками недобрых глаз, евреев, торопливо улыбающихся, едва встречали взгляд главы Султании, и поникавших, мрачневших, едва глава отворачивался.

«Разнесут худую славу, других купцов отпугнут. А нам надо сбывать побольше товаров, нам надо побольше купцов: чем больше купцов, тем богаче подати. Чем полнее казна, тем сильнее войско!» — думал Тимур, разглядывая богачей, заполнивших двор.

И когда повелитель вышел на галерею, купцы упали на колени, хотя двор был сыр и с утра не метен.

И снова глава города сказал:

— Говорите! Меч Справедливости внимает вам!

Долго никто не решался заговорить: первому — первый удар, — так давно было заведено Тимуром.

Но говорить было надо, и после новых приглашений главы Султании купцы заговорили. Но не султанские, а дальние, сирийские:

— Справедливейший государь! Мы ехали сюда торговать, и мы здесь. В чем вина наша?

Тимур не ответил, а глава Султании снова пригласил:

— Говорите, говорите!

Но как сказать, что грузились, вьючились, спешили прочь отсюда из-за недоверия к справедливости

самого Меча Справедливости?

Тогда, воздев руки как на молитве, обратился к Тимур старейший из султанских купцов, старшина шелковиков, иранец Яхья Гиляни:

— Превеликий повелитель! От всевидящего ока вашего не убереглись наши обидчики, взимавшие с нас незаконные поборы и подати. Нам ли не ликовать и не славить справедливость меча вашего, к подножию вашему прибегая со словом благодарения и покорности.

«Прибегая! — подумал Тимур. — Я видел, как вы тащились сюда, лицемеры!»

— А Гиляни продолжал:

— Не под покровом ли Щита Милосердия мы спокойны за достатки и за скарб свой? Но зима надвинулась, и пришло время переложить товары на базарах — летние убрать, зимние привезти, — тем и занялись мы нынче...

«Хитер! — думал Тимур. — Отговорился!»

Уже и другие купцы осмелели и покачивали головами в подтверждение слов старейшего из них. Никто не ждал пощады, надеялись на снисхождение.

«Сколько золота набито в этом мешке? — думал Тимур, глядя на толстого, в распахнувшемся халате старика Гиляни. — И, видно, все спрятал, оттого и смел! Да я бы нашел, я бы нашел!»

Остальные после слов Гиляни лишь кланялись и жалко улыбались.

Тимур прохромал по самому краю галереи, от столба до столба, глядя себе под ноги.

Даже дыхание замерло у десятков этих лукавейших людей города: он решает, какой казнью наказать их за своеволие. Не надо было закрывать базар, надо было добро закопать потихоньку, без всяких прощаний с семействами, пускай бы жены пропадали пропадом, — сохранить бы товары, а жены найдутся! Надо было отмалчиваться, а не шептаться. Теперь попробуй—ка вспомнить, с кем за это время шептался, кому со страху доверился? Вот она жизнь, — долго ее бережешь, да в миг теряешь! И с кем вздумали хитрить, от кого прятаться! Спрячешься ли от смерти, перехитришь ли зверя?

И вот он повернул к ним твердое, неотвратимое лицо и кивнул:

— Торговать надо!

Они, застыв, смотрели, еще не уразумев его слов, а он уже пошел с галереи, больше не глядя на них, и скрылся за дверью.

Они переглядывались друг с другом восхищенными, сверкающими глазами, теснясь в воротах, отталкивая с дороги воинов.

Перед ними раскрывалась площадь, за ней высились каменные купола над базарными перекрестками, камышовые плетенки над торговыми улицами, ворота караван—сараяв...

— О милостивейший, о справедливейший из повелителей, о Повелитель Мира, о Щит Добродетелей, о Меч Ислама!

Им и в голову не приходило, что он стоял за узким окном и следил за их восхищением, за их радостью, смотрел, как снова поднимались их надменные головы, как становилась степенной поступь богатых, как снова арабы пренебрежительно отворачивались от евреев, как христианские купцы оправляли свои камзолы, чтоб не столь заметны были черные кушаки...

— Торговать! Надо торговать! — кричали они встречным торговцам. — Он не даст в обиду! О Колчан Милостей!

«Кинулись! — думал Тимур. — Как стадо на водопой. Овец чем позже стричь, тем шерсть длиннее...

И, закинув за спину руку, пошел на женскую половину дворца.

Его, по обычаю, встретила великая госпожа.

Он, ответив на ее приветствия, остановился:

— Ну?

— Все тут в запустении, не велеть ли разложить все, как было?..

— Нет, вели складываться. Зимовать тут нехорошо. Пускай тут проветрятся. Перезимуем в Азербайджане, в Карабахе. Там потеплей. Я туда послал, там готовятся. Поезжайте, пока погода стоит. Не то задождит, наплачетесь. Устройтесь, — меня ждите.

И он пошел дальше, к тому дворику с фонтаном, где велел оставить для себя двух красоток из невольниц своего сына.

Шестнадцатая глава

ЗИМА

Снег пышными хлопьями опускался на Самарканд с вечера и всю ночь. Но земля была еще теплой, и, сколько ни падало снегу, он тотчас истаивал и впитывался в землю, а на кленах, не успевших сбросить всех листьев, снег оседал плотно и, отяготив листок, соскальзывал вниз и лежал на почерневшей земле, долго сохраняя форму кленовых листьев, словно тут прошла какая-то сказочная птица, оставляя светлые следы своих лап.

Но и любуясь этим ранним снегом Мухаммед-Султан не мог отделаться от беспокойства: если зима установится ранняя, со снегом, с холодами, придется все отложить, а дедушка не захочет слушать оправданий. Что для дедушки мокрые, вязкие дороги; он не слыхивал от своих воинов жалоб ни на зной, ни на стужу: кто посмел бы ворчать при нем! Прощаясь, он дал Мухаммед-Султану приказ, и надо было повиноваться. Обдумывая этот приказ, как это всегда случалось, когда дедушка ему поручал смелые дела, Мухаммед-Султан и сам увлекся. Но идти предстояло к северу, на Ашпару, там к своему войску прибавить ашпаринских воинов и ударить по монголам, чтоб они не думали, что, уходя в далекий поход, Тимур оставил свой край беззащитным; чтоб знали, что войск у Тимура достанет и для далекого похода, и для северных недругов, и для монголов на востоке, — это раз. Пусть они думают, что все войска ушли в поход и что можно предаваться беспечным радостям. Тут-то и надо нападать, когда им и в голову не придет ждать нападения, — это два. Войска привыкли к боевым удачам старого повелителя, пойдут за ним хоть на стену, хоть в море, — верят ему. Пора знать войску, что молодой правитель Самарканда, наследник всей державы, не по одному родству, но и по воинской доблести достоин наследовать деду. Чтоб войска привыкли к Мухаммед-Султану. Дедушка стал стар, пора! — это три.

Но как двинуться, когда снег валит даже здесь, в Самарканде? Что же будет в Джизаке, в Шаше, в Отрарс, на Ашпаре? А по монгольским степям теперь небось буйствуют такие бураны, что и врага из-за снега не разглядишь! Холода отпустят, размокнет земля; что это за конница, коли глина по самые мослаки! Что с обозом, — арбы увязнут по ступицу! Похороны, а не поход!

Невесело смотрел Мухаммед-Султан, выйдя до света в сад, на медленно-медленно ниспадающий воздушный снег.

Ноги озябли от сырости, и, до тесноты запахнув халат, пригнувшись, он вернулся под сень галереи. Фонарь из промасленной бумаги горел тускло, залепленный снегом, но летящий снег в этом месте казался розовым. А за снежными хлопьями — сырость, холод, мрак.

Он сел у жаровни, покрытой толстым одеялом, протянул к жару ноги и подумал о Тимуре:

«У дедушки там небось тепло — солнце, розы... Он зимой в поход не пойдет, будет разведывать о Баязете, высматривать дороги, выслушивать provedчиков... А мне ждать не велено, мне надо застать врага врасплох, чем дальше Тимур, тем меньше опасаются; чем хуже дороги, тем меньше ждуют; чем неприятней погода, тем уютнее спят, — тут и надо...»

Он кликнул десятника из своей стражи:

— Как рассветет, позовите ко мне Худайдаду, визиря.

И, укрывшись, попробовал поспать, но, едва голова начинала туманиться, приходила то одна мысль, то другая. Обдумывая, начинал снова задремывать, и снова являлись беспокойные мысли, которые следовало додумать до утра.

Так пролежал до рассвета. Лишь когда сказали, что Худайдада прибыл и ждет, встал.

Перед седым старым соратником Тимура Мухаммед–Султан не захотел выдавать своих сомнений и колебаний.

Надев отличный халат, приосанившись, Мухаммед–Султан встретил старика, приставленного к нему дедом.

А визирь даже не потрудился приодеться, — явился в рыжем шерстяном чекмене, в лисьей шапке, а не в чалме.

«В чем на конюшню ходит, в том и ко мне припожаловал, — заметил царевич. — Попробовал бы так к дедушке...»

Но и старик свое подумал: «Великий государь с утра не наряжается: и без того грозен. А эти никак не уразумеют порядка!»

Мухаммед–Султан пренебрежительно кивнул на двор:

— Вдруг зима явилась!

— Да ведь нам–то дорога к северу!

— О том я и говорю...

— Не все ли равно, где с ней встретиться, у себя ли дома, в монгольской ли степи!

— Легче по сухой дороге, хотя б до Шаша...

Но, сказав это, Мухаммед–Султан усомнился, не выдал ли он своей тревоги этой оговоркой, и добавил:

— Я звал вас, чтобы сказать: дороги размокнут, идти придется дольше, не выйти ли раньше?

Опять сказалось не так, как хотелось, — вышло, что правитель спрашивает у визиря: «Не выйти ли?» А надо было просто приказать: «Готовьтесь выйти раньше».

— Мы готовы. Хоть сейчас пойдем. Обозы пошлем вперед, чтоб нас не держали. Решим выйти через неделю, обозы вышлем сегодня.

— Нет, через неделю еще рано. Пускай там покрепче уснут, успокоятся.

— Истинно, мирза! Подождем.

«Словно я испрашивал его согласия!» — сердился Мухаммед–Султан. И опять спросил:

— Сколько вы предполагаете оставить здесь?

— Войск–то? Тысяч десять оставим. Двадцать с собой поведем, тридцать с Ашпары снимем. Пятидесяти нам вполне хватит. Хватит, мирза!

— Десять? Что им здесь делать?

Как ни избегал Мухаммед–Султан спрашивать, выходило, что снова и снова он спрашивает старика. Чем старательнее избегал вопросов, тем больше их у него выходило.

— А Орда? Едигей! О нем нехорошие слухи. Лукав, поворотлив. Пока–то он не сунется, занят: добычу делит. А все ж...

— Добычу?

— На Ворскле на реке он разгромил Литву. И Тохтамыш с седла свалил. Весь обоз у литовского хана взял. Большой обоз, богатейшая добыча. Богатейшая!

«Завистливый старик!» — подумал правитель о своем визире и возразил:

— Я слышал, русские Орду побили на Ворскле. Потеряли одного из князей, как его... Полоцкого? Но разбили Едигея.

— Это купец такую весть привез. Бестолков он, этот купец. Проведчик должен верить не тому, что говорят, а тому, что делают. Они его одурили, он поскакал сюда. А на то одурили, что Едигей лукав, опасался, как бы Великий Повелитель на Орду не ударил, не отбил бы литовской добычи, пока Едигей обмывался после Ворсклы. А простак поверил, поскакал сюда, выказывать, сколь ретив.

— Однако ж князь у русов убит?..

— И не один! Да не у русов. Он литвин, этот князь, Витовту брат либо дядя. Все Витовтово войско побито. А наш простак не дождался, не разобрался!.. И отсюда поехал без разума: взял у правителя товар, а охрану в Ургенче оставил, простым ордынским купцом прикинулся; как купца его и прирезали. Хорошо, хоть товар цел, назад везут.

— Откуда вы знаете?

— Да ведь, мирза!.. У меня тоже есть свои проведенчики, — я визирь самаркандского правителя.

Худайдада явно посмеивался над молодым царевичем. Разве Мухаммед–Султан не знает, кто у него визирь, или не знает, что у визиря должны быть проведенчики? Должны быть, и много!

«Вот поспешил с вопросом — и опять осрамился!» — попрекал себя Мухаммед–Султан. И сказал:

— Так вот что... В поход идти рано. Переждем?

— Не в них сила. Об Едигее мы узнаем прежде, чем он досюда дойдет. Эти до нас продержатся, а мы поспеем им на выручку. Десяти тысяч против Едигея все равно мало. На время, пока мы проходим, хватит. Если б всю землю мы на десять тысяч покинули, Едигей не прозевал бы! Что бы мы великому повелителю сказали? Не бойтесь, мы за ним присматриваем. Не поспеет, не сядет на наших ковриках!

И опять выходило, что Мухаммед–Султан все это спрашивал у визиря: как быть, как поступить?

Отпустив старика, он, сердясь, пошел в гарем, где уже шалили и взвизгивали детишки, проносясь из комнаты в комнату, а жены ждали его, не приступая к завтраку.

— Снег видели? — спросил он у девочек.

— Я их едва выволок оттуда, — снисходительно ответил за них Мухаммед–Джахангир. — Сам по колено вымок, пока их домой загнал: вздумали в снежки играть.

— Ты у меня благоразумен! — не без насмешки отметил отец.

— Самого едва загнали, когда намок по колена! — усмехнулась мать.

— Он нас не загонял. Он нас толкал в снег. А мы в одних платьях, едва отвязались! — сердито донесла маленькая раскрасневшаяся Угэ–бика, на щеках которой сверкала крепкая, как на яблочке, кожица. Без белил и румян, которыми до возвращения великой госпожи из похода девочек перестали украшать, пятилетняя Угэ–бика казалась взрослее.

Сев к завтраку, отец притянул дочку к себе:

— Ну? Чем тебя угостить?

— Хурмой!

Он дал ей самый темный из редких привозных китайских плодов.

— Не вертись здесь! — покосилась на нее мать: хурму брали из Синего Дворца, где китаец–садовник

один знал тайну, как хранить хурму между прутьями камыша на морозе, чтобы после холодов плоды становились нежными, сладкими, и старшая жена Мухаммед–Султана бережливо сама распределяла их среди семьи.

Угэ–бика обиделась, но отец украдкой потрепал ее по спинке.

Худайдада, сойдя с галереи, встретил Аргун–шаха. Этот, глядя из–под пеноподобной чалмы тревожными глазами, спросил:

— Как он?

— А что?

— Не грозен?

— Царевич?.. — удивился визирь. — А отчего бы?

— Всякое бывает!..

— Да нет, незаметно. А бывает и грозен?

— О!

— Что–то не примечал.

— В поход не готовится?

— Пока не слышно: трубы не трубят.

Аргун–шах опасливо ощупал чалму, халаты — все ли ладно? — и остался у двери, чутко вслушиваясь, не кликнут ли его.

А Худайдада вперевалочку, побряхтывая, ушел по хлипкому снегу.

* * *

Отяжелевшие, студёные волны Каспия бились в корму, преследуя корабль, а когда случалось волне перехлестнуть через борт, она рассыпалась по палубе ледяным крошевом. Канаты обмерзли, и теперь под солнцем сверкали, как стеклянные.

Астраханский берег был уже недалек, белый, застеленный снегом, под синим–синим морозным небом.

Пушок смотрел туда, где тянулись сараи, заметенные снегом, толпились лохматые люди в низине у самой морской воды, на пригорке — лошади, а за пригорком, вдали, в синеву неба поднимались тоненькие, как ниточки, белые струйки дымов, — там был город.

Глядя на берег, Пушок приходил в себя. Назад, на море, боялся оглядываться, смятым духом подозревая, что, оглянься он назад, не будет удач впереди, а возвращаться назад, в море, не стало бы ни сил, ни воли. Забыть бы скорей, как весь опустошенный, хуже чем в лихорадке, валялся он то на палубе, то между своих вьюков за эти бесчисленные дни плавания, пока ревели вокруг морские дьяволы, цепляясь за снасти липкими пальцами, норовя утянуть в пучину людей, поклажу, весь утлый кораблик, дерзнувший в эту позднюю пору на плавание. Укрыться бы, отстояться на Яике, в ордынском Сарайчуке, но дела тянули корабельщика в Хаджи–Тархан, в Астрахань, ради этого он и поплыл на своем ветхом бусе, а отстать от корабля и зимовать в Сарайчуке Геворк Пушок не мог: все свои деньги, опасаясь степных разбойников, оставил он в Бухаре у менялы–персиянина, а взамен взял лишь скрипучий лоскуток кожи с непонятными знаками на ней, — астраханский меняла должен подтвердить эту кожицу, чтоб третий персиянин в далеком Булгаре принял ее за Пушковы деньги. Как бы зимовалось Пушку на Яике, когда деньги его в цепких руках менял; разве мог он там зимовать, не зная, пробудет ли меняла в Астрахани до весны, а

может, вздумает да и отправится в свой далекий город Исфahan! Тогда кому сунешь свой лоскуток, кто закрепит его своей тамгой; не плыть же с пустыми руками назад по зеленому, глазастому морю! И Пушок, поглядев торговый Сарайчук, снова поплыл.

Теперь близился желанный берег. Волны гнали корабль к пристани, суетились корабельщики, перекрикивались. По берегу уже бежали люди, вслед за пристающим кораблем.

Бежали татары в лисьих и заячьих треухах, в опоясанных кушаками широченных шубах, повсюду отороченных длинными прядями овчин. Многие сжимали в руках плетки, короткие нагайки. Что-то кричали, скаля зубы, но вода, смешанная со снегом, волжская голубая вода, шумела между бортом и берегом, и татарских слов нельзя было разобрать. Глядя на клокастые шапки, на крепкие нагайки, на множество заседланных лошадей на пригорке, Пушок забеспокоился: приплыли беззащитными; велика ли надежда на два десятка одуревших от спанья бездельников, вооруженных ржавыми ножами и мечами, не точенными со времен Чингиз-хана; что могли они поделать с этой шумной ордой!

А татары уже были близко, и на каком-то изгибе пути берег оказался над кормой; перед самым лицом у Пушка разбрызгивали снег на бегу тяжелые, подкованные ордынские сапоги; сверху смотрели юркими глазами на поклажу, сложенную на палубе, на людей, — не могли не видеть: поклажи много, охраны мало!

И вот кинули причал. Поволокли через палубу тяжелые сходни. А татары уже столпились у самого борта, заслонив весь свет, расталкивая один другого, просовывали вперед раскрасневшиеся на морозе и вспотевшие лица, сверкали крепкими зубами, глядели запрятыми в щели веселыми, ликующими глазами, наперебой крича:

— Давай, давай!

— Эй, купец, где товар? Берем! Берем!

«Ох и охти мне!» — думал Пушок, нашаривая под чекменем рукоять ятагана, сам понимая, что ничего не сделать тут одному ятагану против этой тьмы здоровенных, широкоскулых татар.

А они уже начали прыгать, взмахивая нагайками, с берега на палубу, уже бежали к вьюкам, ко всей поклаже и, отталкивая друг друга, давая один другому подножку, спешили наложить на купеческое добро свои неразгибающиеся, озябшие ладони.

— Мой! Мой! — кричали они друг другу, не уступая вьюков, будто для них и тащились сюда эти вьюки через степи и пустыни, через города и моря.

Пушок не мог пробиться через такую свалку к своим товарам, его оттесняли, отталкивали. Поскользнувшись, он было сполз за борт, но ухватился за чью-то шубу и уцелел.

Лишь когда бывалый корабельщик, сверкнув мечом, вскочил на вьюки, татары присмирели, и он велел убираться им отсюда. Но самые упорные, крепко державшиеся за вьюки и за канаты, остались.

Двое татар вцепились в обе руки Пушка, — один высокий, с черными круглыми глазами, в суконной шубе на красной пышной лисе, а другой с хилыми волосками остренькой бороды, широкоплечий, на кривых ногах и одетый бедно. Они заглядывали Пушку в глаза и негромко, перебивая друг друга, быстро, настойчиво хлопая его по плечам и рукавам, твердили:

— Эй, купец! Чего привез?

— Чем торгуешь, а?

— Какой товар? Деньги даем!

— Деньги тут, деньги тут!

— Да вот они! Какой товар?

«Деньги! — сразу отлегло от сердца. — Разбойники о деньгах не заговорят». Пушок отстранился от них:

— Погодите, купцы! Дайте отдышаться, милые.

— Ты только говори: какой товар?

— Говори, почем?

— Мы сразу берем, — вон наши люди. Другого купца не подпустят, не бойся! Вон наши люди!

— Нет, нет, — отступал Пушок. — Какие люди? Зачем?

— Никого не пустят! Не бойся, сами возьмем. Товар наш будет!

— Нет, нет! — отступал Пушок. И вдруг увидел родные высокие барашковые колпаки. Он закричал им, сам не помня на каком языке: — Армяне!

— Ну, давай, давай! — теребили и терзали его татарские купцы, оттаскивая от еще далеких армян. — Зачем армяне? У нас свои деньги. Хорошо дадим!

Но Пушок уже рвался навстречу соотечественникам.

Нехотя, ворча, ордынские купцы отступились, хотя за вьюки Пушка еще держались какие-то татары, чего-то ожидая от Пушка.

Едва обменялись первыми взглядами, прибывшие армяне спросили:

— Откуда товар?

— Цена, цена?

— Самарканд? Ого! Я беру!

— Нет, нет, почтеннейшие! — отмахивался Пушок. — От разбойников уцелел, от татар уцелел, — не могу! Не свой товар.

— А? Не свой?..

— А где хозяин? — спрашивал торопливо, но уже потеряв к Пушку расположение, кругленький, в засаленном полушубке краснобородый купец в самой высокой шапке.

— Хозяина тут нет. Товар дальше везу.

— А где ждет хозяин?

— Там, дальше, — махнул рукой Пушок к синему небу.

— В Орде?

— А если в Орде?

— Зря. Там такие дела!..

— Что там?

— А что бывает? Режут!

— Ого! — насторожился Пушок. — Кто?

— А зачем нас окликнули?

— Да тут эти ордынцы! — жаловался Пушок.

— Эти что, — вот впереди наглядитесь!

— Куда мне сгружаться?

— На берег, на берег! — с досадой закричала из-под высочайшей шапки красная борода.

— Это вон в те сараи?

— Смотря какой груз. Можно и сразу в город.

— А далеко?

— Довезут к вечеру. Волгой бы плыть, да она становится. По ней не пробиться. Вон тут татар сколько, дотянут.

— А не опасно?

— Кругом народу много, ничего. Поспевайте до вечера.

И армяне кинулись к другим купцам, приплывшим с Пушком.

Пушок, со страхом поглядывая на облепивших его вьюки татар, понял наконец, что все это люди смиренные, ждут только, чтоб, перехватив Пушковы товары у своих сородичей, самим довести их до города, на своих лошадях.

Начали выгрузку.

Пушок спрыгнул на берег и сощурился, удивляясь, каким ослепительным, голубым огнем полыхает снег и скрипит под ногой, как новая кожа.

Лошади, завьюченные мешками Пушка, пошли бодро. По обе стороны, кое-где проваливаясь в снег, поехали с покриками многие всадники, ободряя вьючных лошадей.

Пушок едва поспевал за своим товаром, тщетно принаравливаясь к деревянному узкому седлу, к острым ребрам степного коня.

С несмолкаемым гомоном проследовали они до городских ворот, и у ордынцев, стороживших ворота, завязался спор с караваном Пушка.

Армянину показалось, что вся его рать намерена штурмом взять город, а стражи намерены обороняться до последнего воина. Но один из провожатых объяснил, что стражи требуют корабельных поборов и без того не хотят пускать Пушка в ворота.

Холод уже пощипывал Пушка, к вечеру мороз крепчал, небо меркло, за стенами города по небу протянулись багряные полосы заката, и оставаться на ночь среди снегов Пушок не хотел. Он стал покладист и сам приступил было к стражам, но татары, везшие Пушкову кладь, спешили рассчитаться с Пушком и так свирепо кричали на стражей, что те согласились за поборами явиться к Пушку на постоянный двор.

Смеркалось, когда въехали в ворота армянского караван-сарая. Двор, несмотря на поздний вечер, был весь озарен несколькими десятками жаровен и очагов, где трещало масло на сковородах и густо пахло жареной рыбой. Из конца в конец перекликались постояльцы. Пушку слышались самые крайние наречия армянского языка — иранские, сирийские, византийские; многие говорили между собой по-фарсидски, но и в эту легкую речь вносили властный голос своего народа.

Голос, показавшийся Пушку знакомым, кричал:

— Отрежь мне от хвоста! Слышишь?

— Сам знаю, где ты любишь.

— Иначе не надо. Не возьму!

— Бери, бери!

Пламя очагов, пылающих на верхней галерее, заслонялось торопливыми, говорливыми людьми. По всему двору переплетались, мелькали тени тех людей, то вытягивались через весь двор, то достигали крыш, то мгновенно исчезали.

Но вглядываться во все это не было времени.

Появился сутуловатый привратник, протянув к Пушку длинный, очень белый нос и отводя куда-то в сторону маленькие, как крапинки, глаза. Татары спрашивали, куда складывать товар, а привратник глухим, тихим голосом клялся, что склады все заняты кладями давних постояльцев, лишь один склад в углу, хотя и откуплен, пока пустует. Если дать хозяину отступного, он разрешит подержать там Пушковы мешки.

Привратник понес к этому складу факел, но, едва открыл тяжелую, визгливую дверь, оттуда, пахнуло таким сырым холодом и гнилью, что пламя заметалось и пришлось подождать, вглядываясь во тьму этой таинственной пещеры, пока снова разгорится огонь.

Ржавые нити паутины свисали прядями с зеленовато-черного потолка; камни стен, прохваченные морозом, отблескивали то кровавыми, то зелеными звездами. Здесь, на полу, заваленном обрывками рогож, обломками корзин, в этом запустении, предстояло Пушку хранить все свои сокровища, весь залог своего грядущего благоденствия.

Здесь, в амбаре, было холодней, чем во дворе, холод пробирал Пушка, но он, пренебрегая ворчаньем привратника, не вникая в крики и угрозы татар, спешивших совьючить кладь со своих лошадей, сначала велел вымести и выбросить весь мусор с пола, прежде чем дозволил вносить сюда заветные мешки.

Когда привратник запер склад на замок и подал ключ Пушку, Пушок поверх этого замка повесил еще и свой, купленный в Самарканде у русского мастера.

Только когда все было заперто, замки и пробои проверены, а татары ушли со двора, Пушок потребовал себе келью.

Но и келий не оказалось; их было немало — по десять с каждой стороны большого двора, да по шесть с каждой стороны заднего двора, да четыре в воротах, но все заняты.

— Правда, есть одна... — задумчиво припоминая, замялся привратник, да в ней живут. Вот если заплатить отступного человеку, чтоб он из нее перебрался...

— А куда он переберется?

— Я его к себе пущу.

— А где эта келья?

— Наверху. Как раз напротив вашего амбара. Сверху можно поглядывать на свои замки.

— А сколько надо отступного?

— Я пойду узнаю.

«Не на морозе же спать, — думал Пушок. — И все у них занято! А ведь в городе, я помню, были и еще армянские караван-сарай!»

— Идите! — закричал сверху привратник.

— Где же он? — удивился Пушок, входя в узкую, промерзшую, явно давным-давно необитаемую каморку.

— Придет! — уверенно сказал привратник.

— Здесь холодней, чем в амбаре!

— Согреем!

— А где ж его вещи?

— Он, когда уходит, оставляет у меня.

— А здесь крадут, что ли?

— У нас? Избави бог! Никогда не было. Давайте для него денег, и я пойду поищу дров.

Когда он ушел, Пушок вышел на галерею, где горели, догорали и разгорались очаги постояльцев.

— Рыба? — спросил Пушок у одного из армян, занятых своей сковородкой.

— А что же? Рыба! Сом!

Пушок тотчас узнал того краснобородого в высоченном колпаке. Краснобородый был увлечен сковородой:

— Сом!

— А я, едва прибыл, услышал ваш голос.

— И что?

— Ничего, просто узнал.

— Еще бы!

В это время подошел очень толстый и широкоплечий человек с костлявым лицом, с маленькой головой и спросил у красной бороды:

— Ну?

— Мог бы и получше выбрать.

— Просили от хвоста, я дал от хвоста.

— Кто из нас не знает, — всякая рыба жирнее к голове, только сом — к хвосту. Я хотел пожирней: ты мне дал хвост, правильно. Но какой? А?

— Однако же вы взяли, и я хочу получить...

— Взял! А что я буду есть? Если бы я не взял, что бы я ел?

— Я хочу получить.

— Завтра рассчитаемся: видишь, я жарю!

Привратник вернулся, неся охапку какого-то хлама:

— Сейчас затопим. Будет, как в раю.

— В аду жарче. Так? Так. С такого мороза я хотел бы сперва пройти через ад.

— Сделаем как надо. Но где, вы думаете, я добыл дрова? Едва выпросил. Пообещал, что вы хорошо заплатите.

— Опять?

— Заплатить непременно надо. Это Хаджи-Тархан! Степь. Откуда тут дрова? А я добыл!

— Это разве дрова?

— По нашим местам!

Уже давно запахи рыбы и лука разжигали голод Пушка, но очаг, примазанный к стене, отсырев, никак не разгорался. Дым не шел в дымоход, расплзался по комнате.

Пушок достал из сумки медный бухарский светильник и велел привратнику налить туда масла.

— Откуда у меня? — удивился привратник. — Или выпросить у кого-нибудь? Так ведь никто не даст, если на этом не заработает: кому охота приносить масло из города, а потом отдавать себе в убыток?

— Ты мошенник! — уверенно сказал Пушок. — Я найду сам.

— Сперва рассчитайтесь за дрова.

Краснобородый обитатель соседней кельи охотно налил Пушку из глиняного кувшина, почернелого от масла.

— Сколько вам? — спросил Пушок.

— За это? Берите, берите, — у нас это не товар.

— А кто жил до меня в этой келье?

— Тут? Рядом? Вы взяли ее?

— А что?

— Зачем? Нищий вы, что ли? У нас тут сколько хотите, выбирайте, — есть хорошие кельи. А эта в углу, ее не прогреешь.

— На первую ночь сойдет.

— Если спать в шубе, на шубе да тремя шубами покрыться!

— Как нехорошо!

— Поможем!

Он кликнул привратника:

— Ты деньги брал?

Отворотившись, привратник сказал примиряюще:

— Ну, ну...

— Я их вытрясу! Хозяину не скажу, а сам!

Он надменно вскинул красную бороду и, наслаждаясь растерянностью привратника, покорно поспешившего за какими-то ключами, пояснил Пушку:

— Здесь с ними только так! Попробуйте-ка у меня вина! Вино сюда возят с берегов Куры! Я вам уступлю два бочонка. Недорого!

На это Пушок отозвался осмотрительно:

— Потолкуем.

— Недорого!..

Но, держа, как скорпиона, отпертый замок, привратник уже звал Пушка за собой.

И вскоре его переместили в другую келью, чистую, обжитую, где сразу разгорелись хорошие дрова, а привратник только охал и клялся, что без хозяина он ничем не мог распорядиться и делал все, что мог сделать без хозяина, а хозяин ночует дома и явится только утром, потому что совсем недавно женат.

Утром Пушок отправился на базар.

Торговые ряды в городе оказались невелики и неприглядны. Купцы сидели в огромных шубах, и сразу трудно было понять, что за купцы, откуда, на каком языке с ними говорить. Но опытным глазом Пушок вскоре приметил, что купец познается по товару: персы сидели, выложив не весь товар, а только несколько кусков гиянского шелка или несколько щепоток краски, чтоб покупатели из других стран знали, где брать эти иранские товары; бухарцы держали перед собой тоже немногие щепотки или ломтики селитры, серебряной руды, какое-нибудь одно из медных изделий, пестрые ленты кушаков. Дальние персы с Ормузда предлагали пряности: перец, мускус, серую амбру. Ордынцы вывесили над головой шкурки сибирских зверей, китайские товары. Купцы из Ургенча — хлопчатые ткани и покрикивали, славя свои товары:

— Камка есть! Чалдар; бес, — бери, бери!

— А вот мата! Ах, какой зенджень! Ха, для Москвы гордится! Эй!

Пушок обернулся.

Пятеро русобородых, крепких людей шли по утреннему морозу легко, как по солнцепеку. Высокие, запрокинутые назад шапки, распахнутые шубы на белках либо на красных лисах, суконные поддевки с красными, как и у армян, кушаками, — все это таким спокойным, крепким показалось Пушку, что он посторонился, хотя и не стоял на их пути, и приветливо заулыбался им. Он уже бывал в Москве и знал московское обхождение.

— Чего привез? — спросил один из них у Пушка.

«Откуда он узнал, что я недавно приехал?» — удивился Пушок.

— Почти ничего.

— Дальше, что ли, едешь?

— Дальше.

— То-то я вижу: товара не кажешь, а видать, не перекупщик. Вчера тебя тут не было. Понимай, вчера с кораблем прибыл?

— Вчера.

— Из Джургеня, что ль?

— Не из Ургенча, из Самарканда.

— Там не бывал. Слышать слышал: торговый городок. А собрался далеко ль?

— Воля божья, — может, и до Москвы.

— Ну что ж, отдыхай. Потеплеет, — может, с нами тронешься. Нынче дорога нехорошая.

— А что?

— Хан дурит. Едигей.

— Вы из Москвы?

— Двое с нами москвитян, один новгородец, а мы тверичи. Заходи к нам на постой; спросишь русичей. Может случиться, товаром сменяемся.

— А какого товара вам?..

— Всякий берем, кто — что; из Самарканда прибыл, — небось гурмыжское зерно продаешь?

— Жемчуг? Мало, сам Москве везу.

— Да как с нами едешь, нам друг с другом торгу нет, ну приходи так, погостишь, о своем Чагатае поведаешь.

Тверич, так же не торопясь, пошел к своим русичам, остановившимся около иранца с красками.

— Дорожится тезик! — пожаловался ему москвич.

— А дорожится, не бери. Зима впереди, поспеем. Чем мороз крепче, тем съезду меньше, цена—то и снизится.

— А вдруг наши санным путем да как пожалуют! Набьют цену.

— Не бойсь, — дорожка—то заколодела, пока Едигей не обломан.

— Он может долго проломаться, а торговля не ждет!..

Пушок пошел дальше, приглядываясь и прицениваясь. Днем его потревожили: базарный староста, проведая от стражи о его прибытии, наведаясь взыскать корабельный налог и товарную пошлину.

— Я не корабельщик, налог не мне платить! — заспорил Пушок.

— Мне слышно: вы с буса сошли с превеликим караваном; вас, видно, и вез тот бус. Платите, а не то...

Пушок не был расточителен и уперся. Уперся он и в уплате пошлины: староста требовал десятую часть товара, как с христианина, а Пушок считал себя лишь приказчиком мусульманина, мусульмане же платят две сотых с половиной, да и то лишь в том городе, где открывают торг.

Любопытные постояльцы собрались на их спор со всего караван—сарая, хотя и сочувствуя Пушку, но ради скуки подмигивая и старосте, чтоб сразу не уступал.

Больше всего Пушок опасался, что пристав потребует осмотра всех мешков, а мешки из—за холода еще не были разобраны, и перед постояльцами могли открыться такие сокровища, что потом и двух замков на амбаре не хватит.

Накричавшись, староста потянул Пушка на разбор к хану.

Сопутствуемые многими любознательными армянами, среди которых оказалось двое ветхих стариков, возглавляемые краснобородым, все пошли к хану.

Все уверяли Пушка, что постоят за него грудью, что хан их знает, что они видывали и не таких ханов за свою деловую жизнь.

После самаркандских дворцов дом хана Хаджи—Тарханского показался Пушку глиняной закутой. Но ковры в сенях были хороши.

Провожавшие Пушка соотечественники не решились ступить на ковер и столпились у двери, чтобы слушать ханский суд хотя и в отдалении, но своими ушами. Пушку пришлось перейти через сени и вступить в комнату.

Хан сидел на широкой, накрытой ковром скамье, поджав под себя ноги. Рядом стоял его визирь в суконной шубе, на лисах, тот, который на корабле хватал Пушка за рукав. Ханом же оказался тот самый бедно одетый старик, что держал тогда Пушка за другой рукав.

Армяне в сенях напрягали слух, а Пушок поклонился и поднес хану белый отрез, годный для хорошей епанчи, и кусок зеленого самаркандского шелка.

Хан, пожевывая губами, не прикоснулся, как бы следовало по порядку, к Пушкову подношению и смотрел рассеянно.

Тогда Пушок вынул из—за пазухи предусмотрительно припрятанный лоскут индийского шелка,

дешевый, непрочный, из делийской добычи Тимура.

Хан потянулся вперед, чтоб лучше разглядеть редкий товар, важно откинулся и принял дары Пушка.

Выслушав купца, хан сказал:

— Корабельный налог корабельщик выплатит. Корабельщика ко мне приведут. А с товаров твоих взыщем по—нашему — одну десятую. Все осмотрим, все оценим, подсчитаем и справедливо взыщем.

— Несправедливо, премилостивый хан! Первое: я не открывал тут торгу, дальше поеду. Второе: товар хозяйский, а хозяин из всех мусульман самый истинный.

— Но—но! Перед богом все мусульмане равны. За эти слова...

Но Пушок, не дослушав хана, снова засунул руку за пазуху и вынул бронзовую пайцзу с выбитыми на ней тремя кругами Тимуровой тамги:

— Все ли равны, премудрый хан?

— Кто ж твой хозяин? — оторопел хан.

Пушок молча держал пайцзу перед глазами хана. Хан, пригнувшись, будто сжался:

— Он?

Пушок кивнул.

— Его товар?

Пушок кивнул.

Хан заулыбался, привстал, но его жесткие редкие усы встопорщились, и той ласковой улыбки, какую хан намеревался выразить, не вышло. Вслед за тем он спросил о здоровье Прибежища Обездоленных.

— Он у нас пять лет назад побывал. Могучий Меч Милосердия!

Хан умолчал о таком разорении Астрахани, какого этот город не переносил ни от одного меча, кроме Могучего Меча Милосердия, пять лет назад, когда вслед за Астраханью Тимур растоптал дотла и Новый Сарай.

О том, что Тимур далеко, хан знал. Но знал и о том, что Тимур ходит быстро и никто заранее не знает, куда он пойдет.

Хан пригласил Пушка покушать волжских стерлядей.

— Такой рыбы в Самарканде нет. А у нас она своя! Хорошо ли вам на постоялом дворе, не утесняют ли, не зябнете ли?

Пушок смелел, сетуя, что и зябнет, и товар свален почти что в погребе...

Армяне из сеней отпятились во двор и, пока Пушок еще беседовал с ханом, без обычных разговоров и без привычного оживления вернулись к себе в караван—сарай: этакого Пушка следовало опасаться.

Ранние морозы, частые метели, тревожные вести из Сарая, расположение хана, осторожные советы русских купцов — все это убедило Пушка зимовать в Астрахани.

Тут, толкаясь по базарам, прицениваясь, при случае кое—что перепродавая, он и зазимовал.

* * *

В Самарканде вслед за снегопадом прошли ливни. В ремесленных слободах крыши мазанок и стены отсырели, и однажды перед рассветом по многим улицам и переулкам с тяжким гулом обрушились стены дворов, а кое—где и мазанки.

Так часто, в дождливую пору, случается в Самарканде: держатся–держатся тяжелые глинобитные стены и вдруг, будто по сговору, повалятся в одно и то же утро по всей улице. Один купец из христиан говорил, будто сие есть следствие слабого, неприметного для людей землетрясения, но ему строго указали, что это промысел божий, и христианин согласился.

Дорога к мастерской Назара так размокла, что лошади увязали в ней, их ноги скользили и ползли в разные стороны, а пешеходы, если была надобность сюда идти, сняв туфли, босиком пробирались вдоль стен по холодной, густой глине.

Мастер работал, занятый отковкой частей к замкам. Это древнее русское ремесло он хорошо знал, но прежде, трудясь над кольчугами, замки делал редко. Теперь занялся этим, и Борис ему помогал.

Они ковали целый день какие–нибудь одни части, в другие дни — другие. Когда скапливался большой запас частей, Борис принимался сваривать или склепывать их, а Назар ковал одну за другой какую–нибудь новую часть. Так вышло, что еще не было в мастерской ни одного готового замка, но заготовок скопилось много, и недалек стал день, когда из мастерской выйдет целая гора отличного товара, которым еще в давние, киевские времена Русская земля славилась до берегов Адриатики и до варяжских земель. Теперь эту славу возьмет себе самаркандский базар, как немало уже иных ремесел, коими славились разные земли, ныне славили город Самарканд.

Столько искусных мастеров Тимур свез отовсюду сюда, что купцы стали привередливы, цены на изделия год от году падали, и тем, кто менее был искусен или не столь вынослив в труде, жить становилось год от году тяжелее.

Чем шире разрасталась слава самаркандских изделий, тем дешевле скупали их купцы у мастеров; чем славней становились самаркандские ремесла, тем труднее стало угодить купцам.

Вот и решил Назар изготовить такой товар, коего еще не умели здесь делать. Взамен длинных, как трубки, винтовых замков он задумал затейливые, с вынимающейся дужкой, трехгранные замки, что повиснут на дверях, как колокольчики.

Ольга, накрывшись с головы до пят плотным покрывалом, стояла в дверях, глядя на их работу.

Время от времени Борис кивал ей:

— Ну?

— Ха! — отвечала она, ободряя мужа.

«Эх, хорош русский язык, — думал Борис, — мало скажешь, а все понятно!»

И, сам для себя неожиданно, спросил у Назара:

— Когда ж домой–то, а? Дядя Назар!

— Домой–то? — Но, занятый делом, Назар долго не отвечал. Уже несколько частей отковал, а все не отвечал. Лишь прервав дело, чтоб разогнуться, ответил:

— Когда позовут, тогда самая пора–время будет.

— У нас там небось метель! Ели скрипят. Мороз небось жжется. Снег под ногами повизгивает. А метель отметет, небо вывездит, поутру — синь по небу. И тишина. Только синицы посвистывают да хвостами кивают, норовят какое–нибудь семечко из–под рук урвать. Вот, Ольгушка, наглядишься на красоту. А?

— Ха! — весело согласилась Ольга.

— В том–то и дело, — ответил ей Борис.

Но, слыша все это, Назар молчал. Постукивал молоток в его крепкой руке, точной выходила из-под молотка нужная часть, и удары его не стали реже, когда он слушал Бориса.

Удивило их, что по грязи пробираются к ним какие-то трое людей, отпахивая халаты, чтоб не мазаться о сырые стены. Купцы? Для купцов еще не было у них товара, да и когда будет готов, мастера решили этот товар выдержать, пока не найдут хорошего покупателя.

Добравшись до мастерской и тут же одной ногой сползая к дороге, первый из троих хрипло сказал:

— Наше уважение славному мастеру!

— Пожалуйте! — позвал Назар, узнавая сбитую набок бородку сарбадара, с которым за месяц до того гостил у Мусы.

Ольга, по скромности, тотчас ушла во двор, а Назар кивнул Борису:

— Сходи-ка к ней, пока не кликну.

Гости вошли в мастерскую и опустились на корточки вдоль стены.

Назар отложил молоток и в тазу, теплой водой, принялся мыть руки.

— Я полью! — встал старший гость. И, поливая, шепнул: — Я вам уже говорил о нашей просьбе.

— Я помню.

— Мы доверяем.

— А без этого как? — взглянул ему в глаза Назар. И то, что они так посмотрели в глаза друг другу, было красноречивее многих слов.

Когда из мастерской Назар привел их в свою келью, двое младших гостей распахнули халаты, и под халатами у них оказались завернутыми в пояса золотые изделия искусной работы.

Назар одну за другой рассматривал эти вещи и расставлял, раскладывал их одна к одной, снова брал и снова дивился работе неведомых далеких мастеров.

Потом подошел к двери и кликнул:

— Борис!

Гости беспокойно переглянулись, а один из младших придвинулся ближе к изделиям, спрашивая:

— Кто это?

Назар обернулся:

— Земляк.

И гости успокоились.

Борис присел, любуясь. Разглядывал, но молчал: не его дело говорить, пока мастер не спросит. Назар сказал:

— Не жалко?

— Жалко! — отвечал гость. — Но ведь... Надо людей послать. Может быть, далеко, надолго. С пустыми руками нельзя. Поедут, будто купцы за товаром; спросят их, они свою казну покажут, им вера будет.

— Когда надо?

— Второй день из города обоз идет. Войско готовится.

— Далеко ль? Я думал, ежели повелитель ушел, эти сидеть тут оставлены, с нами.

— Нас, видно, не опасаются. Уходят. Молчком идут: видно, внезапно напасть надумали.

— А на кого?

— Не столь велико войско, чтоб идти далеко. На Орду с таким не выйдешь... Думаем так: на монголов, — эти ближе всех. А зачем? Подумать надо. Не знаем: брать у них вблизи нечего, а вдаль идти — войска мало. Думаем: поугасть идут. Куда бы ни шли, а своих людей послать с ними надо.

— Надо! — согласился Назар. — Свои люди везде нужны.

— Истинно.

И снова Назар склонился над изделиями:

— Жалко!

— Еще бы! Я недавно слышал: один вельможа говорил при мне: великий, мол, повелитель неустанно трудится, походами себя изнуряет, а тысячи людей щадит, чтобы те люди трудились бы, создавали ему красоту, воздвигали дворцы, украшали бы их снизу доверху, окружали бы вельмож красотой. «Вот, говорит, мы эту красоту создаем по милости повелителя, а народ ее не понимает, не хранит: ума, мол, нет в народе, чтоб истинную красоту постичь, мы, мол, вельможи, создаем и защищаем ее от народа, народ без нас дик и разрушителен! ..» Мы и в самом деле собрались сюда разрушить красоту, которую вырвали из рук вельмож. Наш замысел — его словам в подтверждение.

— Авось! — ответил Назар. — Руки при нас. Может, и вельможами хранима, да не ими создана всяческая красота. Руками народа созданная, народом и воссоздастся.

— Да как бы Тимур построил себе дворцы, если б не умельцы из Ургенча, из Тебриза...

— Не только дворцы, а и самая мелкая частица в любом искуснейшем изделии чьей рукой сделана, брат мой? Все, все нами, простыми людьми, сотворено. А коли случится, иной один-одинешенек из вельмож и достигнет какого-либо ремесла, у нас же переймет, не иначе, от кого же еще? Да что-то и я не слыхивал про такого вельможу, ни про одного! Книгу написать могут, да и то лишь потому, что сызмалу к тому готовятся, а нас не допускают, давно они это оттягали у нас. Но и так бывает: научится из нас один, десятерых выучит. Те десятеро в свой черед себе учеников подберут. Так исстари знание по народу растекается. Так оно и в книжной премудрости пойдет. Народ всему основа и сила. И некому его осилить, когда он весь вместе. Мы это твердо знаем у себя, на Руси.

— Нам трудней!.. — задумчиво сказал гость.

— Вижу. Но и то вижу: один народ крепнет, другому легче.

— Это мы знаем: крепнет Русь, слабеет ордынский хан. Хан слабеет, нам опасности меньше. Но только наш Тимур не так повернул это дело: нам бы строиться, ремесла развивать, сады растить, а он видит: Орда ему не грозит, сам грозу другим народам несет. Была б крепче Орда, он бы смирней был. Тут такой клубок, сразу не размотаешь, а чувствую: в одном клубке ваш народ с нашим, одна у нас доля. Потому и доверяем.

Глянув на двоих младших гостей, он добавил:

— Не я один доверяю. Многие. Нам с вами делить нечего, а нужда друг в друге у нас велика. Тут такой клубок, надо размотать, понять.

— Редко мы выдаемся.

— Нельзя. Мы сегодня пошли, давно день выбирали, чтоб неприметно до вас дойти. Нонче грязь; если б и пошел кто за нами, приметно было бы.

— А все ж чаще видаться нам надо.

— Это золото, — сказал гость, — в малой части дадим своим людям, которые купцами едут; в большей части в своей казне сбережем: тяжело стало с купцами торговаться. Скупщики нас давить стали. Чтоб крепче спорить, чтоб не стать податливыми, нам под ногами твердая земля нужна.

Назар улыбнулся:

— Вот и обопрутся об это золото!

— Думаем так.

— Правильно. Только надолго ль этого хватит? Ведь золоту конец виден, а скупщикам нет числа.

— Народ в своем числе не убывает!

— Народ? Он тогда не убывает, когда в нем сила растет. А мы, на Руси, в давние времена и такое знавали: народу много, а силы нет. Это когда все врозь живут.

— У нас это доселе так. Тимур хитер, всех держит порознь: держит да поглядывает, чтоб воедино не сошлись; хочет из разных народов свое царство сложить, но чтоб каждый народ свое особое место знал, не заодно бы с другими, но в одном царстве. Крепко ли такое царство? Думаем, а не знаем...

Затихший было, снова начинался дождь.

Гости поднялись.

После их ухода Назар долго разглядывал красоту, которая, столько людей восхитив, кончится под ударами его молота, чтоб подвинуть других людей на создание новой красоты.

Семнадцатая глава

ЦАРЕВИЧИ

Аяр прискакал в Самарканд из Герата с письмом от мирзы Шахруха. Объявив о себе на дворе правителя, гонец отправился в караульню обсушиться, закусить, поразузнать здешние новости.

В таких караульнях всегда бывало людно и тесновато: сюда сходились, здесь засиживались и усталые воины, и запасные слуги, и дворцовые лежебоки. Сиживали здесь чинно, переноса сюда повадки и обычаи из хозяйских палат, и оттого в караульнях часто бывало благообразнее, чем в знатных палатах. Проголодавшиеся, усталые, продрогшие притворялись, что ни огонь под котлом, ни варево в котле, ничто никого не отвлекает от степенной беседы, хотя краем глаза, краем уха, краем ноздри каждый косил в ту сторону, где повар орудует у очага или вот-вот поднимет над котлом деревянную крышку.

Но, как ни чванились, здесь всегда и слова бывали прямей, и шутки веселей, и люди смешливей, чем в хозяйских палатах. Аяр, однако, нынче тут заметил иное: людей сидело немного, а те, что сидели, говорили мало, а если и беседовали, то не говорили, а переговаривались или перешептывались. Да и сидели они как-то наспех, бочком, будто не сели, а лишь присели, все в запахнутых халатах, а то и в опоясанных чекменях, словно вот-вот их покличут куда-то. Очаг под котлом еле теплился, изредка потрескивая искрами из-под пепла: видно, спешили разжечь, пихая в огонь что попало.

Все заметил Аяр наметанным глазом, но достоинство гонца не позволяло ему лезть к людям с расспросами: сами скажут о причинах сих перемен.

Он прошел к очагу и, прикидываясь, что ничего не заметил, скинул сырой чекмень, обтряхнул шапку, стянул промокшие сапоги и, велев какому-то рабу просушить все это, растянулся неподалеку от очага на сухой, теплой, пахнущей хлебом кошме.

Он разлегся вольготно и независимо, предоставляя засидевшимся в городе любознательным людям допытываться от него, новоприбывшего, бывалого человека, новостей и повествований.

Он полежал, почванился, но самаркандцы не спешили к нему подсесть, занятые какими-то своими заботами, безучастные к гератским новостям. Да у Аяра и не было особых новостей; много раз побывал он в Герате, в эта поездка ничем не отличалась от прошлых. «А все-таки жизнь в Герате, — думал он, — не та, что здесь; степенная, неторопливая, без суеты, без празднеств, но по-своему богатая жизнь. Мирза Шахрух — правитель не воинственный, но хозяйственный. Царевна Гаухар-Шад-ага хотя и не наша великая госпожа, но в повадках, в распорядительности самой великой госпоже не уступит: властна, взыскательна; нередко сама спрашивает отчета от вельмож, чтоб бранные дела не мешали мирзе Шахруху соблюдать молитвы или беседовать со святыми людьми».

Дождаясь, пока с ним заговорят, Аяр сам мучился от нетерпеливого любопытства: что же это такое случилось, что вокруг все заняты сами собой, разговаривают вполслова, вполголоса?

Аяр не стерпел и, перевалившись на другой бок, повернулся к людям:

— Ну? Что у вас?

Воины, смолкнув, посмотрели на Аяра и ничего не ответили.

Он переспросил:

— А?

Нехотя и не сразу один из воинов отозвался:

- Все то же.
- Многих тут не видать.
- Да как их увидишь, когда их нет?
- Куда ж делись?
- Как куда? Ушли.
- Далеко ль?

Воин опять, словно в раздумье, перемолчал, и опять Аяру пришлось допытываться:

- Далеко ль ушли?
- Далеко ли, близко ли... Куда ведут, туда идут.
- Нынче—то они где?
- Где, где... В походе.
- Не всех же повелитель увел!
- Они не с повелителем. Они с обозом.
- С каким это?
- Ну...

Воин задумался: как бы ответить так, чтобы не сказать лишнего? Всем тут велено держать язык за зубами, да от этого Аяра не отмолчишься: насквозь видит — гонец! И воин нехотя ответил:

- С каким обозом? Сам, что ли, не знаешь?
- Давно?
- На той неделе.
- К повелителю везут?
- Да сказал же тебе: не в ту сторону.
- А... Так в другую?
- Про повелителя я сразу бы сказал. А про это, как не велено, так я и помалкиваю.
- Про это, значит, пока помалкивают?
- Сам видишь!
- Еще бы! И с кем поехали?
- Сами по себе, вослед за войском.
- Войско—то с повелителем!
- Да они не за тем, они за нашим войском.

Вся караульня смолкла, прислушиваясь: ведь разговор затеялся про такое дело, о котором велено молчать. Не сболтнется ли чего лишнего?

Аяр отозвался так равнодушно, что все успокоились: этот не любопытен, этому можно говорить.

— Так... — тянул Аяр. — А я было думал — за Великим Повелителем! А они за своим. Ну, это другое дело. Это что! Об этом и говорить нечего. Это, значит, они... туда?

Аяр махнул рукой, сам не зная в какую сторону. Воин подтвердил:

— Ну да, на Ашпару на эту.

Воин было спохватился: может, и не следовало называть Ашпару Ашпарой? Но Аяр его успокоил:

— Про это кто не знает! Значит, пошли?

— Ну да!

Аяр, однако, не понял толком, что за войско пошло, почему на Ашпару в эту пору, в самую зиму, зачем? Он уже приметил: вокруг все замерли, насторожились, хмурятся при каждом ответе воина. Аяр не решился спрашивать дальше... Беспечно потягиваясь, он зевнул, бормоча сквозь зевоту:

— Про это кто не слышал! Я думал, не случилось ли еще чего!..

Он знал: теперь, когда разговорились, все остальное ему расскажут без утайки; только торопить их не следует. Но тут раньше, чем предполагал Аяр, его вызвали во дворец, и пришлось наспех собираться.

Едва ли позвали бы Аяра во дворец столь поспешно, не окажись здесь в тот час Аргун-шаха.

Узнав о прибытии царского гонца, начальник города решил немедля сам его расспросить, чтоб явиться с новостями к Мухаммед-Султану и тем показать свою распорядительность в делах.

В прихожей толпились посетители, самаркандская знать и приезжие люди. Аргун-шаху не терпелось выказать перед ними свою занятость и свою власть. Поэтому Аргун-шах, вызвав гонца, не сразу его подозвал, сперва заставил постоять у двери, пока сам занимался то разговором с кем-то из подвернувшихся вельмож, то громко давал подробные распоряжения слугам, и лишь много времени спустя как бы нехотя повернулся к гонцу:

— Ну? Что у тебя?

— К мирзе Мухаммед-Султану.

Аргун-шах нахмурился:

— Я передам; что за дело?

— К самому мирзе.

— Я передам!

Но Аяр заупрямился, помня свое право:

— К самому мирзе!

— Ему не до гонцов.

— Подожду.

Аргун-шах не полагал, что в доме Мухаммед-Султана дедушкин порядок соблюдается и в правах гонцов: царских гонцов и у Тимура проводили сразу к нему самому. Не полагал Аргун-шах и того, что слуги, оповестив о гонце начальника города, не остановились на том, а оповестили и самого правителя.

Аргун-шах, сердясь, придумывал слово, каким бы он смог осрамить гонца, чтоб выйти с достоинством из этой перебранки, к которой, смолкнув, прислушивались все посетители. Но не успел: последнее слово осталось за Аяром; гонца требовал к себе Мухаммед-Султан.

Чтобы сохранить свое достоинство, Аргун-шах снисходительно сказал:

— А ну пойдём!

Однако, едва услышав вызов к правителю, гонец, будто Аргун-шаха и не было перед ним, резко повернулся к высокой двери и решительно, быстро пошел, зная, что все перед ним расступятся: царский

гонiec идет! И Аргун–шаху пришлось лишь следовать за Аяром.

Мухаммед–Султан, принимая от Аяра свиток простой бумаги, покосился на Аргун–шаха, вошедшего вслед за гонцом:

— А вы?.. Я еще не звал вас.

Аргун–шах замер, кланяясь:

— Я полагал... Не понадобится ли?

— Я бы позвал.

— Ну, если не надо... — попятился Аргун–шах, шаря за спиной у себя растопыренными пальцами, чтобы не ткнуться спиной в дверь. — Если не надо...

— Не надо задерживать гонцов, когда они ко мне, а не к вам! Поняли?

— Понял, понял...

— То–то!

За дверью Аргун–шах остановился, чтобы сердце успокоилось, чтобы колени перестали дрожать; на это потребовалось больше времени, чем на весь разговор с правителем. А Мухаммед–Султан, озадаченный, вертел в руках письмо Шахруха, написанное в Самарканд, но не правителю, а повелителю.

— В Герате не знают, что государь в походе?

— Весь народ знает.

— Почему ж тебя послали сюда?

— Было сказано: «Вези в Самарканд». Я еще переспросил. Мне повторили: «В Самарканд». Я и повез.

Царевич рассматривал наклейку, скреплявшую трубочку письма. Почерк самого Шахруха. Написано: «Благословенному амиру Тимуру от мирзы Шахруха...»

— Так...

— Я и повез...

— Так, так...

— И еще письмо, господин.

— Ну–ка!

Аяр подал другую трубочку, писанную на хрустящей, редкой индийской бумаге. На ярлычке: «Великой госпоже Сарай–Мулк–ханым в руки от гератской Гаухар–Шад–аги с почтением».

— Других писем не вез?

— Только эти два, господин.

— Кроме, никому сюда не писали?

— Только эти, других не было.

— Ступай, отдыхай.

Мухаммед–Султан вскрыл письмо Шахруха: может быть, что–нибудь срочное сообщал Шахрух в Самарканд? Нет, ничего срочного, ничего дельного: добрые пожелания, выраженные изысканно, но сдержанно; вопросы о здоровье, о доме, о семье... поклоны, написанные в строгом порядке, сперва Тимуру, потом великой госпоже, потом царевичам, всем царевичам, без поименования.

«Так, — думал Мухаммед–Султан, — мы не послали к нему известия о сборе в поход, не звали в поход, не сообщили, что вышли. Он прикидывается, что не знает о походе! Обиделся! Что ж, сообщу дедушке, а дедушка скажет: «Не знал? Значит, проводчики твои, сынок, слепы и глухи. А худ тот правитель, что правит без проводчиков, ждет, чтоб новости ему цапля на хвосте несла». Если б вы, дядя Шахрух, почаще поднимали глаза от книг, вам были бы видней дела вашего отца, знали бы, что он обид не любит, не послали бы сюда сего любезного посланиям.

На всякий случай письмо царевны Гаухар–Шад Мухаммед–Султан открыл, не разрывая ярлычка: лучше будет переслать его великой госпоже, снова заклеив, как было.

«Так, поклоны, любезности... Не тревожат ли великую госпожу Улугбек с Ибрагимом? Успешны ли в науках; послушны ли, почтительны ли...»

Дочитав это письмо, Мухаммед–Султан почесал щеку и улыбнулся:

«В приветях — мед, в вопросах — яд: вот, мол, вы растите моих сыновей, а я беспокоюсь, успеваете ли вы, великая госпожа, не забываете ли о них за своими великими делами, учатся ли они у вас? Гератская госпожа в ярости, что мужем се пренебрегли, в поход не кликнули, о походе не крикнули. А и у нее промашка: прикидывается, будто не знает, что великая госпожа увезла ее сынков в Султанию, а про то знает, что братца ее Мурат–хана в Самарканде нет, не ему пишет, не на его письмо отвечает. Знает, что Мурат–хан на Ашпаре... Значит, вести отсюда получали после его отбытия. Что ж, великая госпожа поймет это письмо, она не любит, чтобы ей выражали недоверие, чтобы ей выказывали сомнение, чтобы кто–нибудь спрашивал, заботлива ли она к своим внукам. Многие она может простить, этого не простит, надолго запомнит! Вот и ваша промашка, гератская царевна!»

Повеселевший, словно получил отличные вести, царевич вышел к гостям, ожидавшим его в прихожей. Даже Аргун–шах, забыв недавнюю обиду, проявил расторопность, распоряжаясь приемом.

Мухаммед–Султан сказал ему:

— Вели, чтоб гонцу отдых дали. Пускай готовится: скоро ему опять скакать; пускай сил наберется.

Не хотелось бы Аргун–шаху потакать дерзкому Аяру, но слово правителя нынче равно слову самого повелителя! А была б воля Аргун–шаха, он бы этому Аяру на веки вечные отдых бы дал, чтоб никогда ему ни встать, ни подняться!

«А где же визирь?» — удивился Мухаммед–Султан, но, по обыкновению, не захотел спрашивать, дожидаясь, пока это само собой выяснится. Однако он намеревался взять визиря с собой в поездку по городу, чтобы все увидели и убедились, как ложны слухи о походе: правитель, мол, здесь, на виду, никто никуда не ушел, не уехал, и визирь с ним. Может быть, и следовало бы разыскать или призвать Худайдаду, проехаться вместе, но Мухаммед–Султан рассчитывал завтра, еще до рассвета, выехать вслед за войском. Оставался лишь один этот последний, недолгий зимний день, чтобы обмануть горожан и, главное, чужих, монгольских соглядатаев: выиграть время, пока они узнают, что правителя уже нет в городе.

На празднично убранном коне Мухаммед–Султан не спеша возглавил свою свиту.

Было свежо, хотя земля не только подсохла, но и пылила.

Рядом ехал его сын — Мухаммед–Джахангир, сзади — Аргун–шах, а следом остальные.

На выезде Мухаммед–Султан покосился на недовершенные стены своих новостроек. Мадрасу сложили до сводов, над ханаккой часть сводов свели и оставили так до весны, — класть стены на дожде и холоде ненадежно: высыхая, кладка может осесть, известь — потрескаться. Но для сохранности кладки покрыли сверху войлоками, волосяными мешками, камышом, и среди голых деревьев все эти здания казались заброшенными. Мухаммед–Султан отвернулся:

«Будто дедушка тут воевал!»

Народ сбегался из переулков, из лавчонок, из ворот, толпился вдоль улицы, а Мухаммед–Султан вглядывался в лица, думая:

«Удивляет ли их, что я не в поход, а на прогулку еду? Все должны понимать: перед походом складываются, а не прогуливаются. Вон женщины из–под покрывал поглядывают. Во все глаза глядят, не то удивляются, не то любопытствуют. Да они всегда удивляются, что бы ни случилось. А вон старик, похож на древнего шаха: таджик, что ли? Такой, если удивится, прикинется, что для него на свете нет ничего удивительного: не то свое величие уронит. Мальчишки глядят больше на лошадей, чем на людей. Им слуги кажутся нарядней, чем мы: у слуг халаты пестрее. А те вот двое, пожалуй, монголы. Смотрят, а сами как деревянные чурбаки: они и удивятся, а вид у них не переменится, всю жизнь — словно от солнца щурятся, словно вокруг голая степь. Ухитрились весь свет захватить, всеми царствами завладеть, а и по сию пору ходят, как будто с уздечкой к своим коням на тырло идут...»

Из тесноты узких улочек выехали на дворцовую площадь, где всю ее заполнили полосатые полотняные навесы над лотками со всякой всячиной, мелочью, безделицей. Какие–то испытые торгаши разложили там вперемежку блюда с вареной требухой, мотки крашенных ниток, ломтики белой халвы, нижние холщовые ермолки, орехи и фисташки, войлочные стельки и подковки для туфель и много всего иного, что пестрело в глазах и так было стиснуто у самой дороги, что лошадям приходилось идти осторожно, чтоб не наступить на жалкие товары, столько раз за день запылявшиеся, отряхиваемые и пылившиеся опять.

А торгаши, забыв о товарах, смотрели на проезжающих; смотрели, не скрывая удивления; но они удивлялись не тому, что правитель, оказывается, не выезжал ни в какой поход, а тому, как он гуляет по городу, тому, что каждая бляха на сбруе его коня дороже, чем все их имущество.

Тут, среди блюд с требухой и подносов с халвой и орехами, бродили нищие, прокаженные, дервиши, и каждый что–то возглашал и выкрикивал, — то ли, юродствуя, не замечали царевича, то ли юродствовали, чтобы он их заметил. Но за их воплями и причитаньем не было слышно разговора простых горожан, как ни вслушивался Мухаммед–Султан в голоса толпившихся людей.

Лишь въехав с площади под низкий каменный свод перекрестка, царевич услышал долгожданные слова:

— Поход, поход, а правитель вот он!

— Видно, вдали.

— Еще бы, вот он!

Мухаммед–Султан посмотрел на говорившего и увидел широкий темный нос над тяжелой, почти голой губой, где, видно, усы никак не росли, а только пух, как у евнуха, — бессмысленное лицо.

И вдруг этот человек сказал:

— А может, и не вдали. Визиря, примечай, нету.. Визирь, может, в походе. Никто не говорил, что сам он...

Мухаммед–Султан не дослушал, проехал, а хотелось бы вернуться, узнать: «Что сам он? Что он сам?..»

Но возвратиться было нельзя, а спрашивать неизвестного проходимца невозможно, и Мухаммед–Султан с досадой подумал о нем: «Примечает!»

После говорливой толчеи выехали к Рисовому базару. И хотя здесь отовсюду звенели железом о камень, тесаками, топориками, гремели тяжестями, на больших скрипящих катках переволакивали

тяжелые серые камни, но людских голосов почти не слышалось, и после базарного гомона здесь, казалось, стояла величественная тишина.

«Зима, а им ничто!» — удивился Мухаммед–Султан, хотя знал, что строительство соборной мечети не велено прерывать ни на один день, ни на один час.

Под узкими, как карнизы, навесами сидело на поджатых ногах длинной ровной чередой множество мастеров. Одни искусно, опытной рукой обтесывали плитки аспидного мрамора, другие вбивали отдельные буквы или надписи в такой же мрамор, третьи вырезали хитроумные узоры на глиняных плитках, четвертые делали какие–то свои работы, позвякивая острыми топориками.

По одежде мастеров видно было, сколь различны их отчие земли. Кого–кого только не было тут! Приведенные сюда из различных походов, а то и нанятые из дальних стран, лучшие мастера со всего света. И никто из них не смел поднять голову и разогнуться: надсмотрщики неслышными шагами прохаживались позади с гибкими прутьями в усердных руках. Но и в таком унижении дружно и прилежно работали мастера: любимое дело было для них услодой, уводило их мечту прочь от этого мира, где властвовали недремлющие стражи, не умевшие ни мечтать, ни творить. Царственно, надменно прохаживались стражи и не знали, сколь ничтожна их власть над теми, кто может воплощать свои мечты в любимом деле. Не переговариваясь, понимали мастера один другого, когда надо было обменять затупившийся тесак или в чем–то помочь друг другу. Мухаммед–Султан, глядя на них, думал: «Палка надсмотрщика всех их соединила, всех направила на одно дело, все народы тут, как один, свершают то, что задумано дедушкой! Палку надо крепче держать, смотреть зорче».

Мухаммед–Султан впервые видел, как послушно и неумоимо работают слоны. Могучие, пригнанные из Индии, еще украшенные алыми или желтыми индийскими ремнями, некоторые с коваными запястьями на задних ногах, они шли один за другим, девяносто пять слонов, громяхая тяжелыми цепями, неся огромные бревна или плиты, покорные воле хилых темнокожих индусов, восседавших на их просторных холках.

В надлежащем месте слоны бережно опускали свою ношу и, мотнув головой, будто с облегчением, поворачивали назад, отправляясь за новой ношей к длинному поезду арб, подвозивших, одна вслед за другой, плиты из каменоломен, с гор, где ломали, кололи и обтесывали камень каменотесы из Армении, из Азербайджана, из дальних горных стран, соревнуясь со здешними, коренными, и опыт, накопленный многими поколениями мастеров в разных концах земли, здесь соединялся в одно большое мастерство.

За городскими стенами раскинулись, как воинские станы, поселения различных ремесленников, пощаженных завоевателем для усердного труда и отовсюду сведенных к Самарканду. Люди лепили себе мазанки или ставили шалаши, но в память завершенных победоносных походов этим поселениям уже были даны названия славнейших городов мира — Дамаск, Шираз, Багдад, чтоб Самарканд между ними сверкал, как алмаз в окружении изумрудов.

Весь этот народ в ту зиму без отдыха трудился на строительстве соборной мечети, ибо Тимур велел завершить ее к своему возвращению, хотя ни он сам, ни зодчие не ведали, вернется ли он весной, проходит ли годы. И Мухаммед–Султан понимал: случится ли промедление в строительстве, оплошают ли мастера, многим придется отвечать за это, не будет поблажки и правителю.

Мухаммед–Султану давно следовало побывать здесь, но сборы в поход на монголов отвлекали его. И теперь, глядя на весь этот труд, на сотни работающих людей, на вереницы слонов, на бесконечный обоз арб, Мухаммед–Султан не мог понять, где ядро всего этого, верно ли свершается весь этот необозримый ход работ.

Не дожидаясь, пока перед ним предстанут главные зодчие, с возрастающей тревогой он сам поехал к

старикам, которым дедушка поручил здесь хозяйничать.

Услужливый надсмотрщик, отбросив свой прут, поспешал перед конем царевича, между складами кирпичей, каменными плитами, грудями бревен, рядами рабочих. Конь еле пробирался, часто оступаясь на тропе, где и пешеходу нелегко было пробраться.

Мухаммед–Султан следовал за вожатым, не отставая и не заботясь о своей свите, вынужденной протянуться длинной цепью, ибо ехать приходилось по одному, а спешиться никто не смел, когда правитель так ловко направлял своего коня между всеми преградами, словно где–нибудь в горном проходе.

Свита, протянувшаяся перед глазами множества чужеземцев, потеряла свою праздную, торжественную значительность. Виден стал каждый всадник, и от каждого требовалось умение усидеть в седле, а лошади спотыкались, артачились, могли ткнуться мордой в переднего всадника. Прервав работу, все строители и стражи молча следили, как проезжали один за другим такие знатные, а сейчас такие растерянные вельможи Самарканда.

Увлеченных игрой в шахматы ходжу Махмуд–Дауда и Мухаммеда Джильду приезд правителя застал врасплох. Выронив ладью, Джильда кинулся к верхнему халату, но подумал, что сперва надо надеть чалму, потянулся к лежавшей наготове скрученной чалме. Он схватил ее за конец, и она вся, как проснувшаяся змея, вдруг развернулась во всю длину упругого шелка.

Ходжа Махмуд–Дауд, не снимавший ни чалмы, ни халата, первым оказался у стремени и помог царевичу спешиться.

Эти двое старых вельмож, много раз получавшие от Тимура трудные и опасные задачи, имели много власти, и царевич побаивался их. Но и они знали, что Тимур прочит этого внука своим наследником и, если Тимур смертен, этот внук станет властен над жизнью всех соратников и вельмож своего деда. Зачтет ли он дела, совершенные для деда? Не пора ли выслуживать доверие внука: дед — далеко, а этот — вот он!

Мухаммед–Султан раньше не замечал в этих двоих такого почтения, такой угодливости и лести.

Он слушал их, усаживаясь на удобном помосте, откуда видны были строители, арбы, слоны, и присматривался: «Как раболепствуют! Видно, совесть не чиста! Что–то тут не так!»

Здесь приятно пахло какими–то домашними яствами и дымком от жаровни. Взглянув в ту сторону, откуда долетал дымок, царевич приметил, как трудился повар, свежую подвешенного барашка. Повар рукояткой ножа так усердно отбивал шкуру от туши, что и не заметил, как прибыл сюда правитель.

А Махмуд–Дауд, приметив взгляд Мухаммед–Султана, растерялся: «Не затем они здесь, чтоб барашками тешиться: сохрани бог, не сказал бы царевич самому повелителю, что они тут в шахматы играют, барашков жарят, а дело, мол, делается само собой, не по их усердию!»

— Барашек вот... степной, пришлось прирезать.

— Заболел?

— Как? Почему заболел?

— А если не болел, почему прирезали?

Махмуд–Дауд совсем смутился:

— Да вот... жарить.

— Ну, ну! — согласился Мухаммед–Султан и спросил: — Справляетесь?

— Тяжело. Трудимся. Везде надо поспеть...

Наконец Джильда кое-как намотал чалму на голову и подсел к ним.

Но не успел он сесть, Мухаммед-Султан поднялся:

— Покажите мне. Как там работы?

Может быть, не столь ясно открылось бы ему величие дедушкиного замысла, не случись тут одинокого повара, столь углубленного в свое дело, будто кругом была пустая степь.

Теперь он понял, что уже нельзя уехать отсюда, не рассмотрев этого строительства. Только теперь он понял, как оно обширно, сложно и как много значения придает ему Тимур, если столько сил здесь соединил, если все накопленное во многих походах, и свою индийскую добычу, кинул сюда, на созидание сей мечети. Пока так, воочию, он не видел этого, царевич считал строительство соборной мечети одним из многих больших строительства Тимура. Сейчас перед ним впервые открылась истина, — все предыдущее зодчество было лишь испытанием мастеров, подготовкой опыта. Только сейчас Мухаммед-Султан это понял, хотя еще не мог сказать, что ему открыло глаза: множество ли тружеников, обширность ли пространства, занятого людьми, длина ли стен, определивших величие будущего здания, высота ли этого места...

Идти по двору пришлось с оглядкой, обходя ямы извести, кирпич и мусор. Кое-где еще рыли землю для бута, а рядом уже высились стены, уже каменщики сводили своды над рядами келий, где разместятся паломники, ученики или бродячие дервиши. На свежие стены накладывалась изразцовая облицовка, и в промежутке между стопами запасных кирпичей, из-за стоймя составленных нетесаных бревен, уже вспыхивали там и тут глазури поливных кирпичиков или мелкие узоры расписных плиток.

Но глазурные облицовки еще не соединялись и казались лишь клочьями голубого ковра, наспех накинутого на свежие стены.

Мухаммед-Султан, щурясь, пытался понять будущую высоту этих стен, по этим клочьям угадать весь изразцовый убор, представить весь облик, всю ширь и все величие могучего здания, как оно задумано дедушкой. Только теперь Мухаммед-Султан понял замысел Тимура: поставить посреди своей столицы мечеть как воплощение всей своей огромной державы, сложенной из мелких частиц воедино. Ставил мечеть усердием многих народов, языков и вер во славу единой, истинной веры, трудом разных народов, но во славу единого владыки.

Царевич подумал: «Твердыню мусульманской веры творят язычники и христиане. Тем и очистится перед богом дедушкин меч от всякого пятнышка!» и сказал Джильде:

— Много уже сделано, а что выйдет, никак не разгляжу.

— Сейчас! — ответил Джильда. — Пожалуйте, пойдёмте.

Они дошли до середины двора, где под низеньким навесом на широкой доске стоял медный поднос, а на подносе что-то такое было накрыто расшитым покрывалом. По очертаниям покрывала царевичу показалось, что на блюде лежит баранья тушка, запеченная к пиру.

«Потчевать меня, что ли, будут?» — удивился Мухаммед-Султан.

Но тут явился главный зодчий, маленький человек с круглым румяным лицом, обрамленным черной пушистой бородкой.

— А ну? Что там? — кивнул царевич на поднос.

Зодчий, глядя на Джильду, взялся за покрывало короткими толстыми пальцами, но покрывала не снял, а сказал:

— Прежде послушайте меня.

Мухаммед–Султан нахмурился: не было такого обычая, чтобы ремесленники, воины или слуги медлили, когда их спрашивают. Мухаммед–Султан не знал, что этот хорезмиец достраивает Белый Дворец в Шахрисябзе, что Тимуром поручено этому хорезмийцу присматривать за строительством мечети хаджи Ахмада в Ясах, что некогда этого мастера бережно, как ценную добычу, вывезли из развалин Ургенча, что уже в третий раз Тимур доверяет ему осмыслить облик величайших из своих строений, — что все три величайших здания в землях Тимура строятся по замыслу этого коротышки с толстыми, как у повара, пальцами.

А хорезмиец говорил:

— Здесь, господин, покрывалом покрыт лишь кирпич того здания, что, как пята, придавит всю эту площадь и, как гора, здесь возвысится. Чтоб увидеть это, надлежит мысленно умножить в одну тысячу раз то, что я открою. Надлежит мысленно увидеть над этим кирпичом сияние небес, солнечный свет; когда полуденные лучи белы, и стены сего здания заблестят серебром, а поутру и вечером, когда лучи багряны, стены засверкают золотым отливом, а в лунную ночь замерцают, как бы гора жемчужин, насыпанная до небес. Мысленно, пронизательным взором души, надлежит дополнить то, чего недостает бездушному камню, жалкому прообразу того, что увидит здесь Повелитель Вселенной, когда остановит своего победоносного коня на этом месте. Вот, великий господин, смотрите...

Он сдернул покрывало, нетерпеливо и опасливо, как с невесты в ночь обручения, и представил правителю образец, по коему строится это здание.

Подойдя вплотную к подносу, Мухаммед–Султан понял, как величественна будет эта мечеть, ибо соотношение всех частей было умно рассчитано, каждая часть казалась значительной, а соединившись, все они усугубляли величие здания.

Мухаммед–Султан, наклонившись, рассматривал и купола, и все четыреста восемьдесят столбов, со всех сторон обступавших двор; увидел дверцы бесчисленных келий и входов, даже мраморные плиты, покрывшие всю ширь двора, и среди двора — мраморный водоем для омовений.

Мухаммед–Султан придал себе строгость, заметив перед молитвенной нишей крошечного, как рисинка, человека, склоненного в молитве, и назидательно сказал:

— Этого незачем... Грех, когда смертный изображает божье творение... Коему...

Но зодчий заметил, как трудно правителю вспомнить то место из шариата, где записана эта истина, и поспешил объяснить:

— Он мне нужен, чтобы соразмерить рост человека с размером здания. А грешен не тот смертный, который соразмеряет творение божие, но тот, который изображает его. Не так ли, великий господин?

— Истинно так.

— Я помнил это и велел это сделать христианину; он и ответит перед богом!

— Истинно! — согласился Мухаммед–Султан.

Когда он шел к лошади, за еще невысокими стенами мечети он увидел почти законченные стены бабушкиной мадрасы и не без насмешки сказал Мухаммеду Джильде:

— Великая госпожа скорее вас строится!

— У нее свои строители: ее зодчие сменяют людей дважды в день: едва одни соберутся на отдых, приходят другие, отдохнувшие. А нам и отдохнуть некогда, мы без отдыха трудимся.

— Однако откуда же она изразцы берет? Такие же, как у вас! У нее своих мастерских нет. Покупает?

Джилда пожал плечом и отмолчался, но правитель снова спросил:

— Покупает? А у кого?

Приметив, что старик побледнел и отвернулся, Мухаммед–Султан подумал: «Узнаем!» Но тут же вспомнил, что узнавать, пожалуй, уже некогда: надо спешить в поход, не до изразцов теперь!

На обратном пути, подъезжая к себе домой, Мухаммед–Султан словно заново увидел начатые свои заветные постройки и вдруг удивился: «Как они ничтожны». Они никогда не казались ему такими до нынешней поездки на Рисовый базар: «Тесные дворики, убогие кельи. Что за мадраса, что за ханака... А мечталось...»

И недружелюбно подумал: «Дедушка на дожди не глядит, строит; а я дожди переживаю, срамлюсь!»

И захотелось поскорее уйти прочь, уехать отсюда, — пропало желание продолжать то, что уже казалось ему никчемным, что, казалось ему, не удивит дедушку, а вызовет у старика лишь покровительственную усмешку при взгляде на строительные потуги внука!

«Ехать надо. Поход, победа — это дело; это главное. А строить гоже лишь, как играть в шахматы, на досуге... На досуге... Не ладится игра, всех слонов и коней долой с доски! Долой с доски!»

Въехав к себе, он сразу же отпустил спутников, позвал ключарей и велел складываться, отбирая те вещи, без коих в походе не обойтись: запасные халаты, седла, праздничное оружие — то, что надо уложить, увязать, навьючить уже не на верблюдов, а на лошадей, чтобы все это было у него под рукой.

* * *

Визирь Худайдада, идя к правителю, по своему пристрастию к хорошим лошадям, не прошел мимо навеса, где всегда стояли наготове заседланные лошади.

Закинув за спину руки, не глядя на раболепие конюхов, визирь прошелся мимо гордых лошадей, кивавших головами, будто они одобряли визиря и ободряли его.

— А чтой–то нынче кони не столь нарядны! — заметил, будто подумал вслух, Худайдада, не останавливаясь.

Конюхи услужливо отозвались:

— Велено запросто седлать. К дальней дороге.

Услышав это, Худайдада спохватился и, помрачнев, забыв о лошадях, повернул к покоям правителя.

Отмахиваясь от вельмож, медливших разойтись после поездки, изъявлявших визирю свое почтение, Худайдада прошел прямо к Мухаммед–Султану.

Царевич присматривал, как рабы старательно укладывали его запасную одежду в тисненные кожаные кабульские сундуки, и ворчал:

— Плотней клади, не то халаты в пути помнутся!

Визирь имел право входить к правителю в любое время и в любое место, кроме женских покоев.

Но этим правом визирь пользовался лишь при важнейших вестях или при неожиданных событиях и тревогах. Появление Худайдады насторожило Мухаммед–Султана.

Опустив лоб, Худайдада ждал, чтобы остаться вдвоем. Мухаммед–Султан потоптался на тонких, обтянутых узкими голенищами ногах и, не желая прерывать сборы и укладку, отвел визиря в боковую комнату.

Свет сюда проникал лишь сверху, из–под потолка, через маленькое, как отдушина, оконце. В тусклом

свете лицо правителя визирю показалось синевато-бледным, хотя еще не было сказано тех слов, от которых Мухаммед-Султан мог побледнеть. Помолчав в раздумье, Худайдада вздохнул:

— Вьючитесь?

— А что?

— Опоздали.

— Кто? Как?

— Мы, господин. Нынче утром наш проведчик гонца пригнал; опоздали мы, отстали.

— Из Султании? От дедушки?

— Это бы что! Из Ферганы, господин. Да уж и не из Ферганы, — из Кашгара. Мирза Искандер обскакал нас, пока мы тут мудрили. Наскреб, где ни есть, отрядишко, тысяч в двенадцать, да и махнул по монголам. А те, как мы и знали, никаких нападений не опасались, все кинули, да и ушли в степь. Теперь мирза Искандер уж назад идет, к себе в Фергану. Такого страху дал степнякам, не скоро очухаются. Отряд свой оставил в Кашгаре, а сам потихоньку назад идет. Потихоньку идет из-за большой добычи, — тяжело везти.

— Как же это? А? Как же это он? Кто его пустил туда? А?

— Сам. Собрался, да и айда! Полководец!

— Да его надо за это!.. Я дедушке скажу!

— Сказать надо. Надо и самим себя показать.

— Догонять монголов?

— Зачем? С них уж брать нечего. Все взято. Надо мирзу Искандера поучить. Как, мол, смел? Как это без спросу, без согласия? Как так?

— Что ж мне, седлаться да ему навстречу скакать?

— Зачем? Свою честь надо блюсти. Сами сидите здесь. Меня посылайте. Я сам управлюсь как надо. По правилам великого государя, как в Султании, сподвижников кверху задом, а самого воителя за шиворот да сюда: винись, вымаливай пощаду! А добычу его отберем: «Не льстись на чужое!»

— А что ж Ашпара! Я уж сложился!

— Ашпара теперь ни к чему.

— Надо сказать, чтоб остановились, чтоб дальше не шли, шли бы назад. Теперь они могут здесь понадобиться.

— Уж я их остановил: уж я послал к ним. Иначе как можно? Так ехать мне, что ль?

— В Фергану?

— Где встретится. Хорошо б их застать на походе, пока они ничего не чувят. Как они на степняков, так мы на них: цап-ца-рап!

— Что ж, поутру поезжайте. Возьмите войска побольше и поезжайте.

— Зачем мне много? Ежели мне мало будет, я из его ж охраны к себе возьму. Они там все меня знают, кто ж ослушается? А утра мне ждать некогда, сейчас и пойду.

— Время к ночи!

— И не в этакой тьме хаживали.

— А скрутить их надо покруче.

— Мирзу я сюда приведу, с ним сами беседуйте. А с остальными там побеседую. Ежели случится, круто закручу, ничего?

— И тех, кто, может, в Фергане отсиживается, а мирзу подбивал на поход на этот, и тех...

— Большой крик подымут.

— Пускай!

— У Великого Повелителя слышно будет!

— Пускай! Они его спросились?

— Нужен ваш указ. Моя рука тверже станет.

— Велите написать! Я печать приложу.

Мухаммед–Султан не любил писать сам. Ему казалось, что почерк у него нехорош, и слог груб, у писцов складней выходило.

Следом за Худайдадой царевич вышел в покой, где уже стояли сундуки, скрепленные попарно для вьючки.

Домоправитель, втайне гордясь своей расторопностью, поклонился:

— Все как приказано, великий господин.

Мухаммед–Султан не сразу его понял. Постоял, припоминая, будто что–то очень давнее, о чем говорит слуга. И вдруг, словно проснулся, быстро сказал:

— Довольно!

— Чего?

— Разберите да разложите все по местам.

Он шел, сам не зная, куда же теперь идти, с чего начинать. Так наполнены были эти дни, ни минуты не было свободной, и вдруг стало делать нечего.

Он сошел во двор, прошел под голыми деревьями к своим безлюдным новостройкам.

Быстро темнело, и в сером небе, торча кверху какими–то палками, плетенками, стояли темные, сырые недостроенные стены.

Холодный ветер, низкие белые облака на аспидном небе, — кругом было неприятно.

Мухаммед–Султан ходил, озираясь: никого нет, тихо, безмолвно...

«Как на кладбище! — подумал он. — Как на кладбище!»

Он замер, когда вдруг услышал за своим плечом голос:

— Печать, господин.

— Что? Какая такая?

Он обернулся и понял, что это стоит Худайдада, протягивая ему узкую полоску бумаги.

Мухаммед–Султан пошарил за поясом, где в складках, подвязанная к концу кушака, затаилась именная печать правителя самаркандского.

— Написали?

— Угодно выслушать?

— Нет, поезжайте! Мне скорей с мирзой поговорить надо. Остальных... покруче: хороший жеребец от табуна не отобьется, а какой отбил, того на племя не берегут. Вот, держите!

Мухаммед–Султан приложил к бумаге печать, с трудом присматриваясь в сумерках, на месте ли она приложена. Так и не разглядел, но идти домой, к свету, не хотелось: в сумерках легче быть повелительным со старым визирем. А Худайдаде было по душе, что молодой правитель приказывает так твердо.

«Чем больше строгости от меня требует, тем больше воли мне дает! Чем строже мне приказывает, тем больше на себя берет: повелитель с меня спросит, а я правителем заслонюсь. Говори, говори, построже говори!..»

Но Мухаммед–Султан вдруг замолчал, а потом порывисто, нетерпеливо отпустил визиря:

— Ну, поезжайте!

Он снова остался один; услышал, как за стеной проскакали всадники: визирь уехал со двора.

Тогда потихоньку он побрел к дому, думая: «А все ж надо послать в Ашпару, к Мурат–хану, спросить, как там, все ли в порядке, не надо ли чего воинам, не ветшают ли крепости. А то я строил–строил... Землю пашут ли? Я туда переселил целую тысячу земледельцев, чтоб у крепостей свой хлеб был, а как они там хозяйствуют?»

Стало совсем темно. Проходя мимо караульни, царевич услышал Аяра, гонец рассказывал о Герате:

— Там мирно живут, царственно...

Из темноты Мухаммед–Султан увидел своих слуг, сидевших вокруг тлеющего очага. На всех были опоясанные чекмени. У порога наготове лежало несколько переметных сум, чем–то набитых.

«В поход собрались, а похода–то и не будет!» — с досадой вернулся он к своим мыслям, уходя в дом и слыша, как Аяр в раздумье повторил:

— Царственно...

В одной из комнат Мухаммед–Султан наткнулся на опустелые сундуки: видно, слуги не успели их вынести, но ему показалось, будто кто–то укоряет его за то, что сундуки пришлось опорожнить. Он рассердился и закричал домоправителю, чтоб сундуки отсюда выбросить, а слуг из караульни прогнать.

* * *

С мотыгой под мышкой сгорбившийся пешеход проталкивался через самаркандский базар; шел неторопливый, но и не медлительный, такой, как и многие тысячи здешних жителей, создавших и прославивших свой знатный город.

День был свеж и ветрен.

Улица, просохнув, снова окаменела, и крепко стучали туфли пешеходов, когда Мухаммед–Султан, прислушиваясь к базарному говору, ехал на строительство соборной мечети, а ретивые скороходы расталкивали народ, расчищая проезд правителю.

Прижав к груди мотыгу, прохожий отвернулся к стене, чтобы пропустить всадников, и никто из них не полоснул нагайкой невежу, повернувшегося к правителю спиной, когда надлежало склониться в поклоне, а прохожий и не знал, как яростно взглядывали на него иные из всадников, как сжимали вдруг рукоять нагайки, но неуверенно опускали руки: никто из них не решился показать свою власть при Мухаммед–Султане, никто еще не знал его обычая, все только еще присматривались к правителю.

Так и проехали. Прохожему, видно, невдомек было, кто это ехал, но, глянув вослед свите, он

сощурился, не то с усмешкой, не то с хитрецей.

Он вышел в Кузнечный ряд и в переулке, в зарядье, остановился перед раскрытой мастерской Назара.

В мастерской никого не было: заболел Борис.

Борис сидел на постели, согнувшись, сжав на животе руки, и жаловался Назару:

— Все от тутошней воды. Не могу с ней свыкнуться. Как глотну ее натошак, так она будто камень во мне. Отвердеет в нутре, а потом жжет меня, все жарче, все жарче. Будто я не воды, а кипятку глотнул. Ой, дядя Назар, сладка самаркандская водица, да не по мне.

— Полегчает, отпустит...

— Ох, отпустила б она меня отселе; нашей бы, волжской хлебнуть. У нашей и вкус—то, как сдобный калач; стерляжья вотчина! А тут и хлеб будто из глины: жуешь — хрустит, хочешь проглотить — к деснам липнет. Отпустила б она меня, а, дядя Назар?

— Не моя воля.

— Вот то—то и оно... А то от глотки до брюха как кол забит. Что ж это такое? Разогнуться и то боязно: не стало б тягчее.

— Крепись: нам еще много ковья на переков положено.

— Ох, скоро сам стану железом на этакой наковальне.

Назар вдруг заметил, что кто—то его ждет в мастерской, и, уходя туда, ответил Борису:

— Один ли ты под молотом? Другие крепятся ж!

Он вышел к посетителю, приглядываясь: где—то видел его, но где? И спросил:

— Тебе чего?

— Возьми вот мотыжку, отбей. Отбей, пожалуйста: вишь, затупилась. А похода на Ашпару не будет, так что золото пускай у тебя полежит. Когда нам казна понадобится, я за мотыжкой к тебе приду, только сперва отбей ее, пожалуйста. Она у тебя спокойней полежит, неприметней. На, возьми, а то затупилась. Будь здоров.

И пошел прочь.

Когда костлявые ноги заказчика застучали по дороге одеревеневшими от времени туфлями, Назар спохватился: «Сказать бы, нет тут никакой казны, чего, мол, мелешь?» Не успел сказать, заказчик свернул к рядам и пропал: по рядам много шло всякого люду. Так и пропал, словно все это приснилось. Назар встревожился: «Нехорошо! Ведь что вышло? Я смолчал — и, значит, признался: у меня, мол, казна; знаю, мол, про какое золото слово молвишь! Как это нехорошо вышло!..»

С досадой кинул мотыжку в угол и задумался: «Где я его видел? Не в Синем ли Дворце на дворе? Там разный народ, там...»

Но вспомнил и успокоился: «Он ведь приходил, когда они мне свою казну сдали. С тем... с кривой бородой. Что ж это я сразу его не опознал...»

Он поднял с пола мотыжку, почесал пальцем по лезвию и улыбнулся: «Ее и отбивать нет нужды, она и не затуплена!»

Вернувшись к Борису, Назар сказал:

— В поход наш супостат сбирался, да отдумал. Остался дома сидеть.

— С чего ж отдумал?

— Повремени, выведедем.

Подошла Ольга.

— Полдень вам!

— Полдневать? — откликнулся Назар. — Самая пора, а то я уже наковался. Ты как, Борис?

— Мне есть не во что: все нутро водой забито.

— Ешь! Каша воду выжмет.

Борис задумчиво спросил:

— А как выведедем? Надо б скорей.

— Про что?

— С чего это он поход отдумал?

— А что?

— На монголов ведь шел. Как ни кинь, они Золотой Орде опора. То думал по опоре рубануть, то отдумал. То бы нам облегченье вышло, а так монголы, как прежде, спокойны: «Тимур, мол, всю силу за собой увел, с этой стороны опасаться некого, можно за это время и на Москву набежать».

— Ты, я вижу, сметлив стал! — одобрил Назар. — Что ж теперь делать?

— Надо нашим дать знать: побереглись бы.

— Лежи. Я схожу, скажу. А то я уж подал весть: «На монголов, мол, ополчаются». Теперь той вести отбой дадим, остережем. Возьму замочек, какой поладней, снесу, покажу товар соседу.

— Каша холодает, — упрекнула его Ольга.

— Вернусь, поем. Время людей не ждет, голубушка.

Вздвигая указательный палец, как перстень, светлый медный замок, чтоб был на виду, Назар понес его через весь Кузнечный ряд в дальний Гончарный конец.

Встретился писец кузнечного старосты. Спросил у Назара:

— Далеко ль?

— Заказ понес. Вот он, не угодно ли взглянуть, почтеннейший.

Писец занялся замком:

— Хитро! Как же его отпереть?

Назар неторопливо разъяснил любознательному грамотею, как надо запирать и как отпирать.

— А кто таков заказчик? Кому понадобился такой запор? Что за этим запором храниться будет?

— Хозяйское дело: что под замок положит, про то сам и станет знать. Не угодно ли обзавестись подобным изделием?

— А вправе ли кузнец сам торговать? Чем наши купцы займутся, если мастера сами и торговать начнут?

— Ни заказы брать, ни свое ремесло сбывать нам от повелителя запрета не было. Кто задолжал купцам, кто от купцов сырье берет, у тех свои счета. А я волен, хлеб не из чужих рук ем. Про то вам небось видно из ваших записей.

— Есть ли запись на ваш товар, не помню. Занятен замочек. Надо бы его на моей двери испытать.

— Найду для вас.

— А цена?

— Со своим человеком дорожиться грех. Я вам так принесу: не откажитесь от душевного дара.

— За дар благодарствую. Приму!

— Порадуйте темного человека.

Отвязавшись от недоверчивых взглядов писца, Назар для отвода глаз потолкался по людным переулкам, пока добрался до гончаров, посмеиваясь: «Обошлось! И кому заказ несу, забыл спросить, посулу обрадовался. Недорог грамотей!»

Восемнадцатая глава

КАРАБАХ

Табуны коней, несметные стада и отары паслись по плоскогорьям Карабаха, по тучным пастбищам, вспоенным зимним дождем.

Бурые, серые, черные воинские юрты, составленные по десяти вокруг шатра сотника, горбились среди холодных густых трав.

Белые облака тяжело плыли в темном, непогожем небе.

Уж не первый день стоял здесь стан Тимура. Среди тысяч воинских юрт высились просторные белые юрты повелителя, опоясанные алыми ремнями. Он пришел зимовать сюда, где много лет не бывал, — недаром исстари говорят, что все, кто бы ни глотнул карабахской воды, тоскуют о Карабахе и, как бы далеко ни ушли отсюда, придут назад.

Черным садом исстари звалась эта страна, где от края до края простирались сады, тенью своей застилая всю землю. Прежде простирались сады, а ныне распростерлись выпасы и выгоны, ибо на здешних травах могучей силой наливались кони, становились статней и ретивей, как ни на каких иных лугах. И если воины хотели одобрить чью-нибудь мужественную осанку и стойкий нрав, говорили в похвалу: «Как карабахский конь!»

Сама трава росла здесь буйно, исполненная живительных соков, и ни грозные холодные ветры, ни сокрушительные горные ливни, ни густые снегопады не могли измять карабахских пастбищ. Ради приволья коней, для своей конницы еще в прошлые годы монгол Хулагу велел вырубить здесь сады, вытоптать поля, раскинуть во всю ширь Карабаха вольные выпасы.

Воздух был ясен, и по ветру далеко разносилось то мычанье стад, то норовистый визг молодых лошадей, то лай пастушьих собак.

Было сыро, свежо, ветрено. Вскинувшись, хлопали кошмы незапахнутых юрт. Быстрый дым стлался по земле, врвался в травы, а то светлел, поднимался столбом, но вскоре снова поникал и прижимался к травам.

Вздувались гривы коней, поставленных на приколы около юрт. Псы пробегали бочком, ставя грудь против ветра.

Воинам было здесь вольготно, еды давали им вдоволь. Люди бодрели, добрели, наливались, как кони, силой и резвостью: возня, игры, борьба, веселые взвизги и возгласы достигали белых юрт повелителя.

Он один был здесь молчалив и лишь изредка являлся посидеть в кругу жен или внуков.

Но во все это время у него перебивало немало людей. Разных людей и в разное время. Были и такие, что являлись в ночной тьме и во тьму уезжали. Сменялись лошади на приколах, сменялись гости и вестники, а он слушал, скупно откликаясь на их слова, и молчал, молчал, думая свое, своими думами озабоченный, никому не высказывая своих забот.

Изредка он проезжал с одним лишь оруженосцем через те или иные становья, неожиданно останавливался, если хотел что-нибудь рассмотреть, и, не говоря ни слова, уезжал дальше, не замечая, как замирали люди при его появлении.

В эту пору никто даже из ближайших людей не смел заговаривать с ним. Он и не откликнулся бы, и

при встречах все молчали, пока ему самому не понадобилось спросить их. Спрашивал он редко, а если спрашивал, так не столько вельмож, сколько простых воинов. И опять, ничего не сказав, ехал дальше. Ни лисий треух, отвернутый на макушку, ни серый из верблюжьей шерсти чекмень ничем не отличали его от простых воинов, но укрывали от ветра и от дождей, а выезжал Тимур при всякой погоде. И чаще ездил он в непогожие дни, когда ему казались видней все непорядки и промахи в устройстве станов.

На закате Тимур донесли, что длинным путем из Китая прибыло двое бухарских купцов и с ними какие-то китайцы.

Тимур велел привести к нему этих бухарцев и стоял перед своей юртой, глядя, как клубятся облака, прикинувшиеся причудливыми чудовищами, и то протягивают по небу чешуйчатые хвосты, то вздымают пухлые хоботы.

Темнела, притихала долина, и кое-где по стану затепливались огоньки очагов.

Лишь завидев приближавшихся бухарцев, Тимур зашел к себе и сел напротив входа. Оба купца так схожи оказались между собой, словно двоились в глазах Тимура, хотя лица их не имели сходства. Оба шли легко и слегка наклонившись вперед, оба были стройны и высоки, оба носили халаты в обтяжку, затянув пояса так, что полы не распахивались на ходу. Оба поклонились одновременно, молча, и молча опустили рядом, поджав под себя ноги.

Не одна тысяча купцов из страны Тимура вела торговлю с Китаем. Тысячи их проходили со своими караванами той самой дорогой, кочевали на тех же местах, пили воду из тех же колодцев, где еще за тысячу лет до того и за два тысячелетия до того пролегал Великий Шелковый путь от побережий Тихого океана к городам Римской империи, где шли караваны, неся поклажу к берегам Янцзы, встречные — к берегам Тибра. Монгольские орды затоптали дорогу, разломали стены постоянных дворов, завалили грязью колодцы. Шелковый путь затих и зарос полынью, как русло иссякшей реки. Немало договоров заключал Тимур, чтоб расчистить торговый путь от степных разбойников, чтобы снова, как прежде, протянулась древняя дорога от Китайского моря к Адриатике через самаркандский базар, чтобы по краям ее зацвели зачахшие города, — недолго соблюдались договоры, набегали новые орды, сменялись цари и ханы, могучий торговый поток проточил себе другие русла, стороной от земель Тимура, и лишь редкие караваны, как одинокие упрямые роднички, порой сворачивали в это извечное русло между песков и камней.

Все чаще и чаще задумывался Повелитель Мира о новых походах, чтоб возродить Великий Шелковый путь, отвадить от него монголов, подчинить их волю своей воле, а весь Китай взять в свои руки. Здесь, у себя в стане, он держал и потомка монгольских ханов, чингизида Ульджай-Тимура, безропотного, неприметного, копившего в душе своей горечь при виде славы и могущества, которые достаются в удел не ему, а Тимур. И чем больше побед и почестей доставалось Тимур, тем крепче ожесточалось сердце Ульджай-Тимура, тем преданнее Тимур становился он, ибо видел, что лишь милостью Тимура богат, что лишь по его милости в нужное время поднимется над своим народом, чтоб низложить весь тот народ под пяту своему благодетелю.

Но еще много городов покорить, много походов пройти, много битв выдержать надо было Тимур, прежде чем повернуть свои силы в бесприютные степи монголов и посадить над ними исполнительного слугу, этого Ульджай-Тимура. Держал чингизида при себе, как держал запасных коней, на которых, может быть, и не придется никогда выехать в поле. Лишь изредка Тимур вспоминал о царевиче, посылал ему чашку вина из своего бурдюка или поднос еды со своего пира. Нечастой была такая милость, но чем реже она оказывалась, тем дороже была полузабытому всеми Ульджай-Тимур. Одиноко мечтал он о раздолье монгольских степей, о своей белой юрте, которую поставит на холме над могилой Чингиза, о Китае, с которого прикажет собирать великую дань по обычаю своих предков, о китайском императоре, которого низвергнет, обесславит, лютой казнью казнит за изгнание из китайских городов монгольских баскаков и

властителей. Ульджай–Тимур мечтал одиноко, но тем выше воспарялись его мечты, чем больше стран покорялось Тимуру. Как он усердно стал бы служить Тимуру, как угадывал бы всякое его желание, как жестоко искоренил бы по всем своим ордам всякую неприязнь к Тимуру, всякое своеволие. А там... ведь Тимур смертен! Ведь настанет время, и вся кочевая степь останется одному владыке, гордому чингизиду, царевичу Ульджай–Тимуру! О, тогда он вернется в Самарканд, сам сядет в Синем Дворце, повелит кинуть к его ногам этих ягнят, этих внучат Тимура, изречет им свою волю и, если будет в тот день расположен к милостям, помилует их, поселит их в юртах на краю своего необозримого кочевья...

Тысячи купцов из страны Тимура торговали в Китае, шли туда, приходили оттуда. Не столько шло караванов по быломu великому Шелковому пути, как в давние времена, — того уже не было, но торговля шла, и среди тысяч купцов было немало таких, что в потайных складках халатов скрывали бронзовые пайцзы Тимура, открывавшие доступ в его высокое становье.

Теперь явились сюда двое из них, и Тимур ждал, что они ему принесли.

— Великий государь! Милосердный господь пресек земные дела китайского царя.

Тимур встрепенулся:

— Умер?

— Милосердный господь призвал его, чтоб злодей дал отчет в совершенных...

Тимур прервал бухарское велеречие:

— Давно?

— Второй месяц, как...

— Где ж вы плелись, почему не сразу мне...

— Двумя неделями ранее достигли бы мы победоносного воинства вашего, великий государь, когда б не произвол и не насилие ферганского правителя...

— Какого? — удивился Тимур.

— Благословенного мирзы Искандера.

— А что?

— Пребывая в походе, он встретил нас на дороге и вверх в полное разорение.

— При вас были пайцзы!

— Никто не пожелал взглянуть на них, доколе мирза Искандер не собрался в обратный путь.

— Какой путь? Откуда?

— Он захватил нас в Кашгаре и, лишь отправляясь домой, к себе в Фергану...

— Вы ошалели, ошалели, а? Как мирза Искандер оказался в Кашгаре?

— Великий государь! Благословенный мирза Искандер завоевал Кашгар, освободил монгольские кочевья от их стад и от их имущества, снизошел до сбора податей с кашгарских базаров и...

— И много собрал?

— От скрипа его арб, обремененных добычей, ныне сотрясаются дороги от самого Кашгара до ворот Ферганы. А добытые стада покрывают все пастбища, какие смогло охватить наше зрение.

Тимур привык слушать от своих проводчиков всякие вести, добрые, тревожные, неожиданные–негаданные, желанные и досадные, всякую весть умел слушать с неподвижным взглядом,

чтоб никто не понял, радует ли, тревожит ли, пугает ли его новая весть. Но это странное известие так озадачило старика, что он смешался:

— Ну, и что же он?

— Благословенный мирза...

— Да не мирза... Что ж этот китайский царь?..

Как всегда, когда на душе лежало что-то такое, чего он не мог понять, Тимур начал сердиться; сердясь, он заговорил быстрее, чем всегда:

— Злодей! Он сто тысяч правоверных мусульман повелел убить. наших купцов, наших людей! Сто тысяч! Я ему!.. Как же он умер, когда мне с него надо... Он искоренил всех мусульман, он ислам искоренил по всему Китаю! Он должен был мне отвечать за это! А теперь... Кто сел на его место? Я взыщу с этого. Кто там теперь? А?

Перед возрастающим гневом повелителя бухарцы поднялись с земли и стояли, оба одного роста, оба одновременно кланяясь в ответ на каждое восклицание Тимура.

— Великий государь! С нами прибыли послы от нового царя.

— Послы? Как же они прибыли? Втайне?

— С нами. Они купцы.

Одному из вельмож Тимур поручил заботу о прибывшем посольстве и наконец отпустил бухарцев.

Он послал гонцов скакать в Самарканд и в Фергану за новостями и, оживленный, как в битве, быстро обдумывал все, что теперь надо делать, как поступить, когда новый император еще лишь осваивается со своей властью, когда...

Вдруг он вспомнил о монгольском царевиче и послал за ним.

Тоненький, как хилый мальчик, перед Тимуром предстал темнолицый старик с реденьким белым пучком волос на подбородке и суетливый, охваченный не то дрожью, не то множеством всяких движений, в которых, казалось Тимуру, не было никакого смысла.

Выждав, пока суетливость царевича слегка улеглась, Тимур снисходительно сказал:

— Вот что... Китайский царь испустил дух. Конец!

— О!

— Ты слушай: китайцы прибыли. От нового царя ко мне. Известить о горестной утрате. Я их завтра призову. И тебя. Чтоб они видели тебя, чтоб в Китае знали, что монгольский хан здесь. Что он со мной! Чтоб знали! Ты явись в ханском обличье. Своих людей подготовь, чтоб достойно с тобой пришли. Вы тут, может, позабыли, как держать себя надо, как свое достоинство надо блюсти. Так вели им опомниться, да и сам на это время опомнись. Чтоб китайцы будущего монгольского хана при мне видели! Понял? То-то.

Оставшись один, Тимур поднялся: «Вот она, новая забота!» Его вдруг перестали так занимать и тревожить ближние дела, как они занимали и тревожили его еще сегодня. Хотелось скорей нанести удар по непослушным армянам, затаившимся в щелях своих каменных стен; пройти в Египет, на вавилонского султана; сломить могущество Баязета, нагнать тут на всех страху, сокрушить окрестные твердыни и потом... Китай!

Его охватило нетерпение. Он встал: «Китай!»

Он знал, что по всему простору Китая мерцает никем еще не тронутое золото, высятся фарфоровые

башни над торговыми городами, плывут корабли, отягощенные товарами... Извечный Китай! Сразу он стал Тимуру необходим. Сразу завоеватель весь потянулся к этой новой мечте.

Он вышел из юрты, глубоко и жадно глотнул прохладного воздуха и остановился, глядя в сторону гор: за теми горами — море; за тем морем степи; за теми степями — Китай. Китай!

* * *

Солнце в Карабахе западает медленнее, чем в Самарканде, где вечер краток. Дневной свет угасал не спеша, а ясная синева в небе меркла долго.

Младшие царевичи дважды в день занимались с учителями — ранним утром, едва наступал рассвет, и перед вечером, в конце дня.

Внуки повелителя разместились в нескольких юртах. Учителей допускали сюда лишь на время занятий. Днем царевичей навещали царедворцы, навещали и ровесники, товарищи игр и развлечений. Бывали дни, когда ездили на охоту или смотреть лошадей в табунах, где у пастухов находилось много забавных рассказов о лошадях, о походах, сказок о необыкновенных происшествиях; иногда запросто выезжали в степь проехаться, скакали там наперегонки, испытывая своих коней и на скаку подзадоривая друг друга; в другие дни ходили пройтись по воинскому стану, присматривались к обыденной жизни воинов, заходили посмотреть юрты старших царевичей.

Здесь Улугбек деловито, с озабоченным видом знатока судил о лошадях своих и чужих, спорил о беркутах, сидевших на привязи, не без зависти любовался соколами Халилия, прося сокольничьих выносить птиц на свет из юрты. Самого Халилия заставляли редко: они с Султан–Хусейном подолгу пропадали среди своих войск или в дальних станах.

В тот вечер, после занятий, Улугбек с Ибрагимом, как всегда, явились ужинать к бабушкам.

Царицы здесь скучали, и каждый день придумывалось какое–нибудь зрелище или празднество для их потехи.

В тот вечер, едва пришли мальчики, все вышли из юрт наружу и сели на коврах среди травы. Предстояло смотреть плясуний, привезенных из Индии.

Разожгли высокие жаркие костры, и, когда пламя поднялось, небо сгустилось и потемнело. Плясуньи неожиданно возникли между двумя пылающими кострами и в полыхающем свете засверкали украшениями.

Смуглые гибкие девушки плясали в нарядах легких и ярких, как лепестки.

Позвякивая бубенцами, припаянными к браслетам на запястьях и на щиколотках, девушки то мчались в цветистом коловороте, то, как древние медные изваяния священных танцовщиц, становились плоскими, и тогда движения их рук, их длинных гибких пальцев, повороты их пленительных лиц поведывали о чувствах и раздумьях, неведомых и непостижимых царицам Самарканда.

Сарай–Мульк–ханым, распорядившись привезти ей за тридевять земель этих полунагих богинь, хотела своими глазами взглянуть на отблеск того далекого мира, о котором слышалась от внуков, погулявших по Индии, и от придворной знати.

Улугбек сидел рядом, за ее плечом, как Ибрагим сидел позади притихшей Туман–аги.

Насмотревшись, великая госпожа задумалась: пляски своих, домашних рабынь хотя давно ей прискучили, но были с детства привычны и потому казались милей, эти же чем–то растревожили и озадачили ее. Она не могла понять, чем растревожило ее чужедальнее, необычное, гибкое, полное достоинства действо — ласковое, но и какое–то зловещее... Плясали ей будто и покорно, но будто и

независимо...

Она полуобернулась к внуку, и он уловил в голосе бабушки несвойственную ей неуверенность.

— Ну, Улугбек? А?

Он ничего не сумел ей сказать, еще не поняв ее вопроса. Лишь помолчав, зная, что бабушка ждет его ответа, он придумал сказать ей:

— Как книга с рисунками, а надписи на неизвестном языке.

— Умник! — оживилась бабушка, но опять задумалась: не поняла, что хотел он сказать. Да ему и самому оставалось непонятно и темно, чем взволновали его странные пляски.

Девушек увели.

На смену им пришли служанки, неся подносы со сладостями, расставляя блюда с ужином.

Зазвенев золотыми подвесками, монгольская куклолка царица Тукель—ханым оскорбилась:

— Дерзкие девки! Звякают у нас перед самым носом, ляжками крутят, а мы — смотри! Придумали этакое!

Но и она не знала, чем раздосадовала ее независимая красота растерзанного народа.

Когда мальчики пошли к своим юртам, после больших костров ночь казалась им непроглядной. Снова заветрело. Они шли сгорбившись, чтоб холодный ветер не проскользнул под халаты. Их юрты, по желанию деда, стояли возле воинских юрт, дабы царевичи сызмалу привыкали к походным обычаям.

Не любя дым внутри юрты, Улугбек распорядился развести костер снаружи, перед входом, а жаровню вкопать в юрте неподалеку от входа, чтоб можно было греться, дыша чистым холодным воздухом.

Протянув ноги к жару, накрылись стегаными одеялами и сидели, лениво разговаривая, озаренные мечущимся огнем небольшого костра.

Мыслями вернувшись к утренним занятиям, Улугбек сказал:

— В толкованиях достопочтенного Джелал—аддина Румского...

Но, видно, Ибрагим не слушал брата.

— У них пальцы как ящерицы.

— У кого?

Вошел Халиль—Султан, вернувшийся из дальней поездки, и разговор прервался.

Скидывая с плеч чекмень, Халиль весело спросил:

— Хорошо поужинали?

— Жареные жаворонки!

— Жаль, опоздал.

— Смотрели делийских плясуней.

— Знаю: их сюда Пир—Мухаммед прислал. Я там и не таких видал. Эх, Улугбек, — Индия!

Халиль—Султан щелкнул пальцами, не находя слов:

— Индия... Индия!

Как рассказать о том, чему надивился он там за время похода!

Улугбек осторожно, затаив усмешку, спросил:

— Говорят, вы там даже стихи писали?

— Султан–Хусейн наклеузначал? Успел!

Улугбек смутился и уклончиво пожал плечами:

— Разве один Султан–Хусейн был с вами?

— Один он совал нос ко мне в сумку.

— В сумку? Значит, стихи записаны?

Теперь смутился Халиль:

— Не все. Некоторые. Чтоб не позабылись. Записывал для памяти; дедушкины приказы, индийские слова, мудрые изречения. Думаю, потом разберусь, что к чему.

Улугбек допытывался:

— А о чем они?

Ибрагим, повторяя лихое движение рукой, перенятое от кого–то из взрослых, по–взрослому прищурился:

— Небось о любви!

Халиль–Султану не понравилось в Ибрагиме подражание взрослым, и он ответил не Ибрагиму, а Улугбеку:

— О чем? Э, о разном.

— А хорошо вы пишете?

— Если б был жив Хафиз, я съездил бы к нему, спросил бы. Да Хафиза уж лет двенадцать как нет. Откуда ж мне знать, хорошо ли? Записал, как спелось... А ты хочешь послушать?

Улугбек был и польщен, и обрадован, но и смущен таким прямым, бесхитростным вопросом старшего брата.

— Я? Я... Очень бы хотел. Если можно...

— Можно. Ну–ка, вот... как тебе покажется?

Халиль–Султан отвернулся куда–то в глубь юрты, припоминая ли начало, выбирая ли, с какого из своих стихотворений начать.

— Вот... Если заметишь что–нибудь, ты прямо скажи. Начистоту. Я тебя попрошу: ты их для меня перепиши. Начисто. У тебя почерк красив.

Улугбек поскромничал:

— Вы сами прекрасно пишете.

— Нет. Мне изощрять почерк некогда. Моей руке копые легче держать, чем тростничок.

Улугбек, стремясь соблюсти скромность, отказывался, но Халиль отмахнулся от его отказов:

— Перепиши, потрудись. Я тебе за это...

Он подыскивал, что бы такое посулить, чем бы порадовать Улугбека за услугу, и вдруг засмеялся, догадавшись:

— Я тебе сокола подарю! Хочешь?

Это превосходило все мечты Улугбека: соколы, приваженные к охоте на птиц, привозились издалека; лучших добывали на Руси, за морем; каждый такой сокол ценился дороже десятка хороших коней.

А Улугбеку давно мечталось поохотиться с хорошим соколом. Изредка он выпрашивал сокола на один запуск, часто просить стеснялся, но знал, что Халиль плохих соколов не держал.

Как ни сдерживался, но восторга не мог скрыть.

— Сокола? Благодарен за посул! А стихи... Если это угодно вам, перепишу со всем усердием.

— Ну какое ж?... Не буду я читать! Лучше спою. Подайте—ка мне бубен.

Халиль—Султан прислушался к мерному рокоту тугой кожи, вскинул голову и весело сказал:

— Ну, хотите слушать?

И Улугбек и увалень Ибрагим, тоже любивший стихи и втайне даже пробовавший сам сочинять, захлопали в ладоши. Правда, вкусы мальчиков не совпадали, им нравились разные поэты, хотя и тот и другой не всегда понимали тех поэтов, которых они восхваляли друг перед другом.

— Пойте, пойте!

Халиль еще порокотал гулким бубном, задумался, опустил глаза и, когда казалось, что петь он раздумал, вдруг запел:

Среди лугов зеленых

один брожу,

На снеговые горы

пытливо гляжу.

Но кого ищу среди лугов,

среди гор,

О ком грущу,

не скажу.

Едва я встречу

тот орлиный взор,

Едва схвачу я

тот золотой узор,

Стаду перед ней,

как неживой, немой,

Ничего я ей

не скажу.

Без нее весь свет

мне станет тьмой,

И во рту язык мой

как не мой:

Со словом слов не свяжет

ни одного...

Пускай ей сердце скажет

я не скажу.

Он замолчал, склонившись к рокочущему бубну, будто ожидая ответа откуда-то из глубины, из недр того глухого гула, но, так и не дождаввшись, со вздохом повторил:

Я не скажу!..

Улугбек, не в силах скрыть торжества, неожиданно вскрикнул:

— Не скажете? А мы сами знаем!

— Знаешь?

Тогда мальчики оба захлопали в ладоши, ликуя:

— Знаем, знаем!..

В это время тихий, до ужаса знакомый голос переспросил:

— О чем это вы знаете?

Все повскакивали из-под одеял, а Ибрагим, не сдержавшись, ужаснулся:

— Ого!

Заслонив свет костра, в дверях стоял Тимур, вглядываясь в глубь юрты и свыкаясь с ее мглой.

— Вот то-то что «ого!», — с укором ответил дед.

Он сел сам, прикрывшись одеялом, а когда уселись и внуки, усмехнулся, повернувшись к Халилю:

— Сказать не можешь, а петь — поешь?

— Вы знаете, дедушка, порой спеть легче, чем сказать. Спеть порой и без слов можно.

— Так черные киргизы поют. Тянут-тянут... Во всей песне два, три слова, а выходит песня. И хорошо выходит, все ясно, все сказано. Всего два слова, а наговорено все, что надо. Вот как надо. А у тебя слов много, я там постоял, послушал. Там воздух свежей, я оттуда слушал, — много ты спел, да много ль высказал? А? Они вон, мальчики-то, и без песни про это знают. И я давно эту песню слышал: прежде чем ты ее сочинил, слышал. Думал, ты уж позабыл, тут ведь, на ветерке, голова свежей! А ты все про то ж! Все про то ж...

Дедушка говорил, не сердясь: говорил тихо, но с укором. Не только с укором — говорил сожалея, говорил, соболезнуя Халилю. А Халиль молчал, опустив глаза на смолкший бубен.

Тимур покосился: «Молчит? Упрямя!»

Видно, это краткое раздумье или какое-то воспоминание освежило Халиля. Он поднял посветлевшее, словно умытое, лицо и улыбнулся:

— Дедушка, угодно ли вам, чтобы я еще пел?

— Нет, не угодно. Зачем мне? «Я скажу — я не скажу...» Мне угодно, чтоб ты это выбросил из головы. Начисто! Лучше послушаем чтеца. Вызови, Улугбек, чтеца.

Давно, еще в начале своего властвования, Тимур учредил при своем дворе должность чтеца рассказов. В обязанности чтеца входило не только чтение различных книг, но и рассказывание новостей, благочестивых преданий, коротеньких забавных происшествий, перенятых из индийских сказок о мудром попугае, из арабского «Ожерелья голубки» или насмешливых рассказов о мулле Насреддине. Улугбек не

успел встать. Тимур уже передумал:

— Нет. Не надо, Улугбек. Не рассказчика будем слушать. Ты помнишь, я в Самарканде поручил тебе хранить книгу историка, который о нас писал и о вас с Халилем? Помнишь?

— Как же, дедушка!

— Цела?

— У меня в сундуке.

— Достань.

Книги лежали в сундуке Улугбека в порядке, каждая в своем шелковом чехле. В полумраке мальчик быстро нашел «Историю» на ощупь, но, чтобы не ошибиться, поднес к двери, ближе к костру.

— Гияс-аддин?

— Он самый.

— Вот она.

— Дай сюда.

Тимур подержал ее в руке и, хотя было темно, удостоверился, что это и есть та самая книга, проведя ладонью по темным для него письменам; он помнил шелковистую гладь этой желтоватой бумаги.

— Эта самая. Я велел ехать с нами другому историку... как его? Он где?

— Низам-аддин неподалеку. Он учит меня истории.

— Какой?

— Теперь читает нам об Искандере Македонце.

— Вели звать: пускай сейчас явится.

Пока воины скакали за историком, Тимур спросил Улугбека, возвращая ему книгу:

— Что же он, этот Македонец?

— Великий завоеватель.

— Сам знаю. Будь он велик — был бы здесь. А то — где он? Что тут осталось от него?

Заговорил Ибрагим:

— Однако учитель объяснил нам: Мухаммед, пророк божий, назвал его в Коране среди собеседников божьих.

— Я не спорю с пророком. Я спрашиваю: где великие дела Македонца? Где? Если б велик был, дела остались бы! Великое — вечно. Человек уйдет, а его великие дела остаются. Фараоны были язычниками, а и то от их великих дел стоят пирамиды, башни, каменные львы с девичьими ликами. Многие видели поныне целы. Я еще не видел, а еще посмотрю. Сам посмотрю. А от Македонца что уцелело? Великий? Нет, великое — вечно!

Халиль-Султан покосился на дедушку:

«Ревнует! Дедушка ревнует».

В юрту впустили историка; было видно, что подняли его с постели, застали врасплох; его нерасчесанная борода всклокочилась; верхний халат он так боязливо и плотно прижимал к себе, словно решился вдавить его себе в живот, — видно, кроме исподнего, ничего не успел надеть под халат.

— Ну? — строго спросил Тимур. — Македонца считаешь великим? Этому и царевичей подучиваешь?

— Великим, великий государь, — по указанию пророка божьего...

— Еще раз говорю: я не спорю с пророком. Ему виднее. А вот не вижу, где великие дела этого Искандера Македонца, где след его?

Историк стоял, испуганный словами Тимура; может быть, в них следовало усмотреть богохульство, языческую дерзость, а может быть, в них содержался глубочайший смысл, поелику Македонец хотя и прославлен пророком, но был язычником?

Тимур неожиданно заговорил о другом:

— Я велел прочитать книгу историка... Гияс-аддина. Она тут, у мирзы Улугбека. Читал ты ее?

— Единожды.

— Дважды в ней читать нечего. Понял се?

— Изысканный язык.

— Тем и нехороша. И потом: убивают людей, что ни страница — кровь!

— О ваших мирозавоевательных трудах, великий государь!

— Нехорошо. Надо писать: взят город. Кто умен, тот поймет — город не лепешка, голой рукой его не берут, калекам его не подают. Взяли, — значит, убивали, жгли. Но ведь взяли! Вот и напиши: город взят. А он о дерзости врагов писал, как о подвигах. А о нас — как мы убивали. Вот на, возьми книгу, перепиши ее. Ясным языком, не изысканным. Чтоб каждый понимал. Кровь поубавь. Я сам помню, без книги, где была кровь, где огонь. Мое дело! Возьми, пиши.

— Великий государь! Она написана другим историком. Принадлежит его руке.

Тимур удивленно запрокинул голову:

«И этот упрямится?»

Но историк ему был нужен, и, сдержав гнев, повелитель проворчал:

— Принадлежит его руке? Разве не я хозяин? Он писал мне, я ей и хозяин. Тот писал, теперь ты пиши. Пиши ясней: пиши основу, а не мелочи. Обдумай с умом. Возьми.

Низам-аддин несмело принял из рук Улугбека закрытую книгу и, не раскрывая ее, прижал к себе.

Тимур спросил:

— Этот Двурогий Македонец... У тебя есть книга о нем?

— Есть, великий государь. Ветхий список, но есть.

— Когда тебя кликну, принеси. Почитаешь мне. Чем они ухитрились доказать, что он велик. Я эту книгу слушал, давно. Послушаю снова. Чем велик? А ты иди и думай, думай, а уж потом пиши.

Отпустив историка, Тимур натянул повыше тяжелое одеяло и откинулся на подушки.

Низам-аддин, засунув книгу за пазуху, чтоб оберечь се от сырого ветра, еще нашаривал за дверью свои туфли, а к Тимур уже вошел воин с вестью:

— Прибыли купцы из Герата. Сказывают, занятный товар привезли.

Ибрагим душевно сказал:

— Что же это? Из-за купцов дедушке не отдыхать, что ли? Надо отдохнуть, купцы подождут до утра.

Никто не смел давать советы Тимору. Он не терпел, если ему говорили свое мнение, пока он не спросит сам. А тут малыш, такой ягненок, сунулся в дедушкино дело, советует. Надо бы внучонка проучить. Но может быть, Тимур потому и любил бывать среди внуков, что лишь от них иногда перепадало ему участливое сердечное слово, нечаянная ласка, проблеск простой любви. Все остальные люди были обязаны выражать ему свою преданность, и лишь внуки выказывали то, что зрело у них на душе.

Тимур провел костлявой ладонью по прохладной щеке Ибрагима и встал:

— Надо глянуть.

Ибрагим, осмелев, настаивал:

— Ночь, дедушка! Темно. Никакой товар не виден. Утром видней. Посидите с нами. Отдохните у нас, дедушка.

— Отдыхают те, у кого силы иссякли. А кто может двигаться, должен двигаться. Вы—то ложитесь: вам пора. Пойдем, Халиль. Захвати бумагу: может быть, что—нибудь записать понадобится. А вы спите, не ждите Халиля: мы можем долго разбирать товар. Спите, мальчики. Я узнаю, здоровы ли ваши родители в Герате, а завтра вам Халиль скажет, каково им живется, здоровы ли... Спите.

Улугбек удивился: дедушка всегда брал с собой не Халиля, а его, если предстояло что—нибудь записывать. Теперь взял Халиля! Это и озадачило мальчика, и раздосадовало, словно право записывать для деда было навечно присвоено Улугбеку, словно Халиль посягнул на заветное право Улугбека.

Тимур пошел пешком, давя сухие, хрусткие былки бурьяна, невидимые в темноте.

Вскоре он различил гератцев, стоявших у костра, и позвал их.

Гератцы долго топтались у входа, уступая друг другу честь первым последовать за хозяином, ибо каждый из них боялся первым предстать перед ним.

Воины затеплили светильники. Юрта заблестала ворсом шелковых ковров, окованными сундуками. В ней не было никакого оружия.

Купцы разложили чужеземные диковинки. Тимур милостиво принял это подношение. Ничего другого купцы ему не показывали: они приехали сюда не торговать, — это были его проведчики, и товаром их были те вести, которых Тимур ждал.

Он слушал, все более и более хмурясь, о сыне своем мирзе Шахрухе. О своре богословов и книжников, обступивших царевича, завладевших его помыслами, направлявших его поступки. Эти богословы из Аравии, из Ирана сбежались в Герат, как гиены на падаль. Обжились в Герате, стали чванливы, заносчивы, устраивают пышные богослужения в мечетях, а в остальное время держат Шахруха, как взаперти, во дворце, обложив его книгами, по неслыханной цене скупая ему старые книги со всего Ирана, посылая людей за книгами в Индию, наживаясь на этой приверженности Шахруха к книгам. Имена этих шейхов, святош и мракобесов, одного вслед за другим, четко записал Халиль.

Царевна Гаухар Шад—ага сама ездит на постройки; ездит смотреть, хорошо ли строятся и перестраиваются крепости; сама дает распоряжения о выдаче содержания войскам. Сама назначает и снимает вельмож: даже печать мирзы Шахруха носит у себя на поясе, а он свою подпись ставит лишь в том месте указа, где она царапнет своим ноготком.

Она сама раздает и области. Во всех областях сидят ее соглядатаи, ей доносят, по ее слову, случается, сверкает меч палача или срывается с тетивы стрела подосланного убийцы.

Не государственный разум, а причудливый ум, покорный женским прихотям, правит той страной, пока правитель ее Шахрух обсуждает с каллиграфами и художниками новый список сказаний Фирдоуси

или размышлений индийских историков, пока разряженные бродяги ведут перед правителем споры о том, следует ли считать Искандера Македонца пророком, поелику в Коране сказано, что сам бог говорил этому язычнику: «О Двурогий!..»

Велико ли, исправно ли войско у мирзы Шахруха? Оно невелико, число его не увеличено, но содержится исправно. Однако все тысячники подобраны и назначены не правителем, а его супругой, царевной Гаухар–Шад. Все ей служат, не о силе Тимуровой державы радеют, а перед царевной выслуживаются.

Из тысячников там теперь мало таких, что прославлены в походах Тимура, — больше тех, чьи деды прославлены в походах Чингиза. Имена всех этих тысячников четко записал Халиль: в нужное время дедушка подумает над каждым из этих имен.

Ночь истекала.

Перед утром заветрело, и во тьме по всей степи зашелестела трава.

Улугбеку казалось тяжким одеяло, ниспадавшее с жаровни.

«Почему дедушка взял с собою Халиля?» — думал Улугбек, сдвигая одеяло с плеча.

Он совсем откинул одеяло. Стало свежей, но ему не спалось.

Много времени спустя он начал было задремывать, но вдруг очнулся: ему почудилось, что дедушка возвращается в юрту. Но, очнувшись, он понял, что ни дедушки, ни Халиля нет, — только ветер шелестел травой в степи.

Спать не хотелось. Улугбек опять подумал: «Почему Халиля!» — и заплакал, уткнувшись в постель, чтобы Ибрагим не услышал рыданий, которых мальчик никак не мог удержать.

Девятнадцатая глава

ЦАРЕВИЧИ

Предрассветная лазурь, как изморозь, проступила на башнях Синего Дворца, но во дворе десятки факелов едва могли рассеять густую ночную тьму.

Во двор торопливо входили воины, тесня друг друга. Молчаливо, почти бесшумно вводили вьючных лошадей, спотыкавшихся под грузной поклажей, прогнали толпу пленников или невольников со связанными за спиной руками. Отирая рукавами пыльные лица, воины вели за собой усталых заседланных коней. Так случалось, бывало, возвращаться Хромому Тимуру из удачного набега. Но этих возглавлял не Тимур, а Худайдада, не менее пыльный, чем его спутники. Он один въехал в ворота, сидя в седле.

Пламя факелов заблестало на остриях копий, на кованных поясах и конских бляхах.

Едва вошел последний воин, ворота наглухо захлопнулись.

Услужливые рабы суетливо кинулись развьючивать лошадей. Пленных прогнали через двор, светя им факелами, в дворцовые подземелья. Освободившихся лошадей развели по стойлам. Все исполнили быстро, привычно.

Лишь факелы остались пылать, пока рабы расторопно подметали двор, и долго в неторопливом зимнем рассвете высились дворцовые башни, мерцая бирюзой у вершин и обагренные факелами снизу.

Наконец Худайдада вышел на въезжий двор, осмотрел, любуясь, подведенного ему свежего коня и выехал со двора к дому правителя.

Худайдада застал Мухаммед–Султана на конном дворе.

Царевич стоял невдалеке от навеса, глядя, как конюхи выводят из денников пофыркивающих лошадей, пропахших за ночь клевером и навозом.

Намеченных к седловке окатывали свежей водой. Некоторые из лошадей приседали, дыбились или рвались из рук, но подручные конюха кидались с теплыми сухими тряпками и вытирали спину, бока, грудь, спеша, чтоб лошади не простудились.

Худайдада молча, почтительно поклонился.

— С благополучным возвращением! — ответил правитель.

Как ни хотелось царевичу поскорей расспросить старика, он снова отвернулся к лошадям, чтоб Худайдада не заподозрил здесь нетерпения и любопытства.

Да и Худайдада, казалось, забыл о тяжелой дороге и о всех своих недавних делах, поглощенный красотой лошадей, единственной красотой, которую не могла заслонить от него никакая другая красота на свете.

Мухаммед–Султан кивнул на коней:

— Горячи они у нас!

— Горячи, верно. Степные, дикие. Свежие, что ль?

— Эти вон недавно из Джизака, с выпасов. Едва объездили. Теперь ничего, обошлись.

— Хороши.

— Туда дедушка арабских жеребцов запустил. Лет десять назад.

— Ну, джизакские табуны известны!

Еще помолчали.

Мухаммед–Султан показал:

— Те вон два от дедушкиных арабов — вторым поколением.

— Серый—то статен, да что—то голова мала. А так, как отчеканен!

— Передние ноги не длинноваты?

— Задние зато как крепки! Обскачется.

Опять помолчали.

Обтертых коней начали седловать.

— Ну, пойдём! — повернулся царевич к дому.

Усадив Худайдаду, Мухаммед–Султан вежливо осведомился:

— В семье у вас благополучно ли?..

— Благодарствую. Еще не видался; я прямо к вам.

— Ну, как там?

— В Фергане я их не застал. Дороги вокруг города молчком занял, а сам ходил в мечеть, базар посмотрел, с людьми поговорил. К утру мои люди нескольких гонцов перехватили, — скакали из Ферганы к царевичу, остеречь, о моем прибытии оповестить. Я сперва разобрался, кто их слал. Днем ко мне и самих вельмож привели. Ну, сперва я добром спрашивал, отмалчиваются. Я пристращал — заговорили. А когда ремешки покруче затянул, так и совсем размякли, дружков назвали и все такое. Рассмотрел ясно: кто подстрекал, кто в том корысть получал, кто по чистому невежеству желал отличиться. Среди прочего перехватили письмецо Мурат–хана тож...

— Да он же на Ашпаре!

— Будь он на Ашпаре, не писал бы из Ферганы. А он не только что в Фергане, а и на поход подбивал царевича: «Отличись, мол. Воинствуй, побеждай, набирайся опыта, расти свою славу». Ну, как есть он царевне Гаухар–Шад–аге кровный брат, ремешком я его не стал крутить. А только при остальных вельможах говорю: «Тут нехорошо. Надо немедля в Самарканд ехать». А сам знаю: против моей воли не пойдет, понимает, что весь он есть в моих руках. Хоть и не ждет добра в Самарканде, хоть и жметя, а послушался. Я ему при всех говорю: «Не бойся, охрану я дам; не то — дорога пустынная, боязно». А сам знаю: он заносчив, самому Гияс–аддину Тархану сынок, самолюбив, охрану у меня не возьмет, со своей поедет, ведь не знает, что и в его охране мои люди есть. Скажи я «опасно», он, может, и взял бы. Да я не сказал, я сказал: «боязно». Так и вышло — говорит: «Мне ли боязно? Сам доеду, без вашей охраны!» Я его при людях остерег, все слышали: «Дорога пустынна, говорю, смотрите!» Мурат–хан не внял, сам по себе поехал. Охраны десятка полтора было с ним. А что они сделают, полтора десятка? Так и вышло: день ехал, другой ехал, — все хорошо. А на заре случилось на него нападение. Люди его хватились было обороняться, да у него кто–то лошадь вспугнул, и она понесла, а седок в стремени запутался. Растрепало седока до смерти, еле опознали — по перстеньку да по сапогу.

— Нехорошо! — сплюнул Мухаммед–Султан. — Нехорошо: такой случай уже приключался. С его же гонцом. А теперь — с ним самим. Догадки будут.

— Что ж поделаешь! Сами говорите: лошади у нас горячи.

— Горячи, это верно, — степные, дикие! — подтвердил Мухаммед–Султан.

— А иначе как было быть? Послать его к вам? А вам как быть? Надо б его с остальными наказывать, а в Герате обидятся. Помиловать? А куда его деть, помилованного? Назад в Фергану или в Герат? Добра от него не будет, а зло свое он и туда понесет. К государю послать — так и у государя та же притча выйдет. Только на себя его гнев навлечем: государь не любит, чтоб перед ним притчи ставили, когда их самим можно раскусить.

— Об этом я не говорю. Вот о лошади только. Лучше б было как-нибудь иначе его...

— Может, на старости оплошал; иного не выдумал.

— Ну, а потом?

— А потом так: побыл я два дня в Фергане, разобрался во всем: кого надо было, запер на замок — и для всех врасплох поднялся да и кинулся мирзе Искандеру навстречу. Увидели они меня: не верят своим глазам. Воспитатель царевича на меня: «Как смеешь?» Я ему указ. А он мне: «Указ не признаю, печать не на месте». Я только тут и посмотрел — печать в самом деле не на то место попала: мы ее наверху и сбоку припечатали. Вижу, хочет время выиграть! «Нет, — думаю, — печатью не загородишься». Велел я хватать, начавши с воспитателя. Всех зачинщиков связали, мирза только ногами топчет, а что сказать мне, сам не знает: оробел. А дальше вернулся я в Фергану, дал там, какие надо, указы. Кое-кому помог на месте помереть, тридцать человек сюда привел. Из царевичевой добычи, да и казну тоже сюда привез. Вот и вернулся. Самого царевича в Синем Дворце запер: лихорадка его бьет, пускай отлежится.

Внесли грубое деревянное блюдо с маслом, покрытым горячими тонкими, как бумага, лепешками. Разорвав и скатав трубочкой, Мухаммед-Султан макнул лепешку и предложил визирю:

— Кушайте! Лихорадка бьет? Пускай отлежится, — поедим, тогда уж и поглядим. Печать мы, значит, не туда поставили?

— Мне невдомек было, когда сам я неграмотен, а там народ темный. Сошло: бумагу видят, печать видят, а что к чему, не смеют спросить, без спросу слушаются.

— Будь у вас две печати на месте, да не окажись воинов, и двум печатям не поверили б. А когда перед тобой воины, печать против них — не щит.

— Истинно!

И оба долго ели молча, наслаждаясь теплом хлеба в утреннем холоде.

Худайдада съел много, насытился; сказаласть усталость: потянуло в сон. Он заметил, что Мухаммед-Султан кончил есть еще раньше, но не встает. Правителю не хотелось говорить с Искандером, он оттягивал время встречи, обдумывал ее.

Прежде был охвачен гневом, нетерпелив, спешил расправиться со своевольником. Но когда срок расправы приблизился, Мухаммед-Султана охватило не то сомнение, не то робость. Чем больше он сидел, молча и задумчиво, тем меньше оставалось сил, чтобы говорить с Искандером.

Мухаммед-Султан ехал в Синий Дворец с усилием, будто на крутую гору, Худайдаде всю дорогу приходилось осаживать своего коня, опасаясь опередить правителя.

Они прошли не спеша через мрачную роскошь приемных зал. В большой купольной зале ласточек еще не было, — они зимовали в Индии, но скатанные ковры и пол сохраняли следы их гнездования: белые пятна помета пестрели отовсюду в этом огромном помещении, куда с отъезда Тимура никто не заглядывал.

Мухаммед-Султан угрюмо прошел еще несколько комнат и наконец спросил:

— Где он?

— Дальше. В маленькой над воротами.

— Оттуда весь город виден.

— И ладно: пускай любит, — не его город.

Мухаммед–Султан вяло свернул в сводчатый проход к воротам.

Вдруг он увидел в уединенном углу двоих рабов, которые, обнявшись, чему–то смеялись. Веселье рабов сперва озадачило правителя, а вслед за тем вызвало в нем неистовый гнев. Он было сам кинулся на них, замахнувшись плеткой, но опомнился и только крикнул:

— Прочь!

Оба невольника мгновенно куда–то спрыгнули и пропали с глаз, но их веселье еще стояло у него перед глазами. Он заспешил к двери, за которой сидел Искандер.

Мухаммед–Султан нетерпеливо потопывал ногой, пока винтовой ключ, взвизгивая, углублялся внутрь замка.

Искандер сидел, когда распахнулась дверь. Он настороженно встал и, разглядев Мухаммед–Султана, почтительно поклонился ему, как младший брат старшему.

Мухаммед–Султан, не отвечая, разглядывал Искандера, умеряя в себе еще не стихший гнев. Наконец спросил:

— Довоевался?

Искандер глядел круглыми глазами, весь какой–то узкий, сплюснутый. Однако карие глаза смотрели пытливо и прямо.

— А, мирза Искандер? Довоевался?

Искандер не отвечал, все так же прямо глядя в глаза Мухаммед–Султану.

— Мальчишка! Как ты посмел?

Искандер подернул плечом, будто и сам удивлялся своей выходке.

— Куда лез? Войск тут нет, а ты!.. А если б они да за тобой бы следом? А? Тогда что?

— А вы? Вы сами на них тронулись, не опасались, что дедушка далеко.

— Проведал?

— А как же. Вы за мной, а я за вами... Почему бы мне не проведать о вас?

— Я сперва спросился у дедушки.

— А дедушка спрашивался?

— Как? — не понял Мухаммед–Султан. — У кого ему спрашиваться?

— Когда он в моих годах был, он ждал, чтобы его послали? Нет! Он сам надумывал, сам ходил, сам побеждал. Не так ли?

Слова Искандера озадачили было Мухаммед–Султана, но он ответил:

— Равняешь себя!

— Нет, беру пример.

— Как прилежен.

— Разве победителей судят?

— Слышал, — это из преданий об Искандере Двурогом. Там это сказано: «Победителей не судят». Ты возомнил себя победителем?

— Степняки отдали мне свою казну, а не я им.

— Тебе дали удел, — сиди. Правь. Возмечтал о чем, у меня спросись: правитель—то я, не ты. Тебе дан город, а мне эта страна, вся. Дедушке видней, кому что давать. Он над нами, мы ему служим. Забылся? Все должно быть в одной руке. Тогда она сильна, тогда ей никто не грозен. Тогда она всем грозна.

— Дедушка дядю Мираншаха осрамил, низверг. А за что? Слыхали?

— Ну—ка, за что?

— Что там сказал дедушка?

Мухаммед—Султан, опасаясь подвоха, смолчал. Искандер пояснил:

— Дедушка спросил дядю Мираншаха: «Зачем кормил войско, которое тебя не кормило?..»

— Вот то—то, что не кормил, не обучал, распустил войско. За то ему и...

— Каково оказалось войско, о том я не говорю. Дедушка спросил: «Зачем кормил войско, которое тебя не кормило? Рядом — богатые враги, чего ждал? У врагов — казна, почему не брал? Мою, отцовскую, брал, а вражескую берег, оставлял врагам». Вот что сказал дедушка.

— Дедушка правителем сюда поставил меня, а не тебя. А ты без спросу... А? А не стало б дедушки, ты что ж, отбился б от нас?

Искандер смолчал.

Мухаммед—Султан строго сказал:

— Вот тебя привезли ко мне. Будешь теперь здесь сидеть, для порядка. Чтобы в Фергане был порядок.

— Значит, сперва меня ограбили, потом заперли. На правах правителя?

— Правитель должен не только править людьми, но и выправлять их.

Искандер по—прежнему прижал к груди руки и вежливо, низко поклонился.

Мухаммед—Султан постоял, ожидая, не скажет ли чего—нибудь Искандер.

Так ничего и не дождался, а стоять молча было, пожалуй, недостойно правителя, словно ему очень нужен был ответ этого мальчишки.

Мухаммед—Султан быстро отвернулся и вышел.

Оставшись один, Искандер отошел к окну.

Мухаммед—Султан снова вспомнил о веселых рабах, проходя место, где они тогда смеялись. Понадобилось бы много усилий, чтобы их разыскать: в лицо он их не знал, а в Синем Дворце рабов сотни. Да и в чем их вина?

Он хмуро поехал домой.

Росла неприязнь к Искандеру. Сердила его дерзость: мальчишка, а спорил!

Мухаммед—Султан проехал уже более полпути, когда досада на Искандера возросла настолько, что Мухаммед—Султан повернул коня и поскакал обратно.

Быстро, чуть не бегом, миновал он залы и велел отпереть дверь узника.

Искандер все еще стоял у окна и, казалось, не удивился возвращению правителя.

С порога Мухаммед–Султан крикнул:

— Ты знаешь?.. Без дедушкиного указа своим домом управлять и то надо с оглядкой. Без дедушкиного указа даже о себе самом думать не должно. А не то что...

Искандер, не отходя от окна, упрямо ответил:

— Если б в наших летах дедушка о себе самом не думал да на своих соседей не поглядывал, он не стал бы нашим дедушкой.

— Так вот, и сиди здесь. И просидишь, пока я не дождусь указа от него. Он сам скажет, что мне с тобой делать.

Искандер ответил, вежливо поклонившись:

— Доносите!

Это было сказано, будто ударено.

Искандер отвернулся к окну, и Мухаммед–Султану ничего не оставалось, как в еще большей досаде уйти отсюда.

* * *

Наступили сухие морозные дни, безоблачные и бесснежные. Снег лежал лишь на горах, то блистая там, то розовея.

Было морозно, но не холодно. Холод стоял лишь в огромных нежилых залах Синего Дворца, когда Мухаммед–Султан, одевшись в теплые стеганные халаты, приподняв брововый воротник, слушал допрос приближенных Искандера.

Некоторые из них оказались молоды, дерзки и во всем потакали затеям своего царевича. Их привезено сюда было двадцать девять человек, и во всех было что–то общее — строгие зеленые халаты, туго повязанные небольшие чалмы, худощавые лица.

Лишь воспитатель царевича, избранный Тимуром из своих старых сподвижников, появился царственной поступью и телом оказался тучен.

Поверх багряного халата по всей груди он распустил бороду, как павлиний хвост, и глянул на Мухаммед–Султана с осуждением, как на расшалившегося малыша.

— Однако важен! — тихо сказал Мухаммед–Султан своему визирю.

Худайдада хмыкнул:

— У кого есть что–нибудь в голове, тому важничать незачем.

Оба эти старика тысячи верст прошли в различных походах, почасту их стремяна звякали одно о другое в часы, когда мирными беседами коротали они время длинных воинских дорог. Теперь Худайдада спрашивал, Мухаммед–Султан слушал, а воспитатель приневолен был отвечать.

Кончил спрашивать, и настало то беззвучное мгновенье, когда правителю должно решить и сказать приговор.

— Что ж... — не глядя на важного старика, решил Мухаммед–Султан, Повелитель Мира учит нас резать тех норовистых овец, что отбиваются от стада. И этого и тех остальных освободим от голов, что вывели их из покорности и послушания.

Побледнев, воспитатель Искандера сердито возразил:

— Повелитель Мира двадцать пять лет держал меня у своего мирозавоевательного стремени. Не было трудного дела, перед коим я сплеховал бы во имя Великого Повелителя. Вам ли о том напоминать, сами можете знать, кем я приставлен к мирзе Искандеру и кому я служу при мирзе Искандере.

— Мне ль не знать! — ответил Худайдада. — Да ведь воля здесь царевича, не нам с тобой от его воли отпрашиваться.

— Я поставлен на свое место самим повелителем, ему одному и спрос с меня, перед ним одним повинен.

Мухаммед–Султан зло посмотрел прямо на старика:

— Что ж... заковать да послать тебя на суд к дедушке? Этого просишь? Я пошлю. А дедушка о том же спросит. Будешь ему отвечать? А? Что ты ему скажешь? Ты мне скажи, что ему скажешь. Проси меня, я, так и быть, пошлю тебя.

Воспитатель провел ладонью по лицу, опустил голову и весь вдруг изменился. Ничто в нем не сдвинулось с места — так же сияла борода по груди, так же широки оставались плечи, но выглядел он совсем другим человеком: спесь слетела прочь, и старик сразу стал прост, каким был в давние годы, когда кидался в свалку своих первых битв.

— Ну? — переспросил Мухаммед–Султан. — Я уважу твои заслуги. Послать к дедушке?

Воспитатель поднял ясное, скорбное лицо и строго, повелительно, как бы воспитаннику, ответил:

— Нет. Не надо. Соверши все... сам.

Эту казнь скрыли от глаз народа: правитель не решился бесчестить царевича, не испросив согласия дедушки, а ждать дедушкиного согласия пришлось бы долго, — он зимовал в Карабахе.

На внутренний тесный двор Синего Дворца вывели Искандера со связанными руками, поставили его среди двора; вывели воспитателя вместе с его племянником, а следом, по двое, остальных ферганских вельмож.

Мухаммед–Султан стал лицом к Искандеру. Искандер был бледен, но посмотрел на правителя внимательным, строгим взглядом.

Первым отрубили головы младшим приближенным Искандера.

Искандер между двумя палачами стоял так близко к казненным, что временами брызги крови долетали до его сапог. Но Искандер не пятился, не отстранялся, стоял неподвижно, твердо и казался легче и тоньше, чем всегда.

Когда дошло до старика, он из рук палачей испытующе оглянулся на Искандера и кивнул ему, прощаясь.

Искандер опустил глаза и стал еще блее, хотя Мухаммед–Султану казалось, что человек не мог быть бледней.

Когда борода странно метнулась на камнях, как гусиное крыло, Искандер снова прямо и строго посмотрел в глаза Мухаммед–Султану.

Мухаммед–Султан медлил, прежде чем дать знак палачам, и во все это время царевичи смотрели в глаза друг другу.

Наконец Мухаммед–Султан откинул голову как бы в раздумье и дал знак, чтобы Искандера подвели к нему.

— Насмотрелся — спросил правитель.

— Вдосталь.

— То-то!

В этом восклицании Искандеру послышался дедушкин голос, и его бледное, твердое лицо улыбнулось.

Худайдада из-за спины правителя слушал ответы Искандера, расставив ноги, вытянув вперед и наклонив набок седую голову. Мухаммед-Султан милостиво спросил:

— Боялся?

— Нет.

Мухаммед-Султан смутился:

— Как это... нет? А если б я не захотел помиловать?

— А что бы сказал дедушка? Ведь вы...

Мухаммед-Султан, нахмурившись, потупился:

— Что я?

— Вы сыграли тут то же зрелище, которое дедушка придумал дяде Мираншаху. То же самое. Я за себя не тревожился, я знал: вы ничего своего не придумаете.

— Это как же так?

— Вы — тень дедушки. Только тень, увы!

Худайдада отодвинулся от Мухаммед-Султана и попятился.

Но Мухаммед-Султан придвинулся к Искандеру, тоже побледнев, и отрывисто, тихо сказал:

— У большого человека и тень большая, а воробей, как ни прыгай... я сам погляжу, как это ты предстанешь перед дедушкой, как будешь стоять, что станешь сказывать!

— И предстану, и скажу! Он поймет, он разберется!

— И станешь!

— От души! Только б скорей.

И опять Мухаммед-Султан смутился:

— Перед самим перед дедушкой!

— Только б скорей!

— Ну... когда призовет.

Двадцатая глава

ДОРОГА

Астраханский снег, приглаженный морозными степными ветрами, блистал наледью и стал столь скользок, что по улицам люди ходили гужом, держась один за одного, но на пригорках, случалось, с бранью и смехом валился весь гуж, и потом все подолгу поднимались, на четвереньках пятясь до нехоженой обочины.

По оледенелой тропе Геворк Пушок шел, как канатоходец над пропастью, пока достиг ворот русского постоянного двора.

Здесь, на подворье, жили купцы из Москвы и Твери, и двери их, обитые войлоком, плотно закрытые, не выпускали тепла наружу. Купцы сидели в исподних портках, босые, сообща готовя обед. Один, промыв кусок баранины, еще мокрыми руками резал мясо на небольшие части; другой крошил лук; третий мыл котел; четвертый, нащепав лучины, возился у очага.

Пушка встретили приветливо, усадили на скамью, и не успел армянин распахнуться и нарадоваться теплу, как и мясо и лук уже оказались в котле, под котлом запылало пламя, русичи сели вокруг гостя, и завязалась беседа о хитросплетениях базарных дел.

— Дела такие, что и смех и грех! — рассказывал тверич. — Намедни персиянин жемчугов нам продал задешево, а вчерась прибежал — плачется: Тимур дорогу из Ормузда перекрыл, жемчуга в цене против прежнего возросли впятеро, а пути домой тому персиянину теперь нет. И денег взял мало, и уехать некуда. Молит нас вернуть ему жемчуг за лалы: лалы, мол, индийские, на них цена стойкая на Руси, от лалов прибыли будет не менее, чем от жемчуга, а купец тот жемчуг тут бы сбыл.

— Как дитя! — с осуждением сказал длиннолицый новгородец.

— Мы ему толкуем: ты, мол, купец — что продал, про то забудь, — а он плачется, молит: меняй да меняй. Ну, столковались мы с ним. Нипочем отдает лалы, только б жемчуг назад выручить. Отдали мы ему жемчуг назад, а нонче ходит по базару как очумелый: Тимур пропустил караван из Ормузда через Султаню. Никого не обидел. Через Дербент тот жемчуг сюда провезли, да и всякого иного товару.

— Был слух! — подтвердил Пушок. — Поутру прибыли.

— Прошли через Дербент, и жемчугу опять прежняя цена, никто на него не зарится, а лалов у того купца уж нет, да и ни у кого их нет, — они все тут, у нас...

Москвитин сказал Пушку:

— Надумали мы домой трогаться, пока путь крепок. Не то весной не проедешь по распутице.

— А Едигей... Орда? — обеспокоился Пушок.

— Едигей нонче притих: опасается Тохтамыша, силу на бой копит, русских купцов не трогает, чтобы Москву не сердить, — проедем.

— А я?.. Я в таком случае с вами!

— Да мы что ж?.. — переглянулся с остальными русичами бойкий москвитин. — Кладись с нами. Веселей поедем.

Новые дальние дороги открывались перед Пушком. Азия осталась позади. Впереди ждала армянина хмурая, холодная земля. А ведь как ладно сиделось бы под крепкой кровлей, в густом тепле, у тихого очага за неторопливой беседой. Но добрым товарам не ложится под сводами складов и кладовушек; будто

живые птицы, ворочаются они в мешках и коробьях, доколе не дорвутся до торга, доколе хозяева не вспорют брюхо мешкам, не срежут пут с коробьев, — тогда вывалятся товары на вольную волю, купцам на руки, разлетятся по белому свету, по городам и селениям, закрасуются на многом множестве людей, и уж никто не соберет их назад во едино место, ни в мешки, ни в коробья. Не лежит им вместе, не дремлет, манит их дальний путь, толкучий торг, умелая хватка опытных рук. Не лежит товарам, а за ними следом в дорогу тянется и сам купец.

Пришло время Пушку обновить свой кожаный лоскуток у менялы, чтобы по глухим выюжным степям не влачиться с деньгами: спокойней поедется, когда твое достояние затаится неприметным лоскутом в складках чулка, нежели когда обвиснет оно грузным серебром или золотом в поясе на животе.

Никому не ведомо, каков выпадет путь, как встретит купцов Орда, что там за страны и что за властители, не потянутся ли шарить по одеждам да по выюкам гостей...

И опять по гололедице пошел Пушок к астраханскому меняле, притулившемуся под горой с краю от базара. А спускаться под гору при гололедице, — и наплачешься, и насмеешься сам над собой.

Не персиянином, а хорезмийцем оказался астраханский меняла, у Пушка же всякий раз тяжелоело сердце при упоминании Хорезма: неизгладимо запомнилось пробуждение среди хорезмийской степи, когда клокотала кровавая пена в рассеченной глотке ордынца, хотя никаких хорезмийцев поблизости не оказалось тогда.

Пушок не застал менялу. Лишь слуга в сером истертом полушубке сидел на тюфячке, протянув ноги под кошму, к жаровне.

Сел и Пушок на том же тюфячке, той же кошмой накрыв озябшие ноги, и сперва разглядывал перед собой кошму, нашитые на ней разноцветные лоскутки сафьяна, изображавшие бараньи рога и тюльпаны, а потом, от нечего делать, обратил взгляд на слугу менялы.

Слуга сидел, опустив тяжелое лицо, подернутое желтизной. Скосив глаза, он смотрел на Пушка, не поворачиваясь к нему. В уголках длинных темных глаз слуги, Пушку показалось, затаилась не то гордость, не то укор.

— Что ж не идет твой хозяин?

Все так же не обращая к Пушку равнодушное лицо, недоброжелательно, словно Пушок, войдя в эту затхлую конуру, провинился, слуга проворчал:

— Задержался. Базар!

Пушок размышлял: «Хорош слуга угодливый, учтивый, удалой, а этот, видно, сидень, лежебока!»

И сказал с укором:

— Хозяин с холоду придет озябший, проголодавшись. А ты его чем встретишь?

— Сам принесет.

— А ты зачем?

— Я обчитать могу, а он недоверчив. Час проторгуется, медяк выторгует.

— Бережлив?

— Не такими наш Хорезм извечно славен.

— А кем?

— Зиждителями.

— Что это такое? — не поняв слова, насторожился Пушок.

— Вы армянин, ваш народ древнего ума. Во своей земле книги писали, песни творили, города созидали, храмы. Армяне извечные зиждители красоты, искатели мудрости. Мы — тоже. Вот что такое зиждители.

Пушку показалось, что слуга сказал это с почтением к армянам, но с пренебрежением к нему, хотя Пушок разве не армянин? Чем не армянин?

— Чем же вы... зиждители? — любопытствовал раздраженный Пушок. Можешь доказать?

— Пока хозяина нет, я все могу.

— Давай, с самого начала.

— С начала? Начали мы, хорезмийцы. Давно, неведомо когда. И вот уж тысячи лет наша жизнь — то созидание, то оборона от нашествий, то воссоздание, то опять оборона. Все было у нас: города, храмы, книги, песни. Почти семь веков назад явились арабы. Явился их вожак, Кутейба, и объявил нам, что их бог лучше, что во имя их бога нам надо забыть все, что тысячелетиями мы вырастили, создали, нашли. Велел нам забыть все, ибо истинная вера — у арабов, истинный разум — у арабов, а нам надо даже свою память выбросить, запомнить лишь те из истин, что истинны для арабов. Мы не согласились, мы бились, мы...

— И ты? Семь веков назад и ты бился?

— Если б я жил тогда, и я бился б. Но разве деды дедов моих не во мне? Если не во мне, в ком же они? Герои бессмертны, — в ком же ныне деды дедов моих, павших в битвах за свой народ?

— Ни у нас, христиан, ни у вас, мусульман, ничего не сказано о бессмертии на земле. Истинное бессмертие обещано лишь праведникам в садах небесных.

— А разве смертен народ? Умирают люди, а народ вечен.

Припоминая беседы с книжными людьми на ночевках в постоялых дворах, школу при церкви Богородицы в Трапезунте, где он когда-то учился грамоте и слушал монахов-учителей, Пушок, не очень уверенный, можно ли так выразить свое сомнение, сказал:

— Умирают и народы. Вечно лишь человечество, да и то лишь до Судного дня.

— Какое человечество? Без народов? Такого человечества нет!

— А народа нет без людей. Люди же смертны, — значит, смертен и народ.

— Нет... Нет! У народа меняется вера, нрав, обычай, язык меняется. Со своими сородичами, со своими соседями народ может смешаться и соединиться и все же вечен! В древних книгах есть имена древних народов. Где они? Где тохары, где кушаны... Вот, купец, вы странствуете и небось замечали, — есть города, где и по-армянски говорят, и притом у каждого города, у горожан, есть свои слова, свои обычаи, свое обличье. У одних излюблено одно, а у других — другое. И глядишь, на каждое армянское слово в таком армянском городе, у коренных здешних армян, сыщется иное слово, местное, иной раз почти забытое, а то и более ходкое, чем армянское. Это значит, давний народ живет в том городе посреди армян, в самих тех армянах, их устами говорит свои слова, их руками чертит свои узоры, их глазами глядит на свою землю, на свои реки, на свои звезды! Этим и богат народ; в этом — красота человечества!

— Откуда знаешь? Кто ты такой? Слуга слугой, а рассуждаешь! Кто ты такой?

— Разве не было у нас ученых? Четыреста лет назад жил среди нас Бируни, Абу Райхан ал-Бируни...

— Имя арабское...

— Имя?.. Мы семьсот лет мусульманствуем. После побед Кутейбы. Арабскую веру арабы сделали

нашей верой. Но кроме веры есть память. А память хранит, как во имя веры искореняли в нас память.

Пушок, заметив, что его собеседник, начав говорить об одном, сбивается на другое, возвратил его к прерванной мысли:

— Ты сказал: Бируни — хорезмиец.

— Истинно. А имя? Он был арабской грамоте обучен, а природной, своей, никто из нас не ведает, какова она была, что писали, что ведали наши праотцы, того не помним.

— А была ли? Ваша—то, особая, была?

— А вот дослушайте—ка: сам Бируни написал так...

Слуга поднял, запрокинул голову, и эта голова с полузакрытыми, густо опущенными глазами, с большим тонким носом, с большим твердым ртом показалась Пушку величественной, как на какой—то древней монете.

Припоминая, но не сбиваясь, слуга прочитал нараспев, как читают чтецы Корана:

— «Всеми средствами Кутейба истребил и ниспроверг всех, кто знал хорезмийское письмо, кто ведал заветные предания хорезмийцев, всех ученых хорезмийцев истребил; и впредь покрылось все это мраком забвения, не осталось следов от прежних наук, ни того, что знали они о себе, когда пришел к ним ислам...» Так написал Бируни.

— Выходит, все позабыто! Откуда ж ты знаешь?..

— Остались камни и песни. «Откуда эти стены? Что здесь было?» — думаем мы, когда ходим по своей земле. «Кто сложил эту песню?» — думаем, когда устаем петь. И память просыпается.

— Однако и у Бируни арабское имя, и пишет ваш народ арабскими буквами, и сам бог у вас арабский. Чего ж вспоминать, когда арабы свое дело сделали?

— Арабским письмом пишем. Но пишем то, что зарождается в нашем сердце. Арабскому богу молимся, но о счастье своих земель, об удаче в своих делах, о том, что нужно нам, хорезмийцам. Кутейба тысячи воинов, прародителей наших, истребил во славу милосердия божьего. Ни единого листка, ни единой из наших книг не пощадил, дабы мы читали только Коран. Да и не дали тогда нам никаких других книг арабы. Так мы стали мусульманами, а прадедов своих, созидателей и героев, стали называть язычниками и невеждами, ибо Кутейба называл их так...

— Твои слова едва ли понравятся вашим богословам.

— Богословам? Есть веры, поднимающие народ; есть веры, подавляющие народ. Есть богословы, идущие заодно с народом, а есть иные, мечущие отравленные копья в грудь своему народу. Нас было немного, но у нас была своя вера, тайная.

— Кто ты такой? Посмотришь — слуга. Послушаешь — грамотей.

— Я был писцом книг в Ургенче. В своем деле искусен, по своей земле славен. Книги моего письма ныне и в Самарканде есть, и в Герате.

— Как же стал слугой?

— По мановению мирозавоевательной десницы хромого воителя.

— Как же это?

— Наши братья в каждом городе есть. Мечтали, как я. Когда арабы разорили нас, мы сохранили свой ум, свое уменье. Не иссякла сила наших рук, не иссякла любовь к созиданию, и арабы между нами

распадались, как иссохший комок глины. А мы из той глины слепили кирпичи и семь веков воздвигали себе снова города, башни, школы. Воздвигали по прежним правилам, а не по указам арабов. Но многое из того, что успели мы создать за долгую череду столетий, растоптала монгольская орда в недолгой череде битв. Иссякли оросительные ручьи, и зачахли наши сады. Запустели караванные пути, и заглохли базары. Обезлюдели области, и замолкли наши школы. Упало мастерство в ремесленных слободах, одичали книжники, и само небо затихло, оттого что птицы, из-за бескормицы, покинули наши поля и города. Только по зорям то там, то тут слышались наши древние песни, если поблизости не оказывалось ордынцев. И вот на базарах, в ремесленных слободах было замышлено между гончарами, медниками, кузнецами, между многими людьми, соединиться и выгнать ордынцев. Из Самарканда тогда приходили люди, говоря, что им тоже тяжело, что и у них есть такие же мечты; приходили из Ирана, из Бухары. Дальние и соседние города думали эту думу. Я со всеми был. И на дело борьбы мы сговорились копить золото, копить оружие. Я был грамотнее многих, слава у меня была добрая, и люди доверили мне хранить накопленное. И об этом не знал никто чужой, даже в моей семье никто не знал. Знал только слуга. Он был удалой, учтивый, бойкий, угодливый, и, случалось, ему одному я доверял перепрятать наше сокровище, когда опасался дошлых ордынских соглядатаев. Уже многое наш народ успел и сумел восстановить и создать. Уже снова потекла вода к садам и полям, поднялись стены зданий в городах, даже городские стены удалось кое-где поднять. И вот явился Тимур. Что за полтора года мы успели поднять, все завалил снова, снова полилась наша кровь, погнали наших искусных мастеров строить города вдали от Ургенча. И вот случилось, что схватили меня, когда я рубился с мечом в руке. Схватили — и сотник джагатайской конницы выгнал меня на продажу. Был я изнурен, даже шатался, и гнать меня на дальние базары сотнику было боязно: не свалился бы я на дороге; выгнали продавать на месте. А вы знаете, — купцы караванами идут следом за войском, скупают добычу, скупают и пленников. Купил меня купец и в числе многих моих земляков повез продавать за море, сюда, в этот самый город Хаджи-Тархан. Не смейтесь, хотя и смешно: стою я тут на базаре, ходят покупатели. Смотрю — и сердце мое остановилось: идет мой слуга по базару тонкий, удалой. Ну, думаю, это он меня ищет, чтоб из неволи выволить. Останавливается передо мной, молчит, посмеивается. Спрашиваю тихонько: «Где наша братская казна? Уберег ли?» — «Вся при нас! — говорит. — Если б не она, сам бы не откупился и раба себе не на что было б приобрести». — «А на что тебе раб?» — «Я теперь купец, говорит, мне положено иметь раба». И вот купил он меня. И пятнадцать лет нет мне от него ни житья, ни смерти. Исчах мой разум. Пальцы разучились писать. Только иной раз сижу один и сам себе говорю о родной земле, будто пишу историю. Я и написал бы, если б нашлось на чем. Да бумага здесь дороже золота, пергамент редок, а мне много надо написать. Чтоб не забыть, я сижу и обо всем этом твержу себе, повторяю. Как явились арабы, как топтали нашу землю ордынцы, как явился Тимур...

Дверь вдруг взвизгнула: явился меняла...

В шубе, крытой синим шелком, из-под глубоко нахлобученной шапки он еще с порога уставился на Пушка приценивающимся взглядом:

— Ожидаете?

Не сводя глаз с Пушка, кинул узелок на руки подросшего слуги и, слегка сдвинув шапку назад, сел на место, откуда только что поднялся слуга.

Слуга унес узелок во двор, на кухню, а меняла уселся удобнее и сказал:

— Так... Ожидаете! А чего?

Пушок показал согретый на груди кожаный лоскуток.

— Я это раньше видел. При вашем первом появлении. Зачем мне снова это смотреть?

— Я еду дальше.

— И вознамерились забрать у меня деньги?

— А если они мне нужны?

— Сколько вы будете платить?

— Зачем? Я за все заплатил.

— Может быть, вам кажется, что я сижу на деньгах, что на каждом моем плече — по мешку золота, что стены этого дома сложены из денег, что стоит мне раскрыть ладонь, как из ладони потечет ручей золота? А?

— Пустые слова! — рассердился Пушок. — Здесь есть пристав... Он вас заставит...

— А он мне принесет денег, если своих у меня нет?

— Ладно, — отрезал Пушок, — я не требую денег. Вы напишите, что подтверждаете подпись, поставленную здесь, напишите имя менялы в ордынском Сарае, а я возьму свои деньги там. Здесь не нуждаюсь. И конец.

Меняла с заметным облегчением снова осмотрел кожицу:

— Нежный лоскуток. Бархат! Даже жаль марать его надписью.

— И подписью! — напомнил Пушок.

— Не беспокойтесь.

Меняла отложил кожицу, медля отдать ее, — в ней было немалое сокровище. Пусть полежит перед глазами. Он спросил:

— Слуга кляузничал?

— На кого? Нет.

— Слуги — такой народ. Бездельник! А негодяй: он был моим господином. Он не считал меня за человека. Он держал меня в голоде, в тряпье. Он был взыскателен, сварлив. Но бог милостив. За безбожные мысли, за жестокость он покарал нечестивца, низверг его со всеми его богопротивными книгами. Книги погорели, иные расхищены, а сам приведен в рабство, в ничтожество, жив единственно моей милостью, моей щедростью. Служит, пока не наскучил. Наскучит — возьму раба расторопного, дельного, а этого продам. Пока тешусь его унижением; смотрю на него и радуюсь: как велик, как справедлив бог, достойного раба он поставил господином, злонравного господина ввергнул в рабство.

— Это сам ваш бог совершил?

— Руками своего избранника, амира Тимура, да ниспошлет бог ему побед и долголетия.

Наконец надпись и подпись просохли, кожица вернулась на грудь Пушка, и армянин покинул менялу, ушел с этого темного двора.

Он пошел взглянуть, как собираются русичи, сговориться, как будут грузить обоз. Да и хотелось еще посидеть в тепле среди спокойных, как бы медлительных, но расторопных людей.

Он пришел. Но едва дернул на себя обитую кошмой дверь, какие-то девки, горбоносые, тонконогие, выскочили, смеясь, от русичей и, накрывшись с головой полушубками, побежали через двор.

— Это что ж за ласточки? — спросил Пушок, войдя в тепло жилья.

— Утешительницы! — виновато потупился новгородец.

— Вот тут какое у вас житье! — не без зависти пошутил Пушок.

— По грехам нашим! — лениво ответил тверич. — Не от праведных помыслов...

Пушок просидел здесь долго, и уже смеркалось, когда он пошел домой.

Наступал последний вечер в Астрахани. Дул теплый ветер с Каспия.

— Ветер попутный. Добрый знак. Ветер попутный! — весело замечал Пушок, уже взволнованный предстоящей дорогой и радостный, что предстоит этот опасный, но полный неожиданных событий путь.

Он свернул в боковой переулочек, где идти было легче: здесь снег не столь был притоптан и поскрипывал под ногами: «Мо–сква... Мо–сква... Мо–сква...»

Морозные ночи обволакивали Геворка Пушка непроницаемой тишиной, когда лишь лошади всхрапывали да полозья саней повизгивали на длинной, длинной зимней дороге от Астрахани к столице Орды.

Днем ехали, но случалось и по ночам тянуться медленному обозу по гладким снегам.

Ехали то по волжскому льду, то порой сворачивали направо, на левые низкие берега, двигались по нехоженому хрупкому насту, беззаботно вилась эта дорога, как вилась сама Волга–река.

От Старого Сарая, с низовьев Волги, к ордынской столице Новому Сарая можно было ехать коротким путем, насквозь по степи, оставив Волгу далеко слева. Этот путь был прям как стрела, этим путем за пять лет до того прошел Тимур со всем своим воинством, когда дотла разорил города Орды. Но степной дороги купцы опасались: там много бывало всяких встречных проезжих, сомнительных попутчиков и разгульных ватаг, а постоянные дворы там стояли редко, и всему купеческому обозу пришлось бы сутками тянуться по открытой степи, как по голой ладони, на виду у всех степняков.

Волгой же в зимнюю пору ордынцы ездили меньше, хотя селенья и зимовки скотоводов тут попадались чаще, и во впадине реки обоз шел скрыто от тех, кто гулял по степному раздолью. За зиму бураны нанесли со степи на реку горы сугробов, кое–где снег высился круто, на неприступную высоту, но после недолгих оттепелей корка на снегу надежно затвердела, а наст хорошо слежался.

По берегу, по самому гребню, плелись обочь от обоза волчьи стаи, но лошади уже свыклись с ними и шли без сбоя, а люди опасались не волков, коих легко отбить копьем да и окриком отогнать, опасались лишь, не привлекут ли волки разгульных людей со степи, не догадались бы степняки, приметив волков, что Волгой проходит торговый обоз. Обоз людей опасался, а не волков.

За этот день купцы намеревались пройти последний переход до ордынской столицы. На постоялом дворе не задерживались, лошадей кормили, не распрягая, подвесив торбы. Но, как ни ладили, не успели пройти и к вечеру. Уже недалеко оставалось, но декабрьская ночь покрыла их низким небом, а теперь и ночь кончалась, последняя ночь декабря.

«Пушок лежал в санях, тепло укрытый овчинами. Нехороший, кислый дух шел от жестких кож полушубка, в бороду набились колючие соломинки. Русичи на передних санях давно безмятежно спали, поговорить Пушку было не с кем; он лежал, вглядываясь в низкое серое небо, и ему казалось, что справа, у самого прибрежного гребня, небо начинает туманиться, предвещая рассвет. Но по хребту, заслоняя небо, плелась темная волчья стая.

Истекала последняя ночь декабря. Кончился год одна тысяча триста девяносто девятый. Кончился четырнадцатый век, увековеченный многими битвами, решившими на многие века участь многих народов.

Отшумели битвы на реке Воже и на Куликовом поле, и Москва, разогнувшись, хозяйственным оком окинула окрестные русские земли. Кровью и слезами славян напиталась черная земля на Косовом поле, когда турок Мурат победил Лазаря Сербского, и на века на сербский народ навалилось гнусное иго турок.

Сын Мурата, молниеносный султан Баязет, разгромил папских крестоносцев–рыцарей на Дунайском берегу, и страх, как чад от лесного пожара, пополз по притихшим городам Европы, превознося могущество и славу победителя рыцарей. Притихли ордынские города, растоптанные Хромым Тимуром, рухнули стены индийских крепостей, и сам прекрасный Дели еще дымился от Тимурова посещения. Веселые, многолюдные города Ирана обезлюдели. Еще не встал из руин Багдад, где Тимур под мраморными сводами кормил своих лошадей...

В эту ночь от императора Византии и от римского папы послы привезли в Бурсу Баязету новогодние подарки и сердечные поздравления, посланные с ненавистью и страхом: воинство папы уже лежало в земле под Никополем, а Византия сама считала себя обреченной Баязету.

Многие из властителей не спали в ту ночь.

В Испании кастильский король дон Энрико, заинтригованный славой Баязета и вождедея к несметным сокровищам Востока, вознамерился установить с непобедимым султаном дружбу и поискать в его земле выгод для своей короны. Он направился к капелле, чтобы там, слушая сладкоголосый хор мальчиков, встретить Новый год. Он шел легкой, порхающей поступью, помахивая черным, тонким, как пруттик, хлыстом, отчего прозрачные кружева манжет раскрывались, поблескивая золотым плетеньем. Король остановился у входа в капеллу и в свете свечей просил допустить к нему тех пронизательных кавалеров, что поедут с его грамотой в Бурсу. Он не намеревался посылать щедрых подарков, он сам нуждался в подарках, но печати на пергаменте будут большими и великолепными, а подвесную печать отольют из серебра.

В эту ночь султан Баязет разрешил тем из своих жен, что происходили из папской веры, отпраздновать по их обычаю встречу Нового года. На пир пришли и остальные из старших жен, но перед каждой из католичек был поставлен золотой семисвечник с горящими восковыми свечами — все это было не латынское, а сербское или византийское, но самоцветные камни украшений сверкали в эту ночь ярче в сиянии свечей и глаза красавиц казались теплее.

Султан сам пришел посидеть с ними. Он шел по вязкому ковру, пригнувшись под высокой лоснящейся чалмой, спустив ее конец на лоб, чтоб длинная бахрома затеняла ту его бровь, под которой не было глаза.

Султан шел, слегка приседая, время от времени поволакивая ногу, и выискивал место, где ему захотелось бы сесть.

А в то время в Дамаске египетский султан Фарадж лежал в душной тьме на стопе нежных одеял, накрывшись ароматным легким покровом, и думал, думал, как хитрее обвести грубого монгола Тимура, как не войском, а лукавством уничтожить джагатайские войска, ибо собственные войска Фараджа были хотя и нарядны, но малочисленны; как опрокинуть Тимура и гнать, гнать до самого Самарканда и дальше, хотя Фарадж не знал ничего, что было бы дальше Самарканда.

Фарадж кликнул негра, невидимого в душной темноте, и велел привести лунолицую монголку, завезенную сюда откуда–то из Астрахани. Несколько дней назад ее купили для султана вместе с пятью черкешенками. Фарадж решил расспросить ее о Тимуре. Пусть она рассказывает все, что знает: по девичьей простоте она расскажет что–нибудь такое, о чем и не догадаются донести грубые купцы! С девушками Фараджу всегда было легче разговаривать, чем с купцами или военачальниками, — он давно это заметил. Но едва она вошла со светильником, ему наскучило думать о Тимуре.

Не спал в ту ночь и Тимур.

В шатре, просторном, увешанном тяжелыми коврами и оружием, Тимур не жил. Но здесь стоял резной, точеный, из слоновой кости трон, и Тимур, поджав левую ногу, а большую ногу спустив, сидел на этом троне, а джагатаи по обе стороны от него держали светильники.

Он только что кончил разговор с китайскими послами. Он говорил с ними строго и отверг письмо китайского императора, ибо император считал данью те подарки, которые Тимур время от времени отправлял в Китай. Нет, Тимур не признавал себя данником Китая и перечислил перед безмолвными китайцами все заблуждения их императора.

Один из китайцев держал опущенными длинные руки с длинными пальцами. На одном из пальцев темнело кольцо, широкое и, видно, тяжелое, с большим камнем, мерцавшим, как синий огонь.

Тимур смотрел на кольцо и думал, что все сокровища, собранные среди развалин Ирана, Индии и остальных стран, ничто, если не соединить их с богатством Китая, которому нет числа. И чем больше он смотрел на кольцо, тем жестче звучал его голос.

И он велел держать китайских послов, как пленников, пока будет думать о Китае...

В ту ночь в Новом Сарае Едигей позвал к себе одного из своих воевод. Хан, закинув руки за спину, втягивая затылок в плечи, прохаживался, а воевода стоял, прижавшись к косяку двери, и смотрел на морщинистое, отечное лицо хана, а когда хан отворачивался — на его неразгибающиеся пальцы. Едигей тревожил Тохтамыш. Тревожило, что Тохтамыш куда-то скрылся, где-то затаился. Это казалось опаснее, чем в те времена, когда Тохтамыш отсиживался в Литве, подговаривал на исход Витовта Литовского, на глазах у всех точил свой ятаган на Едигея. Тогда Едигей знал: удар будет с Литвы; знал, к чему готовиться. А теперь знал лишь одно: Тохтамыш точит кинжал, но где? Тохтамыш не мог успокоиться, — старший из потомков Чингиза, разве он откажется от своего удела? Нет, будь на его месте, Едигей не отказался бы. Едигей удивился этой мысли: «Я нынче и есть на его месте!» Тохтамыш был ханом Золотой Орды, пока Тимур не явился, чтобы его наказать, пока не была проиграна битва под Чистополем и другая битва, на Тереке. Тогда на ханство поднялся Едигей, на Тохтамышево место.

Надо было подыскать верных, смелых, неприметных людей, чтобы, выследив Тохтамыша, вошли к нему в доверие.

Ночь кончалась. Всю эту ночь хан Едигей вместе с верным стариком воеводой выбирали людей. Но, едва выбрав, отвергали, искали других...

Над заснеженной морозной Москвой, отблаговестив, еще гудел соборный колокол: великий князь Московский Василий Дмитриевич вернулся от утрени, чтоб, недолго отдохнув, приниматься за дела. Как и его отец, Дмитрий Иванович Донской, Василий дела начинал затемно. Но в это утро наступили его именины, исполнилось ему тридцать лет, предстояло отстоять обедню, провести день с гостями.

В сенях государя дожидались бояре. Великая княгиня Московская Софья, дочь Витовта Литовского, внучка Ольгерда, ушла к себе, а рыжеватый, подслеповатый Василий остановился. Сын покойного боярина Захария Тютчева, Федор, подошел, тихо говоря:

— Из Орды человек прибыл, от Тохтамыша. Просится к тебе, государь.

— Что за человек?

— Ближний к Тохтамышу. Кара-ходжой зовут. Сам он из Юргеня, хорезмиец. С Тохтамышем и на Литву бегал, и ныне при нем.

— Чего ему?

— Прислан просить, чтоб ты Тохтамышевых сынов сюда принял; тут бы их растить, пока он Орду станет вызволять от Едигея.

— Поразмыслим. А Кара-ходжу пока поддержи в чести. Посулов никаких не сули, но и молчанием не досадуй: дай нам время.

— Ходжа поторапливает. У них там, говорит, спешка.

— Без него знаем, что у них там. Дай нам время...

А в небе уже ясно проступила муть, обозначавшая утро. Геворк Пушок высунулся из овчин: впереди, из снежной степи, темной полосой показался город. Как бы хотелось поговорить об этом. Но купцы все спали. Полозья саней все так же повизгивали на мерзлом снегу, и оттого на свете все казалось особенно тихим.

Тихо было и в степи Карабаха. Улугбек, вернувшись с приема китайских послов, где он брал от них грамоту и нес ее дедушке, еще не ложился. В его юрте ночевал Халиль и проснулся, когда пришел Улугбек. Царевичи долго разговаривали. Об охоте, о ловчих птицах, какие ловчее. Оба оказались согласны в том, что соколы по набою превосходят всех прочих птиц.

Наговорившись, Халиль встал и уехал, — ему надо было застать воинов врасплох. А зачем врасплох, Улугбек не понял.

Он вышел из юрты и стоял перед угасающим костром. Из недр пепла вдруг временами вырывался синий огонек. Но все реже, все реже. Парчовый халат плохо грел. Мальчик сжался от холода, а уходить не хотелось. Небо мутнело, но вокруг по земле было еще темно. Звезды истаивали, и лишь одна мерцала, вспыхивала то зеленой, то лазоревой искрой в этом небе над Карабахом, где как бы нехотя наступало утро.

Костры похода

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВЕСНА 1400 ГОДА

Первая глава

ДЫМ

Дым пожарищ поднимался над землей Карабаха. То стлался, белый и густой, то взвивался черными столбами в ясное, как родник, мартовское небо.

Воинства Тимура стронулись с привольного зимовья. Двинулись, сопутствуемые стадами и обозами. Двинулись, как кочевье, но кочевье необъятное и безудержное.

Расплескивая тяжелую грязь, скрипя, покачиваясь, тащились арбы, макая в лужах края ковров и войлоков.

Обегая неповоротливые обозы, проявившейся целиной шла конница.

Волочилась пехота, подоткнув полы халатов либо заправив их в обширные штаны, давя сапогами вязкое весеннее месиво.

Вперемежку с отрядами пехоты деловито торопились гурты ослов с мелкой поклажей.

С краю от воинств, протянувшись тысячегорбой непрерывной цепью вдоль подножия гор, шествовали верблюжьи караваны. Шествовали стороной от дороги, там, где с незапамятных времен пролегли узенькие, как строчки, тропки, протоптанные давно исчезнувшими путниками, мирными караванами странников и купцов.

Дым пожарищ висел над прозеленью свежих трав, над первыми всходами полей, над садами, где деревья набухали соком, над реками, полными пены и ропота.

Когда потоки пересекали дорогу и конница шла вброд, кони тянулись теплыми бархатными губами к студеным струям.

Из придорожных кустарников вспархивали птицы. Звенели их первые песенки. Но люди в ту весну не пели песен.

Молча шло воинство. Молча, едва слышав о нем, уходили прочь жители. Молча уходили в степную ли глушь, в горные ли щели, ухватывая из скарба лишь то, что могло их пропитать в скитаньях. Молча уходили с пути, где шел Тимур.

Тимур ехал между двумя внуками.

Из них один — сын Тимуровой дочери Султан-Хусейн, возглавлявший конницу, в тот день несшую караул.

Другой — Улугбек, подвернувшийся деду, когда на рассвете дед вышел из своей юрты к седлу.

С внуками Тимур незаметней казался переход, длинный, однообразный, не суливший ни занятных случаев, ни боевых встреч.

Ехали обочь людского потока, но некуда было отстраниться от густого, как чад, запаха коней и человеческого множества, от скрипа и визга колес, от топота... Все это слилось в гул, какой бывает, когда с

гор рушится лавина.

Тимур подолгу молчал, поглядывая в сторону дымов, вглядываясь в даль.

Всюду, то тут, то там, виднелись дымы, отмечая происк [так] передовых легких отрядов, что рыскали, как рыси, намного опередив воинство.

Страну эту, Азербайджан, считали землей, давно подвластной Повелителю Мира, своей землей, где у каспийских берегов сидел шах Ширванский, давно послушный правителю, поставленному Тимуром над этими странами. Шах Ширванский Ибрагим строил дворцы и мечети в Баку и в своей Шемахе, и правитель ему не мешал. Правитель правил страной, и шах не мешал правителю. Но как ни считали эту землю своей, а можно ли было не обшарить всего, что попадалось на пути, когда есть на что позариться, есть что прибрать к рукам.

Осмуглевшие на зимних ветрах передовые воины принохивались к долинам и ущельям: не потянет ли вдруг из не приметной лощины дымком жилья, теплым духом добычи.

Но окрест всюду селенья стояли впусе. Лишь изредка попадался то немощный старец, то замешкавшийся землепашец, помедливший покинуть обжитые рукоятки своей сохи. Кое—где билась собака на привязи либо в покинутом хлеву обидчиво мычал некормленный буйвол.

Для вразумленья сбежавших жителей, а чаще чтоб душу потешить, рушили кровли приземистых жилищ, псов пробивали копьями, а то, что могло гореть, жгли. Пусть, мол, знают: нет милости тем, что бегут с пути повелителя.

Оттесняя друг друга конями, ближайšie из сподвижников, высшие военачальники и старшины родов, следовали за Тимуром; одни — устало горбясь в седле, другие — красуясь посадкой и выправкой.

Кони, благодумствуя на тихом ходу, порой принимались рьяно кивать головами, пофыркивая, бряцая серебряными наборами уздечек. Коней очухивали, похлестывая плеткой по темени, остепняли ударом рукоятки по холке.

Разговор у вельмож не вязался: каждый сосредоточенно следил за малейшим движением повелителя, пытаясь распознать его мысли, а то и предугадать намерения.

Тимур, привычно покачиваясь в лад шагу коня, ехал в рыжем грубом чекмене, в лохматом треухе. На заре их охлестнула дождем мимолетная тучка, и теперь чекмень, темнея сыростью на плечах, казался заношенным, как на табунщике.

Тимур поглядывал на белые, медленно всплывающие, на стелющиеся черные и рыжие, близкие или дальние дымы, на эти зыбкие вехи неотвратимого нашествия, предвестники близких или дальних битв.

Вдруг Тимур резко осадил коня.

Так резко, что внуки проехали вперед, а кони спутников уперлись мордами в спину повелителя.

Полуобернувшись, он ткнул плеткой в сторону дымов. Его не поняли: дымы с самого рассвета тянутся с той стороны, впереди их пути.

Но повелитель показывал им на дымы, ибо ничего другого не виднелось там.

Он снова три или четыре раза ткнул в ту сторону, уже рассерженный недогадливостью соратников.

Только теперь они заметили: не впереди, а сбоку, на востоке, вились к небу белые столбы дыма. Они поднимались в стороне от пройденной дороги и вились вверх, как бывает, когда под сырую солому снизу подложат сразу большой огонь. И загорались костры один за другим через равные промежутки один, другой, третий, — убегая все дальше и дальше в сторону. Это была тревога! Так разгорались сторожевые

костры на вышках, давая знак о нашествии врага. Но кто там поставил вышки? Куда и кому подавали эту весть о беде?

Протолкавшись через плотный поток своих войск, не щадя плетей, к горам помчалась сотня удальцов под началом Кыйшика.

Тимур, сдерживая топчущегося коня, ждал, откликнется ли новый дымок.

Откликнулся.

Откликнулся в том месте, где его и ждал Тимур, на равном расстоянии от крайнего, на самом высоком из холмов.

Тронув коня каблуком, Тимур поехал, но ястребиные его глаза не отрывались от этих безмолвных дымов, от непонятной дали предгорий.

Конная сотня Кыйшика, преодолевая овраги, перемахивая щели, мчалась к горам.

Когда наконец подскакали к ближнему из дымов, никакой вышки не оказалось: на высоком холме, на обрыве, стоял прошлогодний шалаш, сторожка на краю бахчи. Вокруг, по исполосованной грядами желтой земле, чернели полусгнившие за зиму плети дынь. Валялась, будто в насмешку, рваная туфля, влипшая в землю. А шалаш догорал, разбрызгивая по ветру завитки горелой соломы.

Как ни шарили вокруг, ни в оврагах, ни внизу у реки не нашлось никого, будто шалаш загорелся сам собою.

Но такой же дым взвился на отдаленном высоком холме, отделенном от этих мест ущельем и горной рекой. Нелегко было съезжать к реке, то по каменистой осыпи, то по мокрой глине отвесного берега. Река, неся густую весеннюю воду, наполняла темными водоворотами все свое русло, и найти брод удалось не сразу.

Когда ж нашли, когда перешли, когда, измокнув, измазавшись, вскарабкались по оползавшей глине наверх, и этот костер уже догорал. Никого и тут не застали. Но отсюда увидели, как высоко взвивается новый дым на черном холме далеко впереди.

Поскакали напрямик, то взбираясь на холмы, то съезжая с них, то объезжая их по отвесному краю. От такой скачки даже отборные кони взмокли, спотыкались, всхрапывали: отяжелевшие от недавнего отдыха, они еще не втянулись в походную службу, горячо брали начало пути, но быстро выдыхались.

Однако с пустыми руками нельзя было вернуться к повелителю.

Дозорные здесь, видно, не ждали столь скорой погони. От дыма отбежали двое людей в острых высоких шапках, какие носили азербайджанцы, и кинулись к горам. Не щадя взмокших лошадей, широко обтекая окрестные холмы, погоня кинулась за беглецами.

Вскоре оказалось, что склон, покрытый старой осыпью, весь завален осколками красных камней, острых, как шипы. Не только рысью, а и шагом кони не могли здесь пройти.

Воины спешились.

Охватив предгорье широкой цепью, полезли наверх. Двое убежавших легко, как горные туры, перескакивали с камня на камень.

А преследователи, не привыкшие ходить пешком, карабкались, спотыкаясь, до крови избивая колени и руки о скользкие острия камней.

Занятый погоней, Кыйшик не смотрел в сторону, где на вершине отдаленного холма разгорался новый костер. Да никто и не успел бы этот костер заглушить: его отделяла новая гряда холмов с их

склонами, потоками, кручами. А всадники — не птицы.

Двое в островерхих шапках убегали выше и выше.

Подъем становился круче. Справа разверзлась и уходила все глубже горная щель. Впереди громоздились неприступные горы.

Беглецы ушли бы, но их прижали к горам.

Карабкаясь, обессилевшие воины Тимура надвигались на двоих остановившихся беглецов.

Уже стали видны их лица.

Один коренаст, приземист, бородат, вытирал лоб ладонью. Другой молод, худощав, и его впалые, бледные щеки непрерывно вздрагивали, словно он что-то быстро-быстро говорил, не раскрывая рта.

Кыйшик крикнул им:

— Попались! Эй, попались!

Чтобы отдышаться, запалившийся Кыйшик приостановился.

В этот миг беглецы рванулись в сторону, и старший из них мгновенно исчез, словно вошел в землю. Младший еще бежал; петля аркана, ловко накинутая ему на плечи, свалила его.

Лишь добравшись да него, воины увидели бездну, куда спрыгнул его друг. Там темнели огромные камни и в головокружительной глубине ворочался поток.

Младший извивался в путах. Но его скрутили, как вьюк, и понесли вниз, куда идти оказалось еще тяжелей, чем карабкаться вверх: туда их увлекала погоня, а теперь сказала и крутизна горы, и вся их усталость.

Перед ними всюду холмились безлюдные предгорья, да откуда-то снизу, издалека, доносилось ржанье ожидавших их лошадей. Отдыхать было некогда: все знали, как нетерпелив повелитель, когда ждет. А он ждал их.

Дымы с этой высоты виднелись далеко-далеко, в стороне, взвиваясь то на одной вершине, то на другой, — ближние догорели и поникли, подав весть дальним. Дальние, догорая, еще тянулись вверх.

Весть ушла. Весть дошла до цели. Зачем и кому она послана? Что сулит она воинству Тимура?

Пленник расскажет! Даже если он намертво сомкнет уста, их разомкнут! Сам Тимур ждал этой вести. Сам ждал ответов этого безбородого юнца с лицом, измазанным землей и кровью.

* * *

Тимур ехал к долине, где в тот день предстояла дневка, чтобы дать отдых коням.

Он ехал дорогой, по которой не езживал с той давней поры, когда завладевал Азербайджаном.

С той поры запомнился ему каменный домик над крутым поворотом говорливой реки, осененный тремя тысячелетними чинарами, распластавшими могущественные кроны над строением и над изгибом реки.

Ему помнилось, как тогда он прохаживался в их тени, дивясь необъятной толще стволов, любясь домиком, покинутым и беззащитным, — невелик домик, всего четыре столба на террасе, но каждый столб, лоснившийся от времени, покрыт был такой искусной резьбой, какую прежде нигде не доводилось видеть.

Когда, пнув ногой дверцу, он вошел внутрь этого пустого строения, уже смеркалось. В лицо пахло затхлой сыростью.

Тимур велел внести факелы. В их пламени, исторгавшем струи копоти, он долго разглядывал расписной потолок, разгадывая роспись, как умел разгадывать легенды ковров. Разглядывал звезды, изображенные не как созвездия, а как соцветия, соединенные причудливыми стеблями: малые звезды — завязи; большие — раскрывшиеся цветы. На потолке было написано то небо, которое сияло в полночь над этой долиной. Стебли означали пути звезд. Он знал звезды. Он их хорошо знал, привыкнув за длинную жизнь к ночным походам, когда, пересекая пустыни или степи, научился по звездам проверять свои земные пути. Он знал звезды, как знают их караван-вожатые, как знают их корабельщики, как знают их скотоводы, проходящие со своими стадами по ночным пастбищам.

Он разглядел и стены. Вокруг все было невелико, смиренно. Маленькие ниши для книг или для чаш, черная узкая ниша для очага. Но на удивление искусно сложены были стены, ничем не украшенные, — каменщики уложили плоские кирпичи так ловко и разнообразно, словно выткали каменные ковры.

В том походе с Тимуром был его сын Мираншах. И когда Тимур, сопровождаемый этим сыном, вышел снова во дворик, он сказал, любуясь всем, что окружало его здесь, — двориком, изгибом реки:

— Как они сумели, — одно к одному; как в песне, — одно слово прислоняется к другому. Вынь одно — и вся песня развалится.

Мираншах промолчал.

Тимур осматривал все вокруг, по привычке ища ошибок создателей этой усадьбы, каких-нибудь слабых мест, как всегда, когда предстояло взять вражескую крепость или сокрушить врага. Но тут все было на месте. И это нравилось ему, но и досадовало: ведь не у него в Самарканде стояло это, а в чужой стране.

Наконец он кивнул головой на середину двора, где среди площадки, выложенной светлыми плитами, обрамленный гранитной каймой, торчал разросшийся куст одичалых роз:

— Тут надо б водоем, а они розу воткнули!

Мираншах промолчал, но заметил злорадство в голосе отца и понял, что отец не хотел поддаться восхищению перед этим зодчеством, но что восхищение его не рассеется от одного лишь этого одинокого куста, выросшего здесь, может быть, даже без ведома зодчих.

Тимур, не то удивленный, не то обиженный молчанием сына, спросил:

— Где эти мастера? Вон как сумели! А?

Мираншах не знал никаких здешних мастеров и только молча пожал плечами.

Позже, отдохнув, Тимур, обычно призывавший к себе чтеца, или рассказчика преданий, или певца, в этот вечер велел привести к нему здешних зодчих. Но зодчих в этих местах не нашлось. Привели спотыкавшихся от растерянности и робости двоих садовников из соседней деревни, местного купца и какого-то хромого виноградаря.

— Чей дом? — спросил их Тимур.

Купец, стоя на коленях, виновато кланялся:

— Снизойди, великий государь, узнать: мы зовем это — Дом Звездочета. Ибо премудрый Махмуд, сын Абу-Бахра, прибыл сюда из Мараги, дабы дожить здесь свою старость в уединении. Это построено ему.

— Звездочет, а понимал... — заговорил было Тимур, но усомнился, достоин ли азербайджанец слушать мнение повелителя о каком-то старом звездочете. И купцу так и осталось неизвестно, что именно понимал звездочет.

В тот давний вечер Тимур только спрашивал... Он так и не сказал никому, нравится ли ему что-нибудь в этой стране, которую он обагрят кровью и заревами.

— Где зодчий? — спрашивал Тимур.

— Лет полтораста назад его призвал аллах к своему престолу.

— А еще каких зодчих знаешь?

И ему говорили о стройных мавзолеях Нахичевана и об их строителе, по прозвищу Аджам.

— Где он?

— Его призвал аллах более двухсот лет назад.

Тимур насторожился: они называют мертвецов! Но снова спросил:

— А есть и другие мастера в ваших краях?

Ему говорили о разных мавзолеях, украшенных резьбой по штукатурке либо одетых глазурными изразцами, составлявшими пленительные узоры на многогранных или на круглых, на стройных, как столбы, башнях и на мавзолеях — в Салмесе и в Барде, в тихом Карабогларе и на берегах озера Урмии, в городе мудрецов Мараге — по всей Азербайджанской земле.

Ему называли имена славных зодчих — Ахмеда, сына Айюба, Абу-Бакра, который был отцом Аджамы, и Махмуда, сына Саада...

Но едва Тимур спрашивал, где найти этих мастеров, ему, огорченно опустив глаза, снова отвечали, что мастера эти призваны к престолу аллаха двести или сто лет назад.

Сощурился, чтобы скрыть свой взгляд, Тимур терпеливо снова спросил:

— А где живые?

Садовник отвечал, а виноградарь поддакивал ему, согласно кивая головой:

— Азербайджан никогда не оскудевал мастерами, великий государь. Есть зодчий Юсуф, сын зодчего Якуба. Отец этого Якуба, дед этого Юсуфа, был Хамид. Он воздвиг радующий глаза мавзолей над гробницей премудрого Рашид-аддина. Нынче тот мавзолей...

— Видел. Хорошо был построен.

— Внук этого Хамида, сын зодчего Якуба, зодчий Юсуф жив. Славный строитель! Он воздвиг многие мечети в разных местах, бани в Тебризе, торговый ряд в Шемахе...

— Где он — Юсуф?

— Недалеко отсюда, в горах. Его водит мальчик. Увы, уже много лет, как он ослеп. Он больше ничего не может, великий государь.

Во весь тот вечер ему так и не назвали ни одного зодчего, какого он мог бы взять отсюда к себе в Самарканд.

Тимур ничем не выдал ни гнева, ни даже нетерпения: ровным голосом спрашивал, молча выслушивал ответ, снова спрашивал ровным голосом.

Во весь тот вечер, сидя с отцом, Мираншах гневно ворочался позади Тимура, но молчал.

Когда Тимур, наконец отпустив азербайджанцев, пылливо взглянул на сына и спросил: «Ну?» — Мираншах хрипло ответил:

— Я б их плетками, они бы про все сказали!

— Как ты их понял?

— Они прикидывались, а вы, отец, слушали их вранье!

— Зодчих я и без них найду. Мало ли мастеров взято в Самарканд. Не в них дело. Я хотел народ понять. Я затем их слушал, чтоб их понять.

— Как это?

— Из них ни один не выдал ни одного зодчего. Почуяли, что мне нужен зодчий. И не выдали! А ведь не знатные люди, не военачальники, — простой народ. А все заодно! Здешние садовники, а знают своих зодчих, чтут уменье своего народа. Гордость в себе таят. Уменьем своего народа до смерти горды. Их знобит от страха, а крепятся. Вот какие! А не узнай простых людей, не поймешь, как взять их народ в руки. Как их держать в руках...

— Плетью и цепью, отец. Тигров и то так держат.

— На тиграх не пашут. Ничего ты не понял.

— Я давно понял, отец: народ должен быть смирен. Слушать их вранье значит потакать им. А чтоб их держать, нужна цепь; а чтоб ободрять — плеть.

— Цепь на целый народ негде выковать: железа не хватит. А ежели не цепью, тогда чем? Вот я к ним и приглядывался: чем?

Тимур поднялся. Пора было спать. Но прежде чем уйти от сына, переспросил:

— А? Чем?

— Мечом, отец.

— Мечом берут. А держать надо чем?

Мираншах молчал. Тимур ответил:

— Держать надо толком. Для каждого народа нужен особый толк. Одному один, другому — другой.

Мираншах молчал. Тимур, сердясь, объяснил:

— Чтоб знать, какой толк годится тут, надо знать тутошний народ. Ты будешь править этим народом. Вот и посиди, подумай: какой толк годится тут?

Рассерженный молчаньем сына, Тимур, прежде чем лечь у себя в шатре, походил около реки, под деревьями. Потом обошел вокруг домика, который, казалось, настороженно вслушивался в ночную тишину под неподвижным светом луны.

Позади домика Тимур увидел водоем, восьмиугольный, обложенный серыми плитами, и проворчал:

— Кто ж копает пруд позади дома! Тут бы нужен двор, конюшни... Что ж он, лошадей, что ль, не держал? Звездочет...

Обойдя домик, Тимур снова вышел во двор, увидел черные ветки одичалой розы, остановился около, пробормотал:

— Воткнули розу незнамо куда!

И, успокоившись, пошел спать.

На рассвете Тимур увел свои воинства дальше и с тех пор не бывал здесь.

Теперь снова он ехал туда, — спустя столько лет ему захотелось снова побывать под сенью тысячелетних чинаров, в том маленьком домике, где, казалось, обитала чья-то горячая бессмертная душа.

Он приказал готовить там стоянку и теперь ехал туда, ворча с досадой:

— Дымы, дымы... тревогу затеяли!

Улугбек спросил:

— Кто, дедушка?

Тимур не ответил. Но от простодушного вопроса досада возросла: в том-то и дело, что он сам не знал — кто.

Они проезжали через обезлюдившее селенье, где уже похозяйничала разрушительная рука передовых отрядов. У входа в лачугу лежал труп крестьянина; обгорелая, чадящая балка нависала над ним, но кровля еще держалась на пробитой стене.

— Это город, дедушка? — спросил Улугбек, которому хотелось говорить с дедом.

— Логово змей! — резко ответил Тимур и приказал начальнику конной стражи: — Срыть начисто! Чтoб знали!

И еще не успели выехать из узких улиц, а уже затрещали и задымились бревна, заухали, рушась, глинобитные стены, застучали тесаки по стволам садов.

Еще не успели доехать до соседнего селенья, а там уже буйствовали воины, все валя и все сокрушая.

Чьи-то вопли всплеснулись было, но вмиг смолкли. Лишь деревья еще вздрагивали вершинами, противясь тесакам.

Улугбек, любясь, оглядывал небольшие, как молитвенные коврики, поля, обложенные по краям грядами камней, зазеленевшие озимью.

Кое-где тянулись узкие пашни. Вились, как пряди расплетенных кос, длинные борозды, еще не провявшие после пахоты, ожидавшие сева. Тут и там среди этих пашен валялись сохи, покинутые, видно, наспех возле недопаханных полос.

Зелень всходов, радостная, как детский смех, беспечно сияла то там, то сям. Поля пшеницы, ячменя. Курчавились густые всходы клевера. И нигде ни крестьянина, ни буйвола, ни пса. Всюду — лишь воины. Всюду взлески железа и стали — оружия, начищенного перед походом.

Улугбек поглядывал не без гордости, не без самодовольства на дедушкиных воинов, лихо сидевших на конях. Но дедушка, буднично хмурясь, сутулился в седле, время от времени что-нибудь приказывая начальникам.

Он кивнул на сияющие зеленыя:

— Пустите сюда стада. Довольно тут пахать. Пасите тут.

Улугбек понял, что этих полей больше не будет, и тогда увидел их какими-то иными, и тогда заметил в них многое, чего не замечал прежде. Так всегда ему представлялось в новом облике то, о чем он узнавал, что больше не увидит этого, — люди, которых уводили на казнь, здания, обреченные на слом... Он вдруг примечал в них что-то такое, что запоминалось надолго, какие-то особенные черты и подробности, ускользавшие прежде и вдруг открывавшиеся в последнее мгновенье их бытия. Но как это случалось, почему это становилось иным, он не мог понять.

Улугбека отвлекло от раздумья открывшееся на повороте пути небольшое селенье. Прижатое к предгорью, оно поднималось, улица над улицей, по склону холма. На соседней горе уже лежала синяя тень, а селенье светилось, озаренное ярким послеполуденным солнцем. Видно было, как там бесчинствовали воины, разламывая кровли и стены, пытаясь разбить стены башен, сложенных из больших

камней.

— Так им! Так им! — сказал Тимур.

Улугбек вглядывался, запоминая отроги улиц, ряды строений, древние бойницы в стройной башне, приземистый, темный купол бани — все, чего больше никто ни увидит, чего больше никогда не будет на земле.

Новый поворот пути вдруг открыл внизу долину, где над свободным изгибом серой реки раскинулись еще голые ветки обширных чинаров.

На берегу виднелись люди в разных халатах. Вились голубые дымки очагов. Табунками стояли, опустив головы, заседланные лошади. Пестрели полосатые разлапистые шатры, горбились коренастые юрты.

Тимур, вздернув коня на дыбы, остановился:

— А где... дом?

Едва глянув в яростные глаза повелителя, двое из караула поскакали к чинарам, а Тимур, обернувшись к вельможам, повторил:

— Дом!.. Где?

Улугбек был здесь впервые и не понял дедушку. Но вельможи пятили своих коней, переглядываясь между собой.

Тимур настаивал!

— А?

Все молчали, глядя вслед воинам, торопившимся к чинарам. Тимур, нетерпеливо, все еще топчась на месте, настаивал с нарастающей яростью:

— Дом Звездочета! Где?

Он не хотел знать, что из этих соратников некому ответить на его вопрос: все они находились с ним, никто за эти годы не бывал здесь. Но ему необходим был ответ. Без промедленья, без оговорок. Куда пропало то, к чему весь этот день он направлял коня?

Видя, что от них он не получит ответа, не желая ждать, сразу забыв о спутниках, о внуках, он кинул коня вскачь и помчался, распрявившийся, легкий, — поскакал по извилистой, головоломной тропе вниз, к чинарам.

Все отстали, не решаясь так ехать здесь, где каждый шаг коня был опасен.

Он один ворвался в гущу растерявшихся людей, застигнутых врасплох. Двое стражей еще не успели ничего узнать, а он с одного взгляда понял, кого надо спрашивать.

Мясник—азербайджанец, свежавший барана, когда подскакал Тимур, встал перед ним обомлевший, дрожа мелкой дрожью, бессознательно вытирая окровавленные ладони о бедра.

Тимур, глядя в помертвелое, круглое, лоснящееся лицо, шептал:

— Где Дом Звездочета?

— Государь... великий...

— Ну?

— Не виноват... Не виноват! Не я!

— Ну!

— Великий... Не я!

— А кто?

— Уж давно. Года два, как... Приказ был.

— Чей?

— От правителя... от самого — да благословит аллах его имя, — от самого, от Мираншаха...

— Что... Что? Когда?

— Уж года два назад... Сам Мираншах, да благословит аллах...

Ярость Тимура вдруг сменилась горячей волной горечи, волной горя и боли.

Он слез с седла и, подхваченный под руки, медленно, тяжело хромя, поплелся к шатру, раскинутому на той площадке, где прежде стоял дом. Перед входом в шатер вскинул гибкие ветки, усыпанные багровыми шипами, одинокий куст одичалой розы.

Он молча опустил на зеленый тюфячок и махнул, чтобы все отошли прочь.

Вокруг наступила тишина. Никто не знал причины гнева повелителя. Никто не смел говорить. Даже, казалось, дышать все вокруг перестали. Лишь лошади на приколах похрапывали да позвякивали чем-то. Да издали достигал сюда гул воинств, проходивших на походе стороной от этого уединенного места.

Когда наконец ближайšie из вельмож приблизились к шатру, они увидели его, сжавшегося в комок, маленького среди огромных подушек.

Не предлагая вельможам ни сесть, ни даже войти в шатер, он тихо спросил:

— Ну? Видели?

Все молчали.

Уставясь в широкую бороду Шах-Мелика, повторил:

— Видели? Кого миловали...

Тимур поднял длинное, отяжелевшее лицо; блеснули маленькие, глубоко запавшие, полные горя глаза.

Сказал с укором:

— Кого оправдывали?.. Мы созидаем, а он рушит! Дикий кабан!

Ждали гнева, ярости, а он, трудно поднимаясь с тюфячка, запутавшись в полах халата, никак не мог встать, не замечая, что наступил на полу халата, и только укорял:

— А вы... размякли, потатчики... Как вдовы! Вас бы няньками... Кормилицами! А?

Все молчали, по опыту многих лет зная, как опасен Тимур, когда гнев его еще затаен где-то внутри, еще свернут в кольца, как готовый к прыжку удав. Лучше отмолчаться, лучше попятиться: кто откликнется первым, по тому хлестнет первый удар.

Но теперь гнев его не открывался. Да и такие глаза у Тимура мало когда доводилось видеть. Может быть, и никогда не доводилось.

Он вышел из шатра мимо расступившихся вельмож и, медленно прохаживаясь, пошел по двору, закинув за спину руку.

Длинный правый рукав свисал, как пустой, а на левой руке болталась плетка, подскакивая всякий раз, когда он ступал больной ногой.

Он бормотал в раздумье:

— Мы воздвигаем, а он рушит. Что нам нужно, то ему постыло. Ему что нужно? Что ему нужно?

Тимур подошел к самому краю водоема.

Холодная серая весенняя вода темнела перед его глазами. Присев, зачерпнул воды в ладонь. Еще и еще. Потом мокрой ладонью вытер лицо. Снова зачерпнул воды. Сполоснул рот. Сплюнул.

Встал. Складки халата распрямились. Плечи поднялись.

Вторая глава

СИНИЙ ДВОРЕЦ

В стороне от шатров, в низине у реки темнел круг юрт, где ждали связные от войск, посланцы от правителей городов и стран, гонцы. Там в полумгле юрты на кошке сидел Аяр.

Пахло мокрым войлоком и сырой землей.

Аяр добрался сюда утром. Здесь встретил многих давних знакомцев из разных городов. Поговорить было с кем.

Но разговаривали мало, тихо, зная, что повелитель уже прибыл сюда. Тревожно поглядывали на каждого, кто подходил к юрте: не за кем ли нибудь из гонцов?

Но еще никого не звали.

Эту зиму Аяр прозимовал в Самарканде, среди челяди Синего Дворца, где ему, непоседливому, невтерпеж было бездеятельное ожиданье. При правителе, при Мухаммед–Султане, содержалось наготове немало запасных гонцов. Из них многие относились к досугу беспечно — бились целыми днями в кости, слонялись по людским кухням, рассказывали друг другу сказки или вековые истории о героях и волшебниках. Но Аяр с рассвета уже искал себе занятий. В погожие дни ходил по базарам, приглядывался к торговле; в непогоду прохаживался по дворцовым дворам, по мастерским, между разноязычными, разнолицыми ремесленниками Тимура.

Под сводами дворцовых переходов и подвалов завелись знакомства. Чужеземная одежда не заслоняла от Аяра душу тех, кто ту одежду носил. Кто мало странствовал, тому иноземец в диковину, тому за непривычной одеждой и сам человек чудится загадочным и чуждым. А кто насмотрелся на чужеземные обычаи, привык и чужеземцев понимать, как своих сородичей. Аяр много стран повидал на своем веку, побывал среди многих народов и, расхаживая по мастерским, вспоминал то одну, то другую из пройденных дорог.

Он приметил: тут издалека и отовсюду сюда свезенные мастера строго блюли свою родную одежду; строже, чем у себя родных краях; блюли ее не только как память о далекой родине, а и как знак вечной верности своим народам. Обносившись, на скудный достаток шили обнову, требуя, чтобы все в ней было скроено, как в той, в которой ушли из отчей земли.

Но между собой эти выходцы из столь разных стран жили как один народ, вместе снося тоску по родному очагу, делясь водой и хлебом. Сидя длинными рядами, бок о бок работали уйгуры и армяне, арабы и харасанцы — ряды шорников, ряды ткачей, ряды серебряников: в Синем Дворце мастеров размещали не по языкам, а по ремеслам. Здесь одни в стукотне и звоне чеканили, другие в чаду варили сплавы, иные в духоте и в полутьме ткали, и все изделия рук своих сдавали кладовщикам.

Посторонним людям доступ сюда был закрыт, мастерам не было выхода отсюда. Но кто же остановит царского гонца, не подвластного никому из стражей! Аяр заходил сюда часто. И не без выгоды.

Сперва похаживал, поглядывал: кто из мастеров искусней других, каков над ними надзор, каков ведется их поделкам учет, каковы нравом стражи, шатающиеся с длинными прутьями в руках позади мастеров.

Когда Аяр ко всему вокруг пригляделся и подневольные мастера пригляделись и попривыкли к Аяру, перекинулись раз–другой мимолетным словом, гонец с мастерами, мастера — с гонцом.

Но как ни изнурен, как ни угнетен человек, а и у раба есть свои мечты. Одним еще мечтается о

родном городе с высокими башнями, садами, об отчем крове, о семье, о шустрых маленьких пальчиках своих детей... У других надежда омертвела, — этим мечтается лишь о ломте свежей лепешки, которая пахнет глиной домашнего очага, о кислом яблочке, о стручке перца.

Раз—другой пронес сюда Аяр и лепешку, и яблоко. Подал мастерам, как подают узникам, во имя аллаха. А когда мастера приметили, что Аяр может проносить из города запретные ноши, принялись просить, приступили заказы заказывать, посулы сулить:

— Не задаром просим, дадим кое—чего...

Аяр зорко приглядывался к изделиям собеседника, нарочито удивлялся:

— А чего?

— А вот — свое рукоделье. Может, возьмешь да сбудешь? А случится сбуть, купи мне...

Так многие, суя в руку Аяру то, что удалось утаить от стражей, наказывали купить кому что...

Сперва Аяр разборчиво брал лишь такое, что вынести мог неприметно, а сюда проносил лишь то, что не оставляло следа, чтоб улик не осталось: если сушеных абрикосов, так без косточек; если орехов, то без скорлупы. Притом не только берегся стражей, но недоверчив был и к мастерам: из мастеров выбирал самых умелых, ибо их изделия легче сбуть; из лучших мастеров самых суровых, чтоб лишнего разговору не вышло; из суровых — самых понятливых, чтоб, шепнув одно слово, сразу обо всем договориться. Перед остальными прикидывался то тугим на ухо, то бестолковым на намек и тут уж ни на какие уговоры не поддавался.

В один из дней он пошел на базар, за пазухой неся от араба—ткача лоскут полосатого шелка, от азербайджанца — медные бляшки для седельной сбруи, от перса — бронзовую чернильницу с коралловой шляпкой.

На базаре из—за студеного ветра народу было мало. Купцы сидели нахохлившись, в толстых стеганых халатах, а то и в ярких шубах, подбитых лисьими мехами. Насупив на брови шапки, купцы поплясывали перед лавчонками, разминая застывшие ноги, а покупатели, наскоро накупившись, сжимая окоченевшими пальцами узелки, то и дело утирая рукавами носы и усы, пробегали, оскальзываясь на обмерзшей дороге.

В крытых рядах было темно. Снег намело сквозь щели навесов, и время от времени морозный комок сквозь щель падал вниз, оставляя за собой седое облачко. Из—за такой погоды в рядах застыла необычная тишина.

Все же, выходя из—под круглых сводов базарного перекрестка, Аяр высунул из—за пазухи край лоскута, и встречный, торопливо проходивший старик, будто осекся, круто остановился:

— Сбываешь?

Аяр высунул лоскут до половины:

— Если вам очень нравится, почтеннейший...

Явно прельстившись, но не прикасаясь к лоскуту, старик опасливо остановился:

— Дорожишься?

— А где такой шелк дешев?

— Брал бы цену, был бы торг...

— А шелк—то каков!

Старик долго щупал лоскут, словно шелк от этого размягчится или затвердеет; понюхал, пожевал

губами, помолчал и вернул Аяру:

— Привозной!

— Дорога длинная...

— Багдадский!

— Приятно, когда покупатель с понятием.

— А цена?

— По дороге и цена. И к тому же: воздух, а не шелк!

— Вот и нехорошо, что воздух. Мне б поплотней.

— Кому что! — пожал плечами Аяр и равнодушно засунул лоскут назад за пазуху.

Старик пожевал губами и пошел прочь, но не ушел.

Оглянулся. Остановился.

Аяр запахнул свой халат.

Старик вернулся:

— Дай еще посмотреть.

— Холодно, отец, попусту распахиваться.

— Давай!

Старик долго непослушными пальцами отсчитывал деньгу за деньгой, будто из каждой выжимал сок.

Забрав покупку, он отошел и снова остановился, разглядывая ее. Снова долго щупал ее, смотрел на свет, втайне радуясь, что из самого Багдада она так прямо далась ему в руки.

Эта сделка ободрила Аяра. Он пошел по базарным закоулкам веселее, смелей.

Закатанные в шерстяной пояс, у него свисали с живота еще не сбытые медные поделки, но не раскладывать же всякую мелочь на дороге: и ремесленные старосты пристанут, и купцы своего выборного подошлют. Он решил отдать этот товар кому-нибудь из медников; осторожности ради не местным, а каким-нибудь иноземным, завозным — персам ли, азербайджанцам ли, — но спохватился: персы, пожалуй, догадаются, откуда взят товар, по ремеслу опознают мастера; да ведь и азербайджанцы тож: у мастеров глаз на чужие изделия остер, наметан.

В этих сомнениях он шел мимо мастерской Назара. Назар сидел, отбивая плоские, с узором, кольца для уздечек. Аяр приостановился:

— Успеха мастеру!

— Да ниспошлет бог и вам...

— Колечки на уздечки?

— А разве не хороши?

— У меня на всю сбрую набор заваялся. Издалека привез, да думаю: к чему он мне?

— Ежели не надобен, чего ж ему валяться?

— Да что же, сам я, что ли, тут лавку открою? Мне это дело не по седлу, почтеннейший. Вот взяли б да и сбыли б заодно со своими колечками.

— Колечек-то я наковал на весь базар. Оптом сбуду. Наше дело — свое рукомесло сбывать, не чужое.

— А взгляните, не подойдет ли?

Аяр раскрутил пояс и высыпал нарядные бляшки перед Назаром.

Назар раскладывал их перед собой широко, чтоб понять, как все они распределятся на сбруе, приговаривая:

— Ну, ну, глянем... Чего ж не глянуть?.. Работа на самом деле не здешняя.

— А вам это и сказано, почтеннейший.

— Мало ли что говорят люди. Люди говорят, говорят... Хорошая работа. Откуда такая?

Аяр, вспомнив родину мастера—азербайджанца, ответил:

— Ширванская.

— Далеко наши гонцы доскакивают.

— Куда пошлют! — ответил Аяр и опомнился: «Да откуда же он меня знает?»

На Аяре не было ни гонечкой шапки с красной косицей, ни короткого ятагана с тамгой на эфесе, дававшего гонцу право на скорую смену коней в пути.

— Может, я и не гонец, почтеннейший!.. — захитрил Аяр.

— Да я как-то в крепости вас приметил.

Аяр забеспокоился: «В крепость хаживает! Зачем? Не оплошал ли я?»

А между тем Назар продолжал:

— Давно оттуда? Из этого, из Ширвана?

Аяр совсем смутился: «Как быть? Сознаться, что давно там не бывал, а мастер спросит, откуда взялись эти медяшки. Сказать, что теперь оттуда вернулся, — а может, он в крепости прознал и мои пути, во лжи уличит, нехорошо обо мне помыслит!»

Аяр не был равнодушен к помыслам людей о нем: каковы бы ни были сами те люди, но их помыслы о нем должны быть почтительными! Аяр очень ценил от кого бы то ни было почтительное отношение к себе, он не знал, что ненависть врагов не умаляет расположения истинных друзей, не знал, что льстивый голос врага опасней, чем укоры друга.

Аяр гордо погладил свою жидкую бородку и многозначительно ухмыльнулся:

— Мало ли дорог у гонца!

— Что говорить, много! Ой и много ж нынче дорог у царского гонца! Много дорог царь ваш прошел, по многим ходит. Подумать страшно, куда нынче пойдет!

— Повелитель свои дороги сам знает! — наставительно возразил Аяр.

— А как же! Знает! Хорошо должен знать. Потому и не везде ходит.

— Это как так?

— Где скользко, где морозно, где народ крепок, туда небось не идет!

— Это что за слова о нашем повелителе! — вскинул голову Аяр, встревожившись: не услышит ли кто-нибудь таких странных слов о Тимуре. Вокруг никого не было: мастера в такой холод занимались каждый своим делом, а случайных путников не проходило.

Назар, приметив беспокойство Аяра, усмехнулся:

— Да какие это слова! Осторожен, говорю. Дорогу свою знает... А вам—то не случится ли снова в тот Ширван сходить?

Тут глаза Аяра и Назара встретились. Взгляд мастера был спокоен, миролюбив, и Аяру вдруг стало неловко, не захотелось гордиться перед этим человеком с таким ясным и понятливым взглядом; Аяр ответил просто:

— Разве сам я себе выбираю дорогу!

— Да мне и не к чему знать. В Ширване у меня небось никого нет. А всю эту мелочь оставьте; как—нибудь сбуду. Как сбуду, так расплатимся.

— У меня и еще такой безделицы много, почтеннейший.

— Приносите — может, и ту продадим.

Аяр вернулся к невольным труженикам Синего Дворца, роздал им покупки. Доверие к Аяру у мастеров укрепилось, хотя они молча понимали, что не без изрядной корысти столь великодушен этот гонец. И с того дня повелось: из дворца он выносил, с базара приносил. Смелость и ловкость возрастали с каждым днем, и все больше серебряных «княжат» застревало у гонца между пальцами.

Едва ли выпало бы такое раздолье Аяру, будь в Самарканде сам Тимур; без Тимура здесь все шло по—другому, — и надсмотрщики стали не столь приглядливы, и стражи не те, что были. И сами мастера, словно проснулись, посмелели, поживели. Много в городе изменялось, когда уходил Тимур, казалось, и город просторней и люди рослей.

Когда после зимних туманов задождил прозрачными ливнями конец февраля, Мухаммед—Султан вызвал Аяра: выпала гонцу дорога к самому повелителю.

Перед дорогой Аяр зашел в мастерскую. Мастера приметили и новые сапоги, и новую алую косицу на шапке гонца и поняли: собрался в путь.

Многие попытались дознаться, в какую сторону лежит эта путь—дорога. Но Аяр отмолчался, отшутился:

— Долга ль дорога, дело покажет; длинна ли, конь скажет.

Но когда о том же спросил азербайджанец, отливший бляшки и много других мелких искусных вещиц, отнесенных к Назару, Аяр многозначительно подмигнул:

— К тебе.

— В Ширван?

— Наверяд ли.

— В Марагу?

— А что?

— Там, на базаре, позади Купола Звездочетов, где Медный ряд...

— Знаю.

— Ширван—базар называется...

— Многословен ты!

— Сказать там человеку два слова.

— Что за слова?

— Ждем, верим.

— Родня, что ли?

— Родня.

— Я скажу два слова, а услышат два уха. Да вдруг не те? Этак я и сам без головы останусь.

— Всего два слова, — отблагодарим!..

— Бляшками? Прошло время с ними шутить.

— Отблагодарим!

— Чем уж!..

— Намедни серьги отливал. Большой сердолик в щель закатился.

— У тебя?

— С меня взыскали б! Главный обронил. Искали — не нашли. Кругом обшарили — нету. А вам найдем.

— Хороших сердоликов давно не видал. Да хорош ли?

— Целебный камень. Если носить, кому помогает от печени, кому от...

— Знаю.

— За Куполом направо третья мастерская. Там старик, совсем стар. Вот ему сказать: из Самарканда, мол, Реза велел сказать: ждем, верим.

— А вдруг да нет того старика? Помер!

Узколицый азербайджанец, у которого усы вились из-под большого, тяжелого носа, взглянул тяжелыми, как камни, круглыми глазами, медленным, пытливым взглядом посмотрел на Аяра: «Передаст ли, не выдаст ли?» — и уверил гонца:

— Старик там всегда есть.

Разговор прервался: во мглу мастерской, пригибаясь под сводами, вошел главный. Аяр успел шепнуть:

— Вечером зайду за сердоликом.

И, сменив по дороге гонецкую шапку на простой треух, пошел к Назару получить должок за последний принос медного ковья и литья.

В мастерской работал один Борис. Он обтер о кожаный фартук черные ладони и вышел сказать Назару о приходе Аяра; вернувшись, объяснил:

— Вчера мой мастер кувалду на ногу обронил, теперь лежит. Пойдем к нему.

Борис провел Аяра через мастерскую в небольшую низенькую келью, по всему полу застланную серыми кошмами. На приземистой широкой скамье лежал мастер, до плеч накрывшись стеганым зеленым халатом.

Аяр посочувствовал:

— Заболел?

— Да не то чтобы... А не могу стоять на ноге. Лежу жду, пока она снова меня держать будет.

Аяр сел на край скамьи.

— А мне ехать пора.

— В какую теперь сторону?

Борис стоял у двери, и Аяр покосился на него:

— В какую сторону ни пойдешь, все стороны темны без денег.

— Ваш товар я сбыл. Выручка — вот она.

Назар приподнялся и отвернулся к стене, вытягивая из-под подушки кисет с деньгами.

Аяр смотрел на широкие плечи кузнеца, на его смуглую мускулистую шею, осененную подстриженными в кружок густыми волосами. Что-то прочное — не то воинское, не то крестьянское, — что-то очень сродни Аяру было в этом хорошо сложенном теле Назара.

Но Аяр строго напомнил:

— Цена — как уговорились. Меньше не возьму.

Назар, не поворачиваясь к Аяру, высыпал деньги на ладонь и, отсчитывая их, ответил:

— Зачем меньше? По уговору. Вот она, выручка...

Он засунул кисет обратно и повернулся к гонцу:

— Хватит на дорогу?

Аяр не ответил, деловито углубившись в подсчет денег.

Назар спросил:

— Так в какую же теперь сторону?

Аяр по привычке хотел уклониться от прямого ответа, но Назар спросил так дружелюбно и просто, что Аяр, как и в первый свой приход сюда, сам того не чая, ответил так же прямо и просто:

— К самому. К повелителю.

— За Хвалынь, значит! — усмехнулся Назар, не скрывая, что хорошо знает, где теперь находится Тимур.

Аяр насторожился: не оплошал ли? Негоже тайные дела царских гонцов выносить на базар!

Назар уловил тревожный взгляд Аяра и равнодушно сказал:

— В такую дождливую пору только у себя дома хорошо, под плотной крышей.

Перекинувшись быстрым взглядом с Борисом, он добавил:

— Поди, Борис, да поскорей, понял?

Едва Борис вышел, Назар повторил!

— Дело к весне. Дороги теперь скользкие, не раскачешься!

Аяр, соглашаясь, посетовал:

— У нашего брата гонца дороги всегда скользки.

— Все мы весь свой век векуем на оскользе.

— Весь век! — согласился Аяр.

Они не спеша разговаривали на том базарной языке, где слышались слова персидские и тюркские; на языке, которым говорили не одну сотню лет на всех базарах просторной Азии. И хотя давно было пора

Аяру уйти и собираться в дорогу, ему не хотелось уходить от мастера, из этой теплой, тихой кельи, от спокойной, неторопливой речи Назара, словно прибыл Аяр наконец домой. И сам не знал, откуда взялось это чувство. Может быть, он просто устал от вечной настороженности, от долгих бездомных скитаний...

Вернулся Борис и на безмолвный вопрос Назара ответил лишь отрывистым кивком головы.

Аяр, как бы винась, говорил Назару:

— Весь век в седле, а вашей земли не видел. Вашими дорогами не ездил. Москва далека!

— Не так чтобы... — задумчиво ответил Назар. — Не так-то и далека...

— Русских много видел, а земли вашей не знаю.

Вдруг в разговор вмешался Борис:

— А русских — где?

За Аяра ответил Назар:

— Русских кругом много. Тут без тебя гонец рассказывал: в каждом большом городе — на ремесле, на земле, в садах, — везде много нашего народу.

— Тысячи! — подтвердил Аяр.

Борис усомнился:

— Откуда же столько?

Опять ответил Назар:

— Ордынцами навезены. С Волги, с Оки — отовсюду, где ордынцы невзначай грабили, где безоружных врасплох застигали. Там нахватают, сюда сбывают. А отсюда уйти назад — длинна дорога: стража кругом, негде по пути притулиться, куда уйдешь! Вот и живут как бог даст. Иные десятки лет тут живут, в труде, в терпении, в помыслах о родной стороне, о своей земле.

Борис заметил по-русски:

— Воля божья. А я так помышляю: настанет пора — вызволят. Москва-то крепнет!

Аяр, вздрогнув, взглянул на Бориса:

— Что ты сказал о Москве?

Назар покосился на Аяра, но ничего не приметил в гонце, кроме любопытства.

Борис отмолвился по-тюркски:

— Москва мне родина.

В это время, постучав колечком, подвешенным к двери, вошел коренастый сарбадар, у которого рыжеватая борода сглажена на одну сторону.

Аяр и сарбадар быстро, настороженно оглядели друг друга, словно две тонкие, кривые сабли, звякнув, схлестнулись в воздухе, и тотчас каждая скрылась в своих ножнах.

Назар объяснил Аяру:

— Сосед наш. Шерстобой. Вишь, войлок тут на полу, — от него. А с войлоками зимой теплей.

Аяр согласился:

— С войлоком теплее.

— О Руси беседовали? — спросил кривобородый.

Ответил Аяр:

— Вот, говорю, ездил много, а Русской [так] земли не видывал.

— Ваши дороги там лежат, где наш повелитель ходит.

— Истинно, почтеннейший! — согласился успокоившийся Аяр.

Назар сказал кривобородому:

— Теперь вот снова наш гонец в путь собрался.

Кривобородый улыбнулся:

— Если б в сторону повелителя ваш путь лежал, мы туда поклон бы послали.

— Поклон легко везти: места не занимает! — согласился Аяр. — Кому?

— В Мараге—городе не случится ли побывать?

— А вдруг случится?

— Есть там Ширван—базар. Позади Купола Звездочетов.

— Знаю! — усмехнулся Аяр.

— Есть на том базаре литейщик. Зовут его Али—зада. Ему сказать: просил, мол, человек из Самарканда поклон передать. Просил, мол, сказать: ждем товару, верим, что товар будет хорош. А покупателей у нас, мол, по всему нашему Междуречью есть сколько надо. Только б товар хорош был! Не запомятуете?

— Сказать нетрудно, да как бы не забыть...

— А мы чего—нибудь дадим на память! — решил Назар.

Аяр удивился:

— Кому же из вас этот товар? Кузнецу одно надо, а шерстобою другое!

Кривобородый объяснил:

— Будет товар хорош, каждому годится!

Назар заколебался:

— Вот только... Чего бы вам на память дать?

Аяр небрежно отмахнулся:

— А чего не жалко...

— Народ мы бедный, хорошую памятку взять неоткуда: мелочь давать недостойно...

Кривобородый, решительно засунув руку за пазуху, вытянул, обтер о халат и протянул Аяру белую, похожую на плоскую пуговицу вещицу:

— Вот, случилось этой осенью купить у воина. Примите!

Аяр взял из его ладони круглую костяную серьгу. На ней был искусно выточен крошечный слон и две порхающие птички.

Кривобородый приговаривал:

— И вся—то не больше ногтя, а ведь уместил же резчик целого слона в ней и птичек с распахнутыми крылышками!

Аяр не сумел скрыть удивления:

— Мала, а мастерство.

Назар:

— Мала... Мала, а вот человек изощрился, и что задумал, то все и вместил! Не размером меряй мастерство, о труде судить не по величине, а по уменью надо.

Аяр:

— Мастерство явное!

Он хотел еще что-то сказать, но спохватился: незачем радоваться подарку, любой подарок надо принимать как вещь незначительную, — когда наидрагоценнейшую диковину принимаешь как должное, как нечто обычное, тогда уважение окружающих к тебе возрастает; если же удивительному удивляться, над непонятным задумываться, прекрасным восхищаться, не возвысишься в глазах людей! Нет, людям надо представляться человеком, выдавшим виды, чтоб они не считали тебя подобным каждому из них.

Пренебрежительно подкинув серьгу, Аяр поймал ее на раскрытую ладонь и усмехнулся:

— Трудился резчик, видать, немало над ней. А к чему? Что с ней делать? Какая от нее польза? Может, в девичье ушко она и годилась бы... Да и то, будь цела к ней вторая серьга. А для уха воину навряд ли она подходит. А, почтеннейший?

— Это вам видней! — согласился кривобородый.

Аяр продолжал разглядывать серьгу:

— Не наша!

— В походе небось добыта! — предположил Назар. — Может, индийская...

Борис задумчиво сказал:

— А ведь было время — было их две вместе. Да поди-ка найди теперь, где она та, пара-то от нее. Может, и есть где, за тридевять земель отсель, а поди-ка найди! Так и с людьми тоже случается... Да и чьей прежде она была, об той тоже ежели додумать...

Аяру пора было уходить. Но уходить от этих людей не хотелось. Сказал Борису:

— Верно говоришь, пара-то от нее где? А без пары что ей за цена!

Уже стоя посреди кельи, как бы завершая главные разговор, вздохнул:

— Ваш народ — неразговорчивый народ, невеселый. Строгие люди! Как их ни обхаживают, они своей земли не забывают, в нашу веру не идут. Скольких видел — все одинаковы: дичатся, таятся. Между собой как братья, тесно живут. Видно, хороша ваша земля, когда так помнят!

Назар охотно согласился:

— Хороша!

— Дичатся, таятся, будто чего-то ждут. Каждый чего-то ждет. И все вместе чего-то ждут. Будто непременно что-то для них сбудется! Непонятен ваш народ, почтеннейший. Чего ждут?

— Им виднее! — ответил Назар.

Аяр еще потоптался среди комнаты. Спрятал серьгу за пазуху, но медлил уйти.

Когда же, пригнувшись, проходил в дверь, он заметил, как через двор легко перебежала стройная темнолицая женщина.

Поутру, едва отворили городские ворота, Аяр покинул Самарканд.

Третья глава

ДОРОГА ГОНЦА

Аяра сопровождали четверо воинов. У каждого — свежий конь из джизакских табунов Тимура, под чекменем — короткий ятаган, в руке — легкое копьё.

Вокруг простиралась зимняя бесснежная, серая гладь степей. Вдали синели горы, то задернутые туманами, то покрытые суровым снегом.

Потянулась длинная, на многие дни, мокрая, скользкая, дальняя дорога. Через степи, горы, пустыни, через родные свои селенья; через чужие покоренные города, через становища одичалых племен, через нежилые развалины недавних городов, где повелитель пожелал создать пустыри, чтобы умелых мастеров отсюда увести в свои города; через чужие заброшенные поля, куда повелитель пожелал пустить пустыню, чтобы земледельцев отсюда переселить на свои земли, чтобы их руками рыть оросительные каналы на своих полях.

Аяр сидел в седле небрежно, но крепко. Воины, приноравливаясь к нему, то сбавляли рысь, когда пересекали безлюдные места, то пускались вскачь, когда показывались селенья, чтоб народ сторонился перед ними: велика честь селенью, что по его улице мчится царский гонец.

В отяжелевших от дождей и от пота чекменях, в широких лохматых треухах, одними лишь копьями напоминали они, что не простые всадники скачут следом за красной косицей гонца, но сами воины повелителя.

Кругом простирались мутные февральские просторы, словно в воздух, как в воду, плеснули молока.

В Каршах, в тесном древнем городе, остановились ночевать под кровом многолюдного, шумного караван-сарая, заслоненного от базара строем больших, ветвистых карагачей. Аяр знал эти деревья летом, когда, смыкаясь кронами, они распростирали густую благотворную тень. Теперь они высились голые и неподвижные.

К ночи заветрело. На черных ветвях карагачей большая стая ворон подняла неумолчный гомон, перекликаясь с другой стаей, носившейся в хмуром, темнеющем небе.

Зимние деревья никого не могли укрыть от студеного сырого ветра с востока. Ветер загулял и по просторному двору караван-сарая, сметая на людей мусор с кровель.

Аяр, разогревшийся от быстрой езды, скинул чекмень, скинул теплый халат и, прежде чем отдохнуть, прошел на конный двор выбрать сменных лошадей, чтоб их подготовили ему к рассвету.

Для долгого отдыха в пути у гонца не было времени: пути гонца, как и все переходы караванов, четко расчислены в книге «Дорожник», и этого расчисленья никто из гонцов и никто из караванщиков не смел нарушать. Каравану полагалось идти от Бухары до Каршей четыре дня; гонцу — три. Каравану идти от Каршей до Балха — восемь дней; гонцу — пять. И так по любой дороге, до любого города. Если гонец на сменных, отстоявшихся лошадях ухитрялся пройти расчисленный путь быстрее, награждался.

Стемнело. Уже не видно стало городских строений, а ветер не унимался. И вдруг повалил снег. Накаркали вороны! По снегу не раскачешься. Вот тебе и Карши — родной город великой госпожи — царицы Сарай-Мульк-ханым. Потому и город ныне прозывается Каршами, а не прежним именем — Несеф. Карши — значит дворец. А дворец в Несефе поставил правнук Чингиза Казан-хан, отец великой госпожи; тут и родилась она, в этом самом дворце, тут и росла до пятилетнего возраста, пока не убил Казан-хана хан Казаган. Как зять Казан-хана, нынче прозывается Тимур Гураганом, ханским зятем. А

дворца того в Каршах уже нет. Хан Тохтамыш разрушил тот дворец лет десять назад, когда повздорил с Тимуром. Где-то он нынче, неблагодарный Тохтамыш-хан? Дважды Тимур ходил его бить за неблагодарность. Под Чистополем во чистом поле бил. На Тереке-реке бил. А все еще цел Тохтамыш-хан, а все еще где-то скрипит зубами, точит меч, не угомонился, не поклонился Повелителю Мира.

Может быть, тысячу лет стоит этот город Несеф, нынешний Карши. Много дел тут поделалось, много всяких людей побывало, пожило, сошло в забвенье. Много снегу сюда наметало со степи, много его здесь перетаяло. А вот опять намедает, метет, валит. А на рассвете надо выезжать и ехать наскоро.

Всю ночь Аяр вскакивал, выходил глядеть, не стихает ли снег, не светает ли утро.

Когда в предрассветной синеве выехали из ворот, Аяра знобило. Никак не мог согреться.

На городских кровлях лежали белые тяжелые слои снега. Весь город казался разглаженным белыми плоскостями кровель; и между ними вздымались в небо серые султаны голых тополей да желтели сырой глиной стены строений.

Кони увязали в снегу, в глубоком, рыхлом снегу, прикрывшем всю землю ровной гладью. Кони то оскользались, то спотыкались, — не разглядишь ни канав, ни кочек.

В каршинской степи, на бескрайнем просторе, понесло навстречу всадникам студеным ветром. Заиндевела шерсть лошадей. Слезилась глаза от стужи, от ветра.

Когда добрались до Маймурга, смерклось. Заночевали в низенькой келье постоянного двора, заполненного большим овечьим гуртом.

Под заношенным холодным одеялом Аяр ворочался всю ночь, пересиливая себя, не желая поддаться тяжелой слабости, силясь перебороть болезнь.

Утром, ослабевший, пошатываясь, он все же сел в седло и поехал дальше. Но все трудней стало ему держаться в седле. Тело настойчиво тянулось к земле, к покою. Впереди был постоянный двор — Рабат-Астан. Можно было остановиться там. В этом рабате [так] редко останавливались, предпочитали добираться до Миянкалы, укрепленного караван-сарая, где всегда стояло много проезжих, где были запасы корма для лошадей и верблюдов и хорошая харчевня. Но не только до Миянкалы доехать, а и до Рабат-Астана у Аяра не хватило сил.

В какой-то небольшой, до кровель заваленной снегом деревушке Аяр остановился. Воины помогли ему дойти до первой мазанки.

Постучались в черную от времени низенькую калитку.

Вышел старик в широких засаленных овчинных штанах. Их шов кое-где распоролся, и в прорехах торчала бурая овечья шерсть. Серые глаза слезились над свалывшейся бородой, похожей на лоскут овчины.

Длинная домотканая рубаша, распахнутая на груди, на пронзительном ветру не могла укрыть от стужи костлявого старого тела, но старик неторопливо здоровался с гостями, неторопливо вел их по двору, гремя по оледенелой земле одеревенелыми туфлями, надетыми на босу ногу.

В приземистой лачуге, в темной комнатке под черным низеньким потолком, на глиняном полу ничего не было, кроме истертой войлочной подстилки да глиняного кувшина у двери. Но вошедшим сразу показалось здесь теплей, чем снаружи, хотя теплей здесь было лишь оттого, что толстые стены укрыли иззябших путников от ветра.

— Один из воинов начал было объяснять хозяину, что Аяр заболел, но старик, как бы успокаивая их, поднял перед воином ладонь, приговаривая:

— Погоди, погоди...

И торопливо нырнул в другое жилье, откуда принес две овечьи шкуры. Он расстелил их на войлоке, и Аяр беспомощно опустился на них. Постояв над ним, старик снова ушел. Он вернулся с широким, много раз латанным шерстяным чекменем, накрыл Аяра и сказал:

— Лежи.

Воины внесли переметные мешки и поставили их у стены около двери, а седло уложили возле Аяра, чтобы ему было на что опереться. Но прежде чем лечь, Аяр, закрыв глаза, вытянул из-за голенища кисет, засунул его за ворот, где под мышкой был у него потайной карман, и сказал воинам:

— Хозяин меня обережет, а вам тут места нет. Поезжайте, ждите меня в Рабат–Астане. Да сыщите там лепешек или еще какой еды, а завтра один из вас привез бы мне сюда. Тут у них у самих ничего нет.

— Есть! Есть! Гостю найдем! — самоотверженно заволновался хозяин. Обидеть нас хочешь?

Аяр послушался, но остерег свою охрану:

— Ждите меня в рабате. А тут ни у кого ничего не трогать, не брать.

Воины переглянулись с неудовольствием: не в их обычае было отказываться от того, что можно вырвать. Если сам царский гонец захворал, никто за такое дело не попрекнул бы. Однако Аяр был тверд:

— Езжайте, не то до темноты не успеете!

И, потеряв силы, лег. Он только сказал, когда хозяин проводил воинов:

— Мне ничего не надо, отец. Дай мне поспать.

Но хозяин вскоре принес в черной глиняной плошке разогретое сало, растер Аяру грудь и густо намазал ему пятки и ладони.

— Дитя я, что ли... — возражал Аяр, но подчинялся этой отцовской заботе, которой не знал за всю жизнь с младенческих лет.

Уже в дремоте спросил:

— Как имя, отец?..

— Онорбай.

— Богатое имя!

— Только оно одно богато!.. — усмехнулся хозяин. — Лежи отдыхай.

— А я — Аяр.

— Знаю, воин сказывал... — И опять хозяин усмехнулся, теперь, видно, этому нелестному прозвищу гонца.

К утру у Аяра озноб утих, а днем под напором яркого солнца и теплого ветра сугробы истаяли. Лишь кое-где в тени оставались сизые пятна хлипкого снега. Аяр лежал обессиленный, голова отяжелела, все вокруг казалось непонятным, как во сне: откроет глаза — сидит старик и что-то скоблит ножом; другой раз откроет — уже вечер и в дверях стоит широкоплечая коренастая девушка; третий раз откроет — ночь, где-то грызутся собаки, видно схватились с волками.

Прошел один день, и другой день прошел, и Аяру полегчало. Оставалась лишь слабость да тяжесть в голове. Но больной уже сидел, разговаривал с хозяином, выходил наружу погреться на свету.

Из сырой земли, как зеленые язычки, высовывались ростки тюльпанов, предвещая весну.

Старик, подойдя к росткам, сказал:

— Они уже с неделю как выглянули, поманулись на солнце, да снег их привалил. А они устояли, дальше тянутся. И примечаю: росли и под снегом, не переставали расти.

Но Аяр все еще ленился поддерживать разговор.

Во дворе и в доме домовито хозяйничала широкоплечая рябоватая девушка. Подметала сереньким веником, разжигала кизяк в глиняном очаге, на краю двора, где пекут лепешки; пробегала, стуча тяжелыми кожаными туфлями, посверкивая смуглыми щиколотками из-под румяных шальвар, накинув на голову детский халатик, и небрежно, по обычаю, заслонялась полой халатика от постороннего мужского взгляда. Нередко случалось, что она проходила мимо, заслоняясь полой халатика совсем не с той стороны, откуда на нее смотрел Аяр.

Он молчал, но смотрел на нее. Ему нравилось на нее смотреть: не стройна, не легка, рябовата, и руки измазаны сажей, и на лбу полоска сажи, — видно, провела по лицу рукой, — а смотреть на нее было приятно: как она домовито, ловко хозяйствует среди этой глиняной утвари, где у нее вода, мука, тесто... Приседает перед очагом и, совсем распластавшись на корточках, поддувает огонь под комьями кизяка. Вот вскинулась, схватилась за пучок сухого бурьяна, подбросила в очаг. Пламя заиграло перед ней. Она не отодвинулась, только заслонилась от пламени ладонью. Вот поплескала из кувшина водой на руки: будет брать тесто. Мало помыла руки, бережет воду.

— В воде нуждается? — спросил Аяр хозяина.

— Колодец есть овец поить. Сами не пьем: солона.

— А где же берете?

— Эна там, в балке, — серые камни где лежат, видишь? Там вода есть. Летом засыхает; летом из колодца пьем.

— Дочь хозяйствует?

— Жены нет.

— Нету?

— Тринадцать лет уже нету. Когда Тохтамыш-хан на Карши ходил, увели жену. А я дочь схватил да за пазуху. Ягненок подвернулся, только что народился, и его за пазуху. Да в балку, там за камнями залег, притаился. Тохтамыш ушел, я вернулся. Дочь выходил и ягненка выходил. Ей три года было. Ягненку — три часа от роду. Обоих выходил. А сыну шесть лет было, он сам спрятался: на кровлю залез, там залег, затаился, его и не заметили. А жену увели.

— Сын жив?

— С повелителем. С самим. Что жив, что нет — разницы нет, когда он с повелителем. Десятник.

— Трудно вам двоим?

— Мне шестьдесят лет было, я все один жил. Шестьдесят лет, а кругом все одно — степь, бараны, колодец. Тут случилось, мимо пленных гнали; много — тысячи людей. Это повелитель Хорезм взял, погнал народ в Самарканд. День мимо шли, другой день шли. Я смотрел: черные, серые, одни глаза краснеют, идут, идут... Пять дней мимо идут, на шестой идут, — вижу, на шестой день одна девушка захромала, ногу вывихнула. И уж ей не идти. А не идти — убьют. Я изловчился, выдернул ее из толпы да за угол. Она догадалась, поползла за стену. Да так и осталась. Вот мне и жена. А и не думал жениться. Чем кормить? Да и выкупить невесту было не на что: отдашь всех баранов, а самому что останется, где шерсть брать? Вот и осталась, и явилась у меня жена. Ха! Ах, какая жена!.. Увели. А теперь где взять? Да и зачем? Лучше той нигде нет. Та — одна была такая! Я весной шерсти наберу, летом она ниток нарядет, в травяном отваре

выкрасит, зимой сидит — ковры ткет. Об эту пору я брал у нее ковры да в Карши, на базар. Продам — чего-нибудь для дома куплю, с базара несу. Какая жизнь была! Увели...

— А дочь не ткет ковров?

— Может. А где шерсть взять? Баранов тогда ж угнали. Какие у меня и остались — все черные. А одной черной ниткой какой ковер выткешь? От жены один коврик уцелел. Она тут за домом его ткала, он у нее еще на приколах был растянут, они его не заметили. Да он и не весь был готов. Вот дочь по этому ковру и училась. И поняла. И могла б ткать. Да где же взять шерсть?

— Чем же кормитесь?

— Барашка выращу, сведу на базар, назад зерно несу. Тут муку намелем вон у нас жерновок, — лепешки печем, водой запиваем. А этой осенью волки на проезжего коня кинулись. Конь отбился, да зад весь изорван. Проезжий бросил коня, а мы с соседом коня задрали: коню все одно пропадать. Теперь тут у нас с осени колбаса провисает. Станет тебе полегче, сварю тебе, попотчую.

— Да, отец... не проста жизнь-то!

— Ух, какая!.. Каждый день разная. Как ручей играет.

— Жизнь-то?

— Да.

— Ты и родился здесь?

— Испокон веков. А где ж еще жить? Разве можно!

Вокруг темнела ровная, гладкая каршинская степь. Ни деревца, ни кустика. Только кое-где камень торчит или горбится холмик.

Подошли большие степные собаки, с обрезанными ушами, с пушистыми култышками на месте хвостов. Хозяин, приветливо глянув на них, сказал:

— Ночью они двоих волков тут задрали. Там вон, около камней. Я пошел, хотел шкуры снять. Где там: ключья!

А девушка все ходила мимо, все ходила...

Закрыла жерло печи деревянной заслонкой: там, внутри, лепешки, прилепившись к своду, пекутся над жаркой золой. Начисто отмела сор от печки. Ухватила глиняный кувшин, распрямившись, вольно запрокинув голову, побежала к далеким камням за водой. Ветер отпахивал в сторону полы халатика, раздувал ее широкую, заплатанную рубаху.

— Что ж это она босая?

— В обузе тяжело, — далеко ведь! — степенно объяснил старик.

— Еще снег кое-где... холодно.

— А то и по снегу ходим без обузи: где ее взять?

— Холодно ведь! — повторил Аяр.

— Сын мой обут небось: он воин, десятник. А тут кругом ты обутых видал? У нас добычи нет...

— А все ж вы тут намного богаче живете, чем там! — сказал Аяр, вспомнив покоренные земли.

— Еще бы, мы тут свои повелителю-то! И воинов ему даем, и хлеба; баранов ему растим. И воинов даем, и кормим воинов. А он добычу берет, правит нами!

Старик говорил степенно, но Аяру почуялось, что в словах старика мелькнуло подобие той усмешки, какую он приметил, когда сказал старику свое прозвище. Если даже и мелькнула эта усмешка, сейчас она не задела Аяра, ему было хорошо здесь, спокойно. Как было ему спокойно у Назара на базаре, так и здесь, не то что среди воинов или на постоянных дворах.

Девушка уже возвращалась со степи, слегка прихрамывая, и глиняный кувшин твердо стоял на ее голове. Шла навстречу сырому свежему ветру, свободно и равномерно помахивая руками в лад своим мелким шагам. Под глиняным кувшином сама она казалась слепленной из красноватой глины: встречный ветер прижимал к ней рубаху, и она пробивалась сквозь ветер высокими острыми грудями, широкими крутыми бедрами, узким овалом живота. Такие глиняные игрушки случалось находить на Афрасиабе — богинь в развевающихся хитонах. Ника ли, Афродита ли, своя ли согдийская Дева попадалась самаркандским ребятам на Афрасиабе после дождей ранними веснами; ребята бегали туда искать такие игрушки, чтобы потом играть, обряжая бывших богинь в пестрые лоскутки.

Ожившая, шла она из этой темнеющей вечерней степи, издревле увенчанная тяжелой тиарой кувшина.

В это время, как журавлиное курлыканье, донесся звон караванных колокольцев. Шел караван со стороны Каршей. Аяру не по душе было сейчас глядеть на караван, на людей, которые едут, может быть, из самого Самарканда. Его тянуло уйти от этого каравана. Он бы встал. Но хотелось дожидаться девушку.

Она была уже недалеко. Но вот Онорбаевы псы кинулись к дороге с угрожающим лаем. Из-за дома на дороге вдруг показались путники на ослах. За ними, надменно неся высокоумные головы, величественно следовали верблюды. Караванные псы, теснясь к ослам караванщиков, отбредивались от нападавших на них здешних псов, ощеривались, огрызаясь; в драку не лезли: здесь была чужая земля. В этой собачьей кутерьме, в звоне колокольцев верблюды шествовали один за другим и все так же величественно, медлительно сменяли друг друга, связанные между собой короткими арканами — один конец на седле переднего, другой конец в ноздре следующего — и мерным, беззаботным шагом уходили в далекую даль.

Но девушка осталась по ту сторону дороги. А караван был велик. Верблюд сменял верблюда. Возникали и пропадали вдаль караванчики на маленьких осликах, а девушка, опустив на землю кувшин, ждала по ту сторону дороги. До нее от Аяра было всего два шага, но теперь надо было ее ждать оттуда, может быть, очень долго ждать, — ведь в иных караванах идут сотни верблюдов; бывает, и тысячи верблюдов идут, позвякивая колокольцами, всегда тем же величественным, медлительным шагом, презрительно запрокинув надменные головы.

Аяру показалось обидным это шествие каравана. Никогда караваны не мешали Аяру: все уступали дорогу царскому гонцу. А тут он ничего не мог поделать. И чем дальше шел этот караван, тем нужнее становилось ему, чтобы девушка была здесь, в этом дворике, где без нее могут сгореть лепешки, где без нее чего-то не хватает Аяру.

А бесконечный караван шел, шел...

На хорошем, рослом осле проехал дервиш в островерхом куколе.

— Божий человек... — сказал Аяр, чтобы хоть чем-нибудь скрыть свою досаду, но сказал это с такой досадой, что старик охотно поддержал его:

— Где стадо, там и волк.

— Как это?

— Человек кормится от стада. Стадо кормится от степи. А степь рождает волков. Хочешь избавиться от

волков, зажги степь. А чем тогда стадо кормить? Ха-ха. — И сплюнул: — Ох, о аллах!..

Аяр задумался, взглянув на старика.

Через несколько дней Аяр уже снова мог сесть в седло. На прощанье Онорбай положил в мешок гонцу лепешек, еще горячих, но уже черствых, как сухая глина; положил кусок черной конской колбасы и пару луковиц, — здесь, в голой степи, лук с трудом выменивали у проезжих, и Аяр оценил щедрость хозяина. Но Аяру нечем было отдарить Онорбая. Желая хоть чем-нибудь порадовать его, Аяр предложил:

— Там, в войсках, не встречу ли я твоего сына, отец... Может, сказать ему что-нибудь? Как мне его там сыскать?

— Он в коннице у Султан-Хусейна. Его имя Мумтоз, а кличут его там Курсак, то есть Пузо.

— Что это ему такое прозвище дали?

— Он жрать любит.

Аяр уловил в словах старика неприязнь к сыну.

— Так что ж мне ему передать?

— «Воюй, мол, воюй!» Ему там самое место.

То приостанавливаясь у двери, то чуть-чуть прихрамывая, пробежала по двору, но, видно, без всякого дела, рябоватая коренастая девушка, по-прежнему делая вид, что прикрывается от постороннего мужчины краем полосатого детского халатика.

Аяр заметил, что в это утро девушка густо начернила себе брови, соединив их в одну черту поперек всего своего круглого лица. Теперь ему казалось, что она смотрит на него не своими маленькими, куда-то исчезнувшими глазами, а этой темной, как бы сощуренной чертой.

Аяр вытянул из-за пазухи маленький сверток, развернул его, вытащил индийскую Назарову серьгу и показал Онорбаю:

— На, отец, возьми. Отдай дочери.

Но Онорбай возразил:

— Ценность дарят, когда сватают.

Аяр зажал серьгу, раздумывая: «Мне-то сватать! В седле, что ли, ее поселю? Где же мне своей семьей жить? Где жилье свое ставить? Кто ж меня с седла на землю отпустит? А она ходит, ходит. Можно б и посватать...»

Он сказал Онорбаю:

— Я, отец, тебя не хотел обидеть. Память тебе хотел оставить.

— И без этого запомним. Не надо.

Аяр снова спрятал серьгу за пазуху.

«Откуда у них детский халатик?» — подумал Аяр. И медлил расстаться с этой глиняной приплюснутой к земле хибаркой, с голым, утоптаным овечьими копытцами двором, где дремали, привалившись к стене, серые, как волки, матерые черномордые псы... Медлил расстаться с этим полосатым детским халатиком и сказал Онорбаю:

— Буду назад ехать — непременно вас навещу.

— Да ведь нас уж не будет.

— Как это?

— Вон тюльпаны язычок показали. Это они нас в степь кличут. Навьючим свои сокровища на осла, овец выгоним, да и айда по степи пастись, до зимы. Если уж только зимовать вернемся. Да нынче, сам знаешь, жизнь человека не крепка. До зимы далеко загадывать! А летом где нас найдешь? Сами не знаем, где будем. Чем от дороги дале, тем жизнь целей. Нынче такое время!..

Подошли двое соседей Онорбая, молчаливые старики в изношенных шерстяных халатах, такие же зимовники этого маленького зимовья.

Аяр по-сыновнему низко поклонился им, обнял плечо Онорбая и пошел к коню, успев скошенным взглядом заметить девушку, замершую у пустого очага.

* * *

В Рабат–Астане Аяр, не сходя с седла, поднял заждавшихся его воинов:

— Засиделись? Седлайте скорей, едем!

Путь лежал через пустынную степь, где лишь изредка встречались маленькие стада скотоводов, двинувшихся на кочевье; один раз пришлось объезжать большую отару каракулевых овец, предшествуемую пастухами, сопутствуемую навьюченными верблюдами: перегоняли скот знатного хозяина.

Когда добрались до Нишана, хотя кони у Аяра были хороши, он велел сменить их на свежих, чтобы не ждать, пока эти отдохнут.

Среди ночи поднимался: не проспять бы рассвет. Он раньше всех просил отпереть ему ворота и, едва их со скрипом и всякими присловьями отворяли, пускал коня вскачь. Ему не терпелось наверстать дни, потерянные за время болезни. Он сменял лошадей всюду, где замечал свежих и крепких карабаиров, которых ценил выше остальных лошадей.

К переправе через Аму успели лишь к вечеру. Здесь пролегал южный рубеж Мавераннахра, Междуречья, простиравшегося между реками Сыр и Аму. Тимур считал Мавераннахр исконной вотчиной, своим заветным уделом, сердцем своего необъятного царства. Отсюда не всякого выпускали, дабы не оскудевали людьми ни города, ни земли Мавераннахра, где трудились сотни тысяч бесправных переселенцев из всех завоеванных Тимуром пространств.

Ночью переправы не было. За рекой вдаль высились крепостные башни города Керки. На этом берегу теснились крепкие стены обширных постоянных дворов, караван–сараев, скотопригонных рабатов.

Лишь к рассвету приставали сюда каюки перевозчиков и на берег выходила охрана, составленная из отборных стражей, столь привередливых и самовольных, что даже Аяр, неприкосновенный царский гонец, робел, глядя, как проезжих здесь обшаривали и опрашивали.

Лошадям накинули халаты и тряпье на головы, чтобы не пугались воды, завели их за жерди посредине каюков, сами встали, держа конские удила, и Аму забурлила желтыми водоворотами. Кое–где раскрывались воронки, и казалось, из речной пучины высовываются круглые львиные морды, разевая пасти.

«Пронеси, аллах!» — думал Аяр.

Отлогий розовый берег приближался. Поднимались еще заслоненные берегом плоские кровли пригорода, крепостные зубчатые стены, будто слепленные детьми из глины, угловатые башни, приземистые и нестрашные, тоже будто глиняные, — город Керки.

Пока судачили с охраной, пока грузились, плыли да выгружались, прошел весь день. К постой на

городской рабат успели незадолго до ночной молитвы куфтан, перед самым закрытием ворот.

Аяровы воины собирались погулять в городе, потешиться на вечернем базаре, но Аяр дозволил им лишь сходить в баню, где исхудалые банщики при жидком свете плашек наскоро поразмяли воинов, устало помыли их, торопясь закончить длинный, изнурительный банный день.

Еще до рассвета Аяр поднял свою охрану. Прежде чем мусульмане опустили на первую молитву, он уже поднялся в седло и мимо мечетей, мимо молящихся, под осуждающими взглядами набожных людей заспешил к городским воротам.

Но привратники ждали, пока жители закончат молитву. Когда же наконец открыли ворота, в город пошел большой караван из Мерва.

Аяр потребовал остановить караван. Привратники не посмели спорить, верблюдов оттеснили к стене, и Аяр протиснулся прочь из города.

Древнее кладбище, начинавшееся у городских стен, застроенное надгробиями и ветхими мавзолеями, было безлюдно. С сырой земли вспорхнули сороки. Между гробницами встал какой-то дервиш с остроносым кувшином в руке и снова нагнулся, чтоб поднять с земли молитвенный коврик. Это все, что Аяровы воины успели поглядеть в Керках; едва проехали мимо осыпающихся стен мавзолеев, дорога выпрямилась, и Аяр погнал коня вскачь.

Иногда недавняя болезнь сказывалась: начинала тяжелеть голова, немели ноги. Аяр спешивался, подтягивал или отпускал стремя, чтоб изменить положение ног, снова садился и гнал коня.

Когда потянулись пески пустыни, подули теплые ветры, засинело небо, замелькали шустрые пестрые птицы.

Постоялые дворы стали редки, а их серые стены высоки, вода из колодцев горька, люди медлительней и молчаливей.

Однажды проехали по дороге, густо усеянной древними черепками давно разбитых корчаг и кувшинов: некогда этой дорогой многие поколения людей возили пресную воду в безводные селенья. Вода для земли — как кровь для тела: всюду, где удавалось отвести ручей от дальней реки, его берега оживали, земля просыпалась, с лихвой воздавая тому, кто утолил ее вековую жажду. Сотни тысяч пленников, рабов, земледельцев согнал Тимур в безводные степи, чтобы расчистить и расширить каналы, заглохшие после нашествия Чингиза. В Мургабской степи, в Афганских долинах, на полях Хорасана рыли они оросительные каналы: Тимуру был нужен хлеб, чтоб кормить воинов, а воины — чтобы завоевывать земли. Но эти земли, где некогда колосились хлеба, давно заросли верблюжьей колючкой и горькой полынью: им не хватало воды. Ни усилия рабов, умиравших от жажды, чтобы прорыть русло ручья, ни плети надсмотрщиков, ни опыт земледельцев, согнанных сюда от своей недопаханной полосы, чтобы взрыхлить пашнями зачахшие просторы, не могли пробудить землю, почившую под копытами Чингизовой конницы, истоптанную его кочевыми стадами. Нужны были сотни тысяч земледельцев, молодых и любящих свои поля, а они, отвыкшие от рукояток сохи, нынче сжимали рукоятки сабель в непрерывных походах Тимуровой конницы.

Аяру предстояла переправа через Мургаб. Реку заслоняли густые заросли тростника. Лишь узкая тропа пролегла через сплошную чашу. Здесь нужно было дожидаться утра: каюки перевозчиков ушли на левым берег.

Не въезжая в камышовые заросли, Аяр остановился в небольшом селенье. Сняв с лошадей переметные мешки, воины пошли к небольшой мазанке, прислонили мешки к ее крепким, будто прокаленным, как у кувшинов, глиняным стенам, сели на землю в холодке.

Солнце стояло еще высоко. Старуха в узкой красной рубаше, в белой высокой, как башня, чалме разжигала сухой тростник в очаге. День был так светел, так ярок, что огонь костра на этом солнце горел невидимый, бездымный, будто сухой тростник сам, без огня, сгорал от солнечного света.

Неподалеку от дома длинный человек в черной, из целого барана, шапке, завернув за пояс полы халата, до колен засучив штаны, ходил босой следом за деревянной сохой. Соху задумчиво влачили иссиня-черные, белорогие горбатые быки, понуриив головы под тяжелым ярмом.

Лоснясь на солнце, быки двигались под бирюзовым небом, тяжело ступая по лиловатой земле пахоты, а хозяин, то наваливаясь на соху, то приподымая ее, охрипнув, кричал и кричал, ободряя и понукая быков.

Видно, он пахал уже долго. Увидев приезжих, он вонзил соху глубже и, отпустив быков от ярма, пошел, хромая, к дому. Пока он пахал, хромота его никак не была заметна, но теперь обнаружилось, что хромает он больше, чем сам повелитель. А когда подошел ближе, он оказался еще кривым на левый глаз.

Вытирая мокрое лицо полой халата, он остановился около Аяра и, словно сразу обессилив, резко опустил на землю, сел, привалившись спиной к стене.

Лицо опять взмокло, и опять он утерся полой халата.

— Давно пашете? — спросил Аяр.

Довольный, что с ним так запросто заговорили, хозяин при двинулся ближе:

— Пятый день. Еще дня на два осталось.

Старуха поставила перед ним кувшин холодной воды и глиняную плошку.

Налив воды, хозяин протянул плошку Аяру, но Аяр, видя, как хозяин облизывает серые толстые губы, отслонился:

— Пей! Пей сперва сам.

Жадно сжав плошку ладонью, пахарь пил маленькими, редкими глотками, неторопливо, долго, как бы пробуя вкус воды. Так вернее утоляется жажда. Если же пить большими глотками, живот наполнится и отяжелеет раньше, чем утолишь жажду. Тот, у кого мало воды, умеет пить воду.

Шуршали камыши и порой потрескивали. Они тянулись вдоль берега, отходили по болотистым землям далеко в сторону. Можно было неделями плутать в их беспросветных зарослях по хитрым звериным тропкам, где бродят несметные семьи кабанов, где на прогалинах пасутся чуткие олени, где охотятся, пощуривая зеленые глаза, камышовые коты, пятнистые барсы, где владеют тигры, еще более могущественные и надменные, чем сам Тимур.

А хозяин рассказывал Аяру:

— Отпашусь — начну стену лепить: вокруг всего поля нужна высокая стена. Не то кабаны войдут, не столько зерно пожрут, сколько вытопчут. Ни дынь, ни арбузов на бахчах не вырастишь, коль не огородишься. Истинные язычники — поганые кабаны.

— Не тяжело одному хозяйствовать?

— А как быть? Двоих сыновей отдал. Одного убили от Тохтамыша, на Каме-реке. Другого — в Индии, когда на Дели ходили. Сам десять лет лук из рук не выпускал. Да, слава аллаху, изломали меня под Багдадом, отпустил меня повелитель домой. А ведь дело такое: чужие поля топчешь, а свое хочется запахать да засеять. Чем по своему больше горюешь, тем свирепее чужое крушишь. Я такой. Люблю на земле действовать. В походе золото берешь, шелками мешок набиваешь, а сам глядишь, где бы тут

горсточкой отборных семян разжиться да на свою землю снести.

— Рад теперь, что отвоевался?

— И рад бы! Да ведь человек не всегда рад...

— А что?

Но хозяину не хотелось отвечать на вопрос царского гонца. Заслышав среди однообразного шелеста камышей какой-то хруст, смолкший так же сразу, как и возник, хозяин отвернулся к зарослям:

— Не тигр ли крадется? Может, лошадей ваших нанюхал. Тогда держись: ятаганами не отобьешься.

Но это был не тигр. Неприметной дорожкой выехал из камышей на тонком, как газель, сером коне коренастый сутулый старик в мерлушковой шапке, сопровождаемый вооруженным юношей на гнедом иноходце, и стороной проехал мимо, кинув косой взгляд на Аяра.

Старик поехал вдоль поля к высокому, как крепость, дому, и вечерние лучи тянули за всадником длинные синие тени. В небе сгущались синева. Полоса зарослей зарозовела.

— Кто это? — спросил Аяр. — Я его где-то видел.

— На переправе, может? Он там десятник караула. А над нами правитель.

— Свиреп?

— Не скажешь. Ничего худого не скажешь. Делает свое дело. Я, что должен исполнять, всегда исполню. Я такой!

— А что?

— Да ничего! Он мне земледельничать не мешает. Нас сам повелитель на землю посадил: «Земледельствуйте, а мне на воинов хлеб давайте. Я вас берегу, вы меня кормите». Что он зерно у меня берет, его право, не мне обижаться! А вот надсмотрщик этот правительствует без обиды, берет, что надо взять, а вот душа от него сохнет, как глотка от жары.

— Чего ж она сохнет, если он лишнего не берет?

— Нет, не берет: я повелителей выслужник. А вот что не по мне — что ни день едет сюда, проверяет меня. У меня в свое дело кровь влита. Я урожай соберу, отдам что должно. А чего он стоит у меня над душой? Как подъедет, руки опускаются. Стоит и смотрит, а у меня руки обвисают, как ботва без полива. Не могу ими шевелить, не могу ни пахать, ни полоть. Чего он смотрит? Оттого смотрит, что считает, сколько у меня чего народится. У него нос, как безмен. Раз поведет — и все взвесил. А я не вешаю зерно, когда сею; не вешаю, когда жну. Мне сама работа дорога — как земля пахнет, как быки идут, как со своей сохой борюсь, будто она живая. Измучаюсь, а рад. А он стоит, и я понимаю, как не понять, — ему моя радость неведома, ему дела нет, как пахнет земля, как мне быки отвечают, как проглянут первые всходы, как земля воду пьет. Он на это не смышлен: он смышляет насчет урожая. Ему урожай нужен, урожай! А в урожае не сбор, не жатва, а вес. Он зерно на вес считает. А разве зерно — это вес, когда оно живое?

— Его дело, он обязан.

— Разве я против? Да зачем над душой стоять? Дай мне земледельствовать в радость. Зерно ведь я ему отдам! А они повсюду. Где пашут, где пастухи пасут, там и они. Мы растим, а они считают. Вот кабы над душой не стояли, дали бы каждому вволю своему делу радоваться.

— Этого я не пойму, чего ж ты хочешь? — строго сказал Аяр.

— Сами-то пахивали, почтенный гонец?

— Как-то не случилось. Сперва был мал, а потом земли не было. Сызмалу в войнах.

Небо стало лиловым, прозрачным. Засветились звезды. Старуха опять подкинула сушняку в огонь, пламя взвилось, запахло полынной горечью дыма. Что-то зашипело в котле.

Сгущалась ночь.

Ночевать легли наверху, на кровле. Отсюда шире раскидывались необозримые, темные заросли камышей. Вдали под луной поблескивала река.

Всю ночь шелестели камыши, и сквозь их шелест что-то всхлипывало вода ли в болотах, кабаны ли бродили.

* * *

Хорасан охватил Аяра волнами теплых ветров, небесной синевой, первой, прозрачной, как марево, прозеленью весенних садов, зацветавших то розовыми облаками персиковых деревьев, то зеленоватыми, когда расцветал миндаль, то лиловатыми. На склонах холмов густая и сверкающая зелень молодой травы мерцала то синими, то желтыми искрами первых цветов.

Облака, легкие и переливчатые, как мыльные пузыри, улетали в синеву высокого неба.

Там и сям громоздились развалины, обглаженные ветрами и дождями за двадцать лет, минувших после первых вторжений Тимура на эту землю.

И сами сады, так широко раскинувшиеся у предгорий, давно одичали: это весна пробудила старые деревья, оставшиеся без хозяев.

Чем ниже в долину уводила Аяра хорасанская дорога, тем чаще то там, то сям вставали из-за холмов или из-за деревьев немые полурухнувшие здания, обвалившиеся своды, холмики глины, из которой торчали клочья истлевших циновок — остатки покинутых жилищ, следы замершей жизни.

Все реже попадались сады. Раскрылись пустые поля, зазеленевшие под влажным весенним ветром. Но эта поросль оказывалась не зелеными озимей, а лишь недолговечной зеленью степной травы, обреченной зачахнуть, едва просохнет напоенная зимними дождями земля. То тут, то там дорогу пересекали овраги — мертвые русла былых оросительных ручьев. И кругом — ни земледельцев, ни скота, ни даже собак.

Только сама земля, как вдова, хлопотливо убиралась и прихорашивалась, как было заведено во времена ее счастливой жизни. Одиноко встретила она светлый праздник весны, все вокруг украсив и безропотно прикрыв руины, знаки неотвратимой нищеты и запустения.

Аяр въехал в долину, где тысячи людей, сведенных сюда со всего Хорасана, рыли канал. Уверенный, что хорасанские земли навсегда стали частью его удела, Тимур велел оросить поля Хорасана.

Серые рубища, изорванные на локтях и на спинах, измазанные, измокшие под ночным дождем, не прикрывали костлявых, посинелых тел обросших всклокоченными волосами землекопов. Сил землекопам хватало лишь на то, чтоб, едва приподняв мотыгу, соскрести в сторону горсть глины. Там, где на своей земле молодой земледелец одним взмахом мотыги сбрасывает тяжкий пласт, им надо было долго трудиться. Казалось, они не прорывают, а процарапывают русло. Им было не вмоготу, — не было ни сил, ни того, что пробуждает силу, — любви к делу. Зачем, для кого было им здесь напрягаться? Лишь бы избежать лишнего удара от надсмотрщиков, лишь бы дотянуть до полудня, когда каждому дадут чашку варева и клоч лепешки.

И ни говором, ни движением — ничем не нарушало степного безмолвия и безлюдья это множество людей, тяжело трудившихся в степи. Лишь скрипели камни или песок под мотыгами да хрипло, глухо

звучали окрики надсмотрщиков. Не было слышно даже вскриков, когда палка ударялась о чью-нибудь нерадивую спину, будто били не по живому телу, а по сухой глине.

Аяр посмотрелся на такие работы, когда по слову повелителя десятки тысяч людей — и своих и рабов — напрягались на строительствах то великих зданий, то оросительных каналов, то крепостных стен. Везде было то же горбились ли ряды каменотесов в горах, месили ли глину строители крепостей в пустырях, складывали ли мечети и дворцы в городах и в пригородах. А в стороне уже рыли могилы десяткам, а то и сотням тех, что обманули надсмотрщика, сбежав в сады аллаха или в преисподнюю, уверенные, что в преисподней не будет хуже. Навеки рядом ложились те, что дошли до своих могил с каменистых берегов Куры, с песчаных побережий Евфрата, с зеленых набережных Инда, с ледяных откосов Волги-реки. И все в последний раз обращали к небу остановившиеся глаза, которым так и не довелось снова глянуть на родные реки.

Аяр с седла, проезжая мимо, смотрел на однообразные ряды тысяч людей, на однообразные вялые движения немощных рук. Как несхоже у этих людей начиналась жизнь и как одинаково у всех она завершится! Им не было исхода, их жизни не хватит на то, чтоб дождаться чего-нибудь в жизни, и если прежде не каждый это понимал, теперь, здесь, в этом безысходном труде, они все это уже твердо знали: они будут рыть, рыть, рыть, пока не слягут в могилу. Только там разогнутся и могут не шевелясь ждать справедливости и милости от бога, ибо все религии, все веры обещают людям милость и справедливость.

Не справедлив ли Тимур, что повелел оросить эти исчахшие поля, которые он двадцать лет назад повелел вытоптать?

Не милостив ли Тимур, что дал мотыгу десяткам тысяч покоренных людей, когда сотням тысяч таких же вырыл могилу?

— Милостив и справедлив повелитель наш! — громко проговорил осторожный Аяр, проезжая мимо надсмотрщиков.

— Хвала аллаху! — дружно подтвердила послушная Аярова охрана.

Начальствовавший на строительстве сын самаркандского Джильды Шавкат-бек, завидев царского гонца, послал звать Аяра отдохнуть. Аяр не посмел отказаться: это было б обидой молодому вельможе.

Гонец завернул к шелковому шатру, воздвигнутому на холме, откуда широко оглядывалась вся полоса работ.

Повара горячо работали, обжаривая для Шавкат-бека мясо на вертелах, пока над очагом поспевал широкий котел плова. Пахучий синий дымок разносило далеко вокруг.

«Как небось он щекочет ноздри у тех, кому этой еды не положено!» подумал Аяр, идя к шатру, и при этой догадке он почувствовал раздражение. Но почему это его раздражает, он не задумался.

Очень бледный, бледный до странной синевы под впалыми щеками, тонконосый, кривоногий Шавкат-бек, скучая от безделья в этой пустыне, развлекался лишь тем, что требовал неутомимого усердия от всех, кто здесь работал. Теперь он велел кликнуть гонца, чтоб, придержав его здесь, вывести какие-нибудь новости, городские сплетни, а может быть, и важные известия.

Раздражение не покидало Аяра. Гонцу не по душе были жирные пятна пота на белых рубашках плотных поваров, прохладная тень шатра, самаркандские корчаги с припасами, накрытые чистенькими дощечками, не по душе был этот хилый, еще молодой, но одряхлевший владыка тысяч жизней, отданных ему в полную власть.

— Садись, гонец. Отдохни, целое утро проскакавши. Помойся с дороги. Ступай, ступай, помойся! Да скорей назад иди: расскажешь, что там у вас...

«Брезгует, что ли, мной?» — продолжал сердиться Аяр и отказался:

— Не смею, господин: государь взыщет, ежели задержусь. Великая благодарность за честь.

Не решаясь неволивать царского гонца, господин распорядился дать гонцу на дорогу лепешек, но своей досады не сумел скрыть:

— Очень уж ты усерден, я гляжу.

— Воля повелителя!.. — поклонился Аяр, почтительно принимая от повара горячие лепешки и с удовольствием вдыхая вкусный запах свежего хлеба.

Аяр по походке своей стражи понял, с какой неохотой возвращаются его воины к дороге, как бы им хотелось посидеть здесь, обгрызая баранину, попривекшуюся к вертелам, попивая неведомо откуда завезенный сюда холодный кумыс. Он и сам посидел бы: время было подходящее, чтобы, пополднивав, понежиться в холодке, дать и коням волю. Но что-то такое случилось в душе Аяра: комок застревал бы у него в горле на этом холме, откуда видны тысячи людей, из которых никому никогда в жизни не суждено было отведать ни горячих лепешек, ни барашка на вертеле.

Пустынная степь после полудня захолилась, и вскоре дорога вошла в ущелье, обваленное по краям зеленоватыми скалами, запятнанными голубым лишайником.

Здесь намеревались отдохнуть у родничка. Ладонь Аяра уже не раз оглаживала мешок с припасами: все давно проголодались, а лепешки еще не остыли. Аяр помнил, как похрустывала на них тоненькая корочка, когда он засовывал их в этот мешок.

Один из воинов негромко затянул древний напев о приволье гор, где возлюбленная бежит, оставляя узенькие следы...

Но что-то серое, сливаясь с окружающими откосами, метнулось в сторону от дороги и залегло в камнях.

Воины насторожились.

Поехали, сдерживая лошадей, сжав наготове копыта:

«Не барсы ли?»

И когда уже совсем подобралась к этим камням, из-за них порывисто вышел человек и пошел навстречу воинам.

На нем был серый, истлевший, рваный хитон. Серое тело проглядывало в клочьях ткани. Серая борода спускалась клочьями от темных щек. Округлившиеся глаза смотрели прямо в глаза Аяру. Оправляя, тебя и снова оправляя ворот одежды, человек остановился среди дороги, ожидая:

— За мной?.. Догнали?..

Аяр смотрел на оборванца, гадая по его выговору: кто он, армянин, грузин? Гонцу было ясно, что человек этот как-то умудрился уйти от надсмотрщиков, таился здесь, чтобы, переждав погоню, куда-то брести, где его, может быть, никто и не ждал, где ему, верно, и приютиться было негде, где некому было его накормить и укрыть.

Беглец стоял, переминаясь на черных ногах, обуглившихся на жесткой земле. Поправляя ворот рубища:

— Натё, нате, вот он я!

— Нет, мы не за тобой... — ответил Аяр, отводя взгляд от неподвижных глаз беглеца.

— Едемте! — сказал он воинам. — Не наше дело: нам спасибо не скажут, как станем шарить по дорогам, когда нам другое ведено. Не за то нас милует повелитель наш!

— Хвала аллаху! — согласно отозвались послушные воины. И опять они поскакали к той, известной Аяру скале, где снизу пробивается скупая струйка родничка, обросшая, словно курчавой зеленой бородой, какой-то мелкой мягкой травкой, свисающей с влажного камня.

Но думавший о чем-то своем Аяр на мгновенье отстал от спутников, быстро вытянул из седельного мешка еще теплую лепешку и, словно невзначай, выронил на дорогу.

А беглец стоял, переминаясь на горячей земле, и смотрел вслед удалявшимся воинам.

Как ни хотелось Аяру посидеть со знакомцами на постоянных дворах, побродить по базарам в дальних городах, он не задержался ни в полуразрушенном Рее, где еще встречались гончары, умевшие покрывать блюда и чаши такой росписью, что глаза радовались, словно взирали на благолепие рая, полного праведников и гурий. Ни в тесной, людной Султании, куда сходились отовсюду паломники поклониться могиле пророка Хайдара. Ни в Мараге, городе мудрецов и звездочетов, где еще высился мавзолей над гробницей хана Хулагу, стены школ и обсерваторий, воздвигнутых за сотню лет назад; в Марагу пришлось свернуть, ибо гонцу сказали, что повелитель направляется в этот город и что всем гонцам надлежит ждать его здесь.

Однако по приказу Тимура все гонцы из Мараги, не задерживаясь, направлялись ему навстречу, где бы ни случилось встретить его.

В тот день навстречу повелителю выезжал неповоротливый, заносчивый гератский купец. Оставив в городе свою стражу, изнемогшую от непрерывного пути, Аяр присоединился к гератцам, и хотя свою поездку они пытались обратить в прогулку, Аяр заставил их ехать скорей. При царском гонце купец присмирел и повиновался, покряхтывая, когда приходилось, сокращая очередную дневку, снова трогаться вдаль.

Иногда к ним присоединялись или встречались им «короткие» гонцы. По дорогам Тимура ездили «сквозные» гонцы, такие, как Аяр, пересекавшие просторные области с каким-нибудь тайным или срочным делом; эти отличались красной косицей на шапке, красным темляком на ятагане, дававшим не только право брать по дороге любого коня, но и в любом доме брать коню корм, чтоб не задерживаться; но были и «короткие» гонцы, ездившие между двумя городами, между двумя правителями. С этими считались меньше, но Аяр любил расспрашивать их: они о своих краях про все знали лучше и, робея перед красной косицей, иной раз поверяли Аяру такие новости, каких и своему десятнику не посмели бы рассказать. Они на всем пути Аяра попадались повсюду, на любом ночлеге. Не в пример прежним поездкам, Аяр нынче не расспрашивал их, он уже наверстал время, потерянное из-за своей болезни, но следовало быть начеку: сохрани аллах, вдруг повелителю покажется, что слишком мешкотно ехал Аяр из Самарканда!

Нежданно среди дороги гонцов спешили. Повели к речной излучине. Поместили в темных юртах под огромными, еще голыми чинарами. Велели здесь сидеть, здесь ждать повелителя.

Как торопился Аяр, как боялся потерять хотя бы один день, а тут день уже угасал, день уходил...

Гонец сидел в полумгле юрты, на кошме, где пахло мокрым войлоком и сырой землей.

День угасал, день уходил, но все сидели и ждали. Гонцов не задержали бы здесь, если б повелитель был далеко отсюда. И когда вдруг все затихли, насторожились, Аяр понял: повелитель прибыл.

Теперь, сидя на кошмах, они тревожно взглядывали на каждого, кто подходил к юрте: не за кем линибудь из гонцов?

Но все еще никого не звали.

Четвертая глава

СТАН

День уходил. Последние лучи, долго пробивавшиеся сквозь облака, светили пронзительно.

Улугбек сидел на краю водоема, ограненного серыми плитами, глядел, как весеннее изобилие воды колыхалось, колебля опрокинутые навзничь отражения вечеряющего мира — белую юрту дедушки, на нее напознала недобрая горбатая тень; стражей в позлащенных отсветами румских доспехах у входа в юрту. Отражения воинов дрожали на воде, словно их трепало в лихорадке либо в ознобе. Змеей извивалось древко знамени, воткнутого перед юртой.

Улугбек соскучился в одиночестве, здесь, в стане, где у всех было много дел, обязанностей. Воины, приставленные к царевичу, хлопотливо постелили ему возле воды узенький тюфячок, пахнувший лошадыми. Спать еще не хотелось, хотелось побыть одному, благо наставник отлучился.

В этом походе, когда мальчик бывал подолгу оторван от бабушкиной опеки, дед из своих испытанных тысячников приставил к Улугбеку дядьку, известного среди войск по прозвищу Кайиш-ата, что значит Ремень-батюшка.

Жилистый Кайиш-ата всю жизнь провел в седле, и не было для него разницы — мчаться ли вперегонки со своими соратниками в сечу, на вражью конницу; влезать ли по лестницам на крепостные стены, чтобы сбросить с них осажденных; прокрадываться ли по козьим тропам, над безднами, в тыл к зазевавшемуся противнику; лежать ли неподвижно в оледенелой степи, подстерегая самонадеянных врагов, крадущихся в тыл к Тимуру. Ни боли, ни усталости не ведало тело старого воина; тело ли, ятаган ли наравне служили Кайиш-ате, всегда готовые для удара по врагу во славу повелителя.

И когда повелитель не для битвы, а для назиданий поднял этот иззубренный ятаган и повелел ему блюсти охрану царевича, исподволь приохочивать его к походным обычаям, к воинскому обиходу, великая честь оказывалась Кайиш-ате. Он повиновался, но впервые оробел перед истиной, вдруг открывшейся: пора битв окончилась для него. Дотоле он не замечал, что ему уже семьдесят лет. Сам не замечал, а повелитель заметил! Значит, чем-то выдал Тимуру, что наступили эти самые семьдесят лет! Велик почет соратнику повелителя, избранному в блюстители царевича, но Кайиш-ате этот почет горек: куда проще кинуть свою тысячу воинов наперерез врагу, чем разъяснять пытливому, дотошному юнцу преимущества тех или иных воинских ухваток. Старика были столь явны эти преимущества, что не находилось никаких доводов для их доказательства.

Поэтому между питомцем и наставником часто случались недомолвки, подобные такой. Однажды Кайиш-ата рассказывал о походе на Каму-реку и о своей встрече с передовым отрядом Тохтамыша:

— Вижу, пеших у него меньше, конными же он сильнее меня. Я своих конных придержал, а пехоту выпустил. Всегда делай так.

— А почему? Разве не следовало приберечь то, что сильнее? — удивился Улугбек.

— Нет. Как я поступил, так лучше. Повелитель тоже поступил бы так. Я разбил ордынцев, и повелитель пожаловал мне всю добычу. Поход только начинался, повелитель был щедр.

— Я не утверждаю, что следовало поступить иначе, но почему надлежало решить только так?

Старик растерянно помолчал. Улугбек ждал доводов. Тогда плохо скрывая раздражение, Кайиш-ата ответил:

— Я врать не привык. Сказано «так лучше» — и конец!

Улугбек в таких случаях снисходительно усмехался, делая вид, что вежливо улыбается, а Кайиш–ата и без этих улыбок побаивался малолетнего царевича, не в меру любознательного, не по возрасту грамотного, дедушкина любимчика, и никогда не упускал случая отлучиться. Сейчас такой случай выпал: стража сменилась, юрта царевичу поставлена, день заканчивался. Приближенные с беспокойством ждали Тимура, уединившегося в своей белой юрте. Такое уединение не предвещало милостей, и приближенные, как при общей опасности, становились дружнее между собой, перешептываясь, переминаясь с ноги на ногу. Кайиш–ата отправился к ним, молодецкато перепрыгнув через ручей.

Он тоже временами отражался в водоеме, и Улугбек примечал его, опрокинутого вверх ногами.

Солнце почти зашло за гору. Проточный пруд почернел, озаренные последними лучами люди и деревья стали яркими и сказочными на воде, некогда отражавшей стройный Дом Звездочета.

Теперь не Дом Звездочета, а ветвистые чинары, еще голые, лишь кое–где покрытые прошлогодней листвой, опрокидывались в глубь воды и казались мальчику то гривастыми, рыжими львами, то содрогаясь на расплывчатых струях, оборачивались острогорбыми верблюдами. То вдруг почудилась огромная, во всю ширь водоема, краснобородая, в шапке голова дедушки.

Улугбек прилег на тюфячке и заснул бы, утомленный долгой ездой в твердом седле, но любопытство возобладало над усталостью: выйдет ли дедушка?

Отражения вельмож, то выступая в лучах заката, то исчезая в тени, сменяли друг друга, растягивались, сжимались, извивались, корчились на медлительной воде. Сейид Береке согнулся большим псом, но с бородой, вытянутой и перепутанной струями, как пучок серых змей. Дородный Шах–Мелик, беседовавший с Шейх–Нур–аддином, в отражении вышел синим быком с белым кувшином на голове. А принаряженный Кайиш–ата представлялся треугольником. Таким его делали широкие жесткие халаты, узкие плечи и островерхий тюбетей.

Но вот через всю воду, от берега до берега, протянулся дедушка, склонился и, видно, зачерпнул воды — все отражения зарыбились, затрепетали, словно он взял в горсть всех этих величественных людей, кинул их, и, выпав из его ладони, они раскатились, рассыпались, как горсть медных полусек и мелкого серебра. Он не то попил из ладони, не то оплеснул лицо и, выпрямившись, постоял над прудом, может быть разглядывая оттуда своего внука. Вода успокоилась. Лишь слегка колеблясь, снова пролегла через весь пруд длинная особа повелителя — бурые сапоги, вызолоченный закатом халат, розовый блик чалмы. Улугбека позабавило различие между дедушкой, высоким, но крепким, и этой длинной–длинной, зыбкой, гибкой, как камыш, цветистой тенью на воде.

Видно, вода прибывала. Улугбек смотрел, как выгнулось отражение деда, трепещущее, но без головы, знакомое тело деда, искаженное и обезглавленное потоком, непрерывным, как сама жизнь.

Вдруг солнце погасло, запав за гору. Больше ничего не отражалось в черной воде. Быстро смерклось, и сразу похолодало.

Улугбек ушел от водоема. Навстречу ему заспешили слуги. Воины, несшие караул, поднялись и подтянулись. Пахнувший лошадыми тюфячок несли следом: другого под рукой не было, ибо Улугбеку следовало помнить, что здесь воинский стан, а не обоз с царицами, что он здесь в походе, а не на гулянье. Простая пища, скупой обиход — зимовье кончилось, началось дело, таков был порядок для всех: и для простых воинов, и для внуков Властителя Вселенной. Сундучок с книгами тащился в обозе, разносолы — у царицыных поваров, на пополах пока не принуждали спать, но и шелковых одеял не захватили, с собой везли только то, что удобно вьючилось на лошадей. Довольство позволялось лишь на больших стоянках, когда подтягивался обоз и воины смешивались с купцами, лекарями, ремесленниками, со всяким сбродом, тащившимся при обозе, а джагатаи наведывались к семьям, бредшим со стадами с краю от войск. Такие

стоянки длились иногда по нескольку дней, а между ними обходились краткими дневками и настороженными воинскими ночлегами.

Тимур сел перед своей юртой. Поставили факелы, осветившие повелителя, казавшегося черным на пестром, как цветник, здешнем ковре.

Шейх–Нур–аддин держал полотенце, пока слуги поднесли серебряный тазик и полили Тимуру на руки. Всем с дороги хотелось есть, но, прежде чем дать знак к началу ужина, Тимур спросил о гонцах.

Как ни наготове сидел Аяр, но, едва его кликнули, сперва было пополз по кошме, как ребенок, прежде чем успел встать на ноги.

— Ноги, что ль, отсидел? — усмехнулся скороход, вызывавший к повелителю.

— Да не то чтоб отсидел... — отмахнулся Аяр.

Тряхнув плечами, заботливо поправив бороденку, проверил, наготове ли заткнутые за пояс свитки писем. Идя, притворно ворчал:

— Ног не отсидел, а насиделся тут вдосталь.

— Первым позван! — утешил скороход, но это утешение лишь встревожило Аяра: каков нынче повелитель, не выпадет ли на голову гонцу нечаянный гнев, скопившийся за день в сердце повелителя.

Но гнев не выпал. Тимур притулился в углу небольшого ковра, опершись на кожаную подушку и как бы заслонившись ею, так близко от факела, что свет, перекинувшись через голову Тимура, оставлял ее в тени, освещая лишь ноги и ковер. Стоящий на корточках возле ковра писец поднялся и пошел навстречу Аяру.

Приняв свитки, писец не сказал гонцу обычное спасибо, означавшее «ступай», и не дал никакого знака, позволявшего уйти. Гонец стоял в тревоге: спокойнее было бы уйти отсюда, с глаз долой.

Приближенные, вельможи отошли на такое расстояние, чтобы быстро предстать перед повелителем, если он подзовет, но и не настолько близко, чтобы слышать письма. Один лишь Аяр замер на виду у всех и стоял, слушая чтение.

Правитель Самарканда после поклонов сообщал о несостоявшемся походе на Ашпару и гневно винил в этом мирзу Искандера. Сообщал о наказании сподвижников мирзы Искандера. Когда было упомянуто о беде с Мурат–ханом, Тимур пошевелился. Еле заметным движением ладони он прервал чтение. Чтец, выжидая, смотрел на Тимура, а Тимур думал:

«Умен! Сообразителен. Расторопен. Надо написать Шахруху, чтоб выразил своей царевне–супруге наше сожаление о несчастье с ее братцем. Однако с намеком присовокупить: потеряла, мол, возлюбленного брата и преданного друга. «Преданного друга»! Если не глупа, поймет. А она не глупа. Лучше б ей было жить не умней, а смирей!..»

— Там и от гератской царевны письмо? — спросил он чтеца.

— К великой госпоже. Запечатано.

— Я сам ей прочитаю, дай–ка сюда.

Чтец на коленях подполз к коврику в протянул один из свитков Тимуру.

Повертев свиток в руках, Тимур указательным пальцем поскреб заклепку, сунул его в рукав и дал знак читать дальше послание Мухаммед–Султана. Слушая многословные жалобы на самоуправства и бесчинства негодника мирзы Искандера, Тимур думал:

«Кто там ему пишет? Сам писать не охоч. Кому поручает, надежен ли писец? Мурат–хана спровадил, а

вокруг немало осталось всяких лазутчиков, соглядатаев, лицемеров. И такие есть, что рады двум господам служить: нам из усердия, Шахруху — из корысти, чтоб в беде было куда сбежать от нас...»

Опять заерзал, упершись в подушку, и прервал чтение, когда среди казненных сподвижников Искандера услышал имя воспитателя:

«Атабега мирзе Искандеру дал я. Я не сумел бы сам его спросить, что ли? Вот и умен, казалось, и расторопен, да спешит за меня решать! Хочет своим умом обходиться?.. Оба самоуправцы!..»

Он вдруг увидел Аяра и, раздумывая, как бы приглядывался, словно в коротком халате гонца, в шапке ли с красной косицей, притаилось что-то оттуда, из Самарканда, что могло, казалось, раскрыть, отразить все самаркандские случаи этой зимы. Еще не поддаваясь возрастающему гневу на Мухаммед-Султана, Тимур сердито махнул Аяру:

— Иди, иди. Скоро назад поскачешь! — И думал, глядя вслед гонцу: «Если при мне моих ставленников хватают, сами их режут, без спросу... Это разброд! Я их... Я их... Я поднимаю, я собираю, а они... А?»

Чтец ждал, поглаживая пальцем бумагу, чувствуя, как затекают ноги, и не смея шевельнуться. Тимур смотрел неподвижным, тяжелым взглядом в ту сторону, куда ушел гонец и где теперь сгустилась непроглядная тьма карабахской ночи, казавшаяся еще непроглядней отсюда, из-под полыхавшего факела.

Когда дошли до письма от Шахруха, Тимур крепче уперся в подушку. Пока тянулись благочестивые пожелания и любезности, Тимур все еще думал о Мухаммед-Султане: «Верно смекнул насчет монголов, — когда Искандер их спугнул, не следовало самому к ним соваться. Да ведь я приказал ему идти туда, мог бы сперва спросить меня, а не самому решать, идти ли на Ашпару, дома ли отсиживаться. Верно решил, да без спросу. Хорошо, что верно решил, смекалист. Да как это сам, без спросу?.. Надо его самого спросить: как это так?..»

Но вскоре старик уже думал о сыне: «Как это красноречив мирза Шахрух! Кланяется, кланяется, а пишет в Самарканд. Обиделся, что не позвал его с собой в поход. А о походе не мог не знать. Без Мурат-хана опоздал узнать, да когда писал, уже знал, что нет меня в Самарканде. Знал!.. Притворяется».

Вдруг в памяти мелькнуло детское худенькое лицо с большими, пугливыми, неискренними глазами, и старик сразу понял сына:

«Не обиду выказывает, — испуг скрывает. Сперва, с перепугу, ждал меня к себе, в Герат. Узнавши, что я свернул на Мираншаха, ободрился. Теперь прикидывается: я, мол, не пугался, даже о вашем выходе в поход не ведаю!

А если пугался, значит, совесть не чиста. Чем? Все ли я знаю о его делах? Надо выведать. И поскорей, пока он спокоен. Какими любезностями начал, а ведь не духовному наставнику, не книгоеду пишет, а отцу! Часто кланяется, чтоб между поклонами я не успел его разглядеть. Кланяется, не подымая глаз. Притворщик, каким с младенчества был!»

Тимур обдумывал, как отозваться на это письмо, что оно скрывает? Оно затем и послано, чтобы что-то скрыть.

«Ну, царевна написала, только чтобы и тут от мужа не отстать, а сам он зачем нависал?»

Он потрогал пальцем глубоко засунутое в рукав послание от Гаухар-Шад.

«Что он скрывает? Испуг был, да уже прошел. Обида была, да обиду заглушила радость, как узнал, что не на него, а на Мираншаха я свернул. Не за богомольство, не за книжность боится моей кары. За какие-то большие провинности боится. За какие? Что у него там?..»

Ничего не сказав, отпустил писца и кивнул воинам, чтобы помогли встать с ковра.

Поддерживаемый под локти вельможами, постоял, вглядываясь в сторону костра, где пламя часто заслонялось многочисленными людьми, толпившимися перед огнем.

— Чего там толкуются? — спросил он Шейх–Нур–аддина.

— Который в горах костры палил, приволокли. Толкуются — разглядывают.

— И мы глянем! — ответил Тимур.

Державшие его под локоть отступили: он не любил, когда его поддерживали на ходу, словно снисходили к его хромоте, словно у него силы иссякают.

Улугбек лег в своей юрте, велел поднять кошму у изголовья, чтобы дышать всей ночной прохладой, свежим ветром с гор, запахом весенней травы.

Где–то в темноте спросонья попискивали птицы. Тут и там слышался их дремотный пересвист. Ворковала вода в реке. Лязгала сбруей привязанная неподалеку лошадь. С прохладой, с запахом земли и трав смешивался запах лошадей и дыма костров... Почудилась длинная дорога. Да нет — это дедушка в позлащенном халате и без головы... лег поперек потока, а поток течет... течет...

Сухой и длинный, всех выше ростом, Тимур хромал, высоко вскидываясь, словно среди пеших спутников скакал, подпрыгивая в невидимом седле.

Он пошел напрямик сквозь темноту; ему светили факелами, но он не смотрел под ноги, видя перед собой лишь пламя костра, где уже заметили его приближение и замерли.

Пленник лежал с закрученными назад руками. Временами он раскрывал рот и, глубоко вздохнув, снова плотно сжимал тонкие губы. Большие темные глаза, казавшиеся заплаканными из–за воспаленных век, строго поглядывали то на одного, то на другого из явившихся с Тимуром. Сам Тимур не привлек внимания пленника, может быть потому, что очень уж бедно выглядел Тимур рядом с приближенными, блиставшими в свете костра то белой, изукрашенной золотом рукояткой кинжала, то дамасской саблей, то позолоченным панцирем. На Тимуре никакого оружия не было — только нагайка свисала с левой руки.

К Тимурю от костра вышел внук, Султан–Хусейн; это его воины несли караул на дневном походе, они и захватили пленника; поэтому, считая пленника своей добычей, Султан–Хусейн сам ждал Тимура, чтобы щегольнуть перед дедом своей исполнительностью, своей добычей, своей удачей.

Небольшой ростом, верткий, он глядел дерзкими, красными и словно крутящимися быстрыми глазами то в бороду деда, то на его сподвижников; стоял, опустив одно плечо, как бы наготове принять чей–то удар, ударить ли кого–то.

— Что он говорит? — спросил Тимур о пленнике.

— Всячески спрашивали — молчит! — ответил Султан–Хусейн и брезгливо сплюнул.

— А может, плохо спрашивали?

Султан–Хусейн передернул плечами от обиды и от досады:

— Едва ли плохо. Только ломать не стали, ждали вас.

Пленник молчал, пока его везли, перевьючивая с уставших лошадей на свежих, пока спрашивали здесь. Он молчал, лишь время от времени широко раскрывая рот, словно выкинутая на песок рыба, чтобы, как глоток свежей воды, глотнуть воздуха. И снова отводил глава от вопрошавших и сжимал рот, как бы ни спрашивали, как бы ни понуждали, как бы ни мучили.

— Поставьте–ка его, я сам спрошу.

Пленника поставили. Ему было трудно держаться на ногах, и воин, пленивший его, поддержал его под локоть.

Спокойно и, как бы увещевая, Тимур спросил:

— Язык, что ль, отнялся?

Пленник теперь, когда его поставили, повел вокруг глазами и впервые сказал:

— Ночь уже.

Это были его первые слова за весь этот день.

— Вот и скажи — кто дым пускал?

— Люди.

— Какие такие?

— Своей земли хозяева.

«Почему он прежде молчал, а вдруг заговорил?» — подумал Тимур.

Султан-Хусейн побледнел от досады, что, промолчав при всех прежних расспросах, этот негодяй отвечает деду. Теперь дед подумает, что прежде не сумели допросить!

— А сколько у тебя своей земли?

— У меня своей нет.

— А говоришь «хозяева»!

— Здешние люди здешней земли хозяева.

— А, ты вон о чем! Кызылбаш?

— Нет, адыгей. Адыгей.

— И как тебя звать?

— Хатута.

— А заодно с тобой тож [так] адыгеи?

— Здешние люди.

— Кызылбаши?

— Азербайджанцы.

«Почему он начал говорить?..» — напряженно думал Тимур, рассеянно спрашивая Хатуту.

— Азербайджанцы? А чего ж ты с ними спутался?

— Мы заодно.

— Кто это?

— Здешние люди.

Тимур не понравился столь прямой, почти вызывающий ответ. Повелитель с трудом сумел сдержать себя от гнева и по-прежнему спокойно, как бы попрекая, кивнул:

— Вон оно что! Свою землю берегут от меня.

И вдруг подумал:

«А ведь и Шахрух тоже! Так же вот — землю, которую я ему дал, от меня прячет, от меня бережет.

Затем и письмо послал, прикинуться послушным, мне глаза отвести. А с его согласия, в согласии с ним, его змея своих прихвостней на место моих людей повсюду натыкала. По всей той земле, что я ему поручил блюсти, они со своей царевной своих слуг заместо моих ставят! Вот оно что! И сей сынок от меня отпасть хочет. Не как Мираншах, — не дуром, а потихоньку, неприметно, с наипочтительнейшими поклонами обособиться от меня; затем и пишет так: я, мол, ведать не ведаю, что повелитель в походе; отцовых дел не касаюсь, куда посажен, там тихо сижу, до остального мне дела нет! Вот оно что! Ну что ж...»

— Выходит, я землю беру, а хозяева у нее остаются прежние... Какие хозяева!

Пленник не понял этих слов, но не переспрашивать же этого старика, в словах которого не было ни гнева, ни пренебрежения.

В Тимуре закипал гнев на сына, на Шахруха, и этот хилый, полуживой пленник уже меньше занимал Тимура. Расспросить его надо было, но окружающих удивляла и снисходительность к пленнику, и рассеянность Тимура.

— У меня своей земли тут нет! — повторил Хатута.

— Чужую, значит, пахал?

— Не пахал. Я сперва овец пас, а тем летом рыбу ловил. Рыбу ловили на базар, до самого нашествия ловили.

— Где?

— Неподалеку тут, под Ганджой. На Куре.

— Осетров?

— Лавливали.

— Разве адыгеи рыбу ловят?

— Когда баранов нет, а есть надо.

«Почему он разговорился?» — не мог понять Тимур, дивясь, с какой охотой и как доверчиво отвечает этот измолчавшийся мальчик.

— Сколько вас там, хозяев?

— Откуда мне знать?

— Берегись. Тебя заставят вспомнить.

— Если бы ты был самым великим падишахом, как заставишь? Как я скажу, когда не знаю?

— А кто был другой с тобой?

— Рыбак.

— Еще кто с вами?

— Все люди своей земли.

— А с этим... С этим рыбаком кто был еще?

— Нас двое с ним. Нас у него восемь человек рыбачило, а когда он собрался в горы, одного меня взял.

— Тебе одному доверял?

— Да нет — я был пастухом, легче хожу по горам.

— А что он говорил, когда тебя звал?

— Говорил: надо старое сено сжечь. Чтоб мышинные гнезда не расплодились. Мы зажгли, он говорит: «А теперь бежим, они нас загрызут за эти гнезда».

— Почему ты молчал, когда тебя спрашивали?

— Лень было говорить. Спать хотелось. Мы всю ночь на эту гору лезли.

— Врешь! Небось целую ночь просидели на горе, поджидали, на дорогу поглядывали. А?

— Я не говорил, что мы прошлой ночью туда лезли. В другую ночь лезли. А прошлую ночь сидели в шалаше, на дорогу глядели. Это верно, глядели в долину. Сверху далеко видно. Да больно уж холодно там ночью. Разве заснешь? А потом меня везли, днем не давали поспать. Вот я и молчал.

— Врешь! Не потому молчал.

— А что отвечать? Они тоже спрашивали, сколько нас. А что попусту отвечать, когда они сами видели: нас было двое.

— А на других горах?

— Я тех не видел. Те далеко от нас.

— А говоришь, с вами все люди.

— Да не все же залезли в горы!

Тимур вдруг понял:

«Молчал — хотел время оттянуть. Теперь знает: все с гор успели сойти, а кто и не ушел еще, тех ночь скроет. Днем молчал, ночью молчать стало незачем. Теперь он до конца будет прикидываться, что других не знает. Думает меня перехитрить — ждет, что я ему голову снесу, а перехитрю его я: оставлю ему голову. Вот тогда и поглядим, что он с ней станет делать? К этому он не готов. Тут он и попадет!»

— Ладно! Ступай поспи, да и лови свою рыбу.

Окружающие переглянулись, удивляясь, как это повелитель, ничего не добившись, отпускает пленника, доставшегося с таким трудом.

Султан–Хусейн, торопливо встав перед дедом, с готовностью предложил:

— Теперь поговорю с ним я. К утру все скажет!

— Отпусти его. Пускай ходит своей дорогой.

Один Шейх–Нур–аддин сразу понял эти слова и тотчас выделил рослого бородача в иранском панцире провожатым:

— Проводи его. Да прежде чем отпустишь, покорми, побеседуй, дай отдохнуть поспокойней: слышал ведь — он спать хочет. Береги его.

И, распорядившись, Шейх–Нур–аддин поспешил вслед за удалявшимся Тимуром, а воин повел отпущенника к своей стоянке. Если бы пленника не вести под руку, он никуда не пошел бы, ноги его не несли, он опустился бы тут же на темную землю.

Тимур возвращался к своей юрте, готовя ответ Шахруху.

«Рано поутру послать людей в Герат. Кого? Из них ни один не должен быть ни сострадальцем царевичу, ни почтительным книголюбом, ни богобоязненным, ни почитателем духовных наставников, всяких там суфиев, святых старцев. Ни каким–нибудь сородичем сородичей Гаухар–Шад–аги, гератской царевны... Значит, и не всякий барлас на это годится...»

Вдруг он заметил, что не идет, а стоит в раздумье. И вельможи почтительно и неподвижно замерли, ожидая его. Значит, он думал, а они ждали! Прежде он не давал им времени ждать, пока сам думал. Стареть стал, что ли? Он всегда так умел думать, что люди не успевали заметить, думает ли он. Всем казалось, что любой вопрос он предвидел заранее и отвечал раньше, чем спрашивающий успевал договорить. О нем рассказывали, что все он знает заранее, что ночами беседует с пророком о будущем и потому знает ответ на все, ибо знает, о чем его спросят, знает, как обойти врага, ибо заранее знает все замыслы врага. Так говорили о нем, и он не опровергал этого.

Торопливо и строго он сказал:

— Чего же стали? Я вот гляжу — ночь хороша!

— Весна! — догадливо подхватил Шейх-Нур-аддин, хотя видел опущенное к земле лицо повелителя и понимал, что не так любят красой весенних ночей.

Снова все пошли к юрте. И только Тимур не замечал, как заманчиво пахнет от котлов, где повара, отдав страже перестоявшийся плов, заложили новый, но теперь опасались, не передержан ли и этот, да и удался ли он, готовленный уже не с прежней охотой, не с прежним воодушевлением, а ведь плов каждый раз требует нового рвения от поваров, и, как у каждой красотки есть что-то свое, особенное, так и у каждого плова есть свое, неповторимое.

Тимур ушел в юрту, а его вельмож окружили рабы с кувшинами, чтобы полить гостям на руки. Всем стало легче и веселее: день наконец кончился, настал наконец, хотя и в столь поздний час, час покоя.

Рассаживались на кошмах вокруг медных тазов с кусками печенки, печенной на углях. Разламывали лепешки. Переговаривались, но от шуток воздерживались и разговаривали вполголоса: повелитель был неподалеку, и никто не знал, расположен ли он слышать их.

В юрте повелителя хмуро горел светильник. Писец, согнувшись на корточках, записывал распоряжения невидимого в темноте Тимура.

Он велел привести гератских купцов, прибывших еще днем. Отчаявшись чего-нибудь добиться в этот день, гератцы уже легли спать и теперь, когда их позвали, натыкались друг на друга и ползали среди постелей, словно их застало землетрясение.

Гератский купец, став перед светильником, ничего не видел в полутьме юрты, кроме тоненького язычка пламени, и кланялся в эту сторону, ожидая, что кто-нибудь войдет. Он вовсе растерялся, когда памятный ему голос Тимура прозвучал совсем с другой стороны:

— С чем прибыли купцы?

— О великий государь! Из того, чем торгуем, не потребно ли чего великому государю?

— Я что-то запамятовал, ты чем торгуешь?

Купец почуял что-то недоброе в том, что Тимур, прежде не раз хваливший его товары, теперь вдруг запамятовал это. И спесь и наигранное благодушие покинули гератца. Он еще не успел ответить, как Тимур вдруг спросил:

— Откуда ты узнал, что я в этих краях?

— Как откуда? Кто же этого не знает, великий государь?

— В Герате узнал, где меня искать?

— А где же? В Герате!

— И поехал сюда торговать?

— Затем и спешил.

— А назад когда собираешься?

— Распродамся — и назад.

— А тут закупать чего думаешь?

— Да благословит господь его имя, мирза Шахрух, правитель наш, наказывал мне поискать среди здешнего разоренья, не попадет ли редкостных книг хорошего письма, с изображениями жизни, с украшениями; купить, чего бы это ни стоило. Есть, говорит, по Азербайджану прекрасные переписчики. Исстари были. Теперь там, мол, не до книг. Пока, говорит, великий государь там сверкает своим мирозавоевательным мечом, можно такие книги достать, каких при другой погоде не сыщешь.

— Сам мирза так говорил?

— Затем и призывал меня.

— Значит, он знал, что сюда ко мне товары везешь?

— А как же ему не знать, великий государь? Да он не мне одному многим людям сюда такой же указ дал: скупать книги хорошего письма либо большой древности.

— Утром я пришлю к тебе посмотреть твои товары. Ступай.

Когда купец, косясь на светильник, вышел наружу, здесь, в ночной тьме, никого, кроме караула, не было, и воин повел купца на место мимо безмолвных юрт, мимо спавших на кошмах воинов, мимо коновязей, где тоже было тихо.

Но Тимур не ложился, сон не шел. Он наконец выбрал тех троих из своих сподвижников, которых поутру тайно пошлет в Герат.

Он один пошел по спящему стану.

На кошмах вповалку спали воины. Вся землю далеко вокруг сплошь покрыли тысячи уснувших людей, будто вся она занесена черными валами песка из пустыни.

Он постоял неподалеку от лошадей. Они всхрапывали и вздыхали во сне. Не слышно было хруста — не ели, а спали. Значит, с вечера их хорошо накормили. Оводам и мошкаре еще рано быть, еще холодно, и лошади стояли спокойно.

Он снова вышел к воде и сел на камень послушать ее беспечное течение. Что-то беспокойное, тревожное будили в нем ее неустанное движение, тихие всплески, непонятный, проносющийся мимо него, без него, независимый от него поток.

Ему хотелось что-то понять, но самый вопрос ускользал, он не знал, на какой вопрос хотелось найти ответ. Что-то непонятное будила в нем вода, и хотелось это понять. И что она в нем будила, понять он не мог: в его душе никогда прежде не поднималось это чувство.

Он перешел на другой берег и вышел к месту, где прежде стоял Дом Звездочета. Он обошел крутом этот невидимый, уже исчезнувший дом, как когда-то обходил его, когда дом еще стоял здесь. Какой-то щебень подвертывался под ноги. На каменной плите, бывшей некогда порогом, он снова сел. Мрамор плиты был холоден, очень холоден. От такого сиденья могла разболеться нога. А болеть на походе не было в его правилах. Он встал, раздумывая, нет ли где-нибудь места, где он мог бы посидеть среди этой ночи. Но, кроме его постели в юрте, нигде ничего не могло найтись, все взято теми, кто спал теперь вповалку широко вокруг. Не спали лишь безмолвные караулы, но им не полагалось сидеть, им не полагалось никаких сидений. Даже седла с лошадей небось все сняты, чтобы служить изголовьем воинам.

Тимур постоял, взглядываясь в темноту, и возвратился к Дому Звездочета. Вот что наделал Мираншах! Все дуром, все дуром! Все наперекор отцу! А Шахрух у себя все бережет, ничего не разрушит, но и едва ли что-нибудь создаст. А что и бережет, бережет для себя. Не для отца, не для приумножения великой державы, а для себя одного. Вот уж сколько лет книги скупает, заказывает переписчикам, а заполучив такую книгу, запирает ее в сундук, оберегает и от солнечного света, чтобы не выгорели чернила, и от посторонних глаз, кроме редких собеседников, удостоенных чести раз в год полюбоваться той или другой редкостью из сундуков мирзы Шахруха. Таким и сызмалу был, таким и рос: отвернется от всех и разглядывает что-нибудь, сколько раз даже от отца халатом закрывал какую-нибудь безделицу, пока сам на нее не налюбуется, пока сам ею не натешится. С матерью никогда от души не разговаривал, с этой робкой таджичкой, которую и Тимур не очень жаловал. И никогда Тимур не прочил ни Шахруха, ни Мираншаха в свои наследники. Уже не было Джахангира, отславился отвагой Омар-Шейх, сраженный стрелой курда, и уж лучше было потомство Джахангира, внуки Тимура, чем эти двое уцелевших незадачливых сыновей. Он прикажет своим тайным послам в Герате быть суровыми с царевичем, прикажет им быть решительными. Даст им право расправляться с каждым, кто окажется виноват! Только самого царевича не велит трогать, хватит с него и острастки, нельзя двоих своих сыновей сразу выставлять на позор. Небось, прослышав про расправу с Мираншахом, Шахрух уже присмирел, а остепенился ли, переменил ли своих советчиков? Сам не переменил, так ему их переменят. И без всякого почтения!

Но Тимур устал ходить по темноте, натываясь то на щебень, то на камни, то останавливаясь перед какими-то ямами, закрытыми прошлогодним бурьяном.

Он вышел к юрте царевича Улугбека и остановился у входа, прислушиваясь. Тяжело дыша и ворочаясь, там беспокойно спал Кайиш-ата, но Улугбека не было слышно.

Тимур обошел юрту кругом. Караул оцепенел, узнав повелителя, а он заметил поднятый край кошмы и догадался, что там спит внук.

Пригнувшись, он вошел в темноту юрты, где светлее было лишь у поднятого края кошмы, и сел на край одеяла у изголовья внука.

Кайиш-ата неслышно поднял голову, взглядываясь в темноту, и не столько зрением, сколько изошренным слухом узнал повелителя по хриловатому дыханию, по привычке посапывать, когда он думал.

Тоненькая рука с длинными пальцами лежала поверх одеяла, а другую руку мальчик во сне подсунул под щеку.

Тимур взял эту слабенькую, прохладную руку и подержал ее.

Долго бы он сидел так в безмолвии, один со своими раздумьями неизвестно, но Улугбек вдруг проснулся и, счастливый, что видит деда так близко от себя, боялся шевельнуться, чтобы не спугнуть это желанное видение.

Дед, однако, почувствовал, что мальчик не спит, и рукой, привыкшей поглаживать разве только лошадиные морды, ласково и нерешительно провел по щеке внука.

— Ну, как ты?

Старик явно радовался, что среди этой тьмы и безлюдья, среди десятков тысяч разоспавшихся людей нашелся собеседник.

Улугбек смолчал, но поцеловал руку деда. Потом неожиданно спросил:

— Дедушка! Почему, если у противника конница сильнее, чем у вас, а пешими вы сильнее, вы посылаете в битву пешеходов, а конницу, которая слабей, чем у противника, придерживаете в запасе? Разве так

готовят победу? Разве не лучшую силу надлежит придерживать? Мой достопочтенным отец–наставник утверждает, что вы поступаете так.

Кайиш–ата в темноте даже раскрыл рот, в страхе ожидая ответа повелителя и негодуя: «Памятлив, змееныш!»

Тимур оживился, счастливый, что маленький внук один среди ночи размышляет о воинских делах:

— Глазомер нужен. Насколько кто сильнее. Когда перевес и тут и там невелик, пехота сильная вскоре потеснит слабую, а вражья конница кинется на выручку своей пехоте. Тут надо выждать, довести бой до крайности. Дать вражьей коннице увязнуть в битве. Когда она разбредется, уморится, в горячке позабудет о твоей засаде, тогда и пусти свою конницу, числом меньшую, зато свежую, распаленную ожиданием. Она будет сильнее не числом, а духом.

Кайиш–ата тяжело задышал, заворочавшись от беспокойства.

Тимур вспомнил о нем и добавил:

— Видишь, наставник тебя верно поучал.

На душе у Кайиш–атыг посветлело, и, успокоившись, он протянул ноги, подсунул руки под голову, — за всю жизнь раз выпадет этакий случай беспечно развалиться в присутствии самого повелителя.

«Не дал меня в обиду! А тот... Ах, змееныш!»

Но Тимур вдруг сказал:

— В битве каждый раз надо по–нову думать. Новая схватка — новая загадка. А вдруг у врага силы свежие, а ты свои подвел сразу с длинной дороги? Твоя конница не успеет отдохнуть, а лошадей надо опять гнать, да во всю мочь. Откуда ж им взять мочь, когда они перед тем долго шли? Значит, прежний опыт не годится, надо по–нову думать. Да притом раздумывать некогда: воинские отгадки надо наскоро смекать!

Погладив голову мальчика, Тимур встал, приговаривая:

— Ну спи, спи. Рано еще! Раста полководцем. А думать сам учишь, книги тебя не научат победам. Надо думать самому, да быстрее, да яснее, чем думает твой враг. По книгам историю учат, а победам по книгам учиться значит назад глядеть. Глядеть надо вперед да подальше видеть. А пока спи. Рано еще! Спи, набирайся сил. Полководцу нужна сила.

Когда дед, приговаривая: «Рано еще!», ушел, Улугбек полежал, прикидываясь уснувшим, дабы, избави бог, не вздумал заговорить Кайиш–ата, ворочавшийся неподалеку.

Не спалось: мальчика будоражили видения предстоящих битв, когда он вырастет и поведет войска к победам. Он, крадучись, поднялся, накинул халат на плечи и вышел наружу.

Ему представилось, как такой же ночью он пойдет к своим войскам, как поднимет их и поведет на внезапную битву. Он, как Халиль–Султан, кинется первым, впереди всех, на слонов так на слонов, на львов так на львов. Сквозь визг стрел на ревущего, оцетинившегося врага, с одним лишь коротким копьём в руке!.. А за спиной будет развеяться не жалкий халатик, а белая воинская епанча.

Он боевым шагом вышел к пруду, где сидел накануне вечером.

Небо чуть посветлело к утру, и мальчика поразило то большое дерево, которое вечером стояло голым. Теперь все его ветви густо покрывала крупная черная листва.

«За одну ночь! Какова весна!»

Улугбек стоял в удивлении: «Листья у чинара всегда велики, но отчего они черные?»

Вдруг, проснувшись раньше других, где-то взвизгнула и заржала лошадь, может быть прося водопою. И вот вся листва на дереве сразу шевельнулась, как при порыве ветра, вдруг вся вспорхнула, поднялась в небо.

В небе на одно мгновение замерла над деревом, но тотчас поднялась выше и, хлынув вкось, исчезла в темной стороне неба.

Задрожав от ужаса, Улугбек потерял с плеч халатик и мелкими шажками побежал назад к юрте, боясь оглянуться на опять голое дерево.

На всю жизнь запомнился ему этот непостижимый взлет листьев. Часто он вспоминал о нем и через многие годы, размышляя о неизъяснимых чудесах мира.

Он не догадался, не разглядел, что это лишь огромная, на перелете из Индии, стая скворцов заночевала здесь и, почуяв близость утра, поднялась всем своим множеством, чтобы нести весну на родину, на север, к подмосковным проталинам, где уже кончался март.

Пятая глава

МОСКВА

Обмерзшая скляница оконца чуть заголубела во мгле опочивальни, светало.

Великий князь Московский Василий Дмитриевич встал, прошелся в исподнем по вязкому ширванскому ковру, тронул кончиками пальцев намерзший на стекле иней: на дворе март, а морозно; оттого и теплынь в палатах, печи по дважды в день топлены.

Устоявшийся воздух душен, сух, пропах пряными травами, с осени для приятного духа подкиннутыми под перину.

Голубеет скляница оконца, розовеет стеклышко лампы, но в опочивальне еще темно.

Василий черпнул ковшиком квасу из дубовой сулеи, обтер усы шелковым платочком и тем же платочком снова накрыл сулею. Нашарил на скатерти тоненькую восковую свечу, затеплил ее от лампы и перенес баловной язычок огня на большую свечу, стоящую в тяжелом витом подсвечнике перед венецианским зеркальцем. Из бездны зеркальца взглянули, из-под прямых бровей, золотистые глаза на бледном лице, припухшем у висков.

В углу, над кованой медной лоханью, Василий поплескал водой из рукомоя, чтоб не молиться немытому, и присел на скамью одеваться; не было обычая, чтоб в исподниках перед холопьями топтаться, одевался всегда сам.

Поколебавшись, достал не повседневный, а праздничный кафтан, где на фряжском бледно-лиловом бархате вышиты серебряные лилеи [так].

Причесываясь, снова погляделся в зеркало. Выпрямил пробор на подрезанных в скобку волосах, начесал челку на лоб, проверив пальцем, ровна ли. Потрогал лицо: отчего это припухает над скулами? Лицо показалось желтоватым, небольшая лопаточкой бородка — рыжеватой. И ее расчесал. Веснушек пока не видать, — видно, на этот год отстали.

Молился, уважительно кланяясь спасу — родительскому благословенному образу, отцову, Дмитрия Ивановича Донского, благословенью. Обходился одной молитвой: читал «Отче наш», убежденный, что эта молитва обращена к покойному родителю; а ему на небеси видней, чего испросить у господина для сына своего Василия; ему видней! Оттого и перед спасом стоял с почтеньем, полагая, что отец сам внемлет сыну своему Василию, сам видит его, со всеми его нуждами, заботами, хлопотами.

Дочитав молитву, немножко еще постоял, считая неловким сразу отвернуться: не по спешным делам к спасу обращается, а с утренним сыновним поклоном.

Огляделся: не забыл ли чего в опочивальне. Эти ночи коротал один, один и молился, — государыня, великая княгиня Софья Витовтовна, почивала в теремах у мамушек, по случаю говенья: шел великий пост.

Отблескивала от свечи округлая бронзовая рама зеркала; неподвижно свисало серебряное кованое паникадило, византийское, дареное, кое-где золотясь на гранях. Огонек лампы обаграл серебряные лилеи на кафтане, и на все это наплывал призрачный, как голубой дымок, рассвет.

Василий застегнул девять круглых серебряных шершавых пуговиц, туго пролезавших через жесткие петли, и уж совсем было застегнул и нижнюю пуговицу, да остановился, подумал и решительно расстегнулся, скинул на скамью богатый кафтан и снял с вешалки из-за занавески расхожий суконный, зеленый, бормоча:

— Ни к чему, ни к чему, ну его!

Соскоблил пятнышко воска с обшлага и пошел к двери.

В клетки ждали отроки. Иные были в летах, а еще не выслужились, прислуживали государю.

Едва он вышел, поверх кафтана ему на плечи накинута алая шубка, от прохлады в сенях.

В сенях стояли ближние бояре, ожидая утренних распоряжений от Василия Дмитриевича, либо за советом, либо поведать о ночных случаях, буде случаи были.

Перед плотными, рослыми боярами великий князь остановился, словно юношек, хотя был и росл и статен, но он был обыденен, не по сану прост, будничный человек: не пятил грудь перед боярами, не распускал бороду по груди, не хмурил бровей в знак высокоумия и власти. Остановился запросто, как огородник перед кочанами капусты, а не великий князь перед вельможами своей державы. Но этакой его простоты пуще огня боялись бояре: по простоте ему случалось такие думы с маху решать, какие по обычаю надо бы решать долгими советами. И хотя по виду Василий нетороплив, а поспекает свое решение сказать твердо, — видно, думает про все сам, загодя, не дожидаясь, пока бояре на думе обдумают. От этого казались его решения скорыми и, случалось, раздражались над головами, как гром из погожих небес. Что-то было в Василии от отца, от Дмитрия Ивановича, хотя тот был дороден, а этот сухощав, тот волосом черен, а этот русоват, тот был приветлив, а этот всегда будто чего-то ждет, прежде чем слово сказать.

Пощуривая золотистые глаза, переминаясь с ноги на ногу, пожеывая к чему-то губой, он слушал поочередно то одного, то другого из бояр, слушал лишь то, чего нельзя было отложить до утреннего выхода.

Будто лентясь, Василий отвечал медленно, но слова его были кратки и смысл всякий раз ясен, — ни додумывать его слов, ни, поживаясь, ждать повторенья, в надежде, что он изменит решение, не приходилось.

Один из бояр сетовал:

— Ведь какая несообразность, государь: у князя Тимофея Иваныча с Попова леса на твой двор брали по два пуда меду в год. Нынче в том лесу пятьдесят десятин выжгли под пахоту, а твои ключники за то востребовали уж по три пуда. Лесу стало мене, а меду давай боле! Откуда же его брать бортникам, коли лесу поменело. Несуразность это, взysкивать мед с пахотных угодий, а не с бортных, государь!

— Прибавилась пашня, — значит, людей по тем местам прибыло. Прибыло людей, — значит, есть кому по лесу шарить, рои искать. В лесу места много, оттеле пчел согнали, они в иное дупло перенеслись. Было бы кому доставать. Людей у нас мало, а пчел довольно. Прибавились люди на пашню, стало кому и на борть сходить. Сам-то он небось бедней не стал, коли новый починок у меня в лесу отпахал! Отдаст три пуда, справится!

И, кланяясь, боярин отпятился.

Когда сени почти обезлюдели, Василий спросил Тютчева, которому за знание восточных языков часто доверял иноземные дела:

— Ну, как?

— Насчет чего, государь?

— У тебя там посол Тохтамышев цел?

— Всякой день торопит, торопит.

— Да что ж, проводи к нам. Послушаем посла.

— Когда, государь?

— А сейчас. Сюды.

— Он небось еще почивает. Не чаёт вызова.

— Что ж это до тех-то пор спит?

— Азиат.

— Понятно, а нехорошо.

— Чего ж хорошего!

— А ты вели глянуть. Коли уж продрал глаза, так шел бы. Послушаем, как станет говорить. Увидим, к чему клонит. Тут в сенях и послушаем. Не велик хан Тохтамыш, чтоб его гонцам в Думной палате паникадила зажигать да вельмож скликать, — поговорим без суесловья. А что грамотки он привез, ты и вспорешь, ты и переведешь. Пойди-ка.

И сказал, оставшись вдвоем со стариком, с князем Тарусским:

— Тохтамыш издавна обижатель народу нашему, а мы извечно добром зло рушим.

— Добром и крепнет Москва, государь. Зла не помнит.

— Помнить-то помнит! Как позабыть: через два года после Куликовской победы тот змей Тохтамыш обманом подполз к Москве; батюшка Дмитрий Иванович в Кострому кинулся войска скликать, а нас с матушкой народу оставил, чтоб в народе спокойствие укрепить. Да мы не дождались, Киприян-митрополит вывез нас из города, а Тохтамыш сюды дорвался, весь Кремль пожег. Тогда великие рукописанья совсюду в собор свезены были, на сохраненье. Все те заветные наши рукописанья под самый купол были наложены. А ему что! Он все пожег. Город скоро отстроили, как все Тохтамышево воинство прочь согнали, а рукописанья отстроишь ли?! Их тысячу лет писали! Кто помнит, что там было писано в этакой-то горе сокровенных книг! Этакое зло да не помнить? Как забудешь, — этого не забыть. Да ну-ка добром тряхнем, оно, может, ему досадней всякого зла.

— Да что ж, когда не с мечом в руках прибегает, пускай!

— Не с мечом, а почему? Неоткуда взять. Да я дам! И сабелек, и чего иного воинского надо, дам. Сей гонец, пока посиживал у меня в подклети, поклянчивал и сабелек своему хану, в разной прочей боевой сбруи. Они ему на Едигея надобны, и я дам на Едигея. Едигею не до нас станет, пока дома не управится. Дадим Тохтамышу, чтоб подоле управлялись. Когда свой дом загорается, впору свой пожар тушить, а не суседа подпаливать, суседу спокойней. Нам до поры станет спокойней от Едигея. Ась?

— Рассудительно! — одобрил Тарусский.

— Нам не наново рассуждать об Орде! На всякое ордынство до отвалу нагляделись. Да и кому из нас Орда ненаглядна? Кто ею не сыт?..

Но Кара-ходжа не прохлаждался, — ниспровергнутый Тохтамыш-хан не из ордынской столицы, не из Сарая, послал своего посла к Москве, а из укромного захолустья, где притулился от Едигеевых ищеек. Едигеевы ищейки и проводчики шарили повсюду, вынюхивали Тохтамышев след, не суля Тохтамышу ни добра, ни милости, буде нападут на след, а оттого все дела надо было решать скорей, не то Едигей нащупает своими скрюченными пальцами ханскую ли семью, ближних ли людей беглого хана. Потому велел Тохтамыш-хан Кара-ходже непременно договориться, без промедленья, как бы ни тяжело было, но договориться, и как бы ни договориться, но без промедленья!

Кара-ходжа спозаранок уже сидел наготове, лишь бы не опоздать с ханским поручением, лишь бы не

опоздать. Невтерпеж ему было московское медленье, день за днем сидел наготове, да не звали. Заговаривал с приставом, кланялся Тютчеву, молил поскорей отпустить назад, но Москва его жаловала, баловала, привечала, а позвать к государю не торопилась: великий князь разведывал по Орде, на кого обопрется Тохтамыш–хан, если поднимется, какую силу возглавит, не больше ли будет беды Москве от силы Тохтамышевой, нежели есть от Едигеевой; разведывал меру падения Тохтамышева; сыскали место, где затаился Тохтамыш–хан, — Едигей не сыскал, а Василий сыскал — на русском базаре промежду русских купцов.

Тютчев ханского гонца провел черным ходом в сени и поставил перед Василием.

Став перед Василием, гонец растерялся: кому из двоих кланяться, — он увидел возле Василия князя Тарусского; черный, расшитый золотом охабень на Тарусском ослепил ордынца. Будь наряжен сам великий князь, Кара–ходжа, может быть, и не приметил бы, нарядны ли его бояре, а тут при просто одетом Василии гонец подумал: «Как же богат и как хитер Московский Василий, что так приbedняется. Тут, видно, легче самого себя перехитрить, чем этакого простеца!»

И все, чем готовился обвести Василия, показалось детской затеей, едва увидел желтые, с голубыми искорками в глубине, глаза великого князя.

Откинув назад порывистые, цепкие руки, а острое лицо вытянув вперед, Кара–ходжа заговорил горячо, бегло.

Тютчев, приняв от Кара–ходжи скатанное трубочкой послание, подал Василию, а Василий, надорвав заклепку, вернул трубочку Тютчеву:

— Читай нам!

Тютчев успел быстро разобрать все письмо бывшего ордынского хана. Пустословие приветствий пропустил, но уловил искательный и льстивый подголосок в этой части послания.

Отстранив, как пойманную змею, развернутый длинный свиток, Тютчев то пересказывал своими словами, то переводил дословно:

— Пишет: просит Тохтамыш–хан Золотой Орды великого Московского князя Василия Дмитриевича принять от него, от великого хана, младших, малолетних сыновей на воспитанье, на житье в Москву.

Кара–ходжа вслушивался в голос Тютчева, косясь куда–то в стену, будто искал щель, чтоб невзначай юркнуть туда и там пропасть, притаиться. Нет–нет да глянет мельком на москвитян и снова косится в стену. А Тютчев продолжал негромко, безо всякой торжественности:

— Пишет: почитая, мол, как брата, как брата прошу великого государя приютить под славной своей рукой, строго опекать, на ум наставлять, к воинскому делу приохочивать для совместных побед, в науках просвещать, отеческой заботой согреть, в залог обоюдной любви и дружбы, младых отроков Тохтамышевичей на рост до возрасту.

— А в коей они вере? — спросил Василий.

Тютчев перевел ответ Кара–ходжи:

— Мухаммедане.

— Как же это я их наставлять стану, когда у них вера не та?

Кара–ходжа возразил!

— Бог един.

— Да во многих лицах! Они небось и в троицу не веруют?

— Бог един! — повторил Кара-ходжа.

— К единоверцам своим отослал бы — небось сам-то у хромононого Тимура уму-разуму научился, туда б и отпрысков своих отдал.

— Боязно: нет веры Тимуру.

— Разве что! А то послал бы.

— Нет веры Тимуру! Сердит Тимур-Аксак на моего государя.

— Не остыл за пять-то лет?

Кара-ходжа потоптался, все так же косясь в стену, и промолчал, но Василий и сам хорошо знал, что оттого и бесприютен нынче Тохтамыш, что вышел из доверия у Тимура, и, видать, надолго вышел; и в ту сторону заколодели пути-дороги у самаркандского, у Тимурова выкормыша, и, видать, надолго заколодели.

Василий кивнул куда-то в сторону, в угол, где подразумевалась западная сторона:

— А то к Витовту послал бы, к Литве. Витовт Ольгердович мне тесть, возрастом умудрен, твоему хану испытанный, любовный друг, поелику на Ворскле-реке совместно побиты были от Едигея.

— Другим нет веры, великий государь, — одному тебе!

— Да с чего бы?

— Просит великого государя наш великий хан дары от него принять...

Кара-ходжа, вдруг засуетившись, обернулся: позади надлежало б стоять его спутникам с дарами, да Тютчев оставил их за порогом, желая, чтоб беседа у великого князя с гонцом протекала без лишних глаз.

Теперь боярин дал знак, и в сени вошли трое ордынцев, неся накрытый богатой вышивкой небольшой подарок.

Кара-ходжа повторил:

— Дозволь, великий государь, поднести от Тохтамыш-хана памятку. Бедную, бежецкую, да чем богат; молит не взыскать, принять.

— Какую уж памятку! — отмахнулся было Василий, но Кара-ходжа все кланялся, и Василий слегка протянул руку к гонцу.

Кара-ходжа, согнувшись, поцеловал камю, вправленную в перстень на указательном пальце Василия.

Затем, отступив, снял покрывало с ларца, и спутник поставил этот ларец на руки Кара-ходжи, поверх покрывала. Так ханский дар был поднесен Василию.

В ларце оказалась золотая чеканная чаша, доверху наполненная переливчатым байкальским жемчугом.

Глянув на чашу, Василий чуть побледнел и, прищурившись, разобрал часть надписи, которую еще в юности он читал на этом древнем киевском золоте:

«Се чаша князя великого Галицкого Мстислава Романовича, а кто ее пьет, тому во здравие, врагу на погибель».

Взятая Ордой в битве на Калке в тысяча двести двадцать четвертом году, чаша эта была отбита у Мамаю на Куликовом поле в тысяча триста восьмидесятом. Дмитрий Иванович Донской отдал ее вкладом в Чудов монастырь на оклад иконы, что стояла над могилой митрополита Алексея Бяконта. Да, видать, не

успел монастырь перелить чашу на оклад до Тохтамышева разорения, увез чашу Тохтамыш из разграбленной ризницы снова в Орду. Восемнадцать лет она дома не бывала, а вот она опять!

— Видать, забыл, где ю [так] добыл! — проворчал Василий, но ни бояре, ни ордынцы не разобрали его слов, хотя и приметили любопытство князя к подарку.

— Благодарю хана за подношение! — усмехнулся Василий Кара-ходже. — А насчет ханских чад... что ж, так скажи: пускай шлет, примем. В любви придут — с любовью приветим. Не в московском обычае руку отводить, буде на дружбу к нам рука тянется. А со злом потянется — отрубим. А за ханский присыл я отдарю доброй сабелькой да кольчужек ему велю передать: ему ныне такие дары нужней злата, дороже жемчуга.

И, дозволив гонцу снова поцеловать перстень, велел Тютчеву:

— А гонцу на дорогу шубку выдай желтого сукна, что зеленым шелком обшита, а то небось нехристь зябнет при наших-то холодах.

И ушел в горницы, говоря Тютчеву, несшему следом за ним ханский подарок:

— Видать, забыл, где ю добыл! А может, напомнить вздумал, как прежде сюды заходил, постращать вздумал? А только испугом нас не возьмешь, кто и ходил нас пугать, все сами от испуга кончились, а мы и доселе живехоньки на своем месте. А с добром послал, по забывчивости, не нам чураться, когда к нам с добром льнут. Москва исстари так: другу помогу даст, врагу с охотой могилку выроет. Ась?

Тарусский сказал своим раскатистым голосом:

— При нынешних делах могли б мы и лучше этого приемок ждать, великий государь.

Василий покачал головой:

— Ан, видно, дать ему не из чего: из добычи дары дарит, из сокровищницы. В своем хозяйстве на подарки товаров нету, обносился. И спасибо ему: из сего приемка вся его сила видна, все его имущество.

Василий кивнул на подарок:

— Хороша чарочка. Да и как ей дурной быть? Нашей ведь работы, киевской. Возьмем, вернем ее Чудову.

Тютчев добавил:

— И покрывало то не свое, не ордынское шитье — грузинское рукоделье.

— Может, у Тимура нечаянно утянул, из Самарканда, — у них это запросто. А не то и сам с Терека уволок — он смолоду и сам туда хаживал, удалой атаман. И как теперь быть: ханских чад басурманскому обычаю учить сам тому обычаю не учен; к своему обычаю их привадить — Тохтамышу зазорно. Так сие толкую: не в науку мне даются, не в обучение, не на рост хан их шлет, — притулить до времени, пока самому негде притулиться. А там — как бог даст.

— Небось так, — согласился Тютчев.

— Пускай промежду собой воинствуют, пускай воинствуют...

Поднимаясь по холодной лестнице в терема к семье, Василий приостановился, смотря на Москву: вся она еще укрывалась снегом, серая, бревенчатая. Кое-где высились каменные белые стены храмов, башен, звонниц. Стояли дома простые и затейливые, одни боярские, сложенные из дубовых бревен, другие — из толстенных сосен, и по дереву одни стояли в утреннем свете желтоваты, те — буроваты, эти смуглы, — дубовые, сосновые, еловые дома Москвы, у кого какие! Бояре ставили хоромы из дуба: прочен был дуб, вечен, много его росло вокруг по лесам, да грузно дубовое бревно, возить его тяжело, оттого и не каждому

двору был такой лес под силу. Задешево шел сплавной сосновый лес, по весне его много сюда сплавляли плотами, готовые срубы плотники задешево распродавали на берегу Неглинной–реки, да реки–то еще скованы льдом.

— Март, а морозно! — жаловался Василий. — Какая тишина! Как она тиха, Москва, пока не вся проснулась. А уж как встанет, так что ей мороз!.. Какая тишина!

Шестая глава

ШИРВАН

На плитах каменного пола горел светильник, чадя в черные своды кельи.

Сквозь низенькую, как лаз, дверь, слегка колебля свет, сочилась свежесть наступающей ночи.

Старец сидел сутулясь перед светильником; смотрел на длинное пламя, то освещавшее все лицо, то лишь углублявшее морщины на лбу. Смуглое лицо казалось темней от чистой белизны седин, — сросшиеся брови курчавились завитками, мелкими, как у белого ягненка, курчавилась и круглая борода, окаймлявшая эту смуглоту. Выпуклые глаза, темные, как черные сливы, слегка подернутые голубым налетом, не отрывались от огня и порой поблескивали красноватым отливом.

Он перебирал длинные четки деревянных шариков, и пальцы, тоненькие, почти девичьи, изредка приостанавливались, замирали и снова, как бы спохватившись, шарик за шариком отбирали у бесконечной нити.

Как ни наполнял маслянистый чад всю эту келью, старец улавливал влажные струи воздуха, доносившие запах набухших почек, молодых листьев, миндальную свежесть весенней земли.

Иногда старец улыбался, еле слышно пропев стихи:

Миндаль зацветет и отцветет во мне,

Птица взлетит и свершит полет во мне,

Необъятный мир во мне уместится,

Во мне побыв, со мною умрет во мне.

Прислушавшись с улыбкой к новорожденным строчкам, он задумывался над рождающейся строкой.

Может быть, ночь напролет длилось бы это бдение, но уединенный покой прервался: в дверь втиснулся гость. Он остановился в дверной нише, куда лишь порывами достигал слабый свет. Не ступая на порог комнаты, поклонился. Молча взял пустой кувшин, стоявший у двери, и ушел, исчезнув во тьме.

Когда наконец он вернулся и опустил на место тяжелый кувшин с водой, старец, может быть додумывая какую-то неподатливую строку, проясняя какую-то смутную мысль, смотрел на гостя пытливо, но молча, словно не в словах, а в облике этого человека искал ответа на свой вопрос.

Над бледным лицом гостя высился, как купол, барашковый рыжий островерхий колпак, а желтоватое лицо казалось мастерски выточенным из слоновой кости, — столь совершенны были все мельчайшие черты лица. Прорисованными тонкой кистью казались усы, спускавшиеся к пушистой молодой бородке. Лишь глаза были поставлены неровно, словно вдохновенный мастер, утомившись, лишь небрежно мазнул здесь черной тушью; она смотрели прямо и строго.

Маленькой рукой с короткими пальцами гость поправил усы и, как бы в раздумье, откинул руку, прежде чем, прижав ее к сердцу, поклонился.

Поклонился он не прямо старцу, а, казалось, светильнику.

Старец посетовал:

— Вот и стемнело, милый Имад-аддин.

— Перед обеденной молитвой видели дым, отец Фазл-улла. Бог вынул из ножен карающий меч своего гнева.

— Идет сюда? — И улыбнулся: — Это придумали муллы, дабы оправдать нашествие: «Бич божий», «Карающий меч божьего гнева!»

И опять с тревогой спросил:

— Идет сюда?

— Он сдвинулся с зимовья. А можно ли знать, докуда доберется степной пожар? Одно знаем: смрад пожарища достанет и досюда, как в прежние годы. Я пришел спросить, не уйти ли вам.

— Куда?

— Люди уходят в горы. Там много неприступных ущелий. Скарб берут с собой, а чего нельзя взять, зарывают.

— Нет. Останусь. Беженцев кинутся догонять, искать. А нам надо жить неприметно. Мы будем неприметней, если останемся.

— А вдруг сюда придет его войско?

— Мы ему опаснее внутри его войска.

Старец опустил глаза, помолчал и твердо сказал:

— Не в оружии наша сила. Числом мы бедней, воинским опытом — слабей. Нет в нас жестокости, коей пересилили бы его жестокость. Он конями нас передавит, не вынимая мечей. Но в нас есть сила духа — она порождает могучие слова. Мы останемся укреплять дух народа, дабы сохранить народ.

— Сохранить народ? Словами? Его воины перекликаются кличами и разят мечами, а мы, перешептываясь, таясь по углам, победим?

— А мы созовем уцелевших. Когда нашествие схлынет, мы их сплотим. Они снова станут народом. Кто любит свою землю, свой язык, свой обычай, снова сбредутся вместе, снова здесь станет народ, хозяин здешней земли.

— Мы сами смертны!..

— Исчезну я, уцелеешь ты. Оба падем — уцелеет память о нас. Наша гибель вспомнится и тому, и другому, они встретятся, задумаются, вспомнив нас, вспомнят наши слова, поселятся рядом, пока к ним не подойдет и третий, и сотый, и пятисотый. И снова здесь заживет народ, хозяин здешней земли.

— Да будет так, отец. Оставайтесь с нами. Я принес вам хлеба.

— Как же уходят в горы, — ведь им надо взять с собой побольше хлеба. Где им взять?

— Мы весь день собирали им припасы у тех, кто остается.

— Много остается?

— Одни — из-за болезни и слабости, другие — в надежде на милосердие Хромца. Третьи — в ожидании его милостей. Мы — для нашего дела. Но кого Хромец может взять в рабство, пускай уходят. Чем меньше ему достанется, тем он слабее, тем народ наш целее.

После раздумья гость добавил:

— Пускай уходят. Там много отважных. Они сговариваются, собирают оружие, где могут. Откапывают: у кого было, снова биться!

Старец нахмурился:

— У Хромца двести тысяч конницы. По словам дервишей, — триста тысяч. В былые годы мы бились и

прославились подвигами. Он раздавил нас. Числом и опытом. Что могут три тысячи против трехсот тысяч? Даже тридцать против трехсот? Он накапливал силы, опыт, ярость, а мы питались травой, кореньями, всю зиму мерзли, нам и укрыться стало нечем. Нет, не грудь в грудь мы столкнемся с ним, — только силой духа. Только силой духа! Наше дело — снова всех сплотить, когда настанет час. А час настанет.

Гость промолчал, но вдруг заторопился:

— Спрячьте хлеб, отец. Прошлой ночью Хромец вышел. В три дня его конница может дойти сюда. Время не ждет, — я пойду.

Старец пошел к двери следом за гостем: Когда, сосупив в нишу, гость пригнулся, чтобы пройти в дверь, старец остановил его, положив маленькую ладонь на теплую спину гостя:

— Берегись, Имад–аддин: всюду его уши, всюду его глаза.

Имад–аддин выпрямился и обернулся к старцу. Старец ласково улыбнулся и поднял глаза куда–то к высокой шапке Имад–аддина:

— Берегись мулл. Помни: они почитают его как Меч божьей кары. Они внушают пастве, будто Хромец ниспослан нам богом, будто неповиновение ему есть неповиновение божьей воле. Берегись их.

— Внушают пастве, чтоб тот меч не смахнул чалму с их головы, а то и голову с плеч.

— Знаешь это, так пуще остерегайся их: эти, которые берегут себя, не щадят никого. Помни!

— Помню, отец.

— А ты хотел отправить меня, когда вы остаетесь!

— Вы старше всех нас, отец.

— Тем легче миру во мне погаснуть со мной.

— В старом ли, в новом ли сосуде хранится вино, о вине судят не по сосуду. Вино хранят не ради сосуда. Разве не так, отец Фазл–улла?

— Ладно. Я и с вами поберегу сей сосуд. Авось смогу утолить жажду друга, когда мир станет душен для нас.

Гость, обернувшись, обнял плечи старика:

— Отдохните, отец. До зари недалеко.

— Новые стихи писал?

— Записывать некогда... А так... обрывки то вспыхнут, то погаснут.

— А я складывал. Да как их запеть — в такие ночи только волки воют.

— Запишите их, отец. Есть на чем?

— Клочок бумаги найдется.

— Запишите их, отец Фазл–улла!

Старец снова улыбнулся:

— Право, я уцелею. Надо уцелеть. И ты берегись, не горячись. Поглядывай по сторонам.

— Спрячьте хлеб, отец. Я не знаю, приду ли завтра.

Гость ушел, но старец остался у двери, глядя в глубину ночи.

В ту ночь по всей Шемахе, по всему Ширвану, по всей Азербайджанской земле слышались в весенней

тьме то торопливые, то крадущиеся шаги. То стук копыт по камням. То мгновенно смолкающий детский вскрик. То приглушенный вздох, то топот, то шорохи... то снова торопливые шаги многих людей. И как благословенна была в ту ночь эта густая, непроглядная весенняя тьма. К ней прислушивался старый поэт и мудрец Фазл–улла ал–Хуруфи из своей уединенной шемаханской кельи.

А по городским переулкам, впервые радуясь, что по указу Тимура городские стены снесены, что дороги из города открыты во все стороны и надвратные башни невозмутимо молчат, безучастные к путникам, уходил народ.

Там кого–то горячо, кратко и тихо напутствовал другой поэт, ученик Фазл–уллы ал–Хуруфи — Имад–аддин Насими.

Люди уходили из Шемахи. Люди уходили из городов Азербайджана, зарывая все, что не могли унести. Торопливо уходили с пути, где шел Тимур.

Многие, проводив семьи в горную глушь, спешили в неприступные крепости обновить, пока есть время, древние стены, запастись водой, хлеб, оружие. Этим ободрял подвиг отважного Алтуна.

Пятнадцатый год в крепости Алинджан–кала около Нахичевана Алтун со своими братьями отбивался от Тимура. Длительным осадам, яростным приступам противостояло непреклонное упорство защитников Алинджан–калы.

Из века в век хозяева здешней земли, как булатный меч в огне, ковали булатный меч своей воинской воли.

Тысячу лет, из века в век, сотни раз приходили в эти края завоеватели. В медных или войлочных доспехах, в крылатых шлемах или в меховых шапках, на разных языках разговаривая, сюда они приносили одно и то же — разорение и гнет.

Отбиваясь от нашествий, из поколения в поколение крепче и острее становился доблестный меч народа. И как ни отважны, как ни свирепы в битвах бывали бывалые воины Тимура, они гибли под стенами Алинджан–калы, а крепость стояла.

Осаждающих разили меткими стрелами, на них скатывали тяжелые валуны, их обливали полыхающей нефтью, и они пятились от ничтожного укрепления, когда все могучие крепости рушились под натиском войск Тимура.

Он сам побывал у этих стен. Он кинул к стенам Алинджан–калы сперва отряды, набранные среди недавних пленных, которых воодушевляли на приступ шедшие позади усатые барласы. Когда жестокий урон ослабил осаждающих, Тимур послал испытанных воинов, подкативших под стены тяжелые тараны. Воины сотнями падали со своих лестниц, а тараны, облитые нефтью, запылали.

Тогда, решив взять осажденных измором, Тимур окружил крепость караулами и, раздосадованный, ушел.

Ничего не щадя, никого не милуя, он прошел по Армении, прогремел грозой по Грузии, зашел в Шемаху и снова двинулся на Алинджан–калу.

Тимур снова испробовал все, что прежде приносило победу, — тараны под медными кровлями, лестницы, укрытые кожаными щитами, усердие барласов, даже тяжелую пушку с изображением голубя, купленную у генуэзских купцов в Трапезунте. Алтун выдержал удар Тимура, крепость устояла.

Еще не спеты, еще не сложены песни об этой горстке людей, в битвах с самим Тимуром отстоявших не серые камни крепости, а золотую честь своего народа.

Теперь из Шемахи не было пути к Алинджан–кале: между Ширваном и Нахичеваном, клокоча,

катился, как бурный горный паводок, губительный поход Тимура.

Самоотверженные юноши наспех сговаривались о встречах в ущельях, где их старшие братья, в прежних схватках познавшие сноровку и нрав Тимуровых военачальников, собирались в отважные подвижные дружины хозяев своей земли. Собирались для внезапных нападений на грозных врагов, на обозы, на кочевья, на ночные караулы и дозоры — на всех, кто незванный–непрощеный явился сюда топтать поля, ломать сады, рушить тихие города Азербайджана. Собирались мстить разорителям и, свершив подвиг, скрываться в родных дебрях, где каждую тропу знали с детства, таиться, выслеживая малейшую оплошность Тимуровых людей, и внезапно являться для новых подвигов.

В этой стране, где Тимур владычествовал, дня не проходило без жарких схваток там или тут. Тимур приказывал наказывать дерзких без жалости, и не было пощады улицам, где нежданная стрела пронзала беспечного пришельца; не было пощады селеньям, где, заночевав, дозорный отряд Тимура встречал рассвет в собственной крови; казнили всех прохожих, пойманных на дороге, где накануне неведомые люди разоряли караван завоевателя. Казнили беззащитных, безобидных путников, а неведомые люди смело появлялись в других местах, нанося новые потери Тимуру, перенося свои пристанища из ущелья в ущелье, из края в край по родной земле.

Нередко пойманных волокли к самому повелителю. Он опрашивал их то добром, то раздирая их на части, но мстителей не убывало, внезапные стрелы снова и снова пронзали отважнейших из завоевателей. Так прежде погиб сын Тимура Омар–Шейх, так иногда гибли без чести, без славы знатнейшие, ближайшие из людей повелителя. Этих завертывали в плотные саваны и долгой дорогой отвозили в Шахрисябз, на кладбище, где лежали предки Тимура, где погребали старших в роду барласов. Но лестная честь лежать в благословенной земле не утешала. Смерть вдали от шумных битв страшила. Не столь заманчивыми казались поиски легкой наживы в стенах завоеванных селений.

И вот среди ласковой мартовской мглы, веками выкованный, как святыня переданный из поколения в поколение, булат народной отваги обнажался снова, когда зарева и черные дымы нашествия поднялись над городами и селениями азербайджанцев.

Дым оповестил людей о появлении Тимура. Гроза надвигалась. Надо было поспеть со всеми делами до ее прихода.

Старец, перебирая длинные четки, стоял в каменной келье, вслушиваясь во тьму.

Откуда–то с гор дунул предутренний ветерок. Близился час первой молитвы.

Вдруг вдоль узких улиц запылали факелы.

Двое всадников, едва поспевая, скакали, подъяв [так] факелы, как развернутые знамена, вслед за шемаханским беком, спешившим к двору Ширван–шаха.

Ширван–шах Ибрагим Дербенди усидел на своем шатком троне, снискав милость Тимура знаками смирения и послушания. Шах снискал милость, но не доверие, ибо у Тимура никогда не бывало доверия ни к одному из покоренных владык, как бы ни были они послушны и любезны. Да и среди ближайших соратников едва ли были такие, за кем исподтишка он не приглядывал бы. За шахом приглядывал и твердо направлял его вялую поступь отличившийся в Индии Тимуров тысячник Курдай–бек.

Бек потребовал доступа к шаху, невзирая на ночной час.

Впереди незваного гостя понесли факелы через гулкий двор, вверх по крутым каменным ступеням, по каменной галерее, мимо сводчатых ниш, пока наконец не остановились в зале, мерцавшей, как перламутровая, от мельчайших росписей, покрывавших все стены от карнизов до полу.

Бек вперевалку прохаживался по зале, нахлестывая себя плеткой по сапогу, пока шах в дальнем покое

поднимался с постели.

Шах зорко, украдкой переглянул с ближайшими из неподвижных слуг, прежде чем с беспечной улыбкой выйти к беку.

После неизбежных поклонов бек проворчал:

— Крепко ж вы спите в этакую ночь, благословенный государь.

— А что за ночь?

— Проспали!

— Что случилось, почтенный бек?

— Кызылбаши о чем-то пронюхали. Вся голь поднялась — и прочь из города. А вы себе почивали на мягкой постельке.

— Я тоже кызылбаш. А вот ничего такого не пронюхал, никуда пока не сбежал. Кто огорчил вас?

— Куда это и по какой причине народ из города бежит как от чумы?

— Бежит?

— А то вы не знаете! Вам отвечать повелителю, когда спросит, куда это побежал народ и почему. Повелитель спросит вас, благословенный государь. Вам отвечать!

Улыбаясь и пошлепывая туфлями, шах в широком халате, накинутом поверх розовых шелков белья, прошелся, слегка наклонив голову. Неожиданно он остановился прямо перед беком:

— А разве Великий Повелитель поставил вас сюда не затем, чтобы мой слух и мое зрение стали острее? Если чего-то я недослышал, он спросит с вас. Я недоглядел — с вас же спросит.

— Я не собака, чтоб хватать людей на улицах.

— Люди на улицах? Сейчас?

— Теперь уж нет. Улицы пусты. Ушли! А куда? Какой был слух, что случилось?

— Я не издавал указа ни выходить на улицы, ни уходить из города.

— Кто ж их погнал среди ночи? Сами спите, так хоть караул бы поставили!

— Ночные караулы выставляете вы, почтенный бек. Зачем мне вмешиваться в ночные дела? Вы у нас — князь ночи.

— Караулов не хватит, чтоб перегородить все переулки. Ворота-то в городе ни одни не запираются. Стен нет!

— Не подговариваете ли вы меня восстановить стены, скрытые по указу повелителя?

Бек шумно и размашисто прошелся по зале, отвернувшись к стене и небрежно оглядывая искусную роспись — узоры, цветы, птиц...

В раздражении, словно оступившись, он ткнул плеткой в стену.

— Птички?

— А что?

— Греха не боитесь!

— Я не читал в Коране, что птички — грех.

— И я не читал. И без Корана известно, что всякую живность изображать грех, — птиц, скотов, девок...

Тут не языческая Индия! Вот доизображаетесь до всякого такого!.. Богословы—то не поглядят по головке.

— Коран молчит об этом. А разговоры, не подтверждаемые Кораном, суть суесловие.

— «Кораном, Кораном»! Я не мулла. У меня повелитель спросит, куда сбежал народ из города. Почему кызылбаши сбежали от своего шаха? А ведь без народа, мол, не дорог шах. Что я отвечу? Что скажу? А вы — «птички, Коран»! Не до птичек! Где народ?

— Почтеннейший бек, где мой народ?

— Что мне отвечать повелителю?

— Я не учитель ваш, вы — не ученик мне. Сами вы разумеете, как поступить. Я лишь догадываюсь, как вы поступите, — поутру наберете каких-нибудь ротозеев на базаре, какие попадутся, прежде чем соберется базар. Они сознаются, что ночью пытались уйти из города. Затем вы приведете их назад на базар, чтобы все в Шемахе видели негодяев, пытавшихся уйти из города, и повесите их для острастки и для вразумления, всему базару напоказ. Повелитель узнает, что вы строги, что никого не пускали, что не хватило времени для поимки всех остальных.

— Я и с караульщиков сдеру шкуру. Но народ—то ушел! Куда? Куда и по какой причине ушел? Как только караулы меня известили, я кинулся к вам. Везде уже пусто. Одни кошки шныряют поперек улиц. Ни души! Что случилось?

— Я догадываюсь, если вспомнить, когда народ бежит без спросу. Когда уходит от своих очагов.

— Повелитель идет? Ну, ну... откуда они пронюхали раньше нас? Повелитель? Сюда?..

Бек замер при этой мысли: «Придет сюда... Вызовет к себе... Где народ, спросит... Что сделано за зиму?»

А шах, улыбаясь, говорил:

— Я вам коня дарю, почтеннейший бек.

— Что за конь? — спросил без радости бек.

— Араб.

— У вас есть?.. Откуда? Долго ж прятали от меня!

— Зимой купцы привели. Я взял. Для подарка вам. Вдруг повелитель пожелает видеть и меня и вас. Вам понадобится хороший конь в дар повелителю.

— К повелителю с одним конем не явишься!

— Ну, если хорошенько заседлать!.. К тому ж от меня будут другие подарки.

Бек задумчиво поклонился, поблагодарил и, приговаривая: «Почивайте, а то уж светает!», ушел.

Ширван—шах, сожалея, что из—за бека опоздал к первой молитве, прошел по безмолвным и еще темным комнатам в свои маленькие жилые покои.

Следовавший за ним слуга, длинный сутулый старик, принял с его плеч халат и пробормотал:

— Кто мог, все ушли.

Как бы себе самому, шах в раздумье откликнулся:

— Я не мог сам раздавать им хлеб. Пошлем через купцов.

— Хлеба—то им мы и сами соберем. А вот оружие бы им!..

— Что ты! Откуда?

— Оттуда! — грубо ответил слуга, кивнув куда-то в глубину дворца.

Шах опустил глаза и отмолчался.

Слуга спросил:

— Не убрать ли и нам кое-что?

— Но так, чтоб в глаза не бросалось.

— Виду не подадим.

— Днем напомним: надо распорядиться, чтоб стража наша приоделась, почистилась. А у кого хорошее оружие, убрали б. Пускай старье начистят, какое от прежних шахов долежало до нас. Чтоб не думали, что у нас есть сила. Надо наготове быть.

— Вот и вышло бы хорошо, — исправное оружие собрать да отослать в горы: коль его надо прятать, тут оно будет лежать без дела. А там, на первых порах...

— У меня одна голова, а у Хромца глаз много.

Слуга смолчал.

Утро близилось, но в тесноте шахских покоев еще не рассеялись теплые сумерки, пропахшие сонными людьми и хлопчатыми одеялами.

За дверью прозвучал женский смех: в спальнях разговорились спросонок разбуженные призывом к молитве, но поленившиеся сразу подняться милые шаху девушки.

Ибрагим-шах прошел мимо.

Пригнувшись, он вступил в тесный переход, откуда — плита над плитой высокими ступенями лестница вводила наверх, в круглую башню.

В нише под нижними ступенями горел светильник, освещая лишь нутро ниши, оставляя переход в темноте.

Затворив за собой тяжелую, окованную дверцу, шах постоял один у начала лестницы. Свет падал лишь на широкую с длинными узловатыми пальцами руку шаха, поднявшего передний подол розовой рубахи, чтоб не мешала восходить по высоким ступеням.

Другой рукой он огладил ладонью стену около ниши — так же ли ровна и столь же ли шершава она здесь, как и везде вокруг.

Взяв светильник, он осмотрел стену в этом месте и медленно пошел наверх.

Когда лет пять назад золотоордынский хан Тохтамыш разорял города Ширвана, в Шемахе его застала весть, что против его сил надвигается сила Тимура.

Войско Тохтамыша, утомленное битвами и разгулом в Азербайджане и Грузии, порастерявшее немало лихих рубак, было еще рассеяно по всей стране. Пока Тохтамыш скликал своих удалцов, Тимур был уже недалек. Многих не дозвались, и оружие, много оружия, Тохтамыш уложил в обоз, а сам повел войско прочь от своего бывшего покровителя.

Обоз не догнал своего хозяина: на Тереке-реке Тимур настиг Тохтамыша, и рука Повелителя Вселенной, вознесшая заяицкого хана Тохтамыша на золотоордынский престол, опустевший после Куликовской битвы, на Тереке свергла Тохтамыша с престола Золотой Орды.

Как некогда бежал Мамай глухими степями в чужие пределы от Тохтамышевой погони, так сам Тохтамыш кинулся через ту же степь искать пристанища в чужом краю.

Обоз остался, еще не весь захваченный Тимуром. Длинные возы с оружием попали в руки Ширван-шаха Ибрагима. Оружие оказалось всякое — и ордынское, кованное тяжело и грубо, и нахватанное в прежних походах удачливого Тохтамыша, — ширванское, армянское, московское, даже самаркандских оружейников из Синего Дворца, некогда подаренное Тимуром своему ставленнику в Золотую Орду.

Как ни много было его, оно улеглось в тайнике шемаханской башни, утаенное от Тимура. Ибрагим столь бескорыстно уступил Тимуру остальную обоз, что недоверчивый Тимур поддался на Ибрагимову щедрость и не спросил, все ли возы отдает ему Ибрагим.

О, если б проверил, — ни клятвами, ни улыбками не сберег бы своей головы Ширван-шах Ибрагим.

Он медленно поднимался со своим светильником. Башня была высока, ступени круты, мысли тяжелы.

Внутри башни, освещенная четырьмя узенькими бойницами, круглая сторожка издавна полюбилась шаху. Башня высилась над дворцом, дворец высился над всем городом, город высился над широкой долиной. Далеко вокруг раскрывался простор. Из северной бойницы виднелись соседние горы, еще заваленные снегами. Из другой — предутренняя дымка долин, сады, плавно сползающие из города в долину. Из третьей — край соседней башни, ее рубчатая кладка плохо отесанных несокрушимых глыб; темнели края дальних лесов в предгорьях. Из западной бойницы открывалась та дорога, по которой может прийти Тимур.

Между бойницами темнели ниши. В них повседневный обиход Ибрагим-шаха: серебряная плоская чашка, а на полу под ней — длинногорлый, как журавль, серебряный кувшин, покрытый, как черным кружевом, кубачинской чернью. В соседней нише — расписанная травами персидская шахматная доска, закрывавшаяся, как ковчежец. На ней — желтый стеганый колпак, на случай ветреной погоды, если шах поднимался на верх башни, к ее зубцам.

В нише, обращенной к Мекке, золотился вбитый в камень маленький полумесяц, обрамленный, как узором, куфической надписью — славословие аллаху. Здесь лежал большой Коран в зеленом сафьяне, а на полу, на ковре, деревянная подставка под Коран, разукрашенная в Багдаде перламутром и костью, и рядом с подставкой, полуприкрытая подушкой, маленькая книга в истертом красном переплете — стихи Низами.

Пол, покрытый тяжелыми коврами, глушил шаги. Шах прохаживался, круг за кругом, вдоль темных стен, припоминая минувший день... Круг за кругом.

Шах знал, что еще утром с башен заметили условный дым. Шах приказал тайно поведать об этом вельможам и купцам — богатейшим, которым требовалось время, чтобы надежно укрыть свои сокровища.

Но кто оповестил, кто так дружно во всех закоулках поднял и увел городскую бедноту, ремесленников, поденщиков?.. Кто?

Слуги донесли шаху сперва о том, что базары, оскудевшие за последние годы, торгуют хуже, чем в обычные дни: никто не брал ничего, кроме хлеба, быстро распроданного. Купцы прибежали во дворец, прося ссудить их зерном из шахских закромов. Шах отказал: «Уже вечереет — время думать о молитве, а не о торге». Потом донесли, что базары совсем обезлюдели, — люди не гуляли по торговым рядам, не толпились на площади поглазеть на факиров или чтецов, не рассаживались по харчевням побалагурить с друзьями. Уже вечером донесли, что шемаханцы уходят из города. Уходят целыми слободами, унося скарб, увозя скот.

В эту ночь народ впервые озадачил шаха. Кто поднял его, кто его повел в горы? Это мог бы сделать шах через своих глашатаев. Это могли бы сделать муллы через свои мечети. Но шах не посылал глашатаев,

а из мулл никто ни словом не обмолвился перед паствой. Как грубо и как страшно спросил бек: «Чего стоит шах без народа?»

Народ уходил и прежде прочь от врага. Так бывало и перед монголами, и перед Тохтамышем, и перед Тимуром. Бежали кто куда мог. Случалось, из разных селений бежали навстречу друг другу, а то — и в стан завоевателей, не разобравшись, где стоят свои, где — завоеватели.

Но теперь они ушли дружно, непреклонные и неудержимые, в горы, куда не посмеют забираться отряды Повелителя Вселенной, если он не пошлет вслед за ними большие силы. Они скупили хлеб, какой только смогли достать. Им дали хлеба из домашних припасов многие жители, оставшиеся дома. Все это знал шах. Собственные слуги отважились просить шаха, чтоб он отпустил купцам хлеб из своих кладовых. Он отказал: ведь Тимур мог дознаться, что шах снабдил шемаханских беглецов хлебом. Если это и следует сделать, сделать это следует тайно.

Круг за кругом шах ходил внутри башни.

«Кто там живет среди народа; у кого есть такая власть — поднять сразу всех?»

Шах приостановился.

«Что это за народ, — молчит, молчит, а вон как — весь встал и ушел! Никого не спросившись! Будто им нет дела до шаха. Будто у шаха нет власти остановить их!»

Он опять пошел вдоль стен.

«Нет, остановить их не было власти у шаха. Только оружием. Но тогда народ возненавидел бы шаха, а в это темное время нельзя усмирить народ ни плетью, ни виселицами. В это темное время следует дружить с народом. Как спросил бек: «Чего стоит шах без народа?» Тогда и Тимур сменил бы здесь шаха, ему нужен шах, имеющий власть для исполнения указов, а не для украшения дворца. Как же вернуть власть над народом? Слуга сказал: «Хлеба мы им сами соберем, а вот оружия бы им!» Нет, оружия он не даст. Размуровывать, когда вот-вот могут сюда войти... И кому давать? Кто их ведет, куда их ведут, на кого они обратят оружие? Туда надо послать хлеб. Караван с хлебом, а их предупредить. Они нападут. Никто не сможет обвинить шаха, — разве ему запрещено посылать караваны из Шемахи в Баку?.. Народ узнает, кто послал им хлеб; поверит, что шах заодно с народом. Но оружия он не даст. Оно пригодится ему самому: Тимур не вечен, Тимур давно живет... Надо послать им чего-нибудь из одежды. В горах холодно, армяки каждый день будут напоминать о великодушии шаха. Но оружия он не даст, — самому пригодится...

Куда ж они ушли? Все успели уйти?»

Опять приподняв подол рубахи, Ибрагим поднялся на верх башни.

Его ударило холодным ветром. По долине стлался туман, застилая дальние дороги. Солнце еще не поднялось, но заря уже поднималась в небе прозрачным заревом.

Шах постоял, сгорбившись от холода, вглядываясь в даль. Туман покрывал всю долину, застилал дорогу.

Потирая ладонями локти, шах, шлепая по ступеням туфлями, поспешил по лестнице вниз.

А заря все выше, все выше расплывалась над высокой зубчатой башней, поднявшейся над туманом. Башню видели издали — с гор, из долин, из ущелий. Ее замечали раньше, чем откроется самый город. Ее, оглянувшись, долго видели те, кто покидал Шемаху.

Сады, еще не успевшие зацвести, спускались темными уступами с городских окраин в долину. Птицы, перепархивая среди набухающих почками ветвей, перекликались, встревоженные безлюдьем.

По узкой улице, мощенной широкими плитами, по уступам поднимавшейся к базару улицы двое

дервишей, ударяя остриями посохов в неподатливые плиты мостовой, с развевающимися волосами под ковровыми куколями, почти бежали вверх, в город, неловко перепрыгивая с плиты на плиту.

Старец в полутемной келье отошел от двери, погасил светильник, но еще долго вслушивался в необычное безмолвие шемаханского утра.

Седьмая глава

ВОЛКИ

На походе Тимур любил встречать утро в седле.

Спросонок, прозябшие в предрассветном холодке, воины в темноте приспущенными рукавами или полами халатов обтирали лошадей, влажных от росы, и, набросив холодные, сыроватые потники, ловко седлали. Лошади хитрили, вздрагивали, надували бока, когда им затягивали подпругу. Но привычные руки быстро справлялись со всем, что не ладилось, и вскоре, по строгому распорядку, уже все шли в общем потоке похода. А позади только бесчисленные костры стана еще долго дымились в предутреннем тумане.

Мартовские рассветы над Азербайджаном разгорались погожими зорями, но случалось, небо, так и не проглянув, темнело: порывистый ветер нагонял тучи, и все вокруг вдруг пригибалось под упорным холодным ливнем, не подвластным Повелителю Вселенной.

Людям радостна весенняя гроза, когда она рвет в клочья грузное зимнее небо, омывает слежавшуюся за зиму землю, и, едва, поеживаясь, отойдут мохнатые грозовые тучи, небо вспыхивает ликующей синью, смелее распрямляются молодые травы и проглядывают первые листья на ветках.

Радостна людям весенняя гроза, прокатывающаяся, как властный зов, поднимающий всю округу к земному торжеству, к первым песням, к первым цветам.

Но в ту весну с гнетущей тоской жители всех окрестных стран прислушивались к черной грозе, ползущей по весенним дорогам: что задумал скрытный Хромец, уже не в первый раз, прищурившись, озирающий эти земли? Куда собрался? На какую дорогу повернет своего коня?

Он молча ехал, а позади на десятки верст протянулось его воинство, его обозы, кочевья.

Неподалеку за ним следовала его служебная сотня, десять юрт, где состояли гонцы, писцы, толмачи–переводчики, ближние слуги. Впереди гонцов, поднятый на древке копьа, колеблемый ветерком, золотился лисий хвост гонецкий знак. На стоянках он вздымался над гонецкой юртой, и ночью, когда вспыхивало пламя костра, лисий хвост вдруг являлся над юртой из тьмы небес. У разных десятников и сотников были свои знаки, помогавшие среди воинских тысяч быстро сыскать того, кто требовался.

Аяр степенно следовал среди других гонцов, ожидая, пока понадобится. На время к ним поместили и отпущенника Хатуту, велев десятнику беречь адыгея, за которым зорко приглядывал грузный великан в персидском панцире.

Все ждали, все гадали: зачем повелителю нужен этот адыгей? Хатута болел, тяжело кашляя, и отмалчивался, когда великан или десятник заговаривали с ним. Аяр, присматриваясь к юнцу, иногда пытался навести его на разговор:

— Адыгеи? Никогда не видал адыгеев. Что за народ?

Хатута не отвечал, отчуждался, но Аяр и не докучал ему, тут же прикидываясь, что не спрашивает, а только размышляет вслух, принимался за какое–нибудь дело — латать халат, скоблить каблук, штопать мешок. И порой примечал, что теперь уже Хатута украдкой подглядывает за ним.

Так день за днем Аяр приручал адыгея, как пойманного зверька. От скуки, от безделья приручал: нет человеку корысти от прирученного волчонка или от этакого хилого заморыша. Однако Аяра подстрекало и любопытство: что за мутная доля выпала Хатуте — отпустили, так пускай бы шел на все четыре стороны, а буде собираются снова пытаться, так незачем его лечить: слабый человек доверительней, откровенней. Держали б среди узников, коих немало гнали вслед за воинством, доколе дойдут до них руки властителей.

— Что в нем такого, в этом адыгее? И что это за народ?

Длинное—длинное, впалое, серое лицо. Длинный прямой нос с крутой горбинкой над самыми ноздрями, словно кто—то подрубил этот нос. Когда же, откашлявшись, Хатута раздумывался и, казалось, веселел, его лицо гляделось красивым.

При кашле его костлявые лопатки странно, угловато проступали под домотканиной, словно Хатута прятал крылья под тонким домотканым халатом, пожалованным взамен рубища, порванного при поимке.

А поход шел и шел своей длинной дорогой. Синели дальние кряжи гор. Шумели сизые водовороты рек. Все гуще зеленели доверчивые всходы осиротелых полей.

Выздоровливая, Хатута ненароком приручался к Аяру, но еще нелюдимее становился, когда являлись десятник или великан. Изредка он отзывался, но отвечал скупно и сам никогда не заговаривал, сам никогда ни о чем не спрашивал.

Мимоходом, будто таясь чужих ушей, Аяр бормотал:

— Не скучаешь о своих?

Хатута откликнулся украдкой:

— Они далеко!

— А тут, окрест, что ж, никого нет?

Хатута непонятно хмыкал и поникал.

Аяр спешил отмахнуться от своего неосторожного вопроса, успокоительно приговаривая:

— Эх, почтеннейший! На что мне они? Бог с ними, коль они и есть. Бог с ними!

Достав из сумки шило и ремень, Аяр углублялся в ненужную починку и тем заканчивал разговор.

Но ведь и Хатуте невмоготу становилось повседневное молчанье, неотступная настороженность. Он исподволь следил за Аяром, и ни разу не случилось заметить ни приязни Аяра к великану, ни приятельства с десятником. Нет, между гонцом и воином из войск Шейх—Нур—аддина проглядывала даже неприязнь, порожденная тайной завистью воина к привольной службе гонца и презрением гонца к усердию воина, не воинским делом задумавшего выдвинуться и возвыситься среди воинов. Аяр держался обособленно, а когда у него завязывался разговор в юрте, это бывал обычный то шуточный, то ленивый разговор соскучившихся людей. Хатуте Аяр нравился своим равнодушием к делам пленника: спрашивал, а не допрашивал; угощал — не навязывался. Да и когда угощал, потчевал не только Хатуту, а и других, если кто случался поблизости. Но когда вблизи не было никого, Аяр незаметно подсовывал адыгею то ломтик вяленой дыни, то горстку прозрачного изюма, то щепотку черного кишмиша — что—нибудь такое, чего не хватало воинам на походе.

И однажды Хатута заговорил сам:

— Меня везут, везут, а куда?

Теперь подошел черед Аяру хмыкнуть и отмолчаться: сказать, куда его везут, означало сказать, куда идет поход, а кому охота объяснять чужому человеку замыслы повелителя! Да в войсках никто толком и не смог бы сказать, куда нацелен поход Тимура.

Но Аяр не хотел прерывать разговор.

— Куда? Кто это знает! Это не наше дело, куда идем. Куда ведут! Заскучал, что ли, почтеннейший?

— Пора и заскучать.

— А есть по ком?

— Нет, не по ком. Но и так — тоже тоска: везут, везут...

— А отпустят — куда денешься?

— Куда ни деться, но и так — тоска.

— Я это давно вижу, да что ж поделаешь?

— Делать—то ничего не поделаешь, а хорошего мало!

— Терпеть надо! Кто не терпит? Каждый свое несет.

— Свою ношу каждый несет. Только б чужую сверху не наваливали!

— А это кому как выпадет. Иной всю жизнь под чужим сокровищем гнется, а свою пушинку поднять сил нет.

— Бывает, и сила есть, да не дотянешься до своей пушинки: руки коротки.

— Говоришь, как пожилой.

За этим разговором их застал десятник, невзначай возвратившийся в юрту. Смолкли.

Войска проходили стороной от Мараги, когда Тимур приказал стать на большую стоянку.

Не в торговом людном Тебризе, до которого отсюда было рукой подать, а среди предгорий, по берегу мутной торопливой реки, ставили юрты, рыли пещерки под котлы, заколачивали кольца коновязей.

На взгорье раскинулась ставка повелителя — его круглая, белая, перехваченная красными ковровыми кушаками юрта, окруженная расшитыми и щеголеватыми юртами цариц, полосатыми шатрами стражи, серыми кибитками слуг.

С высоты взгорья открывался весь стан, весь этот кочевой город, тесный, но строгий в его нерушимом порядке, осененный колыхающим лесом разнообразных знаков, примет, флажков, поднятых на древках над юртами одни выше, другие ниже — по воинскому уставу. Ни лишнего шума, ни суеты каждый знал свое дело, свой долг, свое извечное установленное место.

Долго предстояло стоять здесь: Тимур вызвал сюда войска, зимовавшие в Иране, сюда двинулась пехота, отставшая по пути из Самарканда и отзимовавшая в Султании.

Один за другим, наскоро откланявшись, а то и молчком, поскакали царские гонцы к Шахруху в Герат, ко внукам повелителя, правившим завоеванными царствами, — в Иран, в Индию, в Шираз, в Хамадан, в Кандагар...

Настали погожие дни, и на заре и вечерами весь стан поглядывал, как поднимается высоко в небо тонкая лазоревая струйка дыма мирного очага перед белой юртой повелителя. Иногда удавалось подглядеть, как Тимур, усевшись перед юртой, спустив с плеч халат, голый до пояса, снимал тубетей, чтобы брадобрей брил ему голову.

При нем в те дни находились лишь две из младших жен и семь наложниц, заботившихся о тепле его одеял и порядке в юртах.

Но прибыл наконец царский обоз, и царицы разместились по своим юртам.

Младших царевичей — Ибрагима и Улугбека — отпустили поохотиться в степи.

Сопровождаемые друзьями по играм, охраняемые лишь легким караулом, они проехали через весь стан и увидели мирное тихое раздолье, покрытое яркой травой, казалось пылающей зеленым пламенем под весенней яростью солнца. Временами не солнце слепило их, а эта пронизанная солнцем зелень.

Пощуриваясь, нежась в тепле апрельского дня, царевичи отъехали от охраны в сторону безлюдных холмов, где первым пушком еще нежной листвы манили к себе редкие кустарники и какие-то синеватые цветы. С ними ехал один лишь племянник царского чтеца и рассказчика мальчик Ариф.

Жители бежали из этих пределов. Ничто не нарушало тишину, кроме жужжания первых пчел. Кое-где приходилось сворачивать, чтобы объехать покинутые пахарями пашни, неудобные для езды.

Пронизанные солнцем, мерцая молодой зеленью, кустарники казались прозрачными, и между ними мальчики увидели притаившихся фазанов, а едва стайка поднялась на крыло, Улугбек пустил стрелу. Один из фазанов метнулся, но не упал. Улугбек хлестнул лошадь и между кустами поскакал вслед за стаей. Ибрагим и Ариф тоже подскакали к кустам.

Вдруг лошадь, шарахнувшись, ударила Улугбека о хлесткие ветки, сама оцарапалась сучьями и вздыбилась. Улугбек усидел, но лук выронил и тотчас увидел лобастую волчью морду, застывшую, как перед прыжком.

В руках ничего не было, кроме ременной плетки.

Конь не ждал воли всадника и, перескочив через стелющуюся ветку, понес Улугбека прочь.

— Волки! — крикнул Улугбек мальчишкам.

Это было невиданным делом, — стая волков среди белого дня погналась за всадниками.

Трое мальчиков мчались среди предательского покоя незнакомой земли, а волчья стая, не отступая, настигала и уже обегала их.

Вдруг поперек пути протянулась незасеянная серая пашня. Улугбек свернул влево по целине, но тут, у края пашни, на траве лежала поваленная соха. Уже не было времени ни удержать коня, ни перекинуть его через нее, и Улугбек зажмурился. Конь, опомнившись, успел перемахнуть через дышло, но тотчас захромал. Улугбек оглянулся.

Он увидел Арифа, стоящего на пашне возле упавшей лошади, — видно, Ариф въехал на вздыбленные пласты земли и повалился вместе с лошадью. Волки цепочкой зажимали его в кольцо, сужая круг.

Спрыгнув наземь, Улугбек с одной лишь плеткой в руке побежал к Арифу, крича на волков и спотыкаясь о развороченную землю, проваливаясь в борозды, видя перед собой лишь худенького бледного друга, поднявшего в руке комок сырой земли.

* * *

Халиль-Султан осматривал стоянку своих войск в глубине стана, когда скороход передал ему волю великой госпожи, ожидающей внука к себе.

Халиль не видел бабушку еще с карабахского зимовья: он был в походе, а бабушка следовала в обозе. Не сомневаясь, что она зовет своего питомца пообедать с ней, и помня, как нетерпелива бабушка, когда подходит время обеда, Халиль поспешил к холмам, где под развевающимися на древках стягами стояли царские юрты.

Еще у подножия холма Халиль спешил, передал чумбур воину и пошел по крутой тропинке наверх.

Шатер великой госпожи состоял из четырех белых юрт, сдвинутых вместе. Большие монгольские тамги, алые, словно написанные кровью на белизне драгоценной кошмы, алый коврик у входа, два белых флажка на высоких алых древках, воткнутых по обе стороны входа, означали местопребывание великой госпожи. А небо над юртой переливалось, как голубой прозрачный ручей, пронизанное теплыми волнами весны.

Зная, как любит бабушка, когда, лелеемые ее заботой, они с Улугбеком являются на ее зов скоро и запросто, Халиль, не останавливаясь, быстро прошел мимо рабынь и служанок, суетившихся в первой юрте, и, разбежавшись, толкнул узенькие створки ее двери.

Но едва взглянув в шатер, обмер, опустив руки и затоптавшись на месте: у приподнятого края кошмы, отвалившись к сундуку, сидел дед, железными глазами глядя на дерзкого пришельца. Бабушка стояла неподалеку от входа, цедя из подвешенного бурдюка кумыс в деревянную плошку.

Увидев растерявшегося царевича, Тимур закивал ему:

— Войди, войди. Мы тебя звали.

Как ни любил дед своего Халиля, Халиль ни разу не являлся в юрту повелителя этак вот, как сейчас, с разбегу. Смущенно он опустил у порога, оправдываясь:

— У бабушки ко мне дело? Вот и...

— Иди сюда, — похлопал ладонью Тимур около себя. И повторил: — Мы тебя звали.

Халиль сел около деда.

— Мы тебя звали, — сказала бабушка, неся Тимуру плошку, полную кумыса, — почитать нам письмецо гератской царевны. Может, эта грамотейка такое написала, что нашим писцам выговорить не под силу.

Дед молча подал Халилю свиток, уже изрядно потертый и обмусолившийся в его рукаве.

Халиль, удивившись, как легко отстал под его ногтем плотный ярлычок заклейки, быстро раскрутил свиток и увидел знакомый почерк самой Гаухар–Шад–аги, почерк старательный и оттого неровный.

Невольно повторяя запомнившуюся еще с детства привычку Гаухар–Шад–аги растягивать слова, Халиль углубился в чтение.

Приветы, приветы, строго по обычаю, без искринки тепла. Приветы, как их писали и за сто и за двести лет до нее, похожие на драгоценные камни, от многовековой поволоки утратившие игру. Упование на милость и щедрость аллаха к ее детям Ибрагим и Улугбеку...

При этих словах великая госпожа быстро, но вопросительно глянула на повелителя, а он, хотя и не смотрел на нее, уловил ее смятение, ничем, однако, это не выразив.

Он по–прежнему молчал, уткнув взгляд в пол.

«Не тревожат ли, не обременяют ли, не огорчают ли хранимую милостью божией госпожу наши дети Ибрагим и Улугбек, да ниспошлет им бог свое милосердие. Соблюдают ли почтительность, успешны ли в науках, как надлежало бы им быть...»

Теперь великая госпожа опустила взгляд, чтобы муж не уловил в ее глазах ненависти к снохе, непомерно кичившейся знатностью своего джагатайского рода, а Тимур мельком взглянул на нее и понял ее чувства: с великой госпожи за внуков спрос принадлежит деду, он дал этих царевичей великой госпоже, дал он, а не Гаухар–Шад–ага, не перед ней и отвечает за них великая госпожа.

«Учит! Напоминает, какими надлежит быть царевичам. А мы сами не знаем? Какими им быть, какими их растить!» — думал Тимур, зная, что и великую госпожу обожгли эти вопросы.

— Ибрагим ей и не сын даже! — хрипло сказала Сарай–Мульк–ханым, не поворачиваясь к Тимуру.

— Она старшая у Шахруха, она и об Ибрагиме спрашивает, он тоже сын ее мужа! — возразил Тимур.

Сарай–Мульк–ханым повернула к нему покрасневшее от обиды лицо: неужели он не понимает, как

оскорбителен ей этот допрос от Шахруховой змеи.

— Пусть бы даже и сын!

Теперь Тимуру захотелось подразнить ее.

— Материнская тревога: умеют ли у нас достойно растить.

— Что ж, я ей... — вспыхнула было великая госпожа, но, вспомнив о притихшем Халиле, не договорила и пододвинула Тимуру шарики жареного теста к кумысу.

— Да Ибрагима и не я ращу! Как же я за него отвечу?

— Ты старшая у меня, с тебя и спрос. А уж ты сама с Туман-аги спросишь, коль она плохо растит Ибрагима.

— И что ж, отвечать мне ей?

— Отчего ж не ответить?

— И отвечу! — загорелись глаза Сарай-Мульк-ханым.

Тимур, ободряя ее и успокаивая, кивнул:

— Вот и ответь, царица.

— Ты мне и напишешь, Халиль. Поласковой надо. Будто мы ей очень благодарны за милостивое попечение о наших питомцах.

Вдруг створки двери вновь широко распахнулись от торопливого удара, и перед всеми предстал Улугбек, опередивший Ибрагима и Арифа, раскрасневшихся и также без спросу ввалившихся к великой госпоже.

— Волки! — крикнул Улугбек.

Тимур с беспокойством вытянул шею и нахмурился:

— Кто это волки?

— Мы от них, мы вскачь, а они следом — догнать не догоняют и отстать не отстают. А сперва так спокойно кругом было, мы от охраны отъехали...

— Как же это: тут — и без охраны? Кто вас так отпустил? — вскинулся Тимур.

— Ведь никого кругом нет! Земля тут давно наша! — возразила великая госпожа, отпустившая внука на эту охоту. — Но караул с ними я послала!

— Они отстали! — объяснял Улугбек. — А потом подоспели, когда мы с Арифом среди волков остались.

Тимур быстро спросил:

— А Ибрагим?

— Он успел ускакать.

— Один, без вас?

— Он поскакал за караулом.

— Ха! Ускакал? — еще более нахмурился Тимур. — Значит, это просто волки, звери?

— Я же говорю, волки!

— А, ну это ладно. Как же это ты, Ибрагим? Ускакал? Там волки, а ты ускакал?

И усмехнулся: «Волки!..» Но задумался и сказал внучатам:

— У меня тоже с волками дело было. На реке Сыр. Мы под Чиназом с монголами бились. Дождь лил, кони вязли, не шли. Монголы нас пересилили. Мы — прочь. У кого кони покрепче шли, из грязи первыми выбились. Мы с Хусейном, с амиром, скачем впереди всех. К вечеру все от нас отстали. Одни мы вдвоем скачем — я да амир Хусейн. Ночь настает. Впереди — непроглядная степь, а надо спешить. Надо и на врага спешить, и от врага спешить, когда такая злая доля выпадает — от врага бежать. И когда так вдвоем, не щадя коней, шли мы через Голодную степь, окружили нас волки. Стая! Я вижу их, коня повернул да на них. Один не успел увернуться — я его по башке ятаганом. Думал отогнать, а — нет, это им нипочем. Один опрокинулся другие набегают. Я опять им навстречу. Один из них забежал сзади — моего коня за хвост! Конь волка лягнул, а я вывалился. Упал на больную ногу, не могу встать никак. Какой подвернется поближе — я его ятаганом по лбу либо по глотке. Один свалится, стая не убывает. Как сумел, поднялся — да на них. Как они увидели, что я встал, да не от них бегу, а сам на них кидаюсь, поджали хвосты да бежать. Как собаки! Тут главное — не оробеть. Как тебе ни тяжело, улочи время да кидайся вперед сам. Кого больше, тот всегда ждет, что от него побегут. Тут ты сильного и обмани: не пяться, а сам на него наседай. Тем диких коней смиряют, тем и врага громят. Лошадь мою амир Хусейн успел поймать. К этому времени догнали нас еще двое–трое беглецов из–под Чиназа. Дальше ехали через весь Мавераннахр, до самого Балха ни одного волка не попало. А промешкай я там, не бывать бы мне вашим дедом, ребятки. В ту пору мы от волков не прятались. В ту пору нам люди страшней были. Только потом мы узнали, как народ нас боялся, — это нас и спасло. Это хорошо, когда враг тебя боится! Твои силы вдвое возрастают, когда враг тебя боится. То–то, Ибрагим. А сбегу от меня в тот раз амир Хусейн, и одолели б меня волки. Молодец, Улугбек, что на них кинулся: ты мой внук!

Он усмехнулся криво и как–то внутрь себя:

— Вот и одолел я, сперва волков, потом и амира Хусейна. И, покосившись на великую госпожу, велел внукам:

— Пойдите, почиститься вам надо. А ты, Халиль, погоди.

Он еще долго молчал, молчал и Халиль, а великая госпожа отошла к бурдюку и долго, задумчиво снова цедила кумыс. Ни слова не говоря, она подала эту плошку Халилю, а он принял, не сводя глаз с деда.

Наконец Тимур сказал:

— Волки не волки, а кто их знает? Что у них на уме? Позовем, пока есть время, да посмотрим. Ты подготовься, подбери людей да съезди, позови сюда шаха из Шемахи. Зови полюбезней, а по сторонам гляди пожестче. Таких и людей возьми, позорче. Пока мы здесь стоим, пока наши воины подходят, повидаемся с шахом.

Халиль отставил кумыс и встrepенулcя:

— Сегодня же выехать, дедушка?

— Ну, как управишься. Хоть завтра.

— Сегодня ко мне пехота подошла. Я ее еще не всю поставил: тут не хватило шатров, а свои они не успели подвезти.

— Прикажи, другие ее поставят, а сам не позже как завтра поезжай. Привези к нам шаха.

Заметив, что Халиль поднимается, Тимур опять удержал его:

— Погоди. Когда ты здесь сидишь, незачем писцов звать. Напиши–ка от нас правителю в Самарканд, Мухаммед–Султану, пускай бы привез сюда Искандера. Сам пускай привезет. Разберем их спор сами.

— Я только за бумагой схожу.

Сарай–Мульк–ханым:

— Не трудись, есть у меня Улугбекова. И чернила, и палочки эти ваши. Люблю смотреть, как он пишет, заставляю при себе писать.

А когда Халиль кончил писать короткое и простое указание Мухаммед–Султану о выезде к войскам, бабушка сказала ему свое письмо в Герат.

Халиль сам начал ее письмо неизбежными славословиями милостям и щедротам аллаха, коему великая госпожа вручала попечение о мирзе Шахрухе и о всем доме его, о семье и о делах его.

Бабушка следила за тростничком в красноватой, обветренной руке Халиля и улыбнулась:

— А Улугбек, поди, глаже пишет!

Как и повелителю, ей не выпало время учиться грамоте, но ее влекло к этим однообразным сплетениям линий, кое–где изукрашенных точкой либо черточкой, из коих непостижимо получались слова. Тут ей чудилась какая–то магия, подобная знаниям лекаря, что, приложив палец к телу, уже ведал, какой травкой лечить недуг; магия, подобная наитию ее супруга, Повелителя Вселенной, коему сам аллах ниспосылает знание тайн, потребных для побед над всеми народами. Магией считала она всякое знание и силу, данные немногим людям и неведомые простым смертным. И чтобы соприкоснуться с тайной, присаживалась к внукам, когда им случалось писать при ней. Чтобы закрепить в глазах повелителя свою причастность к магии письма, она повторила, покачав головой:

— Глаже, глаже...

Тимур осуждающе покосился на свою государыню:

— А ты б взяла да сама и написала бы.

— Мне это ни к чему: внуки помогают!

— То–то.

Склонив голову ниже к бумаге, старуха ждала, пока Халиль наконец спросил, угодно ли бабушке присовокупить к приветам также и пожелания.

Не разгибаясь, она твердо согласилась:

— А как же! Напиши, — дети, мол, благоденствуют, в науках преуспевают, деду покорны, бабку радуют, о доме не тужат и в Герат не манятся: на разлуку с наставниками охоты в них нет, — столь прилежны к занятиям.

Она распрямилась, подумала, туго сжав запавшие внутрь рта губы. Поглядела на повелителя, выжидающего ее дальнейших слов, и, снова склонившись к бумаге, добавила:

— И так тоже напиши: дети, мол, не столь книжной премудрости, сколь ратному делу привержены, конями занимаются, по охоту езживают, на дикого зверя с единой плеткой выхаживают и, здоровы, веселы, назад к наукам присаживаются.

— Что же, науки — блюдо, что ли, это? «Присаживаются!» — передразнил Тимур.

— Ну, а как же сказать? Не на ходу ж они грамоту учат.

— Ну, скажем: «назад к наставникам прибегают».

— Да хоть бы и так: ей все равно не до таких слов станет, как вычитает о том, каковы они тут у нас.

— Не таковы, какими бы там росли! — согласился Тимур.

Великой госпоже этих слов было довольно, большего одобрения своему письму она и не ожидала: он согласился, что ее стрелы бьют в цель.

Но втайне она знала, что эти двое внучат растут иными, чем изображены в ее письме, — книжной премудростью они увлечены более, чем ратным делом.

— А подрастут — и еще лучше станут! — утешая больше себя, чем отвечая мужу, убежденно сказала великая госпожа.

Когда письмо было окончено и скатано трубочкой, великая госпожа поймала свою золотую печатку, висевшую на ремешке на поясе, и вдавила ее в ярлычок. Халиль заклеил свиток.

Только теперь старухой снова овладела ненависть к снохе, ненависть давняя, но разбереженная дерзкими вопросами Гаухар—Шад—аги.

Предаваться этому чувству было некогда. Подошло время проводить мужа, — Тимур, опираясь о сундук, поднимался, она подроспела ему помочь. Сопровождаемый Халилем, Тимур ушел.

По обычаю, он должен был один навестить меньшую госпожу — монголку Тукель—ханым, но близилось время обеда, и дед позвал с собой Халиля к обители меньшей госпожи.

Увенчанная позлащенным шишаком с пышным султаном на верхушке, составленная из обширных белых юрт, соединенных войлочными навесами с багряной и золотой бахромой, ставка Тукель—ханым занимала больше места, чем юрта самого повелителя. Ее дверца была высокой, и Тимур перешагнул через порог не сгибаясь.

Царица стояла в двери, и видно было, как под румянами, гуще румян и преодолевая толщу белил, покраснело ее лицо, — она гневалась: повелитель был волен провести утро у великой госпожи, но давно наступила пора обеда, который он должен отведать у нее. Теперь другие жены повелителя могли сказать, что у старухи ему веселее, чем у меньшей госпожи, если он так медлил там. Она не знала, что он там делал, ничего не знала о письмах, но она стыдилась даже служанок, давно сказавших ей, что обед готов, и тоже удивленных задержкой повелителя в юрте старухи.

Постукивая браслетом о браслет, она сдерживала свое нетерпение, приказав служанкам смотреть, не идет ли повелитель, чтоб она успела его встретить. Досада ее росла.

Теперь она увидела и Халиля. И не столько ради повелителя, как перед этим славным отвагой юношей, быстро овладела собой, почтительно кланяясь и пятясь, пока Тимур шел к своему месту.

Чванясь не так перед повелителем, как перед Халилем, успевшим загореть, простоватым и столь любимым в войсках, Тукель—ханым почти не прикасалась к еде, а если и касалась, то лишь из снисхождения к этому простому вареву — жирному рису белого плова, грубо наломанным ломтям редьки, к привезенному из Ургута горному луку — ансури.

Тимур отхлебывал красный, почти черный густой мусаллас — самаркандское вино, отстоявшееся за многие годы.

Она приготовила ему обед, какой он любил у себя дома, выражая этим подневольное уважение к обычаям мужа. Но, сама едва прикасаясь к еде, выказывала мужу, что ей привычной тонкие блюда китайской кухни, какими кормили ее на родине пекинские повара.

Ей хотелось есть. Она всегда ела много. Но теперь крепилась и отстраняла все, что ставили перед ней молчаливые рабыни.

Тимур заметил ее пренебрежение к мастерству самаркандского повара, сварившего этот плов, но сказал:

— Спасибо, царица. Вижу, ты поняла вкус самаркандских блюд: все оттуда вывезено. И вино тебе сыскали хорошее. И ансури хорош.

Вино успокоило и согрело Тимура. Ему веселей думалось, как велик этот стан, на многие версты покрывший вокруг всю землю. Каким небось страхом охвачены народы на всем пространстве вселенной, когда он стоит здесь, собирая и готовя свое могучее войско.

Обед окончился. Халилю следовало уйти. Он замечал, как все время, пока он сидел здесь, Тукель-ханым то поворачивалась к нему плечом, покрытым тяжелым жемчужным оплечьем, то искоса и украдкой поглядывала через плечо, слышит ли он ее, когда она что-то говорила повелителю.

Вдруг вбежала старая монголка, старшая над служанками Тукель-ханым, и зашептала своей госпоже.

Тукель-ханым, пугливо взглянув на Халиля, сказала Тимуру:

— Неотложное дело: Шейх-Нур-аддин просит пути к повелителю.

Никому не позволялось тревожить Тимура в часы, когда он посещает своих цариц. Но здесь сидел внук, и Тимур, снисходя к столь важным вестям, что сам Шейх-Нур-аддин решился нарушить обычай, велел впустить своего соратника:

— Выйди, Халиль, к нему — проведи его сюда.

Тукель-ханым неприметно проверила, ровно ли свисают по спине тяжелые золотые подвески на косах, и кругленькой крепкой ладонью разгладила тяжелый желтый шелк платья.

Шейх-Нур-аддин поклонился Тимуру, поклонился царице, но не прошел к подушкам, где мог бы сесть, а остался у двери и сказал:

— О повелитель, двух ваших гонцов убили.

Тимур приподнялся, но, став на колени, не успел встать.

— Кто?

— Нашли убитых, а следов нигде нет.

— Где это?

— Одного отсюда неподалеку — едва ли до второй молитвы успел проскакать. Другого подале, на другой дороге.

— А послали ль искать? Кого послали? Пойдемте!

Он наконец поднялся и, не оглядываясь на хозяйку, с которой надлежало еще бы посидеть, торопливо покинул ее юрту.

Тукель-ханым одна постояла около ковра, с которого убирали блюда. Прижала ладони к глазам и, размазывая румяна, заплакала.

Потом утерлась подолом. Лицо ее стало желтым, глаза — маленькими в припухших узких щелках. Непослушная прядь со лба выбилась из-под шапки и защекотала ей лоб. Она попыталась смахнуть прядь, принимая ее за муху, но прядь не улетела.

Она снова потеряла лоб. Вдруг увидела на ковре кость, недоглоданную Тимуром. Она с детства любила мясо на костях, любила глотать кости.

Глянув, закрыта ли дверь, взяла кость и, всхлипывая, занялась этой костью, обгладывая ее, пытаясь высосать мозг, запекшийся внутри, и понемногу успокаиваясь.

* * *

Убитых гонцов привезли и положили перед гонецкой юртой.

Тимур пришел посмотреть их. Толпа воинов и гонцов, окружавшая убитых, шарахнулась в сторону, когда подошел повелитель, а отшарахнувшись, там и осталась стоять. Он же велел осмотреть убитых.

Свитки оказались целы, засунутые у одного за голенище, у другого за пазуху.

У одного стрела пробила глаз и выглянула из виска, у другого — пробила висок и теперь торчала из глаза.

— Хороши стрелки! — сказал Тимур и повернулся к толпе воинов: Хороши, а?

И все робко, но убежденно выразили свое восхищение. Тимур стоял, глядя на убитых, задумавшись.

— Да, хороши! А где они? А? Кто они? А?

Из расспросов гонецкой стражи узнали, что один из гонцов был убит при въезде в каменистое ущелье, поросшее в том месте небольшим кустарником; другой — когда проезжали по улице разрушенного селенья, среди развалин. Оба раза стражи сперва растерялись, а когда опомнились, сколько ни шарили вокруг, никого не сыскали.

— Стражей отлупить плетью, при всех, чтобы впредь успевали ловить злодеев. И чтоб другие запомнили: надо так жить, будто враг уже нацелил свою стрелу тебе в голову. Когда спишь, и то надо настороже быть. А когда едешь, не спать. Дать им плетей. Для памяти! Для острастки, чтоб понимали: кругом война! Война кругом! А? Мы в походе, а может, на гулянье? А?

Шейх–Нур–аддин, стоя позади Тимура, говорил царевичу Султан–Хусейну:

— Оба пробиты одинаковым видом: целено в висок. И тот и другой стрелок знали себе цену, верили своей стреле. И там и тут подстерегали не прочих воинов, а гонцов, — при одном пять воинов караула скакали, при другом трое воинов караула, а все воины целехоньки, пробиты только оба гонца. На выбор бьют.

Тимур, не оборачиваясь, сказал:

— Волки! Как из–под земли накинлись — и прочь. И след простыл!

Потом, взглянув через плечо на Шейх–Нур–аддина, приказал:

— На те места послать побольше конницы. Все кругом осмотреть, всех выловить, кто не наш. Авось попадутся! А гонцам в охрану давать полный десяток, да с десятником. Без того по здешним дорогам гонцов не выпускать. До самой Султани.

Шейх–Нур–аддин не сразу пошел, оставаясь среди сопровождавших Тимура воевод.

Тимур повернулся к нему и крикнул:

— Слышал, что сказано? Чего стоишь? Посылай! Не завтра ж искать? Чтоб во всю прыть туда скакали. Ищите! К утру доставить нам этих... волков. Ну!

Нур–аддин, присев от неожиданности, опрометью кинулся к стремянному. Едва он сел в седло, карий белоногий конь шарахнулся, огретый с маху тяжелой плеткой, и, крутя запрокинутой головой, понес Нур–аддина через торопливо сторонящихся воинов, а Нур–аддин хлестал и хлестал коня, мчась к стоянке своей конницы.

Тимур помолчал, думая о чем–то; наконец, словно очнулся от забытья, торопливо сказал Султан–Хусейну:

— Там этот... с гор. Как его? Который костры палил! Отпусти его на все четыре стороны. Да одного. Да

зорче глядите, куда пойдет. Пускай свободно ходит, но чтоб каждый шаг нам знать. Не трогайте, пальцем не трогайте, чтоб никак не почуял, что мы его видим. Сумеешь? А на дорогу одарите халатом. От нашей милости. А халат дайте, чтоб издали виден был. Надо поскорее рассмотреть все его пути–дороги. Волки–то небось кругом рыщут! Он у нас отлежался, насиделся, успокоился — веселей пойдет.

В это время Аяр, на виду у Тимура, вышел из гонецкой юрты, сторонкой обошел распростертых у юрты двоих своих неудачливых знакомцев и пошел было к лошадям: ему уже приказали собираться в Самарканд.

Вдруг сам повелитель позвал:

— Эй, гонец!

Аяр замер.

— По дороге, гонец, поглядывай. Да без десятника не выезжай. Да косицей на ветру не размахивай, под шапку подсунь. А то и вовсе шапку в мешок спрячь, до Султанин. А на голову что у всех воинов, то и сам надень. Слышал? То–то! Да чтоб все гонцы это знали. Не то я с гонцов и спрошу, коль не поберегутся.

Аяр смахнул шапку с головы и, оставшись в белой исподней бухарской ермолке, едва покрывавшей выбритое до синевы темя, хотел было дальше идти, когда Тимур с насмешкой добавил:

— Лихой гонец, а лепешек по дороге не теряй.

Ноги Аяра ослабели от этих страшных слов. Тимур уже отвернулся и захромал в сторону. Его тотчас заслонили сподвижники, сопровождавшие Тимура, и толпа. А гонец стоял, не в силах сойти с места.

«Кто ж это приметил? Кто ж меня выдал? Ведь все они ехали, не оглядываясь. Я задним остался, когда лепешку выбросил. Кто ж подглядел? Ведь только свои воины были, из друзей–приятелей, кто ж из них?»

И как ведь милостив повелитель наш! Знал, а виду не выказывал. На прощанье только сказал! Помнил! Про простого гонца всякую оплошку запоминает, а зря обидеть не обижает. Ведь это дороже любой награды сказано: «Лихой гонец!»

И, всей душой отдаваясь власти повелителя, пригретый его укором, Аяр рванулся к лошадям, чтоб мчаться как ветер навстречу всем волкам, наперекор всем ураганам на свете, во славу повелителя. Нет, уж теперь он лепешку не выронит. Кому надо, тому повелитель сам подаст.

«Но кто ж из них выдал? Кто из них приметил?»

А Тимур шел к себе, тихо ворча:

— Кругом рыщут!.. Кругом! Видно, давно не пуганы. Из земли, что ли, поднимаются? Никого нет, а стрелы летят. То дымок пустят с горы на гору, то стрелу с тетивы, а никого нет!